

Д.Н.МАМИН-
СИБИРЯК

4

*Д.Мамин
Сибиряк.*



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1981

Д·Н·МАМИН-СИБИРЯК

Собрание сочинений в шести томах



Редакционная коллегия:

А. И. ГРУЗДЕВ
И. А. ДЕРГАЧЕВ
В. А. СТАРИКОВ



Москва

«Художественная литература»

1981

Д. Н. МАМИН-СИБИРЯК

Собрание сочинений



Том
четвертый



ЗОЛОТО
ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ



Москва
«Художественная литература»
1981

P1
M22

Комментарии и подготовка текста
В. АГРИКОЛЯНСКОГО
(повести и рассказы)
и Е. ЕВСТАФЬЕВОЙ
«Золото»

Оформление художника
Ю. АЛЕКСЕЕВОЙ

©
Комментарии. Издательство
«Художественная литература»,
1981 г.

М $\frac{70301-141}{028(01)-81}$ подписное 4702010100



ЗОЛОТО

Роман



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

Кишкин сильно торопился и смешно шагал своими короткими ножками. Зимнее серое утро застало его уже за Балчуговским заводом, на дороге к Фотьянке. Легкий морозец бодрил старческую кровь, а падавший мягкий снежок устилал изъезженную дорогу точно ковром. Быстроту хода много умаляли разносившиеся за зиму валенки, на которые Кишкин несколько раз поглядывал с презрением и громко говорил в назидание самому себе:

— Эх, вся кошменная музыка развалилась... да. А было времечко, Андрон, как ты с завода на Фотьянку на собственной парочке закатывал, а то верхом на иноходце. Лихо...

Это были совсем легкомысленные слова для убежденного сединами старца и его сморщенного лица, если бы не оправдывали их маленькие, любопытные, вороватые глаза, не хотевшие стариться. За маленький рост на золотых промыслях Кишкин был известен под именем Шишки, как прежде его называли только за глаза, а теперь прямо в лицо.

— Только бы застать Родьку...— думал Кишкин вслух, прибавляя ходу.

Дорога от Балчуговского завода шла сначала по берегу реки Балчуговки, а затем круто забирала на лесистый Краюхин увал, с которого открывался великолепный вид на завод, на течение Балчуговки и на окружающие селение работы. Кишкин остановился на вершине увала и

оглянулся назад, где в серой зимней мгле тонули заводские постройки. Кругом все было покрыто белой снежной пеленой, исчерченной вдоль и поперек желтыми промысловыми дорожками. На Краюхином увале снежная пелена там и сям была покрыта какими-то подозрительными красновато-бурыми пятнами, точно самая земля здесь вспухла болячками: это были старательские работы. Большинство их было заброшено как невыгодные или выработавшиеся, а около некоторых курились огоньки,— эти, следовательно, паходились на полном ходу.

— Ишь, подлецы, как землю-то изрыли,— проговорил вслух Кишкин, опытным глазом окидывая земляные опухоли.— Тоже, пазывается, золото ищут... ха-ха!.. Не положил — не пщи... Золото моем, а сами голосом восм.

Кишкин подтянул опояской свою старенькую шубенку, крытую серым вытершимся сукном, и с новой быстротой засеменял с увала, точно кто его толкал в спину.

По ту сторону Краюхина увала начинались шахты: Первинка, Угловая, Шишкаревская, Подаруевская, Рублиха и Спасо-Колчеданская. Кругом шахт тянулись высокие отвалы пустой породы, кучи ржавого кварца, штабели заготовленного леса и всевозможные постройки: сарай, казармы, сторожки и целые корпуса. Из всех этих шахт работала одна Спасо-Колчеданская, над которой дымилась громадная кирпичная труба. Где-то отпыхивала невидимая паровая машина. Заброшенные шахты имели самый жалкий вид,— трубы покосились, всякая постройка гнила и разваливалась. Кишкин оглянул эту египетскую работу прищуренными глазками и улыбнулся.

— Одна парадная дыра осталась...— проговорил он, направляясь к работавшей шахте.— Эй, кто есть жив человек: Родион Потапыч здесь?

Из сторожки выглянула кудластая голова, посмотрела удивленно на Кишкина и, не торопясь, ответила:

— Был, да весь вышел...

— Ах, штоб ему ни дна ни покрывки! — обругался Кишкин.

— Ступай на Фотьянку, там его застанешь,— посоветовала голова.

— Легкое место сказать: Фотьянка... Три версты надо отмерять до Фотьянки. Ах, старый черт... Не сидится ему на одном месте.

— На брезгу Родивон Потапыч спускался в шахту и четыре взрыва диомидом сделал, а потом на Фотьянку ушел. Там старатели борта домывают, так он их зорит...

Кишкин достал берестяную тавлинку, сделал жестокую поношку и еще раз оглядел шахты.— Ах, много тут дещежек компания закопала, тысяч триста, а то и побольше. Тепленькое местечко досталось: за триста-то тысяч и десяти фунтов золота со всех шахт не взяли. Да, веселенькая игрушка, нечего сказать... Впрочем, у денег глаз нет: за-капывай, если лишних много.

Дорога от шахт опять пошла берегом Балчуговки, едва опущенной голым ивняком. По всему течению тянулись еще «казенные работы» — громадные разрезы, громадные свалки, громадные запруды. Даровой труд не жалели, и вся земля на десять верст была изрыта, точно прошел какой-нибудь гигантский крот. Кишкин даже вздохнул, припомнив золотое казенное время, когда вот здесь кипела горячая работа, а он катался на собственных лошадях. Теперь было все пусто кругом, как у него в карманах... Кое-где только старатели подбирали крохи, оставшиеся от казенной работы.

Сделав три версты, Кишкин почувствовал усталость. Он даже вспотел, как хорошая пристяжка. Лес точно расступался, открыв громадное снежное поле, заканчивавшееся земляным валом казенной плотины. Это и была знаменитая Фотьяновская россыпь, открытая им, Андроном Кишкиным, и давшая казне больше сотни пудов золота. Вдали пестрело на мысу селение Фотьянка. Но ему дорога была не туда, а к плотине. Сейчас за плотиной по обоим берегам Балчуговки были поставлены старательские работы. Старатели промывали борта, то есть невыработанные края россыпи, которые можно было взять только зимой, когда вода в забоях не так «долила». Наблюдал за этими работами Родион Потапыч Зыков, старейший штейгер на всех Балчуговских золотых промыслах. Он иногда и ночевал здесь, в землянке, которая была выкопана в насыпи плотины,— с этой высоты старику видно было все на целую версту. В Балчуговском заводе у старика Зыкова был собственный дом, но он почти никогда не жил в нем, предпочитая лесные избушки, землянки и балаганы.

— Эге, дома лесной черт! — обругался Кишкин, завидя сиенький дымок около землянки.

Он издали узнал высокую сгорбленную фигуру Зыкова, который ходил около разведенного огонька. Старик был без шапки, в одном полушубке, запачканном желтой присковой глиной. Окладистая седая борода покрывала всю грудь. Завидев подходившего Кишкина, старик сморщил свой громадный лоб. Над огнем в железном котелке у него варился картофель. Крохотная, закопченная дымом дверь землянки была приотворена, чтобы проветрить эту кровтовую нору.

— Мир на стану! — крикнул весело Кишкин, подходя к огоньку.

— Милости просим, — ответил Зыков, не особенно дружелюбно оглядывая нежданного гостя. — Куда поволокся спозаранку? Садись, так гость будешь...

— А дело есть, Родион Потапыч. И не маленькое дельце. Да... А ты тут старателей зоришь? За ними, за подлещами, только не посмотри...

— Все хороши, — угрюмо ответил Зыков. — Картошки хошь?

— В золке бы ее испечь, так она вкуснее, чем вареная.

— Ишь, лакомый какой... Привык к баловству-то, когда на казенных харчах жир нагуливал.

— Ох, не осталось этого казенного жиру ни капельки, Родион Потапыч!.. Весь тут, а дома ничего не оставил...

— Не ври. Не люблю... Рассказывай сказки-то другим, а не мне.

Кишкин как-то укоризненно посмотрел на сурового старика и поник головой. Да, хорошо ему теперь бахвалиться над ним, потому что и место имеет, и жалованье, и дом — полная чаша. Зыков молча взял деревянной спицей горячую картошку и передал ее гостю. Незавидное кушанье дома, а в лесу первый сорт: картошка так аппетитно дымилась, и Кишкин порядком-таки промялся. Облупив картошку и круто посолив, он проглотил ее почти разом. Зыков так же молча подал вторую.

— А ведь отлично у тебя здесь, Родион Потапыч, — восторгался Кишкин, оглядывая расстилавшуюся перед ним картину. — Много старателей-то?

— Десятка с три наберется...

Работы начались саженьх в пятидесяти от землянки. Берег Балчуговки точно проржавел от разрытой глины и песков. Работа происходила в двух ямах, в которых, пользуясь зимним временем, золотиносный пласт добывался

забоем. Над каждой ямой стоял небольшой деревянный ворот, которым «выхаживали» деревянную бадью с песком или пустой породой двое «воротников», или «вертелов». Тут же откатчики наваливали добытые пески в ручные тачки и по деревянным доскам, уложенным в дорожку, свозили на лед, где стоял ряд деревянных вашгердов. Мужики работали на забое, у воротов и на откатне, а бабы и девки промывали пески. Издали картина была пестрая и для зимнего времени оригинальная.

— Ишь, ледяной водой моют, — заметил Кишкин тоном опытного приискового человека. — Што бы казарму поставить да тепленькой водицей промывку сделать, а то пески теперь смерзлись...

— Ничего ты не понимаешь! — оборвал его Зыков. — Первое дело, пески на второй сажени берут, а там земля талая, а второе дело — по Фотьянке пески не мясниковатые, а разрушистые... На него плесни водой — он и рассыпался, как крупа. И пески здесь крупные, чуть их всполосни... Ничего ты не понимаешь, Шишка!..

— Да ведь я к слову сказал, а ты сейчас на стену полез.

— А не болтай глупостей, особливо чего не знаешь. Ну, зачем пришел-то? Говори, а то мне некогда с тобой балясы точить...

— Есть дельце, Родион Потапыч. Слышал, поди, как толковали про казенную Кедровскую дачу?

— Ну?

— Вырешили ее вконец... Первого мая срок: всем она будет открыта. Кто хочет, тот и работает. Конечно, нужно заявки сделать и прочее. Я сам был в горном правлении и читал бумагу.

В первое мгновение Зыков не поверил и только посмотрел удивленными глазами на Кишкина, не врет ли старая конторская крыса, но тот говорил с такой уверенностью, что сомнений не могло быть. Эта весть поразила старика, и он смущенно пробормотал:

— Как же это так... гм... А Балчуговские промысла при чем останутся?

— Балчуговские сами по себе: ведь у них площадь в пятьдесят квадратных верст. На сто лет хватит... Жирно будет, ежели бы им еще и Кедровскую дачу захватить: там четыреста тысяч десятин... А какие места: по Суходойке-реке, по Ипатихе, по Малиновке — везде золо-

го. Все россыпи от Каленой горы пошли, значит, в ней жилы объявляются... Там еще казенные разведки были под Маяковой сланью, на Филькиной гари, на Колпаковом поле, у Кедрового ключика. Одним словом, палестина необъятная...

— Известно, золота в Кедровской даче неочерпаемо, а только ты опять зря болтаешь: кедровское золото мудреное, — кругом болота, вода долит, а внизу камень. Надо еще взять кедровское-то золото. Не об этом речь. А дело такое, что в Кедровскую дачу кинутся промышленники из города и с Балчуговских промыслов народ будут сбивать. Теперь у нас весь народ, как в чашке каша, а тогда и расползутся... Их только помани. Народ отпетый.

— Я-то и хотел поговорить с тобой, Родион Потапыч, — заговорил Кишкин искательным тоном. — Дело, видишь, в чем. Я ведь тогда на казенных ширфовках был, так одно местечко заприметил: Пронькина вышка называется. Хорошие знаки оказывались... Вот бы заявку там хлопнуть.

— Ну?

— Так я насчет компании... Может, и ты согласишься. За этим и шел к тебе... Верное золото.

Зыков даже поднялся и посмотрел на соблазнителя уничтожающим взором.

— Да ты в уме ли, Шишка? Я пойду искать золото, штобы сбивать народ с Балчуговских промыслов?.. Да еще с тобой?.. Ха-ха...

— Не ты, так другие пойдут... Я тебе же добра желал, Родион Потапыч. А что касается Балчуговских промыслов, так они о нас с тобой плакать не будут... Ты вот говоришь, что я ничего не понимаю, а я, может, побольше твоего-то смыслю в этом деле. Балчуговская-то дача рядом прошла с Кедровской, — пу, назаявляют приисков на самой граци да и будут скупать ваше балчуговское золото, а запишут в свои книги. Тут не разбери-бери... Вот это какое дело!

— А ведь ты верно, — уныло согласился Зыков. — Потащат наше золото старателишки. Это уж как пить дадут. Ты их только помани... Теперь за ними не уследишь днем с огнем, а тогда и подавно! Только, я думаю, — прибавил он, — врешь ты все...

— А вот увидишь, как я вру.

Наступила неловкая пауза. Котелок с картофелем был пуст. Кишкин несколько раз взглядывал на Зыкова своими

рысьими глазками, точно что хотел сказать, и только жевал губами.

— Прежде-то что было, Родион Потапыч! — как-то особенно угнетенно проговорил он наконец, втягивая в себя воздух. — Иногда раздумаешься про себя, так точно во сне... Разве нынче промысла? Разве работы?

— Што старое-то вспоминать, как баба о прошлогоднем молоке.

— Нет, всегда вспомню!.. Кто Фотьяновскую россыпь открыл? Я... да. На полтора миллиона рублей золота в ней добыто, а вот я наг и сир...

Кишкин ударил себя кулаком в грудь, и мелкие старческие слезинки покатались у него по лицу. Это было так неожиданно, что Зыков как-то смущенно пробормотал:

— Ну, будет тебе... Эк, што вздумал вспоминать!..

— Да!.. — уже со слезами в голосе повторял Кишкин. — Да... Легко это говорить: перестань!.. А никто не спросит, как мне живется... да. Может, я кулаком слезы-то вытираю, а другие радуются... Тех же горных инженеров взять: свои дома имеют, на рысаках катаются, а я вот на своих на двоих вышагиваю. А отчего, Родион Потапыч? Воровать я вовремя не умел... да.

— Было и твое дело, што тут греха таить!

— Да што было-то? Дадут три сторублевых билета, а сами десять тысяч украдут. Я же их и покрывал: моих рук дело... В те поры отсечь бы мне руки, да и то мало. Дурак я был... В глаза мне надо за это самое наплевать, в воде утопить, потому кругом дурак. Когда я Фотьяновскую россыпь открыл, содержание в песках полтора золотника на сто пудов, значит, с работой обошелся он казне много-много шесть гривен, а управитель Фролов по три рубля золотник ставил. Это от каждого золотника по два рубля сорок копеек за здорово живешь в карман к себе клали. А фальши-то што было... Ведь я разносил по книгам-то все расходы: где десять рабочих — писал сто, где сто кубических сажень земли вынуто — писал тысячу... Жалованье я же сочинял таким служащим, каких и на свете не бывало. А Фролов мне все твердит: «Погоди, Андрон Евстратыч, поделимся потом: рука, слышь, руку моет...» Умыл он меня. Сам-то сахаром теперь поживает, а я вон в каком образе щеголяю. Только-только копеечку не подают...

— А дом где? А всякое обзаведенье? А деньги? — накинулся на него Зыков с ожесточением. — Тебе руки-то

отрубить надо было, когда ты в карты стал играть, да мадеру стал лакать, да пустяками стал заниматься... В чем доме сейчас Ермошка-кабатчик как клоп раздулся? Ну-ка, скажи, а?..

— Было и это,— согласился Кишкин.— Тысяч с пятью в карты проиграл и мадеру пил... Было. А Фролов-то по двадцати тысяч в один вечер проигрывал. Помнишь старый разрез в Выломках, его еще рекрута работали,— так мы его за новый списали, а ведь за это, говорят, голеньких сорок тысяч рубликов казна заплатила. Ревизор приехал, а мы дно раскопали да старые свалки сверху песочком посыпали — и сошло все. Положим, ревизор-то тоже уехал от нас, как мышь из ларя с мукой,— и к лапкам пристало, и к хвостику, и к усам. Эх, да что тут говорить...

— Кто старое помянет — тому глаз вон. Было да сплыло...

II

Зыков чувствовал, что недаром Кишкин распинается перед ним и про старину болтает «неподобное», а поэтому молчал, плотно сжав губы. Крепкий старик не любил пустых разговоров.

— Ну, брат, мне некогда,— остановил он гостя, поднимаясь.— У нас сейчас смывка... Вон объездной с кружкой едет.

На правом берегу Балчуговки тянулся каменистый увал, известный под именем Ульянова кряжа. Через него змейкой вилась дорога в Балчуговскую дачу. Сейчас за Ульяновым кряжем шли тоже старательские работы. По этой дороге и ехал верхом объездной с кружкой, в которую ссыпали старательское золото. Зыков расстегнул свой полубок, чтобы перепоясаться, и Кишкин заметил, что у него за ситцевой рубахой что-то отдувается.

— Это у тебя что за рубахой-то покладено, Родион Потапыч?

— А диомит... Я его по знамам на себе ношу, потому как холоду этот самый диомит не любит.

— А ежели грешным делом да того...

— Взорвет? Божья воля... Только ведь наше дело привычное. Я когда и сплю, так диомит под постель к себе кладу.

Кишкин все-таки посторонился от начиненного динамитом старика. «Этакой безголовый черт»,— подумал он, глядя на отдувавшуюся пазуху.

— Так ты как насчет Пронькиной вышки скажешь? — спрашивал Кишкин, когда они от землянки пошли к старательским работам.

— Не нашего ума дело, вот и весь сказ,— сурово ответил старик, шагая по размятому грязному снегу.— Без нас найдутся охотники до твоего золота... Ступай к Ермошке.

— Ермошке будет и того, что он в моем собственном доме сейчас живет.

Приближение сурового штейгера заставило старателей подтянуться, хотя они и были вольными людьми, работавшими в свою голову.

— Эх вы, свинорой! — ворчал Зыков, заглядывая в первую дудку.— Еще задавит кого: наотвечаешься за вас.

По горному уставу каждая шахта должна укрепляться в предупреждение несчастных случаев деревянным срубом вроде того, какой спускают в колодцы; но зимой, когда земля мерзлая, на промыслах почти везде допускаются круглые шахты, без крепи,— это и есть «дудки». Рабочие, конечно, рискуют, но таков уж русский человек, что везде подставляет голову, только бы не сделать лишнего шага. Так было и здесь. Собственно, Зыков мог заставить рабочих сделать крепи, но все они были такие оборванные и голодные, что даже у него рука не поднималась. Старик ограничивался только ворчаньем. Зимнее время на промыслах всех подтягивает: работ нет, а есть нужно, как и летом.

От забоев Зыков перешел к вашгердам и велел сделать промывку. Вашгерды были заперты на замок и, кроме того, запечатаны восковыми печатями,— все это делалось в тех видах, чтобы старатели не воровали компанейского золота. Бабы кончили промывку, а мужики принялись за доводку. Продолжали работать только бабы, накачивавшие насосом воду на вашгерды. Зыков стоял и зорко следил за доводчиками, которые на деревянных шлюзах сначала споласкивали пески деревянными лопатками, а потом начали отделять пустой песок от «шлихов» небольшими щетками. Шлихи — черный песок, образовавшийся из железняка; при промывке он осаждается в «головке» вашгерда вместе с золотом.

Кишкин смотрел на оборванную кучку старателей с невольным сожалением: совсем заморился народ. Рвань какая-то, особенно бабы, которые точно сделаны были из тряпиц. У мужиков лица испитые, озлобленные. Непокрытая приисковая голь глядела из каждой прорехи. Пока Зыков был занят доводкой, Кишкин подошел к рябому старому с большим горбатым посом.

— Здорово, Турка... Аль не узнал?

Турка посмотрел на Кишкина слезившимися потухшими глазами и равнодушно пожевал сухими губами.

— Кто тебя не знает, Андрон Евстратыч... Прежде-то шапку ломали перед тобой, как перед барином. Светленько, говорю, прежде-то жил...

— Турка, ты ходил в штегерях при Фролове, когда старый разрез работали в Выломках?— спрашивал Кишкин, понижая голос.

— Запоматывал как будто, Андрон Евстратыч... На Фотьянке ходил в штегерях, это точно, а на старом разрезе как будто и не упомяну.

— Ну, а других помнишь, кто там работал?

— Как не помнить... И наши фотьяновские, и балчуговские. Бывало дело, Андрон Евстратыч...

Старый Турка сразу повеселел, припомнив старинку, но Кишкин глазами указал ему на Зыкова: дескать, не в пору язык развязываешь, старина... Старый штейгер собрал промытое золото на железную лопаточку, взвесил на руке и заметил:

— Золотник с четью будет...

Затем он ссыпал золото в железную кружку, привезенную объездным, и, обрутав старателей еще раз, побрел к себе в землянку. С Кишкиным старик или забыл проститься, или не захотел.

— Сиротское ваше золото,— заметил Кишкин, когда Зыков отошел сажен десять.— Из-за хлеба на воду робите...

Все разом загалдели. Особенно волновались бабы, успевшие высчитать, что на три артели придется получить из конторы меньше двух рублей,— это на двадцать-то душ!.. По гривеннику не заработали.

— Почему в контору сдаете?— спрашивал Кишкин.

— По рублю шести гривен, Андрон Евстратыч. Обидная наша работа. На харчи не заработишь, а што одежды износим, што обуя, это уж свое. Прямо — крохи...

Объездной спешился и, свертывая цгарку из серой бу-

маги, болтал с рябой и курносой девкой, которая при артели стеснялась любезничать с чужим человеком, а только лукаво скалила белые зубы. Когда объездной хотел ее обнять, от забоя послышался резкий окрик:

— Ты, компанейский пес, не балуй, а то медали все оборву...

— А ты што лаешься? — огрызнулся объездной. — Чужое жалеешь...

Ругавшийся с объездным мужик в красной рубахе только что вылез из дудки. Он был в одной красной рубахе, запачканной свежей ярко-желтой глиной, и в заплатанных плисовых шароварах. Сдвинутая на затылок кожаная фуражка придавала ему вызывающий вид.

— А, это ты, Матюшка... — вступился Кишкин. — Что больно сердит?

— Псов не люблю, Андрон Евстратыч... Мало стало в Балчуговском заводе девок, — ну и пусть жирует с ними, а наших, фотьянских, не тронь.

— И в самом-то деле, чего привязался! — пристали бабы. — Стунай к своим балчуговским девкам: они у вас просты... Строгаль!..

— Ах вы, варнаки! — ругался объездной, усаживаясь в седле. — Плачет об вас острог-то, клейменные... Право, клейменные!.. Ужо вот я скажу в конторе, как вы дудки-то крепите.

— Скажи, а мы вот такими строгалями, как ты, и будем дудки крепить, — ответил за всех Матюшка. — Отваливай, Михай Павлыч, да кланяйся своим, как наших увидишь.

Между балчуговскими строгалями и Фотьянкой была старинная вражда, переходившая из поколения в поколение. Затем поводом к размолвке служила органическая ненависть вольных рабочих ко всякому начальству вообще, а к компании — в частности. Когда объездной уехал, Кишкин укоризненно заметил:

— Чего ты зубы-то показываешь прежде времени, Матюшка? Не больно велик в перьях-то...

— Скоро вода тронется, Андрон Евстратыч, так не больно страшно, — ответил Матюшка. — Сказывают, Кедровская дача на волю выходит... Вот делай заявку, а я местечко тебе укажу.

— Молоко на губах не обсохло учить-то меня, — ответил Кишкин. — Не сказывай, а спрашивай...

— Это верно,— подтвердил Турка.— У Андрона Евстратыча на золото рука легкая. Про Кедровскую-то ничего не слыхать, Андрон Евстратыч?

— Не знаю ничего... А что?

— Да так... Мало ли што здря болтают. Намедни в кабаке городские хвалились...

Кишкин подсел на свалку и с час наблюдал, как работали старатели. Жаль было смотреть, как даром время убивали... Какое это золото, когда и пятнадцати долей со ста пудов песку не падает. Так, бьется народ, потому что деваться некуда, а пить-есть надо. Выждав минутку, Кишкин поманил старого Турку и сделал ему таинственный знак. Старик отвернулся, для видимости покопался и попабахил.

— Ты куда наклался? — спрашивал его Кишкин самым невинным образом.

— А в Фотьянку, домой... Поясницу разломило, да и дело по домашности тоже есть, а здесь и без меня управятся.

— Ну, так возьми меня с собой: мне тоже надо в Фотьянку,— проговорил Кишкин, поднимаясь.— Прощайте, братцы...

Дорога шла сначала бортом россыпи, а потом мелким лесом. Фотьянка залегла двумя сотнями своих почерневших избенок на изменном левом берегу Балчуговки, прижатой здесь Ульяновым кряжем. Кругом деревни рос сплошной лес,— ни пашен, ни выгона. Издали Фотьянка производила невсеселое впечатление, которое усиливалось вблизи. Старинная постройка сказывалась тем, что дома были расставлены как попало, как строились по лесным дебрям. К реке выдвигался песчаный мысок, и на нем красовался, конечно, кабак. Турка и Кишкин, по молчаливому соглашению, повернули прямо к нему. У кабацкого крыльца сидели те особенные люди, которые лучше кабака не находят места. Двое или трое узнали Кишкина и сняли рваные шапки.

— Кабак подпираете, молодцы, штобы не упал грешным делом? — пошутил Кишкин.

Сидельцем на Фотьянке был молодой румяный парень Фрол. Кабак держал балчуговский Ермошка, а Фрол был уже от него. Кишкин присел на окно и спросил косушку водки. Турка как-то сразу ослабел при одном виде заветной посуды и взял налитый стакан дрожавшей рукой.

— Будь здоров на сто годов, Евстратыч,— проговорил Турка, с жадностью опрокидывая стакап водки.

— Давненько я здесь не бывал...— задумчиво ответил Кишкин, поглядывая на румяного сидельца.— Каково торгуешь, Фрол?

— У нас не торговля, а кот наплакал, Андрон Евстратыч. Кому здесь-то... Вот вода тронется, так тогда поправляться будем. С голого, што со святого,— немного возьмишь.

— Дай-ка нам пожевать что-нибудь...

Как политичный человек, Фрол подал закуску и отошел к другому концу стойки: он понимал, что Кишкину о чем-то нужно переговорить с Туркой.

— Вот что, друг,— заговорил Кишкин, положив руку на плечо Турке,— кто из фотьянских стариков жив, которые работали при казне?.. Значит, сейчас после воли?

— Есть живые, как же...— старался припомнить Турка.— Много перемерло, а есть и живые.

— Мне штейгеров нужно, главное, а потом, кто в сторожах ходил.

— Есть и такие: Никифор Лужопый, Петр Васильч, Головешка, потом Лучок, Лекандра...

— Вот и отлично! — обрадовался Кишкин.— Мне бы с ними надо со всеми переговорить...

— Можно и это... А на што тебе, Андрон Евстратыч?

— Дело есть... С первого тебя начну. Ежели, например, тебя будут допрашивать, покажешь все, как работал?

— Да што показывать-то?

— А что следователь будет спрашивать...

Корявая рука Турки, тянувшаяся к налитому стакану, точно оборвалась. Одно имя следователя нагнало на него оторопь.

— Да ты что испугался-то? — смеялся Кишкин.— Ведь не под суд отдаю тебя, а только в свидетели...

— А ежели, например, следователь гумагу заставит подписывать?! Нет, неладное ты удумал, Андрон Евстратыч... Меня ровно кто под коленки ударил.

— Ах, дура-голова!.. Вот и толкуй с тобой...

Как ни бился Кишкин, но так ничего и не мог добиться: Турка точно одеревенел и только отрицательно качал головой. В промысловом отпетом населении еще сохранился какой-то органический страх ко всякой форменной пу-

говице: это было тяжелое наследство, оставленное еще «казенным временем».

— Нет, с тобой, видно, не сговоришь! — решил огорченный Кишкин.

— Ты уж лучше с Петром Васильичем поговори! Он у нас грамотный. А мы — темные люди, каждого пня боимся...

Из кабака Кишкин отправился к Петру Васильичу, который сегодня случился дома. Это был испитой мужик, кривой на один глаз. На сходках он был первый крикун. В Фотьянке у него был лучший дом, единственный новый дом и даже с новыми воротами. Он принял гостя честью и все поглядывал на него своим уцелевшим оком. Когда Кишкин объяснил, что ему было нужно, Петр Васильич сразу смекнул, в чем дело.

— Да сделай милость, хоша сейчас к следователю! — повторял он с азартом. — Все покажу, как было дело... И все другие покажут. Я ведь смекаю, для чего тебе это надобно... Ох, смекаю!..

— А смекаешь, так молчи. Наболело у меня... ох, как наболело!..

— Сердце хочешь сорвать, Андрон Евстратыч?

— А уж это, как бог пошлет: либо сена клоц, либо вилы в бок.

Петр Васильевич выдержал характер до конца и особенно не расспрашивал Кишкина: его воз — его и песенки. Чтобы задобрить политичного мужика, Кишкин рассказал ему новость относительно Кедровской дачи. Это известие заставило Петра Васильевича перекреститься.

— Неужто правда, андел ты мой? А? Ах, божже мой... да, кажется, только бы вот дыхануть одинова дали, а то ведь это наша компания — мошла. Заживо все помираем... Ах, друг ты мой, какое ты словечко выговорил! Сам, говоришь, и гумагу читал? Правильная совсем гумага? С орлом?..

— Да уж правильнее не бывает...

— И што только будет? В том роде, как огроматный пожар... Верно тебе говорю... Изморился народ под канпанией-то, а тут на, работай где хошь.

— Только смотри: секрет.

— Да я... как гвоздь в стену заколотил: вот я какой человек. А што касаемо казенных работ, Андрон Евстратыч, так будь без сумления: хоша к самому министру

веди,— все как на ладонке покажем. Уж это верно... У меня двух слов не бывает. И других сговорю... Кажется, глупый народ, всего боится и своей пользы не понимает, а я всех подобью: и Лужопого, и Лучка, и Турку. Ах, какое ты слово сказал... Вот наш-то змей Родивон узнает, то-то на стену полезет.

— Да уж он знает! Я к нему заходил по пути...

— Ну, што он? Поди, из лица весь выступил? А? Ведь ему это без смерти смерть. Как другая цепная собака: ни во двор, ни со двора не пущает. Не поглянулось ему? А?.. Еще сродни мне приходится по мамыньке,— ну, да мне-то это все едино. Это уж мамынькино дело: она с ним дружит. Ха-ха... Ах, андел ты мой, Андрон Евстратыч! Пряменько тебе скажу: вдругорядь нашу Фотьянку с праздником делаешь,— впервой, когда россынь открыл, а теперь — словечком своим озолотил.

Они расстались большими друзьями. Петр Васильич выскочил провожать дорогого гостя на улицу и долго стоял за воротами,— стоял и крестился, охваченный радостным чувством. Что же, в самом-то деле, достаточно всякого горя та же Фотьянка напринималась: пора и отдохнуть. Одна казенная работа чего стоит, а тут компания насела и всем дух заперла. Подшибся народ вконец...

В свою очередь Кишкин возвращался домой тоже радостный и счастливый, хотя переживал совершенно другой порядок чувств.

III

Течением реки Балчуговки завод Балчуговский делился на две неровные половины,— правая Нагорная и левая Низменная — Низы. Название завода сохранилось здесь от стародавних времен, когда в Нагорной стоял казенный винокуренный завод, на котором все работы производились каторжными. Впоследствии, когда открылось золото, Балчуговка была запружена, а при запруде поставлена так называемая золотопромывальная мельница, в течение времени превратившаяся в фабрику. Другая золотопромывальная мельница была устроена в Фотьянке — место поселения отбывших каторжные работы. Самое селение поэтому долгое время было известно под именем Фотьянской мельницы.

Нагорная сторона Балчуговского завода служила настоящим каторжным гнездом и всегда сторонилась Низов, где с открытием золота были посажены три рекрутских набора. Промысловые работы, как и каторжное винокурение, велись военной рукой, с выслугой лет, палочьем и солдатской муштрой. Тогда все горное ведомство было поставлено на военную ногу. Поселившиеся в Нагорной каторжане, согнанные сюда со всех концов крепостной России, долго чуждались «некрутов», набранных из трех уральских губерний. Эта рознь сохранилась главным образом в кличках: нагорные «варнаки», а низовые «строгали» и «швали». От прежних времен на месте бывшей каторги остались еще «пьяный двор», где был завод, развалины каменного острога, «пьяная контора» и каменная церковь, выстроенная каторжными во вкусе Растрелли. Нагорные особенно гордились этой церковью, так как на Низах своей не было, и швали должны были ходить молиться в Нагорную. Населения в Балчуговском заводе считалось за десять тысяч.

Зыковский дом стоял недалеко от церкви. Это была большая деревянная изба с высоким коньком, тремя небольшими оконцами, до которых от земли не достанешь рукой, и старинными шатровыми воротами с вычурной резьбой. Ставилась эта изба на расейскую руку, потому что и сам старик Зыков был расейский выходец. Когда и за что попал он на каторгу — никто не знал, а сам старик не любил разговаривать о прошлом, как и другие старики-каторжане. Да и всего-то их оставалось в Балчуговском заводе человек двадцать, да на Фотьянке около того же. Гораздо живучее оказывались женщины-каторжанки, которых насчитывалось в Нагорной до полусотни, — все это были, конечно, уже старухи и все до одной семейные женщины. Мужчинам каторга давалась тяжелее, да и попадали они в нее редко молодыми, — а бабы главным образом были молодые. Первая жена Зыкова тоже была каторжанка. Она умерла рано, оставив после себя одного сына Якова, которому сейчас было уже под шестьдесят. Свою избу Зыков ставил при первой жене, которую вспоминал с особенным уважением.

Вторая жена была взята в своей же Нагорной стороне; она была уже дочерью каторжанки. Зыков лет на двадцать был старше ее, но она сейчас уже выглядела развалиной, а он все еще был молодцом. Старик почему-то недолюбли-

вал этой второй жены и при каждом удобном случае вспоминал про первую: «Это еще при Марфе Тимофеевне было», или: «Покойница Марфа Тимофеевна была большая охотница до заказных блинов». В первое время вторая жена, Устинья Марковна, очень обижалась этими воспоминаниями и раз отрезала мужу:

— А не сказывала тебе твоя-то Марфа Тимофеевна, как из острога ее водили в пьяную контору к смотрителю Антону Лазаричу?

Зыков весь побелел, затрясся и чуть не убил жену, — да и убил бы, если бы не помешали. Этого он никогда не мог простить Устинье Марковне и обращался с ней довольно сурово. Отношения с жениной родней тоже были довольно натянуты, и Зыков делал исключение только для одной тещи, в которой, кажется, уважал подругу своей жены по каторге. Дома старик бывал редко, как мы уже говорили. Он выходил домой в субботу вечером, когда шабашили все работы и когда нужно было идти в баню. Он ночевал в воскресенье дома, а затем в воскресенье же вечером уходил на свой пост, потому что утро понедельника для него было самым боевым временем: нужно было все работы цускать в ход на целую неделю, а рабочие не все выходили, справляя «узенькое воскресенье», как на промыслах называли понедельник.

Вечер субботы в зыковском доме всегда был временем самого тяжелого ожидания. Вся семья подтягивалась, а семья была не маленькая: сын Яков с женой и детьми, две незамужних дочери и зять, взятый в дом. Сам старик жил в передней избе, обставленной с известным комфортом: на полу домотканые половики из ветоши, стены оклеены дешевенькими обоями, русская печь завешена ситцевой занавеской, у одной стены своей, балчуговской работы березовый диван и такие же стулья, а на стене лубочные картины. В уголке стоял таинственный деревянный шкаф, всегда запертый на замок. В нем, по глубокому убеждению всей семьи и всех соседей, заключались несметные сокровища, потому что Родион Потапыч «ходил в штейгерах близко сорок лет», а другие наживали на таких местах состояние в два-три года.

Собственно, ответственными лицами в семье являлись Устинья Марковна и старший сын Яков. Еще поднимаясь по лесенке на крыльцо, Зыков обыкновенно спрашивал:

— А где малый?

Яков Родионич под этой кличкой успел поседеть, облысеть и нажать внучат. Весь завод называл его Яшей Малым. Это был безобидный человек и вместе упрямый, как резина. Жена у него давно умерла, оставив девочку Наташу и мальчика Петю. У себя дома Яша Малый не мог распорядиться даже собственными детьми, потому что все зависело от дедушки, а дедушка относился к сыну с большим подозрением, как и к Устинье Марковне. Из всей семьи Родион Потапыч любил только младшую дочь Федосью, которой уже было под двадцать, что по-балчуговски считалось уже девичьей старостью: как стукнет двадцать годков, так и перестарок. С первой дочерью Марьей, которая была на пять лет старше Федосьи, так и случилось: до двадцати лет все женихи сватались, а Родион Потапыч все разбирал женихов,— этот нехорош, другой нехорош, а третий и совсем плох. Сама Марья уже записала себя в незамужницы.

Была еще одна дочь, самая старшая, Татьяна, которая в счет не клалась, потому что ушла замуж убогом за строгаля в Низах, по фамилии Мыльников. Это был настоящий *mésalliance*¹, навсегда выкинувший непокорную дочь из родной семьи. Вот уже прошло целых двадцать лет, а Родион Потапыч еще ни разу не вспомнил про нее, да и никто в доме не смел при нем слова пикнуть про Татьяну. Болело за непокорную дочь только материнское сердце. Устинья Марковна под строжайшим секретом от мужа раза два в год навещала Татьяну, хотя это и самой ей было в тягость, потому что плохо жилось непокорной дочери,— муж попался «карашный», под пьяную руку совсем буян, да и зашибал он водкой все чаще и чаще. У Татьяны почти каждый год рождался ребенок, но, на ее счастье, дети больше умирали, и в живых оставались всего шесть человек, причем дочь старшая, Окся, заневестилась давно. Выпивши, Мыльников не упускал случая потравить «дорогого тестюшку» и систематически устраивал скандалы Родиону Потапычу раз десять в год. Взятый в дом зять Прокопий был смиренный и работающий мужик, который умел оставаться в тестевом доме совершенно незаметным. Его связывала быстро прибывавшая семья,— детей было уже трое. Работал Прокопий на золотопромывальной фабрике в доводчиках и получал всего двенадцать рублей. Родион

¹ перавный брак (*фр.*).

Потапыч почему-то делал такой вид, что совсем не замечает этого покорного зятя, а тот в свою очередь всячески старался не попадаться старику на глаза. Собственно, вся семья Родиона Потапыча жалась в одной задней избе, походившей на муравьище. Преобладание женского элемента придавало семье особенный характер: сестры вечно вздорили между собой, а Устинья Марковна вечно их мирила, плакалась на свою несчастную судьбу и в крайних случаях грозилась, что пожалуется «самому». До последнего, положим, дело не доходило, но эта угроза производила желанное действие. Главным несчастьем всей своей жизни Устинья Марковна считала то, что у нее родились все девки и ни одного сына. Этим она объясняла и нелюбовь мужа. Вон «варначка» Марфа Тимофеевна родила всего одного, да и тот сын...

В последнюю неделю в зыковской семье случилось такое событие, которое сделало субботу роковым днем. Дело в том, что любимая дочь Федосья бежала из дома, как это сделала в свое время Татьяна, — с той разницей, что Татьяна венчалась, а Федосья ушла в раскольничью семью сводом. Верстах в шести от Балчуговского завода разлилось довольно большое озеро Тайбола, а на нем осело раскольничье селение, одноименное с озером. По соседству балчуговцы и тайболовцы хотя и дружили, но в более близкие отношения не вступали, а число браков было наперечет. Замечательной особенностью тайболовцев было еще и то, что, живя в золотоносной полосе, они совсем не «занимались золотом». С последним для раскольников органически связывалось понятие о каторге, «пекрутчинс» и вообще поволе.

Федосья убежала в зажиточную сравнительно семью; но, кроме самовольства, здесь было еще уклонение в раскол, потому что брак был сводный. Все это так поразило Устинью Марковну, что она, вместо того чтобы дать сейчас же знать мужу на Фотьянку, задумала вернуть Федосью домашними средствами, чтобы не делать лишней огласки и чтобы не огорчить старика вконец. Устинья Марковна сама отправилась в Тайболу, но ее даже не допустили к дочери, несмотря ни на ее слезы, ни на угрозы.

Это обстоятельство точно оглушило Устинью Марковну. Она ходила по дому и повторяла:

— Вот уж воротится отец с промыслов и голову снимет!.. Разразит он всех... Ох, смертынька пришла!..

Да и все остальные растерялись. Дело выходило самое скверное, главное потому, что вовремя не оповестили старика. А суббота быстро близилась... В пятницу был собран экстренный семейный совет. Зять Прокопий даже не вышел на работу по этому случаю.

— Што уж, матушка, убиваться-то без пути,— утешала замужняя дочь Анна.— Наше с тобой дело бабье. Много ли с бабы возьмешь? А пусть мужики отвечают...

— Ишь, выискалась?! — ругался Яша.— Бабы должны за девками глядеть, штобы все сохранным было... Так ведь, Прокопий?

Прокопий, по обыкновению, больше отмалчивался. У него всегда выходило как-то так, что и да и нет. Это поведение взорвало Яшу. Что, в самом-то деле, за все про все отдувайся он один, а сами чуть что — и в кусты. Он напал на зятя с особенной энергией.

— Вот вы все такие, зятя! — ругался Яша.— Вам хоть трава не расти в дому, лишь бы самих не трогали...

— Я, что же я?.. — удивлялся Прокопий.— Мое дело самое маленькое в дому: пока держит Родион Потапыч, и спасибо. Ты — сын, Яков Родионыч: тебе много поближе... Конечно, не всякий подступится к Родиону Потапычу, ежели он в сердцах...

Это была хитрая уловка со стороны тишайшего зятя, знавшего самое слабое место Яши. Он, конечно, сейчас же вскипел, обругал всех и довольно откровенно заявил:

— Дураки вы все, вот што!.. Небойсь, прижали хвосты, а я вот нисколько не боюсь родителя... На волос не боюсь и все приму на себя. И Федосьино дело тоже надо рассудить: один жених не жених, другой жених не жених, — ну, и не стерпела девка. По-человечеству надо рассудить... Вон Марья из-за родителя в перестарки попала, а Феня это и обмозговала: живой человек о живом и думает. Так прямо и объясню родителю... Мне што, я его вот на эстолько не боюсь!..

— Ты бы сперва съездил еще в Тайболу-то, — нерешительно советовала Устинья Марковна.— Может, и уговоришь... Не чужая тебе Фея-то: родная сестра по отцу-то.

— И в Тайболу съезжу! — горячился Яша, размахивая руками.— Я этих кержаков в бараний рог согну... «Отдавайте Федосью назад!» Вот и весь сказ... У меня, брат, не отвертишься.

Напустив на себя храбрости, Яша к вечеру заметно

остым и только почесывал затылок. Он сходил в кабак, потолкался на пароде и пришел домой только к ужину. Храбрости оставалось совсем немного, так что и ночь Яша спал очень скверно и проснулся чуть свет. Устинья Марковна поднималась в доме раньше всех и видела, как Яша начинает трусить. Роковой день наступал. Она ничего не говорила, а только тяжело вздыхала. Напившись чаю, Яша объявил:

— Ну, мамушка, Устинья Марковна, благословляй... Сейчас еду в Тайболу выручать Феню.

— Дай тебе бог, Яша... Смотри, отец выворотится сейчас после свистка.

В критических случаях Яша принимал самый торжественный вид, а сейчас трудность миссии сопряжена была с вопросом о собственной безопасности. Ввиду всего этого Яша заседлал лошадь и отправился на подвиг верхом. Устинья Марковна выскочила за ворота и благословила его вслед.

Дорога в Тайболу проходила Низами, так что Яше пришлось ехать мимо избушки Мыльников, стоявшей на тракту, как называли дорогу в город. Было еще раннее утро, но Мыльников стоял за воротами и смотрел, как ехал Яша. Это был среднего роста мужик с растрепанными волосами, клочковатой рыжей бородежкой и какими-то «ядовитыми» глазами. Яша не любил встречаться с зятем, который обыкновенно поднимал его на смех, но теперь неловко было проехать мимо.

— Куда такую рань наклеся, дорогой деверек? — спрашивал Мыльников, здороваясь.

В окне проваленной избушки мелькнуло испитое лицо Татьяны, а затем показались ребячьи головы.

— Да так... в город по делу надо съездить, — соврал Яша и так неловко, что сам смутился.

— Ну, ну, не ври, коли не умеешь! — оборвал его Мыльников. — Небойсь, в гости к богоданному зятю поехал?.. Ха-ха... Эх, вы, раздуй вас горой: завели зятя. Только родню страмите... А што, дорогой тествюшка каково прыгает?..

— И не говори: беда... Объявить не знаем как, а сегодня выйдет домой к вечеру. Мамушка уж ездила в Тайболу, да ни с чем выворотилась, а теперь меня заслала... Может, и оборочу Феню.

— Хо-хо!.. Нашел дураков... Девка мак, так ее кержачки и отпустили. Да и тебе не обмозговать этого самого

дела... да. Вон у меня дерево стоеростовое растет, Окся; с руками бы и ногами отдал куда-нибудь на мясо,— да никто не берет. А вы плачете, што Феня своим умом устроилась...

— Да это бы бог с ней, што убегом, Тарас Матвейч, а вот вера-то ихняя стариковская.

Мыльников подумал, почесал в затылке и проговорил:

— А это ты правильно, Яша... Ни баба, ни девка, ни солдатка наша Феня... Ах, раздуй их горой, кержаков!.. Да ты вот што, Яша, подвинься немного в седле...

Не дожидаясь приглашения, Мыльников сам отодвинул Яшу вместе с седлом к гриве, подскочил, навалился животом на лошадиный круп, а затем уселся за Яшей.

— Да ты куда это? — изумлялся Яша.

— Как куда? Поедем в Тайболу... Тебе одному не управиться, а уж я, брат, из горла добуду. Эй, Окся, волоки мне картуз...

На этот крик показалась среднего роста девка с рябым скуластым лицом. Это и была Окся. Она как-то исподлобья посмотрела на Яшу и подала картуз.

— Ну ты, дерево, смотри у меня! — пригрозил ей отец. — Штобы к вечеру работа была кончена...

Окся только широко улыбнулась, показав два ряда белых зубов. Чадолюбивый родитель, отъехав шагов двадцать, оглянулся, погрозил Оксе кулаком и проговорил:

— Уродится же этакое дерево... а?..

IV

До Тайболы считали верст пять, и дорога все время шла столетним сосновым бором, сохранившимся здесь еще от «казенной каторги», как говорил Мыльников, потому что золотые промысла раскинулись по ту сторону Балчуговского завода. Дорога здесь была бойкая, по ней в город и из города шли и ехали «без утыху», а теперь в особенности, потому что зимний путь был на исходе, и в город без конца тянулись транспорты с дровами, сеном и разным деревенским продуктом. Мыльников знал почти всех, кто встречался, и не упускал случая побалагурить.

— Ну, Яшенька, и зададим мы кержакам горячего до слез!.. — хвастливо повторял он, ерзая по лошадиной спине. — Всю ихнюю стариковскую веру вверх дном поста-

вим... Уважим в лучшем виде! Хорошо, што ты на меня натакался, Яша, а то одному-то тебе где бы сладить... Э-э, мотри: ведь это наш Шишка пехтурой в город коптит! Он...

Они нагнали шагавшего по дороге Кишкина уже в виду Тайболы, где сосновый бор точно расступался, открывая широкий вид на озеро. Кишкин остановился и дождал ехавших верхом родственников.

— Андрону Евстратычу! — крикнул Мыльников еще издали, взмахивая своим картузом. — Погляди-ка, как Тарас Мыльников на тестевых лошадях покатывается...

— Али на свадьбу собрались? — пошутил Кишкин, осклабившись. Он уже знал об убеге Фени.

— Горе наше лютое, а не свадьба, Андрон Евстратыч, — пожаловался Яша, качая головой. — Родитель сегодня к вечеру выворотится с Фотьянки и всех нас распатропит...

— Бог не без милости, Яша, — утешал Кишкин. — Уж такое их девичье положенье: сколь девку ни корми, а все чужая... Вот што, други, надо мне с вами переговорить по тайности: большое есть дело. Я тоже до Тайболы, а оттуда домой и к тебе, Тарас, по пути заверну.

— Милости просим, Андрон Евстратыч... Ты это не на счет ли Пронькиной вышки промыляешь?..

— А ты пасть-то свою раствори, Тарас! — огрызнулся Кишкин. — О Пронькиной вышке своя речь... Ах, бóтало коровье!.. С тобой пива не сварить...

— Только припасай денег, Андрон Евстратыч, а уж я тебе богатство предоставлю! — хвастался Мыльников. — Я в третьем году шишковал в Кедровской, так завернул на Пронькину-то вышку... И местечко только.

У самого въезда в Тайболу, на левой стороне дороги, зеленой шапкой виднелся старый раскольничий могильник. Дорога здесь двоилась: тракт отделял влево узенькую дорожку, по которой и нужно было ехать Яше. На расставии они попрощались с Кишкиным, и Мыльников презрительно проговорил ему вслед:

— Шишка и есть: ни конца ни краю не найдешь. Одним словом, двухорловый!.. Туда же, золота захотел!.. Ха-ха... Так я ему и сказал, где оно спрятано. А у меня есть местечко... ох, какое местечко, Яша!.. Гляди-ка, ведь это кабатчик Ермошка на своем виноходе закопачивает? Он... Ловко. В город погнал с краденым золотом...

Раскольниковы «жило» начиналось сейчас за могильником. Третий от края дом принадлежал скорнякам Кожиным. Старая высокая изба, поставленная из кондового леса, выходила огородом на озеро. На самом берегу стояла и скорняжная — каменное низкое здание, распространявшее зловоние на весь квартал. Верст на пять берег озера был обложен раскольниковой стройкой, разорванной в самой середине двумя пустырями: здесь красовались два больших раскольниковых скита, мужской и женский, построенные в тридцатых годах нынешнего столетия. Вид на озеро от могильника летом был очень красив, и тайбольцы ничего лучшего не могли и представить.

— Подворачивай! — крикнул Мыльников, когда они поровнялись с кожинской избой. — Дорогие гости приехали.

Ворота у Кожиных всегда были, по раскольниковому обычаю, на запоре, и гостям пришлось стучаться в окно. Показалось строгое старушечье лицо.

— Летела жар-птица, уронила золотое перо, а мы по следу и приехали к тебе, баушка Маремьяна, — заговорил Мыльников, когда отодвинулось волоковое окно.

— Заходите, гости будете, — пригласила старуха, держа шнурок, проведенный к воротной щеколде. — Коли с добром, так милости просим...

Двор был крыт наглухо, и здесь царила такая чистота, какой не увидишь у православных в избах. Яша молча привязал лошадь к столбу, оправил шубу и пошел на крыльцо. Мыльников уже был в избе. Яша по привычке хотел перекреститься на образ в переднем углу, но Маремьяна его оговорила:

— У себя дома молись, родимый, а наши образа оставь... Садитесь, гостеньки дорогие.

Изба была оклеена обоями на городскую руку; на полу везде половики; русская печь закрыта ситцевым пологом. Окна и двери были выкрашены, а вместо лавок стояли стулья. Из передней избы небольшая дверка вела в заднюю маленьким теплым коридорчиком.

— Ну, начинай, чего молчишь, как пень? — подталкивал Яшу Мыльников. — За делом приехали...

Яша моргал глазами, гладил свою лысину и не смел взглянуть на стоявшую посреди избы старуху.

— Нам бы сестрицу Федосью Родивоновну повидать... — проговорил наконец Яша, чувствуя как его начинает пробивать пот.

— Не чужие будем, баушка Маремьяна,— вставил Мыльников.

— А на какую причину она вам понадобилась? — ответила старуха.

Старуха была одета по-старинному, в кубовый косоклинный сарафан и в белую холщевую рубашку. Темный старушечий платок покрывал голову.

— Мы с добром приехали, баушка Маремьяна,— ответил Мыльников, размахивая рукой.— Одним словом, сродственники... Не съедим сестрицу Федосью Родивоновну.

— Ладно, коли с добром,— согласилась старуха и вышла в маленькую дверку.

— Медведица...— проговорил Мыльников, указывая глазами на дверь, в которую вышла старуха.— погоди, вот я разговорюсь с ней по-настоящему... Такого холоду напущу, что не обрадуется.

Вошла Феня, высокая и стройная девушка, конфузившаяся теперь своего красного кумачного платка, повязанного по-бабьи. Она заметно похудела за эти дни и пугливо смотрела на брата и на зятя своими большими серыми глазами, опущенными такими длинными ресницами.

— Здравствуйте, братец Яков Родивоныч,— покорным тоном проговорила она, кланяясь.— И вы, Тарас Матвейч, здравствуйте...

— Вот што, Феня,— заговорил Яша,— сегодня родитель с Фотьянки выворотится, и всем нам из-за тебя без смерти смерть... Вот какая оказия, сестрица любезная. Мамушка слезьми изошла... Наказала кланяться.

— Крутенок тестюшка-то Родивон Потапыч,— прибавил Мыльников.— Таку резолюцию наведет...

— Что же я, братец Яков Родивоныч...— прошептала Феня со слезами на глазах.— Один мой грех и тот на виду, а там уж как батюшка рассудит... Муж за меня ответит, Акинфий Назарыч. Жаль мне матушку до смерти...

Она всхлипнула и закрыла лицо руками. В коридоре за дверкой слышалось осторожное шушуканье, а потом показался сам Акинфий Назарыч, плотный и красивый молодец, одетый по-городски в суконный пиджак и брюки навыпуск.

— Вот что, господа,— заговорил он, прикрывая жену собой,— не женское дело разговоры разговаривать... У Федосьи Родивоновны есть муж, он и в ответе. Так скажите

и батюшке Родиону Потапычу... Мы от ответа не прячемся. Наш грех...

— Вот ты поговори с ним, с тестем-то, малиновая голова! — заметил Мыльников и засмеялся. — Он тебе покажет...

— И поговорим, и даже очень поговорим, — уверенно ответил Акинфий Назарыч. — Не первая Федосья Родионовна и не последняя.

— Да про побег нет слова, Акинфий Назарыч, — вступился Яша, — дело житейское... А вот как насчет веры? Не стерпит тятенька.

— Что же вера? Все одному богу молимся, все грешны, да божьи... И опять не первая Федосья Родионовна по древнему благочестию вдалась: у Мятелевых жена православная в городе взята, у Никоновых ваша же балчуговская... Да мало ли!.. А между прочим, что это мы разговариваем, как на окружном суде... Мамынька, Феня, обряжайте закусточку да чего-нибудь потеплее для родственников. Честь лучше бесчестья завсегда... Так ведь, Тарас?

— Ах, и хитер ты, Акинфий Назарыч! — блаженно изумлялся Мыльников. — В самое то есть живое место попал... Семь бед — один ответ. Когда я Татьяну свою уволок у Родивона Потапыча, было тоже греха, а только я свою линию строго повел. Нет, брат, шалишь... Не тронь!..

Закуска и выпивка явились как по щучьему велению: и водка, и настойка, и тенериф, и капуста, и грибочки, и огурчики.

— Господа, пожалуйста! — приглашал Акинфий Назарыч. — Сухая ложка рот дерет... Вкусим по единой, аще же не претит, то и по другой.

Яша тяжело вздохнул, принимая первую рюмку, точно он продавал себя. Эх, и достанется же от родителя... Ну, да все равно: семь бед — один ответ... И Фени жаль, и родительской грозы не избежать. Зато Мыльников торжествовал, попав на даровое угощение... Любил он выпить в хорошей компании...

— А где баушка Маремьяна? — пристал он. — Хочу беспрерывно с ней выпить, потому люблю... Феня, тащи баушку!..

Старуха для приличия поломалась, а потом вышла и даже «пригубила» какой-то настойки.

— Как же теперь нам быть? — спрашивал Яша после третьей рюмки. — Без ножа зарезала нас Феня...

— Чему быть, того не миновать! — весело ответил Акинфий Назарыч. — Ну, пошумит старик, покажет пыль — и весь тут... Не всякое лыко в строку. Мало ли наши кержанки за православных убогом идут? Тут, брат, силой ничего не поделаешь. Не те времена, Яков Родионыч. Рассудите вы сами...

— Опо конечно, — соглашался пьяневший Яша. — Я ведь тоже с родителем на перекосях... Очень уж он компании нашей подвержен, а я наоборот: до старости у родителя в недоносках состою... Также в другой раз и обидно.

— А ты выцела требуй, Яша, — советовал Мыльников. — Слава богу, своим умом пора жить... Я бы так давно наплевал: сам большой — сам маленький, и знать ничего не хочу. Вот каков Тарас Мыльников!

— Перестань молоть! — оговаривала его старая Маремьяна. — Не везде в задор да волчьим зубом, а мирком да ладком, пожалуй, лучше... Так ведь я говорю, сват — большая родня?

— Какой я сват, баушка Маремьяна, когда Родивон Потапыч считает меня в том роде, как троюродное наплевать. А мне бог с ним... Я бы его не обидел. А выпить мы можем завсегда... Ну, Яша, которую не жаль, та и наша.

С каждой новой рюмкой гости делались все разговорчивее. У Яши начали сладко слипаться глаза, и он чувствовал себя уже совсем хорошо.

— Что же, ну пусть родитель выворачивается с Фотьянки... — рассуждал он, делая соответствующий жест. — Ну, выворотится, я ему напрямки и отрежу: так и так, был у Кожиных, видел сестрицу Федосью Родивоновну и всякое прочее... А там хоть на части режь...

— Он за баб примется, — говорил Мыльников, удушливо хихикая. — И достанется бабам... ах, как достанется! А ты, Яша, ко мне ночевать, к Тарасу Мыльникову. Никто пальцем не смеет тронуть... Вот это какое дело, Яша!

Когда гости нагрузились в достаточной мере, баушка Маремьяна выпроводила их довольно бесцеремонно. Что же, будет, посидели, выпили — надо и честь знать, да и дома ждут. Яша с трудом уселся в седло, а Мыльников занес уже половину своего пьяного тела на лошадиный круп, но вернулся, отвел в сторону Акинфия Назарыча и таинственно проговорил:

— Уж я все устрою, шурин... все! У меня, брат, Родивон Потапыч не отвертится... Я его приструплю. А ты,

Акинфий Назарыч, соблаговоли мне как-нибудь выросточек: у тебя их много, а я сапожки сошью. Ух, у меня ловко моя Окся орудует...

— Хорошо, хорошо...— соглашался «молодой».— Две кожи подарю. Сам привезу.

Гостей едва выпроводили. Феня горько плакала. Что-то там будет, когда воротится домой грозный тятенька?.. А эти пьянчуги только ее срамят... И зачем приезжали, подумаешь: у обоих умок-то ребячий.

— Перестань убиваться-то,— ласково уговаривал жену Акинфий Назарыч.— Москва слезам не верит... Хорошая-то родня по хорошим, а наше уж такое с тобой счастье.

Яша и Мыльников возвращались домой в самом праздничном настроении и, миновав могильник, затянули даже песню:

Как сибирский енерал
Да сганового обучал...

На тракту их опять обогнал целовальник Ермошка, возвращавшийся из города. С ним вместе ехал приисковый доводчик Ераков. Оба были немного навеселе.

— Ох, два голубя, два сизых! — крикнул Ермошка, поровнявшись с верховыми.— Откедова бог несет?.. Подмокли малым делом...

— А тебе завидно? — огрызнулся Мыльников.— Кабацкая затычка и больше ничего.

Ермошка любил, когда его ругали, а чтобы потешиться, подстегнул лошадь веселых родственников, и они чуть не свалились вместе с седлом. Этот маленький эпизод несколько освежил их, и они опять запели во все горло про сибирского генерала. Только подъезжая к Балчуговскому заводу, Яша начал приходить в себя: хмель сразу вышибло. Он все чаще и чаще стал пробовать свой затылок...

— Который теперь час? — спрашивал он.

— А скоро, видно, три... Гляди, уж господа теперь чай пьют. А ты, друг, заедем наперво ко мне, а от меня... Знаешь, я тебя провожу. Боишься родителя-то?

— А ну его... Побьет еще, пожалуй.

— Н-но-о?..

— Верно тебе говорю.

Яшей овладело опять такое малодушие, что он рад был хоть на час отсрочить неизбежную судьбу. У него сохранился к деспоту-отцу какой-то панический страх... А вот

и Балчуговский завод и широкая улица, на которой стояла проваленная избенка Тараса.

— Гли-ко, гли, Яша! — крикнул Мыльников, выглядывая из-за его спины. — У моих-то ворот кто сидит?

— И то как будто сидит.

— Да ведь это Шишка... Верное слово!.. Ах, раздуй его горой...

У ворот избы Тараса действительно сидел Кишкин, а рядом с ним Окся. Старик что-то расшутился и довольно галантно подталкивал свою даму локтем в бок. Окся сначала ухмылялась, показывая два ряда белых зубов, а потом, когда Кишкин попал локтем в непоказанное место, с быстротой обезьяны наотмашь ударила его кулаком в живот. Старик громко вскрикнул от этой любезности, схватившись за живот обеими руками, а развеселившаяся Окся треснула его еще раз по затылку и убежала.

— Ох-хо-хо! — заливался Мыльников, подъезжавший в этот трагический момент к своему пепелищу. — Вот так Окся: уважила Андрона Евстратыча... Ишь, разыгралась к ненастью! Ах курва, Окся, ловко она саданула...

V

Ожидание возвращения с Фотьянки «самого» в зыковском доме было ужасно. Сама Устинья Марковна чувствовала только одно, что у нее вперед и язык немеет, и поги подкашиваются. Что она будет говорить взбешенному мужу, когда сама кругом виновата и вовремя не досмотрела за дочерью? Понадеялась на девичью совесть... «Вековушка» Марья и замужняя Анна, конечно, останутся в стороне. Последняя, хотя и слабая, надежда у старухи была на мужиков — на пасынка Яшу и на зятя Прокопия. Она все поглядывала в окошко, не едет ли Яша. Вот уже стало и темнеться, значит близко шести часов, а в семь свисток на фабрике, а к восьми выворотится Родион Потапыч и первым делом хватится своей Фени. Каждый стук на улице заставлял ее вздрагивать.

— Хоть бы Прокопий-то поскорее пришел, — вслух думала старушка, начинавшая сомневаться в благополучном исходе Яшиной засылки.

Вот загудел и свисток на фабрике. Под окнами затопали торопливо шагавшие с фабрики рабочие, — все торо-

пились по домам, чтобы поскорее попасть в баню. Вот и зять Прокопий пришел.

— Нету ведь Яши-то,— шепотом сообщила ему Устинья Марковна.— С самого утра уехал... Што ему делать-то в Тайболе столько время?.. Думаю, не завернул ли Яша в кабак к Ермошке...

Прокопий ничего не ответил. Он закусил у печки вчерашнего пирога с капустой и пошел из избы.

— Ты куда, Прокопий? — окликнула его в ужасе Устинья Марковна.

— Я пойду Яшу искать,— ответил он, глядя в угол.— Куды мы без него? Некуда ему деться, окромя кабака.

И теща и жена отлично понимали, что Прокопий хочет скрыться от греха, пока Родион Потапыч будет производить над бабами суд и расправу, но ничего не сказали: что же, известное дело, зять... Всякому до себя.

— А што же в баню-то сегодня не пойдешь, што ли? — окликнула Прокопия уже на пороге вековушка Марья.

— Успеется и баня,— ответил Прокопий.— Пусть ба-тюшка первым идет...

«Баный день» справлялся у Зыковых по старине: прежде, когда не было зятя, первыми шли в баню старики, чтобы воспользоваться самым дорогим первым паром, за стариками шел Яша с женой, а после всех остальная чадь, то есть девки, которые вообще за людей не считались. С выходом Анны замуж «первый пар» был уступлен зятю, а потом шли старики. Убегавший теперь от первого пара Прокопий показывал свою полную нравственную несостоятельность, что и подчеркнула своим вопросом вековушка Марья. Она горько улыбнулась, когда захлопнулась дверь за Прокопием, и проворчала:

— Тоже, мужик называется... Оставил одних баб. Разве так настоящие-то мужики делают?..

— Молчи, Марья! — окликнула ее мать.— Ты бы вот завела своего мужика, да и мудрила над ним... Не больно-то много ноне с зятя возьмешь, а наш Прокопий воды не замутит.

— У тебя нет лучше Прокопья,— ворчала Марья.

— Ты у меня поворчи! — крикнула мать.— Зубы-то долги стали...

За убогом Фени с Марьей точно что сделалось, и она постоянно приставала к матери, чего раньше и в помине не было.

Время летело быстро, и Устинья Марковна совсем упала духом: спасенья не было. В другой бы день, может, кто-нибудь вечером завернул, а на людях Родион Потапыч и укротился бы, но теперь об этом нечего было и думать: кто же пойдет в банный день по чужим дворам. На всякий случай затеплила она лампадку пред скорбящей и положила перед образом три земных поклона.

Родион Потапыч явился на целых полчаса раньше, чем его ожидали. Его подвез какой-то попутный из Фотьянки.

— А где Феня? — спросил он по обыкновению, поднимаясь на крыльцо.

— В соседи увернулась, — ответила Устинья Марковна, ни живая ни мертвая от страху.

— Не нашла время...

Старик вошел в избу, снял с себя шубу, поставил в передний угол железную кружку с золотом, добыл из-за пазухи завернутый в бумагу динамит и потом уже помоллся.

— Это на какую причину лампадка теплится? — спросил он.

— А воскресенье завтра, Родивон Потапыч... Банька готова, хоть сейчас можно идти.

— А Прокопий когда успел в баню сходить?

— Да он потом, Родивон Потапыч, он тоже увернулся по делу.

— Порядков не знаете?! — крикнул старик и топнул ногой. — Ты у меня смотри, потатчица...

Он сразу почуял что-то неладное и грозно посмотрел на трепетавшую старуху, потом хотел что-то сказать, но в этот критический момент под самым окном раздалась пьяная песня:

Как сибирский еперал
Да ста-анового о-бучал!..

Устинья Марковна так и обомлела: она сразу узнала голос пьяного Яши... Не успела она опомниться, как пьяные голоса уже послышались во дворе, а потом грузный топот шарашавшихся ног на крыльце.

— Батюшки, да никак и Тарас с ним! — охнула Устинья Марковна, опрометью бросаясь из избы, чтобы прогнать пьяниц.

Но было уже поздно. Тарас и Яша входили в избу, подталкивая друг друга и придерживаясь за косяки.

— Родителю... многая лета...— бормотал Мыльников, как-то сдирая шапку с головы.— А мы вот с Яшей, значит, тово... Да ты говори, Яша!..

Родион Потапыч точно онемел: он не ожидал такой отчаянной дерзости ни от Яши, ни от зятя. Пьяные как стельки и лезут с мокрым рылом прямо в избу... Предчувствие чего-то дурного остановило Родиона Потапыча от надлежащей меры, хотя он уже и приготовил руки.

— Так мы, значит, из Тайболы...— объяснил Мыльников, тыкая шапкой вперед.— От Федосьи Родивоновны поклончик привезли.

— От какой Федосьи Родивоновны? — повторил старик, чувствуя, как у него волосы поднимаются дыбом.— Да вы сбесились, оглашенные?.. Да я...

— А ты не больно, родитель, тово...— неожиданно заявил насмелившийся Яша.— Не наша причина с Тарасом, ежели Феня тово... убежала, значит, в Тайболу. Мы ее как домой тащили, а она свое... Одним словом, дура.

Тут уже Устинья Марковна не вытерпела и комом повалилась в ноги грозному мужу, причитая:

— Уж и што мы наделали!.. Феня-то сбежала в Тайболу... за кержака, за Акиньюку Кожина... Третий день пошел...

Зыков зашатался на месте, рванул себя за седую бороду и рухнул на деревянный диван. Старуха подползла к нему и с причитаньями ухватилась за ногу, но он грубо оттолкнул ее.

— Да вы... вы одурели тут все без меня? — хрипло крикнул он, все еще не веря собственным ушам.— Да я вас... Яшка, вон!.. Штобы и духу твоего не осталось!

— А ты не больно, родитель, тово...— дерзко ответил Яша.

— Што-о?!

— А вот это самое... Будет тебе падо мной измываться. Вполне даже достаточно... Пора мне и своим умом жить... Выдели меня, и конец тому делу. Купи мне избу, лошадь, коровенку, ну обзаведение, а там я сам...

— Правильно, Яша!..— поощрял Мыльников.— У меня в суседах место продается, первый сорт. Я его сам для себя берег, а тебе, уж так и быть, уступаю...

Старик рванулся с места, схватил Яшу левой рукой, зятя правой и вытолкнул их за дверь...

— Да ты не больно!.. — кричал Мыльников уже в сепях. — Ишь, какой выискался... Мы тоже и сами с усами!.. Айда, Яша, со мной...

В этот момент выскочила из задней избы Наташа и ухватила отца за руку, да так и повисла.

— Тятя, родимый!.. Я боюсь!.. Тятя!..

— Ну, вот... — проговорил Яша таким покорным тоном, как человек, который попал в капкан. — Ну, што я теперь буду делать, Тарас? Наташка, отцепись, глупая...

— Тятенька, миленький!..

Яша сразу обессилел: он совсем забыл про существование Наташки и сынишки Пети. Куда он с ними девется, ежели родитель выгонит на улицу?.. Пока большие бабы судили да рядили, Наташка не принимала в этом никакого участия. Она пестовала своего братишку смирененько где-нибудь в уголке, как и следует сироте, и все ждала, когда вернется отец. Когда в передней избе поднялся крик, у ней тряслись руки и ноги.

— Наташка, перестань... брось... — уговаривал ее Мыльников. — Не смущай своо родителя... Вишь, как он сразу укоротился. Яша, што же это ты в самом-то деле?.. По первому разу и испугался родителей!..

— И ты тоже хорош, — корил Яша своего сообщника. — Только языком здря болтаешь... Ступай-ка вот, поговори с тестем-то.

Мыльников презрительно фыркнул на малодушного Яшу и смело отворил дверь в переднюю избу. Там шел суд. Родион Потапыч сидел по-прежнему на диване, а Устинья Марковна, стоя на коленях, во всех подробностях рассказывала, как все вышло. Когда она начинала всхлипывать, старик грозно сдвигал брови и топал на нее ногой. Появление Мыльникова нарушило это супружеское объяснение.

— Ты... ты зачем? — грозно спрашивал его старик.

— А дело есть, Родион Потапыч... Ты вот Тараса Мыльникова в шею, а Тарас Мыльников к тебе же с добром, с хорошим словом.

— Говори скорее, коли дело есть, а то проваливай, кабацкая затычка...

— И не маленькое дельце, Родивон Потапыч, только пусть любезная наша теща Устинья Марковна как быдто выдет из избы. Женскому полу это не следует и понимать...

Зыков сделал знак глазами, и любезная теща уплелась из избы, благословляя на этот раз заблудящего и отпетого зятя.

— Дело-то самое короткое, Родивон Потапыч... Шишка-то был у тебя на Фотьянке?

— Ну, был...

— Опрашивал он тебя касаясь допрежних времен и казенной работы?

— Пустой он человек. Болтал разное...

— Ну, так слушай... Ты вот Тараса за дурака считал и на порог не пускал...

— Да не болтай глупостей, шалая голова!.. Не люблю...

— Донос Шишка пишет, вот што! — точно выстрелил Тарас. — О казенной работе, как золото воровали на промыслах. Все пишет. Сегодня меня подговаривал... Значит, как я в те поры на Фотьянке в шорниках состоял, ну, так он и меня записал. Анжинеров Шишка хочет под суд упечь, потому как очень ему теперь обидно, что они живут да радуются, а он дыра в горсти. Слышь, и тебя в главные свидетели запятил, и фотьянских штегеров, и балчуговских, всех в один узел хочет завязать. Вот он каков человек есть, значит, Шишка. Прямо так и говорит: «Всех в Сибирь упеку».

— Не пойму я тебя, Тарас, — сурово проговорил старик. — А ты садись, да и рассказывай толком...

Мыльников с важностью присел к столу и рассказал все по порядку: как они поехали в Тайболу, как по дороге нагнали Кишкина, как потом Кишкин дожидался их у его избышки.

— Сперва-то он издалека речь завел, — рассказывал Мыльников. — Насчет Кедровской казенной дачи, што она выходит на волю и што всякий там может работать... Известно, соблазнял, а потом и подсыпался: «Ты, Тарас Матвейч, ходил в шорниках на Фотьянке? Можешь себя обозначить, ежели я в свидетели поставлю, как анжинеры золото воровали...» И пошел. Золото, грит, у старателей скупали по одному рублю двадцати копеек за золотник, а в казну его записывали по четыре да по пяти цалковых. И пошел, и пошел... И нынешнюю, грит, канпанию заодно подведу, потому, грит, мне заодно пропадать. Вот он каков человек есть, Шишка этот. Самый зловредный выходит...

— Ну, а еще-то што?

— Да все тут... А ежели относительно сестрицы Федосьи Родионовны, то могу тоже соответствовать вполне.

— Ну, это не твоего ума дело! Убирайся...

— Только и всего?

— Достаточно по твоему великому уму... И Шишка дурак, што с таким худым решетом, как ты, связывается!..

— Ну и дал бог родню! — ругался Мыльников, хлопая дверью.

Выгнав из избы дорогого зятя, старик долго ходил из угла в угол, а потом велел позвать Якова. Тот сидел в задней избе рядом с Наташей, которая держала отца за руку.

— Ты это што за модель выдумал... а?! — грозно встретил Родион Потапыч непокорное детище. — Кто в дому хозяин?.. Какие ты слова сейчас выражал отцу? С кем связался-то?.. Ну, чего березовым пнем уставился?

— Из твоей воли, тятенька, я не выхожу, — упрямо заявил Яша, сторонясь, когда отец подходил слишком близко. — А желаю выдел получить...

— Какой тебе выдел, полоумная башка?.. Выгоню на улицу в чем мать родила, вот и выдел тебе. По миру пойдешь с ребятами...

— А уж што бог даст... Получше нас с тобой, может, с сумой в другой раз ходят. А што касася выдела, так уж как волостные старички рассудят, так тому и быть.

Родион Потапыч с ужасом посмотрел на строптивца, хотел что-то сказать, но только махнул рукой и бессильно опустил на диван.

— Пора мне и свой угол завести, — продолжал Яша. — Вот по весне выйдет на волю Кедровская дача, так надо не упустить случая... Все кинутся туда, ну и мы сговорились.

— Што-о?..

— Сговорились, говорю. Своя у нас компания: значит, зять Тарас Матвейч, я, Кишкин...

— Вот так компания! — охнул Родион Потапыч. — Всех вас, дураков, на одно лыко связать да в воду... Ха-ха!..

Старик редко даже улыбался, а как он хохочет — Яша слышал в первый раз. Ему вдруг сделалось так страшно, так страшно, как еще никогда не было, а ноги сами подкашивались. Родион Потапыч смотрел на него и продолжал хохотать. Спрятавшаяся за печь Устинья Марковна торопливо крестилась: тряхнул старик...

— Так компания? А? — спрашивал Родион Потапыч, делая передышку. — Кедровская дача на волю выйдет? Богачами захотели сделаться... а?..

— Уж это кому какие бог счастья пошлет...

— Хорошо, я тебе покажу Кедровскую дачу. Ступай, оболокайся...

Когда Яша с привычной покорностью вышел, из-за печи показалось испуганное лицо Устиньи Марковны.

— Как же насчет Фени-то?.. — шептала она побелевшими от страха губами. — Слезьми, слышь, изошла...

Старик посмотрел на жену, повернулся к образу и, подняв руку, проговорил:

— Будь она от меня проклята...

Устинья Марковна так и замерла на месте. Она всего ожидала от рассерженного мужа, но только не проклятия. В первую минуту она даже не сообразила, что случилось, а когда Родион Потапыч надел шубу и пошел из избы, бросилась за ним.

— Родион Потапыч, опомнись!.. Родной...

Но он уже спускался по лесенке, а за ним покорно шел Яша.

VI

Родион Потапыч вышел на улицу и повернул вправо, к церкви. Яша покорно следовал за ним на приличном расстоянии. От церкви старик спустился под горку на плотину, под которой горбился деревянный корпус толчеи и промывальни. Сейчас за плотиной направо стоял ярко освещенный господский дом, к которому Родион Потапыч и повернул. Было уже поздно, часов девять вечера, но дело было неотложное, и старик смело вошел в настежь открытые ворота на широкий господский двор.

— Степан Романыч дома? — сурово спросил он стоявшего на крыльце лакея Ганьку.

— У них гости... — с лакейской дерзостью ответил Ганька и даже заслонил дверь своей лакейской особой. — К ним нельзя-с...

— Дурак! — обругал старик, отталкивая Ганьку. — А ты, Яшка, подождешь меня здесь...

Господский дом на Низах был построен еще в казенное время, по общему типу построек времен Аракчеева: с фронтоном, белыми колоннами, мезонином, галереей и

подъездом во дворе. Кругом шли пристройки: кухня, людская, кучерская и т. д. Построек было много, а еще больше неудобств, хотя главный управляющий Балчуговских золотых промыслов Станислав Раймундович Карачунский и жил старым холостяком. Рабочие перекрестили его в Степана Романыча. Он служил на промыслах уже лет двенадцать и давно был своим человеком.

В большой передней всех гостей встречали охотничьи собаки, и Родион Потапыч каждый раз морщился, потому что питал какое-то органическое отвращение к псу вообще. На его счастье вышла смазливая горничная в кокетливом белом переднике и отогнала обнюхивавших гостя собак.

— У них гости... — шепотом заявила она, как и Ганька. — Анжинер Оников да лесничий Штамм...

Доносившийся из кабинета молодой хохот не говорил о серьезных занятиях, и Зыков велел доложить о себе.

— Сурьезное дело есть... Так и скажи, — наказывал он с обычной внушительностью. — Не задержу...

Горничная посмотрела на позднего гостя еще раз и, приподняв плечи, вошла в кабинет. Скоро послышались легкие и быстрые шаги самого хозяина. Это был высокий, бодрый и очень красивый старик, ходивший танцующим шагом, как ходят щеголи-поляки. Волнистые волосы снежной белизны были откинуты назад, а великолепная седая борода, закрывавшая всю грудь, эффектно выделялась на черном бархатном жакете. Карачунский был отчаянный франт, настоящий идол замужних женщин и необыкновенно веселый человек. Он всегда улыбался, всегда шутил и шутя прожил всю жизнь. Таких счастливцев остается немного.

— Ну что, дедушка? — весело проговорил Карачунский, хлопая Зыкова по плечу. — Шахту, видно, опустил?..

— С нами крестная сила! — охнул Родион Потапыч и даже перекрестился. — Уж только и скажешь словечко, Степан Романыч...

— Что же, этого нужно ждать: на Спасо-Колчеданской шахте красик пошел, значит, и вода близко... Помнишь, как Шишкаревскую шахту опустили? Ну и с этой то же будет...

— Может, и будет, да говорить-то об этом не след, Степан Романыч, — правоучительно заметил старик. — Не таковское это дело...

— А что?

— Да так... Не любит она, шахта, когда здря про нее начнут говорить. Уж я замечал... Вот когда приезжают посмотреть работы да особенно который гость похвалит — нет того хуже.

— Сглазить шахту можно?..— засмеялся Карачунский.— Ну, бог с ней...

Зыков переминался с ноги на ногу, косясь на стоявшую в зале горничную. Карачунский сделал ей знак уйти.

— Что, разве чай будем пить, дедушка? — весело проговорил он.— Что мы будем в передней-то стоять... Проходи.

— Ох, не до чаю мне, Степан Романыч...

Оглядевшись еще раз, старик проговорил упавшим голосом, в котором слышались слезы:

— К твоей милости пришел, Степан Романыч... Не откажи, будь отцом родным! На тебя вся надежда...

С последними словами он повалился в ноги. Неожиданность этого маневра заставила растеряться даже Карачунского.

— Дедушка, что ты... Дедушка, нехорошо!..— бормотал он, стараясь поднять Родиона Потапыча на ноги.— Разве можно так?..

— Парня я к тебе привел Степан Романыч... Совсем от рук отбился малый: сладу не стало. Так я того... Будь отцом родным...

— Какого парня, дедушка?

— Да Яшку моего беспутного...

— Ах, да... Ну, так что же я могу сделать?

— Окажи божецкую милость, Степан Романыч, прикажи его, варнака, на конюшне отодрать... Он `на дворе ждет.

Карачунский даже отступил, стараясь припомнить, нет ли у Зыкова другого сына.

— Да ведь он уже седой, твой-то парень? Ему уж под шестьдесят?

— Вот то-то и горе, што седой, а дурит... Надо из него вышибить эту самую дурь. Прикажи отправить его на конюшню...

Зыков опять повалился в ноги, а Карачунский не мог удержаться и звонко расхохотался. Что же это такое? «Парнишке» шестьдесят лет, и вдруг его драть... На хохот из кабинета показались горный инженер Ошников, бесцвет-

ный молодой человек в форменной тужурке, и тощий носатый лесничий Штамм.

— Вот не угодно ли? — обратился к ним Карачунский, делая отчаянное усилие, чтобы не расхохотаться снова. — Парнишку хочешь сечь, а парнишке шестьдесят лет... Нет, дедушка, это не годится. А позови его сюда, может быть, я вас помирю как-нибудь.

— Нет, уж это ты оставь, Степан Романыч: не стоит он, поганец, чтобы в чистые комнаты его пущали. Одна гадость. Так нельзя, Степан Романыч?

— Я не имею права, да и никто другой тоже.

— Ну, все равно, я его в волости отдеру. Мочи не стало с ним, совсем от рук отбился.

Гости Карачунского из уважения к знаменитому «присковому дедушке» только переглядывались, а хохотать не смели, хотя у Оникова уже морщился нос и вздрагивала верхняя губа, покрытая белобрысыми усами.

— Вот что, дедушка, снимай шубу да пойдем чай пить, — заговорил Карачунский. — Мне тоже необходимо с тобой поговорить.

Пить чай в господском доме для Родиона Потапыча составляло всегда настоящую муку, но отказаться он не смел и покорно снял шубу. Карачунский повел его прямо в столовую. Родион Потапыч ступал своими большими сапогами по налощенному полу с такой осторожностью, точно боялся что-то пролить. Столовая была обставлена с настоящим шиком: стены под дуб, дубовый массивный буфет с резными украшениями, дубовая мебель, поставец и т. д. Чай разливал сам хозяин. Зыков присел на кончик стула и весь вытянулся.

— Расскажи сначала, дедушка, что у тебя с сыном вышло, — заговорил Карачунский, стараясь смягчить давешний неуместный хохот. — Чем он тебя обидел?

— А за его качества... — сурово ответил Родион Потапыч, хмурия седые брови. — Вот за это за самое.

Налив чай на блюдечко, старик, не торопясь, рассказал про все подвиги Яши, как он приехал пьяный с Мыльниковым, как начал «зубить» и требовать выдела.

— А главная причина — донял он меня Кедровской дачей, — закончил Родион Потапыч свою повесть. — В старатели хочет идти с зятишкой да с Кишкиным.

— Кишкин? Это тот самый, который дело затевает?

— Вот я и хотел рассказать все по порядку, Степан Романыч, потому как Кишкин меня в свидетели хочет выставить... Забежал он ко мне как-то на Фотьянку и все пытался про старое, а я догадался, што он неспроста, и ничего ему не сказал. Увертлив пес.

— А я только сегодня узнал, дедушка: и до глухого вести дошли. Вон Оников слышал на фабрике... Все болтают про Кишкина.

— Пустой человек, — коротко решил Зыков. — Ничего из него не будет, да и дело прошлое... Тоже и в живых немного уж осталось, кто после воли на казну робил. На Фотьянке найдутся двое-трое, да в Балчуговском десяток.

— А если тебя под присягой будут спрашивать?

— Ничего я не знаю, Степан Романыч... Вот хоша и сейчас взять: я и на шахтах, я и на Фотьянке, а конторское дело опричь меня делается. Работы были такие же и раньше, как сейчас. Все одно... А потом пугал еще меня Кишкин вольными работами в Кедровской даче. Обложат, грит, ваши промысла приисками, будут скупать ваше золото, а запишут в свои книги. Это-то он резонно говорит, Степан Романыч. Греха не оберешься.

— Ничего, все это пустяки... — отшучивался Карачунский. — Мелкие золотопромышленники будут скупать наше золото, а мы будем скупать ихнее. Набавим цену — и вся недолга.

— Было бы из чего набавлять, Степан Романыч, — строго заметил Зыков. — Им сколько угодно дай — все возьмут... Я только одному дивлюсь, што это вышнее начальство смотрит?.. Департаменты-то на что налажены? Все дача была казенная и вдруг будет вольная. Какой же это порядок?.. Изроют старатели всю Кедровскую дачу, как свиньи, растащат все золото, а потом и бросят все... Казенного добра жаль.

— Да ты что так о чужом добре плачешься, дедушка? — в шутливом тоне заговорил Карачунский, ласково хлопая Родиона Потапыча по плечу. — У казны еще много останется от нас с тобой...

Эта шутка задела Родиона Потапыча за живое, и он посмотрел с укоризной на веселого хозяина.

— Как же это так, Степан Романыч?.. — бормотал он. — Все мы от казны хлеб едим... Казна — всему голова... Да ежели бы старое-то горное начальство поднялось из земли да посмотрело на нынешние порядки, — господи, да что же

это такое делается? Точно во сне... Да недалеко ходить, вот покойничек, родитель Александра Ивановича (старик указал глазами на Оникова), Иван Герасимыч, бывало, только еще выезжает вот из этого самого дома на работы, а уж на Фотьянке все знают... А как приехал — все в струнку, не дышат, а Иван Герасимыч орлом на всех, и пошла работа. По два воза розог перед работой привозили, а без того и работы не начинали... Вот какие настоящие-то начальники были, Степан Романыч! А инженер Телятников?.. Тот из собственных рук: ка-ак развернется, ка-ак ахнет по скуле... Любимая поговорка у Телятникова была: «Делай мое неладно, а свое ладно забудь!» Телятникова все до смерти боялись... Как-то раз один служащий, — повытчики еще тогда были, — повытчик Мокрушин, седой уж старик, до пенсии ему оставалось две недели, выпил грешным делом на именинах да пьяненький и попадись Телятникову на глаза: «Зайди, — говорит, — дедушка, ко мне...!» Это, значит, Телятников говорит. У Мокрушина, обыкновенно, душа в пятки. Приходит, Телятников и говорит: «Выбирай из любых — или я тебя сейчас со службы прогоню и пенсии ты лишишься, или выпорю». Ну, старик плакать, в ноги, на коленках ползает за Телятниковым. Другой бы и смиловался, а Телятников достиг своего и отодрал служащего... Только пенсии-то Мокрушин все-таки не получил: помер через три дня. Вот какие начальники были, Степан Романыч: отца родного для казны не пожалеют. Отцы были... Да ежели бы они узнали, что теперь замышляют с Кедровской дачей, — косточки бы ихние в могилках перевернулись.

Карачунский слушал и весело смеялся: его всегда забавлял этот фанатик казенного приискового дела. Старик весь был в прошлом, в том жестоком прошлом, когда казенное золото добывалось шпицрутенами. Оников молчал. Немец Штамм нарушил наступившую паузу хладнокровным замечанием:

— Будем посмотреть, дедушка...

— Што это я сию-то, — спохватился Родион Потапыч. — Меня ведь парень-то ждет во дворе.

— Оставь, дедушка, — вступился Карачунский. — Мало ли что бывает: не всякое лыко в строку...

— Никак невозможно, Степан Романыч!.. Словечко бы мне с тобой еще надо сказать...

Карачунский проводил старика до передней, и там Ро-

дион Потапыч поведал свое домашнее горе относительно сбежавшей Фени.

— Это которая? — припоминал Карачунский. — Одна с с серыми глазами была...

— Вот эта самая, Степан Романыч... Самая, значит, младшая она у меня в семье. Души я в ней не чаял.

— Да, действительно неприятный случай... — тянул Карачунский, закусывая себе бороду.

— Что же я теперь должен делать?

— Гм... да... Что же, в самом деле, делать? — соображал Карачунский, быстро вскидывая глаза: эта романическая история его заинтриговала. — Собственно говоря, теперь уж ничего нельзя поделывать... Когда Феня ушла?

— Да уж четвертые сутки... Вот я и хотел попросить тебя, Степан Романыч, яви ты божецкую милость, вороти девку... Парня ежели не хотел отодрать, ну, бог с тобой, а девку вороти. Служил я на промыслах верой и правдой шестьдесят лет, заслужил же хоть што-нибудь? Цепному псу и то косточку бросают...

— Ах, дедушка, как это ты не поймешь, что я ничего не могу сделать!.. — взмолился Карачунский. — Уж для тебя-то я все бы сделал.

— Парня я выдеру сам в волости, а вот девку-то выворотить... Главная причина — вера у Кожиных другая. Грех великий я на душу приму, ежели оставлю это дело так...

— Ну, хорошо, воротишь, а потом что? Снова девушкой от этого она ведь не сделается и будет ни девка, ни баба.

— У нас есть своя поговорка мужицкая, Степан Романыч: тем море не испоганилось, што пес налакал... Сама виновата, ежели не умела правильной девицей прожить.

— Сколько ей лет?

— Да в спажинки девятнадцатый год пошел.

— Нельзя воротить: совершеннолетняя...

— Как же, значит, я, родной отец, и вдруг не могу? Совершеннолетняя-то она двадцати одного будет... Нет, это не таковское дело, Степан Романыч, штобы потакать.

— Что же, пожалуй, я могу съездить в Тайболу, предложил Карачунский, чтобы хоть чем-нибудь угодить старику. — Только едва ли будет успех... Или приглашу Кожина сюда. Я его знаю немного.

Зыков махнул рукой.

— Ежели бы жив был Иван Герасимыч,— со вздохом проговорил он,— да, кажется, из земли бы вырыли девку. Отошло, видно, времечко... Прости на глупом слове, Степан Романыч. Придется уж, видно, через волю.

— Ничего не могу поделать! — уверял Карачунский.

Старик так и ушел, уверенный, что управляющий не хотел ничего сделать для него. Как же, главный управляющий всех Балчуговских промыслов и вдруг не может отодрать Яшку?.. Своего блудного сына Зыков нашел у подъезда. Яша присел на последнюю ступеньку лестницы, положив голову на руки, и спал самым невинным образом. Отец разбудил его пинком и строго проговорил:

— Вставай, варнак! Ужо, завтра я тебе в волости покажу, какая Кедровская дача бывает...

VII

Золотопромышленная компания «Генерал Мансветов и К^о» имела громадную силу и совершенно исключительные полномочия. Кто такой этот генерал Мансветов, откуда он взялся, какими путями он вложился в такое громадное дело — едва ли знал и сам главный управляющий Карачунский. Это был генерал-невидимка, хотя его именем и вершились миллионные дела. Самая компания возникла на развалинах упраздненных казенных работ, унаследовав от них всю организацию, штат служащих, рабочих и территорию в пятьдесят квадратных верст. Ограничивающим условием при передаче громадных промыслов в частные руки было только одно, именно, чтобы компания главным образом вела разработку жильного золота, покрывая неизбежные убытки в таком рискованном деле доходами с россыпного золота. Затем существовала какая-то подать в пользу казны с добытого пуда, но какая — этого тоже никто не знал, как и генерала Мансветова, никогда не бывавшего на своих промыслах.

Балчуговская дача была усыпана золотом и давала миллионные дивиденды. Пока разведано было меньше половины всего пространства, а остальное служило резервом. Всего удивительнее было то, что в эту дачу попали, кроме казенных земель, и крестьянские, как принадлежавшие жителям Тайболы. Но главная сила промыслов заключалась в том, что в них было заперто рабочее промысловое

население с лишком в десять тысяч человек, именно, сам Балчуговский завод и Фотьянка. Рабочие не имели даже собственного выгона, не имели усадеб,— тем и другим они пользовались от компании условно, пока находившаяся под выгоном и усадьбами земля не была надобна для работ. Это совершенно исключительное положение создало натянутые отношения между компанией и местным промысловым населением. Полное безземелье отдавало рабочих в бесконтрольное распоряжение компании,— она могла делать с ними что хотела, тем более что все население рядом поколений выросло специально на золотом деле, а это клало на всех неизгладимую печать. Промысловый человек — совершенно особенный, и, куда вы его ни суньте, он везде будет бредить золотом и легкой наживой. Это была та узда, которой можно было сдерживать рабочую массу, и этим особенно умел пользоваться Карачунский: он постоянно манил рабочих отрядными работами, которые давали известную самостоятельность, а главное, открывали вечно недостижимую надежду легкого и быстрого обогащения. С ловкостью настоящего дипломата он умел обходить этим окольным путем самые больные места, хотя и вызывал строгий ропот таких фанатиков компанейских интересов, как старейший на промыслах штейгер Зыков. Правда, что население давно вело упорную тяжбу с компанией из-за земли, посылало жалобы во все щели и дыры административной машины, подавало прошения, засылало ходоков, но шел год за годом, а решения на землю не выходило. Когда поднимался вопрос о недоимках, всплывало и дело о размежевании. Непременный член по крестьянским делам выбивался из сил и ничего не мог поделать: рабочие стояли на своем, компания на своем. А недоимки росли с каждым годом все больше, потому что народ бедствовал серьезно, хотя и привык уже давно ко всяким бедствиям. Кричали на сходках больше молодые, которые выросли уже после воли.

Карачунский явился главным управляющим Балчуговских промыслов с критического момента перехода их от казны в руки компании. Это происходило в начале семидесятых годов. Громадное дело было доведено горными инженерами от казны до полного расстройтва, так что новому управляющему пришлось всеми способами и средствами замазывать чужие грехи, чтобы не поднимать скапдала. Карачунский в принципе был враг всевозможных

репрессий и предпочитал всему те полумеры, уступки и сделки, которыми только и поддерживалось такое сложное дело. По наружному виду, приемам и привычкам это был самый заурядный бонвиван и даже немножко мышинный жеребчик, и никто на промыслах не поверил бы, что Карачунский что-нибудь смыслит в промысловом деле и что он когда-нибудь работал. Но такое мнение было несправедливо: Карачунский отлично знал дело и обладал величайшим секретом работать незаметно. Есть такие особенные люди, которые целую жизнь гору воротят, а их считают чуть не шалопаями. Весь секрет заключался в том, что Карачунский никогда не стонал, что завален работой по горло, как это делают все другие, потом он умел распорядиться своим временем и, главное, всегда имел такой беспечный, улыбающийся вид. Даже сам Родион Потапыч не понимал своего главного начальника и если относился к нему с уважением, то исключительно только по традиции, потому что не мог не уважать начальства. Старик не понял и того, как неприятно было Карачунскому узнать о затеях и кознях какого-то Кишкина,— в глазах Карачунского это дело было гораздо серьезнее, чем полагал тот же Родион Потапыч. Вообще, неожиданно заваривалась одна из тех историй, о которых никто не думал сначала, как о деле серьезном: бывают такие сложные болезни, которые начинаются с какой-нибудь ничтожной царапины или еще более ничтожного прыща.

Когда вечером старик Зыков ушел, Карачунский долго ходил по столовой, насвистывая какой-то игривый опереточный мотив.

— Вы знаете этого... этого Кишкина? — обратился он неожиданно к Оникову.

— Что-то такое слышал... — небрежно ответил молодой человек. — Даже, кажется, где-то видал: этакой гнусный сморчок. Да, да... Когда отец служил в Балчуговском заводе, я еще мальчишкой дразнил его Шишкой. У него такая кличка... Вообще что-то такое маленькое, ничтожное и... гнусное!..

Карачунский издал неопределенный звук и опять зашвырнул. Штамм сидел уже битых часа три и молчал самым возмутительным образом. Его присутствие всегда раздражало Карачунского и доводило до молчаливого бешенства. Если бы он мог, то завтра же выгнал бы и Штамма, и этого молокососа Оикова, как людей, совершенно ему не

нужных, но навязанных сильными покровителями. У Ониква были сильные связи в горном мире, а Штамм явился прямо от Мансветова, которому приходился даже какой-то родней.

— А вы как думаете, Карл Иванович? — обратился к немцу Карачунский.

— Што я думаю? — ответил немец вопросом. — Я думаю, што будем посмотреть...

«Вот два дурака навязались!» — со злостью думал Карачунский, продолжая шагать.

Утром на другой день Карачунский послал в Тайболу за Кожиным и запиской просил его приехать по важному делу вместе с женой. Кожин поставлял одно время на золотопромывальную фабрику ремни, и Карачунский хорошо его знал. Посланный вернулся, пока Карачунский совершал свой утренний туалет, отнимавший у него по меньшей мере час. Он каждое утро принимал холодную ванну, подстригал бороду, притирался косметиками, чистил ногти и внимательно изучал свое розовое лицо в зеркале.

— Сейчас будут-с, — докладывал Ганька, ездивший в Тайболу нарочным.

Действительно, когда Карачунский пил свой утренний какао, к господскому дому подкатила новенькая кошевка. Кожин правил сам своей бойкой лошадкой, обряженной в наборную сбрую. Феня ужасно смущалась своего первого визита с мужем в Балчуговский завод и надвинула новенький шерстяной платок на самые глаза. Привязав лошадь к столбу на дворе, Кожин пошел с женой на крыльцо, где уже их ждал Ганька. Сам Карачунский встретил их в передней, а потом провел в кабинет. Феня окончательно сконфузилась и не смела поднять глаз.

— Вчера у меня был Родион Потапыч, — заговорил Карачунский без предисловий. — Он ужасно огорчен и просил меня... Одним словом, вам нужно помириться со стариком. Я не впутался бы в это дело, если бы не уважал Родиона Потапыча... Это такой почтенный старик, единственный в своем роде.

— Что же, мы всегда готовы помириться... — бойко ответил Кожин, встряхивая напомаженными волосами. — Только из этого ничего не выйдет, Степан Романыч: характерный старик, ни в какой ступе не утолчешь...

— Все-таки надо помириться... Старик совсем убит.

— И помирились бы в лучшем виде, ежели бы не наша

вера, Степан Романыч... Все и горе в этом. Разве бы я стал брать Феню убогом, кабы не наша старая вера.

— Да... это действительно... Как же быть-то, Акинфий Назарыч? Старик грозился повести дело судом...

— А уж што бог даст,— решительно ответил Кожин.— По моему рассуждению так, што, конечно, старику обидно, а судом дела не поправишь... Утихомирится, даст бог.

Феня все время молчала, а тут не выдержала и зарыдала. Карачунский сам подал ей стакан холодной воды и даже принес флакон с какими-то крепкими духами.

— Ничего, все устроится помаленьку,— утешал ее Карачунский, невольно любуясь этим молодым, красивым лицом.

Это молодое горе было так искренне, а заплаканные девичьи глаза смотрели на Карачунского с такой умоляющей наивностью, что он не выдержал и проговорил:

— Хорошо, я постараюсь все это устроить... только для вас, Федосья Родионовна.

— Что же ты не благодаришь Степана Романыча? — говорил Кожин, подталкивая растерявшуюся жену локтем.— Они весьма нам могут способствовать...

— Не нужно, не нужно...— отстранил благодарность Карачунский, когда Феня сделала движение поцеловать у него руку.— Для такой красавицы можно и без благодарности сделать все.

Когда Кожины уезжали, Карачунский стоял у окна и проводил их глазами за ворота. Насвистывая свой опереточный мотив и барабанив пальцами по оконному стеклу, он думал в таком порядке: почему женщина всегда изящнее мужчины, и где тайна этой неотразимой женской прелести? Взять хоть ту же Феню, какая она красавица... Раньше он видел ее мельком у отца, но не обратил внимания. И такая красавица родится у какого-нибудь Родиона Потапыча!.. Удивительно!.. А еще удивительнее то, что такая свежая, благоухающая красота достанется в руки какому-нибудь вахлаку Кожину. Это просто несправедливо. В голове Карачунского заронились ревнивые мысли по адресу Фени, и он даже вздохнул. Вот и седые волосы у него, а сердце все молодо, да еще как молодо... Разве Кожины понимают, как нужно любить хорошенькую женщину? Карачунский сделал даже гримасу и щелкнул пальцами.

Чтобы немного проветриться, Карачунский отправился на золотопромывальную фабрику, работавшую и по празд-

никам ввиду спешки. За зиму накопилось много работы. Весь двор был завален кучками золотоносного кварца, добытого рабочими. Фабрика не успевала истолочь его и промыть, а рабочим приходилось ждать очереди по месяцам, что вызывало ропот и недовольство. С внешней стороны золотопромывальня представляла собой очень неказистый вид. На месте бывшего каторжного винокуренного завода сейчас стояло всего два деревянных корпуса. В одном работала толчея, а в другом совершалась промывка измельченного кварца на шлюзах, покрытых медными амальгамированными ртутью листами. В первом корпусе работала небольшая паровая машина, так как воды в заводском пруде не хватало и на ползимы. Вообще обстановка самая жалкая, не имевшая в себе ничего импонирующего. Эта несчастная фабрика постоянно возмущала Карачунского своим убожеством, и он мечтал о грандиозном деле. Но что поделаешь, когда и тут приходилось только сводить концы с концами, потому что компания требовала только дивидендов и больше ничего знать не хотела, да и главная сила Балчуговских промыслов заключалась не в жилищном золоте, а в россыпном.

На фабрике Карачунский нашел все в порядке. Паровая машина работала, толчея гремела своими пестами, в промывальне шла промывка. Всех рабочих «обращалось» на заводе едва пятьдесят человек в две смены: одна выходила в ночь, другая днем. На «пьяном дворе» Карачунский осмотрел кучки добытого старателями кварца и только покачал головой. Хорошего ничего не оказывалось, за исключением одной кучки из Ульянова кряжа, за Фотьянкой. Здесь Карачунский встретил к своему удивлению Родиона Потапыча. Старик сидел у кучи кварца на корточках и внимательно рассматривал отдельные куски.

— Ну, дедушка, что новенького?

— Да так, из-за хлеба на воду старатели добывают... — угрюмо отвечал Зыков, швыряя куски кварца в кучу.

Карачунский осмотрел эту кучку и понял, что старик не хочет выдать повой находки. Какой-то неизвестный старатель из Фотьянки отыскал в Ульяновом кряже хорошую жилу.

С «пьяного двора» они вместе прошли на толчею. Карачунский велел при себе сейчас же произвести протолчку заинтересовавшей его кучки кварца. Родион Потапыч все время хмурился и молчал. Кварц был доставлен в ручном

вагончике и засыпан в толчею. Карачунский присел на верстак и, закурив папиросу, прислушивался к громыхавшим пестам. На других золотых промыслах на Урале везде дробили кварц бегунами, а толчея оставалась только в Балчуговском заводе,— Карачунский почему-то не хотел стать бегунов.

— Вот что, Родион Потапыч,— заговорил Карачунский после длинной паузы.— Я посылал за Кожиним... Он был сегодня у меня вместе с женой и согласен помириться, то есть просить прощения.

Зыков точно испугался и несколько времени смотрел на Карачунского ничего не понимающими глазами, а потом махнул рукой и проговорил:

— Поздно, Степан Романыч... Я... я проклял Феню.

— А это что значит: проклял?

— А встал перед образом и проклял. Теперь уж, значит, все кончено... Выворотится Феня домой, тогда прощу.

— Ну, это ваше дело,— равнодушно заметил Карачунский.— Я свое слово сдержал... Это мое правило.

Толчея соединялась в промывальной, и измельченный в порошок кварц сейчас же выносился водяной струей на сложный деревянный плюз. Целая система амальгамированных медных листов была покрыта деревянными ставнями,— это делалось в предупреждение хищничества. Промытый заряд новой руды дал блестящие результаты. Доводчик Ераков, занимавшийся съемкой золота, преподнес на железной лопаточке около золотника амальгамированного золота, имевшего серый оловянный цвет.

— Это с двадцати пудов? — заметил Карачунский.— Недурно... А кто нашел жилу?

— Да их тут целая артель на Ульяновом кряже близко года копалась,— объяснил уклончиво Зыков.— Все фотьянские... Гнездышко выкинулось, вот и золото.

Это открытие обрадовало Карачунского. Можно будет заложить на Ульяновом кряже новую шахту,— это будет очень эффектно и в заводских отчетах и для парадных прогулок приезжающих на промыслы любопытных путешественников. Значит, жильное дело подвигается вперед и прочее.

В этом хорошем настроении Карачунский возвращался домой, но оно было нарушено встречей на мосту целой группы своих служащих. Заводская контора была для него самым больным местом, потому что именно здесь он чув-

ствовал себя окончательно бессильным. Всех служащих насчитывалось около ста человек, а можно было сократить штат наполовину. Но дело в том, что этот штат все увеличивался, потому что каждый год приезжали из Петербурга новые служащие, которым нужно было создавать место и изобретать занятия. Это была настоящая саранча, очень прожорливая, ничего не умеющая и ничего не желавшая делать. Таких господ высылали из Петербурга разные влиятельные особы, стоявшие близко к делам компании. У каждой такой особы находились бедные родственники, подающие надежды молодые люди и целый отдел «пострадавших», которым необходимо было скрыться куда-нибудь подальше. И вот к Карачунскому являлись разных возрастов молодые люди, снабженные самыми трогательными рекомендациями. И с какими фамилиями, чуть не прямые потомки Синеуса и Трувора! Один был даже с фамилией Монморанси. Про себя Карачунский называл свою заводскую контору богадельней и считал ее громадным злом, съедавших напрасно десятки тысяч рублей.

«Съедят меня эти Монморанси», — думал Карачунский, напрасно стараясь припомнить что-то приятное, смутно носившееся в его воображении.

VIII

Пока в воскресенье Родион Потапыч ходил на золотопромывальную фабрику, дома придумали средство спасения, о котором раньше никому как-то не пришло в голову.

Яша запировал с Мыльниковым, а из мужиков оставался дома один Прокопий. Первую мысль о баушке Лукерья подала Марья.

— Одна она управится с тятенькой, — говорила девушка потерявшей голову матери, — баушка Лукерья строгая и все дело уладит.

— Да ведь проклял он родное детище, Марьюшка, — стонала Устинья Марковна, заливаясь слезами. — Свою кровь не пожалел...

— Уж баушка Лукерья знает, што сделать... Пока тятенька на заводе, Прокопий сгоняет в Фотьянку.

Прокопий верхом отправился в Фотьянку. Он вернулся всего часа через два. Баушка Лукерья приехала тоже вер-

хом, несмотря на свои шестьдесят лет с большим хвостиком. Это была еще крепкая старуха. Она зимой носила мужскую бобровую шапку и штаны, как мужик. Высокая, крепкая, баушка Лукерья еще цвела какой-то старческой красотой. Лицо у нее было такое свежее, а серые глаза смотрели со строгой ласковостью. Она себя называла «расейкой» в отличие от балчуговских баб, некрасивых и скуластых. Сын, Петр Васильевич, нисколько не походил на мать.

— Ну, што у вас тут случилось? — строго спрашивала баушка Лукерья. — Эй, Устинья Марковна, перестань хныкать... Экая беда стряслась с Феней, и девушка была, кажись, не замути воды. Што же, грех-то не по лесу ходит, а по людям.

С появлением баушки Лукерьи все в доме сразу повеселели и только ждали, когда вернется грозный тятенька. Устинья Марковна боялась, как бы он не проехал ночевать на Фотьянку, но Прокопию по дороге кто-то сказал, что старика видели на золотой фабрике. Родион Потапыч пришел домой только в сумерки. Когда его в дверях встретила баушка Лукерья, старик все понял.

— Иди-ко сюды, воевода, — ласково говорила старуха. — Иди... вишь, в гости к тебе приехала...

— Здравствуй, баушка. И то давно не видались.

— Горденек стал, Родион Потапыч... На плотине постоянно толчешься у нас, а нет штобы в Фотьянку завернуть да старуху проведать.

— Некогда все... Собирался не одинова, а тут какая-нибудь причина и выйдет...

— У тебя все причина... А вот я не погордилась и сама к тебе приехала. Угощай гостью...

— Не ко время гоститься вздумала...

— Вот што я тебе скажу, Родион Потапыч, — заговорила старуха серьезно, — я к тебе за делом... Ты это што надумал-то? Не похвалю твою Феню, а тебя-то вдвое. Девичья-то совесть известная: до порога, а ты с чего проклинать вздумал?.. Ну, пожурил, постращал, отвел душу и довольнo...

— Што уж теперь говорить, баушка: пролитую воду не соберешь...

— Да ты слушай, умная голова, когда говорят... Ты не для того отец, штобы проклинать свою кровь. Сам виноват; што раньше замуж не выдавал. Вот Марью-то заморил

в девках по своей гордости. Верно тебе говорю. Ты меня послушай, ежели своего ума не хватило. Проклясть-то не мудрено, а ведь ты помрешь, а Феня останется. Ей-то еще жить да жить... Сам, говорю, виноват!.. Ну, што молчишь?..

— Татьяну я не проклинал, хотя она и вышла из моей воли,— оправдывался старик,— зато и расхлебывает теперь горе...

— И тоже тебе нечем похвалиться-то: взял бы и помог той же Татьяне. Баба из последних сил выбилась, а ты свою гордость тешишь. Да што тут толковать с тобой... Эй, Прокопий, ступай к отцу Акакию и веди его сюда, да штобы крест с собой захватил: разрешительную молитву надо сказать и отчитать проклятие-то. Будет господа гневить... Со своими грехами замаялись не то што других проклинать.

Родион Потапыч был рад, что подвернулась баушка Лукерья, которую он от души уважал. Самому бы не позвать попа из гордости, хотя старик в течение суток уже успел одуматься и давно понял, что сделал неладно. В ожидании попа баушка Лукерья отчитала Родиона Потапыча вполне, обвинив его во всем.

Батюшка, о. Акакий, был еще совсем молодой человек, которого недавно назначили в Балчуговский приход, так что у него не успели хорошенько даже волосы отрасти. Он был немало смущен таким редким случаем, когда пришлось разрешать от проклятия. Порывшись в требнике, он велел зажечь свечи перед образом, надел епитрахиль и начал читать по требнику установленные молитвы. Баушка Лукерья поставила Родиона Потапыча на колени и строго следила за ним все время. Устинья Марковна стояла у печки и горько рыдала, точно хоронила Феню.

Когда обряд кончился и все приложились ко кресту, о. Акакий сказал коротенькое слово о любви к ближнему, о прощении обид, о безграничном милосердии божием.

— Нет, ты ему, отец, епитимию определи,— настаивала баушка Лукерья.— Надо так сделать, штобы он чувствовал...

Батюшка согласился и на это, назначив по десяти земных поклонов в течение сорока дней.

— А теперь и о деле потолкуем,— решила баушка Лукерья.— Садись, отец Акакий, и образумь нас, темных людей...

Отец Акакий уже знал, в чем дело, и опять не знал, что посоветовать. Конечно, воротить Феню можно, но к чему это поведет: сегодня воротили, а завтра она убежит. Не лучше ли пока ее оставить и подействовать на мужа: может, он перейдет из-за жены в православие.

— Нет, это пустое, отец,— решила баушка Лукерья.— Сам-то Акинфий Назарыч, пожалуй бы, и ничего, да старуха Маремьяна не дозволит... Настоящая медведица и крепко своей старой веры держится. Ничего из этого не выйдет, а Феню надо воротить... Главное дело, она из своего православного закону вышла, а наши роды с испокон века православные. Жиденький еще умок у Фени, вот она и вверилась...

— Силой нельзя заставить людей быть тем или другим,— заметил о. Акакий.— Мне самому этот случай неприятен, но не сделать бы хуже... Люди молодые, все может быть. В своей семье теперь Федосья Родионовна будет хуже чужой...

— А я ее к себе возьму и выправлю,— решила старуха.— Не погибать же православной душе... Уж я ее шелковой сделаю.

— Будь ей заместо матери...— упрашивала Устинья Марковна, кланяясь в ноги.— Я-то слаба, не умею, а Родион Потапыч перестрожит. Ты уж лучше...

— У меня отойдет и дурь свою бросит...

Отец Акакий посидел, сколько этого требовали приличия, напился чаю и отправился домой. Проводив его до порога, Родион Потапыч вернулся и проговорил:

— Славный бы попик, да молод больно...

— Ему же лучше, што и молод и умен. Вон какой очесливый да скромный...

— Ну, вот што, други мои милые, засиделась я у вас,— заговорила баушка Лукерья.— Стемнилось совсем на дворе... Домой пора: тоже не близкое место. Поволокусь как ни на есть...

— Да ты верхом, што ли, пригнала? — сурово спросил Родион Потапыч.

— Пешком-то я угорела уж ходить: было похожено в досталь...

Старуха сходила в заднюю избу проститься «с девками», а потом надела шапку и стала прощаться.

— Куда ты ускорила-то? — спрашивал Родион Потапыч, которому не хотелось отпускать старуху.— Но-

чевала бы, баушка, а то еще заедешь куда-нибудь в ширп...

— Невозможно мне... Гребтится все, как там у нас на Фотьянке. Петр-то Васильич мой што-то больно ноне стал к водочке припадать. Связался с Мыльниковым да с Кишкиным... Не гожее дело.

— Золото хотят искать... Эх, бить-то их некому, баушка!.. А я вот што тебе скажу, Лукерья: погоди малость, я оболокусь да провожу тебя до Краюхина увала. Мутит меня дома-то, а на вольном воздухе, может, обойдусь...

— И любезное дело,— согласилась баушка, подмигивая Устинье Марковне.— Одной-то мне, пожалуй, и опасно по нонешнему время ездить, а сегодня еще воскресенье... Пируют у вас на Балчуговском, страсть пируют. Восетта¹ еду я также на вершной, а навстречу мне ваши балчуговские парни идут. Совсем молодые, а пьяненькие... Увидали меня, озорники, и давай галиться: «Тпру, баушка!..» Ну, я их нагайкой, а они меня обозвали што ни есть хуже да еще с седла хотели стащить...

— Собака народ стал, баушка...

Родион Потапыч оделся, захватил с собой весь припас, помолился и, не простившись с домашними, вышел. Прокопий помог старухе сесть в седло.

— Вот говорят, што гусь свинье не товарищ,— шутила баушка Лукерья, выезжая на улицу.

Ночь была темная, и только освещали улицу огоньки, светившиеся кое-где в окнах. Фабрика темнела черным остовом, а высокая железная труба походила на корабельную мачту. Издали еще волчьим глазом глянул Ермошкин кабак: у его двери горела лампа с зеркальным рефлексом. Темные фигуры входили и выходили, а в открывшуюся дверь вырывалась смешанная струя пьяного галденья.

— Тьфу!..— отплюнулся Родион Потапыч, стараясь не глядеть на проклятое место.— Вот, баушка, до чего мы с тобой дожили: не выходит народ из кабака... Днюют и ночуют у Ермошки.

— Ох, и не говори, Родион Потапыч! У нас на Фотьянке тоже мужики пируют без утыху... Што только и будет, как жить-то будут. Ополоумели вконец... Никакой страсти не стало в народе.

¹ Восетта — в прошлый раз. (Примеч. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)

— Глаза бы не глядели,— с грустью отвечал Родион Потапыч, шагая по середине улицы рядом с лошадьёю.— Охальники... И нет хуже, как эти понеделники. Глаза бы не глядели, как работнички-то наши выйдут завтра на работу... Как мухи травленные ползают. Рыло опухнет, глаза затекут... тьфу!..

Поровнявшись с кабаком, они замолчали, точно ехали по зачумленному месту. Родион Потапыч несколько раз волком посмотрел на кабацкую дверь и еще раз плюнул. Угнетенное настроение продолжалось на расстоянии целой улицы, пока кабацкий глаз не скрылся из виду.

— Помнишь место-то?..— тихо проговорила баушка Лукерья, кивая головой в сторону черневшей «пьяной конторы».— Много тут наших варнацких слез пролило...

Старик тряхнул головой и ничего не ответил.

— Когда нашу партию из Расеи пригнали,— продолжала тихо старуха, точно боялась разбудить каторжные тени, витавшие здесь,— дорога-то шла через Тайболу... Ну, входит партия в Балчуговский, а покойница-сестрица, Марфа Тимофеевна, поглядела этак кругом и шепчет мне: «Луша, тут наша смертынька». Обнаковенно, там, в Расее-то, и слыхом не слыхали, што такое есть каторга, а только словом-то пугали: «Вот приведут в Сибирь на каторгу, так там узнаете...» И у меня сердце екнуло, когда завиделся завод, а все-таки я потихоньку отвечаю Марфе Тимофеевне: «Погляди, глупая, вон церковь-то... Помрем, так хоть похоронить есть кому!» Глупы-глупы, а это соображаем, што без попа церковь не стоит... И обрадели мы вот этой самой балчуговской церкви, как родной матери. Да и вся наша партия тоже... Известно, женское дело, страшливое: вот, мол, где она, эта самая каторга. По этапам-то вели нас близко полугода, так всего натерпелись и думаем, што в каторге еще того похуже раз на десять.

Так в разговорах они незаметно выехали за околицу. Небо начинало проясняться. Низкие зимние тучи точно раздвинулись, открыв мигавшие звездочки. Немая тишина обступала кругом все. Подъем на Краухин увал точно был источен червями. Родион Потапыч по-прежнему шагал рядом с лошадьёю, мерно взмахивая правой рукой.

— Привели-то нас, как теперь помню, под вечер...— продолжала баушка Лукерья.— Мужичья каторга каменная, а наша, бабья,— деревянная и деревянным тыном обнесена. Вот завели партию во двор, выстроили, а покойник

Антон Лазарич уж на крыльце стоит и этак из-под ручки нас оглядывает, а сам усмехается. В окнах у казармы тоже все залеплено арестантками: любопытно на свеженьких поглядеть... Этак с крайчику, слева, значит, я стою, а Марфа Тимофеевна жметя около меня; она в партии-то всех помоложе была и из себя красивее. Ну, Антон Лазарич...

— Молчи, ради Христа! Молчи...— простонал Родион Потапыч.

— Дело прошлое, што греха таить... А покойничек Антон Лазарич, не тем будь помянут, больно уж погонный был старичок до девок. Седенький, лысенький, ручки трясутся, а ни одной не пропустит... Баб не трогал, ни-ни, потому, говорит, «сам я женатый человек, и нехорошо чужих жен обижать». Кабы не эта его повадка, так и лучше бы не надо нам смотрителя: добреющий человек и богобоязливый... Каждое воскресенье в церкви вперед всех стоит, молится, а сам слезьми заливается. И жена ведь у него молодая была... Ох, грехи, грехи!..

— Охальник был...— сурово заметил Родион Потапыч.— Собаке собачья и смерть.

— Понапрасну погинул, это уж што говорить! — согласилась баушка Лукерья, понукая убавившую шаг лошадь.— Одна девка-каторжанка издалась упрямая и чуть его не зарезала, черкаска-девка... Ну, приходит он к нам в казарму и нам же плачется: «Вот, говорит, черкаска меня ножиком резала, а я человек семейный...» Слезьми заливается. Как раз через три дня его и порешили, сердешного.

— Бузун его зарезал... С нашей же каторги беглый. Он около Балчугов бродяжил.

— А пошто же на палача Никитушку говорили?

— Здря народ болтал...

Молчание. Начался подъем на Краюхин увал. Лошадь вытягивает шею и тяжело дышит. Родион Потапыч, чтобы не отстать, ухватывается одной рукой за лошадиную гриву.

— Сказывают, Никитушку недавно в городе видели,— говорит старуха.— Ходит по купцам и милостыньку просит... Ох-хо-хо!.. А прежде-то какая ему честь была: «Никита Степаныч, отец родной... благодетель...» А он-то бахвалится.

— Пьяный был без просыпа... Перевозили его с одной каторги на другую, а он ничего не помнит.

— Бывал он и у нас в казарме... Придет, поглядит и

молвит: «Ну, крестницы мои, какое мне от вас уважение следует? Почитайте своего крестного...» Крестным себя звал. Бабенки улещали его и за себя и за мужиков, когда к наказанию он выезжал в Балчуги. Страшно было на него смотреть, на пьяного-то...

— Вот ты, Лукерья, про каторгу раздумалась,— перебил ее Родион Потапыч,— а я вот про нынешние порядки соображаю... Этак как раскинешь умом-то, так ровно даже ничего и не понимаешь. В ум не возьмешь, што и к чему следует. Каторга была так каторга, солдатчина была так солдатчина, одним словом, казенное время... А теперь-то што?.. Не то што других там судить, а у себя в дому, как гнилой зуб во рту... Дальше-то што будет?..

— На промыслах везде одни порядки, Родион Потапыч: ослабел народ, измалодушествовался... Главная причина: никакой народу старости не стало... В церковь придешь: одни старухи. Вконец измотался народ.

В этих разговорах они добрались до спуска с Краюхина увала, где уже начинались шахты. Когда лошадь баушки Лукерьи поровнялась с караушкой Спасо-Колчеданской шахты, старуха проговорила:

— Ну, прощай, Родион Потапыч... Так ты тово, Феню-то добывай из Тайболы да вези ко мне на Фотьянку, утихомирим девку, коли на то пойдет.

Родион Потапыч что-то хотел сказать, но только застонал и отвернулся: по лицу у него катились слезы. Баушка Лукерья отлично поняла это безмолвное горе: «Эх, если б жива была Марфа Тимофеевна, разве бы она допустила до этого!..»

IX

Неожиданное появление Родиона Потапыча на шахте никого не удивило, потому что рабочие уже привыкли к подобным сюрпризам. К суровому старику относились с глубоким уважением именно потому, что он видел каждое дело насквозь, и не было никакой возможности обмануть его в ничтожных пустяках. Всякую промысловую работу Родион Потапыч прошел собственным горбом и «видел на два аршина в землю», как говорили про него рабочие. Это, впрочем, не мешало ругать его за глаза иродом, жидом и проч. Балчуговское воскресенье отдалось и на

шахтах: коморник Мутовка, сидевший в караулке при шахте, усиленно моргал подслеповатыми глазами, у машиниста Семеныча, молодого парня-франта, язык заплетался; откатчики при шахте мотались на ногах, как чумная скотина.

— Да вы тут совсем сбесились! — гремел старик на подгулявших рабочих. — Чему обрадовались-то, черти? А где подштейгер?

Подштейгер Лучок, седой старик, был совсем пьян и спал где-то за котлами, выбрав тепленькое местечко. Это уж окончательно взбесило Родиона Потапыча, и он начал разносить пьяную команду вдребезги. Проснувшийся Лучок вдобавок забунтовал, что иногда случалось с ним под пьяную руку.

— А ты не больно тово... — огрызался он из своей засады. — Слава богу, не казенное время, штобы с живого человека три шкуры драть! Да...

— Ах, варвары!.. А кто станет отвечать, ежели вы, подлецы, шахту опустите?..

— Обыкновенно, ты ответишь, — сказал Лучок. — Ты жалованья-то пятьдесят цалковых получаешь, ну, значит, кругом и будешь виноват... А с меня за двадцать-то цалковых не много возьмешь.

— Ты еще разговаривать у меня, мокрое рыло?!

— И скажу завсегда.

Взбешенный Родион Потапыч собственноручно извлек Лучка из-за котлов, нахлобучил ему шапку на пьяную башку и вытолкал из корпуса, а пожитки подштейгера велел выбросить на дорогу.

— Ступай, пожалуйся на меня, пес! — кричал старик вдогонку лукавому рабу. — Я на твое место двадцать таких-то найду...

— А мне плевать! — слышался из темноты голос Лучка. — Ишь, как расшеперился... Нет, брат, не те времена.

Эта комедия изгнания Лучка со службы проделывалась в год раза три-четыре благодаря его пьяной строптивости. Несколько дней после такой оказии Лучок высиживал в кабаке Ермошки, а потом шел к Родиону Потапычу с повинной. Составлялось примирение на неперменном условии, что это «в последний раз». Все знали, что и настоящая история закончится миром, потому что Родион Потапыч не мог жить без Лучка и никому не доверял, кроме него, чем Лучок и пользовался. Если бы не пьянство, Лучок дав-

но «ходил бы в штегерях», а может быть и главным штейгером. Знал он дело на редкость, и в трудных случаях Родион Потапыч советовался только с ним, потому что горных инженеров и самого Карачунского в приисковом деле в грош не ставил. У Лучка была особенная смелость, которой недоставало Родиону Потапычу, — живо все сообразит и из собственной кожи вылезет, когда это нужно.

По-настоящему, следовало бы спуститься в шахту и осмотреть работы, но Родион Потапыч вдруг как-то обессилел, чего с ним никогда не бывало. Он ни разу в жизнь свою не хворал и теперь только горько покачал головой. Эта пустячная ссора с пьяным Лучком окончательно подорвала старика, и он едва дошел до своей конторки, отгороженной в уголке машинного корпуса. Ключ от конторки был всегда с ним. Здесь он иногда и ночевал, прикорнувшись на засаленную деревянную скамейку. Родион Потапыч зажег сальную свечу и присел к столу. В маленькое оконце, дребезжавшее от работы паровой машины, глядела ночь черным пятном; под полом, тоже дрожавшим, с хрипением и бульканьем бежала поднятая из шахты рудная вода; слышно было, как хрипел насос и громыхали чугунные шестерни. Все это было, как всегда, как запомнит себя Родион Потапыч на промыслах, только сам он уж не тот. Мысль о бессильной, жалкой старости явилась для него в такой яркой и безжалостной форме, что он даже испугался. Что же это такое?..

Он присел к столу, облокотился и, положив голову на руку, крепко задумался. Семейные передраги и встреча с баушкой Лукерьей подняли со дна души весь накопившийся в ней тяжелый житейский осадок.

Родился и вырос Родион Потапыч дворовым человеком, в Тульской губернии. Подростком он состоял при помещицьем доме в казачках, а в шестнадцать на свой грех попал в барскую охоту. Не угодил он барину на волчьей облове чем-то, кинулся на него барин с поднятым арапником... Окончание этого эпизода барской охоты было уже в Балчуговском заводе, куда Родион Потапыч был приведен в кандалах для отбытия каторжных работ. Но промысловая каторга для него явилась спасением; серьезный не по летам, трудолюбивый, умный и честный, он сразу выдвинулся из своей арестантской среды. Смотрителем тогда был тот самый Антон Лазарич, о котором рассказывала баушка Лукерья. Он очень полюбил молодого Зыкова и

устроил так, что десятилетняя каторга для него была не в каторгу, а в обыкновенную промысловую работу, с той разницей, что только почевать ему приходилось в остроге. Новая работа полюбилась Родиону Потапычу, и он прирос к ней всей душой. Да, что только было тогда, теперь даже и вспоминать как-то странно, точно все это во сне привиделось. Работа кипела, благо каторжный труд ничего не стоил. С одной стороны работал каторжный винокуренный завод, а с другой — золотые промыслы. Балчуговский завод походил на военный лагерь, где вставали и ложились по барабану, обедали и шабашили по барабану и даже в церковь ходили по барабану. На работу выступали поротно и повзводно, отбивая шаг. При встрече с начальством все вытягивалось в струнку и делало «на караул» даже на работах. На площади между каторгой и «пьяной конторой» в праздники производилось настоящее солдатское учение пригнанных рекрутов, и тут же происходили жесточайшие экзекуции. С одной стороны орудовал «крестный» Никитушка, а с другой — солдатская «зеленая улица». Сквозь строй гоняли каждое воскресенье, а для большего эффекта приводили народ для этого случая даже с Фотьянки. Кроме своего каторжного начальства и солдатского для рекрутов, в распоряжении горных офицеров находилось еще два казачьих батальона со специальной обязанностью производить наказания на самом месте работ; это было домашнее дело, а «крестный» Никитушка и «зеленая улица» — парадным наказанием, главным образом на страх другим. Когда партия рабочих выступала куда-нибудь на прииск, за ней вместе с провиантом следовал целый воз розог, точно их нельзя было приготовить на месте действия. Военное горное начальство в этом случае рассуждало так, что порядок наказания прежде всего, а работа пойдет сама собой.

Первые два года Родион Потапыч работал на винокуренном заводе, где все дело вершилось исключительно одним каторжным трудом, а затем попал в разряд исправляющихся и был отправлен на промыслы. Винокуренный завод до самого конца оставался за каторгой, а на промыслы высылались только отбывшие каторгу. Родион Потапыч застал Балчуговский завод еще совсем небольшим. Селение шло только по Нагорной высоте, а Низы заселились уже при нем, когда посадили на промыслы сразу три рекрутских набора. Из ссыльно-поселенцев постепенно выросла Фотьянка, которая служила главным каторжным гнездом.

На промыслах Родион Потапыч прошел всю работу, начиная с простого откатчика, отвозившего на тачке пустую землю в отвалы. Сколько теперь этих отвалов кругом Балчуговского завода; страшно подумать о том казенном труде, который был затрачен на эту египетскую работу в полном смысле слова. Людей не жалели, и промыслы работали «сильной рукой», то есть высылали на россыпь тысячи рабочих. Добытое таким даровым трудом золото составляло для казны уже чистый дивиденд. Родион Потапыч скоро выбился на промыслах из простых рабочих и попал в десятники. С делом он освоился, и начальство ценило в нем его фанатическое трудолюбие. Чуть только не свихнулся он, когда встретил свою первую жену, Марфу Тимофеевну. Ее только что пригнали из России, и Антон Лазарич сразу заметил красивую каторжанку. Ей было всего девятнадцать лет, а попала она из помещичьей девичьей на каторгу, как значилось в списке, за кражу сахара. Сестра Лукерья пришла вместе с ней и значилась в списке виновницей в краже меда. Чья-то рука изощряла остроумие над судьбой двух сестер, но они должны были отбыть положенные три года, а затем поступили в разряд ссыльных и переселены были на Фотьянку. Антон Лазарич прозвал Марфу Тимофеевну «сахарницей» и на третий же день потребовал ее к себе «по секретному делу». Сестра Лукерья избежала этого секретного дела только потому, что Антона Лазарича вовремя успели зарезать.

— Одна сестра с сахаром, другая с медом,— шутил смотритель,— а я до сахару большой охотник...

Родион Потапыч числился в это время на каторге и не раз был свидетелем, как Марфа Тимофеевна возвращалась по утрам из смотрительской квартиры вся в слезах. Эти ли девичьи слезы, девичья ли краса, только начал он крепко задумываться... Заметил эту перемену даже Антон Лазарич и не раз спрашивал:

— Што это с тобой, Родион?.. Как будто ты не в себе...

— Неможется, Антон Лазарич,— сурово отвечал Зыков, стараясь не глядеть на каторжного насильника.

Запала крепкая и неотвязная дума Родиону Потапычу в душу, и он только выжидал случая, чтобы «порешить» лакомого смотрителя, но его предупредил другой каторжанин, Бузун, зарезавший Антона Лазарича за недоданный писк. Гора свалилась с плеч, а потом Марфа Тимофеевна была переведена на Фотьянку, где он с ней сейчас же по-

знакомился и сейчас же женился. Много было каторжанок, и ни одна не осталась непристроенной: все вышли замуж, развели семьи и населили Фотьянку и Нагорную сторону. Замечательно, что среди каторжанок не было ни одной женщины легкого поведения.

Хорошо и любовно зажил Родион Потапыч с молодой женой и никогда ни одним словом не напомнил ее прошлого: подневольный грех в счет не шел. Но сама Марфа Тимофеевна все время замужества оставалась туманной и грустной и только перед смертью призналась мужу, что ее заело.

— Не девушкой я за тебя выходила замуж... — шептали побелевшие губы. — Нет моей в том вины, а забыть не могла. Чем ты ко мне ласковее, тем мне страшнее. Молчу, а у самой сердце кровью обливается.

— Марфа, бог с тобой, какие ты слова говоришь...

— Я сама себя осудила, Родион Потапыч, и горше это было мне каторги. Вот сыночка тебе родила, и его совестно. Не корил ты меня худым словом, любил, а я все думала, как бы мы с тобой век свековали, ежели бы не моя злосчастная судьба.

Молодой умерла Марфа Тимофеевна и в гробу лежала такая красивая да белая, точно восковая. Вместе с ней белый свет закрылся для Родиона Потапыча, и на всю жизнь его брови сурово сдвинулись. Взял он вторую жену, но счастья не воротил, по пословице: покойник у ворот не стоит, а свое возьмет. Поминкой по любимой жене Марфе Тимофеевне остался беспутный Яша...

Жизнь для Родиона Потапыча прошла в суровой работе изо дня в день. Он точно раз и навсегда замерз на своем промысловом деле да больше и не оттаял. Трудно приходилось — молчал, хорошо — молчал, а потом превратился в живую машину. Только раз в течение своей службы он покривил душой, именно в пятидесятых годах, когда на Урал тайно приехал казенный фискал. Несмотря на военные строгости при разработке золота, рабочие ухитрялись его воровать. То же самое было и на других казенных и частных промыслах. Были и свои скупщики, которые проникли и в заколдованный круг Балчуговской каторги. Сыщик успел купить золото кой у кого, но один Родион Потапыч вызнал в нем настоящую птицу и пустил стороной слух, чтобы спасти десятки легковых людей. Пожалел он дураков... И действительно, Балчуговский завод постро-

дал меньше, а на других промыслах разразилась страшная гроза. Сотни были прогнаны сквозь строй и сосланы в Восточную Сибирь в бессрочную каторгу. Впрочем, никто не знал на Балчуговских промыслах, кто первый догадался относительно фискала. Родион Потапыч молчал, как будто не его дело. Тогда, между прочим, спасся только чудом Кишкин, замешанный в этом деле: какой-нибудь один час, и он улетел бы в Восточную Сибирь, да еще прошел бы насквозь всю «зеленую улицу».

«Вот я ему, подлецу, помяну как-нибудь про фискалу-то,— подумал Родион Потапыч, припоминая готовившееся скандальное дело.— Эх, надо бы мне было ему тогда на Фотьянке узелок завязать, да не догадался... Ну, как-нибудь в другой раз».

Слишком тридцать пять лет «казенного времени» отбыл Родион Потапыч, когда объявлена была воля. Он совершенно не понимал этого события, никак не укладывавшегося в его голову. Родион Потапыч даже как-то совсем растерялся, особенно когда упразднили каторгу, винокуренный завод закрыли, а казенным промысловым работам пришел конец. Мысль о том, что теперь нужно будет платить каждому рабочему, просто возмущала его. Помилуйте, такая орава рабочих, и вдруг каждому плати, а что же казне-то останется? Казенные работы, переведенные на вольнонаемный труд и лишённые военной закваски, сразу захудали, и добытое этим путем золото, несмотря на готовый инвентарь и всякое промысловое хозяйство, стало обходиться казне в пять раз дороже его биржевой стоимости. Некоторое время поддержала падавшее дело открытая на Фотьянке Кишкиным богатейшая россыпь, давшая в течение трех лет больше ста пудов золота, а дальше случился уже скандал — золотник золота обходился казне в двадцать семь рублей при номинальной его стоимости в четыре рубля. Немало смущали Родиона Потапыча горные инженеры.

Последние пять лет Балчуговские заводы существовали только на бумаге, когда явился генерал Мансветов и компания. Кое-как поддерживалась одна шахта, да работали местами старатели. Водворение компании сразу подняло дело, и Родион Потапыч ожил, перенесся на компанейское дело все свои крепостные симпатии. Когда первое опьянение волей миновало, оказалось, что промысловое население очутилось в полной экономической зависимости от компании. Между тем это было казенное промысловое

население, несколькими поколениями воспитавшееся на своем приисковом деле. В Низах бывшие «некрута» делали отчаянные попытки прожить своим средством, и здесь некоторое время процветали столяры и сапожники. Нагорная и Фотьянка, эти старые каторжные гнезда, остались верными своему промысловому делу и не увлекались никакими сторонними заработками.

С водворением на Балчуговских промыслах компанейского дела Родион Потапыч успокоился, потому что хотя прежней каторжной и воснно-горной крепости уже не существовало, но ее заменила целая система невидимых нитей, которыми жизнь промыслового населения была опутана еще крепче. Промысловому рабочему некуда было деваться, как он ни изворачивался. Пример Низов служил в этом случае лучшим доказательством. Не было внешнего давления, как в казенное время, но «вольные» рабочие со своей волчьей волей не знали куда деваться и шли работать к той же компании на самых невыгодных условиях, как вообще было обставлено дело: досыта не наешься и с голоду не умрешь.

Открытие Кедровской казенной дачи для вольных работ изменило весь строй промысловой жизни, и никто не чувствовал этого с такой рельефностью, как Родион Потапыч, этот промысловый испытанный волк.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

Каждое утро у кабака Ермошки на лавочке собиралась целая толпа рабочих. Издали эта публика казалась ворохом живых лохмотьев — настоящая приисковая рвань. А солнышко уже светило по-весеннему, и рвань ждала того рокового момента, когда «тронется вешняя вода». Только бы вода взялась, тогда всем будет работа... Это были именно чающие движения воды.

Кабак Ермошки помещался в собственном полукаменном домике, отстроенном заново года два назад. Нижний этаж был занят наполовину кабаком и наполовину галаптерейной и суровской торговлей, так что получалось заведение вполне. Дом стоял на углу, как раз напротив золотопромывальной фабрики. Раньше он принадлежал

Кишкину. В конце улицы красным пятном выделялись кирпичные стены бывшей каторги, а рядом громадное покосившееся бревенчатое здание «пьяной конторы». Собственно каторжный винокуренный завод стоял на месте нынешней золотопромывальной фабрики, но он сгорел уже после воли. Оставалась одна «пьяная контора» да каменный двор с низкими каменными казармами упраздненной каторги. Эти два памятника доброго старого времени для Ермошки были бельмом на глазу. Сидя у себя наверху, он подолгу смотрел на них и со вздохом повторял:

— Этакое обзаведенье и задарма пропадает... Што бы тут можно сделать, кабы к рукам! То есть, кажется, отдал бы все...

Ермошка был среднего роста, раскостый и плечистый мужик с какой-то угловатой головой и серыми вытаращенными глазами, поставленными необыкновенно широко, как у козы. Приплюснутый мягкий нос точно был приклеен с другого лица. Жиденькая клочковатая бороденка придавала ему встрепанный вид, как у человека, который второпях вскочил с постели. Это был типичный российский сиделец, вороватый и льстивый, нахальный и умеющий вовремя принизиться. В люди он вышел через жену Дарью, которая в свое время состояла «на положении горничной» у старика О니кова во времена его грозного владычества. Ермошка был лакеем, как теперь Ганька. Старик Оников вдовел и от скуки развлекался крепостными красавицами, в числе которых Дарья являлась последним номером. Она была круглой сиротой, за красоту попала в господский дом, но ничем не сумела бы воспользоваться при своем положении, если бы не подвернулся Ермошка. Оников умер как-то вдруг, и, что всего удивительнее, после него не оказалось никаких сбережений. Стоустая молва приписала его скоропостижную смерть Ермошке, воспользовавшемуся при такой okazji господским добром. Он сейчас же женился на Дарье и зажил своим домом, как следует справному мужику, а впоследствии уже открыл кабак и лавку. Положение Дарьи было самое забитое: Ермошка вымещал на ней худую славу, вынесенную из господского дома. Бедная женщина ходила по своим горницам, как тепь, и вся дрожала, когда слышала шаги мужа. Открыто Ермошка ее не увечил, как это делали другие мужики, а изводил ее медленно и безжалостно, как ненужную скотину.

«Хоть бы умереть поскорее...» — мечтала иногда Дарья. Детей у них не было, и Ермошка мечтал, когда умрет жена, завестись настоящей семьей и имел уже на примете Феню Зыкову. Так рассчитывал Ермошка, но не так вышло. Когда Ермошка узнал, как ушла Феня из дому убегом, то развел только руками и проговорил:

— Эх, Федосья Родивоновна, не могла ты обождать самую малость, когда моя-то Дарья помрет...

Жалела об этом обстоятельстве и сама Дарья, потому что давно уже чувствовала себя лишней и с удовольствием уступила бы свое место молодой любимой жене.

— Связала я тебя, Ермолай Семеныч,— говорила она мужу о себе, как говорят о покойниках.— В самый бы тебе раз жениться на зыковской Фене... Девка — чистяк. Ох, нейдет моя смертынька...

— Разве не стало невест? — резонировал Ермошка в тон жене.— Как помрешь, сорок ден выйдем, и женюсь...

— В Балчуговском у нас невест непочатый угол, Ермолай Семеныч, люблю, да лучшую выбирай.

— В Тайболе возьму, а то и городскую приспособлю... Слава богу, и мы не в угол рожей-то.

— Богатую не бери, а попроще... Сиротку лучше, Ермолай Семеныч, потому как ты уж в годках и будешь на положении вдовца. Богатые-то девки не больно таких женихов уважают...

— Это ты правильно, Дарья... Только помирай скорее, а то время напрасно идет. Совсем из годов выйду, покедова подохнешь...

— Ох, скоро помру, Ермолай Семеныч... Жаль ведь мне глядеть на тебя, как ты со мной маешься.

Дарья употребляла все меры, чтобы умереть, и никак не могла. Она ходила босая по снегу, пила «дорогую траву», морила себя голодом, но ничто не помогало. Ермошка колотил ее только под пьяную руку и давно извел бы вконец, если бы не боялся ответственности. Притом у него было какое-то темное предчувствие, что Дарья — его судьба, которой ни на каком коне не объедешь. Самоунижение Дарьи дошло до того, что она сама выбирала невест на случай своей смерти, и в этом направлении в Ермошкином доме велись довольно часто очень серьезные разговоры. Чета вообще была оригинальная.

Ермошка ждал вешней воды не меньше балчуговских старателей, потому что самое бойкое кабацкое время было

связано именно с летним сезоном, когда все промысла были в полном ходу. Он знал свой завод и Фотьянку, как свои пять пальцев: кто захудал из мужиков, кто справился, кто ни шатко ни валко живет. Никакой статистик не мог бы представить таких обстоятельных и подробных сведений о своем «приходе», как называл Ермошка старателей. Низы, где околачивались строгали и швали, он недолюбливал, потому что там царила оголтелая нищета, а в «приходе» нет-нет и провернется счастье.

— Ну-ка, боковы работнички, поворачивай! — покрикивал Ермошка у себя за стойкой на вечно галдевшую толпу старателей.

— Благодетель, на тебя стараемся! — отвечали пьяные голоса.— Мимо тебя ложки в рот не пронесешь... Все у тебя, как говядина в горшке.

— А куды бы вы без меня-то делись? А?..

— Уж это ты правильно, отец родной...

Всех больше надоедал Ермошке шваль Мыльников, который ежедневно являлся в кабак и толкался на народе неизвестно зачем. Он имел привычку приставать к каждому, задирали, ссорился и частенько бывал бит, но последнее мало на него действовало.

— Шел бы ты домой, Тарас,— часто уговаривал его Ермошка,— дома-то, поди, жена тебя вот как ждет. А по пути завернул бы к тестю чаю напиться. Богатый у тебя тестюшка.

— А тебе завидно? И напьемся чаю, даже вот как напьемся.

— А не хочешь того, чем ворота запирают?..

Подвыпивший Мыльников проявлял необыкновенную гордость. Он бил кулаками себя в грудь и выкрикивал на всю улицу, что — погодите, покажет он, каков есть человек Тарас Мыльников, и т. д. Кабацкие завсегдатаи показывались над Мыльниковым со смеху и при случае подносили стаканчики водки.

— Погодите, братцы, рассчитаюсь...— уверял Мыльников.— Уж я достигну... Дайте только на ноги встать, а там расчет пойдет мелкими.

После пасхи Мыльников частенько стал приходить в кабак вместе с Яшей и Кишкиным. Он требовал прямо полуштоф и распивал его с приятелями где-нибудь в уголке. Друзья вели какие-то таинственные душевные беседы, шептались и вообще чувствовали потребность в уедине-

нии. Раз, пошатываясь, Мыльников пошел к стойке и потребовал второй полуштоф.

— Да ты с какой это радости расширился? — спрашивал его Ермошка. — Наследство, што ли, получил?..

— А тебе какая печаль?.. Х-хе... Никто не укажет Тарасу Мыльникову: сам большой, сам маленький. А ты, Ермолай Семеныч, теперь надо мной шутки шутишь, потому как я шваль и больше ничего...

— У всех у вас в Низах одна вера: голь перекатная. Хоть вывороти вас, двоегривенного не найдешь...

— А што, ежели, например, богатство у меня, Ермолай Семеныч? Ведь ты первый шапку ломать будешь, такой-сякой... А я шубу енотовую надену, серебряные часы с двум крышкам, гарусный шарф да этаким чертом к тебе подкачу. Как ты полагаешь?

— По одежде встречают, Тарас... Разбогатеешь, так нас не забудь. Знаешь, кому счастье?..

— Ах ты, курицын сын!.. Да я, может, весь Балчуговский завод куплю и выворочу его совершенно наоборот... Вот я каков есть человек...

— Не пугай вперед, а то еще во сне увижу тебя богато-того... Вороны завсегда к ненастью каркают.

Эти сцены повторялись слишком часто, чтобы обращать на себя серьезное внимание. Мыльникову никто не верил, и только удивлялись, откуда он берет деньги на пьянство.

К этой компании потом присоединился Клейменный Мина, старик из балчуговских каторжан, которых уцелело не больше десятка. Это был молчаливый лысый старик с большим лбом и глубоко посаженными глазами. В кабак он заходил редко и скромно сидел все время где-нибудь в уголке. Потом появились старатели с Фотьянки: красавец Матюшка, старый Турка, и сам Петр Васильич Мыльников угощал всех и ходил по кабаку козырем. Промысловые скептики сначала относились к этой компании подозрительно, а потом вдруг уверовали. Кто-то пустил слух, что раскошелился Кишкин ввиду открытия Кедровской дачи и набирает артель для разведки где-то на реке Мутяшке, где Клейменный Мина открыл золото еще при казне. но скрыл до поры до времени. Даже уверовал сам Ермошка, зараженный охватившей всех золотой лихорадкой. Так он несколько раз уже заговаривал с Кишкинным.

— Андрон Евстратыч, пусти в компанию...

— Рылом еще не вышел...— отвечал Кишкин торжественно.

— Да ведь все равно мне же золото будете сдавать,— тихо прибавлял Ермошка, прищуривая один глаз.

— Уж это как господь приведет... Одно — сдавать золото, другое — добывать. Рука у тебя тяжелая, Ермолай Семсныч.

— А у Мыльникова легкая?

— Пух — вот какая рука.

Совещания составлявшейся компании не представляли тайны ни для кого, потому что о Мутяшке давно уже говорили, как о золотом дне, и все мечтали захватить там местечко, как только объявится Кедровская дача свободной. Явилась даже спекуляция на Мутяшку: некоторые рабочие ходили по кабакам, на базаре и везде, где сбивался народ, и в самой таинственной форме предлагали озолотить «за красную бумагу». На Мутяшку образовался даже свой курс. Таинственные обогатители сообщали под страшным секретом о существовании какого-нибудь ложка или ключика, где золото гребли лопатами. Сложился целый ряд легенд о золоте на Мутяшке, вроде того, что там на золоте положен большой зарок, который не действует только на невинную девуцу, а мужику не дается. Рассказывали о каких-то беглых, во времена еще балчуговской каторги, которые скрывались в Кедровской даче и первые «натакались» на Мутяшку и простым ковшом намыли столько, сколько только могли унести в котомках, что потом этих бродяг, нагруженных золотом, подкараулили в Тайболе и убили. Так и осталось неизвестным, где, собственно, спрятано мутяшское золото. Доверчивые люди с замиранием слушали эти рассказы и все сильнее распалялись желанием легкой наживы. Знатоки Мутяшки скоро перестали довольствоваться «красной бумагой», а стали требовать уже четвертной билет. Между прочим, этим промышлял и кривой Петр Васильич, только не в Балчуговском заводе, а в городе. Но лучше всех повел дело Мыльников, который теперь и пропивал дуром полученные деньги. Все знали, что это пропащий человек и что он даже и не знает приискового дела, но такова была жажда золота, что верили пустому человеку, сулившему золотые горы. И разговор у Мыльникова был самый пустой и дурашливый.

— Уж я произведу... Во как по гроб жизни благодарить будете... У меня рука легкая на золото; вот главная причина... Да... Всем могу руководствовать вполне.

Азарт носился в самом воздухе, и Мыльников заговаривал людей во сто раз умнее себя, как тот же Ермошка, выдавший швали тоже красный билет. Впрочем, Мыльников на другой же день поднял Ермошку на смех в его собственном заведении.

— Будешь меня благодарить, Ермолай Семеныч! — кричал он. — А твоя красная бумага на помин моей души пойдет... У волка в зубе — Егорий дал.

Весь кабак надрывался от хохота, а Ермошка плюнул в Мыльникова и со стыда убежал к себе наверх. Центром разыгравшегося ажиотажа явился именно кабак Ермошки, куда сходились хоть послушать рассказов о золоте, и его владелец потерпел законно.

Кроме всего этого, к кабаку Ермошки каждый день подъезжали таинственные кошевки из города. Из такой кошевки вылезал какой-нибудь пробойный городской мещанин или мелкотравчатый купеческий брат и для отвода глаз сначала шел в магазин, а уж потом, будто случайно, заводил разговор с сидевшими у кабака старателями.

— Не надо ли партию? — спрашивали старатели. — Может, насчет того, чтобы ширп ударить...

— Нет, мы этим не занимаемся, — продолжал отводить глаза отпетый городской человек. — Я по своим делам...

Ермошка, спрятавшись, наверху, наблюдал в окно этих городских гостей и ругался всласть.

— Вот дураки-то!.. Дарь, мотри, вон какой крендель выкидывает Затыкин; я его знаю, у него в Щепном рынке лавка. Х-ха, конечно, балчуговского золота захотел отведать... Мотри, Мыльников к нему подходит! Ах, пес, ах, антихрист!.. Охо-хо-хо! То-то дураки эти самые городские... Мыльников-то, Мыльников по первому слову четвертной билет заломил, по роже вижу. Всякую совесть потерял человек...

Городской человек, проделав для отвода глаз необходимые церемонии, попадал в кабак и за полуштофом водки получал самые точные сведения, где найти верное золото.

— Да што тут говорить: выставляй прямо четверть!.. — бахвалился входивший в раж Мыльников. — Разве золото без водки живет? Разочнем четверть, — вот тебе и золото готово.

Простые рабочие, не владевшие даром «словесности», как Мыльников, довольствовались пока тем, что забирали у городских охотников задатки и записывались зараз в несколько разведочных партий, а деньги, конечно, пропивались в кабаке тут же. Никто не думал о том, чтобы завести новую одежду или сапоги. Все надежды возлагались на будущее, а в частности на Кедровскую дачу.

— Ишь, как воронье, облепили кабак! — злорадствовал Ермошка. — Только и компания... Тут ходи да ог ядывайся.

Большую сенсацию произвело появление в кабаке известного городского скупщика краденого золота Ястребова. Это был высокий, плечистый и осанистый мужчина со свирепым лицом. Густые брови у него совсем срослись, а ястребиные глаза засели глубоко в орбитах, как у настоящего хищника. Окладистая с проседью борода придавала ему степенный купеческий вид. Одет он был в енотовую шубу и бобровую шапку.

— Никите Яковличу, благодетелю!.. — слышались голоса раболепных прихлебателей. — Не хошь ли местечко потеплее?..

— Ладно, заговаривай зубы, — сурово отвечал Ястребов, окидывая презрительным взглядом приисковую рвань. — Поищите кого попроще, а я-то вполне превосходно вас знаю... Добрых людей обманываете, черти.

Он прошел наверх к Ермошке и долго о чем-то беседовал с ним. Ермошка и Ястребов были заведомые скупщики краденого с Балчуговских промыслов золота. Все это знали, все об этом говорили, но никто и ничего не мог доказать: счень уж ловкие были люди, умевшие хоронить концы. Впрочем, пьяный Ястребов — он пил запоем, — хлопнув Ермошку по плечу, каждый раз говорил:

— Ну, Ермошка, плачет о нас острог-то!..

— Не те времена, Никита Яковлич, — подобострастно отвечал Ермошка, чувствующий к Ястребову безграничное уважение.

II

Дома Мыльников почти не жил. Вставши утром и не прочухавшись хорошенько с похмелья, он выкраивал с грехом пополам «уроки» для своей мастерской, ругал Оксю, заведовавшую всей работой, и уходил из дому до позднего вечера.

Избушка у Мыльниковых была самая проваленная, как старый гриб. Один угол осел, крыша прогнила, ворота покосились, а надворные постройки постепенно шли на дрова. Одним словом, дом рушился со всех концов, и от него веяло нежилим. Впрочем, на Низах было много таких развалившихся дворов, потому что здесь главным образом царил самая вопиющая бедность. Дело в том, что Нагорная, где поселились каторжные, отбывшие срок наказания, после освобождения осталась верной исконному промысловому делу. То же было и на Фотьянке, где сгруппировались ссыльнопоселенцы. А Низы, населявшиеся «некрутами», захотели после воли существовать своим средством, и здесь быстро развились ремесла: столярное и чеботарное. Положим, что балчуговская работа пользовалась очень плохой репутацией, но все дело сводилось на то, чтобы освободиться от приискового шатания и промысловой маеты. Местом сбыта служил главным образом город, а отсюда уже балчуговское ремесло расходилось по нескольким уездам и дальше. Сотни семей были заняты одним и тем же делом и сбивали цену товара самым добросовестным образом: городские купцы богатели, а Низы захудали до последней крайности. Избушка Мыльниковых служила ярким примером подобного промыслового захудания, и ее история служила иллюстрацией всей картины.

Тарас Мыльников был кантонистом. Его отец, пригнанный в один из рекрутских наборов в Балчуговский завод, не вынес золотой каторги и за какую-то провинность должен был пройти «зеленую улицу» в несколько тысяч шпицрутенов. Он не вынес наказания и умер на тележке, на которой довозили изнемогавших «грешников» до конца улицы. Дело в том, что преступников сначала всли, привязав к прикладу солдатского ружья, и когда они не могли идти, везли на тележке и здесь уже добивали окончательно. Опытные люди знали, что стоит такому грешнику сейчас после наказания напиться воды — и конец. Так было и с Мыльниковым, по крайней мере в семье сохранилось предание, что он умер от воды. Маленький Тарас после отца попал в кантонисты и вынес тяжелую школу в местном батальоне, а когда пришел в возраст, его отправили на промыслы. Здесь он вывернулся с первого раза, потому что поступил в приисковые шорники: и работа не трудная, да и жил он все время в тепле. Воля избавила Тараса от

солдатчины и обязательной промысловой службы. Он сейчас же поселился на Низах, где купил себе избу и занялся столярным делом. Одинокому человеку было нужно немного, и Тарас зажил справно, как следует настоящему мужику. Это время его благосостояния совпало с его женитьбой на Татьяне, которую он вывел из богатого зыковского дома.

Затем последовал крутой поворот. В конце шестидесятых годов, когда начиналась хивинская война, вдруг образовался громадный спрос на балчуговский сапог, и Тарас бросил свое столярное дело. У него был свой расчет: в столярном деле ему приходилось отдуваться одному, а при сапожном ремесле ему могли помогать и жена, и подраставшие дети. Так и вышло: Тарас рассчитал верно. Вся семья запряглась в тяжелую работу, а по мере того как подрастали дети, Тарас стал все больше и больше отлынивать от дела, уделяя досуги любезным разговорам в кабаке Ермошки. Особенно облегчала его жизнь подросшая старшая дочь Окся, корявая и курносая девка, здоровая, как чурбан. Это было безответное существо, обладавшее неистощимым терпением. Жена Татьяна от работы, бедности и детей давно выбилась из сил и больше управлялась по домашности, а воротила всю работу Окся, под непосредственным наблюдением которой работали еще двое братьев-подростков.

— И в кого ты у нас уродилась, Окся, — часто говорила Татьяна, наблюдая дочь. — Ровно у нас таких неуворотных баб и в роду не бывало. Дерево деревом.

— Такая уж уродилась, мамынька, — отвечала Окся, не разгибаясь от работы. — Вся тут...

— Ох, горе ты мое, Окся! — стонала Татьяна. — Другие-то девки вст замуж повыскакали, а ты так в девках и зачичеревеешь... Кому тебя нужно, несообразную.

— Бог пошлет счастье, так и я замуж выйду, мамынька... Слава богу, не хуже других.

— Ох, дура, дура...

Оригинальнее всего было то, что Оксю, кормившую своей работой всю семью, походя корили каждым куском хлеба, каждой тряпкой. Особенно изобретателен был в этом случае сам Тарас. Он каждый раз, принимая Оксину работу, непременно тыкал ее прямо в физиономию чем попало: сапогом, деревянной сапожной колодкой, а то и шилом.

— Стерва, знаешь хлеб жрать! — ругался он. — Пропасти на тебя нет!

Он все больше и больше наваливал работы на безответную девку, а когда она не исполняла ее, хлестал ремнем или таскал за волосы. Окся не жаловалась, не плакала, и это окончательно выводило Тараса из себя.

— Бесчувственная стерва... — удивлялся Тарас, измучившись боем. — Што ее учи, што не учи — один прок.

К счастью Окся, Тарасу некогда было серьезно заниматься наукой, и Окся в его отсутствие наслаждалась покоем. Что она думала — никто не знал, да и не интересовался знать, а Окся работала, не разгибая спины, и вечно молчала. Любимым удовольствием для нее было выйти за ворота и смотреть на улицу. Окся могла простоять таким образом у ворот часа три и все время скалила белые зубы. Парни потешались над ней, как над круглой дурой, и шутили грубые шутки: то грязью запустят, то в волосы закатают сапожного вару, то вымажут сажей. Окся защищалась отчаянно, как обезьяна, и тоже не жаловалась, точно так все и должно быть.

Так шла жизнь семьи Мыльниковых, когда в нее неожиданно хлынули дикие деньги, какие Тарас вымогал из доверчивых людей своей «словесностью». Раз под вечер он привел в свою избушку даже гостей — событие небывалое. С ним пришли: Кишкин, Яша, Петр Васильич с Фотьянки и Мина Клейменный.

— Милости просим, — приглашал Тарас. — Здесь нам много способнее будет разговоры-то разговаривать, а в кабаке еще, того гляди, подслушают да визнают... Тоже народ ноне пошел, шильники. Эй, Окся, айда к Ермошке. Оборудуй четверть водки... Да у меня смотри: одна нога здесь, а другая там. Господа, вы на нее не смотрите: дура набитая. При ней все можно говорить, потому, как стена, ничего не поймет.

Окся накинула на голову платок и бросилась к двери.

— Эй ты, пень березовый! — остановил ее отец. — Стой, дура, выслушай перво... Водки купишь, так на обратном пути заверни в лавочку и купи фунт колбасы.

Это уж было совсем смешно, и Окся расхохоталась. Какая такая колбаса? Тоже выдумает тятенька.

— Ну не дура ли набитая? — повторял Тарас, обращаясь уже к гостям.

— Однако и дворец у тебя, Тарас,— удивлялся Кишкин, не зная, куда сесть.— Одним словом, хоромина.

— А вот погоди, Андрон Евстратыч, все справим, бог даст.

Петр Васильич степенно молчал, оглядывая Тарасову худобу. Он даже пожалел, что пошел сюда: срам один. Но предстояло важное дело, которое Мыльников все откладывал: именно сегодня Мина Клейменный должен был рассказать какую-то мудреную историю про Мутяшку. Это был совсем древний старик, остов человека, и жизнь едва теплилась в его потухших глазах. Свое прозвище он получил от клейм на висках. На старческой ссохшейся и пожелтевшей коже сохранились буквы СК, то есть ссыльно-каторжный. Таких клейменных в Балчуговском заводе оставалось уже немного: старики быстро вымирали. Мина был из дворовых людей Рязанской губернии и попал на каторгу за убийство бурмистра. Было это так давно, что и сам Мина уже не мог хорошенько припомнить, за что убил. Прошлое у него совсем вытерлось из памяти, заслоненное долголетней каторгой.

Когда Окся принесла водки и колбасы, твердой, как камень, разговоры сразу оживились. Все пропустили по стаканчику, но колбасу ел один Кишкин да хозяин. Окся стояла у печки и не могла удержаться от смеха, глядя на них: она в первый раз видела, как едят колбасу, и даже отплюнула несколько раз.

— Так ты нам с начала рассказывай, Мипа,— говорил Тарас, усаживая старика в передний угол.— Как у вас все дело было... Ведь ты тогда в партии был, когда при казне по Мутяшке ширпы были?

— Был, как же,— соглашался Мина, шамкая беззубым ртом.— Большая партия была...

— Это при Разове было? — справился Петр Васильич, сохраняя необыкновенную степенность.

— Не перешибай ты его! — останавливал Тарас.— Старичок древний, как раз запутается... Ну-ка, дедушка, еще стаканчик кувырпи!

— Большая партия была...— продолжал Мина, точно пережевывая каждое слово.— В кандалах выгнали на работу, а места по Мутяшке болотистые... лес... Казаки за нами с нагайками... Битва была, а не работа. Ненастье поднялось страшное, а хлеб-то и подмок... Оголодали, промокли... Ну, Разов нагнал — и сейчас давай нас драть.

Он уж без этого не мог... Лютый человек был. Ну, на Му-тяшке-то мы целый месяц мѹку принимали, а потом и подвернись казакам один старец. Он тут в лесу проживал, душу спасал... Казаки-то его поймали и приводят. Седенький такой старец, а головка трясется. Разов велел и его отпалыскать... Ну, старец-то принял наказание, перекрестился и Разова благословил... «Миленький,— говорит,— мне тебя жаль, не от себя лютуешь». Разов опять его бить... Тут уж старец слег: разнемогся вконец. И Разова тоже совесть взяла: оставил старца... Ну, мы робим, ширпы бьем, а старец под елочкой лежит и глядит на нас. Глядел-глядел да и подзывает меня. «Што вы,— говорит,— понапраспу землю роете?.. И золото есть, да не вам его взять. Не вашими погаными руками...» — «Как же,— говорю я,— взять его, дедушка?» — «А умеючи,— говорит,— умеючи, потому положон здесь на золоте великий зарок. Ты к нему, а оно от тебя... Надо,— говорит,— шtbody невинная девица обошла сперва место то по три зари, да и ширп бы она же указала...» Ну, какая у нас в те поры невинная девица, когда в партии все каторжане да казаки; так золото и не далось. Из глаз ушло... На промывке как будто и поблескивает, а стали доводить — и нет ничего. Так пи с чем и ушли...

— Ну, а про свинью-то, дедушка,— напомнил Тарас.— Ты уж нам все обскажи как было дело...

— Также старец сказывал...— продолжал Мина, с трудом переводя дух.— Он сам-то из Тайболы, старой веры... Ну, так в допрежние времена, еще до Пугача, один мужик из Тайболы ходил по Кедровской даче и разыскивал тумнасы. Только дошел он до Мутяшки, ударил где-то на мысу ширп, и што бы ты думал, братец ты мой?.. лопата как зазвенит... Мужик даже испугался... Ну, собрался с духом и выкопал золотой самородок пуда в два весом. Выкопать-то выкопал мужик — да испугался... Первое дело, самородок-то на свинью походил: и как будто рыло, и как будто ноги — как есть свинья. Другое дело, куды ему деваться с самородком? В те поры с золотом-то такие строгости были, одна страсть... Первого-то мужика, который на Балчуговке нашел золото, слышь, насмерть начальство запороло... Вот тайбольскому мужику и сделалось страшно...

— Да не дурак ли? — вздохнул угнетенно Петр Васильич.— Бог счастья послал, а он испугался...

— Не перешибай! — оборвал его Тарас. — Дай копчить.

— И сделалось мужику страшно, так страшно — до смерти... Ежели продать самородок — поймают, ежели так бросить — жаль, а ежели объявить начальству, повернут всю Тайболу в каторгу, как повернули Балчуговский завод. Три ночи не спал мужик: все маялся и удумал штуку: взял да самородок и закопал в ширп, где его нашел. А сам убежал домой в Тайболу и молчал до самой смерти, а когда стал помирать, рассказал все своему сыну и тоже положил зарок молчать до смерти. Сын тоже молчал и только перед смертью объявил все внуку и тоже положил зарок, как дедушка.

— Ах, дурак мужик!.. — воскликнул Кишкин. — Ну, не дурак ли?

— Да еще какой дурак-то: бог счастья послал, а он его опять в землю зарыл... Ему, подлецу, руки по локоть отрубить, а самого в воду. Дурак, дурак...

— Удавить его мало! — заявил со своей стороны Тарас. — Да ежели бы мне бог счастья послал, да я бы сейчас Ястребову в город упер самородок-то, а потом ищи... Дурак мужик!..

Вся компания разразилась такой неистовой руганью по адресу мужика, закопавшего золотую свинью, что Мина Клейменный даже напугался, что все накинулись на него.

— Да ведь это не я, братцы! — взмолился он, забиваясь в угол.

— Ах, дурак мужик!.. Живого бы его изжарить на огне... Дурак, дурак!

Даже скромный Яша и тот ругался вместе с другими, размахивал руками и лез к Мине с кулаками. Лица у всех сделались красными от выпитой водки и возбуждения.

— А мы его найдем, самородок-то, — кричал Мыльников, — да к Ястребову... Ха-ха!.. Ловко... Комар носу не подточит. Так я говорю, Петр Васильич? Родимый мой... Ведь мы-то с тобой еще в свойстве состоим по бабушкам.

— Как есть родня: троюродное наплевать.

— А ты не хрюкай на родню. У Родиона Потапыча первая-то жена, Марфа Тимофеевна, родной сестрой приходилась твоей матери, Лукерье Тимофеевне. Значит, в свойстве и выходит. Ловко Лукерья Тимофеевна прижала Родиона Потапыча. Утихомирила разом, а то совсем Яшку собрался драть в волости. Люблю...

— Ну, братцы, надо об деле столковаться,— приставал Кишкин.— Первое мая на носу, надо партию...

— Валяй партию, всех записывай! — кричали пьяные голоса.— Добудем Мутяшку... А то и самородку разыщем, свинью эту самую.

— Я на себя запишу заявку-то...— предлагал Кишкин.

— Конечно, на себя: ты один у нас грамотный...

— А я Оксю приспособлю, может, она найдет свинью-то,— предлагал Мыльников,— она хоша и круглая дура, а честная...

— Можно и сестру Марью на такой случай вывести...— предлагал расхрабренный Яша.— Тоже девица вполне... Может, вдвоем-то они скорее найдут. А ты, Андрон Евстратыч, главное дело, не ошибись гумагой, потому как гумага первое дело.

— Да уж надейтесь на меня: не подгадим дела,— уверял Кишкин.

Дальше в избушке поднялся такой шум, что никто и ничего не мог разобрать. Окся успела слетать за второй четвертью и на закуску принесла соленого максуна. Пока другие пили водку, она успела стащить половину рыбы и разделила братьям и матери, сидевшим в холодных сених.

— Они теперь совсем одурели...— коротко объяснила она, уплетая соленую рыбу за обе щеки.— А тятенька прямо на стену лезет...

— Да разве на одной Мутяшке золото-то? — выкрикивал Мыльников, качаясь на ногах.— Да сколько его хошь, золота: по Худенькой, по Малиновке, по Генералке, а там Свистунья, Ледянка, Миляев мыс, Суходойка, Маякова слань. Бугры золота...

Увлечшись, Мыльников совсем забыл, что этими местами обманывал городских промышленников, и теперь уверял всех, что везде был сам и везде находил верные знаки.

— Перестань врать, непутевая голова! — оборвал его Петр Васильич.

Пьяный Мина Клейменный давно уже лежал под столом. Его там нашли только утром, когда Окся принялась за свою работу. Разбуженный старик долго не мог ничего понять, как он очутился здесь, и только беззвучно жевал своим беззубым ртом. Голова у него трещала с похмелья, как худой колокол.

Тронувшаяся вешняя вода не произвела обычного эффекта на промыслах. Рабочие ждали с нетерпением первого мая, когда открывалась Кедровская дача. Крупные золотопромышленники организовали приисковые партии через своих поверенных, а мелкота толкалась в Балчуговском заводе самолично. Цены на рабочие руки поднялись сразу, потому что везде было нужно настоящих приисковых рабочих. Пока балчуговские мужики проживали полученные задатки, на компанейские работы выходила только отчаянная голытьба и приисковая рвань. Да и на эту рабочую силу был плохой расчет, потому что и эти отбросы ждали только первого мая. Родион Потапыч рвал на себе волосы в отчаянии.

— Ничего, пусть поволнуются...— успокаивал Карачунский.— По крайней мере, теперь не будет на нас жалоб, что мы тесним работами, мало платим и обижаем. К нам-то придут, поверь...

— А время-то какое?..— жаловался Родион Потапыч.— Ведь в прошлом году у нас стоном стон стоял... Одних старателишек неочерпаемое множество, а теперь они губу на локоть. Только и разговору: Кедровская дача, Кедровская дача. Без рабочих совсем останемся, Степан Романыч.

— Вздор... Попробуют и бросят, поверь мне. Во всяком случае, я ничего страшного пока еще не вижу...

Чтобы развеселить старика, Карачунский прибавил:

— Старатели будут, конечно, воровать золото на новых промыслах, а мы будем его скупать... Новые золотопромышленники закопают лишние деньги в Кедровской даче, а рабочие к нам же и придут. Уцелеет один Ястребов и будет скупать наше золото, как скупал его раньше.

— Уж этот уцелеет... Повесить его мало... Теперь у него с Ермошкой кабатчиком такая дружба завелась — водой не разольешь. Рука руку моет... А што на Фотьянке делается: совсем сбесился народ. С Балчуговского все на Фотьянку кинулись... Смута такая пошла, што не слушай теплая хороминка. И этот Кишкин тут впутался, и Ястребов наезжал раза три... Живым мясом хотят разорвать Кедровскую-то дачу. Гляжу я на них и дивлюсь про себя: вот до чего привел господь дожить. Не глядели бы глаза,

— Ну, а что твоя Феня?

Родион Потапыч не любил подобных расспросов и каждый раз хмурился. Карачунский наблюдал его улыбающимися глазами и тоже молчал.

— Устроил...— коротко ответил он, опуская глаза.— К себе-то в дом совестно было ее привезти, так я ее на Фотьянку, к сродственнице определил. Баушка Лукерья.. Она мне по первой жене своячиной приходится. Ну, я к ней и определил Феню пока што...

— А потом?

— А потом уж што господь пошлет.

После длинной паузы старик прибавил:

— Своячина-то, значит, баушка Лукерья, совсем правильная женщина, а вот сын у ней...

— Петр Васильич?— подсказал Карачунский, обладавший изумительной памятью на имена.

— Он самый... Сродственник он мне, а прямо скажу: змей подколодный. Первое дело — с Кишкиным конпанию завел, потом Ястребова к себе на фатеру пустил... У них теперь на Фотьянке черт кашу варит.

Чтобы добыть Феню из Тайболы, была употреблена военная хитрость. Во-первых, к Кожиным отправилась сама баушка Лукерья Тимофеевна и заявила, что Родион Потапыч согласен простить дочь, буде она явится с повинной.

— Конечно, построжит старик для видимости,— объясняла она старухе Маремьяне,— сорвет сердце... Может, и побьет. А только родительское сердце отходчиво. Сама, поди, знаешь по своим детям.

— А как он ее запрет дома-то? — сомневалась старая раскольница, пристально вглядываясь в хитрого посла.

— Запре-от? — удивилась баушка Лукерья.— Да ему-то какая теперь в ней корысть? Была девка, не умели беречь, так теперь ветра в поле искать... Да еще и то сказать, в Балчугах народ балованный, как раз еще и ворота дегтем вымажут... Парни-то нынче ножовые. Скажут: нами брезговала, а за кержака убежала. У них свое на уме...

— Это ты правильно, баушка Лукерья...— туго соглашалась Маремьяна.— Хошь до кого доведись.

— Я-то ведь не неволю, а приехала вас же жалеючи... И Фене-то не сладко жить, когда родители хуже чужих стали. А ведь Феня-то все-таки своя кровь, из роду-племени не выкинешь.

— Уж ты-то помоги нам, баушка...

Уластила старуха кержанку и уехала. С неделю думали Кожины, как быть. Акинфий Назарыч был против того, чтобы отпускать жену одну, но не мог он устоять перед жениными слезами. Нечего делать, заложил он лошадь и под вечерок, чтобы не видели добрые люди, сам повез жену на мировую. Выбрана была нарочно суббота, чтобы застать дома самого Родиона Потапыча. Высадил Кожин жену около церкви, поцеловал ее в последний раз и отпустил, а сам остался дожидаться. Он даже прослезился, когда Феня торопливо пошла от него и скрылась в темноте, точно чуяло его сердце беду.

Родион Потапыч действительно был дома и сам отворил дочери дверь. Он ни слова не проронил, пока Феня с причитаньями и слезами ползала у его ног, а только велел Прокопию запрячь лошадь. Когда все было готово, он вывел дочь во двор, усадил с собой в пошевни и выехал со двора, но повернул не направо, где дожидался Акинфий, а влево. Встрепенулась было Феня, как птица, попавшая в западню, но старик грозно прикрикнул на нее и погнал лошадь. Он догадался, что Кожин ждет ее где-нибудь поблизости, и объехал засаду другой улицей, а там мелькнула «пьяная контора», Ермошкин кабак и последние избышки Нагорной.

— Тятенька, родимый, куда ты везешь меня? — взмолилась Феня.

— А вот узнаешь, куда...

Феня вся похолодела от ужаса, так что даже не сопротивлялась и не плакала. Вот и Краухин увал, и шахты, и казенный громадный разрез, и молодой лесок, выросший по свалкам и отвалам. Когда уже мелькнули впереди огоньки Фотьянки, Феня догадалась, куда отец везет ее, и внутренне обрадовалась: баушку Лукерью она видела редко, но привыкла ее уважать. Пошевни переехали реку Балчуговку по ветхому мостику, поднялись на мысок, где стоял кабак Фролки, и остановились у дома Петра Васильича. На топот лошади в волоковом оконце показалась голова самой баушки Лукерьи. Старуха сама вышла на крыльцо встречать дорогих гостей и проводила Феню прямо в заднюю избу, где жила сама.

— Ты посиди здесь, жар-птица, а я пока потолкую с отцом, — сказала она, припирая дверь на всякий случай железной задвижкой.

Родион Потапыч сидел в передней избе, которая делилась капитальной стеной на две комнаты — в первой была русская печь, а вторая оставалась чистой горницей.

— Ну, гостенек дорогой, проходи в горницу, — приглашала баушка Лукерья. — Сядем рядком да поговорим ладком...

— О чем говорить-то? Весь тут. Дома ничего не осталось... А где у тебя змей-то кривой?

— Ох, не спрашивай... Конпанятся они теперь в кабаке вот уж близко месяца, и конца-краю нету. Только што и будет... Сегодня зятек-то твой, Тарас Матвейч, пришел с Кишкиным и сейчас к Фролке: у них одно заведение. Ну, так ты насчет Фени не сумлевайся: отвожусь как-нибудь...

— Ты с нее одежду-то ихнюю сыми первым делом... Нож мне это вострый. А ежели нагонят из Тайболы да будут приставать, так ты мне дай знать на шахты или на плотину: я их живой рукой поверну.

— Всяк кулик на своем болоте велик, Родион Потапыч... Управимся и без тебя. Чем я тебя угощать-то буду, своячок?.. Водочку не потребляешь?

— Отроду не пивал, не знаю, чем она и пахнет, а теперь уж поздно начинать... Ну так, своячинушка, направляй ты нашу заблудящую девку, как тебе бог на душу положит, а там, может, и сочтемся. Што тебе понадобится, то и сделаю. А теперь, значит, прощай...

Баушка Лукерья не задерживала гостя, потому что догадалась, чего он боится, именно, встречи с Петром Васильичем и Кишкиным. Она проводила его за ворота.

— Приеду как-нибудь в другой раз... — глухо проговорил старик, усаживаясь в свои пошевни. — А теперь мутит меня... Говорить-то об *ней* даже не могу. Ну, прощай...

Так Феня и осталась на Фотьянке. Баушка Лукерья несколько дней точно не замечала ее: придет в избу, делает какое-нибудь свое старушечье дело, а на Феню и не взглянет.

— Баушка, родненькая, мне страшно... — несколько раз повторяла Феня, когда старуха собиралась уходить.

— Страшнее того, што сама наделала, не будет...

Горько расплакалась Феня всего один раз, когда брат Яша привез ей из Балчугова ее девичье приданое. Снимая с себя раскольничий косоклиный сарафан, подаренный богоданной матушкой Маремьяной, она точно навеки прощалась со своей тайболовской жизнью. Ах, как было ей

горько и тошно, особенно вспоминая любовные речи Акинфия Назарыча... Где-то он теперь, мил-сердечный друг? Принесут ему ее дареное платье, как с утопленницы. Баушка Лукерья поняла девичье горе, нахмурилась и су-рово сказала:

— Не о себе ревешь, непутевая... Перестань дурить. То-то ваша девичья совесть... Недаром слово молвится: до порога.

— Хошь бы я словечко одно ему сказала...— плакала Феня.— За привет, да за ласку, да за его любовь...

— Очень уж просты на любовь-то мужики эти самые,— ворчала старуха, свертывая дареное платье.— Им ведь чужого-то века не жаль, только бы свое получить. Не бойся, утешится твой-то с какой-нибудь кержанкой. Не стало вашего брата, девок... А ты у меня пореви, на поклоны поставлю.

Хотела Феня повидать Яшу, чтобы с ним послать Акинфию Назарычу поклончик, да баушка Лукерья не пустила, а опять затворила в задней избе. Горько убивалась Феня, точно ее живую похоронили на Фотьянке.

Баушка Лукерья жила в задней избе одна, и, когда легли спать, она, чтобы утешить чем-нибудь Феню, начала рассказывать про прежнюю «казенную жизнь»: как она с сестрой Марфой Тимофеевной жила «за помещиком», как помещик обижал своих дворовых девушек, как сестра Марфа Тимофеевна не стерпела поруганья и подожгла барский дом.

— А стыда-то, стыда сколько напринимались мы в девичьей,— рассказывал в темноте баушкин голос.— Сегодня одна, завтра другая... Конечно, подневольное наше девичье дело было, а пригнали нас на каторгу в Балчуги — тут покойничек Антон Лазарич лакомство свое тешил. Так это все грех подневольный, за который и взыску нет: чего с каторжанок взять. А и тут, как вышли на поселенье, посмотри-ка, какие бабы вышли: ни про одну худого слова не молвят. И ни одной такой-то не нашлось, шtbody польстилась в другую веру уйти... Терпеть терпели всячину, а этого не было. И бога не забывали, и в свою православную церковь ходили... Только и радости было, што одна церковь, когда каторгу отбывали. Родная мать наша была церковь-то православная: сколько, бывало, поплачем да помолимся, столько и проживем. Вот это какое дело... расейский народ крепкий, не то што здешние.

Фея внимательно слушала неторопливую баушкину речь и проникалась прошлым страшным горем, какое баушка припесла из далекой Расеи сюда, на каторгу. С детства она слышала все эти рассказы, но сейчас баушка Лукерья гнула свое, стороной обвиняя Феню в измене православию. Последнее испугало Феню, особенно когда баушка Лукерья сказала:

— А ты того не подумала, Феня, што родился бы у тебя младенец и потащила бы Маремьяна к старикам да к своим старухам крестить? Разве ихнее крещенье правильное: загубила бы Маремьяна ангельскую душеньку — только и всего. Какой бы ты грех на свою душу приняла?.. Другая девушка не сохранит себя, — вон какой у нас народ на промыслах! — разродится младенцем, а все-таки младенец крещеный будет... Стыд-то свой девичий сама износит, а младенческую душеньку ухранит... А того ты не подумала, што у тебя народилось бы человек пять ребят, тогда как?..

— Баушка, миленькая, я думала, што... очень уж любит меня Акинфий-то Назарыч, может, он и повернулся бы в нашу православную веру. Думала я об этом и день и ночь...

— А Маремьяна?.. Нет, голубушка, при живности старухи нечего было тебе и думать. Пустое это дело, закостенела она в своей старой вере...

— А ежели Маремьяна умрет, баушка? Не два века она будет жить...

— Тогда другой разговор... Только старые люди сказывали, што свинья не родит бобра. Понадеялась ты на любовные речи своего Акинфия Назарыча прежде времени...

Каждый вечер происходили эти тихие любовные речи, и Фея все больше проникалась сознанием правоты баушки Лукерьи. А с другой стороны, ее тянуло в Тайболу мертвой тягой: свернула бы птицей и полетела... Хотя бы один раз взглянуть, что там делается!

Ровно через неделю Кожин разыскал, где была спрятана Фея, и верхом приехал в Фотьянку. Сначала, для отвода глаз, он завернул в кабак, будто собирается золото искать в Кедровской даче. Поговорил он кой с кем из мужиков, а потом послал за Петром Васильичем. Тот не заставил себя ждать и, как увидел Кожина, сразу смекнул,

в чем дело. Чтобы не выдать себя, Петр Васильич с час ломал комедию и сговаривался с Кожиным о золоте.

— Пойдем-ка ко мне, Акинфий Назарыч,— пригласил он наконец смущенного Кожина,— может, дома-то лучше сговоримся...

Свою лошадь Кожин оставил у кабака, а сам пошел пешком.

— Вот што, друг милый,— заговорил Петр Васильич,— зачем ты приехал — твое дело, а только смотри, штобы тихо и смирно. Все от матушки будет: допустит тебя или не допустит. Так и знай...

— Тише воды ниже травы буду, Петр Васильич, а твоей услуги не забуду...

— То-то, уговор на берегу. Другое тебе слово скажу: напрасно ты приехал. Я так мекаю, што матушка повернула Феню на свою руку... Бабы это умеют делать: тихими словами как примется наговаривать да как слезами учнет донимать — хуже обуха.

Сначала Петр Васильич пошел и предупредил мать. Баушка Лукерья встрепенулась вся, но раскинула умом и велела позвать Кожина в избу. Тот вошел такой убитый да смиренный, что ей вчуже сделалось его жаль. Он поздоровался, присел на лавку и заговорил, будто приехал в Фотьянку нанимать рабочих для заявки.

— Вот што, Акинфий Назарыч, золото-то ты свое уж оставь,— обрезала баушка Лукерья.— Захотел Феню повидать? Так и говори... Прямое дерево ветру не боится. Я ее сейчас позову.

У Кожина захолонуло на душе: он не ожидал, что все обойдется так просто. Пока баушка Лукерья ходила в заднюю избу за Феней, прошла целая вечность. Петр Васильич стоял неподвижно у печи, а Кожин сидел на лавке, низко опустив голову. Когда скрипнула дверь, он весь вздрогнул. Феня остановилась в дверях и не шла дальше.

— Феня...— зашептал Акинфий Назарыч, делая шаг к ней.

— Не подходи, Акинфий Назарыч...— остановила она.— Што тебе нужно от меня?

Кожин остановился, посмотрел на Феню и проговорил:

— Одно я хотел спросить тебя, Федосья Родионовна: своей ты волей попала сюда или неволей?

— Попала неволей, а теперь живу своей волей, Акифий Назарыч... Спасибо за любовь да за ласку, а в Тайболу я не поеду, ежели...

Она остановилась, перевела дух и тихо прибавила:

— Хочу, шtbody все по нашей вере было...

Эти слова точно пошатнули Кожина. Он сел на лавку, закрыл лицо руками и заплакал. Петр Васильич крякнул, баушка Лукерья стояла в уголке, опустив глаза. Феня вся побелела, но не сделала шагу. В избе раздавались только глухие рыдания Кожина. Еще бы одно мгновение, и она бросилась бы к нему, но Кожин в этот момент поднялся с лавки, выпрямился и проговорил:

— Бог тебе судья, Федосья Родионовна... Не так у меня было удумано, не так было сложено, душу ты во мне повернула.

— Зачем ты ее сомущаешь? — остановила его баушка Лукерья. — Она про свою голову промышляет...

Кожин посмотрел на старуху, ударил себя кулаком в грудь и как-то простонал:

— Баушка, не мне тебя учить, а только большой ответ ты принимаешь на себя...

— Ладно, я еще сама с тобой поговорю... Феня, ступай к себе.

Разговор оказался короче воробьиного носа: баушка Лукерья говорила свое, Кожин свое. Он не стыдился своих слез и только смотрел на старуху такими страшными глазами.

— Не о чем, видно, нам разговаривать-то, — решил он, прощаясь. — Пропадай, голова, ни за грош, ни за копейку!

Когда Кожин вышел из избы, баушка Лукерья тяжело вздохнула и проговорила:

— Хорош мужик, кабы не старуха Маремьяна.

IV

Кишкин не терял времени даром и делал два дела зараз. Во-первых, он закончил громадный донос на бывшее казенное управление Балчуговских промыслов, над которым работал года три самым тщательным образом. Нужно было собрать фактический материал, обставить его цифровыми данными, иллюстрировать свидетельскими показаниями и вывести заключения, — все это он исполнил с до-

бросовестностью озлобленного человека. Во-вторых, нужно было подготовить все к заявке прииска в Кедровской даче, а это требовало и времени, и умения.

Когда-то у Кишкина был свой дом и полное хозяйство, а теперь ему приходилось жаться на квартире, в одной каморке, заваленной всевозможным хламом. Стяжатель по натуре, Кишкин тащил в свою каморку решительно все, что мог достать тем или другим путем: старую газету, которую выпрашивал почитать у кого-нибудь из компанейских служащих, железный крюк, найденный на дороге, образцы разных горных пород и т. д. В одном уголке стоял заветный деревянный шкапик, занятый материалами для доноса. По ночам долго горела жестяная лампочка в этой каморке, и Кишкин строчил свою роковую повесть о «казенном времени». В этом доносе сосредоточивалась вся его жизнь. Он переписывал его несколько месяцев, выводя старческим убористым почерком одну строку за другой, как паук тклет свою паутину. Когда работа была кончена, Кишкин набожно перекрестился: он вылил всю свою душу, все, чем наболел в дни своего захудания.

— Всем сестрам по серьгам! — говорил он вслух и ехидно хихикал, закрывая рот рукой. — Что такое теперь Кишкин: ничтожность! пыль!.. последний человек!.. Хихи-хи!.. И вдруг вот этот самый Кишкин всех и достигнет... всех!.. Э, голубчики, будет: пожили, порадовались — надо и честь знать. Поди, думают, что все уж умерло и былшем поросло, а тут вдруг сюрпризец... Пожалуйте на цугундер, имярек! Хи-хи... Вы в колясках катаетесь, а Кишкин пешком ходит. Вы в палатах поживаете, а Кишкин в норе гниет... Погодите, всех выведу на свежую воду! Будете помнить Кишкина.

Целую ночь не спал старый ябедник и все ходил по комнате, разговаривая вслух и хихикая так, что вдова-хозяйка решила про себя, что жилец свихнулся.

Захватив свое произведение, свернутое трубочкой, Кишкин пешком отправился в город, до которого от Балчуговского завода считалось около двенадцати верст. Дорога проходила через Тайболу. Кишкин шел такой радостный, точно помолодел лет на двадцать, и все улыбался, прижимая рукопись к сердцу. Вот она, голубушка... Тепленькое дельце заварится. Дорого бы дали вот за эту бумажку те самые, которые сейчас не подозревают даже о его существовании. «Какой Кишкин?..» Х-ха, вот вам и

какой: добренький, старенький, бедненький... Пешечком идет Кишкин и несет вам гостинец.

В городе Кишкин знал всех и поэтому прямо отправился в квартиру прокурора. Его заставили подождать в передней. Прокурор, пожилой важный господин, отнесся к нему совсем равнодушно и, сунув жалобу на письменный стол, сказал, что рассмотрит ее.

— Ничего, я подожду, ваше высокоблагородие,— смиренно отвечал Кишкин, предвкушая в недалеком будущем иные отношения вот со стороны этого важного чина.— Маленький человек... Подожду.

От прокурора Кишкин прошел в горное правление, в так называемый «золотой стол», за которым в свое время вершились большие дела. Когда-то заветной мечтой Кишкина было попасть в это обетованное место, но так и не удалось: «золотой стол» находился в ведении одной горной фамилии вот уже пятьдесят лет, и чужому человеку здесь делать было нечего. А тепленькое местечко... В горных делах царила фамилия Каблуковых: старший брат, Илья Федотыч, служил секретарем при канцелярии горного начальника, а младший, Андрей Федотыч, столоначальником «золотого отряда». Около них ютилась бесчисленная родня. Собственно, братья Каблуковы были близнецы, и разница в рождении заключалась всего в нескольких часах. В них была вся сила, а горные инженеры и разное начальство служили только для декорации.

— Ну что, Андрон Евстратыч? — спрашивал младший Каблуков, с которым в богатое время Кишкин был даже в дружбе и чуть не женился на его родной сестре, конечно, с тайной целью хотя этим путем проникнуть в роковой круг.— Каково прыгаешь?

— Да вот думаю золотишкоискать в Кедровской даче.

— Разве лишние деньги есть?

— На мои сиротские слезы, может, бог и пошлет счастья...

— Что же, давай бог нашему теляти волка поймать. Подавай заявку, а отвод сейчас будет готов. По старой дружбе все устроим...

— Знаю я вашу дружбу...

Андрей Федотыч был добродушный и веселый человек и любил пошутить, вызывая скрытую зависть Кишкина: хорошо шутить, когда в банке тысяч пятьдесят лежит. Старший брат, Илья Федотыч, наоборот, был очень мрач-

ный субъект и не любил болтать напрасно. Он являлся главной силой, как старый делец, знавший все ходы и выходы сложного горного хозяйства. Кишкина он принимал всегда сухо, но на этот раз отвел его в соседнюю комнату и строго спросил:

— Ты это что, сбесился, Андрюшка?

— А што?

— А вот это самое... Думаешь, мы и не знаем? Все знаем, не беспокойся. Кляузы-то свои пора тебе оставить.

— Не поглянулось?..

— Да ты чему радуешься-то, Андрюшка? Знаешь поговорку: взвыла собака на свою голову. Так и твое дело. Ты еще не успел подумать, а я уж все знаю. Пустой ты человек, и больше ничего.

Кишкин смотрел на Илью Федотыча и только ухмылялся: вот этот вперед всех догадался... Его не проведешь.

— Вот што, Илья Федотыч,— заговорил Кишкин деловым тоном,— теперь уж поздно нам с тобой разговаривать. Сейчас только от прокурора.

— Ах, пес!..

— Вот тебе и пес... Такой уж уродился. Раньше-то я за вами ходил, а теперь уж вы за мной похóдите. И похóдите, даже очень похóдите... А пока што думаю заявочку в Кедровской даче сделать.

— Не дадим,— коротко отрезал Илья Федотыч.

— Нет, дашь...— так же коротко ответил Кишкин и ухмыльнулся.— В некоторое время еще могу пригодиться. Не пошел бы я к тебе, кабы не моя сила. Давно бы мне так-то догадаться...

Илья Федотыч с изумлением посмотрел на Кишкина: перед ним действительно был совсем другой человек. Великий горный делец подумал, пожал плечами и решил:

— Ну, черт с тобой, делай заявку...

Эта ничтожная по своим размерам победа для Кишкина являлась предвестником его возрождения: сам Илья Федотыч трухнул перед ним, а это что-нибудь значит.

Вернувшись в Балчуговский завод, Кишкин принялся за дело.

Конец апреля выдался теплый и ясный. Компанейские работы уже шли полным ходом, главным образом за Фотьяпкой, где по обоим берегам Балчуговки залегали богатейшие россыпи. Ввиду наступления первого мая поисковые партии сосредоточивались в Фотьянке, потому что от-

сюда до грани Кедровской дачи было рукой подать, то есть всего верст двенадцать. Первым на Фотьянку явился знаменитый скупщик Ястребов и занял квартиру в лучшем доме, именно у Петра Васильича. Баушка Лукерья не хотела его пускать из страха перед Родионом Потапычем, но Петр Васильич, жадный до денег, так взъелся на мать, что старуха не устояла.

— Што мы, разве невольники какие для твоего Родиона-то Потапыча? — выкрикивал Петр Васильич. — Ему хорошо, так и другим тоже надо... Как собака лежит на сене: сам не ест и другим не дает. Продался компании и знать ничего не хочет... Захудал народ вконец, взять хоть нашу Фотьянку, а кто цены-то ставит? У него лишнего гроша пикто еще не заработал...

— По кабакам бы меньше пропивали!

— Кабак тут не причина, мамынька... Подшибся народ вконец, вот из последних и конпанятся по кабакам. Все одно за компанией-то пропадом пропадать... И наше дело взять: какая нам такая печаль до Родиона Потапыча, когда с Ястребова ты в месяц цалковых пятнадцать получишь. Такого случая не скоро дождешься... В другой раз Кедровскую дачу не будем открывать.

Старуха сдалась, потому что на Фотьянке деньги стоили дорого. Ястребов действительно дал пятнадцать рублей в месяц да еще сказал, что будет жить только наездом. Приехал Ястребов на тройке в своем тарантасе и произвел на всю Фотьянку большое впечатление, точно этим приездом открывалась в истории кондового варнацкого гнезда новая эра. Держал себя Ястребов настоящим барином и сыпал деньгами направо и налево.

— Ну, баушка, будем жить-поживать да добра наживать, — весело говорил он, располагая свои пожитки в чистой горнице.

— А я тебе вот што скажу, Никита Яковлич, — ответила старуха, — жить живи себе на здоровье, а только боюсь я...

— Чего испугалась-то прежде времени, баушка?

— Да как же, начнешь золото скупать... И нас засудят.

Ястребов засмеялся.

— Ну, этого у меня заведенья не полагается, баушка, — успокоил он, — у меня один закон для всех: кто из

рабочих только нос покажет с краденым золотом — шабаш. Штобы и духу его не было... У меня строго, баушка.

— То-то, миленький, смотри...

— В оба глядим, баушка, где плохо лежит,— пошутил Ястребов и даже похлопал старуху по плечу.— Не бойся, а только живи веселее,— скорее повесят...

— С тобой, с разговором, и то повесят...

Веселый характер опасного жильца понравился старухе, и она махнула на Родиона Потапыча.

Появлением Ястребова в доме Петра Васильича больше всех был огорчен Кишкин. Он рассчитывал устроить в избе главную резиденцию, а теперь пришлось занять просто баню, потому что в задней избе жила сама баушка Лукерья с Феней.

— Ну, это не фэсон, Петр Васильич,— ворчал Кишкин.— Ты што раньше-то говорил: «У меня в избе живите, как дома», «у меня вольготно», а сам пустил Ястребова.

— Ах, Андрон Евстратыч, не я пустил, а мамынька,— отпирался Петр Васильич самым бессовестным образом.

— Не ври уж в глаза-то, а то еще как раз подавишь-ся...

Таким образом, баня сделалась главным сборным пунктом будущих миллионеров, и сюда же натащили разную приисковую снасть, необходимую для разведки: ручной вашгерд, пасос, скребки, лопаты, кайлы, пробный ковш и т. д. Кишкин отобрал заблаговременно паспорта у своей партии и предъявил в волость, что требовалось по закону. Все остальные слепо повиновались Кишкину, как главному коноводу.

Капун первого мая для Фотьянки прошел в каком-то чаду. Вся деревня поднялась на ноги с раннего утра, а из Балчуговского завода так и подваливала одна партия за другой. Золотопромышленники ехали отдельно в своих экипажах парами. Около обеда вокруг кабака Фролки вырос целый табор. Кишкин толкался на народе и прислушивался, о чем галдят.

— Это твоя работа, анафема!..— корил Кишкин Мыльников, которого брали на разрыв.— Вот сколько народу обоврал...

— Был такой грех, Андрон Евстратыч, в городе деньги легкие... Пусть потешится.

К обеду пригнал сам Ермошка, повернулся в кабаке,

а потом отправился к Ястребову и долго о чем-то толковал с ним, плотно притворив дверь. К вечеру вся Фотьянка сразу опустела, потому что партий тридцать выступили по единственной дороге в Кедровскую дачу, которая из Фотьянки вела па Мелединский кордон. Это был настоящий поход, точно двигалась какая-нибудь армия. Золотопромышленники ехали верхами, потому что в весеннюю распутицу на колесах здесь не было хода, а рабочие шли пешком. Партия Кишкина выступила одной из последних. Задержал Мыльников, пропавший в самую критическую минуту,— его едва разыскали. Он вообще что-то хитрил.

— Ты у меня, оборотень, смотри!..— пригрозил Кишкин, вошедший в роль заправилы.— В лесу-то один Никола бог: расчет мелкими дадим.

Партия составлена была из следующих лиц: Кишкин, Петр Васильич, Мыльников, Яша, Мина Клейменный, Турка и Матюшка. Настоящим работником был один Матюшка да разве Петр Васильич с Мыльниковым, а остальные больше для счета. Впрочем, приисковая работа требовала большой сноровки, и старики могли ответить за молодых. Собственно, вожакom служил Мина Клейменный, а другие только проверяли его. В хвосте партии плелась Окся, взятая по общему соглашению для счастья. Это была едипственная баба на все поисковые партии, что заметно шокировало настоящих мужиков, как Матюшка, делавший вид, что совсем не замечает Окси.

— Ты, дедушка, не ошибись,— упрашивал Кишкин.— Тоже не молодое твое место... Может, и запомятовал место-то?

— Чего его запомятовать-то? — обижался Мина.— Как перейдем Ледянку, сейчас тебе вправо выпадет дорога на Мелединский кордоп, а мы повернем влево, к Каленой горе...

— Да ведь ты про Миляев мыс сказывал-то?

— Ах, какой же ты, братец мой, непонятный: ну, тут тебе и есть Миляев мыс, потому как Мутяшка упала в Меледу под самой Каленой горой.

— Смотри, старый, не ошибись...

Кишкин ужасно волновался и подозрительно оглядывал каждого встречного.

— А где же Ястребов-то? — спохватился он.— Ах, батюшка... Как раз он нагопит нас да по нашим следам и пойдет.

— Чай остался пить с Ермошкой...— объяснил уклончиво Петр Васильич.

Кедровская дача занимала громадную площадь в четырехста тысяч десятин и из одного угла в другой была перерезана рекой Меледой, впадавшей в Балчуговку верстах в двадцати ниже Фотьянки. Вся дача состояла из непроходимых болот и дремучего леса. Единственным живым пунктом был кордон на Меледе, где зиму и лето жил лесник. В Меледу впадал целый ряд болотных речек, как Мутяшка, Генералка, Ледянка, Свистунья и Суходойка. Застоявшаяся болотная вода этими речонками выливалась в Меледу. Места были все глухие, куда выезжали только осенью «шишковать», то есть собирать шишки по кедровникам. Дорога в верхотинах Суходойки и Ледянки была еще в казенное время правлена и получила название Маяковой слани,— это была сейчас самая скверная часть пути, потому что мостовины давно сгнили, и приходилось людям и лошадям брести по вязкой грязи, в которой плавали гнилые мостовины. Про Маякову слань рассказывали нехорошие вещи: блазило здесь и глаза отводило, если кто оробеет. Перед Маяковой сланью партии делали первую передышку, а часть отправилась на заявки вниз по Суходойке.

— Это твоя работа...— шутил Кишкин, показывая Мыльникову на пробитую по берегу Суходойки сакму.— Спасибо тебе скажут.

На Маяковой слани партия Кишкина «затемнала», и пришлось брести в темноте по страшному месту. Особенно доставалось несчастной Оксе, которая постоянно спотыкалась в темноте и несколько раз чуть не растянулась в грязь. Мыльников брел по грязи за ней и в критических местах толкал ее в спину черным лопаты.

— Ну ты, скотинка богова...— ворчал он.— Ведь уродится же этакая тварина!

У конца Маяковой слани, где шла поворотка на кордон, партия остановилась для совещания. Отсюда к Каленой горе приходилось идти прямо лесом.

— Мина, смотри, не ошибись! — кричали голоса.— Габы на Малиновку не изгадать...

Река Малиновка была правым притоком Мутяшки, о ней тоже ходили нехорошие слухи. Когда партия двинулась в лес, произошло некоторое обстоятельство, невольно смутившее всех.

— Тятка, кто-то на вёршной проехал,— заявила Окся, показывая на поворотку к кордону.— Остановился, поглядел и поехал...

— Да куда поехал-то, чучело гороховое?

— А за вами...

Кишкину тоже показалось, что кто-то «следит» за партией на известном расстоянии.

V

Ночь па первое мая была единственной в летописях золотопромышленности: Кедровскую дачу брали приступом, точно клад. Всех партий по течению Меледы и ее притоков сошлось больше сотни, и стоном стон стоял. Ровно в двенадцать часов начали копать заявочные ямы и ставить столбы. Главная работа загорелась под Каленой горой, где сошлось несколько поисковых партий, кроме партии Кишкина; очутился здесь и Ястребов, и кабатчик Ермешка, и мещанин Затыкин, и еще какие-то никому неизвестные люди, нагнавшие из города. Всем хотелось захватить получше местечко на Мутяшке, о которой Мыльников распустил самые невероятные слухи. На Миляевом мысу, где Кишкин предполагал сделать заявку, произошла настоящая битва. Когда Кишкин пришел с партией на место, то на Миляевом мысу уже стояли заявочные столбы мещанина Затыкина, успевшего предупредить всех остальных.

— Руби столбы, ребята! — командовал Кишкин, размахивая руками.— До двенадцати часов поставлены... Не по закону!

— Врешь, у тебя часы переведены! — кричал Затыкин, показывая свои серебряные часы.— Не тронь мои столбы...

Поднялся шум и гвалт... Матюшка без разговоров выворотил затыкинский столб и поставил на его место свой. Рабочие Затыкина бросились на Матюшку. Произошла настоящая свалка, причем громче всех раздавался голос Мыльникова:

— Батюшки, убили!.. Родимые, пустите душу на покаяние...

Темнота увеличивала суматоху. Свои не узнавали своих, а лесная тишь огласилась неистовыми криками, руганью и ревом. В заключение появился Ястребов, приехавший верхом.

— Что за драка? — крикнул он. — Убирайтесь вон с моего места, дураки!..

— Давно ли оно твоим-то стало? — огрызился Кишкин охрипшим от крика и ругани голосом. — Проваливай в па-левом, приходи в голубом...

Ястребов замахнулся на Кишкина нагайкой, но вове-ря остановился.

— Ну, ударь?! — ревел Кишкин, наступая. — Ну?.. Не испугались... Да. Ударь!.. Не смеешь при свидетелях-то безобразия свое показать...

— Не хочу! — отрезал Ястребов. — Вы в моей заявке столбы-то ставите... Вот я вас и уважу...

— Но-по-о?

— Да уж видно так... Я зачертил Миляев мыс от самой Каленой горы: как раз пять верст вышло, как по закону для отвода назначено.

— Андрон Евстратыч, надо полагать, Ермошка бросил-ся с заявкой на Фотьянку, а Ястребов для отвода глаз смутьянит, — шепотом сообщил Мыльников. — Верно гово-рю... Должен он быть здесь, а его нет.

Кишкин остолбенел: конечно, Ястребов перехитрил и заслал Ермошку вперед, чтобы записать свою заявку рань-ше всех. Вот так дали маху, нечего сказать...

— Вот што, Мыльников, валяй и ты в Фотьянку, — шепнул Кишкин, — может, скорее придешь... Да не заплу-тайся на Маяковой слани, где повертка на кордон.

— Уж и не знаю, как мне быть... Боязно одному-то. Кабы Матюшка...

— Я вот покажу тебе Матюшку, оборотню! — пригро-зил Кишкин. — Лупи во все лопатки...

— А как же, например, Окся?

— Ну тебя к черту вместе и с твоей Оксей...

Когда взошло солнце, оно осветило собравшиеся на Ми-ляевом мысу партии. Они сбились кучками, каждая у сво-его огонька. Все устали после ночной схватки. Рабочие улеглись спать, а бодрствовали одни хозяева, которым было не до сна. Они зорко следили друг за другом, как слетевшиеся на добычу хищные птицы. Кишкин сидел у своего огня и вполголоса беседовал с Миной Клейменым.

— Так где казенные-то ширпы были? — допытывал он.

— А вон туда, к самой горе...

— И старец там лежал под елочкой?..

— Там... Теперь места-то и не узнаешь. Ужо казенные ширпы разыщем...

— Ну, а как насчет свиньи полагаешь? — уже совсем шепотом спрашивал Кишкин. — Где ее старец-то обозначил?..

— Да прямо он ничего не сказал, а только этак махнул рукою на Мутяшку...

— На Мутяшку?.. И через девицу, говорит, ищите?

— Это он вообще нащет золота...

— Значит, и о свинье тоже, потому как она золотая?..

— Может статься... Болотинка тут есть, за Каленой горой, так не там ли это самое дело вышло.

— Да ведь ты говорил, что мужик в лесу закопал свинью-то?

— Раза говорил? Ну, значит, в лесу...

Окся еще спала, свернувшись клубочком у огонька. Кишкин едва ее разбудил.

— Вставай ты, барышня... Возьму вот орясину да как примусь тебя обихаживать.

— Отстань!.. — ворчала Окся, толкая Кишкина ногой. — Умереть не дадут...

Кишкину стоило невероятных усилий поднять на ноги эту невежливую девицу. Окся решительно ничего не понимала и глядела на своего мучителя совсем дикими глазами. Кишкин схватил ее за руку и потащил за собой. Мина Клейменный пошел за ними. Никто из партии не слышал, как они ушли, за исключением Петра Васильича, который притворился спящим. Он вообще держал себя как-то странно и во время почной схватки даже голосу не подал, точно воды в рот набрал. Фотьянский дипломат убедился в одном, что из их предприятия решительно ничего не выйдет. С другой стороны, он не верил ни одному слову Кишкина и, когда тот увел Оксю, потихоньку отправился за ними, чтобы выследить все дело.

— Один, видно, заполучить свинью захотел, — возмущался Петр Васильич, продираясь сквозь чащу. — То-то прохирь: хлебом вместе, а табачком врозь... Нет, погоди, брат, не на таковских напал.

С другой стороны, его смешило, как Кишкин тащил Оксю по лесу, точно свинью за ухо. А Мина Клейменный привел Кишкина сначала к обвалившимся и заросшим лесом казненным разведкам, потом показал место, где лежал под слкой старец, и, наконец, повел к Мутяшке.

— Ну, народец!..— ругался Петр Васильич.— Все один сграбастать хочет...

Ему приходилось делать большие обходы, чтобы не попасть на глаза Шишке, а Мина Клейменный вел все вперед и вперед своим ровным старческим шагом. Петр Васильич быстро утомился и даже вспотел. Наконец Мина остановился на краю круглого болотца, которое выливалось ржавым ручейком в Мутяшку.

— Ну, ищи!..— толкал Кишкин ничего не понимающую Оксю.— Ну, чего уперлась-то, как пень?..

— Да я тебе разве собака далась?!— огрызнулась Окся, закрывая широкий рот рукой.— Ищи сам...

— Ах, дура точеная... Добром тебе говорят!— наступал Кишкин, размахивая короткими ручками.— А то у меня, смотри, разговор короткий будет...

Окся неожиданно захохотала прямо в лицо Кишкину, а когда он замахнулся на нее, так толкнула его в грудь, что старик кубарем полетел на траву. Петр Васильич зажал рот, чтобы не расхохотаться во все горло, но в этот момент за его спиной раздался громкий смех. Он оглянулся и остолбенел: за ним стоял Ястребов и хохотал, схватившись руками за живот.

— Ах, дураки, дураки!..— заливался Ястребов, качая головой.— То-то дураки-то... Друг друга обманывают и друг друга ловят. Ну, не дураки ли вы после этого?..

— А ты проходи своей дорогой, Никита Яковлич,— ответил Петр Васильич с важностью,— дураки мы про себя, а ты, умный, не ввязывайся.

— Боишься, что вашу свинью найду?

— Это уж не твоего ума дело...

Хохот Ястребова заставил Кишкина опять схватить Оксю за руку и утащить ее в чащу. Мина Клейменный стоял на одном месте и крестился.

— С нами крестная сила!— шептал он, закрывая глаза.

Когда они сошлись опять вместе, Кишкин шепотом спросил старика:

— Слышал? Как *он* захочет...

— Не поглянулось *ему*... Недаром старец-то сказывал, што зарок положен на золото. Вот *он* и хохочет...

— А у меня инда мороз по коже...

На месте действия оставались Ястребов и Петр Васильич.

— Все я знаю, други мои милые,— заговорил Ястребов, хлопая Петра Васильича по плечу.— Бабьи бредни и запуки, а вы и верите... Я еще пораньше про свинью-то слышал, посмеялся — только и всего. Не положил — не ищи... А у тебя, Петр Васильич, свинья-то золотая дома будет, ежели с умом... Напрасно ты ввязался в эту свою компанию: ничего не выйдет, окромя того, што время убьете да прохарчитесь...

Петр Васильич и сам думал об этом же, почесывая затылок, хотя признаться чужому человеку и было стыдно.

— Ну, а какая дома-то свинья, Никита Яковлич?

— А такая... Ты от своей-то компании не отбивайся, Петр Васильич, это первое дело, и будто мы с тобой вздорим — это другое. Понял теперь?..

— Как будто и понял, как будто и нет...

— Ладно, ладно... Не валяй дурака. Разве с другим бы я стал разговаривать об этаких делах?

Эта история с Оксей сделалась злобой промыслового дня. Кто ее распустил — так и осталось неизвестным, но об Оксе говорили на все лады и на Миляевском мысу, и на других разведках. Отчаянные промысловые рабочие рады были случаю и складывали самые невозможные варианты.

— Он, значит, Кишкин, на веревку привязал ее, Оксюху-то, да и волокет, как овцу... А Мина Клейменный идет за пей да сзади ее подталкивает. «Ищи, слышь, Оксюха...» То-то идолы!.. Ну, подвели ее к болотине, а Шишка и скомацдовал: «Ползи, Оксюха!» То-то колдуны проклятые! Оксюха, известно, дура: поползла, Шишка веревку держит, а Мина заговор наговаривает... И нашла бы ведь Оксюха-то, кабы *он* не захохотал. Учужала Оксюха золотую свинью было совсем, а *он* как грянет, как захохочет...

Особенно приставал Петр Васильич, обиженный тем, что Кишкин не взял его на поиск свиньи.

— Ах, и нехорошо, Андрон Евстратыч! Все вместе были, а как дошло дело до богатства — один ты и остался. Ухватил бы свинью, только тебя и видели. Вот какая твоя деликатность, братец ты мой...

— Отстань, смола! — огрызился Кишкин. — Што пасть-то растворил шире банного окна?.. Найдешь с вами, дураками!

Рабочие хотя и потешались над Оксей, но в душе все глубоко верили в существование золотой свиньи, и леген-

да о ней разрасталась все шире. Разве старец-то стал бы зря говорить?.. В казенное время всячина бывала, хотя нашедший золотую свинью мужик и оказал себя круглым дураком.

Центром заявочных работ служил Миляев мыс, на котором шла горячая работа, несмотря на возникшие недо-разумения. На Миляевском же мысу «утвердились» и те партии, которые делали разведки на Мутяшке с ее притоками — Худенькой и Малиновкой, а также по Меледе и Генералке. Очень уж угодное место издалось, недаром Миляевым мысом называется. Каленая гора в виду зеленой мохнатой шапкой стоит, а от нее прошел лесистый увал до самой Меледы, где в нее пала Мутяшка. В несколько дней по мысу выросли десятки старательских балаганов, кое-как налаженных из бересты, еловой коры и хвои. Этот сборный пункт по вечерам представлял необыкновенно пеструю живую картину — везде пылали яркие костры и шел немолчный людской гомон. В лесу стучал топор, где-то тренькала балалайка, а ухари-рабочие распевали песни. Враждебно встретившиеся партии давно побратались: пусть хозяева грызутся, а рабочим делить нечего. Если что разделяло рабочую массу, так вынесенная еще из домов рознь. Варпаки с Фотьянки и балчуговцы из Нагорной чувствовали себя настоящими хозяевами прискового дела, на котором родились и выросли; рядом с ними строгали и швали из Низов являлись жалкими отбросами, потому что лопаты и кайла в руки не умели взять по-настоящему, да и земляная тяжелая работа была им не под силу. Варпаки относились к ним с подобающим презрением и везде давали чувствовать свое рабочее превосходство. Из-за этого происходили постоянные стычки, перекоры, высмехи и бесконечная ругань.

— Строгали и ходят-то, так ровно на костылях,— смеялся Матюшка, лучший рабочий на Миляевом мысу.— В богадельню им так в самую бы пору!.. Туда же, на золото польстились. Шилом им землю ковырять да стамеской!..

В партии Кишкина находился и Яша Малый, но он и здесь был таким же безответным, как у себя дома. Простые рабочие его в грош не ставили, а Кишкин относился свысока. Матюшка дружил только со старым Туркой да со своими фотьянскими. У них были и свои разговоры. Соберутся около огонька своей артелькой и толкуют.

— Обищем золото, а ухватят его хозяева,— роптал Матюшка, уже затронутый жаждой легкой наживы.— На них не наробишься... Главная причина во всем — деньги.

Раз вечером, когда Матюшка сидел таким образом у огонька и разговаривал на излюбленную тему о деньгах, случилось маленькое обстоятельство, смутившее всю компанию, а Матюшку в особенности.

— Эх, кабы раздобыть где ни на есть рублей с триста! — громко говорил Матюшка, увлекаясь несбыточной мечтой.— Сейчас бы сам заявку сделал и на себя бы робить стал... Не велики деньги, а так и помрешь без них.

— Уж это ты верно... — уныло соглашался Турка, сидя на корточках перед огнем.— Люди родом, а деньги водом. Кому счастья... Вон Ермошку взять, да ему наплевать на триста-то рублей!

Кругом было темно, и только колебавшееся пламя костра освещало неясный круг. Зашелестевший вблизи куст привлек общее внимание. Матюшка выхватил горевшую головню и осветил куст — за ним стояла растерявшаяся и сконфуженная Окся. Она подкралась очень осторожно и все время подслушивала разговор, пока не выдал ее присутствия хрустнувший под ногой сучок.

— Ты, уродина, чего тут делаешь? — накинулся на нее Матюшка.

— Ишь, подслушивает,— заметил кто-то из рабочих.— Дура, а на это смысл тоже имеет...

— Гони ее, Матюшка, в три шеи!.. Омморошная какая-то...

Матюшка повернул Оксю за плечо и так двинул в спину, что она отлетела сажени на три. Эта выходка сопровождалась общим хохотом.

— Ай да Матюшка! Уважил барышню... То-то она все шары пялит на него. Вот и вышло, што поглянулась собака палка.

Окся с трудом поднялась с земли, отошла в сторону, присела в траву и горько заплакала. Ее с детства били, но тут выходило совсем особенное дело. С Оксеем случилось что-то необыкновенное, как только она увидела Матюшку в первый раз, когда партия выступала из Фотьянки. И дорогой она все время присматривалась к нему, и все время на Миляевом мысу. Смотрит, а сама точно вся застыла... Остальной мир больше для нее не существовал. Оксиную душу осветил внутренний свет, та радость, которая боится

сознаться в собственном существовании. Нечто подобное она испытывала в детстве, когда в глухую полночь ударит колокол к Христовой заутрене и недавняя тишина и мрак сменялись праздничной, гулкой и светлой радостью.

VI

Кишкин пользовался горячим временем и, кроме заявки на Миляевом мысу, поставил столбы в трех местах по Мутяшке. Пробные шурфы везде давали хорошие знаки. Но заявки были еще только началом дела. И отвод заявленных местностей ему сделают раньше других, как обещал Каблуков. Вся беда заключалась в том, где взять денег на казенную подать,— по уставу о частной золотопромышленности полагалось ежегодно вносить по рублю с десятины, в среднем это составляло от шестидесяти до ста рублей с прииска. Сумма по своему существу ничтожная, но Кишкин знал по личному опыту, как трудно достать даже три рубля, когда они нужны до зарезу.

— Будет день — будет хлеб!.. — утешал он себя, раздумавшись про свои дела.

Все, что можно было достать, выпросить, занять и просто выклянчить, — все это было уже сделано. Впереди оставался один расчет: продать одну или две заявки, чтобы этим перекрыться на разработку других. А пока Кишкину приходилось работать наравне со всеми остальными рабочими, причем ему это доставалось в десять раз тяжелее и по непривычке к ручному труду, и просто по старческому бессилию. Набродившись по лесу за день, старик едва мог добраться до своего балагана. Рабочие сейчас же заваливались спать, а Кишкин лежал, ворочался с боку на бок и все думал. Эх, если бы счастье улыбнулось ему на старости лет... Ведь есть же справедливость, а он столько лет бедствовал и терпел самую унижительную горькую нужду!.. Всего-то пайти бы первое счастливое местечко, чтобы расправить руки, а там уже все пошло бы само собой: деньги, как птицы, прилетают и улетают стаями...

— Показал бы я им всем, каков есть человек Андроп Кишкин! — вслух думал старик и даже грозил этим всем в темноте кулаком. — Стали бы ухаживать за мной... лебевить... Нет, брат, шалишь!.. Был раньше дураком, а во второй раз извините.

Занятый этими мыслями и соображениями, Кишкин как-то совсем позабыл о своем доносе, да и некогда о нем теперь было думать, когда каждый день мог сделаться роковым.

Часто Кишкин один ходил по течению Мутяшки и рассматривал новые места под заявки. Каждый свободный клочок земли пробуждал в нем какой-то страх: а если золото вот именно здесь спряталось? Если бы была возможность, он захватил бы в свои руки всю Меледу со всеми притоками и никому не уступил бы вершка, отцу родному. Когда он видел чужой заявочный столб, его охватывало знобившее чувство зависти. А свободных мест по Мутяшке уже не оставалось: в течение каких-нибудь трех дней все было расхвачено по клочкам. Даже то болотце, к которому водил Мина искать золотую свинью, и оно было захвачено Ястребовым.

— Для счету прихватил,— объяснил Ястребов, встретив как-то Кишкина.— Што ему, болоту, даром оставаться... Так ведь, Андрон Евстратыч?.. Разбогатеет мы, видно, с тобой заодно...

— Гусь свинье не товарищ, Никита Яковлич...

— Кто гусь-то, по-твоему?

— А уж как это тебе поглянется...

Кишкин относился к Ястребову подозрительно, а тот нет-нет и заглянет на Миляев мыс. И все-то у него шуткой да балагурством: конечно, богатый человек, селезенка играет... С ним появлялись иногда кабатчик Ермошка, Затыкин и другие золотопромышленники — мелочь. Острый период заявочной горячки миновал, и предприниматели начали понемногу приглядываться друг к другу. Да и в лесу совсем другое дело, чем где-нибудь в городе: живому человеку каждый рад. Душой общества являлся Ястребов, как бывалый и опытный человек, прошедший сквозь огонь, воду и медные трубы. Соберется такая компания где-нибудь около огонька и балагурит.

— Никита Яковлич, будешь ты наше золото скупать,— подшучивают над Ястребовым.— Как пить дашь.

— Было бы што скупать,— отъедается Ястребов, который в карман за словом не лазил.— Вашего-то золота кот заплакал... А вот мое золото будет оглядываться на вас. Тот же Кишкин скупать будет от моих старателей... Так ведь, Андрон Евстратыч? Ты ведь еще при казне набил руку...

— Было, да сплыло,— огрызнулся Кишкин.— Вот про себя лучше скажи, как балчуговское золото скупаешь...

— А ты видел, как я его скупаю? Вот то-то и есть... Все кричат про меня, што скупаю чужое золото, а никто не видал. Значит, кто поумнее, так тот и промолчал бы.

Раз Ястребов приехал немного навеселе. Подсев к огоньку у балагана Кишкина, он несколько времени молчал, встряхивая своей большой головой и улыбаясь. Кишкин долго всматривался в его коренастую фигуру и разбойничью рожу, а потом проговорил с лесной откровенностью:

— Гляжу я на тебя, Никита Яковлич, и дивуюсь... Только дать тебе нож в руки и сейчас на большую дорогу: как есть разбойник.

— Это ты правильно... ха-ха!..— засмеялся Ястребов.— Не было бы разбойника, не стало бы и праведника.

В приливе нежности Ястребов обнял Кишкина и так любовно проговорил:

— Плачет о нас с тобой острог-то, Андрон Евстратыч... Все там будем, сколько ни прыгаем. Ну, да это наплевать... Ах, Андрон Евстратыч!.. Разве Ястребов вор? Воры-то ваша балчуговская компания, которая народ сосет, воры инженеры, канцелярские крысы вроде тебя, а я хлеб даю народу... Компания-то полуторых рублей не дает за золотник, а я все три цалковых.

— Так ты, значит, в том роде, как благодетель?

— Теперь-то как хочешь зови, а вот когда не будет Никиты Ястребова, тогда и благодетелем взвелчат.

Эта разбойничья философия рассмешила Кишкина до слез. Воровали и в казенное время, только своим воровством никто не хвастался, а Ястребов в благодетели себя поставил.

— Утешил ты меня, Никита Яковлич... Благодетель, говоришь?! Ха-ха... В самую пропорцию благодетель. Медаль бы тебе только за усердие... А я, грешный человек, все за разбойника тебя почитал.

Ястребов не обижался и хохотал вместе.

— Что же это Мыльниковы нет? — по несколько раз в день спрашивал Кишкин Петра Васильича.— Точно за смертью ушел.

Он должен был вернуться на другой день и не вернулся. Прошло целых два дня, а Мыльниковы все нет.

— Ужо я сам схожу...— предлагал Петр Васильич, которому хотелось улизнуть под благовидным предлогом.

— Ну, нет, брат, шалишь! — озлился Кишкин.— Мыльников сбежал, теперь ты хочешь уйти, кто же останется? Тоже компания, нечего сказать...

— Да ведь надо в волости объявиться? — сказал Петр Васильич.— Мы тут наставим столбов, а Затыкин да Ястребов запишут в волостную книгу наши заявки за свои... Это тоже не модель.

— Ладно, сказывай...— ворчал Кишкин.— Знаю я вас, охаверников. Уж только и нарродец!.. Обождем еще мало места, а потом я сам пойду и все устрою.

— Да ведь ты сорок-то верст две недели проползась, Андрон Евстратыч. Ножки у тебя коротенькие, задохнешься на полдороге...

Мыльников явился через три дня совершенно неожиданно, ночью, когда все спали. Он напугал Петра Васильича до смерти, когда потащил из балагана его за ногу. Петр Васильич был мужик трусливый и чуть не крикнул караул.

— А я думал, што Андрона Евстратыча пымал за ногу-то,— объяснял Мыльников.— По погам-то вы схожи...

— А ты разуй глаза-то сперва... Где пропал, путаная голова?

— Ох, и не говори.

На шум проснулся Кишкин. Развели потухший огонек, и охавший все время Мыльников, после некоторого ломанья, объяснил все.

— Прихожу это я на Фотьянку, штобы в волости в книгу записать заявку,— рассказывал он слезливым тоном,— а Затыкин-то уж в книге Миляев мыс записал...

— Ну-у? Да не подлец ли... а?! Ах, жулик...

— Верпо говорю... Значит, теперь, так сказать, и наша заявка пропала, и ястребовская, потому как у Затыкина столбы-то дальше наших поставлены, а пока мы спорились — он и хлопнул свою заявку. Замежевал он нас...

— Ну, это он врет! — сказал Кишкин.— Он, зпачит, из пяти верст вышел, а это не по закону... Мы ему еще утрем пос. Ну, рассказывай дальше-то...

— Што дальше-то,— обезножил я, вот тебе и дальше... Побродил по студенной вешней воде, ну, и обезножил, как другая опоенная лошадь.

— Ой, врешь! — усомнился Петр Васильич. — Поди, опять у Ермошки в кабаке ноги-то завязил? У всех у вас, строгалей, одна вера-то...

— Одинова, это точно, согрешил... — каялся Мыльников. — Силком затащили робята. Сидим это, братец ты мой, мы в кабаке, примерно, и вдруг трах! следовательно... Трах! сейчас народ сбивать на земскую квартиру, и меня в первую голову зацепили, как, значит, я обозначен у него в гумаге. И следовательно не простой, а важный — так и называется: важный следователь.

— Это што же, по твоей, видно, жалобе? — уныло спросил Петр Васильич, почесывая в затылке. — Вот так крендель, братец ты мой... Ловко!

— Ну, рассказывай, — торопил Кишкин, принимая деловой вид. — Не важный следователь, а следователь по особо важным делам...

— А скажу я тебе, Андрон Евстратыч, што заварил ты кашу... Ка-ак мне это самое сказали, што гумага и следователь, точно меня кто под коленку ударил, дыхнуть не могу. Уж Ермошка сжалился, поднес стаканчик... Ну, пошел я на земскую квартиру, а там и староста, и урядник, и наших балчуговских стариков человек с пять. Сейчас следователь, примерно, ко мне: «Вы — Тарас Мыльников?» — «Точно так, ваше высокородие...» — «Можете себя оправдать по делу отставного канцелярского служителя Андрона Кишкина?» — «Точно так-с...» — «А где Кишкин?» Тут уж я совсем испугался и брякнул: «Не могу знать, ваше высокородие... Я его совсем не знаю, а только стороной слыхивал, што какой-то Кишкин служил у нас на промыслах».

— Вот и вышел дурак! — озлился Кишкин. — Чего испугался-то, дурья голова? Небойсь, кожу не снимут с живого...

Петр Васильич молчал, угнетенно вздыхая. Вся его фигура теперь изображала собой одно слово: влопался!..

— Да ты послушай дальше-то! — спорил Мыльников. — Следователь-то прямо за горло... «Вы, Тарас Мыльников, состояли шорником на промыслах и должны знать, что жалованье выписывалось пятерым шорникам, а в получении расписывались вы один?» — «Не подвержен я этому, ваше высокородие, потому как я неграмотный, а кресты ставил — это было...» И пошел пытаться, и пошел мотать, и пошел вертеть, а у меня поджилки трясутся.

Не помню, как я и ушел от него, да прямо сюда и стриганул... Как олень летел!

— Зачем ты про меня-то врал, Тарас?..

— Испужался, Андрон Евстратыч... И сюда-то бегу, а самому все кажется, што ровпо кто за мной гонится. Вот те Христос...

Беседа велась вполголоса, чтобы не услышали другие рабочие. Мыльшиков повторил раз пять одно и то же, с необходимыми вариантами и украшениямп.

— Что же ты молчишь, Петр Васильич? — спрашивал Кишкин.

— А што мне говорить, Андрон Евстратыч: плакала, видно, наша золотая свинья из-за твоей гумаги... Поволокут теперь по судам.

— А где моя Окся? — спрашивал Мыльшиков в заключение.

Хватились Окси, а ее и след простыл: она скрылась неизвестно куда.

VII

Компанейские работы сосредоточивались на пынешнее лето в двух пунктах: в устьях реки Меледы, где она впадала в Балчуговку, и на Ульяновом кряжс. В первом пункте разрабатывалась громадная россыпь Дерниха, вскрытая разрезом еще с зимы, а во втором заложена была новая шахта Рублиха. Оба месторождения открыты были фотьянскими старателямп, и компания поставила свои работы уже на готовое. Особенно замапчивой являлась Рублиха, из которой старатели дудками добыли около полпуда золота, — это и была та самая жила, которую Карачунский пробовал на фабрике сам. Открыл ее старик Кривушок, из фотьянских старожилов-каторжан. Это был страшный бедняк, целую жизнь колотившийся, как рыба об лед. Открытая им жила сразу его обогатила. Бывали дни, когда Кривушок зарабатывал рублей по триста. Такое дикое богатство погубило беднягу в несколько недель. То, чего не могла сделать бедность, сделало богатство. Кривушок закладывал пачку ассигнаций в голенище и с утра до вечера проводил в кабаке Фролки, в этом заветном месте всех фотьянских старателей. У старика не было семьи, — все перемерли. Жениться было поздно, и ов, напившись пья-

ный, горько плакался на свое обидное богатство, явившееся для него точно насмешкой.

— Кабы раньше жилка-то провернулась...— повторял Кривушок.— Жена заморилась на работе, ребятенки перемерли с голодухи... Куды мне теперь богатство?..

Около Кривушка собралась вся кабацкая рвань. Все теперь пили на его счет, и в кабаке шло крошечное пьянство.

— Ты бы хоть избу себе новую поставил,— советовал Фролка,— а то все пропьешь, и ничего самому на похмелье не останется. Тоже вот насчет одёжи...

— Угорел я, Фролушка, сызнова-то жить,— отвечал Кривушок.— На што мне новую избу, коли и жить-то мне осталось, может, без году неделю... С собой не возьмешь. А касаясь одёжи, так оно и совсем не пристало: всю жисть проходил в заплатах...

Кривушок копчил скорее, чем предполагал. Его нашли мертвым около кабака. Денег при Кривушке не оказалось, и молва приписала его ограбление Фролке. Вообще все дело так и осталось темным. Кривушка похоронили, а его жилку взяла за себя компания и поставила здесь шахту Рублиху.

Верховный надзор за работами на Дернихе принадлежал Зыкову, но он рассыпным делом интересовался мало, потому что увлекся новой шахтой.

— Смотри, Родион Потапыч, как бы нам не ошибиться с этой Рублихой,— предупреждал Карачунский.— То ж будет, что с Спасо-Колчеданской...

— А откуда Кривушок золото свое брал, Степан Ромапыч?.. Сам мне покойник рассказывал: так, говорит, самоваром жила и ушла вглубь... Он-то пировал напоследях, ну, дудка и обвалилась. Нет, здесь верное золото, не то што на Краюхином увале...

Карачунский слепо верил опытности Зыкова, но его смущало противоречие Лучка — последний не хотел признавать Рублихи.

— Обманет она, эта самая Рублиха,— упрямо повторял Лучок.

— Да почему обманет-то?

— А так... Место не настоящее. Золото гнездовое: одно гнездышко подвернулось, а другое, может, на двадцати саженьях... Это уж не работа, Степан Ромапыч. Правильная жила идет ровно... Такая надежнсе, а эта игрунья: сегодня

позолотит, да год будет душу выматывать. Это уж не модель...

Рублиха послужила яблоком раздора между старыми питейгерами. Каждый стоял на своем, а особенно Родион Потапыч, вложивший в новое дело всю душу. Это был своего рода фанатизм коренного промыслового человека.

— Уж будьте спокойны, Степан Романыч,— уверял Зыков.— Голову отдам на отсечение, што Рублиха вполне себя оправдаст...

Эти уверения напоминали Карачунскому того французца, который доказывал вращение земли своим честным словом. Но у него был свой расчет: новое коренное месторождение выставляло деятельность компании в выгодном свете пред горным департаментом. Значит, она развивается и быстро шагает вперед, а это главное. В крайнем случае Рублиха могла обойтись тысяч в восемьдесят, потому что машины и шахтовые приспособления перевозились с Краюхина увала, а Спасо-Колчеданская жила оказывалась «холостой», так что ее оставили только до осени.

По составленному плану, работы на Рублихе предполагались в больших размерах. Дудка Кривушка оставалась в стороне, а шахта была заложена ниже, чтобы пересечь жилу саженьях на двадцати в глубину. Таким образом, сразу решались две задачи: откачивалась вода на предельном горизонте, а затем работы можно было вести сразу в двух направлениях — вверх и вниз, по отрезкам жилы. Практика показала, что все жилы имеют падение под углом, как и жила на Ульяновом кряже. Следовательно, можно было по приблизительному расчету выйти на жилу на известной глубине. В каких-нибудь две педели вырос на Ульяновом кряже новый деревянный корпус, поставлены были паровые котлы, паровая машина, и задымилась высокая железная труба. Для служащих построена конторка, где поселился в одной камерке Родион Потапыч, а затем строились амбары для разной приисковой снасти, павесы, конюшни,— одним словом, вся приисковая городьба. Ульянов кряж закрывал Рублиху со стороны Фотьяпки, и старик Зыков был очень рад этому обстоятельству, потому что мог теперь жить совершенно в лесу. Он даже по субботам домой в Балчуговский завод не выходил, а только время от времени отправлялся на Дерниху, чтобы посмотреть на работавшую «бутару». Бутара — сибирского

типа машина для промывки песков в больших массах. Главную ее часть составляет железный продырявленный цилиндр, который приводится во вращательное движение паровой машиной. Золотоносный песок сваливался в бутару, в нее же проводилась сверху сильная струя воды, и промывка совершалась при страшном грохоте. Одна такая бутара в сутки обрабатывала десятки тысяч пудов песку. Но у Родиона Потапыча вообще не лежало почему-то сердце к этой Дернихе, хотя россыпь была надежная и, по приблизительным расчетам, должна была дать в одно лето около двадцати пудов золота.

— На Фотьянской россыпи больше ста пудов добыли,— повторял Зыков, точно хотел этим унижить благонадежность Дернихи.— Вот уж Рублиха наша ахнет, так это другое дело...

Место слияния Меледы и Балчуговки было низкое и болотистое, едва тронутое чахлым болотным леском. Родион Потапыч с презрением смотрел на эту «чертову яму», сравнивая про себя красивый Ульянов кряж. Да и россыпное золото совсем не то, что жильное. Первое он не считал почему-то и за золото, потому что добыча его не представляла собой ничего грандиозного и рискованного, а жильное золото надо умеючи взять да еще походить за ним, да не всякому оно и дастся в руки.

Увлечение Рублихой у старика приняло какой-то болезненный характер, точно он закладывал в эту работу последнюю свою энергию. Когда спал неугомонный старик — никто не знал. Во всякое время дня и ночи его можно было встретить на шахте, где он сидел, как коршун, ожидавший своей добычи. Первые сажени углубления были пройдены с поразительной быстротой, а дальше пошел камень «ребровик», требовавший «диомида». Это были первые пропластки основных гранитных пород, а жилы залегают в спаях таких пропластков. Родион Потапыч высчитывал каждый новый вершок углубления и давно определил про себя, в какой день шахта выйдет на роковую двадцатую сажень и пересечет жилу. Он по десяти раз в сутки спускался по стремянке в шахту и зорко наблюдал, как ее крепят, чтобы не было ни малейшей заминки. Пока все шло отлично, потому что грунт был устойчивый, и не было опасности, что шахта в одно прекрасное утро «сбоится», как это бывает при слоях песка-севуна или мягкой расплывающейся глины. Рабочие тоже невольпо заража-

лись энергией старого штейгера и с нетерпением ждали двадцатой сажени.

Если что огорчало Зыкова, так это назначение молодого инженера Оникова главным смотрителем новых жилых работ. Положим, старик уважал О니кова «по отцу», но это не мешало быть ему мальчишкой и щенком. Да и поставил себя Оников с первого раза крайне неудобно: придет в белых перчатках и давай распоряжаться — это не так, то не так. Сам бы хоть раз в шахту спустился. Как ни был вымуштрован Родион Потапыч относительно всяческого уважения ко всяческому начальству, но поведение Оникова задело его за живое: он чувствовал, что молодой инженер не верит в эту жилу и не сочувствует затейной работе.

— Приедет, папиросу выкурит — и вся тут работа, — жаловался Зыков Карачунскому. — Ежели бы ты сам, Степан Романыч...

— Нет, мне далеко ездить сюда, да и Оникову нужно же какое-нибудь дело. Куда его мне девать... Как-нибудь уж без меня устраивайтесь.

Родион Потапыч только вздыхал. Находил же время Карачунский ездить на Дерниху чуть не каждый день, а тут от Фотьянки рукой подать: и двух верст не будет. Одним словом, не хочет, а Оникова подослал назло. Нечего делать; пришлось мириться и с Ониковым и делать по его приказу, благо немного он смыслит в деле.

— Ужо будет летом гостей привозить на Рублиху — только его и дела, — ворчал старик, ревновавший свою шахту к каждому постороннему глазу. — У другого такой глаз, што его и близко-то к шахте нельзя пущать... Не больпото любит жильное золото, когда зря лезут в шахту...

Всего больше боялся Зыков, что Оников привезет из города барынь, а из них выищется какая-нибудь вертоголовая и полезет в шахту: тогда все дело хоть брось. А што может быть другое на уме у Оникова, который только ест да пьет?.. И Карачунский любопытен до женского полу, только у него все шито и крыто.

Так шло дело. Шахта была уже на двенадцатой сажени, когда из Фотьянки пришел волостной сотник и потребовал штейгера Зыкова к следователю. У старика опустились руки.

— Это по делу Кишкина? — спросил он.

— Видно, по ему по самому... Попервоначалу-то следователь в Балчуговском заводе с неделю выжил, а теперь

на Фотьянку перебрался и сбивает народ со всех сторон. Почитай, всех стариков поднял...

Эта неожиданная повестка и встревожила, и напугала Зыкова, а главное, не вовремя она явилась: работа горит, а он должен терять дорогое время на допросах.

— Следователь-то у Петра Васильича в доме остановился,— объяснил сотник.— И Ястребов там и Кишкин. Такую кашу заварили, што и не расхлебать. Главное, народ весь на работах, а следователь требует к себе...

Родион Потапыч оделся на скорую руку и зашагал за сотником. Ему случалось бывать в передрягах, но затеянное Кишкиным дело возмущало его до глубины души. Кто богу не грешен, царю не виноват, нельзя же всех по судам таскать. Две версты до Фотьянки промелькнули незаметно. Перед избой Петра Васильевича сидели вызванные следователем свидетели. Был тут и подштейгер Лучок, и Мина Клейменный, и Яша, и Турка, и Мыльников — одним словом, вся компания. Все, видимо, чувствовали себя смущенными. Родион Потапыч сухо кивнул головой и пошел прямо в избу. Поднимаясь по лесенке на крыльцо, он лицом к лицу столкнулся с дочерью Феней, которая с тарелкой в руках летела в погреб за огурцами.

— Тятенька!..— вскрикнула девушка и остановилась.

Родион Потапыч медленно прошел мимо, не ответив на этот крик ни одним движением.

Следователь сидел в чистой горнице и пил водку с Ястребовым, который подробно объяснял приисковую терминологию: что такое россыпь, разрез, борта россыпи, ортовые работы, забои, шурфы и т. д. Следователь был пожилой лысый мужчина с рыжеватой бородкой и темными умными глазами. Он испытующе смотрел на массивную фигуру Ястребова и в такт его объяснений кивал своей лысой прежде времени головой.

«Вор научит хорошему...» — подумал Зыков, наблюдая эту сцену издали.

В дверях стояли Мыльников и Петр Васильич, заслонившие спинами сидевшего у двери на стуле Кишкина. Сотник протискался вперед и доложил следователю о приводе свидетеля.

— А, очень приятно...— оживился следователь, проглатывая наскоро закуску.— Введите его сюда.

Ястребов поднялся, чтобы выйти, но следователь движением головы удержал его. Родион Потапыч, войдя в

комнату, помолился на образа и отвесил следователю глубокий поклон.

— Вы Родион Зыков?

— Точно так-с...

Начался обычный следовательский допрос, причем Зыков отвечал коротко и быстро, по-солдатски.

— Когда была открыта Фотьянская россыпь, вы уже были главным штейгером.

— Точно так-с... Я уже сорок лет состою главным штейгером.

— Ага... — протянул следователь, быстро окидывая его глазами. — Тем лучше... Вы, следовательно, служили при управителе Фролове и его помощнике Горностаеве. Скажите, когда промывался казенный разрез в Выломках?

Ястребов сделал нетерпеливое движение и подсказал:

— Разрабатывался...

— Ну да, когда разрабатывался разрез в Выломках? — повторил следователь.

— Годом не упомяну, ваше высокоблагородие, а только еще до воли это самое дело было, — ответил без запинки Зыков.

— Вы тогда служили? Да? И при вас этот разрез разрабатывался? Прекрасно... А не запомните вы, как при управителе Фролове на этом же разрезе поставлены были новые работы?..

Родион Потапыч ждал этого вопроса и, взглянув искоса на Кишкина, ответил самым равнодушным тоном:

— Какие же новые работы, когда вся россыпь была выработана?.. Старатели, конечно, домывали борта, а как это ставилось в конторе, мы не обычны знать: до конторы я никакого касательства не имел и не имею...

Следователь взглянул вопросительно на Кишкина. Тот заерзал на месте, виновато скашивая глаза на Зыкова, и проговорил:

— Ваше благородие, Родион Потапыч, то есть главный штейгер Зыков, должен знать, как списывались работы в Выломках. От него шли дневные рапортчики.

— Да ты не путляй, Шишка! — разразился неожиданно Родион Потапыч, встряхнув своей большой головой. — Разве я к вашему конторскому делу причастен? Ведь ты сидел в конторе тогда да писал, — ты и отвечай...

— Вы должны отвечать только на мои вопросы, — строго заметил следователь.

— А ежели я могу под присягой доказать на него еще по делу о золоте, когда наезжал казенный фискал? — ответил Родион Потапыч, у которого тряслись губы от волнения.

— Это к делу не относится... — заметил следователь, быстро записывая что-то на листе бумаги.

— Вы его под присягой спросите, господин следователь, — подговаривал Кишкин, осклабясь. — Тогда он сущую правду покажет насчет разреза в Выломках...

— Это уж мое дело, — ответил следователь, продолжая писать. — Господин Зыков, так вы не желаете отвечать на мой вопрос?

— Ваше высокоблагородие, ничего я в этих делах не знаю... — заговорил Родион Потапыч и даже ударил себя в грудь. — По злобе обнесен вот этим самым Кишкиным... Мое дело маленькое, ваше высокоблагородие. Всю жисть в лесу прожил на промыслах, а што они там в конторе делали, — я неизвестен. Да и давно это было... Ежели бы и знал, так запомятовал.

— Значит, вы знали, да забыли?

Пойманный на слове, Родион Потапыч тяжело переминался с ноги на ногу и только шевелил губами.

— Вы не беспокойтесь, я уже имею показания по этому делу других свидетелей, — ядовито заметил следователь. — Вам должно быть ближе известно, как велись работы... Старатели работали в Выломках?

— Не упомяну, ваше высокоблагородие...

— Так я вам напомним: старатели работали и получали за золотник золота по рублю двадцати копеек, а в казну оно сдавалось управлением Балчуговских промыслов по пяти рублей и дороже, то есть по общему расчету работы.

— Не старатели, а золотнички, ваше высокоблагородие...

— Это все равно, только слова разные...

Свои собственные вопросы следователь проверял по выражению лиц Ястребова и Кишкина, которые не спускали глаз с Родиона Потапыча. Из дела следователь видел, что Зыков — главный свидетель, и налег на него с особенным усердием, выжимая одно слово за другим. Нужно было восстановить два обстоятельства: допущенные правлением старательские работы, причем скупленное у старателей золото заносилось в промысловые книги как свое и выставлялись произвольные цены, втрое и вчетверо выше стара-

тельских, а затем подновление старого казенного разреза в Выломках и занесение его в отчет за новый. Дальше следовали другие нарушения: выписка жалованья несуществовавшим промысловым служащим, выписка несуществовавших поденщин и т. д. и т. д.

Собрастные свидетели теряли уже вторую неделю, когда работа кипела кругом, и это вызывало общий ропот и глухое недовольство, причем все обвиняли Кишкина, заварившего кашу.

— Мы ему башку отвернем, старой крысе! — ругались рабочие. — Какое время-то стоит — это надо подумать...

Допрошенный в качестве свидетеля Петр Васильич отперся от всего, что обещал показать, чем немало огорчил Кишкина...

— Ты что же это, Петр Васильич? — корил его Кишкин. — Как дошло до дела, так сейчас и в кусты...

— Не наш воз и не наша песенка, Андрон Евстратыч...

— Ладно... Увидим, што запосешь, когда под присягой будут допрашивать.

Мыльников являлся комическим элементом и каждый раз менял свои показания, вызывая улыбку даже следователя. Приходил он всегда вполпьяна и первым делом завылял:

— Господин следователь, у меня лицо чистое... Ничем я не замазан, а чтобы насупротив совести — к этому я не подвержен. Вот каков Тарас Мыльников...

Несмотря на всю путаницу и противоречия, развертывалась широкая картина всевозможных злоупотреблений и самого бесшабашного хищничества. Уже собранных фактов было совершенно достаточно для громадного дела, а выступали все новые подробности. Ничего не мог поделаться следователь только с Зыковым, который стоял на своем, что ничего не знает. Самый важный свидетель ускользал из рук, и следователь выбился из сил, чтобы довести его до откровенного сознания. Подметив, что старик тяготился бестолковым сиденьем, следователь начал вызывать его чуть не каждый день.

— Ваше высокоблагородие, отпустите душу на покаяние! — взмолился наконец упрямый старик. — Работа у меня горит, а я здесь попусту болтаюсь.

— Вы сами виноваты, что затягиваете дело...

А из Кедровской дачи шли самые волнующие известия: золото оказывалось везде. О Мутяшке рассказывали чуде-

са, а потом следовали: Малиновка, Генералка, Свистунья, Ледянка,— сделаны были сотни заявок, и везде «золото оправдывалось в лучшем виде». Все новости и последние известия сосредоточивались, конечно, в кабаке Фролки, куда рабочие приходили прямо с заявок. В праздники этот кабак представлял собой настоящий ад, потому что в Фотьянку народ сходил со всех сторон. Разрушавшееся селение сразу ожило: не было избы, где не держали бы постояльцев, не готовили хлеба на промысла или какую-нибудь приисковую снасть. Главным образом наживали деньгу фотьяновские бабы, кормившие пришлый народ. Одним словом, произошло какое-то волшебное превращение старого каторжного гнезда, точно на него дунуло свежим воздухом. Мужики складывались в артели, закупали харчи, готовили снасть, чтобы работать старателями на новых вольных промыслах. Это была бешеная игра на свой труд. Своими хозяйскими работами могли добывать золото только двое-трое крупных золотопромышленников вроде Ястребова, а остальные, конечно, сдадут прииски старателям, и это волновало поднятую рабочую массу, разжигая промысловую азартность и жажду легкой наживы.

VIII

Самое бойкое дело выпало на долю богатой избы Петра Васильича, где останавливались все «господа»: и Ястребов, и следователь. Сначала старуха, баушка Лукерья, тяготилась этим постоем, а потом быстро вошла во вкус, когда посыпались легкие господские денежки за всякие пустяки: и за постой, и за самовары, и за харчи, и за сено лошадям, и за разные мелкие услуги. Теперь бойкая Феня оказалась как раз на месте и едва успевала помогать старой баушке. Она и самовары подавала, и в погреб бегала, и комнаты прибирала, и господам услуживала.

— Ты уж, голубка, постарайся...— ласково говорила баушка Лукерья.— Ноги-то у тебя молодые...

Всю жизнь прожила баушка Лукерья и не видала денег в глаза, как сама говорила. Да и какие деньги у бабы, которая сидит все дома и убивается по домашности да с ребятишками. Муж-покойник выстроил хорошую избу, завел скотицу и всякую домашность, и по-фотьянски семья слыла за богатую. Правда, у баушки Лукерьи были скоп-

лены на смертный час рублей пятнадцать, запрятанных по разным углам,— и только. А тут деньги повалили сразу... Крепкую старуху вдруг охватила старческая жадность. Ей стало казаться, что все мало и что нужно пользоваться коротким счастьем. Не проходило дня, чтобы она не отложила рубля или двух. Особенно любила она, когда давали ей серебро,— ведь всю жизнь прожила на медные деньги, а тут посыпались серебряшки. Баушка Лукерья с какой-то детской радостью пересчитывала их, прятала и опять добывала, чтобы лишний раз полюбоваться. Это перерождение произошло всего в несколько недель, и баушка Лукерья отлично изучила, кто, когда и сколько дает и как лучше взять. Старуха видела, как господа охотнее дают деньги Фене, и стала ее подсылать. Конечно, молоденькая-то приятнее господам: пошутят, посмеются, да и отвалят в другой раз целую полтину. Сначала Феня артачилась и стыдилась, а потом стала привыкать, чтобы хоть этим угодить старой баушке.

— Чего ты сумлеваешься, глупая? — усовещивала ее старуха.— Дикие у них деньги... Не убудет небойсь, ежели и пошутят в другой раз.

Феня была не жадная и с радостью отдавала деньги баушке.

Встреча с отцом в первое мгновение очень смутила ее, подняв в душе детский страх к грозному родимому батюшке, но это быстро вспыхнувшее чувство так же быстро и улеглось, сменившись чем-то вроде равнодушия. «Что же, чужая так чужая...» — с горечью думала про себя Феня. Раньше ее убивала мысль, что она объедает баушку, а теперь и этого не было: она работала в свою долю, и баушка обещала купить ей даже веселенького ситца на платье.

— Старайся, милушка, и полушалок куплю,— приговаривала хитрая старуха, пользовавшаяся простотой Фени.— Где нам, бабам, взять денег-то... Небойсь, любезный сыночек Петр Васильич не раскошелится, а все норовит себе да себе... Наше бабье дело совсем маленькое.

Эти планы баушки Лукерьи чуть не расстроились. Раз в воскресенье приехала на Фотьянку сестра Марья. Улучив свободную минуту, она разговорилась с Феней.

— У вас здесь, сказывают, веселье, не то что у нас: сидишь, сидишь, даже одурь возьмет... Прокопий на своей фабрике, Анна с ребятишками, мамынька все вздыхает али

жаловаться начнет, а я как очумелая... Завидно па других-то делается.

— Тятенька-то сколько разов был у нас,— рассказывала Феня.— И не глядит на меня... Хуже чужого.

— И домой он нынче редко выходит... С новой шахтой связался и днюет и ночует там. А уже тебе, сестрица, надо своим умом жить, как-никак... Дома-то все равно нечего делать.

Рассказала Феня, как наезжал несколько раз Акинфий Назарыч и как заливался слезами, а потом перестал ездить, точно отрезал. Рассказывая, Феня всплакнула: очень уж ей жаль было Акинфия Назарыча.

— Гляди, потужит, потоскует, да и женится на своей тайболовской кержанке,— говорила она сквозь слезы.— Молодой он, горе-то скоро износит... Такая на меня тоска нападает под вечер, что и жизни своей не рада.

— Пирует, сказывали, Акинфий-то Назарыч... В город уедет да там и хороводится. Мужчины все такие: наша сестра сиди да посиди, а опи везде пошли да поехали... Не бойсь, найдет себе утеху, коли уж не нашел.

Между прочим, сестра Марья подвела ловко разговор к деньгам, которые получала теперь баушка Лукерья.

— Пали и до нас слухи, как она огребает деньги-то,— завистливо говорила Марья, испытующе глядя па сестру.— Тоже, подумаешь, счастье людям... Мы вон за богатых слышем, а в другой раз гроша расколотого в дому нет. Тятенька-то не расщедрится... В обрез купит всего сам, а денег ни-ни. Так бьемся, так бьемся... Иголки не на что купить.

— Знаю ведь я, как вы живете. Сладкого не много.

— Ну, сказывали, што и тебе тоже перепадает... Мыльников как-то завернул и говорит: «Фене деньги повалили: тот двугривенный даст, другой полтину...» Побожился, што не врет.

— Я баушке Лукерье все отдаю, Марья... На што мне деньги?..

— Вот уж это ты совсем глупая... Баушка Лукерья свое возьмет, не беспокойся, обжаднела она, сказывают, а ты ей всего-то не отдавай. Себе оставляй... Пригодятся как-нибудь. Не век тебе жить с баушкой Лукерьей...

Эти речи не понравились Фене. Она даже пристыдила сестру, позавидовавшую чужому счастью.

— Я баушку Лукерью век не забуду,— говорила

Феня.— Она меня призрела, приголубила... Не наше дело считать ее-то деньги.

Сестры расстались благодаря этому разговору довольно холодно. У Фени все-таки возникло какое-то недоверие к баушке Лукерье, и она стала замечать за ней многое, чего раньше не замечала, точно совсем другая стала баушка и даже из лица похудела.

А баушка Лукерья все откладывала серебро и бумажки и смотрела на господ такими жадными глазами, точно хотела их съесть. Раз, когда к избе подкатил дорожный экипаж главного управляющего и из него вышел сам Карачунский, старуха ужасно переполошилась, куда ей поместить этого самого главного барина. Карачунский был вызван следователем в качестве эксперта по делу Кишкина. Обе комнаты передней избы были набиты народом, и Карачунский не знал, где ему сесть.

— Пойдем, касатик, в заднюю избу...— предложила баушка Лукерья.— Здесь-то негде тебе и присесть, а там пока посидишь.

— Спасибо, баушка,— охотно согласился Карачунский.

— Может, самоварчик поставить? А то молочка али яишенку...— говорила заученным тоном старуха.— Жарко теперь летним делом, а следователь-то еще когда позовет.

Карачунский приехал раньше, чем следовало, и ему действительно приходилось подождать. Отворив дверь в заднюю избу, он на пороге столкнулся с Феней и даже как будто смутился, до того это было неожиданно. Феня тоже потупилась и вся вспыхнула.

— Вы какими судьбами попали сюда, Федосья Родионовна? — спрашивал удивленный Карачунский.— Вот приятная неожиданность...

— Я уж давно здесь... у баушки Лукерьи...

— Ага...— протянул Карачунский, пристально поглядев на наблюдавшую его старуху.— Так... Что же, дело прекрасное! Отлично... Я даже что-то такое слышал. Баушка, так вы похлопочите относительно самоварчика.

— С-сею минуту, касатик...

Старуха, по-видимому, что-то заподозрила и вышла из избы с большой неохотой. Феня тоже испытывала большое смущение и не знала, что ей делать. Карачунский прошелся по избе, поскрипывая лакированными ботфортами, а потом быстро остановился и проговорил:

— Послушайте, Федосья Родионовна, вы так похорошели за последнее время, что я даже не узнал вас с первого раза.

Феня еще больше потупилась и раскраснелась.

— Вы смеетесь, Степан Романыч...— тихо прошептала она со слезами на глазах.— Не до красоты мне.

— Да, да... Догадываюсь. Ну, я пошутил, вы забудьте на время о своей молодости и красоте, и поговорим, как хорошие старые друзья. Если я не ошибаюсь, ваше замужество расстроилось?.. Да? Ну, что же делать... В жизни приходится со многим мириться. Гм...

Он присел к столу и своим душевным тоном начал расспрашивать Феню, давно ли она здесь, как ей живется вообще, не скучает ли и т. д. Никто еще с ней не говорил так, а потом пред ее глазами пронеслась сцена поездки с мужем в Балчуговский завод, когда Степан Романыч уговаривал их помириться с отцом. Да, это был почти родной человек, который смотрел на нес так участливо и ласково, а главное, так просто, что Феня почувствовала себя легко именно с ним. Она подробно рассказала, как баушка Лукерья выманила ее из Тайболы и увезла сюда, как приезжал несколько раз Акинфий Назарыч и как она сама истомилась в этой неволе.

— Бедненькая...— еще ласковее проговорил Карачунский и потрепал ее по заалевшей щеке.— Надо как-нибудь устраивать дело. Я переговорю с Акинфием Назарычем и даже могу заехать к нему по пути в город.

Феня отрицательно покачала головой и тяжело вздохнула. Карачунский понял совершавшийся в ее душе перелом и не стал больше расспрашивать. Баушка Лукерья втащила самовар.

— Ну, бабуся, как вы тут поживаете?

— Ничего, касатик... Пока бог грехам терпит. Феня, ты уж тут собери чайку, а я в той избе управляться пойду.

Карачунский выпил стакан чаю, а когда его пригласили к следователю, сунул Фене скомканную ассигнацию.

— Што вы, Степан Романыч...

— За хлопоты: я ничего даром не люблю брать...

Из-за этих денег чуть не вышел целый скандал. Приходил звать к следователю Петр Васильич и видел, как Карачунский сунул Фене ассигнацию. Когда дверь затворилась, Петр Васильич орлом налетел на Феню.

— Пу-ка, кажи, што он тебе дал?..

Феня инстинктивно сжала деньги в кулаке и не знала, что ей делать, но к ней на выручку прибежала баушка Лукерья и оттолкнула сына.

— Мамынька, хоть издали покажи, сколь он дал!..— упрасивал Петр Васильич, заинтригованный бабьей жадностью.

Баушка Лукерья сделала непростительную ошибку, в которой сейчас же раскаялась,— она развернула скомканную ассигнацию при всех.

— Пять цалковых!..— изумленно прошептал Петр Васильич, делая шаг к матери.— Мамынька, што же это такое? Ежели, напримерно, ты все деньги будешь забробазывать...

— Не твое дело!..— зыкнула старуха.— Разве я твои деньги считаю?..

— Однако это даже весьма мне удивительно, мамынька... Кто у нас, напримерно, хозяин в доме?.. Феня, в другой раз ты мне деньги отдавай, а то я с живой кожу сниму.

— Нет, пет! — сказала старуха с искаженным лицом.— Мне!.. Мне!..

— Мамынька, побойся ты бога!

— Уйди от греха, а то прокляну!..

Феня ужасно перепугалась возникшей из-за нее ссоры, но все дело так же быстро потухло, как и вспыхнуло. Карачунский уезжал, что было слышно по топоту сопровождавших его людей... Петр Васильич опрометью кинулся из избы и догнал Карачунского только у экипажа, когда тот садился.

— Степан Романыч, напредки милости просим!..— бормотал он, цепляясь за кучерское сиденье.— На Дерниху поедешь, так в другой раз чайку напитокся... молочка... Я, значит, здешний хозяин, а Феня моя сестра. Мы за-всегда...

Карачунский с удивлением взглянул через плечо на «здешнего хозяина», пичего не ответил и только сделал головой знак кучеру. Экипаж рванулся с места и укатил, заливаясь настоящими валдайскими колокольчиками. Собравшиеся у избы мужики подняли Петра Васильича на смех.

— А ты собачкой за ним побегги, Петр Васильич... Ах, прокурат!.. Глаз-то кривой у него как заиграл...

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

I

Зыковский дом запустел как-то сразу. Родион Потапыч живмя жил на своей шахте и домой выходил очень редко, недели через две. Яша «старался» на Мутяшке в партии Кишкина, а дома из мужиков оставался один безответный зять Прокопий. Прежде было людно, теперь хоть мышей лови, как в пустом амбаре. Сама Устинья Марковна что-то все недомогалась, замужня дочь Анна возилась со своими ребятишками, а правила домом одна вековушка Марья с подраставшей Наташкой, — последнюю отец совсем забыл, оставив в полное распоряжение баушки. Скучно было в зыковском доме, точно после покойника, а тут еще Марья на всех взъедается.

— Да што это с тобой попритчилось? — недоумевала Устинья Марковна, удивляясь сварливости дочери. — Какой бес поехал на тебе?..

— Чему радоваться-то у нас? — грубила Марья. — Хуже каторжных живем... Ни свету, ни радости!.. Воп на Фотьянке... Баушка Лукерья совсем осатанела от денег-то. Вторую избу ставят... Фене баушка-то уж второй полушало обещала купить да ботинки козловые.

— А тебе завидно стало? Нашла тоже кому и позавидовать... — корила ее мать. — Достаточно натерпелась всего Феня-то.

— Чего она натерпелась-то? Живет да радуется... Румяная такая стала да веселая. Ужо вот как замуж выскочит... У них на Фотьянке-то народу теперь нетолченая труба... Как-то целовальник Ермошка паезжал, увидел Фешю и говорит: «Ужо, вот моя-то Дарья подохнет, так я к тебе сватов зашлю...»

— Ну, Ермошкины-то слова, как худой забор: всякая собака пролезет... С пьных глаз чего-нибудь городил. Да и Дарья-то еще переживет его десять раз... Такие ледащие бабенки живучи.

— Не Ермошка, так другой выщется... На Фотьянке теперь народу видимо-невидимо, точно праздник. Все фотьянские бабы лопатами деньги гребут: и постой держат, и харчи продают, и обшивают присковых. За одно лето

сколько новых изб поставили... Всех вольное-то золото поднимает. А по вечерам такое веселье поднимается... Наши приисковые гуляют.

— Эх тебе далась эта Фотьяпка,— ворчала Устинья Марковна, отмахиваясь рукой от пустых слов.— Набежала дикая копейка — вот и радуются. Только к дому легкие-то деньги не больно льнут, Марьюшка, а еще уведут за собой и старые, которые у кого велись.

— Много денег на Фотьянке было раньше-то... — смеялась Марья.— Богачи все жили. У всех-то вместе одна дыра в горсти... Бабы фотьянские теперь в кумачи разрядились, да в ботинки, да в полушалки, а сами ступить не умеют по-настоящему. Смешно на них и глядеть-то: кувалды кувалдами супротив наших балчуговских.

— Петр Васильич, сказывают, больно што-то форсит?..

— Сапоги со скрипом завел, пуховую шляпу,— так петухом и расхаживает. Я как-то была, так он на меня, мамынька, и глядеть не хочет. А с баушкой Лукерьей у них из-за денег до драки доходит: та себе тянет, а Петр Васильич себе. Фенька, конечно, круглая дура, потому што все им отдаст...

— И то дура... — невольно соглашалась Устинья Марковна, в которой шевельнулся инстинкт бабьего стяжательства.— Вот нам и делить нечего... Што отец даст, тем и сыты.

— Весь народ из Балчугов бежит на Фотьянку... — со вздохом прибавила Марья.

Анна редко принимала участие в этих разговорах, запятая своими ребятишками. Ей было до себя. Да и вообще это была смиренная и безответная бабенка, характером вся в мать. Подраставшая Наташка была у тетки «в няньках» и без утыху возилась с ребятами. Эта бойкая девочка в тяжелой обстановке дедовского дома томилась больше всех и жадно вслушивалась в наговоры вечно роптавшей Марьи. До детских ушей долетал далекий гул Фотьянки, и Наташка представляла себе что-то необыкновенное, совсем сказочное. История тетки Фени в ее голове тоже была окружена поэтическими подробностями и сейчас сливалась неразрывно с бойкой жизнью на промыслах. Теперь везде говорили про Фотьянку. Отец Яша в целое лето показывался дома всего раза два, чтобы повидать ребятишек и захватить одежды и харчей. Он сильно исхудал в лесу и еще больше облысел.

— Ну, показывай золото-то...— приставала к нему Устинья Марковна.— Хоть бы поглядеть, какое оно бывает.

— Погоди, мамынька, будет и золото,— коротко отвечал Яша, таинственно улыбаясь.— Тогда сама увидишь...

— Вот затоцал ты, Яшенька, это-то я вижу... Ох, и прокляненное ваше золото, ежели разобрать. А где Мыльников-то?..

— Робит с нами на Мутяшке, только плохая у нас на него надежда: и ленив, и вороват.

— Отца-то ты давно не видал? Зашел бы на шахту, по пути ведь...

— Нет, мамынька, достаточно с меня... Обругает, как увидит. Хоть и тяжело на промыслах, а все-таки своя воля... Сам большой, сам маленький.

Появление отца для Наташки было настоящим праздником. Яша Малый любил свое гнездо какой-то болезненной любовью и ужасно скучал о детях. Чтобы повидать их, он должен был сделать пешком верст шестьдесят, но все это выкупалось радостью свиданья. И Наташка, и маленький Петрунька так и повисали на отцовской шее. Особенно ластилась Наташка, скучавшая по отце более сознательно. Но Яша точно стеснялся радоваться открыто и потихоньку уходил с ребятами куда-нибудь в огород и там пестовал их со слезами на глазах.

— Тятенька, золотой, возьми меня с собой! — каждый раз просила Наташка.— Тошнехонько мне здесь...

— Погоди, возьму... Куда тебя в лес-то, глупая, я возьму?..

— Я обшивать бы тебя стала, рубахи мыть, стряпать,— я все умею.

— А Петрунька как?

— И Петруньку с собой возьмем...

— Погоди, говорю.

— Да, тебе-то хорошо,— корила Наташка, надувая губы.— А здесь-то каково: баушка Устинья ворчит, тетка Марья ворчит... Все меня чужим хлебом попрекают. Я и то уж бежать думала... Уйду в город да в горничные и наймусь. Мне пятнадцатый год в спажинки пойдет.

— Вот ты и вышла глупая, Наташка: а Петрунька куды без тебя?

Только с отцом и отводила Наташка свою детскую душу и провожала его каждый раз горькими слезами. Яша и сам плакал, когда прощался со своим гнездом. Каждое

утро и каждый вечер Наташка горячо молилась, чтобы бог поскорее послал тятеньке золота.

Последнее появление Яши сопровождалось большой неприятностью. Забунтовала, к общему удивлению, безответная Аппа. Она заметила, что Яша уже не в первый раз все о чем-то шептался с Прокопием, и заподозрила его в дурных замыслах: как раз сомустит смирного мужика и уведет за собой в лес. Долго ли до греха. И то весь народ точно белены объелся...

— Што вы, сестрица Анна Родионовна! — уговаривал ее Яша. — Неужто и словом перемолвиться нам нельзя с Прокопием?.. Сказали, не укусили никого...

— Знаю я, о чем вы шепчетесь! — выкрикивала Анна. — Трое ребятишек на руках: куды я с ними деваюсь. Ты вот своих-то бросил дедушке на шею, да еще Прокопия смущаешь...

— Ах, сестрица, какие вы слова выражаете!.. Денно-ночно я думаю об ребятишках-то, а вы: бросил.

Как на грех, Прокопий прикрикнул на жену, и это подняло целую бурю. Анна так заголосила, так запричитала, что вступились и Устинья Марковна и Марья. Одним словом, все бабы ополчились, соединившись в одно причитавшее и ревавшее целое.

— Да перестаньте вы, бабы! — уговаривал Прокопий. — Без вас тошно...

— Я тебе, сомустителю, зенки выцапаю! — ругала Яшу сестрица Анна. — Сам-то с голоду подохнешь, да и нас уморить хочешь...

В сущности, бабы были правы, потому что у Прокопия с Яшей действительно велись любовные тайные переговоры о вольном золоте. У безответного зыковского зятя все сильнее въедалась в голову мысль о том, как бы уйти с фабрики на вольную работу. Он вынашивал свою мечту с упорством всех мягких натур и затаился даже от жены. Вся сцена закончилась тем, что мужики бежали с поля битвы самым постыдным образом и как-то сами собой очутились в кабаке Ермошки.

— Жизнь треклятая! — проговорил Прокопий, бросая свою шапку о пол. — Очумел я с бабами, Яша...

— Погоди, зять, устроимся, — утешал Яша покровительственным тоном. — Дай срок, утвердимся... Только бы однова дыхнуть. А на баб ты не гляди: известно, бабы. Они, брат, нашему брату в том роде, как лошади желез-

ные пути... Знаю по себе, Проня... А в лесу-то мы с тобой зажали бы припеваючи... Надоела, поди, фабрика-то?

— Хуже смерти... Как цепной пес у конуры хожу. Ежели бы не тятенька Родивоп Потапыч, одного часу не остался бы.

Этот вольный порыв, впрочем, сменился у Прокопия на другой же день молчаливым унынием, и Анна точила его все время, как ржавчина.

— Туда же расхрабился, ворона! — выкрикивала она. — Вот тятенька узнает, так он тебе покажет.

Устинья Марковна поддакивала дочери своим молчанием и вздохами, и только заступилась одна Марья:

— Будет тебе, Анна... Надоело слушать-то.

Не успели проводить Яшу на промысла, как накатила новая беда. Раз вечером кто-то осторожно постучал в окно. Устинья Марковна выглянула в окно и даже ахнула: перед воротами стояла чья-то «долгушка», заложенная парой, а под окном расхаживал Мыльников с кнутиком.

— В гости приехал, тещенька... — объяснил он. — Пустика в избу, дельце есть маленькое.

— Да ты бы днем, Тарас, а то на ночь глядя лезешь.

— Говорю, дело...

Когда Марья выскочила отворить ворота, она была изумлена еще больше: с Мыльниковым приехал Кожин. Марья инстинктивно загородила дорогу, но Кожин прошел мимо, как сонный.

— Не тронь его... — объяснил Мыльников, оттаскивая Марью. — Не бойсь, не потронет.

От Мыльникова, по обыкновению, пахло перегорелой водкой, как из винной бочки. Наклонившись, он удушливо прошептал:

— А новость слышала, Марьюшка?

— Какую новость?..

— А такую... Все будешь знать, скоро состаришься.

Устинья Марковна стояла посреди избы, когда вошел Кожин. Она в изумлении раскрыла рот, замахала руками и бессильно опустилась на ближайшую лавку, точно перед ней появилось привидение. От охватившего ее ужаса старуха не могла произнести ни одного слова, а Кожин стоял у порога и смотрел на нее ничего не видевшим взглядом. Эта немая сцена была прервана только появлением Марьи и Мыльникова.

— Устинья Марковне, любезной нашей теще, многая лета...— заговорил Мыльников с пьяной развязностью.— А слышала новость?

— Не подходи ты ко мне близко-то, Тарас...— причитала Устинья Марковна.— Не до новостей нам... Как увидела тебя в окошко-то, точно у меня што оборвалось в середке. До смерти я тебя боюсь... С добром ты к нам не приходишь.

— Это уж не моя причина, тещенька...

— Да говори толком-то! — понукала его Марья, сгоравшая от петеренья.— Ну, чего принес?

— А ты вот его спрашивай,— указал Мыльников на Кожина.— Мое дело сторона... Да сперва пригласи садиться, сестрица. Честь завсегда лучше бесчестья...

— Да ну тебя, болтушка... Садитесь.

Кожин, пошатываясь, прошел к столу, сел на лавку и с удивлением посмотрел кругом, как человек, который хочет и не может проснуться. Марья заметила, как у него тряслись губы. Ей сделалось страшно, как и матери. Или пьян Кожин, или не в своем уме.

— Окся-то моя определилась к баушке Лукерье,— проговорил наконец Мыльников, удушливо хихикая.— Сама, стерва, пришла к ней...

— А как же Феня? — зараз спросили Устинья Марковна и Марья.

— Приказала долго жить... тьфу!.. То бишь, жива она, а только тово...

Имя Фени заставило очнуться Кожина, точно по нему выстрелили. Он хотел что-то сказать, пошевелил губами и махнул рукой.

— Да говори ты толком...— приставал к нему Мыльников.— Убегла, значит, наша Федосья Родивоновна. Ну, так и говори... И с собой пичего не взяла, все бросила. Вот какое вышло дело!

— У Карачунского она...— прошептал наконец Кожин.— Своими глазами видел. В горничные нанялась...

Он ударил кулаком по столу и застонал, как раненый человек, которого неосторожно задела за больное место. Марья смотрела на Устинью Марковну, когорая бессмысленно повторяла:

— У Карачунского? Зачем ей быть у Карачунского? Как же баушка-то Лукерья не доглядела? Што-нибудь да не так...

— Нет, так!..— ответил Кожин.— Известно, какие горничные у Карачунского... Днем горничная, а ночью сударка. А кто ее довел до этого? Вы довели... вы!.. Феня, моя голубка... родная... Што ты сделала над собой?..

— Убьет он Карачунского,— спокойно заметил Мыльников.— Это хоть до кого доведись...

Опомнилась первой Марья и проговорила:

— Да ведь ты женился, сказывают, Акинфий Назарыч? Какое тебе дело до нашей Фени?.. Ты сам по себе, она сама по себе.

— А ежели она у меня с ума нейдет?.. Как живая стоит... Не могу я позабыть ее, а жену не люблю. Мамынька женила меня, не своей волей... Чужая мне жена. Видеть ее не могу... День и ночь думаю о Фене. Какой я теперь человек стал: в яму бросить — вся мне цена. Как я узнал, что она ушла к Карачунскому,— у меня свет из глаз вон. Ничего не понимаю... Запряг долгушку, бросился сюда, еду мимо господского дома, а она в окно смотрит... Што тут со мной было — и не помню, а вот спасибо Тарас меня из кабака вытащил.

— Да когда это было-то, Акинфий Назарыч?

— Не упомяну, не то сегодня, не то вчера... Горюшко лютое, беда моя смертная пришла, Устинья Марковна. Разделились мы верами, а во мне душа полымем горит... Погляжу кругом, а все красное. Ах, тоска смертная... Фенюшка, родная, што ты сделала над своей головой?.. Лучше бы ты померла...

Заголосили бабы от привезенной Тарасом новости, как не голосят над покойниками, а Кожин уронил голову на стол, как зарезанный.

— Ну, пошли!..— удивлялся Мыльников.— Да я сам пойду к Карачунскому и два раза его выворочу наоборот... Приведу сюда Феню, вот вам и весь сказ!.. Перестань, Акинфий Назарыч... От живой жены о чужих бабах не говорят...

— Отстань... убью!..— шептал Кожин, глядя на него дикими глазами.

— А што Родион-то Потапыч скажет, когда узнает? — повторяла Устинья Марковна.— Лучше уж Фене оставаться было в Тайболе: хоть не настоящая, а все же как будто и жена. А теперь на улицу глаза нельзя будет показать... У всех на виду наше-то горе!

Мыльников действительно отправился от Зыковых прямо к Карачунскому. Его подвез до господского дома Кожин, который остался у ворот дожидаться, чем кончится все дело.

— Ты меня тут подожди,— уговаривался Мыльников.— Я и Феню к тебе приведу... Мне только одно слово ей сказать. Как из ружья выстрелю...

Карачунский был дома. В передней Мыльникова встретил лакей Ганька и, по своему холуйскому обычаю, хотел сейчас же заворотить гостя.

— Мне Федосью Родноновну повидать, своячину...— упрямился Мыльников в дверях.— Одно словечко молвить...

— Ступай, ступай!— напирал Ганька.— Я вот покажу тебе словечко... Не велено пущать.

Такое поведение лакея Ганьки возмутило Мыльникова, и он без лишних слов вступил с холуйским отродьем врукопашную. На крик Ганьки в дверях гостиной мелькнуло испуганное лицо Фени, а потом показался сам Карачунский.

— Ваше благородие, Степан Романыч...— взмолился Мыльников, изнемогавший в борьбе с Ганькой.— Одно словечушко молвить.

— Ну, говори...— коротко ответил Карачунский, узнавший Мыльникова.— Что тебе нужно, Тарас?

— Прикажете Ганьке уйти... Имею до тебя, Степан Романыч, особенное дельце.

Ганька был удален, и Мыльников, оправив потерпевший в схватке костюм, проговорил удушливым шепотом:

— Кожин меня за воротами ждет, Степан Романыч... Очертел он окончательно и дурак дураком. Я с ним теперь отваживаюсь вторые сутки... А Фене я сродственник: моя-то жена родная ейная сестра, значит, Татьяна. Ну, значит, я и пришел объявиться, потому как дело это особенное. Дома ревут у Феню, Кожин грозит зарезать тебя, а я с емя со всеми отваживаюсь... Вот какое дельце, Степан Романыч. Силушки моей не стало...

— Я Кожина не боюсь,— спокойно ответил Карачунский.— И даже готов объяснить с ним.

— Што ты, Степан Романыч: очертел человек, а ты разговаривать с ним. Мне впору с ним отваживаться... Ежели бы ты, Степан Романыч, отвел мне деляночку на

Ульяновом кряже,— прибавил он совершенно другим топом,— уж так и быть, постарался бы для тебя... Гора-то велика, што тебе стоит махонькую деляночку отвести мне?

Этот шантаж возмутил Карачунского, и он сморщился.

— Нет, не могу...— решил Карачунский после короткой паузы.— Отвести тебе деляночку— и другим тоже надо отводить.

— Ах, андел ты мой, да ведь то другие, а я не чужой человек,— с нахальством объяснял Мыльников.— Уж я бы постарался для тебя.

— Нет, не могу...— еще решительнее ответил Карачунский, повернулся в дверях и ушел.

У Карачунского слово было законом, и Мыльников ушел бы ни с чем, но когда Карачунский проходил к себе в кабинет, его остановила Феня.

— Степан Романыч, дозвоьте мне переговорить с зятем?

— Нет, это лишнее,— ласково отговаривал Карачунский.— Я уже сказал все.. Он требует невозможного, да и вообще для меня это подозрительный человек.

Но Феня так ласково посмотрела на него, что Карачунский только махнул рукой. О, женщины... Везде они одинаковы со своими просьбами, слезами и ласками!.. Карачунский еще лишний раз убедился в этом и почувствовал вперед, что ему придется изменить своему слову для нового «родственника». Последнее слово кольнуло его, но он опять видел одни ласковые глаза Фени и ее просящую улыбку. Разве можно отказать женщине? Феня в это время уже была в передней и умоляла Мыльникова, чтобы он увез куда-нибудь от греха дожидавшегося у ворот Кожина.

— И увезу, а ты мне сруководствуй деляночку на Краюхином увале,— просил в свою очередь Мыльников.— Кедровскую-то дачу бросил я, Фенюшка... Ну ее к черту! И компания у нас была: пришей хвост кобыле. Все врозь, а главный заводчик Петр Васильч... Такая кривая ерахта!.. С Ястребовым снюхался и золото для него скупает... Да ведь ты знаешь, чего я тебе-то рассказываю. А ты деляночку-то приспособь... В некоторое время пригожусь, Фенюшка. Без меня, как без поганого ведра, не обойдешься...

— Дома-то у нас ты был, Тарас?

— Сейчас оттуда... Вместе с Кожинным были. Ну, там Мамай воевал: как учили бабы реветь, как учили причи-

тать — святых вон понеси. Ну, да ты не сомлевайся, Фе-нюшка... И не такая беда изнашивается. А главное, обору-дуй мне деляночку...

— А што мамынька? — спрашивала Фея свое. — Ах, изболелось мое сердечушко, Тарас... Не увижу я их, видно, больше, пропала моя головушка...

— Перестань печалиться, глупая, — утешал Мыльни-ков. — Москва нашим-то слезам не верит... А ты мне деля-ночку-то охлопочи. Изнищал я вконец...

— Ах, какой ты, Тарас, непонятный! Я про свою голо-ву, а он про делянку. Как я раздумаюсь под вечер, так впору руки на себя наложить. Увидишь мамыньку, кла-няйся ей... Пусть не печалится и меня не винит: такая уж, видно, выпала мне судьба злосчастная...

— Ничего, привыкнешь. Ужо погляди, какая гладкая да сытая на господских хлебах будешь. А главное, мпе де-ляночку... Ведь мы не чужие, слава богу, со Степаном-то Романычем теперь...

При последних словах Мыльников подмигнул и при-щелкнул языком, заставив Фею покраснеть, как огонь. Она убежала, не простившись, а Мыльников стоял и ухмылялся. «Эх, бабы, вссх-то вас взять да сложить вме-сте — один грех выйдет».

— Эй ты, галман, отворяй дверь! — вслух обратился Мыльников к появившемуся лакею Ганьке. — Без очков-то не узнал Тараса Мыльникова?.. Я вас всех научу, как на свете жить.

Выйдя на крыльцо, Мыльников еще постоял, покрутил своей беспутной головой и зашагал к воротам.

— Ну, твое дело табак, Акинфий Назарыч, — объ-явил он Кожину с приличной торжественностью. — Совсем ведь Фея-то оболочлась было, да тот змей-то не пустил... Как уцепился в нее, ну, известно, женское дело. Зна-ешь, што я придумал: падо беспременно на Фотьянку гнать, к баушке Лукерье; без баушки Лукерыи невоз-можно...

Последнее придумал Мыльников, стоя на крыльце. Ему не хотелось шагать до Фотьянки пешком, а Кожин на своей парочке лихо довезет. Он вообще повиновался те-перь Мыльникову во всем, как ребенок. По пути они за-ехали еще к Ермошке раздавить полштоф, и Мыльников шепнул кабатчику:

— Битый небитого везет, Ермолай Семеныч...

— Скоро ли тебя повесят, Тарас? — ответил Ермошка в тон. — Я веревку пожертвую на свой счет...

— Еще осина не выросла, на которой нас с тобой повесят...

Кожин все время молчал и пил. Даже Ермошка его пожалел: совсем замотался мужик.

Всю дорогу до Фотьянки Мыльников болтал без утыху и даже рассказал, как он пил чай с Карачунским сегодня, пока Кожин ждал его у ворот господского дома.

— Мне, главная причина, выманить Феню-то надо было... Ну, выпил стакашик господского чаю, потому как зачем же я буду обижать барина напрасно. А теперь приедем на Фотьянку: первым делом самовар... Я как домой к баушке Лукерье, потому моя Окся утвердилась там заместо Фени. Ведь поглядеть, так дура набитая, а тут ловко подвернулась... Она уж во второй раз с нашего прииску убежала да прямо к баушке, а та без Фени, как без рук. Ну, Окся и соответствует по всем частям...

На Фотьянку они приехали уже совсем поздно, хотя в избе Петра Васильича еще и светился огонек, — это сидел Ястребов и вел тайную беседу с хозяином.

— Ты куда прешь-то ни свет ни заря? — накинулась баушка Лукерья на Мыльникова. — Дня-то тебе мало, шатущему?

— Об Оксе больно соскучился, баушка... — врал Мыльников, не сморгнув глазом. — Трудно, поди, ей управляться одной-то. Непривычное дело, вот главная причина...

— Воду на твоей Оксе возить — вот это в самый раз, — ворчала старуха. — В два-то дня она у меня всю посуду перебила... Да ты, Тарас, никак с ночевой приехал? Ну, нет, брат, ты эту моду оставь... Вон Петр Васильич поедом съел меня за твою-то Оксю. «Ее, — говорит, — корми, да еще родня-шаромыжники навяжутся...» Так напрямки и отрезал.

— Вот так уважил... Што же это такое, баушка Лукерья? На печи проезду не стало мне от сродственников... Ежели такие ваши речи, так я возьму Оксю-то назад.

— Сделай милость, бери... Не заплачем. Говорю, всю посуду расколотила. А ты не накладывайся ночевать у нас: без тебя тесно.

— Ах, боже мой... Вот так роденьку бог дал!.. — удивлялся Мыльников, распоясываясь. — Я сломя голову к тебе

из Балчугов гоню, а опа меня вон каким шампанским встретила...

— Да ты с какой радости разгонялся-то?

— А я с Кожипым цельных три дня путался. Он за воротами остался... Скажи ему, баушка, штобы ехал домой. Нечего ему здесь делать... Я для родни в ниточку вытягиваюсь, а мне вон какая от вас честь. Надоело, признаться сказать...

Баушка Лукерья сама вышла за ворота и уговорила Кожина ехать домой. Он молча ее выслушал, повернул лошадей и пропал в темноте. Старуха постояла, вздохнула и побрела в избу. Мыльников уже спал, как зарезанный, растянувшись на лавке.

— Этакие бесстыжие глаза... — подивилась на него старуха, качая головой. — То-то путаник-мужичонка!.. И сон у них у всех один: Окся-то так же дрыхнет, как колода. Присунулась до места и спит... Ох, согрешила я! Не жалить, видно, мне другой-то Фени... Ах, грехи, грехи!..

Баушка Лукерья, снедаемая недугом своей старческой жадности, ужасно тосковала о Фене, являвшейся для нее той сказочной курицей, которая несла золотые яйца. Приветливая была бабенка, обходительная, и всякое дело у ней в руках горело. А как ушла Феня, точно все ножом обрезало... Где же одной старухе управиться, да и не умела она потрафить постояльцам, как Феня. Баушка Лукерья не раз даже всплакнула по Фене, проклиная Карачунского, ухватившего ласковую бабенку. Польстилась Феня на сладкое господское житье и позабыла про свою девичью честь.

Мыльников с намерением оставил до следующего дня рассказ о том, как был у Зыковых и Карачунского, — он рассчитывал опохмелиться на счет этих новостей и не ошибся. Баушка Лукерья сама послала Оксю в кабак за полштофом и с жадным вниманием прослушала всю болтовню Мыльникова, напрасно стараясь отличить, где он говорит правду и где врет.

— Кланяться наказывала тебе, баушка, Феня-то, — врал Мыльников, хлопая одну рюмку за другой. — «Скажи, грит, што скучаю, а промежду прочим весьма довольна, потому как Степан Романыч барин добрый и всякое уважение от него вижу...»

— Пес он, Степан-то Романыч. Не стало ему других девок? Из городу привез бы...

— Значит, Феня ему по самому вкусу пришлась... хе-хе!.. Харч, а не девка: ломтями режь да ешь. Ну, а што было, баушка, как я к теще любезной приехал да объявил им про Феню, што, мол, так и так... Как взвыли бабы, как запричитали, как заголосили истошными голосами — ложись помирай. И тебе, баушка, досталось на орехи. «Захвалилась,— говорят,— старая крымза, а Феню не уберегла...» Родня-то, баушка, по нынешним временам везде так разговаривает. Так отзолотили тебя, што лучше и не бывает, вровень с грязью сделали.

Слушал эти рассказы и Петр Васильич, он относился к ним совершенно равнодушно. Он отступился от матери, предоставив ей пользоваться всеми доходами от постояльцев. Будет Окся или другая девка — ему было все равно. Вранье Мыльникова просто забавляло вороватого домовладыку. Да и мамынька пусть покипитится за свою жадность... У Петра Васильича было теперь свое дело, в которое он ушел весь.

Опахмелившись, Мыльников соврал еще что-то и отправился в кабак к Фролке, чтобы послушать, о чем народ галдит. У кабака всегда народ сбивался в кучу, и все новости собирались здесь, как в узле. Когда Мыльников уже подходил к кабаку, его чуть не сшибла с ног бойко катившаяся телега. Он хотел обругаться, но оглянулся и узнал любезную сестрицу Марью Родивоновну.

— Куды ускорила, сестрица?

— А баушку проведать поехала,— нехотя отвечала Марья, понукая лошадь.

— Так-с... Настоящее уважение старушке делаете.

Когда телега повернула за угол, Мыльников раскинул умом и живо сообразил, зачем ехала проведывать баушку любезная сестрица. Ухмыльнувшись, он подумал вслух:

— Поздно-с, Марья Родивоновна... Местечко-то занято.

На этот раз Мыльников ошибся. Пока он прохладился в кабаке, судьба Окси была решена: ее место заняла сама любезная сестрица Марья Родивоновна.

— Ты теперь ступай, голубка, домой,— объясняла баушка Лукерья ничего не понимавшей Оксе.— Спасибо, всю посуду переколотила...

— Не пойду...— упрямо повторяла Окся, которой пришлось жить у баушки.

Произошла комическая сцена, в которой должен был принять участие даже Петр Васильич.

— Как же ты, милая, не пойдешь, ежели тебе сказано? — разъяснял он Оксе. — Надо и честь знать...

— Да што ты ко мне привязался, кривой черт? — озлилась наконец Окся, перенеся все свое неудовольствие на Петра Васильича. — Сказала, не пойду...

— Мамынька, что же это такое? — взмолился Петр Васильич. — Я ведь, пожалуй, и шею искостыляю, коли на то пошло. Кто у нас в доме хозяин?..

Баушка Лукерья сунула Оксе за ее службу двугривенный и вытолкала за дверь. Это были первые деньги, которые получила Окся в свое полное распоряжение. Она зажала их в кулак и так шла все время до Балчуговского завода, а дома спрятала деньги в снях, в расщелившемся бревне. Оксю тоже охватила жадность, с той разницей от баушки Лукерьи, что Окся знала, куда ей нужны деньги.

Мысль о бегстве из отцовского дома явилась у Марьи в тот же роковой вечер, когда она узнала о новой судьбе сестры Фени. Она не спала всю ночь, раздумывая, как устроить ей все дело. Что ей ждать в отцовском доме? Из-за отца и в девках осталась, а когда старик умрет, тогда и деваться будет некуда. Дом зятю Прокопию достанется «на детей», как обещал Родион Потапыч, не рассчитывавший па своего Яшу как на достойного наследника. Жаль было Марье старухи матери, да жить-то ведь ей, Марье, а мать свой век изжила. Девушка со слезами простилась с родным гнездом, сама запрягла лошадь и отправилась на Фотьянку.

III

Компания Кишкина и существовала и как будто не существовала. Дело в том, что Мыльников сбежал окончательно, обругав всех на чем свет стоит, а затем Петр Васильич бывал только «паходом», — придет, повернется денек и был таков. Настоящими рабочими оставались сам Кишкин, Яша Малый, Матюшка, Турка и Мина Клейменный, — последний в артели отвечал за кашевара. Миляев мыс так и остался спорным, а работа шла на отводах вверх по реке Мутяшке. Маякова слань была исправлена лучше, чем в казенное время, и дорога не стояла часу, — шли и ехали рабоче на новые промысла и с промыслов. В одно лето все течение Меледы с притоками сделалось неузна-

ваемым: лес везде вырублен, земля изрыта, а вода текла взмученная и желтая, унося с собой последние следы горячей промысловой работы.

Дела у Кишкина шли ни шатко ни валко. Он много выиграл тем, что получил отвод прииска раньше других и, следовательно, раньше мог начать работу. Прииск получил название Сиротки по логу, который выходил на Мутяшку с правой стороны. Для работы «сильной рукой» не хватало средств, а поэтому дело вслось наполовину старательскими работами, наполовину иждивением самого Кишкина, раздобывшегося деньгами к общему удивлению. Никто и не подозревал, что эти таинственные деньги были ему даны знаменитым секретарем Ильей Федотычем. Это была своего рода взятка, чтобы Кишкин не запутал знаменитого дельца в проклятое дело о Балчуговских промыслах.

— Ты у меня смотри... — погрозил Илья Федотыч, выдавая деньги. — Знаешь поговорку: клоп клопа ест — последний сам себя съест...

По-настоящему работы на Сиротке нужно было начать с генеральной разведки всей площади прииска, то есть пробить несколько шурфов в шахматном порядке, чтобы проследить простирание золотоносного пласта, его мощность и все условия залегания. Но подобная разведка стоила бы около тысячи рублей, а таких денег не было и в помине. Еще больше стоила бы «вскрышка россыпи», то есть снятие верхнего пласта пустой породы, что делается на больших хозяйских работах. Это и выгодно, и вперед можно рассчитать содержание золота. Но пришлось вести работы старательским способом: взяли угол россыпи и пошли вверх по логу «ортами». Зараз производились и вскрышка верховника, и промывка песков. Содержание золота оказалось порядочное, хотя и не везде одинаковое.

— Какая это работа: как мыши краюшку хлеба грызем, — жаловался Кишкин. — Все равно как лестницу мести с нижней ступеньки.

В «забое», где добывались пески, работал Матюшка с Туркой, откатывал на тачке пески Яша Малый, а Мина Клейменный стоял на промывке с Кишкиным. Собственно промывка — бабья, легкая работа. Дело все-таки шло очень недурно и «оправдывало себя». На пятерых в день намывали до двух золотников золота, что составляло поденщину рубля в полтора. Одно смущало Кишкина, что золото шло неровное — то убавится, то прибавится. Другая беда

была в том, что близилась зима, а зимой или ставь теплую казарму, или бросай все дело до следующей весны. Пока все жили в одной избушке, кое-как защищавшей от дождя. Мысль о зиме не давала Кишкину покоя: партия разбредется, а потом пачинай все сызнова.

Если бы не эти заботы, совсем было бы хорошо. Проведенное в лесу лето точно размягло Кишкина, и он даже пачинал жалеть о заваренной каше. Недавняя озлобленность, вызванная многолетними неудачами, нуждой и одиночеством, сменилась бодрим, хорошим настроением. Да и хорошо жить в лесу... Какие ночи выпадали, какие ясные горячие деньки: двадцать лет с плеч долой. День за работой, а вечером такой здоровый отдых около своего огонька в приятной беседе о разных разностях. С других приисков народ заходил, и вся Мутяшка была на вестях: у кого какое золото идет, где новые работы ставят и т. д. Вся Мутяшка представляла одно громадное целое, жившее одними интересами и надеждами.

— Эх, нету у нас, Андрон Евстратыч, первое дело, лошади,— повторял каждый день Матюшка,— а второе дело, надо нам беспременно завести бабу... На других приисках везде свои бабы полагаются.

— Окся, подлая, убежала...— оправдывался Кишкин. Было несколько попыток приобрести бабу, но все они закончились полнейшей неудачей. Про фотьянских баб и думать было нечего: они совсем задорожились. У себя дома не успевали поправляться. Были, конечно, шатущие по промыслам девки, отбившиеся от своих семей, но такую и к артельному котелку никто не пустит. Бабы вообще шли нарасхват. Главным поставщиком этого товара служил Балчуговский завод. На Сиротке жили несколько времени две таких бабы, но не зажились. Прииск был небольшой, рабочих мало, да и то почти все старики.

— Скушно у вас,— говорили бабы и уходили куда-нибудь на соседний прииск к Ястребову.

Мыльников приводил свою Оксю два раза, и она оба раза бежала. Одним словом, с бабой дело не клеилось, хотя Петр Васильич и обещал раздобыть таковую во что бы то ни стало.

— Да тебя как считать-то: не то ты с нами робишь, не то отшибся? — спрашивал Кишкин Петра Васильича.— День поробишь да неделю лодырничаеть.

— Ужо погодите, управлюсь с делами, так в первой голове пойду.

— Расчета тебе нет, Петр Васильич: дома-то больше добудешь. Проезжающие номера открыл, а теперь, значит, открывай заведение с арфистками... В самый раз для Фотьянки теперь подойдет. А сам похаживай петушком да команду — всей и работы.

— Кишок, пожалуй, не хватит, Андрон Евстратыч, — скромничал Петр Васильич, блаженно ухмыляясь. — Шутки шутишь над нашей деревенской простотой... А я как-то раз был в городе в таком-то заведении и подивился, как огребают денежки.

— Озарился, поди?.. Лют ты до чужих денег, Петр Васильич. Глаз у тебя так и заиграет, как увидит деньги-то...

Зачем шатался на прииски Петр Васильич, никто хорошенько не знал, хотя и догадывались, что он спроста не пойдет время тратить. Не таковский мужик... Особенно недолюбливал его Матюшка, старавшийся в компании поднять на смех или устроить какую-нибудь каверзу. Петр Васильич относился ко всему свысока, точно дело шло не о нем. Однако он не укрылся от зоркого и опытного взгляда Кишкина. Раз они сидели и беседовали около огонька самым мирным образом. Рабочие уже спали в балагане.

— Это у тебя что пазуха-то отдулась? — самым невинным образом спрашивал Кишкин.

Петр Васильич схватился за свою пазуху, точно обожженный, а Кишкин засмеялся и покачал головой.

— Эх, Петр Васильич, Петр Васильич, — повторял он укоризненно. — И воровать-то не умешь. Первое дело, велики у тебя весы: коромысло-то и обозначилось. Ха-ха...

— Н-но-о?.. Это я в починку захватил...

— В лесу починивать?.. Ну, будет, не валяй дурака... А ты купи маленькие вески, есть такие, в футляре. Нельзя же с безмером ходить по промыслам. Как раз влопаешься. Вот все вы такие, мужланы: на комара с обухом. Три рубля на вески пожалел, а головы не жаль... Да смотри, моего золота не шевели: порошок тронешь — башка прочь.

— Ну, и глаз у тебя, Андрон Евстратыч: наскрозь. Каюсь, был такой грех... Одинова попробовал, а лестно оно.

— От кого?

Петр Васильич опять замялся и заерзал на месте.

— Ну, ну, без тебя знаю, — успокоил его Кишкин. — Только вот тебе мой сказ, Петр Васильич... Видал, как

рыбу бреднем ловят: большая щука уйдет, а маленькая рыбешка вся тут и осталась. Так и твое дело... Ястребов-то выкрутится: у него семьдесят семь ходов с ходом, а ты влопаешься со своими весами, как кур во щи.

Это отеческое внушение и сознание собственной мужицкой глупости подействовали на Петра Васильича самым угнетающим образом. Ему было бы легче, если бы Кишкин прямо обругал его. Со всяким бывают такие скверные положения, когда человек рад сквозь землю провалиться, то же самое было и с Петром Васильичем. Убежать прямо от Кишкина было совестно, да и оставаться тоже. Петр Васильич сидел и моргал единственным глазом, как сын. Мужичья совесть тяжелая, и Петр Васильич чувствовал, как он начинает ненавидеть Кишкина, ненавидеть за его собачью догадливость. Главное, посмеялся Кишкин над его глупостью.

— Ну, так как же? — спрашивал Кишкин, хлопая его по плечу.

— А все то же, Андрон Евстратыч... Напрасно ты мне весками-то укорил: пошутил я, никаких весков нету со мной. Посмеялся я, значит...

— Ладно, разговаривай...

— Может, ты скупаешь здесь золото-то, тебе это сподручнее?.. Охулки на руку не положишь, а уж где нам, дуракам!..

Они расстались врагами.

Кишкин угадал относительно таинственной деятельности Петра Васильича, занявшегося скупкой хищнического золота на новых промыслах. Дело было не трудное, хотя и приходилось вести его осторожно, с разными церемониями. Сам Ястребов не скупал золота прямо от старателей и гнал их в три шеи, если кто-нибудь приходил к нему. Это все знали и несли золото к Ермошке или другим мелким ястребовским скупщикам. Петр Васильич был еще внове, рабочие его мало знали, и приходилось самому отправляться на промысла и вести дело «под рукой». Опытные рабочие не доверяли новому скупщику, но соблазн заключался в том, что к Ермошке пужпо было еще везти золото, а тут получай деньги у себя на промыслах, из руки в руку.

У Петра Васильича было несколько подходов, чтобы отвести глаза приисковым смотрителям и доверенным. Так, он прикидывался, что потерял лошадь, и выходил на гриппск с уздой в руках.

— Не видали ли, братцы, мою кобылу? — спрашивал он. — Правое ухо порото, левое пнем... Вот третьи сутки в лесу брожу.

— Да ты сам-то откедова взялся? — подозрительно спрашивал кто-нибудь.

— Я с Мутяшки... У Кишкина на Сиротке робим.

Разговор завязывался. Петр Васильич усаживался куда-нибудь на перемывку, закуривал «цигарку», свернутую из бумаги, и заводил неторопливые речи. Рабочие — народ опытный и понимали, какую лошадь ищет кривой мужик.

— Шерсть-то какая у твоей кобылы?

— Да желтая шерсть... Ни саврасая, ни рыжая, а какая-то желтая уродилась. Такая уж мудреная скотинка...

Побеседовав, Петр Васильич уходил и дожидался добычи где-нибудь в сторонке. Он пристраивался где-нибудь под кустиком и открывал лавочку. Подходил кто-нибудь из старателей.

— Почем?

— Три бумажки...

— На Малиновке по четыре дают.

— Много дают, да только домой не носят... А мои три бумажки сейчас.

В переводе этот торг заключался в желании скупщика приобрести золотник золота за три рубля, а продавец хотел продать по четыре. После небольшого препирательства победа оставалась за Петром Васильичем. Он с необходимыми предосторожностями добывал из-за пазухи свои весы, завернутые в платок, и принимался весить принесенное золото, причем не упускал случая обмануть, потому что весы были «с привесом». Второпях продавцу было не до проверки, хотя он долго потом чесал затылок, прикидывал в уме и ругал кривого черта вдогонку.

Иногда Петр Васильич показывался на прииске верхом на своей желтой кобыле и разыгрывал «запутавшегося человека», иногда приходил прямо в приисковую контору и предлагал доставлять какой-нибудь харч по очень сходной цене и т. д. Вместе с практикой развились его изобретательность и нахальство. Его уже знали на промыслах, и в большинстве случаев ему стоило только показаться где-нибудь поблизости, как слетались сейчас же хищники. А золота в Кедровской даче оказалось достаточно. Везде шла самая горячая работа, хотя особенно богатого золота, о котором гласила стоустая молва, и не оказалось. Все-

таки работать было можно, и тысячи рабочих находили здесь кусок хлеба.

Добытое таким нелегким путем золото сдавалось Ястребову за двадцать копеек, то есть он прибавлял за каждый золотник двадцать копеек премии. Сначала Петр Васильич был чрезвычайно доволен, потому что в счастливый день зашибал рублей до трех, да, кроме того, наживал еще на своих провесах и обчетах рабочих. В общем получались довольно кругленькие денежки. Но с Петром Васильичем повторилось то же самое, что с матерью. Его охватило такое же чувство жадности, и ему все казалось мало. В самом деле, он наживал с золотника двадцать копеек, а Ястребов за здорово живешь сдавал в казну этот же золотник за четыре рубля пятьдесят копеек и получал целый рубль. Конечно, Ястребов давал деньги на золото, разносил его по книгам со своих приисков и сдавал в казну, но Петр Васильич считал свои труды больше, потому что шлялся с уздой, валял дурака и постоянно рисковал своей шкурой как со стороны хозяев, так и от рабочих. И шею могут накостылять, и ограбить, и начальству головой выдать, а пожаловаться некому. Природная трусость Петра Васильича исчезла под магическим освещением золота, и он действовал смелее самых опытных скупщиков. Ах, если бы у него были свои деньги, что можно было бы сделать! Почтище Ястребова подвел бы механику. С тем же Кишкиным вошел бы в соглашение, чтобы записывать скупленное золото на Сиротку. Но лиха беда заключалась в том, что не хватало силы, а пустяками не стоило пока заниматься. Конечно, все эти затаенные мысли Петр Васильич хранил до поры до времени про себя и Ястребову не показывал вида, что недоволен.

По предварительному уговору, с внешней стороны Петр Васильич и Ястребов продолжали разыгрывать комедию взаимной вражды. Петр Васильич привязывался к каждому пустяку в качестве хозяина и ругал Ястребова при всем народе.

— Мамышка, это ты пустила постояльца! — накидывался Петр Васильич на мать. — А кто хозяин в доме?.. Я ему пок-кажу... Он у меня споет голландским петухом. Я ему нос утру...

Баушка Лукерья выбивалась из сил, чтобы утишить блажившего сынка, но из этого ничего не выходило, потому что и Ястребов тоже лез на стену и несколько раз со-

бирался поколотить сварливого кривого черта. Но особенно ругал жильца Петр Васильич в кабаке Фролки, где народ помирал со смеху.

— Надулся пузырь и думает: шире меня нет!..— выкрикивал он по адресу Ястребова.— Нет, погоди, брат... Я тебе смажу салазки. Такой же мужик, как и наш брат. На чужие деньги распух...

Когда Ястребов на своей тройке проезжал мимо кабака, Петр Васильич выскакивал на дорогу, отвечивал низкий поклон и кричал:

— Возьми меня с собой в Сибирь, Никита Яковлич. Одному-то тебе скучно будет ехать.

Дело доходило до того, что Ястребов жаловался на него в волость, и Петра Васильича вызывали волостные старички для внушения.

— Ты не показывай из себя богатого-то,— усовещивали старички огрызавшегося Петра Васильича,— как раз насыплем, штобы помнил. Чего тебе Ястребов помешал, кривой ерахте?

— А вот это самое и помешал,— не унимался Петр Васильич.— Терпеть его ненавижу... Чем я знаю, какими он делами у меня в избе занимается, а потом с судом не расхлебашься. Тоже можем свое понятие иметь...

— Отодрать тебя, пса, вот и весь разговор... Што больно перья-то распустил?

IV

Известие о бегстве Фени от баушки Лукерьи застало Родиона Потапыча в самый критический момент, именно, когда Рублиха выходила на роковую двадцатую сажень, где должна была произойти «пересечка». Старик так был увлечен своей работой, что почти не обратил внимания на это новое горшее несчастье, или только сделал такой вид, что окончательно махнул рукой на когда-то самую любимую дочь. Укрепился старик и не выдал своего горя на посмеянье чужим людям.

Рабочих на Рублихе всего больше интересовало то, как теперь Карачунский встретится с Родионом Потапычем, а встретиться они были должны неизбежно, потому что Карачунский тоже начинал увлекаться новой шахтой и

следил за работой с напряженным вниманием. Эта встреча произошла на дне Рублихи, куда спустился Карачунский по стремянке.

— Обманула, видно, нас двадцатая-то сажень? — спокойно проговорил Карачунский, осматривая забой.

— Сдвиг дала жила, — так же спокойно ответил Родион Потапыч. — Некуда ей деваться... Не иголка.

Больше между ними не было сказано ни одного слова. Дело в том, что Родион Потапыч резко разделял для себя Карачунского-управляющего от Карачунского — соблазнителя Фени. Первого он в настоящую трудную минуту даже любил, потому что Карачунский в достаточной степени заразился верой вот в эту самую Рублиху и с лихорадочным вниманием следил за каждым шагом вперед. Дело усложнялось тем, что промысловый год уже был на исходе, первоначальная смета на разработку Рублихи давно перерасходована, и от одного Карачунского зависело выхлопотать у компании дальнейшие ассигновки. Инженер Оников с самого начала был против новой шахты и, конечно, со своей стороны мог много повредить делу. Одним словом, дорога была каждая мипута, и нужно было поставить Карачунского в такое положение, когда об отступлении нечего было бы и думать. Родион Потапыч слишком хорошо, по личному опыту, изучил все признаки промысловой горячки и в Карачунском видел своего единомышленника, от которого зависело все. Новая история с Феней была тут ни при чем.

Когда Родион Потапыч в ближайшую субботу вернулся домой и когда Устинья Марковна повалилась к нему в ноги со своими причитапьями и слезами, он ответил всего одним словом:

— Знаю...

Больше о Фене в зыковском доме ничего не было сказано, точно она умерла. Когда старик узнал о бегстве Марьи на Фотьянку, то только махнул рукой, точно сбегала кошка. В этом сказался мужицкий взгляд на девку в семье как на что-то чужое, что не сегодня-завтра вспорхнет и улетит. Была Марья, не стало Марьи — лишний рот с костей долой. Захотела своего девичьего хлеба отведать, ну и пусть ее... Устинья Марковна в глубине души была рада, что все обошлось так благополучно, хотя и наблюдала потихоньку грозного мужа, который как будто немало даже рехнулся.

«Хоть бы для видимости построжил,— даже пожалела про себя привыкшая всего бояться старуха.— Какой же порядок в доме без настоящей страсти? Вон Наташка скоро заневестится и тоже, пожалуй, сбежит, или зять Проконий задурит».

Устинья Марковна с душевной болью чувствовала одно, что в своем собственном доме Родион Потапыч является чужим человеком, точно ему вдруг стало все равно, что делается в своем гнезде. Очень уж это было обидно, и Устинья Марковна потихоньку от всех разливалась рекой.

Когда Родион Потапыч вернулся на свой Ульянов кряж, там произошло целое событие, о котором толковала вкривь и вкось вся Фотьянка. Дело в том, что Тарас Мыльников, благодаря ходатайству Фени, получил делянку чуть не рядом с главной шахтой, всего в каких-нибудь ста саженях. Сначала Родион Потапыч не поверил собственным ушам и отправился на место действия. Дудку Мыльникова от компанейской работы отделяла одна небольшая еловая заросль. Когда старик пришел на место, там уже кипела горячая работа. Сам Тарас стоял по грудь в заложенной дудке и короткой лопатой выкидывал землю-«пустяк» на полати, устроенные из краденных с шахты досок. Окся сваливала «пустяк» в тачку и отвозила в сторону, где уже желтела новая свалка.

— Да ты с ума сошел, безумная голова? — накинулся Родион Потапыч на непризнанного зятя.— Куда залез-то?..

— Родиону Потапычу сорок одно с кисточкой... — весело ответила голова Тараса из ямы.— Аль завидно стало? Не бойсь, твоего золота не возьму... Разделимся как-нибудь.

— Да ведь здесь компанейское место, пес кудлатый!.. Ступай на Краюхин увал: там ваше место.

— Сам ступай, коли так поглянулось, а я здесь останусь. Промежду прочим, сам Степан Романыч соблаговолил отвести деляночку... Его спроси.

— Ну, это уж ты врешь!..

— Вот што я тебе скажу, Родион Потапыч: и чего нам ссориться? Слава богу, всем матушки-земли хватит, а я из своих двадцати пяти сажен не выйду и вглыбь дальше десятой сажени не пойду. Одним словом, по положению, как все другие прочие народы... Спроси, говорю, Степан-то Романыча!.. Благодетель он...

Старый штейгер плюнул на конкурента, повернулся и ушел.

— Эй, Родион Потапыч, не плюй в колодец! — кричал вслед ему Мыльников. — Как бы самому же напиться не пришлось... Всяко бывает. Я вот тебе такое золото обещаю, што не поздоровится. А ты, Окся, што пнем стала? Чему обрадовалась-то?

Родион Потапыч уже на месте сообразил, какими путями Мыльников добился своей делянки, и только покачал головой. «Эх, слаб Степан Романыч до женского полу и только себя срамит поблажкой. Тот же Мыльников охает его везде. Пес и есть пес: добра не помнит».

Карачупский действительно не показывался на Рублихе с неделю: он совестился неподкупного старого штейгера.

А Мыльников копал себе да копал, как крот. Когда нельзя было выкидывать землю, он поставил деревянный вороток, какие делались над всеми старательскими работами, а Окся «выхаживала» воротом добытую в дудке землю. Но двоим теперь было трудно, и Мыльников прихватил из фотьянского кабака старого палача Никитушку, который все равно шлялся без всякого дела. Это был рослый сторбленный старик с мутными, точно оловянными глазами, взъерошенной головой и длинными, необыкновенно сильными руками. Когда-то рыжая окладистая борода скатывалась войлоком цвета верблюжьей шерсти. Ходил Никитушка в оборванном армяке и опорках, но всегда в красной кумачовой рубахе, которая для него являлась чем-то вроде мундира. Городские купцы дарили ему каждый год по нескольку таких рубах, заставляя петь острожные варнацкие песни и приплясывать.

— Эй, тятенька, шевели бородой! — покрикивал Мыльников палачу из своей ямы.

Это была, во всяком случае, оригинальная компания: отставной казенный палач, шваль Мыльников и Окся. Как ухищрялся добывать Мыльников пропитание на всех троих, трудно сказать; но пропитание, хотя и довольно скудное, все-таки добывалось. В котелке Окся варила картошку, а потом являлся ржаной хлеб. Палач Никитушка, когда был трезвый, почти не разговаривал ни с кем, — уставит свои оловянные глаза и молчит. Поест, выкурит трубку и опять за работу. Мыльников часто приставал к нему с разными пустыми разговорами.

— Поди, в другой раз ночью пригрезится, как полосо-

вал прежде каторжан,— страшно делается? Тоже ведь и в палаче живая душа... а?..

— Отстань, смола...

Но стоило выпить Никитушке один стаканчик водки, как он делался совершенно другим человеком,— пел песни, плясал, рассказывал все подробности своего заплечного мастерства и вообще разыгрывал кабацкого дурачка. Все знали эту слабость Никитушки и по праздникам делали из нее род спорта.

Втроем работа подвигалась очень медленно и чем глубже, тем медленнее. Мыльников в сердцах уже несколько раз побил Оксю, но это мало помогло делу. Наступившие заморозки увеличили неудобства: нужно было и теплую одежду и обувь, а осенний день невелик. Даже Мыльников задумался над своим диким предприятием. Дудка шла всего еще на пятой сажени, потому что попадался все чаще и чаще в «пустяке» камень-ребровик, который точно черт подсовывал.

— Теперь уж скоро жилка будет,— уверял самого себя Мыльников.— Мне еще покойный Кривушок сказывал, когда, бывало, вместе пировали. Родион-то Потапыч достигает ее на глыби, а она вся поверху расщепилась. Расшибло ее, жилу...

Это была совершенно оригинальная теория залегания золотоносных жил, но нужно было чему-нибудь верить, а у Мыльникова, как и у других старателей, была своя собственная геология и терминология промыслового дела. Наконец в одно прекрасное утро терпение Мыльникова лопнуло. Он вылез из дудки, бросил оземь мокрую шапку и рукавицы и проговорил:

— А черт с ней и с дудкой... Через этот самый «пустяк» и с диомидом не пролезешь. Глыбко ушла жила... Должно полагать, спьяна наврал проклятый Кривушок, не тем будь помянут покойник.

Палач угрюмо молчал, Окся тоже. Мыльников презрительно посмотрел на своих сотрудников, присел к огоньку и озлобленно закурил трубочку. У него в голове вертелись самые горькие мысли. В самом деле, рыл-рыл землю, робыл-робыл и, кроме «пустяка», ни синь-пороха. Хоть бы поманило чем-нибудь... Эх, жисть! Лучше бы уж у Кишкина на Мутяшке пропадать.

— Так, значит, тово... пошабашим? — спрашивал палач совершенно равнодушно, как о деле решенном.

— Кто это тебе сказал? — воспрянул духом Мыльников; раздумье с него соскочило, как с гуся вода. — Ну, нет, брат... Не таковский человек Тарас Мыльников, чтобы от богатства отказался. Эй, Окся, айда в дудку...

— Не полезу... — решительно заявила Окся, угрюмо глядя на запачканный свежей глиной родительский азым.

Мыльников сразу остервенился и избил несчастную Оксю в лоск, — надо же было на ком-нибудь сорвать расходившееся сердце.

— Я тебя, курву, вниз головой спущу в дудку! — орал Мыльников, устав от внушения. — Палач, давай привяжем ее за ногу к канату и спустим.

Палач был согласен. Ввиду такого критического положения Окся, обливаясь слезами, сама спустилась в дудку, где с трудом можно было повернуться живому человеку. Ее обрадовало то, что здесь было теплее, чем наверху, но, с другой стороны, стенки дудки были покрыты липкой слезившейся глиной, так что она не успела наложить двух бадей «пустяка», как вся промокла — и ноги мокрые, и спина, и платок на голове. Присела Окся и опять заревела. Как она пойдет с Ульянова края на Фотьянку — околет дорогой. А Мыльников уже ругался наверху, прислушиваясь к всхлипыванию Окси.

— Вот я тебя! — кричал он, бросая сверху комья мерзлой глины. — Я тебя выучу, как родителя слушать... То-то наказал господь-батюшка душой неотесанной!.. Хоть пополам разорвись...

Тяжело достался Оксе этот проклятый день. А когда она вылезла из дудки, на ней нитки не было сухой. Наверху ее сразу охватило таким холодом, что зуб за зуб не падал.

— Беги бегом, дура, согреешься на ходу! — пожалел ее чадолюбивый папаша. — А то как раз замерзнешь еще... Наотвечаешься за тебя!..

Окся действительно бросилась бежать, но только не по дороге в Фотьянку, а в противоположную сторону, к Рубльхе.

— Не туда, дура!.. — кричал ей вслед Мыльников, — Ах, дура... Не туда!..

Но Окся быстро скрылась в еловой заросли, а потом прибежала прямо на компанейскую шахту и забралась в теплую конторку самого Родиона Потопыча. Как на грех, самого старика в этот критический момент не случилось

дома — он закладывал шпур в шахте, а в конторке горела одна жестяная лампочка. Оксю охватила приятная теплота жарко натопленной комнаты. Сначала она посидела у стола, а потом быстро разомлела и комом свалилась на широкую лавку, на которой спал старик, подложив под себя шубу. Окся так измучилась, что сейчас же захрапела, как зарезанная. Можно себе представить удивление и негодование Родиона Потапыча, когда он вернулся в свою конторку и на своем ложе нашел спящую невинную приисковую девицу.

— Эй, ты, птаха... — тряс ее за плечо рассерженный старик. — Не туды залетела!.. Чья ты будешь-то?

Окся открыла глаза, села и решительно ничего не могла сказать в свое оправдание, а только что-то такое мычала несуразное. Странная вещь, — ее спасла та приисковская глина, которой было измазано все платье, ноги, руки и лицо. У Родиона Потапыча существовало какое-то органическое чувство уважения именно к этой глине, которая покрывает настоящего рабочего человека. И сейчас он подумал, что не шатущая эта девка, коли вся в глине, черт чертом. От мокрого платья Окси валил пар, как от загнанной лошади, — это тоже послужило смягчающим обстоятельством.

— Из дудки только вылезла... — коротко объяснила Окся, оглядывая свой незамысловатый костюм, состоявший из пестрядиной станушки, ветхого ситцевого сарафанишка и кофточки на каком-то собачьем меху. — Едва не околела от холоду...

— Может, и поесть хочешь?

— С утра не едала...

Разговор был вообще несложный. Родион Потапыч добыл из сундука свою «паужну» и разделил с Оксей, которая глотала большими кусками, с жадностью бездомной собаки, и даже жмурилась от удовольствия. Старик смотрел на свою гостью, и в его суровую душу закрадывалась предательская жалость, смешанная с тяжелым мужицким презрением к бабе вообще.

— Откудова ты взялась-то, птаха?..

— А с дудки... от Мыльникова.

— Так он тебя в дудку запятил? То-то безголовый мужичонка... Кто же баб в шахту посылает: такого закону нет. Ну, и дурак этот Тарас... Как ты к нему-то попала? Фотьянская, видно?

— Дочь я Тарасу, Окся...

Родион Потапыч нахмурился и отвернулся от впучки. Этого он уж никак не ожидал... Вот так внучка! Закусив, Окся опять прилегла, и у нее начали опять слипаться глаза.

— Ну, теперь ступай...— сурово проговорил старик, не повертываясь.— Поела, согрелась и ступай.

— Вот еще выдумал! Куда я пойду-то? Тоже и сказал...

— Да ты с кем разговариваешь-то?

— Отстань, што привязался-то... Вот еще выискался...

Родион Потапыч хотел еще сказать что-то и раскрыл даже рот, но Окся уже храпела. Он посмотрел на нее, покачал головой и на цыпочках вышел из своей конторки. Паровая машина, откачивающая воду, мерно гудела, из шахты доносились предсмертные хрипы, ляг железных скреплений и методические постукивания шестерен. Родион Потапыч подошел к паровым котлам, присел у топки, и вырывавшееся яркое пламя осветило на сердитом старческом лице какую-то детскую улыбку, которая легкой тенью мелькнула на губах, искоркой вспыхнула в глазах и сейчас же схоронилась в глубоких морщинах старческого лица.

— Ведь сама пришла, птаха...— вслух думал старик, испытывая какое-то необыкновенное радостное настроение.— Вот и поди, потолкуй с ней!.. Как домой пришла...

Вся Рублиха, то есть машинист, кочегары, штейгера и рабочие были сконфужены ежедневным появлением Окси в конторке Родиона Потапыча. Она приходила сюда, точно домой, и в несколько дней патащила какого-то бабьего скарба, тряпид и «переменок». Старик все выносил терпеливо. Даже свою лавочку он уступил Оксе, а себе поставил у противоположной стены другую. Положим, все знали, что Окся — родная внучка Родиону Потапычу и что в пребывании ее здесь нет ничего зазорного, но все-таки вдруг баба на шахте, — какое уж тут золото.

— Ты бы, Родион Потапыч, и то выгнал Оксюху-то, — советовал подручный штейгер.— Негожее дело, когда бабий дух заведется в таком месте... Не модель, одним словом.

Родион Потапыч, к общему удивлению, на такие разумные речи только усмеялся. Поговорят да перестанут...

С первым выпавшим снегом большинство работ в Кедровской даче прекратилось, за исключением пяти-шести больших приисков, где промывка шла в теплых казармах. Один такой прииск был у Ястребова на Генералке, существовавший специально для того, чтобы в его книгу списывать хищническое золото. Кишкин бился на своей Спротке до последней крайности, пока можно было работать, но с первым снегом должен был отступить: не брала сила. От летней работы у него оставалось около ста рублей, но на них далеко не уедешь. Попробовал Кишкин обратиться опять к своему доброхоту, секретарю Каблукову, но получил суровый отказ.

— Жирно будет, пожалуй, подавишься...

— Да ведь дело-то верное, Илья Федотыч!.. Вот только бы теплушку-казарму поставить... Вернее смерти. На золотник вышли бы ¹.

— Ладно, рассказывай... Слыхали мы про ваши золотишки. Все вы рехнулись с этой Кедровской дачей...

— Так и не дашь?

— И сам не дам и другому закажу, чтобы не давал.

— Ирод ты после этого... Своей пользы не понимаешь! У Ястребова есть заявка на Мутяшке, верстах в десяти от моего прииска... Болотинка в берег ушла, ну, он пошурфовал и бросил. Знаки попадали, а настоящего ничего нет. Как-то встречаю его, разговорился, а он мне: «Бери хоть даром болотину-то...» А я все к ней приглядывался еще с лета: приличное местечко. В том роде, как тогда на Фотьянке. Так вот какое дело выпадает, а ты: «жирно будет». Своего счастья не понимаешь. Вторая Фотьянка будет, уж ты поверь моему слову...

Это предположение рассмешило сердитого секретаря до слез.

— Так своего счастья не понимаю? Ах вы, шуты гороховые... Вторая Фотьянка... ха-ха... Попадешь ты в сумасшедшую больницу, Андрюшка... Лягушек в болоте давить, а он богатства ищет. Нет, ты святого на грех наведешь.

Посмеялся секретарь Каблуков над «вновь представленным» золотопромышленником, а денег все-таки не дал.

¹ На золотник выйти — найти золотоносный пласт с содержанием золота в 100 пудах песку 1 золотник. (Примеч. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)

Знаменитое дело по доносу Кишкина запало где-то в делях канцелярской волокиты, потому что ушло на предварительное рассмотрение горного департамента, а потом уже должно было проявиться на общих судебных основаниях. Именно такой оборот и веселил секретаря Каблукова, потому что главное — выиграть время, а там хоть трава не расти. На прощанье он дружелюбно потрепал Кишкина по плечу и проговорил:

— Только ты себя осрамил, Андрюшка... Выйдет тебе решение как раз после морковкина заговенья. Заварить-то кашу заварил, а ложки не припас... Эх ты, чижикиво горе!..

— А што, разве есть слухи?

— Ну, это уж тебя не касается. Ступай да пойщи лучше свою вторую фотьянскую россыпь... Лягушатник тебе пожертвует Ястребов.

— Ах, ирод... Будешь после ногти грызть, да только поздно. Помянешь меня, Илья Федотыч...

— Помяну в родительскую субботу...

Итак, все ресурсы были исчерпаны вконец. Оставалось ждать долгую зиму, сидя без всякого дела. На Кишкина напало то глухое молчаливое отчаяние, которое известно только деловым людям, когда все их планы рушатся. В таком именно настроении возвращался Кишкин на свое пепелище в Балчуговский завод, когда ему на дороге попал пьяный Кожкин, кричавший что-то издали и размахивавший руками.

— Слышал новость, Андрон Евстратыч?

— Черт с печи упал?..

— Хуже... Тарас-то Мыльников ведь натакался на жилку. Верно тебе говорю... Сказывают, золото так лепешками и сидит в скварце, хоть ногтями его выколупывай. Этакой жилки, сказывают, еще не бывало сроду. Окся эта самая робила в дудке и нашла...

— Ты куда, Акинфий Назарыч, едешь-то?

— А сам не знаю... В город мчу, а там видно будет.

— Поедем-ка лучше на Фотьянку: продует ветерком дорогой. Дай отдохнуть вину-то...

— Не я пью, Андрон Евстратыч: горе мое лютое пьет. Тошпо мне дома, вот и мыкаюсь... Мамышка посулилась проклятие паложить, ежели не остепенюсь.

— Так едем... Жилку у Тараса поглядим. Вот именно, что дуракам счастье... И Окся эта самая глупее полена.

Они вместе отправились на Фотьянку. Дорогой пьяная

оживленность Кожина вдруг сменилась полным упадком душевных сил. Кишкин тоже угнетенно вздыхал и время от времени встряхивал головой, припоминая свой разговор с проклятым секретарем. Он жалел, что разболтался относительно болота на Мутяшке, — хитер Илья Федотыч, как раз подошлет кого-нибудь к Ястребову и отобьет. От него все станется... Под этим впечатлением завязался разговор.

— Какие подлецы на белом свете живут, Акинфий Назарыч...

— Это ты насчет меня?

— Нет... Я про одного человека, который не знает, куда ему с деньгами деваться, а пришел старый приятель, попросил денег на дело, так нет. Ведь не дал... А школьниками вместе учились, на одной парте сидели. А дельце-то какое: повернее в десять раз, чем жилка у Тараса. Одним словом, богатство... Уж я это самое дело вот как знаю, потому как еще за казной набил руку на промыслах. Сотню тысяч можно зашибить, ежели с умом...

— Сотню?

— Больше...

Кожин как-то сразу прочухался от такой большой цифры и с удивлением посмотрел на своего спутника, который показался ему таким маленьким и жалким.

— Руку легкую падо на золото... — заметил в раздумье Кожин, впадая опять в свое полусонное состояние.

— А кто фотьянскую россыпь открыл?..

— Это точно... Ах, волк тебя заешь. Правильно... Сколько тебе денег-то надобно?

— Самые пустяки: рублей пятьсот на первый раз...

— Пять катеринок... Так он, друг-то, не дал?.. А вот я дам... Што раньше у меня не попросил? Нет, раньше-то я и сам бы тебе не дал, а сейчас бери, потому как мои деньги сейчас счастливые... Примета такая есть.

— Это ты насчет Федосьи Родионовны?

— Об ней об самой... Для чего мне деньги, когда я жизни своей постылой не рад, ну, они и придут ко мне.

Все это было так неожиданно, что Кишкин ушам своим не верил. И примета самая правильная...

— Только уговор дороже денег, Андрон Евстратыч: увези меня с собой в лес, а то все равно руки на себя наложу. Феня моя, Феня... родная... голубка...

Нужно было ехать через Балчуговский завод; Кишкин повернул лошадь объездом, чтобы оставить в стороне гос-

подский дом. У старика кружилась голова от неожиданного счастья, точно эти пятьсот рублей свалились к нему с неба. Он так верил теперь в свое дело, точно оно уже было совершившимся фактом. А главное, как приметы-то все сошлись: оба несчастные, оба не знают, куда голову приклонить. Да тут золото само ползет. И как это раньше ему Кожин не пришел на ум?.. Ну, да все к лучшему. Оставалось уломать Ястребова.

Открытие Мыльниковым новой жилки произвело потрясающее впечатление. Вся Фотьянка встрепенулась. Золото оказалось под боком, и какое золото!.. В несколько дней выросла целая легенда об «Оксной жиле». Рассказывали чудеса о том, как жила не давалась самому Мыльникову и палачу, а все-таки не могла уйти от невинной приисковой девицы. Сама Окся, сколько ее ни допрашивали, ничего не умела рассказать, а только скалила свои белые зубы и глупо ухмылялась. Зимой народ оставался опять без работы и промышлял «около домашности», поэтому неожиданное счастье Мыльникова особенно бросалось всем в глаза. В кабаке Фролки собирались все новости, обсуждались и разносились во все стороны. Мыльников являлся в кабак по нескольку раз в день и рассказывал такие песообразности, что даже желавшие ему верить должны были только качать головой. Очень уж он врал...

— Это от Кривушки отшиблась жилка-то, — объяснял Мыльников, отчаянно жестикулируя. — Он сам сказывал: «Так, грит, самоваром золото-то и ушло вглубь...» Ну, компания свою Рублиху наладила, а самовар-то вон куда отшатился. Из глаз ушло золото-то у Родиона Потапыча...

В несколько дней Мыльников совершенно преобразился: он щеголял в красной кумачовой рубашке, в плюсовых шароварах, в новой шапке, в новом полушубке и новых пимах (валенках). Но его гордостью была лошадь, купленная на первые деньги. Иметь собственную лошадь всегда было недостижимой мечтой Мыльникова, а тут вся лошадь в сбруе и с пошевнями — садись и поезжай.

Мыльников для пущей важности везде ездил вместе с палачом Никитушкой, который состоял при нем в качестве адъютанта. Это производило еще большую сенсацию, так как маршрут состоял всего из двух пунктов: от кабака Фролки доехать до кабака Ермошки и обратно. Впрочем, пужно отдать справедливость Мыльникову: он с первыми

деньгами заехал домой и выдал жене целых три рубля. Это были первые деньги, которые получила в свои руки несчастная Татьяна во все время замужества, так что она даже заплакала.

— Озолочу всех...— бахвалился Мыльников перед женой.

Чем существовала Татьяна с ребятишками все это время, как Тарас забросил свое сапожное ремесло,— трудно сказать, как о всех бедных людях. Но она как-то перебилась и сама теперь удивлялась этому.

— Погоди, Татьяна, такой дворец выстроим,— хвастался Мыльников.— В том роде, как была «пьяная коптора»... Сказал: всех озолочу!

В следующий раз Мыльников привез жене бутылку мадеры и коробку сардин, чем окончательно ее сконфузил. Впрочем, мадеру он выпил сам, а сардинки велел сварить. Одним словом, зачудил мужик... В заключение Мыльников обошел кругом свою проваленную избенку, даже постучал кулаком в стену и проговорил:

— Дыра какая-то анафемская!..

У него сейчас мелькнул в голове план новенького полукаменного домика с раскрашенными ставнями. И на Фотьянке начали мужики строиться — там крыша новая, там ворота, там сруб, а он всем покажет, как надо строиться.

Именно в этот момент торжества Мыльникова на Фотьянку и приехали Кишкин с Кожиным. Их по дороге обогнал Мыльников, у которого в пошевнях сидела целая ватага пьяных мужиков.

— Андрону Евстратычу!..— кричал Мыльников, размахивая шапкой.— Што больно скукожился? Хошь денег?.. Вот только четвертной билет разменяю в заведении...

— Эк, вино-то в тебе разыгралось, Тарас!..— подивился Кишкин.— Очень уж перья-то распустил... Да и приятелей хороших нашел.

— Ох, и не говори: такая компания, што знакомому черту подарить, так не возьмет... А какова у меня лошадка, Акинфий Назарыч? Сорок цалковых дадена...

— Замучишь, только и всего,— заметил Кожин, хозяйским глазом посмотрев на взмыленную лошадь.— Не к рукам конь...

На Фотьянку Кишкин приехал прямо к Петру Васильичу, чтобы сейчас же покопчить все дело с Ястребовым,

который, на счастье, случился дома. Им помешал только Ермошка, который теперь часто наезжал в Фотьянку; приманкой для него служила Марья Родионовна, на которую он перенес сейчас все симпатии. Если не судил бог жепиться на Фене, так надо взять, видно, Марью, — девица вполне правильная, без ошибочки. Да и Марья Родионовна в какой-нибудь месяц совершенно изменилась: пополнила, сделалась такой бойкой, а в глазах огоньки так и играют.

— Погодите, Марья Родионовна, пусть только моя Дарья издохнет, — уговаривался Ермошка вперед, — сейчас же сватов зашлю...

— Андроны едут, когда-то будут, — отшучивалась Марья. — Да и мое-то девичье время уж прошло. Помоложе найдете, Ермолай Семеныч.

— В самый вы раз мне подойдете, Марья Родионовна... Как на заказ.

Именно такой разговор и был прерван появлением Кишкина и Кожина. Ермошка сразу нахмурился и недружелюбно посмотрел на своего счастливого соперника, расстроившего все его планы семейной жизни. Пока Кишкин разговаривал с Ястребовым в его комнате, все трое находились в очень пеловком положении. Кожин упрямо смотрел на Марью Родионовну и молчал.

— Вы не насчет ли золота? — спросила она его.

— Желая попробовать счастья, Марья Родионовна: где наше не пропадало. Вот с Кишкиным в компанию вступаю...

— И весьма напрасно-с, — заметил Ермошка, — пустой старичонка и пустые слова разговаривает...

Ермошка вообще чувствовал себя не в своей тарелке и постарался убраться под каким-то предлогом. Кожин остался и продолжал молчать.

— А што Феня? — тихо спросил он. — Знаете, што я вам скажу, Марья Родионовна: не жилец я на белом свете. Чужой хожу по людям... И так мне тошно, так тошно!.. Нет, зачем я это говорю?.. Вы не поймете, да и не дай бог никому понимать...

— Вы богу молиться попробуйте, Акинфий Назарыч...

— Ах, пробовал... Ничего не выходит. Какие-то чужие слова, а настоящего ничего нет... Молитвы во мне настоящей нет, а так корчит всего. Увидите Феню, поклончик ей скажите... скажите, как Акинфий Назарыч любил ее... ах, как любил, как любил!.. Еще скажите... да нет, ничего не

нужно. Все равно она не поймет... она теперь вся скверная... убить ее мало...

— Што вы говорите, Акинфий Назарыч! Опомнитесь...

— Да, да... Опять не то. Это ведь я скверный весь, и на душе у меня ночь темная... А Феня, она хорошая... Голубка, Феня... родная!..

Кожин не замечал, как крупные слезы катились у него по лицу, а Марья смотрела на него, не смеядохнуть. Ничего подобного она еще не видала, а это сильное мужское горе, такое хорошее и чистое, поразило ее. Вот так бы сама бросилась к нему на шею, обняла, приголубила, заговорила жалкими бабьими словами, вместе поплакала... Но в этот момент вошел в избу Петр Васильич, слегка пошатывавшийся на ногах... Он подозрительно окинул своим единственным оком гостя и сестрицу, а потом забормотал:

— Кто здесь хозяин? а?.. Ты о чем реवेशь-то, Кожин?.. Эх, брат, у баб последнее рукоделие отбиваешь...

Марья подошла к хозяину, повернула его и потихоньку вытолкала в дверь.

— Ступай, ступай, Петр Васильич,— наговаривала она.— Потом придешь. Без тебя тошно...

— Марьюшка, а кто хозяин в дому? а? А Ястребова я распатрону!.. Я ему по-кажу-у... Я, брат, Марья, с горя мапенько выпил. Тоже обидно: вон какое богатство дураку Мыльникову привалило. Чем я его хуже?..

Открытая Мыльниковым жилка совсем свела с ума Петра Васильича, который от зависти поровил уже несколько дней и несколько раз лез даже в драку со счастливым обладателем сокровища.

— Только товар портишь, шваль! — ругался Петр Васильич.— Што добыл, то и стравил компании ни за грош... По полтора рубля за золотник получаешь. Ах, дурак Мыльников... Руки бы тебе по локоть отрубить... утопить... Дурак, дурак, дурак!.. Нашел жилку и молчал бы, а то растворил хайло: «Жилку обыскал!» Да не дурак ли?.. Язык тебе, подлому, отрезать...

Совещание Кишкина с Ястребовым продолжалось довольно долго. Ястребов неожиданно заартачился, потому что на болоте уже производилась шурфовка, но потом он так же неожиданно согласился, выговорив возмещение произведенных затрат. Ударили по рукам, и дело было кон-

чено. У Кишкина дрожали руки, когда он подписывал условие.

— Ну, владай, твое счастье! — смеялся Ястребов. — У меня и без Мутяшки дела по горло. Один Ягодный чего стоит...

VI

Карачунский переживал свой медовый месяц. Вся его долгая жизнь представляла непрерывную цепь любовных приключений, причем он любил делать резкие переходы от одной категории женщин к другой. Были у него интрижки с женщинами «из общества», при поджигающей обстановке постоянной опасности, сцен ревности, изящных слез и неизящных попреков. Да, женщины любили его, но он не отдавался вполне ни одной и вел свои дела так, что всегда было готово отступление. Это была сама житейская мудрость, которая завершалась письмами. Ах, какая это была своеобразная литература, если бы кто-нибудь имел терпенье проследить ее во всех стадиях! Карачунского обвиняли во всех преступлениях, грозили, умоляли, и постепенно все дело сводилось к желанному концу, то есть «на нет». Что возмущало Карачунского, так это то, что все эти жещины из общества повторяли одна другую до тошноты — и радость, и горе, и восторги, и слезы, и хитрость носили печать шаблонности. И достоинство тоже было одно: все эти «сюжеты» умели молчать. Параллельно с этим Карачунский в виде отдыха позволял себе легкие удовольствия с «детьми природы», которые у него фигурировали мимолетно под видом горничных или экономок. До сих пор все они кончались очень печально: дитя природы устраивало крупный скандал с угрозой жаловаться мировому и проч. Но «дети природы» имели одну общую слабость: Карачунский откупался от них деньгами. Знакомые смотрели на все это, как на милые шалости старого холостяка, а Карачунский был счастлив тем, что с ним не случалось никаких «органических последствий». У него не было детей, и это его спасало.

Из этой установившейся долголетней практики Карачунского совершенно выбила история с Феней. Это была совершенно незнакомая ему натура. О деньгах тут не могло быть и речи, а, с другой стороны, Карачунский чувствовал, как он серьезно увлекся этой странной девушкой,

не походившей на других женщин. Прежде всего в ней много было природного такта и того понимания, которое читает между строк. Последнее было даже тяжело, потому что Карачунский привык третировать всех женщин свысока, в самых изысканных, но все-таки обидных формах. Здесь же все было на виду, каждое движение, каждое слово, каждая мысль. Карачунский знал, что Феня уйдет от него сейчас же, как только заметит, что она лишняя в этом доме. Эта благородная женская гордость, эта готовность к самопожертвованию заставила его уважать именно эту простую, но полную жизни женскую натуру. Больше: Карачунский с ужасом почувствовал, что он теряет свою опытную волю и что делается тем жалким рабом, который в его глазах всегда возбуждал презрение. Мужчина должен быть полным хозяином в той сфере, где женщине самой природой отведена пассивная и подчиненная роль. Одним словом, он почувствовал, что серьезно влюблен в первый еще раз в жизни. Это открытие испугало его и опечалило. Он долго рассматривал свое цветущее старческой красотой лицо, вздохнул и подумал вслух:

— Ведь это не любовь, а старость... Бессильная, подлая старость, которая цепенеющими руками хватается за чужую молодость!.. Неужели я, Карачунский, повторю других, выживших из ума стариков?

И Феня все это понимает, хотя словами, вероятно, и не сумела бы объяснить всего происшедшего. Она и тогда это чувствовала, когда он заезжал на Фотьянке к баушке Лукерье под разными предлогами, а в сущности для того, чтобы увидеть Феню и перекинуться с ней несколькими словами. Сначала его удивляло то, почему Феня не вернулась к Кожину, но потом понял и это: молодое счастье порвалось, и склеить его во второй раз было невозможно, а в нем она искала ту тихую пристань, к какой рвется каждая женщина, не утратившая лучших женских инстинктов. В нем, в Карачунском, Феня чутьем угадала существование таких душевных качеств, о которых он сам не знал. Прежде всего, он не был злым человеком, а затем в нем сохранилось формальное чувство известной внешней порядочности. Вот те два пункта, на которых возникли их отношения.

Но это было еще не все. Однажды за утренним чаем Феня неожиданно заявила:

— Позвольте мне уйти, Степан Романыч...

— Куда уйти?.. Что такое случилось?..

— Да уж так нужно... Не хочу вас срамить.

Фея опустила глаза и покраснелась. Карачунский посмотрел на нее с каким-то испугом, точно над его головой пронеслось что-то такое громадное и грозное. Фея молчала, оставаясь в той же позе. Карачунский зашагал по столовой, заложив руки в карманы. Вот когда *оно* случилось, то, на что он меньше всего рассчитывал в течение всей своей жизни и что подкралось совершенно неожиданно. Да, вот эта девушка хочет подарить отцовскую радость... Мысль о жене и детях мелькала иногда в голове Карачунского, окруженная каким-то радужным ореолом. Ведь жена — это особенное существо, меньше всего похожее на всех других женщин, особенно на тех, с которыми Карачунский привык иметь дело, а мать — это такое святое и чистое слово, для которого нет сравнения. И вдруг эта Фея будет матерью его собственного ребенка... Карачунский весь как-то похолодел, начиная переживать что-то вроде ненависти к пей, вот к этой Феце. В каком-то тумане перед ним пронесся Кожин, потом Фотьянка, и какое-то гаденькое чувство ревности к ее прошлому заняло в его душе.

— Куда же ты хочешь уйти? — машинально спрашивал оп.

— В город... — коротко ответила Фея. — А там уж как-нибудь поправлюсь.

— Так... да...

Ни слез, ни жалоб, ни упреков, а то молчаливое горе, которое лежит в душевной глубине бесформенной тяжести.

Карачунский провел бессонную ночь, терзаемый самыми противоположными чувствами и мыслями. Прежде всего приходилось мириться с фактом, безжалостным и неумолимым фактом. Ничтожный промежуток времени, и на свет появится таинственный пришлец, маленькое человеческое существо, с которым рождается и умирает вселенная. Тут нет ни сделок, ни компромиссов, ни обходов, а одна жестокая зоологическая правда. «Вы меня не звали и не ждали, а вот я пришел...» Это вечная тайна жизни, которая умрет с последним человеком. И рядом с ней, с этой тайной, уживаются такие низкие инстинкты, животный эгоизм и жалкие страсти. В Карачунском проснулось смутное сознание своей несправедливости, и он с ужасом

оглянулся назад, где чередой проходили тени его прошлого.

Это была ужасная ночь, полная молчаливого отчаяния и бессильных мук совести. Ведь все равно прошлого не вернешь, а начинать жить снова поздно. Но совесть, совесть — этот неподкупный судья, который приходит ночью, когда все стихнет, садится у изголовья и начинает свое жестокое дело!.. Жениться на Фене? Она первая не согласится... Усыновить ребенка — обидно для матери, на которой можно жениться и на которой не женятся. Сотни комбинаций вертелись в голове Карачунского, а решение вопроса ни на волос не подвинулось вперед.

Ранним утром Карачунский уехал на Рублиху, чтобы проветриться после бессонной ночи. Он в первый раз вздохнул свободно, когда очутился на свежем воздухе. Да, есть еще свежий воздух, и снежные зимние дни, и это низкое, серое зимнее небо. Пара закормленных вятков неслась вихрем; особенно играла пристяжка. Карачунский заметил, что и кучер сегодня в новом армяке и с удовольствием правит выхоленной парой. Это был старый промысловый кучер Агафон, ездивший постоянно только с Карачунским. Он имел страный, специально кучерский характер. Несколько месяцев ничего не пил, сберегал каждую копейку, обзаводился платьем, а потом спускал все в несколько дней в обществе одной и той же солдатки, которую безжалостно колотил в заключение фестиваля. Карачунский каждый год собирался ему отказать, но каждый раз отказывался от этого решения, потому что все кучера на свете одинаковы. Агафон, конечно, был человек с большими недостатками, но зато любил лошадей и ездил мастерски. Все эти пустяки теперь проходили в голове Карачунского, страшным образом связываясь с тем, что осталось там, дома. Феня, например, не любила ездить с Агафоном, потому что стеснялась перед своим братом-мужиком своей сомнительной роли полубарыни, затем она любила ходить в конюшню и кормить из рук вот этих вятков и даже заплетала им гривы.

Потом Карачунский заставил себя думать о Рублихе, чтобы отвлечь мысль от домашней заботы. Он сделал все, чего добивался Родион Потапыч, и представил относительно новых жилых работ громадную смету. Вопрос главным образом шел о вассер-штольне, при помощи которой предполагалось отвести воду из главной шахты в Балчуговку. Нужно было пробить Ульянов кряж поперек, что

стоило громадных денег, так как работы должны были вестись в твердых породах березита, сланцев и песчаников. Многолетний опыт показал, что вода начинает «долить» на горизонте тридцати сажен, с этого пункта должна была выйти и вассер-штольня. Все это было очень рискованно, и Карачунский знал, что Оников уже интригует против него, но это только усилило его упрямство. Можно сказать, что именно с этого пункта и началось увлечение Карачунского новой жилой.

— Вот наши старателишки на Фотьянку лопочут,— заметил кучер Агафон, с презрением кивая головой на толпу оборванных рабочих.— Отошла, видно, Фотьянка-то... Отгуляла свое, а теперь до вешней воды сиди-посиди.

В этих словах сказывалось ворчанье дворовой собаки на волчью стаю, и Карачунский только пожал плечами. А вид у рабочих был некрасив,— успели проесть летние заработки и отощали. По старой привычке они снимали шапки, но глаза смотрели угрюмо и озлобленно. Карачунский являлся для них живым олицетворением всяческих промысловых бед и напастей.

Родион Потапыч отнесся к Карачунскому как-то особенно неприятливо и все отворачивался от него, не желая встречаться глазами. Эти неловкие отношения Карачунский объяснял про себя домашними причинами и обрадовался, когда Родион Потапыч проговорился начистоту.

— Что же это такое, Степан Романыч,— ворчал старик,— житья мне не стало...

— Что опять случилось?

— Да как же: под носом Мыльникову жилу отдали... Какой же это порядок? Теперь в народе только и разговору, што про мыльниковскую жилу. Галдят по кабакам, ко мне пристают... Проходу не стало. А главное, обидно уж очець. На смех поднимают...

— Ну, это все пустяки! — успокаивал Карачунский.— Другой делянки никому не дадим... Пусть Мыльников, по условию, до десятой сажени дойдет, и конец делу. Свои работы поставим... Да и убытка компании от этой жилки нет никакого: он обязан сдавать по полтора рубля золотник... Даже расчет нам иметь даровую разведку. Вот мы сами ничего не можем найти, а Мыльников нашел.

— И еще другое дело, Степан Романыч: зятя сманил Мыльников-то, моего, значит, зятя Прокопия. Он раньше-то в доводчиках на золотопромывальной фабрике ходил,

а теперь точно белены объелся. Жепу бросил, ребятишек бросил, а сам точно прилип к жилке... Тоже сын Яшка. Ах, отодрать его, подлеца, было нужно тогда, Степан Романыч, штоб малый не баловался. Лето-то прошатался в Кедровской даче, а теперь у Мыльниковых — вместе пируют. Еще был у меня машинист на Спасо-Колчеданской шахте, Семенычем звать, — хороший машинист, и его Мыльников сманил. Это как?..

— Это ваши семейные дела, дедушка... Меня это не касается.

— Нет, все от тебя, Степан Романыч: ты потачку дал этому змею Мыльникову. Вот оно и пошло... Привезут ведро водки прямо к жилке и пьют. Тьфу... На гармонии играют, песни орут, — разве это порядок?..

— Хорошо, хорошо, все разберем. А вот как наши дела?..

— Пока ничего не обозначилось... Заложили рассечку на полдень, — все тот же ребровик.

— А штольня?

— На девятую сажень выбежала... Мы этой самой штольней насквозь пройдем весь кряж, и все обозначится, што есть, чего нет. Да и вода показалась. Как тридцатую сажень кончили, точно ножом отрезало: везде вода. Во всей даче у нас одно положенье...

Стоило Карачунскому только свести разговор на шахту, как старый штейгер весь преобразился. В конторке на столе были разложены планы работ, на которых детально были разрисованы все «пройденные» породы и проектированные «рассечки» в разных горизонтах и в разных направлениях. И Карачунский и Родион Потапыч боялись только одного, чтобы не получилось той же геологической картины, как в Спасо-Колчеданской шахте. Тогда бросай все работы, особенно если покажется роковой «красик». Общих признаков, конечно, было много, но обращали внимание главным образом на особенности напластования, мощность отдельных пород и тот порядок, в котором они следовали одна за другой. Пока в этом смысле все шло хорошо, хотя жилы не было и званья, а только изредка попадались пустые прожилки кварца.

Среди этой деловой беседы у Карачунского мелькнула мысль, заставившая его похолодеть. Он взглянул на убежденное, умное лицо своего собеседника, потер лоб и проговорил:

— Послушайте, Родион Потапыч, ведь мы попали на так называемую блуждающую жилу? Это совершенно ясно... Мы бьемся над пустым местом. Лучшее доказательство: шахта Мыльникова...

Зыков в свою очередь посмотрел на главного управляющего, разгладил свою окладистую седую бороду и отвечал:

— А откуда Кривушок взял свое золото, Степан Романыч? Прямо, говорит, самоваром оно ушло в землю... Это как?

— Однако мы ничего еще пока не нашли? Или жила расщепилась, или она... Да нет, это с нашей стороны громадная ошибка.

Карачунский опять посмотрел на главного штейгера и теперь понял все: перед ним сидел сумасшедший человек, какие встречаются только в рискованных промышленных предприятиях. Да, совершенно сумасшедший, который похоронит и себя и его вот в этой шахте-могиле. Никакие слова, доводы и убеждения здесь не могли иметь места, раз человек попал на эту мертвую точку. А всего хуже было то, что он, Карачунский, попался, как мальчишка, которого следовало выдрать за уши. И отступить было поздно, потому что дело слишком далеко зашло. Самое лучшее было забросить эту проклятую Рублиху, но в переводе это значило загубить свою репутацию, а продолжая работы, можно было по меньшей мере выиграть целый год времени. Мало ли что может случиться: можно наткнуться на случайную жилу, на новое «гнездо» и т. д. Тогда возместится хотя часть произведенных расходов, чтобы отступить с честью. Проклятая Рублиха съест все, и, главное, ее остановить нельзя. Карачунский чувствовал, как все начинает вертеться у него перед глазами, и паровая машина работала точно у него в голове.

— Только бы нам штольню пройти...— повторял Родион Потапыч.— Тогда все обозначится, как на ладони.

— Да нечему обозначиться-то...

Карачунский отвечал машинально. Он был занят тем, что припоминал разные случаи семейной жизни Родиона Потапыча, о которых знал через Феню, и приходил все больше к убеждению, что это сумасшедший, вернее — маляк. Его отношения к Яше Малому, к Фене, к Марье— все подтверждало эту мысль.

Своим поведением Мыльников удивил даже людей, видавших всякие виды. Случаи дикого счастья время от времени перепали и в Балчуговском заводе, и на Фотьянке, когда кто-нибудь находил «гнездо» золота или случайно наткнулся на хороший пропласток золотоносной россыпи где-нибудь в бортах. Эти случаи сейчас же иллюстрировались непременно лошадью новокупной, новой одеждой, пьянством и новыми крышами на избах, а то и всей избой. За последнее лето таких новых изб появилось на Фотьянке до десятка, а новых крыш и того больше. Куда только заглядывал золотой луч, сейчас сказывалось его чудотворное влияние. Тихо было только в Балчуговском заводе, потому что из балчуговцев никому не посчастливилось кедровское золото. Мыльников, отыскав жилку, поступал так, как никто до него еще не делал. Он не работал «сплошь», день за день, а только тогда, когда были нужны деньги.

— Не велика жилка в двадцати-то пяти саженьях, как раз ее в неделю выробишь! — объяснял он. — Добыл все, деньги пропил, а на похмелье ничего и не осталось... Видывали мы, как другне-протчие потом локти кусали. Нет, брат, меня не проведешь... Мы будем сливочками снимать свою жилку, по удоям.

Так Мыльников и делал: в неделю работал день или два, а остальное время «комшанился». К нему приклеился и Яша Малый, и зять Прокопий, и машинист Семеныч. Было много и других желающих, но Мыльников чужим всем отказывал. Исключение представлял один Семеныч, которого Мыльников взял назло дорогому тестюшке Родиону Потапычу.

— Пусть старый черт чувствует... — хихикал Мыльников. — Всю его шахту за себя переведу. Тоже родню бог дал...

Появление зятя Прокопия было следствием той же политики, подготовленной еще с лета Яшей Малым. Хотя этим старались донять грозного старика, семья которого распалась на крохи меньше чем в один год. Все разбрелись куда глаза глядят, а в зыковском доме оставались только сама Устинья Марковна с Анной да ребятишками. Произошел полный разгром крепкой старинной семьи, складывавшейся годами. Устинья Марковна как-то совсем опу-

стилась и отнеслась к бегству Прокопия почти безучастно: это была та покорность судьбе, какая вызывается стихийным несчастьем. Не так посмотрела на дело Анна. Эта скромная и не поднимавшая голоса женщина молча собралась и отправилась прямо на Ульянов кряж, где и накрыла мужа на самом месте преступления: он сидел около дудки и пил водку вместе с другими. Как вскинулась Анна, как заголосила, как вцепилась в мужа — едва оттащили.

— Разоритель! погубитель!.. По миру всех пустил... — причитала Анна, стараясь вырваться из державших ее рук. — Жива не хочу быть, ежели сейчас же не воротись-ся домой... Куда я с ребятами-то денусь?.. Ох, головушка моя спобедная...

— Перестаньте, любезная сестрица Анна Родивонова, — уговаривал Мыльников с ядовитой любезностью. — Не он первый, не он последний, ваш-то Прокопий... Будет ему сидеть у тестя на цепи.

— Ах, ты... Да я тебе выцарапаю бесстыжие-то глаза!.. Всех только смущаешь, пустая башка. Пропьете жилку, а потом куда Прокопий-то?

— Ах, сестричка Анна Родивоновна: волка ноги кормят. А што касася того, што мы испиваем малость, так ведь и свинье бывает праздник. В кой-то годы господь счастья послал... А вы, любезная сестричка, выпейте лучше с нами за компанию стаканчик сладкой водочки. Все ваше горе как рукой спимет... Эй, Яша, сдействуй нацет мадеры!..

— Да я вас, проклятущих, и видеть-то не хочу, не то што пить с вами! — ругалась любезная сестрица и даже плюнула на Мыльникова.

У Мыльникова сложился в голове набор любимых слов, которые он пускал в оборот кстати и некстати: «компания», «руководствовать», «модель» и т. д. Он любил поговорить по-хорошему с хорошим человеком и обижался всякой невежливостью вроде той, какую позволяла себе любезная сестрица Анна Родивоновна. Зачем же было плевать прямо в морду? Это уж даже совсем не модель, особенно в хорошей компании...

Так Анна и ушла ни с чем для первого раза, потому что муж был не один и малодушно прятался за других. Оставалось выжидать случая, чтобы поймать его с глаза на глаз и тогда рассчитаться за все.

Мы должны теперь объяснить, каким образом шла работа на жилке Мыльникова и в чем она заключалась. Когда деньги выходили, Мыльников заказывал с вечера своим компаньонам выходить утром на работу.

— У меня штобы в самую точку, как в казенное время...— уговаривался он для внешности.— Ужо колокол повешу, штобы на работу и с работы отбивать. Закон требует порядка...

Утром рано все являлись на место действия. В дудку Мыльников никого не пускал, а лез сам или посылал Оксю. Дудка углублялась на какой-нибудь аршин. Сначала поднимали «пустяк»; теперь «воротниками» или «вертелами» состояли Яша Малый и Прокопий, а отвозил добытый «пустяк» в отвал Семеныч. При четверых мужиках работа спорилась, не то что когда работали сначала при палаче Никитушке. Кстати, последний не вынес пьянства и куда-то скрылся. Затем добывалась самая «жилка», то есть куски проржавевшего кварца с вкрапленным в него золотом. Обыкновенно и при хорошем содержании «видимого золота» не бывает, за исключением отдельных «гнездовок», а «Оксина жила» была сплошь с видимым золотом. В отдельных кусках благородный металл «сидел медушицами».

— Точно плюнуто золотом-то! — объяснял сам Мыльников, когда привозил свою жилку на золотопромывальную фабрику.— А то как масло коровье али желток из курьего яйца...

Из ста пудов кварца иногда «падало» до фунта, а это в переводе означало больше ста рублей. Значит, день работы обеспечивал целую неделю гулянки. В одну из таких получек Мыльников явился в свою избушку, выдал жене положенные три рубля и заявил, что хочет строиться.

— И то пора бы,— согласилась Татьяна.— Все равно прошьешь денги.

— Молчать, баба! Не твоего ума дело... Таку стройку подыдем, што чертям будет тошно.

Архитектурные плапы у Мыльникова были свои собственные. Он сначала поставил ворота. Это было нечто грандиозное: столбы резные, наверху шатровая крыша, скоба луженая, а на крыше вырезанный из жести петух, который поворачивался по ветру. Ворота были поставлены в несколько дней, и Мыльников все время не знал покоя. Но, истощив свою архитектурную энергию, он бросил все

и уехал на Фотьянку. Избушка при новых воротах казалась еще ниже, точно она от огорчения присела. Соседи поднимали Мыльникову на смех, но он только посмеивался: хороший хозяин сначала купит да узду покупает, а потом уж лошадь заводит.

Мы уже сказали выше, что Петр Васильич ужасно завидовал дикому счастью Мыльникову и громко роптал по этому поводу. В самом деле, почему богатство «прикачнулось» дураку, который пустит его по ветру, а не ему, Петру Васильичу?.. Сколько одного страху наберется со своей скупкой хищнического золота, а прибыль вся Ястребову. Тут было о чем подумать... И Петр Васильич все думал и думал. Наконец он придумал, что было нужно сделать. Встретив как-то пьяного Мыльникову на улице, он остановил его и слащаво заговорил:

— Все еще портишь товар-то, беспутная голова?..

— А тебе какое горе приключилось от этого, кривая ерахта?

— Да так... Вчуже па дураков-то глядеть тошно.

— Это ты к чему гнешь?

Петр Васильич огляделся, нет ли кого поблизости, хлопнул Мыльникову по плечу и шепотом проговорил:

— Дурак ты, Тарас, верно тебе говорю... Сдавай в контору половину жилки, а другую мне. По два с полтиной дам за золотник... Как раз вдвое выходит супротив компанейской цены. Говорю: дурак... Товар портишь.

Мыльников задумался. Дурак-то он дурак, это верно, да и «прелестные речи» Петра Васильича тоже хороши. Цена обидная в конторе, а все-таки от добра добра не ищут.

— Нет, брат, неподходящая мне эта модель,— ответил Мыльников, встряхивая головой.— Потому как лицо у меня чистое, незамазанное.

— Ах, дурак, дурак...

— Таков уродился... Говорю не подвержен, штобы такая, например, модель.

— Да не дурак ли... а? Да ведь тебе, идолу, башку твою надо пустую расшибить вот за такие слова.

Такие грубые речи взорвали деликатные чувства Мыльникову. Произошла настоящая ругань, а потом драка. Мыльников был пьян, и Петр Васильич здорово оттузил его, пока сбежался народ и их разняли.

— Вот тебе, новому золотопромышленнику, старому нищему! — ругался Петр Васильич, давая Мыльникову последнего пинка. — Давайте я его удавлю, пса...

Мыльников поднялся с земли, встряхнулся, поправил свой пострадавший во время свалки костюм и, покрутив головой, философски заметил:

— Наградил господь родней, нечего сказать...

Это родственное недоразумение сейчас же было залито водкой в кабаке Фролки, где Мыльников чувствовал себя как дома и даже часто сидел за стойкой, рядом с целовальником, чтобы все видели, каков есть человек Тарас Мыльников.

Но Петр Васильич не ограничился этой неудачной попыткой. Махнув рукой на самого Мыльникова, он обратил внимание на его сотрудников. Яша Малый был ближе других, да глуп. Прокопий, пожалуй, и поумнее, да трус — только телята его не лижут... Оставался один Семеныч, который был чужим человеком. Петр Васильич зазвал его как-то в воскресенье к себе, велел Марье поставить самовар, купил наливки и завел тихие любовные речи.

— Трудненько, поди, тебе, Семеныч, с казенного-то хлеба прямо на наше волчье положенье перейти? — пытал Петр Васильич, наигрывая единственным оком. — Скушненько, поди, а?

— Сперва-то сомневался, это точно, а потом приобьк...

— Оно, конечно, привычка, а все-таки... При машине-то в тепле сидел, а тут на холоду да на погоде.

Семеныч от наливки и горячего чая заметно захмелел, и язык у него стал путаться. А тут Марья все около самовара вертится и на него поглядывает.

— Не заглядывайся больно-то, Марьюшка, а то после тосковать будешь, — пошутил Петр Васильич. — Парень чистяк, уж это што говорить!

— Наш, поди, балчуговский, без тебя знаю... — смело отвечала Марья, за словом в карман не лазившая вообще. — Почитай в суседах с Петром Семенычем жили...

— В субботу, когда с шахты выходил домой, мимо вас дорога была, Марья Родивоновна... Тошно, поди, вам здесь на Фотьянке-то?.. Одним словом, кондовое варнацкое гнездо.

— А ты, Марьюшка, маненько как будто уничтожся... — шепнул Петр Васильич, моргая оком. — Дельце у нас с Петром Семенычем.

Марья вышла с большой неохотой, а Петр Васильич подвинулся еще ближе к гостю, налил ему еще наливки и завел сладкую речь о глупости Мыльникова, который «портит товар». Когда машинист понял, в какую сторону гнул свою речь тароватый хозяин, то отрицательно покачал головой. Ничего нельзя поделатъ. Мыльников, конечно, глуп, а все-таки никого в дудку не пускает: либо сам спускается, либо посылает Оксю.

— Так, так...— соглашался Петр Васильич, жалея, что напрасно только стравил полуштоф паливки, а парень оказался круглым дураком.— Но, Семеныч, теперь ты тово... ступай, значит, домой.

Когда Семеныч, пошатываясь, выходил из избы, в полутемных сенях его остановила Марья,— она его караулила здесь битый час.

— Петр Семеныч, голубчик, не верьте вы ни единому слову Петра-то Васильича,— шепнула она.— Неспроста он уещал вас... Продаст.

Вместо ответа Семеныч привлек к себе бойкую девушку и поцеловал прямо в губы. Марья вся дрожала, прижавшись к нему плечом. Это был первый мужской поцелуй, горячим лучом ожививший ее завядшее девичье сердце. Она, впрочем, сейчас же опомнилась, помогла спуститься дорогому гостю с крутой лестницы и проводила до ворот. Машинист, разлакомившись легкой победой, хотел еще раз обнять ее, но Марья кокетливо увернулась и только погрозила пальцем.

— Ужо выходи вечерком за ворота...— упрашивал разгоревшийся Семеныч.

— Больно ускорился... Ступай да неси и не потеряй.

Когда Марья вихрем взлетела на крыльцо, охваченная пожаром своего позднего счастья, ее встретила баушка Лукерья. Старуха молча ухватила племянницу за ухо и так увела в заднюю избу.

— Ты это што придумала-то, негодница?

— Баушка, миленькая... золотая...

— Я тебе покажу баушку?! Фенька сбежала да ты сбежишь, а я с кем тут останусь? Ну, диви бы молоденькая девчонка была, у которой ветер на уме, а то... тьфу!.. Срам и говорить-то... По сеням жепихов ловишь, срамница!

Марья терпеливо выслушала ворчанье и попреки старухи, а сама думала только одно: как это баушка не пой-

мет, что если молодые девки выскакивают замуж без хлопот, так ей надо самой позаботиться о своей голове. Не на кого больше-то надеяться... Голова у Марьи так и кружилась, даже дух захватывало. Не из важных женихов машипист Семеныч, а все-таки мужчина... Хорошо баушке Лукерье теперь бобы-то разводить, когда свой век изжила. Тятенька Родион Потапыч такой же: только про себя и знают.

Много было подходов к Мыльникову от своих и чужих, желавших воспользоваться его жилкой, но пока все проходило благополучно. Мыльников твердо вел свою линию и знать ничего не хотел. Так, он вовремя был предупрежден относительно готовившейся ночной экспедиции на его жилку и устроил засаду. Воры попались. Затем, чтобы предупредить подобные покушения, он прикрыл свою дудку тяжелой западней, запиравшейся на два громадных замка. Но и все эти меры не спасли Мыльникова от хищения: вор оказался хитрее его и предупредительнее. Вышло это следующим образом. Мыльников спускался в дудку сам или посылал Оксю, когда самому не хотелось. Последнее вошло мало-помалу в обычай; так что с середины зимы сам Мыльников перестал совсем спускаться в дудку, великодушно предоставив это Оксе.

— Эй, Оксюха, поворачивай! — кричал он ей сверху. — Не острами своего родителя...

В ответ слышалось легкое ворчанье Окси или какой-нибудь пикантный ответ. Окся научилась огрызаться, а на дне дудки чувствовала себя в полной безопасности от родительских кулаков. Когда требовалась мужицкая работа, в дудку на канате спускался Яша Малый и помогал Оксе, что нужно. Вылезала из дудки Окся черт чертом, до того измазывалась глиной, и сейчас же отправлялась к дедушке на Рублиху, чтобы обсушиться и обогреться. Родион Потапыч принимал внучку со своей сердитой ласковостью.

— Опять ты пришла свинья свиньей, Аксинья: рылом-то пошто в глину тыкалась?..

— Посадить бы самого в дудку, так поглядела бы я на тебя, каким бы ты анделом оттуда вылез,— отвечала Окся.

— По закону, бабам совсем не полагается в подземные работы лазать. Я вот тебя еще в тюрьму посажу.

— А мне все одно: сади. Эх, подумаешь, испугал...

Родион Потапыч любил разговаривать с Оксей и даже

советовался с ней относительно «рассечек» в шахте, потому что у Окси была легкая рука на золото.

Никто не знал только одного: Окся каждый раз выносила из дудки куски кварца с золотом, завернутые в разном тряпье, а потом прятала их в дедушкиной конторке,— безопаснее места не могло и быть. Она проделывала всю операцию с ловкостью обезьяны и бесстрастным спокойствием лунатика.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

I

Заручившись заключенным с Ястребовым условием, Кишкин и Кожин, не теряя времени, сейчас же отправились на Мутяшку. Дело было в январе. Стояли страшные холода, от которых птица замерзала на лету, но это не удержало предпринимателей. Особенно торопил Кожин, точно за ним кто гнался по пятам.

— Увези ты меня в лес, Андрон Евстратыч! — упрашивал он. — Может, в лесу отойду...

— Смотри, уговор на берегу: не сбеги из лесу-то. Не сладко там теперь...

— Сам буду работать, своими руками, как простой рабочий, только бы избыть свою муку мученическую.

— Ну, от этого вылечим, а на молодом теле и не такая беда изнашивается.

Партия составила из Матюшки, Турки и Мины Клейменого, которые работали летом, да прибавилось еще двое молодых рабочих. Недоставало Мыльникова, Петра Васильича и Яши Малого, по о них Кишкин не жалел: хороши, когда спят, а днем на работе точно их нет. Лошади такие бывают, которые на оглобли оглядываются, чтобы лишнее не перебежать. Зимняя дорога в Кедровскую дачу была гораздо удобнее, да и пробили ее на промысла, как прииск Ягодный. Снег выпал в два аршина, так что лошадь топула в нем, стоило сбиться с накатанного «полоза». Зимние сани поэтому делались на высоких копыльях, чтобы не запруживало в передок снегом. На таких санях и ехали новые компаньоны.

— Посмотри, благодать-то какая! — умиленно повторял Кишкин, окидывая зеленые стены дремучего ельника. — Силища-то прет из земли... А тут снежком все подернуло.

Действительно, трудно представить себе что-нибудь лучше такого ельника зимой, когда он стоит по колена в снегу, точно очарованный. Траурная зелень приятно контрастировала с девственной белизной снега. Мертвое молчание такого леса напоминало сказочный богатырский сон. Не шелохнет, не скрипнет, не пискнет, — торжественное молчание охватило все кругом, как на молитве. Именно такое молитвенное настроение испытывал Кожин, когда они ехали с Фотьянки на Мутяшку. Точно мерзлая глыба отваливалась с души... Еще есть белый свет, и не клином сошла земля. Давно ничего подобного не переживал Кожин, и ему хотелось плакать от радости. Уйти от своей беды, схорониться от всех в лесу, уложить здесь свою силу богатырскую — да какого же еще счастья нужно? Он припоминал своих раскольничьих старцев, спасавшихся в пустыне, печальные раскольничьи «стихи», сложенные вот по таким дебрям, и ему пачидал казаться этот лес бесконечно родным, тем старым другом, к которому можно прийти с бедой и пайти утешение. А мороз какой здоровый — так и хватает прямо за душу! Дышать больно. Снег слепит глаза, а впереди несметной ратью встает все тот же красавец лес, заснувший богатырским сном.

Зимний день короток, чуть заря с зарей не сходитя. На Мутяшку приехали под вечер, когда между деревьями начали кутаться быстрые зимние сумерки.

— Вот, слава богу, мы и дома! — весело сказал Кишкин, вылезая из саней в снег. — А вон и дворец...

На берегу Мутяшки к самому лесу приткнулась старательская землянка, полузанесенная снегом. Пришлось ее отгрести, а потом заново сложить печку-каменку, какие устраиваются на живую руку по охотничьим зимовьям. Весь пол был устлан сейчас же свежей хвоей, а также широкие нары, устроенные из тяжелых деревянных плах. Когда вспыхнул в каменке веселый огонек и красным языком лизнул старую сажу в отдушине, все точно повеселело кругом. Весело загремел в лесу топор, а сипий дымок потянул столбом кверху, как это бывает только в сильные морозы. Закипел первый котелок, повешенный над самым «нальбом», и промысловый ужин был готов.

— Чаю мы с тобой завтра напьемся, — утешал Киш-

кин притихшего компаньона.— Ужо надо выйти из балагана-то, а то как раз угоришь: от сырости всегда угарно бывает.

Ночь выпала звездная, светлая. На искрившийся сипими огоньками снег было смотреть больно. Местность было трудно узнать — так все кругом изменилось. Именно здесь случился грустный эпизод неудачного поиска свиньи. Кишкин только вздохнул и заметил Мине Клейменому:

— Ведь нашла, подлая, жилку, а нам не хотела ука-зать...

— Отодрать бы ее тогда на этом самом месте,— ответил старый каторжанин.— Небойсь, сказала бы...

Долго смотрел Кишкин на заветное местечко и про себя сравнивал его с фотьянской россыпью: такая же береговая покать, такая же мочежинка языком влизалась в берег, так же река сделала к другому берегу отбой. Непременно здесь должно было сгрудиться золото: некуда ему деваться. Он даже перекрестился, чтобы отогнать слишком корыстные думы, тяжелой ржавчиной ложившиеся на его озлобленную старую душу.

И ночью Кишкину не спалось. То шаги какие-то слышатся, то птичий клекот, то шушуканье,— не совсем чистое место. А зато памерзшийся за день Кожин спал мертвым сном. Известно, молодое дело: только до места — и готов. Сто раз пересчитал Кишкин свой капитал и высчитал вперед по дням, сколько можно продержаться на эти деньги. Не велик капитал, а ко времени дорог... Перед самым утром едва забылся старик, да и тут увидел такой сон, что сейчас же проснулся. Видел он во сне старое дуплистое дерево, а на вершине сидели два ворона и клевали прямо сердцевину. Как будто и хорошо, и как будто не совсем.

Утром на другой день поднялись все рано и успели закусить и напиток чаю еще до свету. На брезгу началась и работа. Предварительно были осмотрены ястребовские шурфы, пробитые по первым заморозкам. Только опытный промысловый глаз мог открыть едва заметные холмики, состоявшие из земли и снега. Летом исследовать содержащие болота было трудно, а из-под льда удобнее: прорубалась прорубь, и землю вычерпывали со дна большими промысловыми ковшами на длинных чернях. Такая работа требовала умелых рук. Кожин не мог себе представить, что можно было сделать с таким болотом. Сейчас эти ус-

ловия работы окончательно облегчались тем обстоятельством, что болото промерзло насквозь, и вода оставалась только в глубоких колдобинах и болотных «окнах». Кишкин еще с лета рассмотрел болото в мельчайших подробностях и про себя вырешал вопрос, как должна была располагаться предполагаемая россыпь — где ее «голова» и где «хвост». Главным действующим лицом в образовании ее, конечно, являлась река Мутяшка, которая раньше подбивалась здесь к самому берегу и наносила золотоносный песок, а потом, размыв берег, ушла, оставив громадную заводь, постепенно превратившуюся в болото. Для Кишкина картина всей этой геологической работы была ясна, как день, и он еще летом наметил пункты, с которых нужно было начать разведку.

— Ну, братцы, с богом, — проговорил Кишкин, очерчивая пешней размеры первого шурфа. — Акинфий Назарыч, давай-ко, начни, благословясь... Твоя рука легкая.

Рабочие очистили снег, и Кожин принялся топором рубить лед, который здесь был в аршин. Кишкин боялся, что не осталась ли подо льдом вода, которая затруднила бы работу в несколько раз, но воды не оказалось — болото промерзло насквозь. Сейчас подо льдом начиналась смерзшаяся, как камень, земля. Здесь опять была своя выгода: земля промерзла всего четверти на две, тогда как без льда она промерзла на все два аршина. Заложив шурф, Кожин присел отдохнуть. От него пар так и валил.

— Што, хорошо, Акинфий Назарыч?

— Лучше не бывает.

— То-то, тебе в охотку поработать. Молодой человек, не знаешь, куда с силой деваться...

Пока Кожин отдыхал, его место занял Матюшка, у которого работа спорилась вдвое. Привычный человек: каждое движение рассчитано. Кишкин всегда любовался на Матюшкину работу. До обеда едва прошли всего один аршин, а после обеда началась уже легкая работа, потому что шла талая земля, которую можно было добывать кайлом и лопатой. На глубине двух аршин встретился первый фальшивый пропласток мясниковатого песку, перемешанного с синей речной глиной. Кишкин долго рассматривал кусок этой глины и молча передал ее Мипе Клеймену.

— Эта не обманет... — задумчиво проговорил старый каторжанин, растирая на ладони глину. — Мать наша эта синяя глишка.

— Случается и пустая,— заметил Кишкин.

Уже к самому вечеру вышли на настоящий песок, так что пробу пришлось делать уже в избушке. Эта операция производилась в большом азиатском ковше. Кишкин набрал полный ковш песку и начал медленно размешивать песок вместе с водой, сбрасывая гальки и хрящ и сливая мутную воду. Последовательно продолжая отмучивать глину и выбирать крупный песок, он встряхивал ковш, чтобы крупинки золота, в силу своего удельного веса, осаждались на самое дно, вместе с блестящим черным песочком — по-припсковому «шлихи». Эти последние, как продукт разрушения бурого железняка, осаждались на самое дно в силу своей тяжести; шлихов получилось достаточное количество, и, когда вода уже не взмучивалась, старик долго и внимательно их рассматривал.

— Поблескивает одна золотишка... — проговорил он.

— Не корыстное дело,— ответил за всех Турка.

Так открылись зимние работы. Ежедневно выбивалось от двух до трех шурфов, причем Кожин быстро «наварлыжился» в земляной работе и уступал только одному Матюшке. Пробу производил постоянно сам Кишкин, не доверявший никому такого ответственного дела. В хвосте россыпи было таким образом пробито десять шурфов, а затем перешли прямо к «голове». Это было уже через неделю, как партия жила в лесу. День выдался теплый, и падал мягкий снежок. Первый шурф был пробит еще до обеда, и Кишкин стал делать пробу тут же около огонька, разложенного на льду. Рабочие отдыхали. Кожин сидел у самого костра и задумчиво смотрел на весело трещащий огонек.

— Ну, так как же насчет свиньи-то, дедко? — спрашивал Матюшка, обращаясь к Мипе Клейменому. — Должна она быть беспрерывно...

— Куда ей деваться? — уверенно отвечал старик. — Только вот взять-то ее умеючи надо... К рукам она, свинья эта самая. На счастливого, одно слово...

— Уползла, видно, она к Мыльникову, — подшутил Турка. — Мы ее здесь достигаем, а она вон где обозначилась: зарылась в Ульяновом кряжу, еще и не одна, а с поросятами вместе...

— Ну, то другая статья, — авторитетно заметил Матюшка, закуривая сигарку. — Одно — жилка, другое — россыпь...

В этот момент Кишкин слабо вскрикнул, точно его что придавило, и выпустил ковш из рук. Все оглянулись на него.

— Ох, как стрелило...— прошептал Кишкин, хватаясь за живот.— Инда свет из глаз выкатился. Смотрю в ковш-то, а меня как в стантовую жилу ударит...

— Это от наклону кровь в голову кинулась,— объяснил Мина.

Покрывшееся мертвой бледностью лицо Кишкина служило лучшим доказательством схватившей его немочи.

— Перцовкой бы тебе пояспицу натереть, Андрон Евстратыч,— посоветовал очнувшийся от своего забытья Кожин.— Кровь-то и разбило бы...

— Да пцо запустить этой самой перцовки в нутро,— прибавил Матюшка,— горошком соскочил бы...

Кишкин с трудом поднялся на ноги, поохал «для прилику», взял ковш и выплеснул пробу в шурф.

— И не поманило...— объяснил он равнодушным тоном.— Вот тебе и синяя глина... Надо ужо теперь по самой середке шурф ударить.

— А отчего не здесь? — спросил Матюшка.— Надо для счету шурфов пять пробить, а потом и в середку болотины ударить...

— Нет, здесь не надо,— решительно заявил Кишкин.— Попусту только время потеряем...

Этот спор продолжался и в землянке, пока обедали рабочие. Сам Кишкин ни к чему не притронулся и, лежа на парах, продолжал охать.

— Пожалуй, ты еще окачуришься у нас...— пошутил над ним Турка.— Тоже дело твое не молоденькое, Андрон Евстратыч.

— Ничего, отлежусь как-нибудь, а вы пока в середине болота шурф пробейте...

Кишкин едва дождался, когда рабочие кончат свой обед и уйдут на работу. У него кружилась голова и мысли путались.

— Господи, что же это такое? — повторял он про себя, чувствуя, как спирает дыхание.— Не поблазнило ли уж мне грешным делом...

Наконец все ушли на работу, и Кишкин остался один в землянке. Он песколько времени лежал с закрытыми глазами, потом осторожно поднялся и выглянул в дверь,— рабочие уже были на середине болота. Это его успокоило.

Приперев плотно дверь и поправив в очаге огонь, Кишкин присел к нему и вытащил из кармана правую руку с опемевшими пальцами: в них он все время держал щепотку захваченной из козша пробы. Оглянувшись кругом еще раз, он бережно высыпал высохшие шлихи на ладонь и принялся рассматривать их с жадным вниманием. На ладони блестели крупинки золота... Счетом их было больше двадцати. Господи, да ведь это богатство, страшное богатство, о каком он не смел и мечтать когда-нибудь!.. По приблизительному расчету, можно было на сто пудов песку положить золотника три, а при толщине пласта в полтора аршина и при протяжении россыпи чуть-не на целую версту в общем можно было рассчитывать добыть пудов двадцать, то есть по курсу на четыреста тысяч рублей.

— Господи, что же это такое?.. — изнеможенно повторял Кишкин, чувствуя, как у него на лбу выступают капли холодного пота.

Он бережно собрал всю пробу в бумажку и замер над ней, не веря своим старым глазам. Да, это было богатство, страшное богатство.

Для чего Кишкин скрыл свое открытие и выплеснул пробу в шурф — в первую минуту он не давал отчета и самому себе, а действовал по инстинкту самосохранения, точно кто-нибудь мог отнять у него добычу из рук. О, никто не может ничего сделать... С Ястребовым покончено по всей форме, с Кожиным можно развязаться. Странно, что сейчас Кишкин вдруг ненавидел своего компаньона с его жалкими пятьюстами рублей. Просто взять и прогнать его — вот и весь разговор. Ведь он сдуру забрался в лес. А деньги можно будет отдать назад, да еще с такими процентами, каких никто не видал. Отлично... Сказаться большим, шурфовку забастовать, а потом и начать теплецькое дельце в полной форме.

С другой стороны, к радостному чувству примешивалось горькое и обидное сознание: двадцать лет нищеты, убожества и унижения и дикое счастье на закате жизни. К чему теперь деньги, когда и жить-то осталось, может быть, без году неделя? Кишкину сделалось до того горько, что он даже всплакнул старческими, бессильными слезами. Эх, раньше бы такое богатство прикачнулось... Затем у него явилась мысль о сделанном доносе. Для чего он заварил всю эту кашу? Воров не переведешь, а про себя славу худую пустишь... Ах, нехорошо, да еще как пехорошо-

то! Конечно, он со злости подстроил всю механику, чтобы отомстить старым недругам, а теперь это совсем было лишним.

— С горя и помутился тогда,— вслух думал Кишкин.

Когда вечером рабочие вернулись в землянку, Кишкин лежал на нарах, закутавшись в шубу.

— Ну, што, Андрон Евстратыч, аль ущемило?

— Разнемогся совсем, братцы...— слабым голосом ответил хитрый старик.— Ужо бросим это болото да выедем на Фотьянку. После Ястребова еще никто ничего не находил... А тебе, Акипфий Назарыч, деньги я ворочу сполна. Будь без сумления...

В заключение Кишкин неожиданно расхохотался до того, что закашлялся. Все с изумлением смотрели на него.

— Илья-то Федотыч... Илья-то Федотыч в каких дураках! — прохрипел наконец Кишкин, бессильно отмахиваясь рукой.— Илья-то Федотыч...

Кожин решил про себя, что старик сорвался с винта.

II

Дальнейшее поведение Кишкина убедило всех окончательно, что старик рехнулся. Во-первых, он бросил разведки на Мутяшке и вывел свою партию на Фотьянку, где и произвел всем полный расчет, а Кожину возвратил все взятые у него деньги. Это последнее поставило всех в недоумение, потому что откуда быть деньгам у Кишкина? Впрочем, Кожин интересовался этим меньше всех. Он заметно остепенился в лесу и бросил пить, так что вернулся в Тайболу совершенно трезвым. Кишкин оставался в Фотьянке и что-то, видимо, замышлял. Пока он квартировал у Петра Васильича, занимая ту комнату, в которой жил Ястребов, уехавший до весны в город.

Мысль о деньгах засела в голове Кишкина еще на Мутяшке, когда он обдумал весь план, как освободиться от своих компаньонов, а главное от Кожина, которому необходимо было заплатить деньги в первую голову. С этой мыслью Кишкин ехал до самой Фотьянки, перебирая в уме всех знакомых, у кого можно было бы перехватить на такой случай. Таких знакомых не оказалось, кроме все того же секретаря Ильи Федотыча.

«Нет, брат, к тебе-то уж я не пойду! — думал Кишкин, припоминая свой последний неудачный поход. — Разе толкнуться к Ермошке?.. Этому надо все рассказать, а Ермошка все переплеснет Кожину — опять нехорошо. Надо так сделать, чтобы и шито и крыто. Пожалуй, у Петра Васильича можно бы было перехватить на первый раз, да уж больно завистлив пес: над чужим счастьем задавится... Еще уцепится, как клещ, и не отвяжешься от него...»

Так ничего и не придумал Кишкин: у богатства без гроша очутился. То была какая-то ирония судьбы. Но его осенила счастливая мысль. Одна удача не приходит.

Вечером, когда уже все спали, он разговорился с баушкой Лукерьей, которая жаловалась на племянницу Марью, отбивавшуюся от рук на глазах у всех.

— Ведь скромница была, как жила у отца... — рассказывала старуха, — а тут девка из ума вон. Присунулся этот машинист Семеныч, голь перекатная, а она к нему... Стыд девичий позабыла, никого не боится, только и ждет проклятущего машиниста. Замуж, говорит, выйду за него... Ох, согрешила я с этими девками!..

— Ну, что же делать, баушка... — утешал Кишкин. — Всякая живая душа калачика хочет.

— Тьфу ты, срамшик!.. Ему дело говорят, а он... тьфу!.. Распустили ноне девок, вот и дурят...

Эта старушечья злость забавляла Кишкина: очень уж смешно баушка Лукерья сердилась. Но, глядя на старуху, Кишкину пришла неожиданно мысль, что он ищет денег, а деньги перед ним сидят... Да, лучше и не надо. Не теряя времени, он приступил к делу сейчас же. Дверь была заперта, и Кишкин рассказал во всех подробностях историю своего богатства. Старушка выслушала его с жадным вниманием, а когда он кончил — широко перекрестилась.

— Уменьшко я сделал, баушка? Комар носу не подточит... Всех отвел и остался один, сам большой — сам маленький.

— Ох, умно, Андрон Евстратыч! Столь-то ты хитер и допл, што никому и не догадаться... В настоящие руки попал. Только ты, смотри, не болтай до поры до времени... Теперь ты сослался на немочь, а потом вдруг... Нет, ты лучше так сделай: никому ни слова, будто и сам не знаешь, — чтобы Кожин после не вступался... Старателишки тоже могут к тебе привязаться. Ноне вон какой парод пошел... Умен, умен, нечего сказать: к рукам и золото.

Чтобы еще больше разжечь старуху, Кишкин достал бумажку с пробой и показал блестящие крупинки золота.

— Плохо я вижу, голубчик...— шептала баушка Лукерья, наклонясь к самой бумажке.— Слепой курице все пшеница.

— От ста пудов песку золотишка с три падет, баушка... Я уж все высчитал. А со всего болота снимем пудов с двадцать...

— Н-по-о?..

— Вернее смерти...

В заключение Кишкин рассказал, как он просил денег у Ильи Федотыча и брал его в пай, а тот пожадничал и отказался.

— То-то он взвоят теперь, секретарь-то!.. Жаднящий до денег, а тут сами деньги приходили на дом: возьми ради Христа. Ха-ха!.. На стену он полезет со злости.

Баушка Лукерья заливалась дребезжавшим старческим смехом пад промахнувшимся секретарем и даже ударила Кишкина по плечу, точно сама принимала участие во всей этой истории.

— А тебе денег-то сколько достанется, Андрон Евстратыч?

— Ох, и выговорить-то страшно... Считай: двадцать тысяч за пуд золота, за десять пудов это выйдет двести тысяч, а за двадцать все четыреста. Ничего, кругленькая копсечка... Ну, за работу придется заплатить тысяч шестьдесят, не больше, а остальные голенькими останутся. Ну, считай для гладкого счета триста тысяч.

— Триста тысяч?.. Этак ты всю нашу Фотьянку купишь и продашь... Ловко!.. Умен, тебе и деньгами владать.

— Взять их только надо умненько, баушка... Так никто мне не даст, значит, зря, а надо будет открыться.

— Што ты, што ты!.. Ни под каким видом не открывайся — все дело испортишь. Загалдят, зашумят... Стравят и Ястребова и Кожина, — не расхлебашься потом. Тихонько возьми у какого-нибудь верного человека.

Кишкин только развел руками: нет такого верного человека, который дал бы тихонько. После некоторой паузы он сказал:

— Баушка, ссуди меня сотней-другой... Разочтемся потом. За рубль два отдам...

Старуха испуганно замахала обеими руками, точно ее обожгли.

— Што ты, миленький, какие у меня деньги? Да двух-то сотельных я отродясь не видывала! На похороны себе берегу две красеньких — только и всего...

— Ну, тогда придется идти к Ермошке. Больше не у кого взять, — решительно заявил Кишкин. — Его счастье — все одно, рубль на рубль барыша получит не пито — не едено.

Баушку Лукерью взяло такое раздумье, что хоть в петлю лезть: и дать денег жаль, и не хочется, чтобы Ермошке достались дикие денежки. Вот бес-сомуститель навязался... А упустить такой случай — другого, пожалуй, и не дождешься. Старушечья жадность разгорелась с небывалой еще силой, и баушка Лукерья вся тряслась, как в лихорадке. После долгого колебания она заявила:

— У меня у самой-то ничего нет, а попытаюсь добыть у одного знакомого старичка... Мне-то он, может, поверит.

— Ну, мне это все одно: кто ни поп, тот батька.

Конечно, все это была одна комедия.

Баушка Лукерья не спала всю ночь напролет, раздумывая, дать или не дать денег Кишкину. Выходило на двою: и дать хорошо, и не дать хорошо. Но ее подмывало налетевшее дикое богатство, точно она сама получит все эти сотни тысяч. Так бывает весной, когда полоя вода подхватывает гнилушки, крутит и вертит их и уносит вместе с другим сором.

«Омманет еще, — думала тысячу первый раз старуха. — Нет, шабаш, не дам... Пусть поищет кого-нибудь побогаче, а с меня что взять-то».

Эти разумные мысли разлетелись, как сон, когда баушка Лукерья встретила утром с Кишкиным. Ей вдруг сделалось так легко, точно она это делала для себя.

— Ну, что твой старичок? — спрашивал Кишкин, лукаво подмигивая. — Вон секретарь Илья Федотыч от своего счастья отказался, может, и твой старичок на ту же руку...

Баушка Лукерья опять засмеялась: очень уж глупым оказал себя секретарь-то... Нет, старичок, видно, будет маленько поумнее.

— А ты мне расписку напиши... — настаивала старуха, хватаясь за последнее средство.

— На что тебе расписка-то: ведь ты неграмотная. Да и не таковское это дело, баушка... Уж я тебе верно говорю.

Передача денег происходила в ястребовской комнате. Сначала старуха притащила завязанные в платке бумажки и вогнала Кишкина в три пота, пока их считала. Всех денег оказалось меньше двухсот рублей.

— Мало...— заявил Кишкин.— Пусть старичок-то серебра пощет.

— Ох, уж и не знаю, право, Андрон Евстратыч... Окружил ты меня и голову с живой сумаешь.

— Давай серебро-то, а ворочу золотом. Понимаешь, банк будет выдавать по ассигновкам золотыми, и я тебе до последней копейки золотом отдам... На, да не поминай Кишкина лихом!..

Что было отвечать на такие змеиные слова? Баушка Лукерья молча принесла свое серебро, пересчитала его раз десять и даже прослезилась, отдавая сокровище искусителю. Пока Кишкин рассовывал деньги по карманам, она старалась не смотреть на него, а отвернулась к окошку.

— Ну, теперь прощай, баушка...

Старуха только махнула рукой,— ее душило от волнения. Впрочем, она догнала Кишкина уже на дворе и остановилась.

— Забыла словечко тебе молвить, Андрон Евстратыч... Разбогатеешь, так и меня, старуху, может, помянешь.

— В чем дело?

— Не женись на молоденькой... Ваша братья, старики, больно льстятся на молодых, а ты бери вдову или девицу в годках. Молодая-то хоть и любопытнее, да от людей стыдно, да еще она же рукавом растрясет все твое богатство...

— Вот тоже придумала! — изумился Кишкин, ухмыляясь.

До настоящего момента мысль о женитьбе не приходила ему в голову.

— Жалеючи тебя говорю... Попомни старушечье словечко.

Марья была на дворе и слышала всю эту сцену. У пей в голове остались такие слова, как «богачество» и «девица в годках», а остального она не поняла. Ес удивило больше всего то, что у баушки завелись какие-то дела с Кишкиным, тогда как раньше она и слышать о нем не хотела, как о первом смутьяне и затейщике, сбивавшем с толку мужиков. Что-то неладное творится, ежели Кишкин обошел самое баушку Лукерью... Впрочем, эти свои бабы

мысли Марья оставила про себя до встречи с милым дружкойм, которому рассказывала все, что делалось в доме. Когда она поднималась на крыльцо, перед ней точно из земли вырос Петр Васильич.

— Какие такие дела завел Шишка с мамышкой? — зыкнул он на нее.

— А я почему знаю?.. Спроси сам баушку...

— У, змея!.. — зашипел Петр Васильич, грозя кулаком. — Ужо, девка, я доберусь до тебя.

— Руки коротки...

Марья заметила, что в задних воротах мелькнула какая-то тень, — это был Матюшка, как она убедилась потом, подглядев из-за косяка. С Петром Васильичем вообще что-то сделалось, и он просто бросался на людей, как чумной бык. С баушкой у них шли постоянные ссоры, и они старались не встречаться. И с Марьей у баушки все шло «на перекосях», — зубастая да хитрая оказалась Марья, не то что Феня, и даже помаленьку стала забирать верх в доме. Делалось это само собой, незаметно, так что баушка Лукерья только дивилась, что ей самой приходится слушаться Марьи.

— Лукавая девка... — ворчала старуха. — Всех обошла, а себя раньше других...

За Кишкиным уже следили. Матюшка первый заподозрил, что дело не чисто, когда Кишкин прикинулся больным и бросил шурфовку. Потом он припомнил, как Кишкин выплеснул пробу в шурф и не велел бить следующих шурфов по порядку. Вообще, все поведение Кишкина показалось ему самым подозрительным. Встретившись в кабаке Фролки с Петром Васильичем, Матюшка спросил про Кишкина, где он ночует сегодня. Слово за слово, — разговорились. Петр Васильич носом чуял, где неладно, и прильнул к Матюшке, как пластырь.

— Обыскали свинью-то? — приставал он к Матюшке.

— С поросятами оказалась наша свинья...

Распили полуштоф; захмелевший Матюшка рассказал Петру Васильичу свои подозрения.

— А што бы ты думал, андел мой?.. — схватился Петр Васильич. — Ведь ты верно... Неспроста Шишка бросил шурфовку. Вон какой оборотень...

— Хорошую пробу, видно, добыл, да нас всех и силавил. Не захотел поделиться... Кожин, известно, дурак, а Кишкин и нас поопасился.

— Ах, старый пес... Ловкую штуку уколол. А летом-то, помнишь, как тростил все время: «Братцы, только бы па-такаться на настоящее золото — никого не забуду». Вот и вспомнил... А знаки, говоришь, хорошие были?

— По первоначалу родственные, а потом уж обозначились... Выплеснул он пробу-то. Невдомек никому это было, покуда он болесть на себя не накиннул и не пошабанил всю шурфовку...

— Хоть бы глазком поглядеть на пробу-то... Можно ведь добыть ее и без него?

— Отчего не добыть, да толку от этого не будет: все одно — прииск по кондракту сейчас Кишкина. Кабы раньше...

Петр Васильич даже застонал от мысли, что ведь и он мог взять у Ястребова это самое болото ни за грош, ни за копейку, а прямо даром. С горя он спросил второй полуштоф.

— Да тебе-то какая печаль? — удивлялся Матюшка.

— А такая!.. Вот погляди ты на меня сейчас и скажи: «Дурак ты, Петр Васильич, да еще какой дурак-то... ах, какой дурак!.. Недаром кривой ерахтой все зовут... Дурак, дурак!..» Так ведь?.. а?.. Ведь мне одно словечко было молвить Ястребову-то, так болото-то и мое... а?.. Ну, не дурак ли я после этого? Убить меня мало, кривого подлеца...

В избытке усердия он схватил себя за волосы и начал стучать головой в стену, так что Матюшка должен был прекратить этот порыв отчаяния.

— Будет баловаться, Петр Васильич.

— Нет, ты лучше убей меня, Матюшка!.. Ведь я всю зиму зарился на жилку Мыльникова, как бы от нее свою пользу получить, а богатство было прямо у меня в дому, под носом... Ну, как было не догадаться?.. Ведь Шишка догадался же... Нет, дурак, дурак, дурак!.. Как у свиньи под рылом все лежало...

— Погоди печаловаться раньше времени, — тихонько заметил Матюшка. — А Кишкин наших рук не минует... Мы его еще обрабатываем, дай срок. Он всех ладит обмануть...

— Верно! — обрадовался Петр Васильич. — Так достигнем, говоришь? Ах, андел ты мой, ничего не пожалею...

Чтобы не терять напрасно времени, новые друзья принялись выслеживать Кишкина со следующего же утра, когда он уходил от баушки Лукерьи.

Странная вещь, вся Фотьянка узнала об открытой Кишкиным богатой россыпи раньше, чем кто-нибудь мог подозревать об этом: сам Кишкин сказал только баушке Лукерье, а потом Матюшка сообщил свою догадку Петру Васильичу — только и всего. И Кишкин, и баушка Лукерья, и Матюшка, и Петр Васильич знали только про себя, а между тем загалдела вся Фотьянка, как один человек, точно пчелиный улей, по которому ударили палкой. Когда Кишкин на другой день приехал в город, молва уже опередила его, и первым поздравил его секретарь Илья Федотыч.

— Хорошее дело, кабы двадцать лет назад оно вышло... — ядовито заметил великий делец, прищуривая один глаз. — Досталась кость собаке, когда собака съела все зубы. Да вот еще посмотрим, кто будет расхлебывать твою кашу, Андрон Евстратыч: обнес всех патоцак, а как теперь сытый-то будешь повыше усов есть. Одним словом, в самый раз.

III

Открытие Кишкина подняло на ноги всю Фотьянку, — точно пробежала электрическая искра. Время было самое глухое, народ сидел без работы, и все мечты сводились на близившееся лето. Положим, и прежде было то же самое, даже гораздо хуже, но тогда эти зимние голодовки принимались как нечто неизбежное, а теперь явились мысли и чувства другого порядка. Дело в том, что прежде фотьяновцы жили сами собой, крепкие своими каторжными заветами и распорядками, а теперь на Фотьянке обжились новые люди, которые и распускали смуту. Поднялись разговоры о земельном наделе, как в других местах, о притеснениях компании, которая собакой лежит на сене, о других промыслах, где у рабочих есть и усадьбы, и выгон, и покосы, и всякое угодые, о посланных ходоках «с бумагой», о «члене», который наезжал каждую зиму ревизовать волостное правление. У волости и в кабаке Фролки эти разговоры принимали даже ожесточенный характер: кому-то грозили, кому-то хотели жаловаться, кого-то ожидали. Расчеты на Кедровскую дачу оправдались вполосину: летние работы помазали только по губам, а зимой там оставался один прииск Ягодный да небольшие шурфовки. На-

роду печего было делать, и опять должны были идти на компанейские работы, которых тоже было в обрез: на Рублихе околачивалось человек пятьдесят, на Дернихе вскрывали новый разрез до сотни, а остальные опять разбрелись по своим старательским работам — промывали борта заброшенных казенных разрезов, били дудки и просто шлялись с места на место, чтобы как-нибудь убить время. На зимних работах опять проявилось неуклонное бедение старого штейгера Зыкова, притеснявшего старателей всеми мерами и средствами, как своих заклятых врагов.

— Когда только он дрыхнет? — удивлялись рабочие. — Днем по старательским работам шляется, а ночь в своей шахте сидит, как коршун.

— Сбросить его в дудку куда-нибудь, чтобы не заедал чужой хлеб, — предлагали решительные люди.

— Не беспокойся: другой почище выищется...

— Ну, другого такого компанейского пса не сыскать: один у нас Родька на всю округу.

Но что показалось обиднее всего промысловым рабочим, так это то, что Оников допустил на Рублиху «чужестранных» рабочих, чем нарушил весь установившийся промысловый строй и вековые порядки. Отцы и деды робили, и дети будут робить тут же... Рабочая масса так срослась со своим исконным промысловым делом, что не могла отделить себя от промыслов, несмотря на распри с компанией и даже тяжелые воспоминания о казенном времени. Все это были свои семейные, домашние дела, а зачем чужестранных-то рабочих ставить на наши работы? Дело вышло из-за какого-то пяточка прибавки конным рабочим, жаловавшимся на дороговизну овса, но Оников уперся, как пень, и нанял двух посторонних рабочих. Это возмутило всю Фотьянку до глубины души, как самое кровное оскорбление, какого еще не бывало. Даже Родион Потапыч не советовал Оникову этой крутой меры: он хотя и теснил рабочих, но по закону, а это уж не закон, чтобы отнимать хлеб у своих и отдавать чужим.

— Пустяки, — уверял Оников со спокойной усмешечкой. — Надо их подтянуть...

— И подтянуть умеючи надо, Александр Иванович, — смело заявил старый штейгер. — Двумя чужестранными рабочими мы не управим дела, а своих раздразим понапрасну... Тоже и по человечеству нужно рассудить.

— Послушайте, каналья, вы должны слушать, что вам говорят, а не пускаться в рассуждения! С вас нужно начать...

Разговор происходил в корпусе над шахтой. Родион Потапыч весь побелел от нанесенного оскорбления и дрогнувшим голосом ответил:

— Пятьдесят лет, ваше благородие, хожу в штетерях, а такого слова не слыхивал даже в каторжное время... да.

— Молчать!!

Результатом этой сцены было то, что враги очутились на суде у Карачунского. Родион Потапыч не бывал в господском доме с того времени, как поселилась в нем Феня, а теперь пришел, потому что давно уже про себя похоронил любимую дочь.

— Рассуди пас, Степан Романыч,— спокойно заявил старик.— Уж на што лют был покойничек Иван Герасимыч Оников, живых людей в гроб вгонял, а и тот не смел такие слова выражать... Неужто теперь хуже каторжного положенья? Да и дело мое правое, Степан Романыч... Уж я поблажки, кажется, не даю рабочим, а только зачем дразнить их напрасно.

— Все это правда, Родион Потапыч, но не всякую правду можно говорить. Особенно не любят ее виноватые люди. Я понимаю вас, как никто другой, и все-таки должен сказать одно: ссориться нам с Ониковым не приходится пока. Он нам может очень повредить... Понимаете?.. Можно ссориться с умным человеком, а не с дураком...

«Вот это так сказал, как ножом обрезал...— думал Родион Потапыч, возвращаясь от Карачунского.— Эх, золотая голова, кабы не эта господская слабость...»

С Ониковым у Карачунского произошла, против ожидания, крупная схватка. Уступчивый и неуязвимый Карачунский не выдержал, когда Оников сделал довольно грубый намек на Феню.

— Вы... вы забываетесь, молодой человек! — проговорил Карачунский, собирая все свое хладнокровие.— Моя личная жизнь никого не касается, а вас меньше всего...

— В данном случае именно касается, потому что и старик Зыков, и старатель Мыльников являются вашими креатурами... Это подает дурной пример другим рабочим, как всякая поблажка. Вообще вы распустили рабочих и служащих...

— Относительно служащих я согласен с вами, а поэто-

му попрошу вас оставить меня; я говорю с вами как ваш начальник.

Выгнав зазнавшегося мальчишку, Карачунский долго не мог успокоиться. Да, он вышел из себя, чего никогда не случалось, и это его злило больше всего. И с кем не выдержал характера — с мальчишкой, молокососом. Положим, что тот сам вызвал его на это, но чужие глупости еще не делают нас умнее. Глупо и еще раз глупо.

А рабочие продолжали волноваться, причем, как это ни странно сказать, в числе побудительных причин являлась и открытая Кишкиным новая россыпь, названная им Богоданкой. Собственно, логической связи тут не было никакой, кроме разве того, что на фоне этого налетевшего вихрем богатства еще ярче выступала своя промысловая голь и нищета. Со своей стороны, сам Кишкин подал повод к неудовольствию тем, что не взял никого из старых рабочих, точно боялся этих участников своего приискового мятарства. Это подняло общий ропот, потому что им не давали прохода другие рабочие своими шутками и насмешками.

— Нашли Кишкину свинью, а теперь ступайте на подожный корм! Эх вы, вороны...

Особенно озлобился Матюшка, которого подзуживал постоянно Петр Васильич, снедаемый ревностью. Матюшка запил с горя и не выходил из кабака. Там же околачивались Мина Клейменный и старый Турка. Теперь только и было разговоров, что о Богоданке. Недавние сотрудники Кишкина припомнили все мельчайшие подробности, как Кишкин надул их всех, как надул Ястребова и Кожина и как надует всякого.

— Известно, старая конторская крыса! — рычал Матюшка. — У них у всех одна вера-то... Кровь нашу пьют.

— А вон Мыльников тоже вместе с нами старался, а теперь как взвеселил себя...

— Также через контору: Фенька подсобила дялянку.

— А мы чем грешнее Мыльникова? Ему отвели дялянку, и нам отводи. Пойдем, братцы, в контору... Оников вон пообещал на шахте всех рабочих чужестранных поставить. Двух поставил спервоначалу, а потом и других поставит... Старый пес Родька заодно с ним. Мы тут с голоду подыхай...

— Удавить их всех, а контору разнести в щепы! — кричал Матюшка в пьяном азарте. — Двух смертей не бу-

дет, а одной не миновать. Да и Шишку по пути вздернуть на первую осину.

Волнения с Фотьянки перекинулись на Балчуговский завод, где в кабаке Ермошки собиралась своя приисковая голытьба. Жаловались на притеснение конторы, не хотевшей отводить новых делянок, задерживавшей протолчку добытого старателями золотоносного кварца, выдачу денег и т. д. Здесь поводом к неудовольствию послужили главным образом старые «шламы», то есть уже промытые пески, получившиеся от протолчки кварца. Эти шламы образовали на дворе фабрики целую гору, и компания пустила их в промывку уже для себя. В шламах оставалось еще небольшое содержание золота, добыть которое с некоторой выгодой можно было только при массовой промывке десятков тысяч пудов. В результате получалась самая ничтожная прибыль, но рабочие считали шламы своими и волновались. Эта операция была ошибкой со стороны Карачунского. В другое время на нее никто не обратил бы внимания, а теперь она вызывала громкий ропот. Карачунский, со своей стороны, не хотел уступать из принципа, чтобы не показать перед рабочими своей несостоятельности. Нужно было выдержать характер именно в таких пустяках, а то требования и претензии разрастутся без конца. Конечно, все это было глупо, и Карачунский мог только удивляться самому себе, как он не предвидел этого раньше. Рублиха, делянка Мыльникова, чужестрапные рабочие, шламы — это был последовательный ряд тех ненужных ошибок, которые делаются, кажется, только потому, что без них так легко обойтись. Чтобы поправить последнюю ошибку с промывкой шламов, Карачунский велел отвести несколько десятков новых делянок старателям и ослабить надзор за промывкой старых разрезов — это была косвенная уступка, которая была хуже, чем если бы Карачунский отказался от своих шламов.

— Эх, Степан Романыч... — заметил старик Зыков, в отчаянии качая головой. — Из лесу выходят одной дорогой. Как раз взбеленятся наши старателишки, ежели разнохают...

Это предсказание оправдалось скорее, чем можно было предполагать, именно: на Дернихе старатели, промывавшие старый отвал, наткнулись случайно на хорошее содержание и прогнали компанейского штейгера, когда тот хотел ограничить какую-то делянку. На место смуты полетел

Родион Потапыч, но его встретили чуть не кольями и даже близко не пустили к работам. Услужливая молва из этой случайной стычки сделала именно то, чего так боялся в настоящую минуту Карачунский: ничтожный по существу случай мог поднять на ноги всю рабочую массу бестолково и глупо, как это и бывает при таких обстоятельствах. Оников торжествовал: он все это предвидел и вперед предупреждал. Минута выходила критическая, и необходимо было все уладить домашними средствами, без лишней огласки и шума. Карачунский лично отправился па Дерниху, один, как всегда ездил, и не велел объездным штейгерам и отводчикам показываться близко, чтобы напрасно не раздражать взволнованной массы старателей.

Его появление произвело именно то впечатление, на какое он рассчитывал.

— Что такое случилось? — спрашивал он, вмешиваясь в толпу рабочих.

— Мы не согласны!.. — крикнул чей-то голос сзади. — Достаточно...

— Что вам нужно? Объясните, кто потолковее.

Из толпы выделился Матюшка. Он даже не снял шапки и дерзко смотрел Карачунскому прямо в глаза.

— Первое дело, Степан Романыч, ты нас не тронь... — грубо заявил Матюшка. — Мы не дадим отвал... Вот тебе и весь сказ. А твоих штейгеров мы в колья...

Карачунский вместо ответа спустился в старательскую яму, из-за которой вышло все дело, осмотрел работу и, подпавшись наверх, сказал:

— Хорошо. Работайте... Дня на два еще хватит вашего золота. А ты, молодец, тебя Матвеем звать? из Фотьянки?.. Ты получишь от меня кружку для золота и будешь доставлять мне ее лично, вместо штейгера.

Этого никто не ожидал, а всех меньше сам Матюшка. Карачунский с деловым видом осмотрел старый отвал, сказал несколько слов кому-то из стариков, раскурил папиросу и укатил на свою Рублиху. Рабочие несколько времени хранили молчание, почесывались и старались не глядеть друг на друга.

— Вот это так орел... — заметил наконец кричавший давеча голос. — Как топором зарубил Матюшку-го!.. Ловко... Сразу компанейским песиком сделался. Ужо жалованье тебе положат четыре недели на месяц.

В числе бунтовщиков оказался и Петр Васильич, который от Карачунского спрятался за чужие спины, а теперь лаялся за четырех. Матюшка сумрачно молчал, ошеломленный ловкой выходкой управляющего. Даже Петр Васильич пожалел его.

— Не весь голову, Матюша, не печалуй хозяина! За нами с тобой и не это пропадало.

Карачунский возвращался домой успокоенный и даже довольный. Оников рано торжествовал свою победу... В таком настроении он вернулся к себе и прошел прямо в комнату Фени, сильно беспокоившейся за него.

— Ну, вот все и кончилось,— проговорил он, обнимая ее.— Оников напрасно только беспокоился устроить мне пакость. Я уверен, что все это его штуки.

— А я так боялась... Наши мужики озвереют, так на части разорвать готовы. Сейчас наголодались... злые поневоле... Прежде-то я боялась, што тятеньку когда-нибудь убьют за его строгость, а теперь...

Феня последние месяцы находилась в самом угнетенном настроении и почти не выходила из своей комнаты. Промысловые новости она знала через лакея Ганьку, который рассказывал ей все подробности о жилке Мыльниковой, об открытии Богоданки, о всех знакомых и родственниках. Ее занимало теперь больше всего, конечно, собственное положение, полное такой фальши и неопределенности. Она часто чувствовала на себе пристальный взгляд Карачунского — взгляд холодный, проверявший свои собственные противоречия. Да, она могла быть его любовницей, а не женой, тем больше не матерью его ребенка. Теперь встало и ее прошлое, до которого раньше никому не было дела: Карачунский ревновал ее к Кожину, ревновал молча, тяжело, выдержанно, как все, что он делал. Это новое чувство, граничившее с физической брезгливостью, иногда просто пугало Феню, а любви Карачунского она не верила, потому что в своей душе не находила ей настоящего ответа. Разве можно полюбить во второй раз?.. Нет, довольно и того, что было.

Карачунский весь день чувствовал себя необыкновенно хорошо. Чтобы не портить настроения, он не пошел вечером даже в контору. Но беда пришла сама в дом. Когда сидели в столовой за самоваром, Ганька подал полученное из города письмо и повестку от следователя по особо важным делам. Карачунский на последнюю не обратил ника-

кого внимания, а письмо узнал по адресу: такими прямыми буквами писали только старинные понытчики да знаменитый горный секретарь Илья Федотыч. «Считаю долгом предупредить вас, что вам грозит крупная неприятность по делу Кишкина,— писал старик своими прямыми буквами,— подробности передам лично, а пока имейте в виду, что грозит опасность даже вашему имуществу. Пишу это по сердечному расположению к вам и вашему настоящему семейному положению, а письмо мое упичтожьте». Спачала Карачунский даже улыбнулся, а потом вдруг почувствовал, как чайный стол точно пошатнулся и вместе с ним зашатались стены.

— Что с вами, Степан Романыч? — со страхом спрашивала Феня.

— Ничего... так...

IV

Мыльников провел почти целых три месяца в каком-то чаду, так что это вечное похмелье надоело наконец и ему самому. Главное, куда ни приди — везде па тебя смотрят, как на свой кармап. Это в конце концов было просто обидно. Правда, Мыльников успел поругаться по несколько раз со своими благоприятелями, но каждое такое недоразумение заканчивалось новой попойкой.

— Монетный двор у меня, што ли? — выкрикивал Мыльников, когда к нему приставали с требованием денег его подручные: Яша Малый, зять Прокопий и Семеныч.— На вас никаких денег не напасешься...

Пьяная расточительность, когда Мыльников бахвалился и сорил деньгами, сменялась трезвой скупостью и даже скарденостью. Так, он, как настоящий богатый человек, терпеть не мог отдавать заработанные дельги все сразу, а тянул, сколько хватало совести, чтобы за ним походили. Далее, Мыльников стал относиться необыкновенно подозрительно ко всем окружающим, точно все только и смотрели, как бы обмануть его.

— Тарас, будет тебе богатого-то показывать! — корил его даже добродушный Яша Малый.— Над кем изневаживаешься?..

— А ты меня не учи... Терпеть ненавижу!.. Все вы около меня, как тараканы за печкой.

В результате выходило так, что сотрудники Мыльникова довольствовались в чаянии каких-то благ крохами, руководствуясь общим соображением, что свои люди сочтутся. Исключение составлял один Семеныч, которому Мыльников, как чужому человеку, платил поденщину сполна. Свои подождут, а чужой человек и молча просит, как голодное брюхо.

Семеныч вообще держал себя наособицу и мало «якшил»¹ с остальными родственниками. Впрочем, это продолжалось только до тех пор, пока Мыльников не сообразил о тайных делах Семеныча с сестрицей Марьей и, немедленно приобщив к лику своих родственников, перестал платить исправно.

— Ты это што же, Тарас? — удивился Семеныч. — Што расчет-то педодаешь?

— А так, голубь мой сизокрылый... Не чужие, слава богу, сочтемся, — бессовестно ответил Мыльников, лукаво подмигивая. — Сестрице Марье Родивоновне поклончик скажи от меня... Я, брат, свою родню вот как соблюдаю. Приди ко мне на жилку сейчас сам Карачунский: милости просим — хошь к вороту вставай, хошь на отпорку. А в дудку не пуцу, потому как не желаю обидеть Оксю. Вот каков есть человек Тарас Мыльников... А сестрицу Марью Родивоновну уважаю наособицу за ее развертной кахартер.

Так и пошло. Новый родственник ничего не мог сказать в ответ. Сестрица Марья быстро забрала его в руки и торопила свадьбой, только не хватало денег на первое обзаведенье. Она была старше жениха лет на шесть, но казалась совсем молоденькой, охваченная огнем своей первой девичьей страсти. У Семеныча был тайный расчет, что когда умрет старик Родион Потапыч, то Марья получит свою часть наследства из несметных богатств старого штейгера, а пока можно будет перебиться и в черном теле. Сестрица Марья сама навела его на эту счастливую мысль разными обиняками, хотя прямо ничего и не говорила с чисто женской осторожностью. Пока между ними условлено было окончательно только то, что свадьба будет сыграна сейчас после Фоминой недели. Свадьба предполагалась самокрукта, чтобы меньше расходов, как делали в

¹ Якшитъ — от татарского слова якши — да, поддакивать, дружить. (Примеч. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)

Балчуговском заводе. А пока время летело птицей, от одного свиданья до другого, как у всех влюбленных. Дсловитая и эпергичная Марья понимала, что Семенычу нечего делать у Тараса и что он только напрасно теряет время, а поэтому, когда проездом на свою Богоданку Кишкин остановился у баушки Лукерьи, она уллучила минутку и, подавая самовар, ласково проговорила:

— Андрон Евстратыч, вы мне не откажете, если я попрошу вас об одном дельце?

— Как попросишь, тоже умеючи надо просить... хехе!.. Ишь, какая вострая стала на Фотьянке-то!.. Ну, проси...

Марья мигом села к нему на колени, обняла одной рукой за шею и еще ласковее зашептала:

— Голубчик, Андрон Евстратыч, есть у меня один человек... то есть парень...

— Вот и неладно: ты себе проси, коза. Ничего не пожалею.

— Себе? Ну, а кто у вас на Богоданке хозяйничать будет?.. Надо и застряжкой приглядеть, и горницы прибрать, и старичку угодить... старенькому, седенькому, богатенькому, хитренькому старичку.

— Так, так... Верно. Ай да коза... Ну, а дальше?..

— Дальше-то опять про парня... Какое-нибудь местечко ему приткнуться. Парень на все руки, а женится после Фоминой — жена будет на приисковой конторе чистоту да всякий порядок соблюдать. Ведь без бабы и на прииске не управиться...

— Ах, Марья Родивоновна: бойка, да речиста, да увертлива... Быть, видно, по-твоему. Только умеи ухаживать за стариком... по-настоящему. Нарочно горенку для тебя налажу: сиди в ней канарейкой. Вот только парень-то... пу, да это твое девичье дело. Уластила старика, егоза...

Разыгравшаяся сестрица Марья даже расцеловала размякшего старичка, а потом взвизгнула по-девичьи и стрелой унеслась в сени. Кишкин несколько минут сидел неподвижно, точно в каком тумане, и только моргал своими красными веками. Ну и девка: огонь бенгальский... А Марья уж опять тут — выглядывает из-за косяка и так задорно смеется.

— Цып, цып... — манил ее Кишкин, сыпля на пол мелкое серебро. — Цып, курочка!..

— Ну, этим ты меня не купишь! — рассердилась сестрица Марья. — Приласкать да поцеловать старичка и так не грешно, а это уж ты оставь...

— Цып, цып... Старичку все можно, Машенька: никто ничего не скажет.

— Ах, бесстыдник...

Когда баушка Лукерья получила от Марьи целую пригоршню серебра, то не знала, что и подумать, а девушка нарочно отдала деньги при Кишкине, лукаво ухмыляясь: вот-де тебе и твоя приманка, старый черт. Кое-как сообразила старуха, в чем дело, и только плюнула. Она вообще следила за поведением Кишкина, особенно за тем, как он тратил деньги, точно это были ее собственные капиталы.

— Ты, бесстыдница, чего это над стариками галишься? ¹ — строго заметила она Марье. — Смотри, довертишь хвостом... Ох, согрешила я с этими проклятущими девками!

— Молодо-зелено, погулять велено, — заступился Кишкин, находившийся под впечатлением охватившей его теплоты. — И стыд девичий до порога... Вот это какое девичье дело.

Мыльников хотя и хвастался своими благодеяниями родне, а сам никуда и глаз не показывал. Дома он повертывался гостем, чтобы сунуть жене трешницу.

— Когда же строиться-то мы будем? — спрашивала Татьяна каждый раз. — Уж пора бы, а то все равно пропьешь деньги-то...

— Ученого учить — только портить... Мне и самому надоело пировать-то. Родня на шею навязалась, вот главная причина. Никак развязаться не могу...

— Ты бы хоть Оксю-то придел... Обносила она. У других девок вон приданое, а у Окси только и всего, что на себе. Заморил ты ее в дудке... Даже из себя похудела девка.

— Всех ублаготворю, а Оксю наособицу... Нет, брат, теперь шабаш: за ум возьмусь. Компанию к черту, пусть отдохнут кабаки-то...

У Мыльникова действительно были серьезные хозяйственные намерения. Он даже подрядил плотников сру-

¹ Галтться — насмеяться. (Примеч. Д. П. Мамина-Сибиряка.)

бить для новой избы сруб и даже выдал задаток, как настоящий хозяин. Постройкой приходилось торопиться, потому что зима была на исходе, — только успеют вывезти бревна из лесу, а поставят сруб о великом poste. Первый транспорт бревен привел Мыльников в умиление: его заветная мечта поставить новую избу осуществлялась. Когда весь двор был завален бревнами, Мыльниковым овладело такое нетерпение, что он решил сейчас же сломать старую избушку. Такое быстрое решение даже испугало Татьяну: столько лет прожили в пей, и вдруг ломать.

— А куды я-то с ребяташками денусь? — взмолилась она.

— На фатеру определяю... А то и у батюшки-тестя проживешь. Не велика важность, две недели околотиться. Немного мы видели от тестюшки...

Без дальних слов Мыльников отправился к Устинье Марковне и обладил дело живой рукой. Старушка тосковала, сидя с одной Анной, и была рада призреть Татьяну. Родион Потапыч попустился своему дому и все равно ничего не может.

— Да ведь я заплачу, — с гордостью заявлял Мыльников. — Всю родню теперь воспитываю.

Неприятность вышла только от Анны, накинувшейся на него с худыми бабьими словами. Она в азарте даже тыкала в нос Мыльникову грудным ребенком.

— Любезная сестрица, Анна Родивоновна, вот какая есть ваша благодарность мне? — удивлялся Мыльников. — Можно сказать, головы своей не жалею для родни, а вы неистовство свое оказываете...

— Перестань, Анна, — оговорила дочь Устинья Марковна, — не одни наши мужики помутились с золотом-то, а Тарас тут ни при чем...

— Куды мы с ребятами-то? — голосила Анна. — Вот Наташка с Петькой объедают дедушку, да мои, да еще Тарасовы будут объедать... От соседей стыдно.

— Молчи! — крикнула мать. — Зубы у себя во рту сосчитай, а чужие куски нечего считать... Перебьемся как-нибудь. Напринималась Татьяна горя через число: можно бы и пожалеть.

— И как еще напринималась-то!.. — соглашался Мыльников. — Другая бы тринадцать раз повесилась с таким муженьком, как Тарас Матвеевич... Правду надо говорить. Совсем было измотал я семьюшку-то, кабы не жилка...

И удивительное это дело, тещенька любезная, как это во мне никакой совести не было. Никого, бывало, не жаль, а сам в кабаке день-деньской, как управляющий в конторе.

Пристроив семью, Мыльников сейчас же разнес свое пепелище в щепы и даже продал старые бревна кому-то на дрова. Так было разрушено родительское гнездо...

— Теперь, брат, на господскую руку все наладим,— хвастался Мыльников на всю улицу.

Занятый постройкой, он совсем забросил жилку, куда являлся только к вечеру, когда на фабрике «отдавали свисток с работы». Он приезжал к дудке, наклонился и кричал:

— Окся, ты тут?

— Здесь, тятенька,— откликнулся из земных недр Оксин голос.

— То-то, у меня смотри...

Работа шла уже на седьмой сажени. Окся не только добывала «пустяк» и «жилку», но сама крепила шахту и вообще отвечала за настоящего ортового рабочего. Жила она на Рублихе, в конторке дедушки Родиона Потапыча, полюбившего свою внучку какой-то страстной любовью. Он все прощал Оксе, даже грубости, чего ни-когда не простил бы родным дочерям, и молча любовался непосредственностью этой придурковатой от избытка здоровья девушки. Ей точно лень быть умной. Не один раз они ссорились, и Родион Потапыч грозился выгнать Оксю, но та только ухмылялась.

— Куды я пойду-то, ты подумай,— усовещивала она старика.— Мужичу это все одно, а девка сейчас худую славу наживет... Который десяток на свете живешь, а это-го не можешь сообразить.

— К отцу ступай, дура... Не в чужие люди гоню.

— У меня и отец такой же, как ты: ничего сообразить не может.

— Ах, Окся, Окся... да не Окся ли?! Какие ты слова выражаешь?..

В начале марта провернулось несколько теплых весенних деньков. На пригревах дорога почернела, а снег потерял сразу свою ослепительную белизпу. Воздух сделался совсем особенный,— такой бодрящий и свежий. Вешняя вода была близко, и все опять заволновались, как это происходило каждую весну. Рабочая лихорадка охватила и Фотьянку, и Балчуговский завод. В прошлом году в Кед-

ровской даче шли только разведки, а нынче пойдут настоящие работы. Старатели сбивались артелями и ходили с Фотьянки на Балчуговский завод и обратно, выжидая нанимателей. Издали они походили на проснувшихся после зимней спячки пчел, ползавших по своему улью. В числе других ходил и Матюшка, оставшийся без работы: золото на Дернихе кончилось ровно через два дня, как сказал Карачунский. Встречая на дороге Мыльников, Матюшка несколько раз говорил:

— Тарас Матвеевич, што меня не возьмешь на жилку?..

— У меня своей родни девать некуда.

— Родня родней, а старую хлеб-соль забывать тоже нехорошо. Вместе бедовали на Мутяшке-то...

Первое дыхание весны всех так и подмывало. Очухавшийся Мыльников только чесал затылок, соображая, сколько стравил за зиму денег по кабакам... Теперь можно было бы в лучшем виде свои работы открыть в Кедровской даче и получать там за золото полную цену. Все равно на жилку надеяться долго нельзя: много продержится до осени, ежели продержится.

— Бить некому было старого черта! — вслух ругал Мыльников самого себя. — Еще как бить-то надо было, бить да приговаривать: не пируй, варнак! Не пируй, каторжный!..

Именно в таком тревожном настроении раз утром приехал Мыльников на свою дудку. «Родственники» не ожидали его и мирно спали около огонька. Мыльников пришел к вороту, наклонился к отверстию дудки и крикнул:

— Эй, Оксюха, жива, што ли?..

Ствета не последовало, только проснулись сконфуженные родственники.

— Где же Окся? — грозно накинулся на них Мыльников. — Эй, Окся, не слышишь без очков-то!.. Уж не задавило ли ее грешным делом?

— Мы ее на свету спустили в дудку, — объяснял сконфуженный Яша. — Две бадьи подала пустяку, а потом велела обождать...

Встревоженный Мыльников спустился в дудку: Окси не было. Валялись кайло и лопатка, а Окси и след простыл. Такое безобразие возмутило Мыльникова до глубины души, и он «на той же ноге» полетел на Рублиху, — некуда Оксе деваться, кроме Родиопа Потапыча. Появление Мыльникова произвело на шахте общую сенсацию.

— Окся здесь? — строго спрашивал Мыльников.

— Была твоя Окся, да вся вышла...

— Да вы толком говорите, омморошные!.. Она с дудки, надо полагать, опять ушла сюда...

— Поищи, может, найдешь. А вернее, братцы, што па Оксе черт уехал по своим делам.

Родион Потапыч вышел на шум из своей конторки и молча нахмурился, завпдев дорогого зятя.

— Оксю потерял, Родион Потапыч... Была в дудке, а тут как сквозь землю провалилась. Работнички-то мои проспал.

— Выгоните этого дурака,— коротко приказал грозный старик.— Здесь не кабак, штобы шум подымать.

— Меня?.. Да я...

Чадолюбивого родителя без церемоний вытолкали за дверь.

Мыльников с Рублихи отправился прямо на Фотьянку к баушке Лукерье... Окся и там не было; потом — в Балчуговский завод,— Окся точно в воду канула. Так и пропала девка.

Вместе с Оксей ушло и счастье Мыльникова. Через неделю его дудку залило подступившей вешней водой, а машину для откачки воды старатели не имели права ставить, и ему пришлось бросить свою работу. От всего богатства Мыльникова остались одни новые ворота да сотни три бревен, которые подрядчик увез к себе, потому что за них не было заплачено. С горя Мыльников опять засел в кабак к Ермошке и начал пропивать помаленьку нажитое добро: сначала лошадь, потом кошевку, лошадиную сбрую и, наконец, всю одежду с себя. Наступало лето, и одежда была не нужна.

Раз, когда Мыльников сидел в кабаке, Ермошка сказал:

— А Окся-то твоя ловкую штуку уколола: за Матюшку замуж вышла...

— Н-но-о?.. — изумился Мыльников.

— Приданое, слышь, вынесла: целый фунт твоего-то золота Матюшка продал Петру Васильичу за четыре сотельных билета... Она, брат, Окся-то, поумнее всех оказала себя.

— Ах, курва... Да я ее растерзаю на мелкие части!

— Ну, теперь дудки: Матюшка-то изувечит всякого... Другую такую-то дуру наживай.

На Рублихе дела оставались в прежнем положении. Углубляться было нельзя, пока не кончена штольня. Работы в последней подвигались к концу, что вызывало общее возбуждение. Штольня пробуравила Ульянов кряж поперек, но в этом горизонте, к общему удивлению, ничего интересного не было найдено: пласты березитов, сланцы, песчаники, глина — и только. Кварц встречался пачтожными прослойками без всякого содержания золота. Все надежды теперь сосредоточились именно на этой штольне, потому что она отведет всю рудную воду в Балчуговку, и тогда можно начать углубление в центральной шахте. Родион Потапыч спускался в штольню по два раза в день и оставался там часов по пяти. Работы шли под его личным руководством. Старик никому не доверял и все делал сам. Что неприятно поражало Родиона Потапыча, так это то, что Карачунский как будто остыл к Рублихе и совершенно равнодушно выслушивал подробные доклады старого штейгера, точно все это не касалось его. Так продолжалось месяца два, а потом Карачунский точно проснулся. Он «зачастил» на Рублиху и подолгу оставался здесь. То спустится в шахту и бродит по рассечкам, то сидит наверху. Вообще с ним что-то «попритчилось», как решили все.

— Скоро ли? — спрашивал он каждый день Родиона Потапыча.

— Еще восемнадцать аршин осталось... К реке скорее пойдем, потому там ребровик да музгá пойдут.

Музгой рабочие называли всякую смесь, а в данном случае музга состояла из глины и разрушившихся песчаников. Попадались еще прослойки белой вязкой глины с крупинками кварца, носившей название «кавардака». Вероятно, оно дано было сначала кем-нибудь из горных инженеров и было подхвачено рабочими, да так и пошло гулять по всем промыслам, как забористое и зубастое словечко, тем более что такой белой глины рабочие очень любили, — лопата ее не брала, а кайло вязло, как в воске. Такой «кавардак» встречается только в полосе березитов как продукт их разрушения.

Новое увлечение Карачунского Рублихой находилось в связи с его душевным настроением: это была его последняя ставка. «Оправдает себя» Рублиха, и Карачун-

ский спасен... Часто он совершенно забывался, сидя где-нибудь у машины и прислушиваясь к глухой работе и тяжелым вздохам шахты. Там, в темной глубине, творилась медленная, но отчаянная борьба со скупой природой, спрятавшей в какой-то далекий угол свое сокровище. И в душе у человека, в неведомых глубинах, происходит такая же борьба за крупницы правды, добра и чести. Ах, сколько тьмы лежит на каждой душе, и какими родовыми муками добываются такие крупницы... Большинство людей счастливо только потому, что не дает себе труда заглянуть в такие душевные пропасти и вообще не дает отчета в пройденном пути. Родион Потапыч потихоньку наблюдал Карачунского издали и старался в такие минуты не мешать барину «раздумываться». Ничего, пусть подумает... Раз они встретились глазами именно в такую минуту, и Карачунский весело улыбнулся.

— Знаешь, о чем я думал сейчас, Родион Потапыч?

— Не могу знать, Степан Романыч... У господ свои мысли, у нас, мужиков, свои, а чужая душа потемки... А тебе пора и подумать о своем-то лакомстве... У всех господ одна зараза, а только ты попревосходней других себя оказал.

— Вся разница в том, Родион Потапыч, что есть настоящие господа и есть поддельные. Настоящий барин за свое лакомство сам и рассчитывается... А мужик полакомится — и бежать.

— Видал я господ всяких, Степан Романыч, а все-таки не пойму их никак... Не к тебе речь говорится, а вообще. Прежнее время взять, когда мужики за господами жили, — правильные были господа, настоящие: зверь так зверь во всю меру, добрый так добрый, лакомый так лакомый. А все-таки не понимал я, как это всякую совесть в себе загасить... Про нынешних и говорить нечего: он и зло-то не может сделать, засилья нет, а так, одно званье што барин.

— А как ты меня понимаешь, Родион Потапыч?..

— Тебя-то? Бочка меду да ложка дегтю — вот как я тебя понимаю. Кабы не твое лакомство, цены бы тебе не было... Всякая повадка в тебе настоящая, и в слове тверд даже на редкость.

Карачунский приезжал на Рублиху даже ночью. Он вдруг потерял сон и ужасно этим мучился. А тут проехаться верст пять по свежему воздуху — отлично... Весна

уже брала свое. За день дорога сильно подтаивала, а к ночи все подмерзало. Заторы и колдобины покрывались тонким, как стекло, льдом, который со звоном хрустел под лошадиными копытами и санным полозом. А как легко дышится в такую весеннюю ночь... Небо бледное, звезды лихорадочно светят, в воздухе разлита чуткая дремота. Вообще хорошо. Нервы напряжены, а в теле разливается такая бодрая теплота, как в ранней молодости. В такие минуты хорошо думается и хорошо чувствуется. Раз, когда так почью Карачунский ехал один, ему вдруг пришла мысль: а что, если бы умереть в такую ночь?.. Умереть бодрым, полным сил, в полном сознании, а не беспомощным и жалким. Кучер, должно быть, вздремнул на козлах, потому что лошади подпимались па Краюхин увал шагом; колокольчик сонно бормотал под дугой, когда коренник взмахивал головой; пристяжная пряла ушами, горячим глазом вглядываясь в серый полумрак. Именно в этот момент точно из земли вырос над Карачунским верховой; его обдало горячее дыхание лошади, а в седле неподвижно сидел, свесившись на один бок по-киргизски, Кожин. Карачунский узнал его и почувствовал, как по спине пробежала холодная струйка. Кучер встрепенулся и подтянул вожжи.

— Эй ты, подалее, полуношник! — крикнул кучер.

Кожин ничего не отвечал, а только пустил лошадь рядом. Карачунский инстинктивно схватился за револьвер.

— Не бойсь, не трону, — ответил Кожин, выпрямляясь в седле. — Степан Романыч, а я с Фотьяпки... Ездил к подлецу Кишкину: на мои деньги открыл россыпь, а теперь и знать не хочет. Это как же?..

— У вас условие было какое-нибудь? — спрашивал Карачунский, сдерживая волнение.

— Какие там условия...

— Ну, тогда ничего не получите.

Кожин молча повернул лошадь, засмеялся и пропал в темноте. Кучер несколько раз оглядывался, а потом заметил:

— Не с добром человек едет...

— А что?

— Да уж так... Куда его черт несет ночью? Да и в словах мешается... Ночным делом разве можно подвезжать этак-ту: кто его знает, што у него на уме.

— Пустяки...

Ночью особенно было хорошо на шахте. Все кругом спит, а паровая машина делает свое дело, грузно повертывая тяжелые чугунные шестерни, наматывая канаты и вытягивая поршни водоотливной трубы. Что-то такое было бодрое, хорошее и успокаивающее в этой неумолчной, гигантской работе. Свои домашние мысли и чувства исчезали на время, сменяясь деловым настроением.

— Разве так работают...— говорил Карачунский, сидя с Родионом Потапычем на одном обрубок дерева.— Нужно было заложить пять таких шахт и всю гору изрыть — вот это разведка. Тогда уж золото не ушло бы у нас...

— Куда ему деваться, Степап Романыч... В горе оно спряталось.

— Да и вообще все наши работы ничего не стоят, потому что у нас нет денег на большие разведки и на настоящие, большие работы.

— Это ты правильно... Кабы настоящим образом ударить тот же Ульянов кряж...

Карачунский рассказывал подробно, как добывают золото в Калифорнии, в Африке, в Австралии, какие громадные компании основываются, какие страшные капиталы затрачиваются, какие грандиозные работы ведутся и какие баснословные дивиденды получаются в результате такой кипучей деятельности. Родион Потапыч только недоверчиво покачивал головой, а с другой стороны, очень уж хорошо рассказывал барин, так хорошо, что даже слушать его обидно.

— Мы как пищие...— думал вслух Карачунский.— Если бы настоящие работы поставить в одной нашей Балчуговской даче, так не хватило бы пяти тысяч рабочих... Ведь сейчас старатель сам себе в убыток работает, потому что не пропадать же ему голодом. И компании от его голода тоже нет никакой выгоды... Теперь мы купим у старателя один золотник и наживем на нем два с половиной, а тогда бы мы нажили полтицу с золотника, да зато нам бы принесли вместо одного пятьдесят золотников.

— Ну, это уж невозможно!— сказал Родион Потапыч.— Им, подлецам, сколько угодно дай — все равно пощат Ястребову.

— Тогда мы стали бы платить столько же, сколько платит Ястребов: если ему выгодно, так нам в сто раз выгоднее. Главное-то свои работы...

На этом пункте они всегда спорили. Старый штейгер

относился к вольному человеку-старателю с ненавистью старой дворовой собаки. Вот свои работы — другое дело... Это настоящее дело, кабы сила брала. Между разговорами Родион Потапыч вечно прислушивался к смешанному гулу работавшей шахты и, как опытный капельмейстер, в этой пестрой волне звуков сейчас же улавливал малейшую неверную ноту. Раз он соскочил совсем бледный и даже поднял руку кверху.

— Что случилось?

— Вода, Степан Романыч... — прошептал старик, опрометью бросаясь к насосу.

Несмотря на самое тщательное прислушивашье, Карачунский ничего не мог различить: так же хрипел насос, так же лязгали шестерни и железные цепи, так же под полом журчала сбегавшая по «сливу» рудная вода, так же вздрагивал весь корпус от поворотов тяжелого маховика. А между тем старый штейгер учуял беду... Поршень подавал совсем мало воды. Впрочем, причина была найдена сейчас же: лопнуло одно из колен главной трубы. Старый штейгер вздохнул свободнее.

— Ну, это не велика беда, — говорил он с улыбкой. — А я думал, не вскрылась ли настоящая рудная вода на глуби. Беда, ежели настоящая-то рудная вода прорвется: как раз одолеет и всю шахту зальет. Бывало дело...

Ош, кажется, переговорили обо всем, кроме главного, что лежало у обоих на душе. Родион Потапыч не проронил ни одного слова о Фене, а Карачунский молчал о деле Кишкина. Но это последнее неотступно преследовало его, получив неожиданный оборот. Следовательно по особо важным делам вызывал Карачунского в свою камеру уже три раза. Эти вызовы производили на Карачунского страшное, двойственное впечатление: знакомый человек, с которым он много раз играл в клубе в карты и встречался у знакомых, и вдруг начинает официальным тоном допрашивать о звании, имении, отчестве, фамилии, общественном положении и подробностях передачи казенных промыслов.

— Господин Карачунский, вы не могли, следовательно, не знать, что принимаете присковый инвентарь только по описи, не проверяя фактически, — тянул следовательно, записывая что-то, — чем, с одной стороны, вы прикрывали упущения и растраты казенного управления промыслами, а с другой — вводили в заблуждение собственных доверителей, — в данном случае компанию.

— Господин следователь, вам небезызвестно, что и в казенном деле, и в частном есть масса таких формальностей, какие существуют только на бумаге,— это известно каждому. Я сделал не хуже, не лучше, чем все другие, как те же мои предшественники... Чтобы проверить весь инвентарь такого сложного дела, как громадные промысла, потребовались бы целые годы, и затем...

— И затем?

— И затем я не желал подводить под обух своих предшественников, которые, как я глубоко убежден, были виноваты столько же, сколько я в данный момент.

— Вот это и важно, что вы сознательно прикрывали существование злоупотребления!

— Позвольте, господин следователь, я этого совсем не желал сказать и не мог... Я хотел только объяснить, как происходят подобные вещи в больших промышленных предприятиях.

— Это одно и то же, только вы говорите другими словами, господин Карачунский.

Такой прием злил Карачунского, и он чувствовал, как следователь берет над ним перевес своим профессиональным бесстрашием. Правосудие должно было быть удовлетворено, и козлом отпущения являлся именно он, Карачунский. Конечно, он мог свалить на своих предшественников, но такой маневр был бы просто глупым, потому что он сейчас не мог ничего доказать. И следователь был по-своему прав, выматывая из него душу и цепляясь за разные мелочи и пустяки. В конце концов Карачунский чувствовал себя в положении травленого зверя, которого опутывали цепкими тенетами. Могла разыгаться очень скверная штука вообще, да, кажется, в этом сейчас не могло быть и сомнения. По крайней мере, Карачунский в этом смысле ни на минуту не обманывал себя с первого момента, как получил повестку от следователя.

Интересна была произведенная следователем очная ставка Карачунского с Кишкиным. Присутствие доносчика приподняло Карачунского, и он держал себя с таким леденящим достоинством, что даже у следователя заронилось сомнение. Кишкин все время чувствовал себя сильно смущенным...

— Господин следователь, я желаю взять назад свой донос...— заявил Кишкин в конце концов, виновато опуская глаза.

— Я уже сказал вам, что это невозможно,— сухо отвечал следователь, продолжая писать.

— А если я по злобе это сделал?.. Просто от неприятностей, и сейчас сам не помню, о чем писал... Бедному человеку всегда кажется, что все богатые виноваты.

— Теперь вы, кажется, разбогатели и не можете жаловаться на судьбу... Одним словом, это к делу не относится...

Когда Карачунский вышел на подъезд следовательской квартиры, Кишкин догнал его и торопливо проговорил:

— А я не виноват, Степан Романыч... Про вас-то я ни одного слова не говорил, а про других.

— Что вам от меня нужно?..— сурово спросил Карачунский, меряя старика с ног до головы.— Я вас совсем не знаю и не желаю знать...

Это презрение образумило Кишкина, точно на него пахнуло холодным воздухом, и он со злобой подумал:

«Погоди, шляхта, уж запоешь матушку-решку, когда приструнят...»

Карачунскому этот подлый старичонка-доносчик внушал непреодолимое отвращение, как пресмыкающаяся гадина. Сознавая всю опасность своего положения, он гордился тем, что ничего не боится и встретит неминуемую беду с подобающим хладнокровием. Теперь уже в отношениях собственных служащих он замечал свое фальшивое положение: его уже начинали игнорировать, особенно Монморанси, которых он прикармливал. Из допросов следователя Карачунский понимал, что, кроме доноса Кишкина, был еще чей-то дополнительный донос прямо о нем, и подозревал, что его сделал Оников. Этот молодой человек старательно избегал встреч с Карачунским, чем еще больше подтверждал подозрения. Промысловые служащие, конечно, знали о всем происходившем и смотрели на Карачунского, как на обреченного человека. Все это создавало взаимно-фальшивые отношения, и Карачунский желал только одного, чтобы все это поскорее разрешилось так или иначе.

Вот о чем задумывался он, проводя ночи на Рублихе. Тысячу раз мысль проходила по одной и той же дороге, без конца повторяя те же подробности и производя гнетущее настроение. Если бы открыть на Рублихе хорошую жилу, то тогда можно было бы оправдать себя в глазах

компании и уйти из дела с честью: это было для него единственным спасением.

В то время, пока Карачунский все это думал и передумывал, его судьба уже была решена в глубинах главного управления компании Балчуговских промыслов: он был отрешен от должности, а на его место назначен молодой инженер Оников.

VI

На Фоминой вековушка Марья сыграла свадьбу-самокрутку и на свое место привела Наташку, которая уже могла «отвечать за настоящую девку», хотя и выглядела тоненьким подростком. Баушку Лукерью много утешало то, что Наташка лицом напоминала Феню, да и характером тоже.

— Живи и слушайся баушки,— наказывала строго Марья.— И к делу привыкнешь, и, может, свою судьбу здесь-то и найдешь... У дедушки немного бы высидела, да там и без тебя полная изба едоков.

Наташка была рада этой перемене и только тосковала о своем братишке Петруньке, который остался теперь без всякого призора. Отец Яша вместе с Прокопьем пропадали где-то на промыслах и дома показывались редко.

— Смаялась я с девками,— ворчала баушка Лукерья.— На одном году четвертую беру... А все промысла. Грех один с этими девками...

Марья с мужем попустила к Кишкину на Богоданку, где весной закипела горячая работа. На берегу Мутяшки по щучьему велению выросла новая контора, а при ней была налажена обещанная стариком горенка для Марьи. Весело было на Богоданке, как в праздник. Рабочих набралось больше трехсот человек. Со стороны Мутяшки еще зимой была устроена из глины и хворосту плотина, а затем вся вода из болота выкачена паровой машиной. Зимой же половина россыпи была вскрыта, и верховик пошел на плотину, так что зараз делалось два дела. Пески промывали бутарой, которая гремела день и ночь, как прожорливое чудовище с железным брюхом. Россыпь оказалась прекрасной — в среднем около полуторых золотников содержания. Кишкин жил в своей конторе и сам смотрел за всем, не доверяя постороннему глазу. При нем проис-

ходила доводка золота в полдень и вечером, и он сам отжигал на огне полученную «сортучку», как называют на промыслах соединение ртути с золотом. Мелкое золото улавливалось ртутью. Несколько старательских артелей были допущены только для выработки бортов, как на больших промыслах, и Кишкин каялся в этом поущении, потому что вечно подозревал старателей в воровстве. Старик ни в чем не изменил образа жизни и ходил в таком же рвапом архалуке, как и в прошлом году. Единственная роскошь, которую он позволил себе, была трубка с длинным черешневым чубуком. Жил он очень грязно, ходил в грязном белье и скупился ужасно. Даже чай ходил пить к своему штейгеру Семенычу, чтобы сэкономить на этой разорительной привычке. Марья, впрочем, не подавала вида, что замечает эту старческую жадность, и охотно угощала старика всем, что было под рукой.

— Все кричат: богатство! — жаловался Кишкин. — А только вот я не вижу его до сих пор... Нечем долг заплатить баушке Лукерье. Тут тебе паровая машина, тут вскрыша, тут бутара, тут плотина... За все деньги подай, а деньги из одного кармана.

— А как же баушка-то Лукерья? Завидная опа до денег...

— Проценты плачу... Ох, разоренье, Марьюшка!..

— Ну, как-нибудь, Андрон Евстратыч. Бог не без милости...

— Главное, всем деньги подавай: и штейгеру, и рабочим, и старателям. Как раз без сапогов от богатства уйдешь... Да еще сколько украдут старателишки. Не углядишь за воров... Их много, а я-то ведь оди. Не разорваться...

Всего больше Кишкин не любил, когда на прииск приезжали гости, как тот же Ястребов. Знаменитый скупщик делал такой вид, что ему все равно и что он нисколько не завидует дикому счастью Кишкина.

— Старайся, старайся, старичок божий... — весело говорил он, похлопывая Кишкина своей тяжелой рукой по плечу. — Любая половина моих рук не минует... Пряменько скажу тебе, Андрон Евстратыч. Быль молодцу не укора...

— Знаю я вас, разбойников! — брюзжал Кишкин. — Только ведь со мной шутки-то плохие, Никита Яковлич...

— Не пугай, ради Христа... ха-ха!.. А что сделаешь?

— А вот это самое... Я, брат, дубленый: все ваши ходы и выходы знаю. Меня, брат, не проведешь...

В другой раз Ястребов привез с собой самого Илью Федотыча, ездившего по промыслам для собственного развлечения.

— Посмотреть приехал на тебя, чудо-юдо,— пошутил секретарь милостиво.— Разбогател, так и меня знать не хочешь.

— Он нынче гордый стал,— поддержал Ястребов расшутившегося секретаря.— Голой рукой и не возьмешь...

— А еще однокашники,— продолжал Илья Федотыч.— Скоро, пожалуй, на улице встретит и не узнает... Вот тебе и дружба. Хе-хе... А еще говорят, что старая хлеб-соль впереди.

Сильный был человек Илья Федотыч, так что Кишкин для него послал в Балчуговский завод за бутылкой мадеры, благо секретарь остается ночевать в Богоданке.

— Да, вот какие дела, Андрон...— говорил он вечером, когда они остались в конторе одни.— Приехал получить с тебя должок. Разве забыл?

— Все отдам, Илья Федотыч, только дай с деньгами собраться...— жалостливо уверял Кишкин.— Никкак не могу сбиться деньгами-то. Вот еще свои в землю закапываю...

— Перестань врать!.. Других морочь, а меня-то оставь.

Марья вертелась на глазах целый вечер и сумела угодить Илье Федотычу. Она подала и сливок к чаю, и ягод, а на ужин состряпала такие пельмени, что язык проглотить. Кишкин только поморщился, что разгулялась баба на чужую провизию, но Марья успокоила его: она все делала из своего.

— Нельзя же кое-как, Андрон Евстратыч,— уговаривала она старика своим уверенным тоном.— Пригодится еще Илья-то Федотыч... Все за ним ходят, как за кладом.

— Ох, знаю, Марьюшка... Да мне-то какая от этого корысть?.. Свою голову не знаю, как прокормить... Ты расхарчилась-то с какой радости?

— Нельзя, Андрон Евстратыч: порядок того требует. Тоже видали, как добрые люди живут...

Илья Федотыч за бутылкой хереса сообщил Кишкину последнюю новость, именно о назначении О니кова главным управляющим Балчуговских промыслов.

— А куда же Карачунский? — удивился Кишкин.

— Ну, это его дело... Может, ты же ему место-то приспособил своим доносом. Влетел он в это самое дело, как кур во щи... Ах, Андрюшка, бить-то тебя было некому!..

— От бедности очертел тогда,— согласился Кишкич.— Терпел-терпел и надумал...

За бутылкой вина старики разговорились о старине, о прежних людях, о похороненном казенном времени, о нынешних порядках и нынешних людях. Илья Федотыч как-то осовел и точно размяк.

— Пожалуют балчуговские-то о Карачупском,— повторял секретарь.— И еще как пожалуют... В узде держал, а только с толком. Умный был человек... Надо правду говорить. Оников-то покажет себя...

— Народ изварначился нынче, Илья Федотыч...

— Ну, это тоже суди на волка и суди по волку. Промысла-то везде одинаковы,— сегодня вскачь, а завтра хоть плачь.

— Разжалобился ты што-то уж очень, Илья Федотыч... У себя в канцелярии так зверь зверем сидишь, а тут жалость напустил.

— Ох, помирать скоро, Андрюшка... О душе надо подумать. Прежние-то люди больше нас о душе думали; и греха было больше, и спасения было больше, а мы ни богу свеча, ни черту кочерга. Вот хоть тебя взять: напал на деньги и съежился весь. Из пушки тебя не прошибешь, а ведь подохнешь, с собой ничего не возьмешь. И все мы такие, Андрюшка... Хороши, пока голодны, а как насосались — и конец.

— Тебе в попы идти, Илья Федотыч,— рассердился Кишкин.— В самый раз с постной молитвой ездить...

Это жалостливое настроение Ильи Федотыча, впрочем, сменилось быстро игривым. Он долго смотрел на Марью, а потом весело подмигнул и заметил:

— Игрушка?..

— Хороша Маша, да не наша... С мужем живет.

— Што же, это еще лучше, коли с мужем... хи-хи!.. Из-за мужа-то и хозяина пожалеет...

Илья Федотыч рано утром был разбужен неистовым ревом Кишкина, так что в одном белье подскочил к окну. Он увидел каких-то двух мужиков, над которыми воевал Андрон Евстратыч. Старик расходился до того, что, как петух, так и насакивал на них и даже замахивался своей трубкой. Один мужик стоял с уздой.

— Грабить меня пришли?! — орал Кишкин. — Петр Васильич, побойся ты бога, ежели людей не стыдишься... Знаю я, по каким делам ты с уздой шляешься по промыслам!..

— Мы нащел работы, Андрон Евстратыч, — заявил другой мужик. — Чем мы грешнее других-прочих?.. Отвел бы делянку — вот и весь разговор.

Это были Петр Васильевич и Мыльников, шлявшися по промыслам каждый по своему делу. На крик Кишкипа собрались рабочие и подняли гостей на смех.

— Ты их обыщи, Андрон Евстратыч, — советовал кто-то. — Мыльников-то заместо коромысла отвечает у Петра Васильича.

— Ну и обыщи, коли на то пошло! — согласился Петр Васильич, распоясываясь. — Весь тут... Хоть вывороти.

— А мне надо сестрицу Марью повидать, — заявлял Мыльников не без достоинства. — Кожин тебе кланяется, Андрон Евстратыч.

Выскочившая на шум Марья увела родственников к себе в горенку и этим прекратила скандал.

— Скупщики... — коротко объяснил Кишкин педоумевавшему гостю. — Вот этот, кривой-то, настоящий и есть змей... От Ястребова ходит.

— Ну, у хлеба не без крох, — равнодушно заметил секретарь. — А я думал, что тебя уж режут...

— И зарежут...

Мыльников сидел в горнице у сестрицы Марьи с самым убитым видом и говорил:

— Вот, Марьюшка, до чего дожил: хожу по промыслам и свою Оксю разыскиваю. Должна же она своего родителя убоготорить?.. Конечно, она в законе и всякое прочее, а целый фунт золота у меня стащила...

— Мало ли что зря люди болтают, — успокаивала Марья. — За терпенье Оксе-то бог судьбу послал, а ты оставь ее. Не ровен час, Матюшка-то и бока наломает.

— Прямо убьет, — соглашался Мыльников. — Зятя бог послал... Ох, Марьюшка, только и жисть наша горемышная.

— Пировал бы меньше, Тарас... Правду надо говорить. Татьяну-то сбыв тятеньке на руки, а сам гуляешь по промыслам.

Мыльников удрученно молчал и чесал затылок. Эх, кабы не водочка!.. Петр Васильич тоже находился в удру-

ченном настроении. Он вздыхал и все посматривал на Марью. Она по-своему истолковала это настроение милых родственников и, когда вечером вернулся с работы Семеныч, выставила полуштоф водки с закуской из сушеной рыбы и каких-то грибов.

— Не обессудьте па угощении, гостеньки дорогие...— приговаривала она.

— Ах, Марьюшка, родная сестрица! — ахнул Мыльников. — Вот когда ты уважила...

Семеныч чувствовал себя настоящим хозяином и угощал с подобающим радушием. Мыльников быстро опьянел, — он давно не пил, и водка быстро свалила его с ног. За ним последовал и Семеныч, непривычный к водке вообще. Петр Васильич пил меньше других и чувствовал себя прекрасно. Он все время молчал и только поглядывал на Марью, точно что хотел сказать.

— Очертел Шишка-то... — заговорил наконец Петр Васильич, когда остался с глазу на глаз с Марьей. — Как змей накинудся даве на нас...

— Его не обманешь: наскрозь видит каждого.

— Видит, говоришь? — засмеялся Петр Васильич. — Кабы видел, так не бросился бы... Разе я дурак, чтобы среди бела дня идти к нему на прииск с весками, как прежде. Нет, мы тоже учены, Марьюшка...

— Спрятал в лесу где-нибудь весы-то свои?

— Обыкновенно... И Тарас не видал, потому несуразный он человек. Каждое дело мастера боится... Вот твое бабье дело, Марья, а ты все можешь понимать.

Петр Васильич придвинулся к ней поближе и спросил шепотом:

— А есть у тебя какое-нибудь женское дело с Шишкой?

Марья отрицательно покачала головой и засмеялась.

— Себя соблюдаешь, — решил Петр Васильич. — А Шишка, вот погляди, сбрендит... Он теперь отдохнул и первое дело за бабой погонится, потому как хоша и не настоящий барин, а повадку-то эту знает.

— Так поглядывает, а штобы приставал — этого нет, — откровенно объяснила Марья. — Да и какая ему корысть в мужней жене...хлопот много. Как-то он проезжал через Фотьянку и увидал у вас Наташку. Ну, приехал веселый такой и все про нее расспрашивал: чья да откуда...

— Про Наташку, говоришь? Польстился, значит...

— Не корыстна еще девчонка, а ему любопытно. Вот строглазая, говорит... С баушкой-то у него свои дела. Она ему все деньги отвалила и проценты получает...

— Так, так... Ума последнего решилась старуха. Уж я это смекал... Так, своим умом дошел... Ах, пес! Ловко обошел мамыньку... Заграбастал деньги. Пусть насосется хорошенько... Поди, много денег-то у старого черта?

— А кто его знает... Мне не показывает. На ночь очесть уж запираяться стал: к окнам изнутри сделал железные ставни, дверь двойная и тоже железом окована... Железный сундук под кроватью, так в ем у него деньги-то...

— В сундуке? Так, Марьюшка... А тяжелый сундук-то?

— Да не унести его совсем, потому к полу он привинчен... Я как-то мела в конторе и хотела передвинуть, а сундук точно пришит...

Петр Васильич еще ближе придвинулся к Марье и слушал эти объяснения, затаив дыхание. Когда Марья взглянула на это искаженное конвульсивной улыбкой лицо, то даже отодвинулась от страха.

— Петр Васильич...

— А што?..

— Нет, к чему ты выпрашиваешь-то? Да ты в уме ли? Христос с тобой...

Петр Васильич опомнился и отвернулся. У него стучали зубы от охватившей его лихорадки. Марья схватила его за руку — рука была холодная, как лед.

— Ключик добудь, Марьюшка... — шептал Петр Васильич. — Вызнай, высмотри, куды он его прячет... С собой посит? Ну, это еще лучше... Хитер старый пес. А денег у него неочерпаемо... Мне в городе сказывали, Марьюшка. Полтора пуда уж сдал он золота-то, а ведь это тридцать тысяч голеньких денежек. Некуда ему их девать. Выждать, когда у него большая получка будет, и накрыть... Да ты-то чего боишься, дура?

— Ах, страшно... уйди...

— Одинова страшно-то, а там на всю жисть богачество... Живи себе барыней. Только твоей и работы: ключик от сундука подглядеть.

Побелевшая Марья отчаянно замахала обеими руками. Петр Васильич посмотрел на нее с ненавистью и прошипел:

— Не хочешь, так Наташку приспособим... Девчонка вострая, а старичку это и любопытно.

В ночь Петр Васильич ушел с Богодапки, а Марья осталась как ошпаренная. Даже муж заметил, что с бабой творится что-то пеладное.

— Неможется што-то,— коротко объяснила она.

VII

— Когда же ты помрешь, Дарья? — серьезно спрашивал Ермолай свою супругу.— Этак я с тобой всех невест пропущу... У Зыковых было две невесты, а теперь ни одной не осталось. Феня с пути сбилась, Марья замуж выскочила. Докуда я ждать-то буду?..

— А Наташка? — виновато отвечала Дарья.— Может, к осени господь меня приберет, а Наташка к этому времени как раз заневестится...

— Опять омманешь, лахудра!..— ругался Ермошка, приходя в отчаяние от живучести Дарьи.— Ведь в чем душа держится, а все скрипишь... Пожалуй, еще меня переживешь этак-то.

— Помру, Ермолай Семеныч. Потерпи до осени-то.

С горя Ермошка запивал несколько раз и бил безответную Дарью чем попало. Ледащая бабенка замертво лежала по несколько дней, а потом опять поднималась.

— Не по тому месту бьешь, Ермолай Семеныч,— жаловалась она.— Ты бы в самую кость норовил... Ох, в чужой век живу! А то страви чем ни на есть... Вон Кожип как жену свою изводит: одна страсть.

— Дурак он, Кожин-то: еще наотвечается потом...

Нет такого положения, хуже которого не было бы. Так было и здесь. Плохо жилось Дарье. Она давно записалась в живые покойники, а у Кожиных было хуже. Кожин совсем озверел и на глазах у всех изводил жену. В мороз оп выгонял ее во двор босую, гонялся за ней с ножом, бил до беспамятства и вообще проделывал те зверства, на какие способен очертевший русский человек. Знали об этом все соседи, женина родня, вся Тайбола, и ни одна душа не заступилась еще за несчастную бабу, потому что между мужем и женой один бог судья. Бабенка попалась молоденькая и совершенно безответная. Таковую выбрала сама мамышка Маремьяна, желавшая оставаться в дому полпой хозяйкой. Даже беременность не спасла эту несчастную, и Кожин бил ее еще сильнее, вымещая свое неиз-

бывное горе. Ведь не могла затяжелеть Фея, — тогда бы все другое вышло. Мамынька Маремьяна пробовала заступаться за невестку, но из этого ничего не вышло.

— Твоя работа: гляди и казись! — кричал Кожин, накидываясь на жену с повой яростью. — Убью подлюгу... Видеть ее не могу.

В раскольниковом мире нравы не отличаются мягкостью, но все домашние дела покрывались чисто раскольничьим молчанием, из принципа — не выносить сора из дому.

Дошли слухи о зверстве Кожина до Феи и ужасно ее огорчали. В первую минуту она сама хотела к нему ехать и усостыжить, но сама была «на тех порах» и стыдилась показаться на улицу. Ее вывел из затруднения Мыльников, который теперь завертывал пожаловаться на свою судьбу.

— Тарас, хоть бы ты усостыжил Акинфия Назарыча...

— Могу соответствовать, Фенюшка... Ах, какой грех, подумаешь!

— Ты ему так и скажи, что я его прошу... А то пусть сам завернет ко мне, когда Степана Романыча не будет дома. Может, меня послушает...

— Нет, это не модель, Фенюшка. Тот же Ганька переплеснет все Степану Романычу... Негожее это дело. А я в лучшем виде все оборудую... Я его напугаю, Акинфия-то Назарыча.

— Да ты поскорее, Тарас... Долго ли до греха: убьет еще Акинфий-то Назарыч жену...

Для большего поощрения Фея сунула Тарасу немного денег.

— Живой рукой слетаю, Федосья Родивоновна. Я его сокращу, Акинфия Назарыча... Со мной, брат, короткие разговоры.

Действительно, Мыльников сейчас же отправился в Тайболу. Кстати, его подвез знакомый старатель, ехавший в город. Ворота у кожинского дома были на запоре, как всегда. Тарас «помолитвовался» под окошком. В окне мелькнуло чье-то лицо и сейчас же скрылось.

— Да это я! — кричал Мыльников, влезая на завалинку и заглядывая в окно. — Не узнали, што ли?.. Баушка Маремьяна... а?..

Наконец показался сам Кожин. Он, видимо, был чем-то смущен и неохотно отворил окно.

— Чего лезешь-то? — неприятливо спросил он.

— А дело есть, от того самого и лезу...

— Врешь!

— Вот сейчас провалиться...

— Ну, иди...

Кожин сам отворил ворота и провел гостя не в избу, а в огород, где под березой, на самом берегу озера, устроена была небольшая беседка. Мыльников даже обомлел, когда Кожин без всяких разговоров вытащил из кармана бутылку с водкой. Вот это называется ударить человека прямо между глаз... Да и место очень уж было хорошее. Берег спускался крутым откосом, а за ним расстилалось озеро, горевшее на солнце, как расплавленное. У самой воды стояла каменная кожевпя, в которой летом работы было совсем мало.

— Ах, какое приятное место! — восхищался Мыльников. — Только водку пить на таком месте...

— Какое дело-то? Опять золотом обманывать хочешь?

— Нет, брат, с золотом шабаш!.. Достаточно... Да потом я тебе што скажу, Акипфий Назарыч: дураки мы... да. Золото у нас под рылом, а мы его по лесу разыскиваем... Вот давай ударим ширп у тебя в огороде, вон там, где гряды с капустой. Ей-богу... Кругом золото у вас, как я погляжу.

Они вышивали и болтали о разных разностях. Мыльников рассказал о Кишкине, как тот «распыхался» на своей Богоданке, о старательских работах, о том, как Петр Васильич скупает золото, о пропавшем без вести Матюшке и т. д. Кожин больше молчал, прислушиваясь к глухим стонам, доносившимся откуда-то со стороны избы. Когда Мыльников насторожился в этом направлении, он равнодушно заметил:

— Собака у меня, надо полагать, сбесилась... Ужо пристрелить надо стерву.

Когда Кожин ушел в избу за второй бутылкой, Мыльников не утерпел и побежал посмотреть, что делается в подклети, устроенной под задней избой. Заглянув в небольшое оконце, он даже отшатнулся: ему показалось, что у стены привязан был ремнями мертвец... Это была несчастная жена Кожина, третьи сутки стоявшая у стены в самом неудобном положении, — она не могла выпрямиться и висела на руках, притянутых ремнями к стене. Мыльников перепугался до того, что весь хмель у него вышибло

из головы, когда вернулся Кожин. Что было делать? Первая мысль — сейчас бежать и заявить в волости. Нельзя же так тиранить живого человека... Эти кержаки расстервеются, так кожу готовы снять с живого человека. Но, с другой стороны, ведь вся Тайбола знает, что Кожин изводит жену насмерть, и волостные знают, и вся родня, а его дело сторона. Еще по судам учнут таскать... Да и дело совсем чужое, никого не касаемое. Убьет жену Кожин — сам и ответит, а пока жена в живости — никого это не касаемо, потому муж, хоша и сводный.

Так Мыльников ничего и не сказал Кожину, движимый своей мужицкой политикой, а о поручении Фени припомнил только по своем возвращении в Балчуговский завод, то есть прямо в кабак Ермошки. Здесь пьяный он разболтал все, что видел своими глазами. Первым вступился, к общему удивлению, Ермошка. Он поднял настоящий скандал.

— Да разве это можно живого человека так увечить?! — орал он на весь кабак, размахивая руками. — Кержаки так кержаки и есть... А закон и на них найдем!..

Весь кабак был на его стороне. Много помогал темный антагонизм православного населения к раскольникам, который окрасился сейчас вполне определенными чувствами. В кабацких завсегдаях и пропойщиках проснулась и жалость к убиваемой женщине, и совесть, и страх, именно те законно-хорошие чувства, которых недоставало в данный момент тайбольцам, знавшим обо всем, что делается в доме Кожина. Как это ни странно, но взрыв гуманных чувств произошел именно в кабаке, и в голове этого движения встал отпетый кабатчик Ермошка.

— Нет, братцы, так нельзя! — выкрикивал он своим хриплым кабацким голосом. — Душа ведь в человеке, а они ремнями к стене... За это, брат, по головке не погладят.

— Своими глазами видел... — бормотал Мыльников, не ожидавший такого действия своих слов. — Я думал, мертвяк, и даже отшатился, а это она, значит, жена Кожина распята... Так на руках и висит.

— Прямо к прокурору надо объявить, потому самое уголовное дело, — заявлял Ермошка тоном сведущего человека. — Учить жену учи, а это уж другое...

— Да мы сами пойдем и разнесем по бревнышку все кержацкое гнездо! — кричали голоса. — Православные так

не сделают никогда... Случалось, и убивали баб, а только не распинали живьем.

— Нет, погодите, братцы, я сам оборудую...— решил Ермошка.

Первым делом он пошел посоветоваться с Дарьей: особенное дело выходило совсем, Дарья даже расплакалась, напутствуя Ермошку на подвиг. Чтобы не потерять времени и не делать лишней огласки, Ермошка полетел в город верхом на своем иноходце. Он проникся необыкновенной энергией и поднял на ноги и прокурорскую власть, и жандармерию, и исправника.

— Застанем либо нет ее в живых! — повторял он в азитации.— Христианская душа, ваше высокоблагородие... Конечно, все мы, мужики, в зверстве себя не помним, а только и закон есть.

В Тайболу начальство нагрянуло к вечеру. Когда подъезжали к самому селению, Ермошка вдруг струсил: сам он ничего не видал, а поверил на слово пьяному Мыльникову. Тому с пьяных глаз могло и померещиться незнамо что... Однако эти сомнения сейчас же разрешились, когда был произведен осмотр кожинского дома. Сам хозяин спал пьяный в сарае. Старуха долго не отворяла и бросилась в подклеть развязывать сноху, но ее тут и накрыли.

Картина была ужасная. И прокурорский надзор и полиция видали всякие виды, а тут все отступили в ужасе. Несчастная женщина, провисевшая в ремнях трое суток, находилась в полусознательном состоянии и ничего не могла отвечать. Ее прямо отправили в городскую больницу. Кожин присутствовал при всем и оставался безучастным.

— Будет тебе два неполных!..— заметил ему Ермошка.— Еще бы вепчаяная жена была, так другое дело, а над сводной зверство свое оказывать не полагается.

Кожин только посмотрел на него остановившимися страшными глазами и улыбнулся. У него по страшной ассоциации идей мелькнула в голове мысль, почему он не убил Карачунского, когда встретил его ночью на дороге,— все равно бы отвечать-то. Произошла раздирательная сцена, когда Кожина повезли в город для предварительного заключения. Старуху Маремьяну едва оттащили от него.

— Оставь, мамынька...— сухо заметил Кожин, а потом у него дрогнуло лицо, и он снопом повалился матери в ноги.— Родимая, прости!

— Голубчик... кормилец...— завывала старуха в испугении.

— Надо бы и ее, выше высокоблагородие, старушонку эту самую...— советовал Ермошка.— Самая вредная женщина есть... От нее все...

Когда Кожин сел в телегу, то отыскал глазами в толпе Ермошку и сказал:

— Скажи поклончик Фене, Ермолай Семеныч... А тебя бог простит. Я не сердитую на тебя...

В толпе показался Мыльников, который нарочно пришел из Балчуговского завода пешком, чтобы посмотреть, как будет все дело. Обрато он ехал вместе с Ермошкой.

— На каторгу обсудят Акинфия Назарыча? — приста-вал он к Ермошке.

— А это видно будет... На голосах будут судить с присяжными, а это легкий суд, ежели жена выздоровеет. Кабы она померла, ну, тогда крышка... Живучи эти бабы, как кошки. Главное, невенчанная жена-то — вот за это за самое не похвалят.

— И венчаных-то тоже не полагается увечить...— усомнился Мыльников.

— Про венчанную так и говорится: мужняя, а эта ничья. Все одно, как пригульная скотина... Я, брат, эти все законы насквозь произошел, потому в кабаке без закону невозможно.

— Уж это известное дело...

По дороге Мыльников завернул в господский дом, чтобы передать Фене обо всем случившемся.

— Управился я с Акинфием Назарычем,— хвастался он.— Обернул его прямо на каторгу, вольное поселение... Теперь шабаш!..

Феня тихо крикнула и едва удержалась на ногах. Она утащила Мыльникову к себе в комнату и заставила рассказать все несколько раз. Господи, да что же это такое? Неужели Акинфий Назарыч мог дойти до такого зверства?..

— Как посадили его на телегу, сейчас он снял шапку и на четыре стороны поклонился,— рассказывал Мыль-ников.— Также знает порядок... Ну, меня увидал и крикнул: «Федосье Родивоновне скажи поклончик!» Так, помутился он разумом... не от ума...

Это происшествие совершенно разбило Феню, так что она слегла в постель, а ночью выкинула мертвого ребенка. Карачунский чувствовал себя тоже ошеломленным,

точно над его головой разразился неожиданно удар грома. У него точно что порвалось в душе, та больная ниточка, которая привязывала его к жизни. Больная Феня казалась совсем другой — лицо побледнело, вытянулось, глаза округлились, нос заострился. Она не жаловалась, не стонала, не плакала, а только смотрела своими большими глазами, как смертельно раненная птица. Карачунскому было и совестно, и больно за эту молодую, неусдовлетворенную жизнь, которую он не мог ни согреть, ни успокоить ответным взглядом.

— Я его больше не люблю... — прошептала Феня в одну из таких молчаливых сцен.

— Девочка, милая...

— А все-таки, Степан Романыч, лучше бы мне умереть...

— Жить еще будем, Феня.

У кабатчика Ермошки происходили разговоры другого характера. Гуманный порыв соскочил с него так же быстро, как и налетел. Хорошие и жалобные слова, как «совесть», «христианская душа», «живой человек», уже не имели смысла, и обычная холодная жестокость вступила в свои права. Ермошке даже как будто было совестно за свой подвиг, и он старательно избегал всяких разговоров о Кожине. Прежде всего начал вышучивать Ястребов, который нарочно заехал посмеяться над Ермошкой.

— С чего ты это сунулся в чужое дело? — приставал Ястребов. — Этак ты и на меня побежишь жаловаться?..

— Стих такой накатился, Никита Яковлич... Обидно стало, что живого человека тиранят.

— Да ты-то разве прокурор?.. Ах, Ермолай, Ермолай... Дыра у тебя, видно, где-нибудь есть в башке, не иначе я это самое дело понимаю. Теперь в свидетели потащат... ха-ха!.. Сестра милосердная ты, Ермошка...

Естественным результатом всей этой истории было то, что Дарья получила науку хуже прежнего. Разозленный Ермошка вымещал теперь на ней свое унижение.

— Скоро ли ты издохнешь, змея подколодная? — рычал он, пиная Дарью тяжелым сапогом. — Убить тебя мало...

Что возмущало Ермошку больше всего, так это то, что Дарья переносила все побои как деревянная, — не пикнет.

Кедровская дача нынешнее лето из конца в конец кипела промысловой работой. Не было такой речки или ложка, где не желтели бы кучки взрытой земли и не чернели заброшенные шурфы, залитые водой. Все это были разведки, а настоящих работ поставлено было пока сравнительно немного. Одни места оказались не стоящими разработки по малому содержанию золота, другие не были еще отведены в полной форме, как того требовал горный устав. Работало десятка три приисков, из которых одна Богоданка прославилась своим богатством.

Женившийся Матюшка вместе со своей молодойкой исходил всю дачу, присматриваясь к местам. Заявлять свой прииск он не хотел, потому что много хлопот с такими заявками, да и ждать приходилось, пока сделают отвод. Это Кишкину было хорошо, когда своя рука в горном правлении, а мужик жди да подожди. Вместе с Матюшкой ходили старый Турка, Яша Малый и Прокопий. Они артелью кое-где брали старательские делянки на приисках у Ястребова, работали неделю или две, а потом бросали все и уходили. Всех тянуло разыскать настоящее место вроде Богоданки. Можно было купить уже готовый прииск у мелких золотопромышленников или взять в аренду.

— Только бы поманило малость,— повторял Матюшка с деловым видом.— Общцем золото...

Матюшке, впрочем, было с полгоря прохладяться, потому что все знали, какие у него деньги запрятаны в кожаном кисете, висевшем на шее. Положим, он своих денег никому не показывал, но все знали досконально, что Петр Васильич отсчитал четыре сотенных билета за выкраденное Оксей золото. Плохо приходилось Яше Малому и Прокопию, но они крепились: сыты, и то хорошо. Огорчала их носившаяся быстро на работе одежда и обувь, но ведь все это было только пока, временно, а найдется золото, тогда сразу все поправятся. Мыльников так и не заплатил им.

— Простому рабочему везде плохо: што у компании нашей работать, што у золотопромышленников...— жаловался иногда Яша Малый, когда оставался с зятем, Прокопием с глазу на глаз.— На што Мыльников, и тот вон как обул нас на обе ноги.

Прокопий, по обыкновению, молчал. Ему нравилась эта бродячая жизнь, если бы не заботила своя семья. Целые

ночи он продумывал о жене Анне и своих ребятишках: что-то они там, как живут, как перебиваются?.. Иногда его брало такое горе, хоть петлю на шею, так в ту же пору. И зачем он ушел тогда с фабрики, — жил бы теперь в тепле, в сухе и без заботы. Но это раздумье разлеталось вместе с ночным сумраком... Разве один он так-то волком бродит по лесу?.. Тысячи рабочих бьются на промыслах, и у всех одно положение. Стоило вообще мужику или бабе один раз попасть в промысловое колесо, как он сразу делался обреченным человеком.

— Ты, Оксюха, уж постарайся для нас-то, — шутили часто рабочие над своей молодойкой. — Родителю приспособила жилку, ну и нам какое-нибудь гнездышко укажи.

Окся была счастлива коротким бабьим счастьем и даже как будто похорошела. Не стало в ней прежней дикости, да и одевалась она теперь лучше, главным образом потому, чтобы не срамить мужа.

Матюшка часто с удивлением смотрел на нее и только качал своей кудрявой головой. Вот уж поистине от судьбы не уйдешь, — какие девки заглядывались на него, а женился на Оксе. Впрочем, на мужицкий промысловый аршин, Окся была настоящая приисковая баба, лучше которой и не придумать: она обшивала всю артель, варила варево, да в придачу еще работала за мужика. И мужики любили ее, хоть и вышучивали при случае. Работящая баба, настоящая двужилная лошадь, да и здоровье такое, что мужику впору. Яша Малый и Прокопий даже ухаживали за Оксей, которая придавала их промысловому скитанью почти семейный характер, да, кроме всего этого, и человек-то свой. По вечерам около огонька шли такие хорошие домашние разговоры, центром которых всегда была Окся.

— Корову бы нам, Оксюха, — мечтал Яша. — Корму в лесу сколько угодно... Ловко бы?.. Водили бы ее за собой с прииска на прииск, как цыгане...

— И лучше бы не надо... — соглашалась Окся авторитетным тоном настоящей бабы-хозяйки. — С молоком бы были, а то всухомятку надоело...

Окся с собой таскала целый ворох каких-то тряпиц и всю походную кухню. Мужики ругались, когда приходилось перетаскивать с прииска на прииск этот скарб, но зато на стоянках было все свое — и чашки, и ложки, и даже что-то вроде подушек. По праздникам Окся клала

бесчисленные заплаты на обносившуюся промысловую одежду и в свою очередь ругала мужиков, не умевших иглы взять в руки. А главное, Окся умела починивать обувь и одним этим ремеслом смело могла бы существовать на промыслах, где обувь — самое дорогое для рабочего, вынужденного работать в грязи и по колена в воде. Все другие рабочие завидовали талантам Окси и не могли ею нахвалиться, так что Матюшка только удивлялся, какой клад, а не баба ему досталась.

— Одного нам теперь недостает, Оксюха,— шутили мужики,— разродись ты нам мальчонкой или девчонкой... Вполне бы с хозяйством были.

Деньги Матюшки, как он ни крепился, уплывали да уплывали, потому что за все и про все приходилось расплачиваться за всю артель ему. Старательского своего заработка едва хватало на прокорм, а там постоянные прогулы, потому что Матюшке не сиделось подолгу на одном месте. Поработает артель неделю-другую на прииске, а его и потянет куда-нибудь в другое место, про которое наскажут с три короба. Очень уж много таких слухов ходило... Таким образом Матюшка присмотрел местечка три подходящих, которые можно было бы арендовать, но все еще не решался, на котором из них остановиться. В одном просили за прииск прямо сто рублей, в другом отдавали «из половины», то есть половину чистой прибыли хозяину, в третьем — продавали прииск совсем. Денег у Матюшки оставалось всего рублей триста, и он боялся ими рискнуть. Одним из главных препятствий было еще и то, что в артели никого не было грамотных, а на своем прииске надо было и книги вести, и бумагу прочитать.

Все эти сомнения разрешились совершенно неожиданно. Раз вечером появился нежданно-негаданно Петр Васильич. Он с собой привел лакея Ганьку, которому Карачунский отказал.

— Давно не видались, а как будто и не соскучились,— проговорил неприветливо Матюшка, не любивший хитрого мужика.

— Ах, Матюша, разве мы чужие?..— ответил Петр Васильич и даже ударил себя в грудь кулаком.— А я-то вас разыскивал по всем промыслам...

Петр Васильич принес с собой целый ворох всевозможных новостей: о том, как сменили Карачунского и отдали под суд, о Кожине, сидевшем в остроге, о Мыльникове, ко-

торый сейчас ищет золото в огороде у Кожина, о Фене, выкинувшей ребенка, о новом главном управляющем Оникове, который грозит прикрыть Рублиху, о Ермошке, как он гонял в город к прокурору.

— Вот, Оксинька, какие дела на белом свете делаются,— заключил свои рассказы Петр Васильич, хлопая молодайку по плечу.— А ежели разобрать, так ты поумнее других протчих народов себя оказала... И ловкую штуку уколола!.. Ха-ха... У дедушки, у Родиона Потапыча, жилку прятала?.. У родителя стянешь да к дедушке?.. Никто и не подумает... Верно!.. Уж так-то ловко... Родитель-то и сейчас волосы на себе рвет. Ну, да ему все равно не пошла бы впрок и твоя жилка. Все по кабакам бы растащил...

К общему удивлению, Окся заступилась за отца и обругала Петра Васильича. Не его дело соваться в чужие дела. Знал бы свои весы, пока в тюрьму вместе с Кожиним не посадили. Хорошее ремесло тоже выискал.

— Ай да Окся, молодец!..— хвалили ее рабочие, поднимая на смех смуглившегося Петра Васильича.— Носи, не потеряй да другим не сказывай... Хорошенько его, Оксенка, оборотня!

— Ты чего в самом-то деле к бабе привязался, сера горячая? — накинулся Матюшка на гостя.— Иди своей дорогой, пока кости целы...

— Да вы, черти, белены объелись? — изумлялся Петр Васильич.— Я к вам, подлецам, с добром, а они на дыбы... На кого очерились-то, галманы?.. А ты, Матюшка, не больно храпай... Будет богатого из себя показывать. Побогаче тебя найдутся... А што касасемо Окси, так к слову сказано. Право, черти... Озверели в лесу-то.

Мужики без малого не подрались, если бы не вступилась за Петра Васильича Окся:

— Будет вам вздорить-то!.. Чему обрадовались? Может, и в самом деле мужик-то с делом пришел...

Во всей этой истории не принимал участия один Ганька, чувствовавший себя как дворовая собака, попавшая в волчью стаю. Загорелые и оборванные старатели ходили на настоящих разбойников и почти не глядели на него. Петр Васильич несколько раз ободрял его, подмигивая своим единственным оком. Когда волнение улеглось, Петр Васильич отвел Матюшку в сторону и заговорил:

— Жаль мне вас, Матвей, что вы задарма по промыслам бродите... Ей-богу!.. А дело-то под носом... Мне все

одно, а я так, жалеючи говорю. У Кишкина пустует Сиротка-то: вот бы ее взять? Верно тебе говорю...

— Да ведь она пустая, Сиротка-то? — возражал Матюшка.

— Была пустая, когда Кишкин работал... А чем она хуже Богоданки?.. Одна Мутяшка-то, а Кишкин только чуть ковырнул. Да и тебе ближе знать это самое дело. Места нетронутого еще много осталось...

— Да ты-то о чем хлопчешь, кривой черт?..

— Ах, какой ты несообразный человек, Матюшка!.. Ничего-то ты не понимаешь... Будет золото на Сиротке, уж поверь мне. На Ягодном-то у Ястребова не лучше пески, а два пуда сдал в прошлом году.

— Ты вот куда метнул... Ну, это, брат, статья неподходящая. Мы своим горбом золото-то добываем... А за такие дела еще в Сибирь сошли.

— А Ганька на што? Он грамотный и все разнесет по книгам... Мне уж надоело на Ястребова работать: он на моей шкуре выезжает. Будет, насосался... А Кишкин за дарма отдает сейчас Сиротку, потому как она ему совсем не к рукам. Понял?.. Лучше всего в аренду взять. Платить ему двугривенный с золотника. На оборот денег добудем, и все как по маслу пойдет. Уж я вот как теперь все это дело знаю: наскрозь его прошел. Вся Кедровская дача у меня как на ладонке...

Петр Васильич по пальцам начал вычислять, сколько получили бы они прибыли и как все это легко сделать, только был бы свой прииск, на который можно бы разнести золото в приисковую книгу. У Матюшки даже голова закружилась от этих разговоров, и он смотрел на змея-искусителя осовелыми глазами.

— Я тебе скажу пряменько, Матвей, што мы и Кедровскую дачу не тронем; ни одной порошины золота не возьмем... Будет с нас Балчуговского. Вон Оников-то как поступил и сейчас старателям плату сбавил... А ведь им тоже пить-есть надо. Ну, и несут мне... Раньше-то я на наличные покупал, а теперь и в долг верят. Только все-таки должбн я все это золото травить Ястребову ни за грош... Понял? А самому мне брать прииск на себя тоже неподходящая статья, потому как слава-то уж про меня идет. Понял теперь, для чего мне тебя-то надо?

Матюшка колебался, почесывая в затылке. Тогда Петр Васильич проговорил совершенно другим тоном:

— Ну, видно, не сойдемся мы с тобой, Матвей... Не пеняй на меня, ежели другого верного человека найду.

Этот маневр произвел надлежащее действие. Матюшка и Петр Васильич ударили по рукам.

— Давно бы так... Только никому, смотри, ни гугу!..

— А я тебе скажу одно: ежели чуть што замечу — башку оторву.

— Да ты и сейчас это показывай, для видимости, будто мы с тобой вздорим. Такая же модель и у меня с Ястребовым налажена... И своя артель штобы ничего не знала. Слово сказал — умер...

«Видимость» устроена была тут же, и Матюшка прогнал Петра Васильича вместе с Ганькой. Старатели надрывались от смеха, глядя, как Петр Васильич улепетывал с прииска.

Через несколько дней Матюшка отправился на Богоданку. Кишкин его встретил очень подозрительно, а когда зашла речь о Сиротке, сразу отмяк.

— Охота Оксины деньги закопать? — пошутил он. — Только для тебя, Матюха, потому как раньше вместе горе-то мыкали... Владей, Фаддей, кривой Натальей. Один уговор: штобы этот кривой черт и посу близко не показывал... понимаешь?..

— Да ведь ты меня знаешь, Андрон Евстратыч, — клялся Матюшка, встряхивая головой. — Я ему ноги выдержваю...

Сейчас же было заключено условие, и артель Матюшки переселилась на Сиротку через два дня. К ним присоединились лакей Ганька и бывший доводчик на золотопромывальной фабрике, Ераков. Народ так и бежал с компанейских работ: раз — всех тянуло на свой вольный хлеб, а второе — новый главный управляющий очень уж круто принялся заводить свои новые порядки.

— Все уйдут... — рассказывал Ераков. — Пусть чужестранных рабочих наймет. При Карачунском куда было лучше... С понятием был человек.

Ганька благоговел перед Карачунским и уверял всех, что Оников только временно, а потом «опять Степан Романыч наступит». Такого другого человека и не сыскать.

На Сиротке была выстроена новая изба на новом месте, где были поставлены новые работы. Артель точно ожила. Это была своя настоящая работа, — сами большие, сами маленькие. Пока содержание золота было не велико,

но все-таки лучше, чем по чужим приискам пляться. Ганька вел присковую книгу и сразу накинуд на себя важность. Матюшка уже два раза уходил на Фотьянку для тайных переговоров с Петром Васильичем, который, по обыкновению, что-то «выкомуривал» и фшнтил.

Скоро все дело разъяснилось. Петр Васильич набрал у старателей в кредит золота фунтов восемь да прибавил своего около двух фунтов и хотел продать его за настоящую цену помимо Ястребова. Он давно задумал эту операцию, которая дала бы ему прибыли около двух тысяч. Но в городе все скупщики отказались покупать у него это золото, потому что не хотели ссориться с Ястребовым: у них рука руку мыла. Тогда Петр Васильич сунулся к Ермошке.

— Дурак ты, Петр Васильич,— вразумил его кабатчик.— Зазнамый ты ястребовский скупщик, кто же у тебя будет покупать... Ступай лучше с повинной к Никите Яковличу, может и смилуется...

Раздумался Петр Васильич. Ежели на Сиротку записать, так надо и время выждать, и с Матюшкой поделитьсЯ. Думал-думал и решил повести дело с Ястребовым на чистоту.

— Это не на твои деньги куплено золото-то, так уж ты настоящую цену дай,— торговался вперед Петр Васильич.

— Ладно, разговаривай... По четыре с полтиной дам,— решил Ястребов.

Цена подходящая. Петр Васильич принес мешочек с золотом, передал Ястребову, а тот свесил его и уложил к себе в чемодан.

— Ну, а теперь прощай,— заговорил Ястребов.— Кто умнее Ястребова хочет быть, трех дней не проживет. А ты дурак...

— А деньги?!

Ястребов только засмеялся, погрозил револьвером и вытолкал Петра Васильича в шею из избы. Он не в первый раз проделывал такую штуку.

Результатом этого было то, что Ястребов был арестован в ту же ночь. Произведенным обыском было обнаружено не записанное в книги золото, а таковое считается по закону хищничеством. Это была месть Петра Васильича, который сделал донос. Впрочем, Ястребов судился уже несколько раз и отнесся довольно равнодушно к своему аресту.

— Пожалуйте меня, подлецы! — заметил он собравшейся толпе, когда его под конвоем увозили с Фотьянки в город. — Благодетеля своего продали...

Второй крупной новостью было то, что Карачунский застрелился. Он сдал все дела Оникову, сжег какие-то бумаги и пустил пулю в висок. Феню он обеспечил раньше.

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

I

Новый главный управляющий Балчуговскими золотыми промыслами явился той новой метлой, которая, по половице, чисто метет. Он сразу и везде завел новые порядки, начиная со своей конторы. Его любимой фразой было:

— У меня — не у Степана Романыча... Да...

Служащим были убавлены жалованья, а некоторым и совсем отказано в видах экономии. Уцелевшим на своих местах прибавилось работы. «Монморанси», конечно, остались по-прежнему: реформатор не был им страшен. На фабрике увеличены рабочие часы, сбавлена плата ночной смены, усилен надзор и «сокращены» два коморника, карауливших старательские кучки золотоносного кварца. На Дернихе вводились тоже новые строгости, причем Оников особенно теснил конных рабочих. Но главное внимание обращено было на хищничество золота: Оников объявил непримиримую войну этому исконному промысловому злу и поклялся вырвать его с корнем во что бы то ни стало. Одним словом, новый управляющий налетел на промыслы весенней грозой и ломал сплеча все, что попало под руку.

В первое время все были как будто ошеломлены. Что же, ежели такие порядки заведутся, так и житья на промыслах не будет. Конечно, промысловые люди не угодники, а все-таки и по человечеству рассудить надобно. Чаще и чаще рабочие вспоминали Карачунского и почесывали в затылках. Крепкий был человек, а умел, где нужно, и не видеть, и не слышать. В кабаках обсуждался подробно каждый шаг Оникова, каждое его слово, и наконец произнесен был приговор, выразившийся одним словом:

— Чистоплюй!..

Кто придумал это слово, кто его сказал первый — осталось неизвестным, но оно было сказано, и все сразу почувствовали полное облегчение. Чистоплюй — и делу конец. Остальное было понятно, и все вздохнули свободно. Сказалась способность простого русского человека одним словом выразить целый строй понятий. Все строгости и реформы нового главного управляющего были похоронены под этим одним словом, и больше никто не боялся его и никто не обращал внимания. Пусть его побалуется и наведет свою плевую чистоту, а там все образуется само собой. Люди-то останутся те же. Могли пострадать временно отдельные единицы, общее останется, то общее, которое складывалось, выросло и копилось десятками лет под гнетом каторги, казенного времени и своего вольного волчьего труда. Объяснить все это понятными, простыми словами никто бы не сумел, а чувствовали все определенно и ясно, — это опять черта русского человека, который в массе, в артели, делается необыкновенно умен, догадлив и сообразителен.

Пока реформы нового управляющего не касались одной шахты Рублихи, где по-прежнему «руководствовал» один Родион Потапыч, и все с нетерпением ждали момента, когда встретятся старый штейгер и новый главный управляющий. Предположениям и догадкам не было конца. Все знали, что Оников «терпеть ненавидел» Рублиху и что он ее закроет, но все-таки интересно было, как все это случится и что будет с Родионом Потапычем. Старик не подавал никакого признака беспокойства или волнения и вел свою работу с прежним ожесточением, точно боялся за каждый новый день. Вассер-штольня была окончена как раз в день самоубийства Карачунского, и теперь рудная вода не поднималась насосами наверх, а отводилась в Балчуговку по новой штольне. Это дало возможность начать углубление за тридцатую сажень.

Встреча произошла рано утром, когда Родион Потапыч находился на дне шахты. Сверху ему подали сигнал. Старик понял, зачем его вызывают в неурочное время. Оников расхаживал по корпусу и с небрежным видом выслушивал какие-то объяснения подштейгера, ходившего за ним без шапки. Родион Потапыч, не торопясь, вылез из западни, снял шапку и остановился. Оников мельком взглянул на него, повернулся и прошел в его сторожку.

— Ну, что, как дела? — спросил он, не глядя на старика.

— Ничего, можно хоть сейчас закрывать шахту, — спокойно ответил старик.

У О니кова выступили красные пятна на лице, но он сдержался и проговорил с деланной мягкостью:

— Мне нужно серьезно поговорить... Я не верю в эту шахту, но бросить сейчас дело, на которое затрачено больше ста тысяч, я не имею никакого права. Наконец мы обязаны контрактом вести жилые работы... Во всяком случае, я думаю расширить работы в этом пункте.

Родион Потапыч опустил голову. Он слишком хорошо понимал политику Оникова, свалившего вперед все неудачи на Карачунского и хотевшего воспользоваться только пенками с будущего золота. Из молодых да ранний выискался... У старика даже защемило при одной мысли о Степане Романыче, которого в числе других причин доконала и Рублиха. Эх, маленько бы обождать — все бы оправдалось. Как теперь видел Родион Потапыч своего старого начальника, когда он приехал за три дня и с улыбкой сказал: «Ну, дедушка, мне три дня осталось жить — торопись!» В последний роковой день он приехал такой свежий, розовый и уже ничего не спросил, а глазами прочитал свой ответ на лице старого штейгера. Они вместе спустились в последний раз в шахту, обошли работы, и Карачунский похвалил штольни, прибавив: «Жаль только, что я не увижу, как она будет работать». Потом выкурил папиросу, вышел, а через полчаса его окровавленный труп лежал в конторке Родиона Потапыча на той самой лавке, на которой когда-то спала Окся. Вот это был человек, а не чистоплюй... Старик понимал, что Оников расширением работ хочет купить его и косвенным путем загладить недавнюю ссору с ним, но это нисколько не тронуло его старого сердца, полного горячей преданности другому человеку.

— Ну, что же вы молчите? — спросил наконец Оников, обиженный равнодушием старого штейгера.

— Што же тут говорить, Александр Иванович: наше дело подневольное... Што прикажете, то и сделаем. Будьте спокойны: Рублиха себя вполне оправдает...

— Есть хорошие знаки?..

— Будут и знаки...

Одним словом, дело не склеилось, хотя непоколебимая уверенность старого штейгера повлияла на недоверчивого О니кова. А кто его знает, может все случиться, чем враг не шутит. Положим, этот Зыков и сумасшедший человек, но и жильное дело тоже сумасшедшее.

Родион Потапыч проводил нового начальника до выхода из корпуса и долго стоял на пороге, провожая глазами знакомую пару раскормленных господских лошадей. И тот же кучер Агафон, а то, да не то... От постоянного пребывания под землей лицо Родиона Потапыча точно выцвело, и кожа сделалась матово-белой, точно корка церковной просвиры. Живыми оставались одни глаза, упрямые, сердитые, умные... Он тяжело вздохнул и побрел в свою конторку необычно вялым шагом, точно его что придавило. Раньше он трепетал за судьбу Рублихи, а когда все устроилось само собой — его охватило какое-то обидное недовольство. К чему после поры-времени огород городить? Он даже с какой-то ненавистью посмотрел на отверстие шахты, откуда медленно поднималась железная тележка с «пустяком».

«Нет, брат, я тебя достигну!..— сердито думал Родион Потапыч, шагая в свою конторку.— Шалишь, не уйдешь».

Это враждебное чувство к собственному детищу проснулось в душе Родиона Потапыча в тот день, когда из конторки выносили холодный труп Карачунского. Жив бы был человек, ежели бы не продала проклятая Рублиха. Поэтому он вел теперь работы с каким-то ожесточением, точно разыскивал в земле своего заклятого врага. Нет, брат, не уйдешь...

Вообще старик чувствовал себя скверно, особенно когда оставался в своей конторке один. Перед ним неотвязно стояла все одна и та же картина рокового дня, и он повторял ее про себя тысячи раз, вызывая в памяти мельчайшие подробности. Так, он припомнил, что в это роковое утро на шахте зачем-то был Кишкин и что именно его противную скобленную рожу он увидел одной из первых, когда рабочие вносили еще теплый труп Карачунского на шахту. В переполохе это обстоятельство как-то выпало из памяти, и потом Родион Потапыч принужден был стороной навести справки у рабочих, что делал Кишкин в этот момент на шахте и не имел ли какого-нибудь разговора с Карачунским.

— Он, Кишкин-то, у котлов сидел, когда Степан Ро-

маныч приехал... — рассказывал кочегар. — Ну, Кишкин сидел уж дивно¹ времени... Сидит, лясы точит, а што к чему — не разберешь. Известный омморок! Ну, как увидел Степана Романыча и даже как будто из лица выступил... А потом ушел куды-то да и бежит: «Ох, беда... Степан Романыч порешил себя!..» Он ведь не впервой захаживает, Шишка: то спросит, другое. Все ему надо знать, чтобы у себя на Богоданке наладить. Одним словом, оморошной черт.

Все эти объяснения ничего не разъяснили, и Родион Потапыч смутно догадывался, что Шишка караулил Карачунского для каких-то переговоров. Дело было гораздо проще. Кишкин действительно несколько раз «наведывался» на Рублиху, чтобы высмотреть кое-что для себя, но с Карачунским встречаться он совсем не желал, а когда случайно наткнулся на него, то постарался незаметно скрыться. Говоря проще, спрятался... Уходить ни с чем Кишкину не хотелось, и он решился выждать, когда черт унесет Карачунского. Выбравшись из главного корпуса, старик несколько времени бродил среди других построек. Управительская пара оставалась у него все время на глазах. Но, к удивлению Кишкина, Карачунский с шахты прошел не к лошадям, стоявшим у ворот ограды, а в противоположную сторону, прямо на него. «Вот черт несет...» — подумал Кишкин, пойманный врасплох. Он никак не ожидал такого оборота и стоял на месте, как попавшийся школьник. Карачунский прошел мимо него в двух шагах и даже взглянул на него, но таким пустым, ничего не видевшим взглядом, что у Кишкина даже захлопнуло на душе. Очевидно, он не узнал его и прошел дальше. Это заинтересовало Кишкина. Старик вскарабкался на свалку добытого из шахты свежего «пустяка» и долго следил за Карачунским, как тот вышел за ограду шахты, как постоял на одном месте, точно что-то раздумывая, а потом быстро зашагал в молодой лесок по направлению к жилке Мыльникова. В еловой заросли несколько раз мелькнула высокая фигура Карачунского, а потом глухо гукнул револьверный выстрел. Кишкин сразу понял все и бросился на шахту объявить о случившемся.

¹ Дивно — порядочно, достаточно. (Примеч. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)

При самоубийце оказалась записка, нацарапанная карандашом в конторе Родиона Потапыча: «Умираю, потому что, во-первых, нужно же когда-нибудь умереть, а во-вторых, мой номер вышел в тираж... Уношу с собой сознание, что сознательно никому не сделал зла, а если и делал ошибки, то по присущей всякому человеку слабости. Друзей не имел, врагам прощаю». Первым прочел эту записку Кишкин, и у него затряслись руки; от этой записки пахло на него холодом смерти. Уезжая утром на шахту, Карачунский отправил Феню в город. Он вручил ей толстый пакет, который просил никому не показывать, а распечатать самой. В пакете были процентные бумаги и коротенькая записочка, в которой Карачунский оставлял Фене все свое наличное имущество, заключавшееся в этих бумагах. Феня плохо разбирала по-писаному, и ей прочитал записку Мыльников, которого она встретила в городе.

— Табак дело...— решил Мыльников, крепко держа толстый пакет в своих корявых руках.— Записку-то ты покажи в полицию, а деньги-то не отдавай. Нет, лучше и записку не показывай, а отдай мне.

Феня полетела в Балчуговский завод, но там все уже было кончено. Пакет и записку она представила уряднику, производившему предварительное дознание. Денег оказалось больше шести тысяч. Мыльников все эти две недели каждый день приходил к Фене и ругался, зачем она отдала деньги.

— Пенцию тебе оставил Степан-то Романыч, дуре, а ты уряднику...

— Отстань, сера горячая...

— Дело тебе говорят. Кабы мне такую уйму деньжищ, да я бы... Первое дело, сгреб бы их, как ястреб, и убежал куды глаза глядят. С деньгами, брат, на все стороны скаatteredь дорога...

Изумлению Мыльникова не было границ, когда деньги через две недели были возвращены Фене, а «приобщена к делу» только одна записка. Но Феня и тут оказала себя круглой дурой: целый день редела о записке.

— Мне дороже записка-то этих денег,— плакалась Феня.— Поминать бы стала по ней Степана Романыча.

Искреннее всех горевал о Карачунском старый Родион Потапыч, чувствовавший себя виноватым. Очень уж засосала Рублиха... Когда стихал дневной шум, стариковские мысли получали болезненную яркость, и он даже на-

чинал креститься от этого наваждения. Ох, много и хороших и худых людей он пережил, так что впору и самому помирать.

На Рублиху вечерами завертывали старички с Фотьянки и из Балчуговского завода, чтобы поговорить и посоветоваться с Родионом Потапычем, как и что. Без меры лютовал чистолюй, особенно над старателями.

— Умякнет,— отвечал старый штейгер.— Не больно велик в перьях-то.

— Утихомирится?.. Дай бы бог, кабы по твоим-то словам. Затеснил старателей вконец... Так и рвет, так и мечет.

— Утишится!

— Упыхается... Главная причина, што здря все делает. Конечно, вашего брата, хищников, не за што похвалить, а суди на волка — суди и по волку. Все пить-есть хотят, а добыча-то не велика. Удивительное это дело, как я погляжу. Жалились раньше, што работ нет, делянками притесняют, ну, открылась Кедровская дача — кажется, места невпроворот. Так? А все народ беднится, все в лохмотьях ходит...

— Погоди, Родион Потапыч, дай время, поправятся... На Фотьянке народ улучшается на глазах: там изба новая, там ворота, там лошадь... Конечно, много еще малодушия в народе, особливо когда дикая копейка навернется. Тоже ведь и к деньгам большую надо привычку иметь, а народ бедный, необычный, ну, осталось у него двадцать цалковых — он и не знает, што с ними делать. Все равно голодный: дай ему вволю поесть, он точно пьяный сделается. Так и с деньгами бывает... Вот купцы, кажется, уж привычны к деньгам, а тоже дуреют. Как-то Затыкин — он на Генералке прииск заявил — в неделю четыре фунта намыл золота и пошел чертить. Едет из города с деньгами, кучера всю дорогу хересом поит, из левольверта палит. Дня через три едва очуствовался... А уж где же старателю совладать, когда у него сроду четвертной бумажки в руках не бывало!

II

Баушка Лукерья в каких-нибудь два года так состарилась, что ее узнать было нельзя: поседела, сгорбилась и пожелтела, как осенний лист. Живыми остались одни

глаза. И Петр Васильич тоже поседел от заботы и разных треволнений, сделался угрюмым и мало с кем разговаривал. Соседи говорили, что они состарились от денег, которые хлынули дуром. Петр Васильич начал было строить новую избу, но поставил сруб и махнул на него рукой. Его заела какая-то недомашняя дума. Пропадал он по неделям на промыслах, возвращался домой мрачный и непременно приставал к матери:

— Мамынька, а где у тебя деньги... а?.. Скажи, а то, не ровен час, помрешь, мы и не найдем опосля тебя...

— Тьфу! Тоже и скажет,— ворчала старуха.— Прежде смерти не умрем... И какие такие мои деньги?..

— А вот те самые, какие Кишкину стравила?..

— Ничего я не знаю...

— Не отдаст он тебе, жила собачья. Вот попомни мое слово... Как он меня срамил-то восетта, мамынька: «Ты, грит, с уздой-то за чужим золотом не ходи...» Ведь это што же такое? Ястребов вон сидит в остроге, так и меня в пристяжки к нему запречь можно э-ту.

— А ты сколько фунтов Ястребову-то стравил? — язвила баушка Лукерья.— Ловко он тебя тогда обезживотил.

— Мамынька, не поминай... Нож это мне самое дело. Тяжеленько досталось мое-то золото Ястребову, да и мне не легче...

— Дураком ты себя оказал, и больше ничего... Пошутил с тобой тогда Ястребов-то, а ты и его и себя утопил.

— Медведь тоже с кобылой шутил, так одна грива осталась... Большому черту большая и яма, а вот ты Кишкину подражаешь для какой такой модели?.. Пусть только приедет, так я ему ноги повыдержгаю. А денег он тебе не отдаст...

— Не твоя печаль... Ты сходи к Ястребову в острог да и спроси про свои-то капиталы, а о моих деньгах и собаки не лают.

— Ах, мамынька...

— Два года ходил с уздой своей по промыслам да сразу все и профукал... А еще мужик называешься! Не тебе, видно, мой-то деньги считать...

Эти ядовитые обидные разговоры повторялись при каждой встрече, причем ожесточение обеих сторон доходило до ругани, а раз баушка Лукерья бегала даже в волость жаловаться на непокорного сына. Волостные старич-

ки опять призвали Петра Васильевича и сделали ему внушение.

— Ты смотри, кривой черт... Тогда на Ястребова лез собакой, а теперь мать донимаешь, изъедуга. Мы тебя выучим, как родителей почитать должен... Будет тебе богатого показывать!..

Петр Васильич сгоряча нагрубил старикам и попал в холодную... Он здесь только опомнился, что опять свалил дурака. Дело было совсем не в том, что он ссорился с матерью, — за это много-много поворчали бы старики. А ему теперь косвенно мстили за Ястребова... Вся Фотьянка знала, из-за кого попал в острог знаменитый скупщик, и кляла Петра Васильича на чем свет стоит, потому что в лице Ястребова все старатели лишились главного покупателя. Смелый был человек и принимал золото со всех сторон, а после него остались скупщики-мелкота: купят золотник и ожигаются. Одним словом, благодетель был Никита Яковлич, всех кормил... Общественное мнение было против Петра Васильича, который из-за своей глупости подвел всех. Зачем отдавал золото Ястребову дурбм, кривая собака? Умеючи каждое дело надо делать... Теперь вся Фотьянка бедует из-за кривого черта. Посаженный в холодную, Петр Васильич понял, что попался, как кур во щи, и что старички его достигнут своим волостным средством. И действительно, старички охулки на руку не положили. Сначала выдержали в холодной три дня, а потом вынесли резолюцию:

— Ты в жилетке ноне щеголяешь, Петр Васильич, так мы тебе рукава наладим к жилетке-то...

Действительно, Петр Васильич незадолго до катастрофы с Ястребовым купил себе жилетку и щеголял в ней по всей Фотьянке, не обращая внимания на насмешки. Он сразу понял угрозу старичков и весь побелел от стыда и страха.

— Старички, есть ли на вас крест? — взмолился он. — Ежели пальцем тронете, так всю Фотьянку выжгу.

— А, так ты вот какие слова разговариваешь... Снимай-ка жилетку-то, мил-сердечный друг, а рукава мы тебе на общественный счет приставим. Будешь родителей уважать...

Без дальних разговоров Петра Васильича высекли... Это было до того неожиданно, что несчастный превратился в дикого зверя: рычал, кусался, плакал и все-таки был

высечен. Когда экзекуция кончилась, Петр Васильич не хотел подниматься с позорной скамьи и некоторое время лежал как мертвый.

— Перестань дурака-то валять, а ступай да помирись с матерью, — посоветовали старички.

— Куды я теперь пойду? — застонал Петр Васильич.

— А уж это твое дело, милаш...

Петр Васильич сел, посмотрел на своих судей своим единственным оком и заскрежетал зубами от бессильной ярости. Что бы он теперь ни сделал, а бесчестья не поправить...

— Выжгу... зарежу... — бормотал он, сжимая кулаки. — Будете меня помнить, природы...

— А ты с миром не ссорься, голова. Лучше бы выставил четвертную бутылочку старичкам да поблагодарил за науку.

Первой мыслью, когда Петр Васильич вышел из волости, было броситься в первую шахту, удавиться — до того тошно на душе. Теперь глаз показать никуда нельзя... Худая-то слава везде пробежит. Свои, фотьянские, проходу не дадут. Его взяло такое горе, стыд, отчаяние, что он присел на волостное крылечко и заплакал какими-то ребячьими слезами. Вся жизнь была погублена... Куда теперь идти?.. Что делать?.. А главное, он понимал, что все против него, и волостные старички только выполнили волю «мира». Прехожие останавливались, смотрели на него, качали головами и шли дальше. Несколько раз раздавалось проклятое слово «жилетка», которое приводило Петра Васильича в отчаяние: в нем вылилась тяжелая мужицкая ирония, пригвоздившая его именно этим ничего не значащим словом к позорному столбу. Потом Петр Васильич поднялся и, как говорили очевидцы, погрозил кулаком всей Фотьянке. Домой он не зашел, а его встретили старатели около Маяковой слани.

Вечером этого рокового дня у баушки Лукерьи сидел в гостях Кишкин и удушливо хихикал, потирая руки от удовольствия. Он узнал проездом о науке Петра Васильича и нарочно завернул к старухе.

— Давно бы тебе догадаться, баушка, — повторял Кишкин. — Шелковый будет... хе-хе!.. Ловко налетел с кривого-то глаза. В лучшем виде отполировали...

— А ты-то чему обрадовался? — напустилась на него старуха. — От чужого безвременья тебе лучше не будет...

— А не скупай чужого золота! Вперед наука... Теперь куда денется твой-то Петр Васильич?

— И то, слышь, грозится выжечь всю Фотьянку... Ох, и не рада я, што заварила кашу. Пострацать думала, а оно вон што случилось... Жаль мне.

— Да ведь не за тебя его драли-то, а за Ястребова. Не беспокойся... Зуб на него грызли, ну, а он и подвернулся.

Старуха всплакнула с горя: ей именно теперь стало жаль Петра Васильича, когда Кишкин поднял его на смех. Большой мужик, теперь показаться на людях будет нельзя. Чтобы чем-нибудь досадить Кишкину, она пристала к нему с требованием своих денег.

— Отдай, Андрон Евстратыч... Покорыстовался ты моей простотой, пора и честь знать. Смертный час на носу...

— Тебя жалеючи не отдаю, глупая... У меня сохраннее твои деньги: лежат в железном сундуке за пятью замками. Да... А у тебя еще украдут, или сама потеряешь.

— Ты мне зубов не заговаривай, а подавай деньги.

— А где у тебя расписка?

— На совесть даваны...

— Ха-ха... Тоже и сказала: на совесть. Ступай-ка расскажи, никто тебе не поверит.... Разе такие нынче времена?

Когда остервенившаяся старуха пристала с ножом к горлу, Кишкин достал бумажник, отсчитал свой долг и положил деньги на стол.

— Вот твои деньги, коли не понимаешь своей пользы...

— Да ведь я так... У тебя все хи-хи да ха-ха, а мне и полсмеха нет.

— Ко мне же придешь, поклонись своими деньгами, да я-то не возьму...— бахвалился Кишкин.— Так будут у тебя лежать, а я тебе процент заплатил бы. Не пито, не едено огребала бы с меня денежки.

Баушка бережно взяла деньги, пересчитала их и унесла к себе в заднюю избу, а Кишкин сидел у стола и посмеивался. Когда старуха вернулась, он подал ей десятирублевую ассигнацию.

— Это твой процент, получай...

Руки у старухи дрожали, когда она брала несчитанные деньги,— ей казалось, что Кишкин смеется над ней, как над дурой.

— Бери, баушка, не поминай меня лихом... Найди другого такого-то дурака.

— Да ведь я так, Андрон Евстратыч... по бабьей своей глупости. Петр Васильич уж больно меня сомущал... Не отдаст, крик, тебе Кишкин денег!

— Ты ему отдай, так он тебе и спасибо не скажет, Петр-то Васильич, а теперь ему деньги-то в самый раз...

— Старая я стала... глупа...

— Ну, ладно, будет нам с тобой делиться. Посылай-ко помоложе себя, чтобы мне веселее было, а то нагнала тоску... Где Наташка?

— А куды ей деваться?.. Эй, Наташка... А ты вот что, Андрон Евстратыч, не балуй с ней: девчонка еще не в разуме, а ты какие ей слова говоришь. У ней еще ребячье на уме, а у тебя седой волос... Не пригожее дело.

— А у меня характер веселый, баушка... Люблю с молоденькими пошутить.

— Шути с Марьей, коли такая охота напала...

— У Марьи свой шутник есть. Погоди, вот женюсь, возьму богатую купчиху в городе, тогда и остепенюсь.

— В годы еще не вошел жениться-то,— пошутила старуха.— А Наташку оставь: стыдливая она, не то што Марья. Ты и то нынче наряжаешься в том роде, как жених... Форсить начал.

— Недавно на триста рублей всякого платья заказал,— хвастался Кишкин.— Не все оборвышем ходить... Вот часы золотые купил, потом перстень.

— Ох, мотыга, мотыга...

С Кишкиным действительно случилась большая перемена. Первое время своего богатства он ходил в своем старом рваном пальто и ни за что не хотел менять на новое. Знакомые даже стыдили его. А потом вдруг поехал в город и вернулся оттуда щеголем, во всем новом, и первым делом к баушке Лукерье.

— Сватать Наташку приехал,— шутил он.— Наташка, пойдешь за меня замуж? Одними пряниками кормить буду...

Наташка, живя на Фотьянке, выровнялась с изумительной быстротой, как растение, поставленное на окно. Она и выросла, и пополнила, и зарумянилась — совсем невеста. А глазами вся в Феню: такие же упрямо-ласковые и спокойно-покорные. Кишкина она терпеть не могла и

пряталась от него. Она даже плакала, когда баушка посылала ее прислуживать Кишкину.

— Ну, недотрога-царевна, пойдешь за меня? — повторял Кишкин. — Лучше меня жениха не найдешь... Всего-то я проживу года три, а потом ты богатой вдовой останешься. Все деньги на тебя в духовной запишу... С деньгами-то потом любого да лучшего жениха выбирай.

Девушка только отрицательно качала головой и смотрела на жениха исподлобья. Впрочем, потом она стала смелее и даже потихоньку начала подсмеиваться над смешным стариком. Всего больше Кишкину нравилась Наташкина коса, тяжелая да толстая. У крестьянских девок никогда таких кос не бывает. Кишкин часто любовался красавицей и начинал говорить глупости, совсем не гармонизировавшие с его сединами. В сущности, он серьезно влюбился в эту дикарку и думал о ней день и ночь. Эта старческая запоздалая страсть делала его и смешным и жалким. Баушка Лукерья раньше других сметила, в чем дело, и по-своему эксплуатировала стариковское увлечение, подсылая Наташку за подарками. Только Кишкин не любил давать деньги, потому что знал, куда они пойдут, а привозил разные сласти, дешевенькие бусы, лежалого ситцу.

— Ты ей приданое сделай, — советовала старуха. — Сирота не сирота, а в том роде. Помрешь — поминать будет.

— Эх, баушка, баушка... Помереть все померем, а лиха беда в том, что мысли-то у меня молодые. Пусть меня уважит Наташка, и приданое сделаю... Всего-то в гости ко мне на Богоданку приехать.

— Ишь чего захотел, старый пес... Да за такие слова я тебя и в дом к себе пущать не буду. Охальничать-то не пристало тебе...

— Шутки шучу...

Странные дела творились в дому у баушки Лукерьи. Наташкой она была довольна, но целый ряд недоразумений выходил из-за маленького Петруньки и отца, Яши Малого. Старуха видеть не могла ни того, ни другого, а Наташка убивалась по ним, как большая женщина. Дело кончилось тем, что она перетащила к себе Петруньку и в свободное время пестовала братишку где-нибудь в укромном уголке. Старуха выходила из себя и поедом ела Наташку. Она возненавидела ребенка какой-то слепой ненавистью и преследовала его на каждом шагу. Много слез

пролила Наташка из-за этой ненависти и сама возненавидела старуху.

— Обьедаете меня...— корила баушка каждым куском.— Не напасешься на вас!.. Жил бы Петрунька у дедушки: старик побогаче нас всех.

— Баушка, да ведь у дедушки и Анна с ребятенками и Татьяна тоже. А мне ничего не надо: только Петрунька бы со мной.

— А ты поразговаривай... Самоё кормят, так говори спасибо. Вон какую рожу наела на чужих-то хлебах...

Петрунька чувствовал себя очень скверно и целые дни прятался от сердитой баушки, как пойманный зверек. Он только и ждал того времени, когда Наташка укладывала его спать с собой. Наташка целый день летала по всему дому стрелой, так что ног под собой не слышала, а тут находила и ласковые слова, и сказку, и какие-то бабы наговоры, только бы Петрунька не скучал.

— Большим мужиком будешь, тогда меня кормить станешь,— говорила Наташка.— Зубов у меня не будет, ходить я буду с костылем...

— Я старателем буду, как тятка...— говорил Петрунька.

Настоящим праздником для этих заброшенных детей были редкие появления отца. Яша Малый прямо не смел появиться, а тайком пробирался куда-нибудь в огород и здесь выжидал. Наташка точно чувствовала присутствие отца и птицей летела к нему. Тайн между ними не было, и Яша рассказывал про все свои дела, как Наташка про свои.

— Боюсь я, тятенька, этого старичонки Кишкина,— жаловалась Наташка.— Больно нехорошо глядит он... Уставится, инда совестно делается.

— Наплюнь на него, Наташка... Это он от денег озорничать стал. Погоди, вот мы с Тарасом обыщем золото... Мы сейчас у Кожина в огороде робим. Золото нашли... Вся Тайбола ума решила, и все кержаки по своим огородам роются, а конторе это обидно. Оников-то штейгеров своих послал в Тайболу: наша, слышь, дача. Што греха у них, и не расхлебать... До драки дело доходило.

— Это все Тарас...— говорила серьезно Наташка.— Он везде смутьянит. В Тайболе-то и слыхом не слыхать, штобы золотом занимались. Отстать бы и тебе, тятка, от Тараса, потому совсем он пропащий человек... Вон жену

Татьяну дедушке на шею посадил с ребятенками, а сам шатуном шатается.

— И то брошу,— соглашался уныло Яша.— Только чуточку бы поправиться...

III

Петр Васильич прошел прямо на Сиротку. Там еще ничего не знали о его позоре, и он мог хоть отдохнуть, чтобы опомниться и очувствоваться. Он был своим человеком здесь, и никто не обращал внимания на его таинственные исчезновения и неожиданные появления. После истории с Ястребовым он вообще сделался рассеянным и разговаривал только с Матюшкой. Добравшись до прииска, Петр Васильич залег в землянку да и не вылезал из нее целых два дня. Чего только он не передумал, а выходило все скверно, как ни поверни. Ясно было только одно: на Фотьянке ему больше не жить. Мальчишки задралят: драный! драный!.. И перед своими тоже совестно. Нужно было уходить куда глаза глядят. Мало ли золотых промыслов на севере, на Южном Урале, в «оренбургских казаках» — везде с уздой можно походить. Эта мысль засела у него гвоздем, и Петр Васильич лежал и думал: «Ах и жаль только свое родное место бросать, насиженное...»

— Да ты что лежишь-то? — спросил наконец Матюшка.— Аль неможется?..

— Весь немогу...— глухо отвечал Петр Васильич.

О своих планах и намерениях он, конечно, не желал говорить никому, а всех меньше Матюшке.

На Сиротке догадывались, что с Петром Васильичем опять что-то вышло, и решили, что или он попался с краденным золотом, или его вздули старатели за провес. С такими-то делами все равно головы не сносить. Впрочем, Матюшке было не до мудреного гостя: дела на Сиротке шли хуже и хуже, а Оксины деньги таяли в кармане, как снег...

Главной ошибкой было то, что Матюшка не довольствовался малым и затрачивал деньги на разведки. Ведь один раз найти золото-то, так думают все, и так же думал Матюшка. Он сильно похудел от забот и неудач, а главное, от зависти: каких-нибудь десять верст податься по Мутяшке до Богоданки, а там золото так и валит. В хорошую погоду ясно можно было слышать свисток па-

ровой машины, работавшей на Богоданке, и Матюшка каждый раз вздрагивал. Да, там богатство, а здесь разорение, нищета... Петр Васильич тогда подтолкнул взять Сиротку, теперь с ней и не расхлебашься. Бывший лакей Ганька, «подводивший» приисковые книги, еще больше расстраивал Матюшку разными наговорами — там богатое золото объявилось, в другом месте еще богаче, а в третьем уж прямо «фунтит», то есть со ста пудов песку дает по фунту золота. Положим, такого дикого золота еще никто не видал, но чем нелепее слух, тем охотнее ему верят в таком азартном и рискованном деле, как промысловое.

— И чего ты привязался к Мутяшке,— наговаривал Ганька.— Вон по Свистунье, сказывают, какое золото, по Суходойке тоже... На одну смывку с вашгерда по десяти золотников собирают. Это на Свистунье, а на Суходойке опять самородки... Ледянка тоже в славу входит...

— Везде золота много, только домой не носят. Супротив Богоданки все прочие места наплевать... Тем и живут, што друг у дружки золото воруют.

Между прочим, Петр Васильич заманил на Сиротку и тем, что здесь удобно было скупать всякое золото — и с Богоданки, и компанейское. Но и это не выгорело, потому что Петр Васильич влетел в историю с Ястребовым и остался без гроша денег, а на скупку нужны наличные. До поры до времени Матюшка ничего не говорил Петру Васильичу, принимая во внимание его злословие, а теперь хотел все выяснить, потому что денег оставалось совсем мало. Рассчитывать рабочих приходилось в обрез. Хорошо, что свой брат,— потерпят, если и «недостача» случится. Даже даром будут робить, ежели в пай принять. Все промысловые на одну колодку: ничего не жаль.

Выждав время, когда никого не было около избушки, Матюшка приступил к Петру Васильичу с серьезным разговором.

— Нету денег-то, Петр Васильич...— начал Матюшка издали.

— Ненастье перед ведром бывает.

— Людей рассчитывать нечем. Кабы ты тогда не захвалился, так я ни в жисть бы не стал робить на Сиротке...

— За волосы тебя никто не тащил! Свои глаза были... Да ты што пристал-то ко мне, смола? Своего ума к чужой коже не пришьешь... Кабы у тебя ум... што я тебе нака-

зывает-то, оболтусу? Сам знаешь, што мне на Богоданку дорога заказана...

Матюшка привык слышать, как ругается Петр Васильич, и не обратил никакого внимания на его слова, а только подсел ближе и рассказал подробно о своих подходах.

— Захаживал я не одинова на Богоданку-то, Петр Васильич... Заделье прикину да и заверну. Ну, конечно, к Марье — тоже не чужая, значит, мне будет, тетка Оксе-то.

— Вся сила в Марье...

— Дура она, вот што надо сказать! Имела и силу над Кишкиным, да толку не хватило... Известно, баба-дура. Старичонка-то подсыпался к ней и так и этак, а она тут себя и оказала душой вполне. Ну, много ли старику нужно? Одно любопытство осталось, а вреда никакого... Так нет, Марья сейчас на дыбы: да у меня муж, да я в законе, а не какая-нибудь приисковая гулеванка.

— Да уж речистая баба: точно стреляет словами-то. Только и ты, Матюшка, дурак, ежели разобрать: Марья свое толмит, а ты ей свое. Этому мужику да не обломать бабенки?.. Семеныч-то у машины ходит, а ты ходил бы около Марьи... Поломается для порядку, а потом вся чужая и сделается: известная бабья вера.

— Было и это...— сумрачно ответил Матюшка, а потом рассмеялся.— Моя-то Оксюха ведь учуяла, што я около Марьи обихаживаю, и тоже на дыбы. Да ведь какую прыть оказала: чуть-чуть не зашибла меня. Вот как растервенилась, окаянная!.. Ну, я ее поучил малым делом, а она ночью-то на Богоданку как стрелит да прямо к Семенычу... Тот на дыбы, Марью сейчас избил, а меня пообещал застрелить, как только я нос покажу на Богоданку.

— Ну, теперь твоя вся Марья,— решил Петр Васильич.— Тоже умеючи надо и баб учить. Марья-то со злости што хошь делает.

— И то делает... Подсылала уж ко мне,— тихо проговорил Матюшка, оглядываясь.— А только мне-то она, Марья-то, совсем не надобна, окромя того, штобы вызнать, где ключи прячет Шишка... Каждый день, слышь, на новом месте. Потом Марья же сказывала мне, што он теперь зачастил больше к баушке Лукерье и Наташку сватает.

— Так, дурит... Комариное-то сало разыгралось.

— Марья и говорит, что иначе нельзя, как через Наташку...

После короткой паузы Матюшка опять засмеялся и прибавил:

— Окся уж до тебя доберется, Петр Васильич... Она и то обещается рассчитаться с тобой мелкими. «Это, грит, он, кривой черт, настроил тебя»... То-то дура... Я и боялся к тебе подойти все время: пожалуй, как раз вцепится... Ей бы только в башку попало. Тебя да Марью хочет руками задавить.

Дальше разговор пошел уже совсем шепотом. Матюшка сидел, опустив в раздумье свою кудрявую голову, а Петр Васильич говорил:

— Чего ждать-то?.. Все одно пропадать... а старичонке много ли надо: двинул одинава, и не дыхнет...

Голова Матюшки сделала отрицательное движение, а его могучее громадное тело отодвинулось от змея-искусителя. Землянка почти зашевелилась. «Ну, нет, брат, я на это не согласен»,— без слов ответила голова Матюшки новым, еще более энергичным движением. Петр Васильич тяжело дышал. Он сейчас ненавидел этого дурака Матюшку всей душой. Так бы и ударил его по пустой башке чем попадя...

— Эй, кто жив человек в землянке? — послышался веселый голос.

Петр Васильич вздрогнул, узнав по голосу Мыльникова. Матюшка отскочил от него и сделал вид, что поправляет каменьку. А Мыльников был не один: с ним рядом стоял Ганька.

— Здесь...— шептал Ганька, показывая головой на землянку.— Третий день пластом лежит.

Ганька только что узнал от Мыльникова пикантную повесть и сторал от нетерпения видеть своими глазами *драного* Петра Васильича. Это было жадное лакейское любопытство. Мыльников тоже был счастлив, что первым принес на Сиротку любопытную весточку.

— Кого там черт принес? — отозвался Матюшка с деланной грубостью.

— Так богоданных родителей принимают? — обиделся Мыльников, просовывая свою голову в дверь.— В гости пришел, зятек...

— Милости просим... Проходите почаще мимо-то, тес-тюшка....

Мыльников уставился на Петра Васильича, который лежал неподвижно на нарах.

— Чего ощерился, как свинья на мерзлую кочку? — предупредил его Петр Васильич с глухой злобой. — Я самый и есть... Ты ведь за тридцать верст прибежал, чтобы рассказать, как меня в волости драли. Ну, драли! Вот и гляди: я самый... Ты ведь за этим пришел?

Петр Васильич дико захохотал, а голова Мыльникова мгновенно скрылась. Матюшка торопливо вышел из землянки и накинулся на незваного гостя.

— Што тебе здесь понадобилось, Тарас? Уходи добром, пока цел...

— Мне бы Оксю повидать... — бормотал виновато Мыльников. — Больно я по ней соскучился... Сказывают, брюхатая она.

— Не твое дело... Проваливай. А ты, Ганька, тоже с ним можешь идти, коли глянется.

К общему удивлению, показался Петр Васильич и проговорил:

— Матюшка, не тронь в сам деле Тараса... Его причины тут нет. Так он, по своему малодушеству...

— Да я тебя-то жалеючи, Петр Васильич! — заговорил Мыльников, набираясь храбрости. — Какое такое полное право волостные старики имеют, напримерно, драть тебя?.. Да я их вот как распатроню... Прямо губернатору бумагу подать, а то в правительственный синод. Найдем дорогу, не беспокойся...

Эта болтовня не встретила никакого ответа. Матюшка упорно отворачивался от дорогого тестюшки, Ганька шмыгал глазами, подыскивая предлог, чтобы удрать, а Петр Васильич вызывающе смотрел на Мыльникова своим единственным оком, точно хотел его съесть.

— Что же, я и уйду, — решил вдруг Мыльников. — Нахлебался у зятя щей через забор шляпой... эх, роденька!..

Он прошел на прииск и разыскал Оксю, которая действительно находилась в интересном положении. Она, видимо, обрадовалась отцу, чем и удивила и тронула его. Грядущее материнство сгладило прежнюю мужиковатость Окси, хотя красивей она не сделалась. Усадив отца на пустые вымостки, Окся расспрашивала про родных, а потом спокойно проговорила:

— Помру скоро, тятя...

— Перестань молоть!.. Это для первого разу сграшно, а бабы живущи...

— Нет, помру... Кланяйся мамыньке. Так и скажи ей.

Петр Васильич и Матюшка ушли с Сиротки вместе и так шли до самой Богоданки. В виду самого прииска Петр Васильич остановился и тяжело вздохнул.

— Вот как поворачивает Кишкин, братец ты мой!.. Красота... Помирать не надо. А прежнего места и званья не осталось...

Промысловые волки долго любовались работавшим богатым прииском, как настоящие артисты. Эти громадные отвалы и свалка верховика и перемывок, правильные квадраты глубоких вымоек, где добывался золотоносный песок, бутара, приводимая в движение паровой машиной, новенькая контора на взгорье, а там, в глубине, дымки старательских огней, кучи свежего хвороста и движущиеся тачки рабочих — все это было до того близкое, родное, кровное, что от немого восторга дух захватывало. Это настоящая работа, настоящее золото, недостижимая мечта, высший идеал, до которого только в состоянии подняться промысловое воображение. Дух захватывает, глядя на такую работу, не то, что на Сиротке, где копнуто там, копнуто в другом месте, копнуто в третьем, а настоящего ничего.

Петр Васильич остался, а Матюшка пошел к конторе. Он шел медленно, развалистым мужицким шагом, приглядывая новые работы. Семеныч теперь у своей машины руководствует, а Марья управляет в конторе бабьим делом одна. Самое подходящее время, если бы еще старый черт не подвернулся. Под новеньким навесом у самой конторы стоял новенький тарантас, в котором ездил Кишкин в город сдавать золото, рядом новенькие конюшни, новенький амбар — все с иголочки, все как только что облупленное яйцо.

А Марья уже завидела гостя, и ее улыбающееся лицо мелькает в окне.

— Наше вам, Марья Родивоновна... Легко ли прыгаете?..

— Не до прыганья, Матюшка; извелась вконец.

— Какая такая причина случилась?

— По одном подлом человеке сохну... Я-то сохну, а ему, кудрявому, и горюшка мало.

— Тоже навяжется лихо...

Марья болтает, а сама смеется и глазами в Матюшку так упирается, что ему даже жутко делается. Впрочем, он

встряхивает своими кудрями и подсаживается на завалинку, чтобы выкурить сигарку, а потом уж идет в Марьяну горенку; Марья вдруг стихает, мешается и смотрит на Матюшку какими-то радостно-испуганными глазами. Какой он большой в этой горенке,— Семеныч перед ним дыпле-нок.

— Ну, так как же, Марья Родивоновна?

— Да все то же, Матюшка... Давно не видались, а пришел — и сказать нечего. Я уж за упокой собиралась тебя поминать... Жена у тебя, сказывают, на тех порах, так об ней заботишься?..

— Экой у тебя язык, Марья...

Марья наклонилась, чтобы достать какое-то угощение из-за лавки, как две сильных волосатых руки схватили ее и подняли, как перышко. Она только жалобно пискнула и замерла.

— Черт, отстань...

— Выходи ужо в лес... Выдешь?..

— Да ты ошалел никак? Ступай к своей-то Оксе и спроси ее, куда мне приходиться... Отпусти, медведь!

Марья плохо помнила, как ушел Матюшка. У нее сладко кружилась голова, дрожали ноги, опускались руки... Хотела плакать и смеяться, а тут еще свой бабий страх. Вот сейчас она честная мужняя жена, а выйди в лес — и пропала... Вспомнив про объятия Матюшки, она сердито отплюнулась. Вот охальник!.. Потом Марья вдруг расплакалась... Присела к окну, облокотилась и залилась рекой. Семеныч, завернувший вечером напиток чаю, нашел жену с заплаканным лицом.

— Ты это што? — спросил он участливо.

— Да так... голова болит... скушно.

Семеныч был добрый и обходительный муж. Никогда слова поперечного не скажет. Марье сделалось ужасно стыдно, и она чуть удержалась, чтобы не рассказать про охальство Матюшки. Но, взглянув на Семеныча и мысленно сравнивая его с могучим Матюшкой, она промолчала: зачем напрасно тревожить мужа? Полезет он на Матюшку с дракой, а Матюшка его одним пальцем раздавит. Сама виновата, ежели разобрать. Доигралась... Нет, вперед этого уж не будет. «Выходи в лес», — говорит. Тоже нашел дуру! Так и побежала, как собачонка... Да как он смеет, вахлак, такие речи говорить?..

До самого вечера Марья проходила в каком-то тумане,

и все ее злость разбирала сильнее. То-то охальник: и место назначил — на росстани, где от дороги в Фотьянку отделяется тропа на Сиротку. Семеныч улегся спать рано, потому что за день у машины намаялся, да и вставать утром надо на брезгу. Лежит Марья рядом с мужем, а мысли бегут по дороге в Фотьянку, к росстани.

«Поди, думает леший, што я его испугалась,— подумала она и улыбнулась.— Ах, дурак, дурак... Нет, я еще ему покажу, как мужнюю жену своими граблями царапать!.. Небо с овчинку покажется... Не на таковскую напал. Напугал... ха-ха!..»

Марья поднялась, прислушалась к тяжелому дыханию мужа и тихонько скользнула с постели. Накинув сарафан и старое пальтишко, она, как тень, вышла из горенки, постояла на крылечке, прислушалась и торопливо пошла к лесу.

IV

Раз вечером баушка Лукерья была до того удивлена, что даже не могла слова сказать, а только отмахивалась обеими руками, точно перед ней явилось привидение. Она только что вывернулась из передней избы в погребушку, пересчитала там утренний удой по кринкам, поднялась на крылечко и остановилась как вкопанная: перед ней стоял Родион Потапыч.

— Да ты давно онемела, што ли? — сердито проговорил старик и, повернувшись, пошел в переднюю избу.

Наташка, завидевшая сердитого деда в окно, спряталась куда-то, как мышь. Да и сама баушка Лукерья трухнула: ничего худого не сделала, а страшно. «Пожалуй, за дочерей пришел отчитывать», — мелькнуло у ней в голове. По дороге она даже подумала, какой ответ дать. Родион Потапыч зашел в избу, помолился в передний угол и присел на лавку.

— Случай вышел к тебе... — заговорил старик, добывая из кармана окровавленный платок. — Вот погляди, старуха.

В платке лежали бережно завернутые четыре передних зуба. Баушка Лукерья «ужахнулась» бабьим делом, но ничего не могла понять.

— Где взял-то? — спросила она, чувствуя, что говорит совсем не то.

— Не украл, а свои собственные...

В подтверждение своих слов старик раскрыл рот и показал окровавленные десны. Теперь баушка ахнула уже от чистого сердца.

— Где это тебя угораздило-то?

— В шахте... Заложил четыре патрона, поджег фитиля: раз ударило, два ударило, три, а четвертого нет. Што такое, думаю, случилось?.. Выждал с минутку и пошел поглядеть. Фитиль-то догорел, почитай, до самого патрона, да и заглох, ну, я добыл спичку, подпалил его, а он опять гаснет. Ну, я наклонился и начал раздувать, а тут ка-ак чебурахнет... Опомнился я уже наверху, куда меня замертво выволокли. Сам цел остался, а зубы повредило, сам их добыл...

— Ах, батюшки... да как это тебя угораздило-то?

— Вот и пришел... Нет ли у тебя какого средства кровь унять да против опуха: щеку дует. К фёршалу стыдно ехать, а вы, бабы, все знаете... Может, и зубы на старое место можно будет вставить?

— Нет, этого нельзя, а кровь уйдем... Есть такая травка.

К особенностям Родиона Потапыча принадлежало и то, что он сам никогда не хворал и в других не признавал болезней, считая их притворством, то есть такие болезни, как головная боль, лихоманка, горячка, «сердце схватило», «весь не могу» и т. д. Всякая болезнь в его глазах являлась только предлогом не работать. Из-за этого происходили часто трагикомические случаи. Еще при покойном Карачунском одному рабочему придавило в шахте ногу. Его отправили в больницу. Это до того возмутило старика, что он сейчас же заявился к Карачунскому с формальной жалобой:

— Это оп нарощно, Степан Романыч.

— Как нарощно? Фельдшер говорит, что кости повреждены и, может быть, придется даже отнять ногу...

— Нарощно, Степан Романыч, ногу подставил, штобы в больнице полежать, а потом пенсию будет клянчить... Известно, какой наш народ.

В восемьдесят лет у Родиона Потапыча сохранились все зубы до одного, и он теперь искренне удивлялся, как это могло случиться, что вышибло «диомидом» сразу четыре зуба. На лице не было ни одной царапины. Другого разнесло бы в крохи, а старик поплатился только передними зубами. «Все на счастливого», как говорили рабочие.

Старуха сбегала в заднюю избу, порылась в сундуках и натащила разного старушечьего снадобья: и коренья, и травы, и наговоренной соли, и еще какого-то мудреного зелья, завернутого в тряпочку. Родион Потапыч принимал все с какой-то детской покорностью, точно удивлялся самому себе, что дошел до такого ничтожества.

— А вот это к ночи прими,— наставительно повторяла старуха,— кровь разбивает... Хорошее средство от бессонницы, али кто нехорошо задумываться начнет.

Родион Потапыч улыбнулся.

— И то меня за сумасшедшего принимают,— заговорил он, покачав головой.— Еще покойничек Степан Романыч так-то надумал... Для него-то я и был, пожалуй, сумасшедший с этой Рублихой, а для О니кова и за умного сойду. Одним словом, пустой колос кверху голову носит... Тошно смотреть-то.

— Все жалятся на него...— заметила баушка Лукерья.— Затеснил совсем старателей-то... Тоже ведь живые люди: пить-есть хотят...

— И старателей зря теснит, и своего поведения не понимает.

Оглядевшись и понизив тон, старик прибавил:

— А у меня уж скоро Рублиха-то подастся... да. Легкое место сказать, два года около нее бьемся, и больших тысяч это самое дело стоит. Как подумаю, што при Оникове все дело оправдается, так даже жутко делается. Не для его глупой головы удумана штука... Он-то теперь льнет ко мне, да мне-то его даром не надо.

Еще более понизив голос, старик прошептал на ухо баушке Лукерье:

— Приходил ведь ко мне Степан-то Романыч...

— С нами крестная сила!..

— Верно тебе говорю... Спустился я ночью в шахту, пошел посмотреть штольно и слышу, как он идет за мной. Уж я ли его шаги не знал!..

— А-ах, ба-атюшки... Да я бы на месте померла.

— Ну, раньше смерти не помрешь. Только не надо обочиваться в таких делах... Ну, иду я, он за мной, повернул я в штрек, и он в штрек. В одном месте надо на четвереньках проползти, чтобы в рассечку выйти,— я прополз и слушаю. И он за мной ползет... Слышно, как по хрящу шуршит и как под ним хрящ-то осыпается. Ну, тут уж, признаться, и я струхнул. Главная причина, што без

покаяния кончился Степан-то Романыч, ну, и бродит теперь...

— Почему же около шахты ему бродить?

— А почему он порешил себя около шахты?.. Неприкаянная кровь пролилась в землю.

— Ну, так што дальше-то было? — спрашивала баушка Лукерья, сгорая от любопытства.— Слушать-то страсти...

— Дальше-то вот и было... Повернулся, а он из штрека-то и вылезает на меня...

— Батюшки!.. Угодники... Ой, смертынька!

— А я опять знаю, что двигаться нельзя в таких делах. Стою и не шевелюсь. Вылез он и прямо на меня... бледный такой... глаза опущены, будто што по земле ищет. Признаться тебе сказать, у меня по спине мурашки побежали, когда он мимо прошел, совсем близко, чуть локтем не задел.

Родион Потапыч перевел дух. Баушка Лукерья вся дрожала со страху и даже перекрестилась несколько раз.

— Ну и бесстрашный ты человек, Родион Потапыч!

— Ты слушай дальше-то: *он* от меня, а я за ним... Страшновато, а я уж пошел на отчаянность: што будет. Завел он меня в одну рассечку да прямо в стену и ушел, в забой. Теперь понимаешь?

— Ничего я не понимаю, голубчик. Обмерла, слушавши-то тебя...

— А я понял: *он* мне показал, где жила спряталась.

— А ведь и то... Ах, глупая я какая!..

— Ну, я тут на другой же день и поставил работы, а мне по первому разу зубы и вышибло, потому как не совсем чистое дело-то...

— А што ты думаешь, ведь правильно!.. Надо бы попа позвать да отчитать хорошенько...

В этот момент под окнами загредел колокольчик, и остановилась взмыленная тройка. Баушка Лукерья даже вздрогнула, а потом проговорила:

— Погляди-ка, как наш Кишкин отличается... Прежде Ястребов так-то ездил, голубчик наш.

Родион Потапыч только нахмурился, но не двинулся с места. Старуха всполошилась: как бы еще чего не вышло. Кишкин вошел в избу совсем веселый. Он ехал с обеда от горного секретаря.

— Передохнуть завернул, баушка,— весело говорил он, не снимая картуза.— Да и лошадям надо подобрать

мыло. Запозднился малым делом... Дорога лесная, пожалуй, засветло не доберусь до своей Богоданки.

— Здравствуй, Андрон Евстратыч... Разбогател, так и узнавать не хочешь,— заговорил Зыков, поднимаясь с лавки.

— Ах, Родион Потапыч! — обрадовался Кишкин.— А я-то и не узнал тебя. Давненько не видались... Когда в последний-то раз мы с тобой встретились? Ах, да, вот здесь-то, у следователя. Еще ты меня страмил...

— Мало страмил-то, Андрон Евстратыч, потому как по твоему малодушеству не так бы следовало...

— Правильно, Родион Потапыч, кабы знал да ведал, разве бы довел себя до этого, а теперь уж поздно... Голодный-то и архирей украдет.

— Претит, значит, совесть-то? Ах, Андрон Евстратыч, Андрон Евстратыч...

— От бедноты это приключилось,— объяснила баушка Лукерья, чтобы прекратить неприятный разговор.— Все мы так-то: в чужом рту кусок велик...

— Через тебя в землю-то ушел Степан Романыч,— наступал старый штейгер.— Истинно через тебя... Метил ты в других, а попал в него.

— Так уж случилось...— смущенно повторял Кишкин.— Разе я теперь рад этому?.. И то он, Степан-то Романыч, как-то привиделся мне во сне, так я напирнялся страху. Панихиду отслужил по нем, так будто полегче стало...

Родион Потапыч и баушка Лукерья переглянулись, а потом старик проговорил:

— Старинные люди, Андрон Евстратыч, так сказывали: покойник у ворот не стоит, а свое возьмет... А между прочим, твое дело, тебе ближе знать.

Наступило неловкое молчание. Кишкин жалел, что вовремя попал к баушке Лукерье, и тянул время отъезда,— пожалуй, подумают, что он бежит.

— Ты бы переночевал? — предлагала баушка Лукерья.— Куда, на ночь глядя, поедешь-то?

— А мне пора в сам деле!..— поднялся Кишкин.— Только-только поспею засветло-то... Баушка, посылай поклончик любезному сынку Петру Васильичу. Он на Сиротке теперь околачивается... Шабаш, брат: и узду забыл, и весы — все ремесло.

— Ох, и не говори,— застонала баушка Лукерья.— Домой-то и глаз не кажет. Не знаю, што уж теперь и будет.

— Ничего, обмякнет, дай время,— успокаивал Кишкин.— До свежих веников не забудет...

— А ты напрасно, баушка, острамила своего Петра Васильича,— вступился Родион Потапыч.— Поучить следовало, это верно, а только опять не на людях... В самом деле, мужику теперь ни назад ни вперед ходу нет. За ремесло за его похвалить тоже нельзя, да ведь все вы тут ополоумели и последнего ума решились... Нет, неладно. Хоть бы со мной посоветовались: вместе бы и поучили.

Когда Кишкин вышел за ворота, то увидел на завалинке Наташку, которая сидела здесь вместе с братишкой,— она выжидала, когда сердитый дедушка уйдет.

— Ты это што, птаха, по заугольям прячешься? — спрашивал Кишкин, усаживаясь в тарантас.

— Дедушки боюсь... — откровенно призналась Наташка, краснея детским румянцем.

— Ну, страшен сон, да милостив бог. Поедем ко мне в гости?..

Когда лошади тронулись и дрогнули колокольчики под дугой, торопливо выскочила за ворота баушка Лукерья.

— Постой-ка, Андрон Евстратыч!.. — кричала она задыхавшимся голосом.— Возьми уже деньги-то от меня...

— Ага... а где ты раньше-то была? Нет, теперь тыходи за мной, а мне твоих денег не надо...

Тарантас укатил, заливаясь колокольчиками, а баушка Лукерья осталась со своими деньгами, завязанными в старенький платок. Она постояла на месте, что-то пробормотала и, пошатываясь, побрела назад. Заметив Наташку, она ее обругала и дала тычка.

— Вот дармоеды навязались!.. — ворчала раздосадованная старуха.— Богадельня у меня, што ли?..

Родион Потапыч против обыкновения засиделся у баушки Лукерьи. Это даже удивило старуху: не таковский человек, чтобы задарма время проводить.

— И впрямь, надо полагать, с ума схожу,— печально говорил старик, разглаживая бороду.— Никак даже не пойму, што к чему... Прежнее-то все понимаю, а нынешнее в ум не возьму. Измотыжился народ вконец...

— Ох, и не говори!..

— Што мужики, што бабы — все точно очумелые ходят. Недалеко ходить, хоть тебя взять, баушка. Обжаднела и ты на старости лет... От жадности и с сыном вздорили, а теперь оба плакать будете. И все так-то... Раздума-

ешься этак-то, и делается тошно... Ушел бы куда глаза глядят, только бы не видеть и не слышать про ваши-то хужества.

Баушка Лукерья угнетенно молчала. В лице Родиона Потапыча перед ней встал позабытый мир, где все было так строго, ясно и просто и где баба чувствовала себя только бабой. Сказалась старая «расейка», несшая на своих бабьих плечах всяческую тяготу. Разве можно применить нынешнюю бабу, особенно промысловую? Их точно ветром дует в разные стороны. Настоящая беспастушная скотина... Не стало, главное, строгости никакой, а мужик измалодушествовался. Правильно говорит Родион-то Потапыч.

Старики разговорились про старину и на время забыли про настоящее, чреватое непонятными для них интересами, заботами и пакостями. Теперь только поняла баушка Лукерья, зачем приходил Родион Потапыч: тошно ему, а отвести душу не с кем.

Родион Потапыч ушел уж в сумерках. Ему не хотелось идти через Фотьянку при дневном свете, чтобы не встречаться с галдевшим у кабака народом. Фотьянка вечером заживала лихорадочной жизнью. Из ближайших промыслов съезжались все рабочие, и около кабака была настоящая давка. Родион Потапыч обошел подальше проклятое место, гудевшее пьяными голосами, звуками гармоний, песнями и ораньем, спустился к Балчуговке и только ступил на мост, как Ульянов кряж весь заалелся от зарева. Оглянувшись, он подумал, что горит кабак... Вечер был тихий, и пламя поднималось столбом.

— Да ведь это баушка Лукерья горит! — вскрикнул старик, бегом бросаясь назад.

Действительно, горел дом Петра Васильича, занявший с задней избы. Громадное пламя так и пожирало старую стройку из кондового леса, только треск стоял, точно кто зубами отдирает бревна. Вся Фотьянка была уже на месте действия. Крик, гвалт, суматоха и никакой помощи. У волостного правления стояли четыре бочки и пожарная машина, но бочки рассохлись, а у машины не могли найти кишки. Да и бесполезно было: слишком уж сильно занялся пожар, и все равно сгорит дотла весь дом.

— Сам поджег свой-то дом!.. — галдел народ, запрудивший улицу и мешавший работавшим на пожарище. — Недаром тогда грозился в волости выжечь всю Фотьянку. В огонь бы его, кривого пса!..

— Сказывают, девчонка его видела!.. Он с огородов подкрался и карасином облил заднюю-то избу.

Родион Потапыч никак не мог найти в толпе баушку Лукерью.

— Да она, надо полагать, того...— объяснил неизвестный мужик.— В самое пальмо попала. Бросилась, слышь, за деньгами, да и задохлась.

Старик в ужасе перекрестился.

V

На другой же день после пожара в Фотьянку приехала Марья. Она первым делом разыскала Наташку с Петрунькой, приютившихся у соседей. Дети обрадовались тетке после ночного переполоха, как радуются своему и близкому человеку только при таких обстоятельствах. Наташка даже расплакалась с радости.

— Тетя, родная, што только и было,— рассказывала она, припадая к Марье.— И рассказывать-то — так одна страсть...

— Дедушка-то зачем был?

— А так навернулся... До сумерек сидел и все с баушкой разговаривал. Я с Петрунькой на завалинке все сидела: боялась ему на глаза попасть. А тут Петрунька спать захотел... Я его в сени потихоньку и свела. Укладываю, а в оконце — отдушинка у нас махонькая в стене проделана,— в оконце-то и вижу, как через огород человек крадется. И вижу, несет он в руках бурак берестяный и прямо к задней избе да из бурака на стенку и плечет. Испугалась я, хотела крикнуть, а гляжу: это дядя Петр Васильич... ей-богу, тетя, он!..

— Уж это ты врешь, Наташка. Тебе со страху показалось... Да и как ты в сумерки могла разглядеть?.. Петр Васильич на прииске был в это время... Ну, потом-то што было?

— А потом я хотела позвать баушку, да побоялась. Ну, как дедушка ушел, я только к баушке, а она как на меня зыкнет... Целый день она сердилась на меня за Петруньку. Ну, я со страху и замолчала. А тут баушка погнала в погреб... Выскочила я из погреба-то, а на дворе дым и огонь в задней избе... Я забежала в сенки, схватила Петруньку и не помню, как выволокла на улицу сонного...

А баушки нет... Я опять в сенки, а баушка на моих глазах в заднюю избу бросилась, прямо в огонь. Она за сундуком это... Там ее и нашли, около сундука... Обгорела вся... ничего не узнать...

Наташка в заключение так разрыдалась, что Марья пришлось отваживаться с ней.

— Народ-то все Петра Васильича искал,— продолжала Наташка,— все хотели его в огонь бросить.

— А ты бы еще больше болтала, глупая!.. Все из-за тебя... Ежели будут спрашивать, так и говори, што никого не видала, а наболтала со страху.

— Да я видела...

— Молчи, дура!.. Из-за твоих-то слов ведь в Сибирь сошлют Петра Васильича. Теперь поняла?.. И спрашивать будут, говори одно: ничего не знаю.

Пожарище представляло собой страшную картину. За ночь точно языком слизнуло целых три дома. Торчали печные трубы да обгорелые столбы. Около места, где стояла задняя изба баушки Лукерьи, толкался народ. Там, среди обгорелых бревен, лежало обуглившееся, неузнаваемое «мертвое тело» самой баушки Лукерьи. Чья-то добрая рука прикрыла его белым половиком. От волости был наряжен сотский, который сторожил мертвое тело до приезда станового. От этой картины даже у Марьи сердце сжалось, особенно когда она узнала валявшиеся около баушки Лукерьи железные скобы от ее заветного сундука... Вероятно, старуха так и задохлась на своем сокровище. Народ усиленно галдел. Все ругали Петра Васильича. Марья попробовала было заступиться за него, но ее чуть не прибили.

— Мы его, пса, еще утихомирим!.. Его работа... Сам грозился в волости выжечь всю Фотьянку.

Вообще, народ был взбудоражен. Погоревшие соседи еще больше разжигали общее озлобление. Ревели и голосили бабы, погоревшие мужики мрачно молчали, а общественное мнение продолжало свое дело.

— Надо его своим судом, кривого черта!.. А становой што поделает... Поджег, а руки-ноги не оставил. Удавить его мало, вот это какое дело!..

Таким образом, Петр Васильич был объявлен вне закона. Даже не собирали улик, не допрашивали больше Наташки: дело было ясно, как день.

На пожарище Марья столкнулась носом к носу с Ер-

мошкой, который нарочно пришел из Балчуговского завода, чтобы посмотреть на пожарище и на сгоревшую старуху...

— Приказала баушка Лукерья долго жить,— заметил он, здороваясь с Марьей.— Главная причина — без покаяния старушка окончание приняла. Весьма жаль... А промежду прочим, очень древняя старушка была, пора косям и на покой, кабы только по всей форме это самое дело вышло.

— Все под богом ходим, Ермолай Семеныч... Кому уж где господь кончину пошлет.

— Это точно-с. Все мы люди-человеки, Марья Родивоновна, и все мы помрем... Сказывают, старушка на сундучке так и сгорела? Ах, неправильно это вышло...

— Мало ли что зря болтают! Просто, опахнуло старушку дымом, ну и обеспамятела... Много ли старому человеку нужно! А про сундучок это зря болтают.

— Конечно, зря, а я только к слову. До свидания, Марья Родивоновна... Поклон Андрону Евстратычу. Скоро в гости к нему приеду.

— Милости просим...

Ермошка отошел, но вернулся и, оглядываясь, проговорил:

— А моя-то Дарья пласт-пластом лежит... Не сегодня-завтра коцнется. Уж так-то она рада этому самому...

Поймав улыбку Марьи, он смущенно прибавил:

— Вы не подумайте, шtbody через мои руки она помирала... Пальцем не тронул. Прежде случалось, а теперь ни боже мой...

— Жениться будете?

— Как сорочины минуют, подумываю... Вот вы-то меня не дождались, Марья Родивоновна!..

— Сватайте Наташку: она лицом-то вся в Феню. Я ее к себе на Богоданку увезу погостить...

— А ведь оно тово, действительно, Марья Родивоновна, статья подходящая... ей-богу!.. Так уж вы, тово, не оставьте нас своею милостью... Ужо подарочек привезу. Только вот Дарья бы померла, а там живой рукой все оборудуем. Федосья-то Родивоновна в город переехала... Я как-то ее встретил. Бледная такая стала да худенькая...

Марье пришлось прожить в Фотьянке дня три, но она все-таки не могла дожидаться баушкиных похорон. Да надо было и Наташку поскорее к месту пристроить. На Бого-

данке-то она и свою голову прокормит и пользу еще принесет. Недоразумение вышло из-за Петруньки, но Марья вперед все предусмотрела. Ей было это даже на руку, потому что благодаря Петруньке из девчонки можно было веревки вить.

— Я твоего Петруньку тоже устрою,— говорила Марья, испытующе глядя на свою жертву.— Много ли парнишке надо. Покойница-баушка все взъедалась на него, а я так рада: пусть себе живет. Не чужие ведь...

Наташка точно оттаяла от этих слов, хотя раньше и не любила Марью. Марья, не теряя времени, сейчас же увезла ее на прииск и улещала всю дорогу разными наговорами, как хороший конокрад. Нужно заметить, что приезжала она на Фотьянку настоящей барыней, на лошадях Кишкина и в его долгушке. Наташку дорогой взяло раздумье относительно надоедавшего ей старика, но Марья и тут сумела ее успокоить, а кому же верить, как не Марье. Когда она жила еще дома, так все под ее дудку плясали: и сама Устинья Марковна, и тетка Анна, и тетка Феня.

— Старичок ежели и пошутит, так не велика беда,— нагсваривала Марья.— Это не то, што молодые парни зубы скалят...

Таким образом, Марья торжествовала. Она обещала привезти Наташку и привезла. Кишкин, по обыкновению, разыграл комедию: накинулся на Марью же и долго ворчал, что у него не богадельня и что всей Марьиной родни до Москвы не перевешать. Скоро этак-то ему придется и Тараса Мыльпикова кормить, и Петра Васильича. На Наташку он не обращал теперь никакого внимания и даже как будто сердился. В этой комедии ничего не понимал один Семеныч и ужасно конфузился каждый раз, когда жена цеплялась зуб за зуб с хозяином.

— Очень уж ты свободно разговариваешь с ним, Маша,— усовещивал он жену.— От места еще мне откажет...

— Не откажет, старый черт!.. А откажет, так и без него местов добудем.

Устроив Наташку на прииске в своей горенке, Марья опять склалась и погнала на Фотьянку хоронить баушку Лукерью, а оттуда в Балчуговский завод проведать своих. Она уже слышала стороной, что отец не совсем тверд в разуме, и, того гляди, всем имуществом завладеет Анна. Она и то разжалобила отца своими ребятишками. Яша Малый, конечно, ничего не получит, да и Татьяна тоже,— разе

удобрится мамынька Устинья Марковна да из своей части отвалит. Старушка тоже древняя и тоже очень не тверда разумом-то... А главная причина поездки заключалась в желании видетсья с Матюшкой, который по уговору должен был ее подождать у Маяковой слани. Марья уезжала одна, в приисковой тележке, в каких ездили все старатели.

— Смотри, не пообидел бы кто-нибудь дорогой,— говорил Семеныч, провожая жену,— бродяги по лесу пляжуются...

— Ты вот за Наташкой-то не очень ухаживай,— огрызнулась Марья.

Она раньше боялась мужа, потом стыдилась, затем жалела и, наконец, возненавидела, потому что он упорно не хотел ничего замечать. И таким маленьким он ей казался... Вообще с Марьей творилось неладное: она ходила как в тумане, полная какой-то странной решимости.

— Наташка, будешь убираться в конторе, так пригляди, куды прячет Андрон Евстратыч ключ от железного сундука,— наказывала она перед отъездом.— Да возьми припрячь его при случае...

Наташка не поняла, для чего нужно было прятать ключ. Марья окончательно обозлилась и объяснила:

— Надоел он мне, как горькая редька... Пусть поищет, старая крыса. За тебя с Петрунькой поедом съел. Положи ключик-то на полочку под образа. Поняла?

Наташка теперь поняла и даже ухмыльнулась. Ей понравилась мысль испугать противного старичонку, который опять начал поглядывать на нее масляными глазами.

Семеныч «ходил у парового котла» в ночь. День он спал, а с вечера отправлялся к машине. Кстати сказать, эту ночную работу мужа придумала Марья, чтобы Семеныч не мешал ей пользоваться жизнью. Она сама просила Кишкина поставить мужа в ночь.

— Играешь, Марьюшка,— посмеялся Кишкин.— Ну, ну, я ничего не вижу и ничего не знаю... Между мужем и женой бог судья. Ты мне только тово...

— А вот я уеду в Балчуговский завод, так вы уж сами тут промышляйте. В конторе одна Наташка останется... Ну, што, довольны теперь?..

— Озолочу, Марьюшка.

Около полуночи, когда Семеныч дремал у своей машины, прибежал кто-то и сказал, что в конторе неладно. Все бросились туда. Там произошло нечто ужасное... В самой

конторе лежал зарезанный Кишкин. Он был в одном белье и, видимо, отчаянно защищался, потому что руки были страшно изрезаны. В горенке Семеныча оказалось целых три трупа: в своей постели на полу лежал убитый Петрунька,— видимо, его убили сонного, Наташка лежала в самых дверях с разможенным черепом, а на крыльчке сама Марья. Все было залито кровью. Цель убийства была ясна: касса оказалась пустой... У всех мелькнула одна и та же мысль при виде этой картины: некому этого сделать, кроме все того же Петра Васильича. Пошел мужик на отчаянность. Конечно, его работа. Кому же больше? Оставалось непонятным только одно, как Марья опять вернулась в свою горенку? Все видели, как она еще днем уехала на Фотьянку. Лошадь нашли на дороге,— она была привязана к дереву в стороне от дороги. Подозрение на Петра Васильича увеличилось еще тем, что его видели именно в этот день недалеко от прииска, а потом он вдруг точно в воду канул. Конечно, его дело... С Сиротки он ушел после обеда. Матюшка лежал больной у себя в землянке. Он защищал Петра Васильича. Мало ли по лесу бродяг шляется: подглядели и прикончили всех.

Приехали на Богоданку следователь, урядник, понятые. Произвели следствие, которое подтвердило общее подозрение: за кассой нашли шапку Петра Васильича, которую все признали. Очевидно, он забыл ее второпях. Следователь уже составил полный план, как совершилось преступление: Петр Васильич встретил Марью на дороге и под каким-то предлогом уговорил вернуться домой. Может быть, он ей сказал, что Кишкин и Наташка убиты, а когда она вернулась, он убил и ее, чтобы скрыть всякие следы. В сущности, это было очень неясное объяснение, но пока единственное.

Когда следователь уехал уже домой, раскрылось новое обстоятельство, перевернувшее все: недалеко от Маяковой слани нашли убитого Петра Васильича. Очевидно, он был убит на дороге, а затем уже стащен в болото.

VI

Дела у компании шли плохо. Старательские работы сведены были на нет, и этим самым уничтожено было в корне хищничество, но вместе с тем компания лишилась

и главной части своих доходов, которые получались раньше от старателей. Но Оников хотел быть последовательным и решил вести дело исключительно компанейскими работами. Во-первых, был расчет на Рублиху, а потом немного пониже Фотьянки отводили течение реки Балчуговки в другое русло,— нужно было взять россыпь, по которой протекала эта река, целиком. Уже второй год устраивалась громадная плотина, отводившая реку в новое русло. Целую зиму велась эта грандиозная работа, стоившая десятков тысяч. Когда вода была отведена, приступили к вскрыше верхнего пласта, покрывавшего россыпь. Вместе с наступлением весны должна была открыться и промывка этой россыпи, для чего поставлено было несколько бутар и две паровые машины. Новый прииск лежал немного пониже Ульянова края, так что, по всем признакам, россыпь образовалась из разрушавшихся жил, залежавших именно в этом крае, так что золото зараз можно было взять и из россыпи, и из коренного месторождения.

— Мы возьмем золото с хвоста и с головы,— повторял Оников, встречаясь с Родионом Потапычем.

— Что же, ваши бы слова да богу в уши,— уклончиво отвечал старик, окончательно возненавидевший Оникова.

Положение Фотьянки было отчаянное. Кедровское золото кое-кого поманило, кое-кого даже помазало по губам, но в общем масса бедствовала хуже прежнего, потому что кончились старательские работы, собственно, в Балчуговской даче. Эти работы давали крохи, но эти крохи и были дороги, потому что приходились главным образом на голодное зимнее время. Нерасчетливый промысловый рабочий не умел сберегать на черный день, а добытые на приисках гроши пели петухами. Отдельные случаи более или менее случайного обогащения совершенно терялись в общей массе рабочей бедности.

Уничтожение старательских работ в компанейской даче отразилось прежде всего на податях. Недоимки были и раньше, а тут они выросли до громадной суммы. Фотьянский старшина выбился из сил и ничего не мог поделать: хоть кожу сдирай. Наезжал несколько раз непременный член по крестьянским делам присутствия вместе с исправником и тоже ничего не могли поделать.

— Как же это так,— удивлялся член,— кругом золото, а вы не можете податей заплатить?..

— Точно так, вашескородие,— отвечал староста.— Кругом золото, а в середке бедность... Все от компании зависит: ежели бы объявили старательские работы, оно все же передышка... Не настоящее дело, а из-за хлеба на воду робыли.

Переговоры с Ониковым по этому поводу тоже ни к чему не повели. Он остался при своем мнении, ссылаясь на прямой закон, воспреещающий старательские работы. Конечно, здесь дело заключалось только в игре слов: старательские работы уставом о частной золотопромышленности действительно запрещены, но в виде временной меры разрешались работы «отрядные» или «золотничные», что в переводе значило то же самое.

— Я поступаю только по закону,— говорил Оников с упрямством безнадежно помешанного человека.— Нужно же было когда-нибудь вырвать зло с корнем...

— Да... гм... Но апостол Павел сказал, что «по нужде и закону применение бывает». Ваши реформы отзываются на казенных интересах.

— О, это напрасно! Дайте что угодно рабочим, они все пропьют... Что дала Кедровская дача?..

Дело в том, что, собственно, рабочим Кедровская дача дала только призрак настоящей работы, потому что здесь вместо одного хозяина, как у компании, были десятки,— только и разницы. Пока благодетелями являлись одни скупщики вроде Ястребова. Затем мелкие золотопромышленники могли работать только летом, а зимой прииски пустовали.

Недовольство рабочих новым главным управляющим пережило свою острую форму. Его даже не ругали, а глухое мужицкое недовольство росло и подступало, как выступившая вода из берегов.

— У меня разговор короткий: чуть что, сейчас рабочих из других мест кликну,— хвастался Оников.— Всякое дело необходимо доводить до конца.

Родион Потапыч сидел на своей Рублихе и ничего не хотел знать. Благодаря штольне углубление дошло уже до сорок шестой сажени. Шахта стояла громадных денег, но за нее поэтому так и держались все. Смертельная болезнь только может подтачивать организм с такой последовательностью, как эта шахта. Но Родион Потапыч один не терял веры в свое детище и боялся только одного, что компания не даст дальнейших ассигновок.

Раз ночью старик сидел в конторке и дремал. Его разбудил осторожный стук в окно.

— Кто там, крещеный?

— Можно зайти, дедушка, обогреться?..

— Дня-то тебе не стало? — удивился Родион Потапыч, разглядывая чье-то молодое лицо с окладистой русой бородкой. — Ступай в двери.

Через несколько минут в дверях конторки показался Матюшка, весь засыпанный снегом. Родион Потапыч с трудом признал его.

— Ты што это полуношничаеть? — сердито спросил его старик. — Мало ли тут шляющихся по лесу-то...

— Я с делом, дедушка... — рассеянно ответил Матюшка, перебирая шапку в руках. — Окся приказала долго жить...

— Кончилась?.. — участливо спросил старик, сразу изменившись. — Ах, сердяга... Омманула она меня тогда, ну, да бог ее простит.

— Цельную неделю, дедушка, маялась и все никак разродиться не могла... На голос кричала цельную неделю, а в лесу никакого sposobия. Ах, дедушка, как она страждила... И тебя вспомнила. «Помру, грит, Матюшка, так ты сходи к дедушке на Рублиху и поблагодари, што узрел меня тогда».

— Вспомнила?

— И еще как, дедушка... А перед самым концом как будто стихала и поманила к себе, штобы я около нее присел. Ну, я, значит, сел... Взяла она меня за руку, поглядела этак долго-долго на меня и заплакала. «Што ты, говорю, Окся: даст бог, поправишься...» — «Я, грит, не о том, Матюшка. А тебя мне жаль...» Вон она какая была, Окся-то. Получше в десять раз другого умного понимала...

Постоял Матюшка у порога, рассказал еще раз о смерти Окси и начал прощаться. Это опять удивило Родиона Потапыча.

— Да ты чего это ночью-то хочешь идти? — проговорил ему старик. — Оставайся у нас на шахте переночевать.

Матюшка переминался с ноги на ногу, а потом вдруг у него по лицу посыпались быстрые молодые слезы.

— Тошно мне, дедушка... — шептал он задыхавшимся голосом. — Ах, как тошно...

Старик нахмурился: разве модель мужику реветь?..

Матюшка так и не остался ночевать. Он несколько раз

нерешительно подходил к двери конторки, останавливался и опять уходил. Вообще с Матюшкой было неладно, как заметили все рабочие.

В другой раз он спустился в самую шахту и отыскал Родиона Потапыча в забое, где он закладывал динамитные патроны для взрыва.

— Эх ты напугал меня,— рассердился Родион Потапыч.— Ну, чего опять?..

Матюшка молчал. Старик с удивлением посмотрел на него. Этаким молодчага-парень, ежели бы не дурь. Руки одни чего стоят. Вот бы в забой поставить!

Когда взрыв был произведен и Родион Потапыч взглянул на обвалившиеся куски камня, то даже отшатнулся, точно от наваждения. Взрывом была обнажена прекрасная жила толщиной в полтора аршина, а в проржавевшем кварце золотыми слезами блеснул драгоценный металл.

— Что же это такое? — изумлялся старик, глядя на Матюшку.— Сколь бились мы над ней, над жилой, а она вон когда обозначилась... На твои счастья, Матюшка, выпала она!..

Матюшка опять молчал, а у Родиона Потапыча блеснули слезы на глазах. Это было его последнее золото... Выломав несколько кусков получше, старик велел забойщикам подняться наверх, а западню в шахту запер на замок собственноручно... Оно меньше греха.

Открытие жилы в Ульяновом кряже произвело настоящий переполох. Оников прискакал сломя голову и расцеловал Родиона Потапыча из щеки в щеку. Спустившись в шахту, он долго любовался жилой и вслух делал примерные вычисления. На худой конец оправдаются все произведенные расходы да столько же получится дивиденда.

— Надо деньги-то считать, когда они в карман положены,— строго заметил Родион Потапыч.

— Ничего, сосчитаем и не в кармане...

Старик молча торжествовал свою победу: Рублиха не обманула, хотя и стоила страшно дорого. Да, он показал, какое золото в Ульяновом кряже старые штейгеры открывают... Вот только голубчик Степан Романыч не дожил.

Приехал полюбоваться Рублихой и сам горный секретарь Илья Федотыч. Спустился в шахту, отломил на память кусок кварцу с золотом и милостиво потрепал старого штейгера по плечу.

— Молодые-то хоть и поют петухами, а без нас, стариков, дело, видно, тоже не обойдется. Так, Родион Потапыч?

— Молодых-то гусей по осени считают, Илья Федотыч...

На Рублихе пока сделана была передышка. Работала одна паровая машина, да неотступно оставался на своем месте Родион Потапыч. Он, добившись цели, вдруг сделался грустным и задумчивым, точно что потерял. С ним теперь часто дежурил Матюшка, повадившийся на шахту неизвестно зачем. Раз они сидели вдвоем в конторке и молчали. Матюшка совершенно неожиданно рухнул своим громадным телом в ноги старику, так что тот даже отскочил.

— Дедушка, голубчик, тошно мне, а силы своей не хватает... Отвези ты меня к следователю в город. Мое дело...

— Да ты рехнулся, парень?.. Какое дело?..

— А на Богоданке?.. Я всех троих порешил. Петр Васильич подбил: ограбим да ограбим Кишкина. Ну, я и соблазнился и Марью настроил, штобы ключ добыла, а она через Наташку... Я ее на дороте встретил, ну, вместе на прииск ночью и пришли. Петр Васильич в сторожах сперва стоял, а я в горницу к Марье прошел. Ключ-то Наташка у старика выкрала... Ну, я захожу в контору из Марьиной горницы, а Кишкин и проснись на грех... Как закричит... Все у меня в голове перемешалось... ударил я его и сразу заморил, а Петр Васильич уже около кассы с ключом и какие-то бумаги себе за пазуху сует... Потом Наташка очнулась; ну, мы всех прикончили разом, штобы никакого следа. Деньги захватили — и в лес. Ночью около огонька принялись делить... Вижу, Петр Васильич оманывает меня, а потом, думаю, уйдет он с деньгами-то куды глаза глядят, а на меня все свалят... Ну, тут я и его прикончил. Все равно выдал бы... На него все улики были. Ночью же пришел я домой и сказался больным, а Окся-то и догадалась, што неладное дело. Так ничего и не сказала, а только перед самой смертью выговорила все... «За твой, грит, грех помираю!» И так мне стало тошно с того с самого время: легче вот руки наложить на себя... места не найду...

Родион Потапыч молча его выслушал, а слеча взял веревку и молча связал ему крепко руки.

— Повремени малость...— сказал старик, не глядя на Матюшку.— Я тебя предоставлю куды следует.

Захватив с собой топор, Родион Потапыч спустился один в шахту. В последний раз он полюбовался открытой жилой, а потом поднялся к штольне. Здесь он прошел к выходу в Балчуговку и подрубил стойки, то же самое сделал в нескольких местах посредине и у самой шахты, где входила рудная вода. Земля быстро обсыпалась, преграждая путь стекавшей по штольне воде. Кончив эту работу, старик спокойно поднялся наверх и через полчаса вел Матюшку на Фотьянку, чтобы там передать его в руки правосудия.

В эту же ночь Рублиху залило водой, а старый штейгер сидел наверху и смеялся теперь уже сумасшедшим смехом.

Залитую водой Рублиху возобновить было, пожалуй, дороже, чем выбить новую шахту, и найденная старым штейгером золотоносная жила была снова похоронена в земле. Да и компании теперь было не до нее. Устроенная плотина на Балчуговке была размыва весенней водой, и все работы, подготовленные с громадными затратами, были покрыты речным илом. Эти две больших неудач отозвались в промышленном бюджете очень сильно, так что представленные Ониковым сметы не получили утверждения, и компания прекратила всякие работы за их невыгодностью. И это в такой местности, где при правильном хозяйстве могло благоденствовать стотысячное население и десяток таких компаний...

Родион Потапыч действительно помешался. Это было старческое слабоумие. Он бредил каторгой и ходил по Балчуговскому заводу в сопровождении палача Никитушки, отдавая грозные приказания. За этой парой всегда шла толпа ребятишек.

Феня ушла в Сибирь за партией арестантов, в которой отправляли Кожина: его присудили в каторжные работы. В той же партии ушел и Ястребов. Когда партия арестантов выступала из города, ей навстречу попалась похоронная процессия: в простом сосновом гробу везли из городской больницы Ермошкину жену Дарью, а за дрогами шагал сам Ермошка.

Матюшка повесился в тюрьме.



ПОВЕСТИ
РАССКАЗЫ



С ГОЛОДУ

Рассказ

I

...Настоящее вешнее солнце освещало изрытый ухабами челябинский тракт. Степан шел стороной, выбирая места посуше. Встречные обозы имели самый жалкий вид: не было проезда ни на колесе, ни на полозьях. Воза с кладью сидели по нескольку часов то в пропитанном вешней водой снегу, то на голых местах, где чернела земля. Вся беда в том, что вешнее тепло ударило рано, недели за две до благовещенья. Раза два возчики останавливали Степана и просили помочь высадить завязнувший в снегу воз,— такому рослому мужику стоило только двинуть плечом. Степан молча подходил к телеге, пристраивался поудобнее, напирал плечом и только встряхивал головой — в нем не было силы... Возчики это чувствовали и с удивлением смотрели на обессилевшего мужика, которым впору было забор подпирать.

— Да ты это што, дядя? — галдели возчики. — Глядеть на тебя, так гору своротишь, а силенки, как у худой бабы.

— А так... неможется... — сумрачно отвечал Степан, стараясь не глядеть ни на кого. — Повредил малость.

— Да ты дальний, што ли, будешь-то?

— Нет... Вот тут с трахту повернуть влево, сейчас и наша деревня будет, Морошкина прозывается...

Возчики только переглядывались и качали головами: и влево и вправо от тракта захватила голодовка, значит и мужик обессилел с голоду. Может, сердяга не едал суток трое... А Степан сосредоточенно шагал дальше, чтобы поскорее уйти с чужих глаз: ему было и совестно за свое

собственное бессилье, и надо было передохнуть. Он действительно ничего не ел уже несколько дней, и его пошатывало с голодухи. Идет-идет, а в глазах так и потемнеет, точно кто обухом по голове ударит. Степан выбирал сухонькое местечко, обогретое солнцем, и долго сидел, пока отдыхали ноги и спина. Тяжело ему было, несмотря на весеннее тепло и пригревавшее солнце, так тяжело, точно вот взял бы лег да и умер... Кроме обозов, навстречу ему то и дело попадались пешеходы, которые с котомками за плечами тащились в город на заработки.

— Из городу, дядя? — окликали его мужики.

— Из городу... — мрачно отвечал Степан.

— А не слышал, милый человек, как насчет работы?

— Никакой там работы нету, в городе... Задарма шесть недель прошлялся, а вот теперь домой бреду. Надо к пахоте готовиться... Дружно ударила весна-то, а земля не ждет.

— Это ты правильно... На Егория вешнего только ленивая соха не выезжает в поле. Так работы, значит, не нашел? Ну, такие твои счастья...

— Да и другие-протчии тоже... Так, из-за хлеба на воду можно колотиться: где дровец наколешь, где снег уберешь с крыши, а чтобы настоящей работы — не слышно што-то. В городе-то своих работников достаточно...

Все разговоры шли на один лад: о работе, о хлебе, о голодовке. Далеко она прошла, голодовка, — за Челябину, в степь. Ни хлеба, ни овса, ни сена, ни соломы. Которую скотину прикололи еще до рождества и съели, а лошадей продают совсем даром, да и то не берут. Спрашивавшие мужики смотрели на Степана и не верили, что нет работы; где же ей и быть, как не в городе, где и богатых купцов видимо-невидимо, и господ, и чиновников.

— Напрасно идете... — уговаривал Степан.

— А уж што бог даст, милый человек... Не от радости идем...

Степану стало легче, когда он свернул с тракта на проселок; по крайней мере, не видеть других голодных людей. До Морошкиной оставалось верст тридцать, ежели взять прямо полями, а через Пеньковку и все сорок. Пожалуй, засветло не дойдешь до Пеньковки... Чем ближе к дому, тем легче: только бы добраться до своей деревни. Ах, что там теперь делается... Смотался совсем народ православный: голодная зима всех съела.

Подходя к Пеньковке, Степан догнал мальчонку, который бойко вышагивал по стороне, помахивая палкой. Оказался свой, морошкинский, Сережкой звать.

— Откедова прешь, Сережка?..

— Из городу,— весело ответил мальчик.— А, это ты, Степа... А я было и не узнал тебя попервоначалу-то. Тоже из городу?..

— Из городу...

Сережа бойко поглядел своими еще детскими серыми глазами на Степу и улыбнулся без всякой причины. Это был среднего роста деревенский мальчик, лет четырнадцати, с загорелым и покрытым веснушками курносым лицом. Одет он был уже на городскую руку: в рваный пиджак, в рваные сапоги и рваные плисовые шаровары. Светлым пятном Сережкиной костюмировки являлась новенькая ситцевая рубашка, только что купленная на толкучем в Екатеринбургe.

— Чему обрадовался-то? — оговорил Степан мальчика.— Моешь зубы-то...

— Да я так, дяденька... Попервоначалу-то я даже испугался: думаю, какой мужик гонится за мной, а потом гляжу — наш морошкинский Степа. Вместе-то веселее идти, а то я боялся через заводы один идти: трактовый народ, набалованный...

— Чего тебе бояться-то, мальчуга?

— А так, сам не знаю. В Пеньковке-то заночуем, Степа, а утре по холодку и стеганем в Морошкину. Больно уж я соскучился о своей деревне, так бы ровно вот бегом и побежал...

— И беги, кто тебе мешает...

Сережка опять замаялся и только посмотрел на Степана своими детскими глазами. Радостное настроение Сережки отозвалось в душе Степана глухой болью, и голодный мужик недружелюбно посмотрел на него.

— Ты чего в городу-то делал? — сурово спросил Степан.

— А у попа в кучерах служил... С осени поступил на место, еще до первого снегу. Лошадь у попа старая-престарая, а сам поп тоже старый, да скупой, да ворчливый... Все не по нем. Попервоначалу-то тяжело доставалось, бежать хотел, да наши деревенские в город сено продавать привозили и не велели место оставлять, потому как в деревне-то совсем, слышь, есть нечего.

В этих разговорах дорога скороталась незаметно, точно кто придвинул Пеньковку. Это была большая деревня, залегшая в глубоком логу по берегам речонки Озерной. Бойкое место Пеньковка, а теперь и в ней тихо, точно после пожара; оставались дома одни бабы с ребятами да старики, а мужики разбрелись в разные стороны на заработки.

— Голодают в Пеньковке-то... — заметил Сережка, шагая вперед. — Разве к Силантью попросимся ночевать, Степа?

Силантьева изба стояла ближе, и уставший Сережка выигрывал несколько шагов. Степан согласился молча: ему было все равно, где ни ночевать. В избе у Силантья оставались одни бабы — старуха со снохой.

— Шли бы вы куда-нибудь в другую избу, — посоветовала старуха.

— Притомились, баушка... Может, ты насчет еды сумлеваешься, так мы и так обойдемся; завтра дома поедим.

— То-то вот еда-то у нас, Степанушко: сами через день по кусочку съедим и все тут... Ребятунки вон плачут, хлебушка просят. Ох, нашел нас господь своей милостью... Заходите не то: везде одна сухота. А это никак ты, пострел Сережка?

— Он самый, баушка Василиса...

Зашли в избу, помолились и для порядку присели на лавку. Справно жил Силантий по своей силе, а теперь в избе совсем нежилым пахло. Молодуха сноха совсем исхудала, так что Степан не узнал ее, — она была из Морошкиной, еще соседкой приходилась. Всего четыре осени, как в Пеньковку ее выдали. Сережка притих сразу, как увидел голодавшую избу. Он молча положил свою котомку в уголок и смотрел кругом удивленными глазами.

— С заработков иду, баушка Василиса... — печально говорил Степан. — Напрасно только время терял...

— Ну, хоть свою голову прокормил, Степанушко, а дома и этого негде взять.

— Об семье об своей соскучился, баушка... Как раздумалось в городе-то, так даже слеза прошибет: как-то они, мол, там горюют, а мне и выслать нечего... День поробишь, а три без дела шляешься.

— Ох, плохо у вас, в Морощкиной-то, Степанушко... Сноха Матрена на той неделе ездила к своим, так порасказала довольно: у нас худо, а в Морощкиной еще тошнее того... Мужики-то тоже разбрелись, а бабы с ребятами маются... Тоже через день едят... Ну и отощали: идет другая баба по деревне и повалится — голову стало обносить с голоду. Потом хворь прикинулась: животами больше маются. Охвостьем прежде свиней кормили, а теперь в хлеб мешают, да и охвостья-то не стало.

Поговорили, потужили, а потом, не поевши, залегли спать. С дороги Степан рад был месту. На полати к нему залез с своим узелком и Сережка.

— Ну, ты, поповский выкормок, мотри, я рано буду вставать,— ворчал Степан.— Как раз проспипь...

— А ты разбуди меня: веселее вместе-то.

— У тебя веселье одно на уме, дурак...

Лежа на полатах, еще поговорили. Между прочим, Сережка рассказал еще раз про свое житье у городского попа и прибавил, что несет домой целых шесть рублей — все свое жалованье, какое получил.

— Те-то matka обрадуется,— похвалила Василиса,— в сиротстве вырос, а матке помощник. Тоже голодом сидят... Легкое место сказать: шесть целковых. Вот Степан-то и мужик, а и то пустой домой идет. Это тебе, Сережка, на сиротство господь послал... Совсем еще малец, а промыслил.

— А я по заводам-то боялся один идти,— рассказывал Сережка, поощренный этими похвалами,— народ заводский бойкий, да и трахтовые тоже хороши, а тут еще навстречу свои голодные мужики бредут... Вызнают, што я с деньгами, как раз ужокошат.

— Было бы кого убивать-то...

— Степан и то напугал меня, баушка, гляжу, мужик меня догоняет... В поле да в лесу один Никола бог.

В этих разговорах Степан не принимал никакого участия, а только тяжело вздыхал. Шесть целковых, которые нес домой Сережка, мучили и волновали его, точно укор его собственному пустому карману. И стыдно было Степану, и обидно, и горько... А там, дома, ждет непокрытая нужда и голод. Жена, поди, думает, вот воротится Степан из города с деньгами и поправимся хоть до петровок, а там огороды поспеют, картошка, горох — как ни на есть перебьемся до свежего хлеба. Ах, далеко до этого свежего хле-

ба, а теперь и семян нет, и последняя лошаденка обесси-
лела.

Все в избе давно заснули, а Степан лежит и все ду-
мает: не дают ему спать свои черные мысли. За сердце
точно кто схватит, как подумает о Сережкиных деньгах...
Не велики шесть целковых, а в хозяйстве в такую пору
большая разжива. Вот отчего Сережка так весело идет до-
мой, а ему, Степану, хоть бы и не приходиться: невеликую
радость принесет с собой. О чем ни думает Степан, а в кон-
це все-таки к Сережкиным деньгам повернет... Это даже
испугало Степана, и он несколько раз принимался молить-
ся, отгоняя закрадывавшуюся в сердце черную мысль. Се-
режка спит рядом, котомка в головах — всего протянуть
руку, добыть деньги и потихоньку уйти с ними. Степана
даже холодный пот прошиб от этой мысли, и на полатах
ему кажется душно — давит его что-то, точно жерновом
навалили. Так всю ночь промаялся Степан, а когда рассве-
тало и бабушка Василиса по привычке затопила печку, он
слез с полатей и начал собираться в дорогу.

— А Сережку-то што не будишь, Степанушко? — спра-
сила старуха.— Больно он вчера просил тебя, штобы вме-
сте идти...

— Будил, да крепко спит... Один дойдет.

— Умаялся тоже с дороги-то, сердешный,— согласи-
лась старуха.— Ну, ин, пусть отдохнет, а потом и один до-
бежит: не велико место двадцать верст. Да ты што, Степан,
туманный какой-то?..

— Неможется, бабушка... Вот пойду, так ветерком об-
веет.

Старуха по-своему поняла это «неможется»,— просто
отощал мужик, и конец делу. Едва ноги волочит. Из
сил выбился. И другие мужики такие же. Ох, плохо
дело.

— Так я Сережку-то разбужу,— говорила старуха,
провожая Степана за ворота.— Вострый паренек...

Степан ничего не ответил, а быстро зашагал вперед,
точно хотел убежать от мучившей его всю ночь мысли о
Сережкиных деньгах. Он ни разу не оглянулся и даже не
сказал старухе спасибо за ночлег.

— Нет, неладное что-то попритчилось с мужиком,—
вслух думала бабушка Василиса и пошла сейчас же будить
Сережку — у ней в голове мелькнуло смутное подозрение
относительно целостности Сережкиных денег.

Когда Сережка сосчитал свои шесть целковых, бабушка Василиса облегченно вздохнула: напрасно подумала худое про голодного человека...

III

Идет Степап знакомой дорогой и думает: «А хорошо я сделал, что ушел от греха...» А бес так и смущал: стоило руку протянуть. Да и старуха тут толкалась все время, в случае чего прямо на него бы и подозрение пало. Нет, хорошо, что убрался вовремя... Вот только голод донимал Степана и даже мутило натошак, а попросить кусок хлеба в знакомой деревне было неловко: все в лицо его знали. В последний раз он поел в заводе, на постоялом дворе — попросил у ямщиков. И стыдно было, да люди чужие, никому не расскажут.

Прошел Степан половину дороги и совсем выбился из сил. Ноги стали подкашиваться от усталости... Как на грех никого попутных не попадалось. А солнце уж совсем высоко и так припекает... Отдохнуть бы, полежать. Встретив недалеко стоявшую от дороги сенокосную избушку, Степан завернул в нее отдохнуть. Лег он на солому, закрыл глаза, а перед ним лицо Сережки и так улыбается весело...

— Господи, помилуй! — взмолился Степан.

Бессонная ночь взяла свое. Сколько времени Степан спал в своей избушке — он не помнил, а только проснулся от какой-то песни. Кто-то шел по дороге и горланил. Степан выглянул из избушки: Сережка...

— Эй ты, непутевый, с какой радости песни горлаешь? — окликнул его Степан.

— Да это ты, Степа? А я думал, што ты уж в деревне...

— Неможется мне... Прилег передохнуть, да и заснул.

— Будет отдыхать-то. Пойдем вместе...

— И то пора, Сережка...

Они пошли вместе, то есть Сережка впереди, а Степан за ним.

— А мне говорила баушка Василиса про тебя, Степа: туманный, говорит, такой пошел домой-то... Жалеет тоже.

Имя бабушки Василисы заставило Степана вздрогнуть, точно оно навело его на какую-то страшную мысль. В самом деле, он ушел вперед, а Сережка вышел после... По-

том найдут Сережку где-нибудь в лесу, а чье дело — поди поищи. Опять холодный пот прошиб Степана, и он весь задрожал. Господи, что же это такое?.. И голова кружится, и в глазах какие-то красные пятна. А Сережка шагает впереди, и котомочка за плечами болтается. «Отнять у него деньги», — мелькает в голове у Степана предательская мысль. Но ведь Сережка прибежит домой и всем расскажет, а его, Степана, за разбой посадят в тюрьму. А голова так нехорошо кружится, и глаза застилает туманом...

— Сережка, куда ты бежишь, как угорелый!..

Сережка останавливается и видит такое страшное улыбающееся лицо, точно это не Степан.

— Погоди, говорю...

Не успел Сережка остановиться, как удар кулаком по голове свалил его с ног. Мальчик едва успел крикнуть:

— Степа... што ты делаешь?!

Но Степа уже ничего не слышал, а схватил Сережку за горло и принялся душить. Мальчик сопротивлялся недолго и скоро перестал барахтаться. Степан схватил его котомку и бросился бежать. Ему все казалось, что Сережка гонится за ним и Сережкин тоненький голосок кричит: «Степа, что же ты делаешь?» Степан, пробежав с полверсты, окончательно задохся. Ведь его могли увидеть с дороги, потом Сережка остался совсем близко у дороги — первый кто поедет и увидит, а по горячим следам и его догонят. Припомнил Степан, что убитые, если их не привязать, гоняются за убивцами. Оглядевшись, он вернулся назад, снес мертвого Сережку в ближний лесок и привязал его же поясом к березе, а сам стороной пошел в свою деревню.

Сережку нашли только через неделю, когда труп уже начал разлагаться. Степан вместе с другими слышал об этом, но не подал и вида, что знает что-нибудь о Сережке и что шел вместе с ним через Пеньковку. Приехал следователь, начали разыскивать, что и как. Степан начал задумываться и ходил как в воду опущенный. На четвертый день он не вытерпел и сам заявился к следователю.

— Я убил Сережку, ваше высокоблагородие...

— Зачем же ты его убил?

— С голоду... Враг попутал Сережкиными деньгами.

Со слезами рассказывал Степан, как вышло все дело, и, слушая его исповедь, плакали даже понятые. Хороший был мужик Степан и ни в чем никогда не был замечен.

ВЕРНЫЙ РАБ

Повесть

I

— Михайло Потапыч... а?..

— Ну, чего ты пристал-то, как банный лист?.. Отвяжись...

— Эх, Михайло Потапыч... Родной ты мой, послушай...

— Какой я тебе Михайло Потапыч дался в сам-то деле! Вот выдешь за ворота и меня же острамишь: взвеличал, мол, Мишку Михайлом Потапычем, а он, дурак, и поверил. Верно я говорю?.. Ведь ты чиновник, Сосунов, а я никто... Все вы меня ненавидите, знаю, и все ко мне же, чуть что приключится: «Выручи, Михайло Потапыч». И выручал... А кого генерал по скулам луцит да киргизской нагайкой дует? Вот то-то и оно-то... Наскрозь я вас всех вижу, потому как моя спина за всех в ответе.

Мишка заврался до того, что даже самому сделалось совестно. Он оглядел своими узкими черными глазами Сосунова с пог до головы и удивился, что теряет напрасно слова с таким человеком. Действительно, Сосунов ничего завидного своей особой не представлял: испитой, худой, сгорбленный, в засаленном длиннополом сюртучишке — одним словом, канцелярская крыса, и больше ничего. Узкая, сдавленная в висках голова Сосунова походила на щучью (в горном правлении его так и называли «щучья голова»), да и сам он смахивал на какую-то очень подозрительную рыбу. Рядом с этим канцелярским убожеством Мишка выглядел богатырем — коренастый, плотный,

точно весь выкроен из сыромятной кожи. Мишкина рожа соответствовала как нельзя больше общей архитектуре — скуластая, с широким носом, с узким лбом и какими-то тараканьими усами; благодарные клиенты называли Мишку татарской образиной.

— Да я с тобой и разговаривать-то не стану, слова даром терять, — равнодушно заметил Мишка, отвертываясь от Сосунова. — Тоже, повадился человек, незнамо зачем... Вот выдет генерал, так он те пропишет два неполных. Ничего, што чиновник...

— Михайло Потапыч, яви божескую милость: выслушай... В третий раз к тебе прихожу, и все без толку.

— Вот привязался человек... Ну, ин, говори, да только поскорее. Того гляди, генеральша поедет...

— Все скажу, Михайло Потапыч, единым духом скажу... Дельце-то совсем особенное.

— Омманываешь што-нибудь?

— Вот сейчас провалиться. Ты только послушай, что я тебе скажу.

Сосунов осторожно огляделся и подошел к Мишке на цыпочках, точно подкрадывался к нему. Мишка еще раз смерил его с ног до головы и вытянул шею, чтобы слушать. Вся эта сцена происходила в большой передней «генеральского дома», как в Загорье называли казенную квартиру главного горного начальника, генерала Голубко. Передняя рядом окон выходила на широкий двор, чистый и утопанный, как гуменный ток; в открытое окно, в которое врывался свежий утренний воздух, видно было, как в глубине двора, между двух столбов, стояла заложённая в линейку генеральская пара наотлет и тут же две заседланных казачьих лошади. Кучер Архип и два казака оренбургской казачьей сотни сидели под навесом и покуривали коротенькие трубочки. У ворот генеральского дома устроена была гауптвахта с пестрой будкой и такой же пестрой загородкой; на пестром столбике висел медный колокол, которым «делали тревогу», когда генерал выезжал из дому или приезжал домой. Между колоколом и будкой день и ночь шагал часовой с ружьем. В гауптвахте, низеньком каменном здании с толстыми белыми колоннами, дежурил офицер и солдаты специальной горной команды. Вся эта команда находилась в большой зависимости от Мишки: он подавал знак в окно, когда генерал выходил на верхнюю площадку парадной лестницы с мраморными

ступенями. Часовой делал условный знак прикладом ружья, и команда готовилась выскочить с ружьями, чтобы отдать на караул по первому удару колокола. Часовые не спускали обыкновенно глаз с рокового окна.

— Знаешь гадалку Секлетинью? — шепотом спрашивал Сосунов.

— Ну?..

— Так вот я, значит, и толкнулся к ней как-то после пасхи... У меня причина с столоначальником из золотого стола вышла.

— С Угрюмовым?

— С ним с самым... Поедом он меня ест и со свету сживает. Того гляди, подведет, а генерал в рудники законопатит да еще на гауптвахте измором сморит.

— Самый зловредный человек этот ваш Угрюмов, а относительно генерала ты правильно...

— Ну, взяло меня горе, такое горе, что и сна и пищи решил... Вот я и пошел к Секлетинье. Она в Теребиловке живет... Подхожу я это к ее избенке, гляжу, извозчик стоит. Что же, не ворочаться назад... Я в избу, а там... Может, я ошибся, а только сидит барыня, платочком голову накрыла, чтобы лицо нельзя было разглядеть, а я ее все-таки узнал. Барыня-то ваша генеральша...

— Н-но-о? — изумился Мишка и сейчас же ладонью закрыл Сосунову рот.— Тихе ты, аспид...

Дело в том, что в этот момент на верхней площадке лестницы мелькнуло ситцевое платье горничной Мотьки, смертельного врага Мишки. Вот тоже подвернулась когда, проклятая...

— Да ты не огляделся ли? — шепотом допрашивал Мишка.

— Верно тебе говорю: вот сейчас провалиться... И Мотька с ней была, только дожидалась генеральши за углом. Я это потом досмотрел, когда генеральша поехала от Секлетиньи.

— Гм... да... — мычал Мишка, сразу проникаясь доверием к Сосунову и соображая свои мысли.— Ах ты, дошлый!.. Ведь вот, убрал... а?.. Ну, а дальше-то што?

— Ну, как генеральша ушла, я к Секлетинье... Попривоначалу она все будто отвергивалась от меня: я к ней, а она спиной. Блаженная она, известно... А у меня уж со страхов коленки подгибаются. Ей-богу... Хуже этого нет, ежели Секлетинья к кому спиной повернется. Ну, у меня

припасен был с собой на всякий случай золотой... Еще от баушки-покойницы достался. Вынул я этот золотой и подаю Секлетинье. Она взяла да как засмеется... У меня опять сердце коробом. А она завертелась на одной ноге, машет моим золотым и наговаривает: «Не в золоте твое счастье... Не в золоте! А любишь ты золото, только напрасно любишь». — «А будет счастье?» — спрашиваю. Она опять отвернулась от меня, добыла из-под лавки корыто, взяла ковш с водой, щепочку и давай в корыто воду лить, да щепочку по воде пущать... Больше я от нее ничего и добиться не мог.

— Только-то? Напрасно только свой золотой стравил: отдал бы лучше его мне...

— Ах, какой ты, Михайло Потапыч... Слушай дальше-то. Как я после-то раздумался, так все и понял, вот до ничтожки все, точно у меня глаза раскрылись... Ей-богу!.. Вот я теперь пятнадцать лет все добиваюсь в золотой стол попасть и не могу — она это и сказала, что мне не след туда попадать. Ты думаешь, я ей зря золотой-то принес? Ну, а щепочки, которые она по воде спущала, обозначают, что ты меня должён на караван определить...

При последних словах у Мишки даже руки опустились от изумления, — и ему сделалось все ясно. Вот так Секлетинья, да и Сосунов тоже ловок... Как по-писаному, так блаженная и отрезала. От судьбы, видно, не уйдешь. Да и ловок Сосунов, нечего сказать... Тоже словечко завернул: определи на караван. Легкое место сказать. Ну, а если Секлетинья сказала, так и на караване будет. Мишка слепо верил в судьбу.

— Ну, чего же ты молчишь? — спрашивал Сосунов. — Я тебе все сказал, как на духу... О благодарности будь без сумленья.

— Ладно, ладно... Все на счастливого.

Мишка только хотел сказать что-то, как под окном мелькнула стриженная раскольничьей скобой голова в синем картузе, и Мишка указал Сосунову на маленькую дверку под лестницей, где жил сам. Сосунов едва успел затвориться, как в переднюю вошел степенный мужик в длиннополом сюртуке и смазных сапогах.

— Михайлу Потапычу... — развязно проговорил он, протягивая руку. — Весело ли попрыгиваешь?

— Не очень-то у нас напрыгаешься, Савелий, — уклончиво отвечал Мишка. — За вами где же угнаться...

Савелий красивыми темными глазами оглядел переднюю, мельком вскинул наверх и, разгладив окладистую русую бородку, проговорил:

— Тарас Ермилыч прислал узнать, как здоровье его превосходительства, и приказал кланяться...

— Обнакновенно, как всегда. Сейчас генерал занят, и пустяками нельзя тревожить... Ужо скажу, когда можно будет... Ну, а как у вас: все дым коромыслом?

— Ох, и не спрашивай, Михайло Потапыч... Совсем даже ума решились: сильно закурил Тарас-то Ермилыч, а тут еще Ардальон Павлыч навязался...

— Это тот, што в карты играет? Откуда он у вас взялся?

— А неизвестно... На свадьбе, как Поликарп Тарасыч женились, он и объявил себя. Точно из-под земли вынырнул... А теперь обошел всех, точно клад какой. Тарас Ермилыч просто жить без него не может. И ловок только Ардальон Павлыч: медведь у нас в саду в яме сидит, так он к нему за бутылку шампанского прямо в яму спустился. Удалий мужик, нечего сказать: все на отличку сделает. А пить так впереди всех... Все лоском лежат, а он и не пошатнется. У нас его все даже весьма уважают...

— Который месяц теперь пошел, как свадьба-то ваша продолжается?

— Да уж близко полгода, Михайло Потапыч... Ох, горе душам нашим! Што только и будет: ума не приложить... Уж которые есть опасливые, так подобру-поздорову из города уезжают, потому как прямой зарез от нашей свадьбы.

Оглянувшись, Савелий на ухо шепнул Мишке:

— Ночесь¹ один енисейский купец, Тураханов по фамилии, с вина сгорел...

— Н-но-о?

— Верное слово... Он и на свадьбу-то попал зря, проездом завернул, — дела у него по промыслам с Тарасом Ермилычем были. Ну, и попал в самый развал да месяца два без ума и чертил... Што уж теперь будет — и ума не приложим. Тарас-то Ермилыч в моленной заперся, а меня подослал сюда... Уж какая резолюция выдет нам от генерала — один бог весть.

Савелий с изысканной ловкостью, прикрыв руку кар-

¹ Ночесь — ночью. (Примеч. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)

тузом, сунул Мишке скомканную ассигнацию, — нужный человек Мишка, чтобы генерала подготовить к известию о случившемся казусе. Мишка с наименьшей ловкостью спрятал посул куда-то в рукав.

— Уж ты, тово, Михайло Потапыч... Сослужи службу, а Тарас Ермилыч не забудет — так и наказывал сказать тебе.

— Да уж я для Тараса Ермилыча в ниточку вытянусь...

Конца фразы Мишка не успел договорить, потому что по лестнице сверху летела горничная Мотья с такой быстротой, точно ее оттуда сбросили, — она бежала на подъезд крикнуть кучеру, чтобы подавал лошадей генеральше. Мишка моментально вытянулся в струнку и скосил глаза на лестницу, по которой уж спускалась генеральша, молодая, пухлая дама, в сиреневом шелковом платье. Савелий почтительно отошел в сторонку и наклонил голову, как делают благочестивые люди в церкви. Мотья успела вернуться и помогала генеральше спускаться по лестнице, поддерживая ее за руку. «Стрела, а не девка», — подумал Савелий, большой охотник до проворных и ловких девок. Генеральша спускалась с недовольным лицом, застегивая модную лайковую перчатку цвета *beurre frais*¹. Поровнявшись с Мишкой, она подняла на него свои темные блестящие глазки и певуче проговорила:

— А ты не слышал, как я звонила?

— Никак нет-с, ваше превосходительство...

— Нет?..

В передней звонко раздались две ловких пощечины. Мишка не шевельнулся, а только замигал усиленно левым глазом. Это еще больше разозлило генеральшу, и она ударила кулаком Мишку прямо в зубы, так что у того «счкакали» челюсти. Мотья искоса глядела на Савелия, улыбаясь одними глазами.

— Только перчатки из-за тебя, подлеца, испортила!.. — кричала генеральша, входя в азарт. — Мотья, новые перчатки...

Пока Мотья летала наверх за перчатками, взволнованная генеральша ходила по передней мимо стоявшего неподвижно Мишки и каждый раз давала ему по пощечине. Савелия она не хотела замечать. Наконец она устала, села на стул к окну и закрыла глаза, чтобы не видеть ненавист-

¹ сливочного масла (*фр.*).

ного человека. Ей было лет двадцать пять, но благодаря полноте она казалась старше. Круглое, белое, бескровное лицо не отличалось красотой, но, когда генеральша улыбалась, оно точно светлело и делалось очень симпатичным. Пока Мотья натягивала новые перчатки, генеральша не открывала глаз и даже сложила голову на один бок, как женщина, огорченная до глубины души. Мишка стоял все время не шевельнувшись и свободно вздохнул только тогда, когда генеральша вышла на крыльцо.

— Ну, и язва сибирская твоя генеральша, — с участливым вздохом проговорил Савелий.

— Ох, и не говори! — ответил Мишка, кулаком вытирая окровавленные губы. — Изводит она меня насмерть... Поедом съела. Тссс...

Мишка забыл, что Мотья осталась на крыльце и подслушивала их разговор. Но теперь было уже поздно... Мотья прошла по передней с таким видом, что у Мишки сердце повело коробом.

— Удалая девка, — проговорил Савелий, когда Мотья начала подниматься вверх по лестнице. — Вот бы мне такую: в самый раз...

Мотья остановилась, свесилась через перила и с особенным задором проговорила:

— Ступай к своим кержанкам да и заигрывай... Кержак немакашый!..

— Да ведь ваша-то девичья вера везде одинакова, Мотя, — ласково ответил Савелий, блестя красивыми глазами. — Што кержанка, што православная...

— Ах, бесстыжие твои глаза!.. — вскрикнула Мотья, покраснела и, плюнув, вихрем унеслась вверх.

— Бес, а не девка... — как-то промурлыкал Савелий, сладко закрывая глаза. — Ох, грех с ними один! Прощенья просим, Михайло Потапыч...

Мишка простился с ласковым кержаком молча, — очень уж разогорчила его генеральша. Зачем при людях-то при посторонних срамить? Ежели нравится, — ну, бей с глаза на глаз, а тут чужой человек стоит и смотрит, как генеральша полирует Мишку со щеки на щеку. Чужой человек в дому, как колокол...

Сосунов оставался в засаде и не смелдохнуть. Ведь нанесла же нелегкая эту генеральшу, точно на грех, а теперь Михайло Потапыч рвет и мечет. Подойди-ка к нему... Ах, что паделала генеральша! Огорченный раб Мишка за-

был о спрятанном Сосунове и, когда тот решился легонько кашлянуть, обругался по-мужички.

— Ах ты, крапивное семя!.. Убирайся вон... ко всем чертям.

— Михайло Потапыч...

В пылу гнева Мишка даже замахнулся на Сосунова, но потом вдруг припомнил что-то и спросил:

— Так генеральша была у Секлетиньи?

— Своими глазами видел, Михайло Потапыч...

— Можешь при случае утвердить вполне?

— Могу.

— Ну, так попомни это, да пока, до поры до время, никому об этом не говори. Понял теперь?

II

Верный раб Мишка в Загорье являлся страшной силой, потому что старый генерал Голубко имел к нему какое-то болезненное пристрастие. Под сердитую руку генерал лупил Мишку нагайкой из собственных рук, но это не мешало Мишке управлять генералом до некоторой степени. Все это знали, все этим пользовались, и всем это обходилось не дешево: Мишка даром ничего не любил делать, потому что «и чирей даром не вскочит», а «без снасти и клопа не убьешь». Главное, Мишка изучил своего генерала в тонкости и знал, когда к генералу можно идти и с чем — старик был ндравный и шутить не любил. Бывали случаи, когда неблагодарные люди хотели обойтись без Мишки и дорого платились за это.

Самое появление Мишки в передней генеральского дома было обставлено легендарными подробностями. Грозный генерал Голубко был послан на Урал с чрезвычайными полномочиями, далеко превышавшими губернаторскую власть. Нужно было подтянуть казенные горные заводы, золотые промыслы, частных заводчиков и вообще все крайне сложное горное дело. Старый николаевский генерал сразу поставил себя на настоящую точку, и одно его имя производило панику. В его руках сосредоточивалась не только гражданская, но и военная власть, а также судебная, по преступлениям горнозаводского населения. Самый город сразу изменил свой внешний вид, хотя главным двигателем здесь и являлась казацкая нагайка, уничтожавшая в корне обывательскую лень. В Загорье были устроен-

ны обширные казенные фабрики для выделки оружия и разной заводской снасти. Здесь все было поставлено на солдатскую ногу, и когда генерал Голубко еще только подходил к фабрикам, там уже было слышно, как муха пролетит. Порядок во всем был слабостью грозного генерала, а до остального он мало касался, предоставляя все горным инженерам, состоявшим тогда на военном положении. Когда генерал проходил по фабрикам, все рабочие выстраивались во фронт и отдавали начальству честь по-солдатски. Горь тому, у кого недоставало пуговицы или носки врозь, — сейчас же следовало и возмездие. Чтобы не было попущений и послаблений, генерал сам наблюдал о точности исполнения предписанных наказаний. Наказывали тут же, на фабричном дворе, а розги заготавливались возами. Вот именно здесь и проявился знаменитый Мишка, вынырнувший из безличной рабочей массы благодаря счастливой случайности. Он работал на казенной фабрике, как все другие, и за какую-то провинность должен был получить пятьдесят розог. После экзекуции, производившейся под личным наблюдением генерала, Мишка выкинул невиданную штуку. Он смело подошел к генералу и заявил:

— Ваше превосходительство, не велите казнить, велите выслушать...

— Ну, что тебе?

— Закон требует порядка, ваше превосходительство... Обозначено было мне пятьдесят лозанов, а дадено всего сорок семь. Сам считал. Прикажите доложить...

В первую минуту генерал даже не нашелся, что отвечать, а его свита только переглядывалась — выискала невиданный зверь. Все были озадачены. Мишка воспользовался общим замешательством и занял место на деревянной кобыле, на которой производилось наказание. Получив три недостававшие розги, он поблагодарил генерала и как ни в чем не бывало отправился на работу в свой корпус. Этот случай поразил строгого генерала. Возвратившись домой, старик долго хохотал и все повторял фразу Мишки: «Закон требует порядка». И утром на другой день генерал проснулся с этой же фразой и не мог успокоиться до тех пор, пока Мишка не был приведен в генеральский дом.

— Закон требует порядка? — спрашивал генерал.

— Точно так-с, ваше превосходительство! — по-солдатски отвечал Мишка, не сморгнув глазом.

— Дополучал три лозапа? Ха-ха-ха...

Генерал Голубко был настоящий генерал, какие были только при императоре Николае,— высокий, плечистый, представительный, грозный, справедливый, вспыльчивый, по-солдатски грубый и по-солдатски простой. По наружности генерал мог считаться молодцом, несмотря на свои шестьдесят лет и совершенно седые волосы. Лицо было свежее и румяное, а грозные серые глаза глядели еще совсем по-молодому. И веселился грозный генерал всегда так искренне и радостно, что вместе с ним не смеялись только стены. Так раб Мишка и остался в генеральском доме, потому что генерал почувствовал к нему какое-то болезненное пристрастие. Определенной должности у него не было, а смотря по надобности Мишка исполнял все, что можно было требовать от верного раба. Генерал не мог жить без него и возил его с собой по всему Уралу, когда объезжал горные заводы. Недавний мастеровой преобразился в казака,— при генерале все было форменно, подтянуто в струнку и ходило козырем. Мишка быстро выучился казачьей муштре и вместе с ней усвоил казачью вороватость.

Пять лет верный раб Мишка благоденствовал вполне, как никто другой. Загорье в эти именно года прогремело открытым в Сибири золотом, и деньги лились рекой. Во главе золотопромышленников стояли Тарас Ермилыч Злобин, а потом старик Мирон Никитич Ожигов. Открытое ими в Сибири золото дало миллионы. За первыми предпринимателями потянулись другие и тоже получили свою долю, как Тихоновы, Сердюковы и Щеголевы. Около этих счастливых толклись бедные родственники, разные предприниматели и просто прихлебатели и прохвосты. Золото — всемогущая сила, притягивающая к себе неудержимо все — и добро и зло, больше всего последнее. Вот в это горячее время, когда всех охватила золотая лихорадка, верный раб Мишка и благоденствовал, потому что от него зависело, примет генерал или не примет такого-то, а затем — осчастливит он своим посещением или пренебрежет. Генерал был страшной силой, и Мишка эксплуатировал ее в свою пользу. Как это случается, сам генерал был искренне честный человек и никаких взяток не брал, но зато брали около него все остальные, как не могли бы брать при начальнике-взяточнике. Грозный генерал не мог допустить даже мысли, что его подчиненные смели воровать у него под носом и обирать других. Помилуйте, он ли не грозен,— все трепетало от одного его взгляда. Верный раб

Мишка брал больше всех, брал решительно все, что ему давали, что он мог взять и что вымогал разными неправдами. В нем развился какой-то пьяный азарт к взяточничеству: недавний бедняк, существовавший казенным пайком, теперь превратился в ненасытного волка. С своим новым положением Мишка освоился с необыкновенной быстротой и сейчас же пустил в оборот все приемы, ходы и выходы закоренелого взяточника, хотя и не мог достичь изумительной ловкости таких артистов, как столоначальник «золотого стола» в горном правлении Угрюмов и консисторский протопоп Мелетий. Мишка мог только завидовать им, как чему-то недостижимому, и его грызло сознание собственного несовершенства, особенно когда являлась предательская мысль, что он мог взять там-то и там-то или пропустил такой-то случай. Эти черные мысли заставляли Мишку просыпаться даже по ночам, и он вслух говорил себе:

— Эх, и дурак же ты, Мишка! Прямо сказать: балда деревянная... Разве протопоп Мелетий али Угрюмов сделали бы так? Да они бы кожу с самого генерала сняли... А теперь *те* над тобой же, дураком, смеются: «Эх, дурак Мишка, не умел взять!»

У Мишки развивалась мания взяточничества, и он по ночам, во время охватывавшей его бессонницы, по пальцам высчитывал все случаи, когда он мог взять и не взял, а также соображал те суммы, какие у него теперь лежали бы голенькими денежками в кармапе. Им овладевало настоящее бешенство, и Мишка готов был плакать, потому что у него перед глазами стояли такие непогрешимые и недостижимые идеалы, как протопоп Мелетий и столоначальник Угрюмов.

Несмотря на эти муки неудовлетворенного и ненасытного взяточничества, верный раб Мишка благоденствовал и процветал до тех пор, пока его генерал не женился. Случилось это как-то вдруг, и Мишка считал себя прямым виновником быстрой генеральской женитьбы. Дело было зимой, на святках. Генерал после обеда отправился кататься. Сопровождавший его Мишка стоял по обыкновению на запятках саней. Когда они ехали по набережной пруда, Мишка, потрафляя хорошему послеобеденному настроению владыки, сказал:

— Вон катушки налажены, ваше превосходительство.

— Ну, что же из этого?

— А любопытно поглядеть, ваше превосходительство,

как публика катается с гор. Попадаются такие девицы мещанского звания, што глаза оставить можно...

— Не пугай, дурак!

Генерал приказал кучеру повернуть на пруд, и генеральские сани через пять минут остановились у ближайшей горы. День был праздничный, и народ толпился кучей. Появление генерала сначала заставило толпу притихнуть, но он через казака отдал приказ веселиться. С горы полетели одни сани за другими, а генерал смотрел снизу и улыбался, как веселится молодежь. Катались не одни девицы мещанского звания, а и настоящая публика, — других общественных развлечений в Загоре тогда не полагалось. Один эпизод рассмешил генерала до слез. На одних санях впереди сидела молоденькая краснощекая девушка. Когда сани полетели с горы, у нее вырвался из рук подол платья, а ветром его подняло ей на голову. Мимо генерала вихрем пронеслось сконфуженное девичье лицо и соблазнительно открытые девичьи ноги.

— Чья эта... ну, полненькая? — задумчиво спрашивал генерал у Мишки, когда они вернулись с прогулки домой. — Из мещанского звания?

— Никак нет-с, ваше превосходительство: дочь гиттенфервальтера¹ Тиупова, Енафа Аркадьевна. Девица, можно сказать, вполне-с...

— Дурак, разве ты можешь что-нибудь понимать в таком деле?..

Сконфуженное девичье лицо снилось генералу целую ночь, и он, проснувшись утром на другой день, сказал опять: «У, какая полненькая!»

Через две недели была свадьба, и дочь гиттенфервальтера Тиупова сделалась генеральшей Голубко. В приданое с собой она вывезла только одну крепостную девку Мотьку. Эта перемена в домашней обстановке генерала озадачила верного раба Мишку с первого раза, и он решительно не знал, как ему теперь быть. Молодая генеральша оказалась с ноготком и быстро забрала грозного генерала в свои пухлые белые ручки и почему-то с первого же взгляда кровно возненавидела верного раба Мишку, старавшегося выслужиться перед ней. Где крылись истинные причины этой ненависти, едва ли объяснила бы и сама генеральша, но верно было то, что она не могла выносить присутствия Мишки.

¹ Название одного из горных чинов. (Примеч. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)

— Куда хочешь, папочка, а только убери этого дурака,— просила полненькая генеральша улыбавшегося счастьем грозного генерала.— Как увижу его, так целый день у меня испорчен...

— Зачем же обижать человека, который не сделал ничего дурного? — пробовал генерал защищать своего верного раба.— Я так привык к нему... Он знает все, все мои привычки, и никто так не умеет угодить мне.

— Даже я?

— Гм... да... то есть я хотел сказать...

— Не нужно! Ничего не нужно... Я думала, что ты меня любишь... я никогда еще ни о чем не просила тебя, папочка...

Дальше следовали первые слезы и необходимые утешения, а потом вышел генеральский приказ: Мишка низвергнулся в переднюю, и доступ наверх ему закрылся навсегда. Это было нечто ошеломляющее, и верный раб Мишка почувствовал себя в положении павшего ангела. Когда генерал проходил через переднюю, то старался не смотреть на Мишку, потому что чувствовал себя виноватым. Репутация верного раба Мишки сразу пошатнулась, и он имел тысячу случаев, убеждавших его в черной неблагодарности недавних доброхотов и вообще клиентов. К Мишке теперь обращались только по старой памяти или по ошибке. Все это сосало и грызло рабье сердце без конца, и Мишка страдал день и ночь. Но этим дело не кончилось. Генеральша не забывала низверженного в прах верного раба и с женской последовательностью донимала его всевозможными каверзами. Не раз генерал призывал верного раба к себе в кабинет, затворял дверь и грозно кричал:

— Да как ты смеешь, подлец, грубить генеральше? Да я тебя в порошок изотру... я... я...

Дальше следовала молчаливая лупцовка, причем Мишка не издавал ни одного звука, точно генерал колотил нагайкой деревянного чурбана. Верный раб даже не оправдывался, а принимал все эти истязания молча, как заслуженную кару за неизвестные преступления.

Но и этого мало. Вместе с влиянием на генерала полненькая генеральша постаралась заполучить и все доходные статьи, из сего законным образом проистекавшие, именно то, чем безраздельно пользовался раньше один Мишка. Эти дела генеральша устроила с замечательной

ловкостью, и «благодарность» разных добрых людей лилась на нее или через посредство горничной Мотьки, или через папашу гиттенфервальтера. Конечно, генеральша знала отлично все «тайности» Мишкиного взяточничества, но не выдала его генералу даже намеком, — в нем она щадила не только самое себя, но все горное ведомство, жившее такими посулами и благодарностью.

Верный раб Мишка стоял в своей средней и терпел все, что ни делала над ним генеральша, а это еще сильнее бесило расходившиеся генеральские ручки. Но, несмотря на все эти злоключения, верный раб смутно верил в свою счастливую звезду и все думал, как бы ему извести выматывавшую из него душу генеральшу. И день думает Мишка, и ночь думает все об одном и том же, и ничего придумать не может, точно на пень наехал. Изморит его генеральша вконец. Раз, в минуту отчаяния, у Мишки явилась роковая мысль: взять веревку да и повеситься у генеральши в спальне, где люстра висит. Пусть ее казнится...

Последняя неприятность от генеральши, невольными свидетелями которой были Савелий и Сосунов, произвела на Мишку удручающее впечатление настолько, что о сообщении Сосунова, как генеральша с Мотькой ездили к гадалке Секлетинье, он вспомнил только через день. Зачем было ей шляться к ворожее? Генерал в ней души не чает, дом — полная чаша, сама толстеет по часам. Что-нибудь да дело неспроста.

— Эх, достигнуть бы генеральшу, кажется, такую бы свечу преподобному Трифону закатил! — мечтал Мишка, раздумывая свое горе. — Утесненным от начальства преподобный Трифон весьма способствует... А то не толкнуться ли к Секлетинье? Может, она и научит... От этих баб добра и зла не оберешься.

Пока Мишка размышлял, Сосунов опять завернул наведаться, как и что.

— Да ты с ума спятил? — накинулся на него обозленный Мишка. — Разве такие дела зря делаются: надо выждать. Не прежняя пора, когда я состоял при генерале ежечасно...

— Дело-то верное, Михайло Потапыч, — настаивал Сосунов. — Уж ежели кому Секлетинья скажет что, так тому и быть. Щепочки-то она пушала по воде неспроста... А уж я тебя не забуду, Михайло Потапыч, только бы мне от Угрюмова избавиться. Уж подумывал в консисторию

секретарем поступить к протопопу Мелетию, да жалованья у них двадцать семь рублей на ассигнации в год...

Уходя, Сосунов сообщил очень важное известие, именно, что генерал, по всей видимости, собирается в объезд по заводам и, по всей вероятности, его с собой возьмет. В горном правлении уж пронюхали об этом, да и Злобин подсылал тогда Савелия неспроста: эти кержаки знают все и раньше всех. Еще генерал и не подумал, а они уж знают, когда он поедет.

— А што бы ты думал: ведь правильно,— удивлялся Мишка,— вышибла меня генеральша из ума, а то и сам бы догадался.

— Может, и на караван посмотреть поедет, ну, так ты не зевай.

— Ладно, ладно... Ускорился тоже. К часу надо слово молвить...

— Да уж тебя не учить. А кержаки наперед нас все учуяли...

III

Небольшой горный городок Загорье в сороковых годах испытывал лихорадочное оживление благодаря приливу бешеных денег. Составляя горнозаводский центр, Загорье был поставлен на военную ногу, потому что тогда все казенное горное дело велось военной рукой. Военная закуска чувствовалась в распланировке самых улиц, правильных и широких, в типе построек и больше всего, конечно, в характере самого населения. Заводский мастеровой и промысловый рабочий являлись разновидностью николаевского солдата — та же выслуга в тридцать пять лет, та же муштра, те же розги и шпицрутены. Генерал Голубко окончательно подтянул город, и он выглядел чистенькой военной колонией. Центр занимали казенные фабрики. Река Порожня была поднята высокой плотиной и делила город на две части: правая — низменная, левая — гористая. На правой стороне из других зданий выделялся своей белой каменной массой «генеральский дом», а на левой — вершину холмистого берега заняли только что отстроенные палаты новых богачей, во главе которых стоял золотопромышленник старик Тарас Ермылыч Злобин. В течение каких-нибудь пяти лет они из тысячных промышленников превратились в миллионеров и развернулись во всю ширь

русской природы. Наш рассказ застаёт их в самый критический момент, именно, когда эти миллионы породнились: старик Ожигов выдал свою последнюю дочь Авдотью Мироновну за единственного сына Злобина, Поликарпа Тарасыча.

Старик Ожигов, несмотря на свое богатство, жил прижимисто, по-старинному. Но зато в злобинском доме стояло «разливанное море». Самый дом занимал вершину главного холма, и с верхней его террасы открывался великолепный вид на весь город, на сосновый бор, охвативший его живым кольцом, и на прятавшиеся в этом лесу займки. Злобин не жалел денег, когда строил свой дворец. В нем было все — и флигеля, и оранжереи, и громадный сад, и большая раскольничья моленная, и потаенные каморки с потаенными в них ходами. На улицу дом выходил великолепным фронтоном, с колоннами, балконами и лепными карнизами; ворота представляли собой настоящую триумфальную арку. На мощеном широком дворе всегда стояло несколько экипажей. Старик Тарас Ермилыч занимал парадный верх, а новожен Поликарп жил в нижнем этаже. Кругом всего двора сплошной стеной шли домашние пристройки — людские, конюшни, флигеля. В общем, злобинский дом представлял собой целый городок, битком набитый всевозможным людом — тут жили и бедные родственники, и служащие, и разные богомольные старушки, и просто гости, как Смагин. В злобинском доме угощались званый и незваный вот уже больше полугода, потому что празднование свадьбы затянулось на неопределенное время.

К обеду в злобинский дом наезжали гости со всех сторон — своя братия купцы, горные чиновники, разные нужные люди и просто гости. Обед был ранний, ровно в час. Длинная столовая помещалась в верхнем этаже и выходила окнами на широкую садовую террасу. Из-за стола гости переходили летом прямо сюда, пили здесь чай, а вечером устраивались впризу, у Поликарпа Тарасыча, где шла горячая картежная игра. Сам старик Злобин не играл, но в Смагине он души не чаял и даже перевел его жить в тот же дом — в аптресолях была прелестная комнатка с балконом. Табачник и волтерьянец, как пазывал Смагина консисторский протопоп Мелетий, поселился в этом раскольничьем гнезде своим человеком.

Подручный Савелий в тот день, когда был у Мишки,

так и не мог урвать свободной минуты, чтобы переговорить с самим Тарасом Ермилычем. Помешали гости, да и Тарас Ермилыч немножко лишнее выпил, а тогда к нему приступу нет, хоть камни с неба вались. Неукротимый был человек, когда развеселится. Пришлось выжидать следующего утра, когда Тарас Ермилыч выйдут из моленной. Это было лучшее время для всяких объяснений. Моленных в злобинском доме было несколько: одна большая, в особом корпусе, а затем так называемая «стариковская» и еще несколько маленьких. У Тараса Ермилыча была своя собственная, рядом со спальней. Савелий имел доступ к «самому» во всякое время без доклада, а поэтому и прошел через парадную залу и гостиную прямо в спальню. В приотворенную дверь моленной он видел, как старик прилеплял к образу восковую свечу, а потом стал «класть уставной начал» с лестовкой и подручником, как подобает по древнему благочестию. Высокая и плотная фигура «самого» только установилась в молитвенную позу, как прилепленная к образу свеча свалилась. Тарас Ермилыч сделал нетерпеливое движение, но удержался и со смирением прилепил свечу во второй раз. Не успел он сделать уставных трех поклонов, как свеча снова упала. Это рассердило старика, но он еще раз прилепил свечу к образу. Но когда она упала в третий раз, он вскочил на ноги, схватил свечу и бросил ее о пол, а сам выбежал из моленной, весь красный от охватившего его бешенства. Увидев Савелия, Тарас Ермилыч плюнул и обругался по неизвестному адресу.

— Ты тут чего торчишь, оглашенный? — накинулся он на Савелия.

— Я, Тарас Ермилыч...

— Вижу, что ты... ну?

Савелий по привычке опустил глаза и своим ровным тенориком стал, не торопясь, рассказывать о своем вчерашнем переговоре с Мишкой. Тарас Ермилыч сразу успокоился. Это был высокий статный старик с большой красивой головой. Широкое русское лицо глядело большими серыми глазами, сердитыми и ласковыми в одно и то же время; окладистая темная борода, охваченная первым инеем благообразной старости, придавала этому лицу такой патриархальный вид. Волосы на голове совсем поседели, но лежали молодыми кудрями. Простая ситцевая рубашка-косоворотка, перехваченная шелковым пояском, заправленные в сапоги тиковые штаны и длиннополый,

раскольничьего покроя кафтан составляли весь домашний костюм миллионера. Прислушиваясь к рассказу Савелия, Тарас Ермилыч несколько раз хмурил брови и покачивал головой, а когда рассказ дошел до рукоприкладства генеральши, он засмеялся.

— Этакая изъедуга-баба,— проговорил старик.— Из щеки в щеку так и нажаривает? Ловко... А он только мигает, Мишка-то?

— Так точно-с, Тарас Ермилыч... Даже вчуже как-то нелепо было смотреть на такой конфуз. Генеральша Енафа Аркадьевна все-таки благородные дамы и вдруг объявили такое полное безобразие... Женскому полу это даже совсем не соответствует.

— А Мишка-то только мигает? Ха-ха... Она его прямо по татарской образине хлясь, а он только мигает?.. Ты вот что, Савелий (Тарас Ермилыч взял подручного за ворот кафтана), как-нибудь при случае, ловконько этак, расскажи при Смагине, как генеральша полировала Мишку... Пусть он послушает.

— Можно-с и так обернуть, Тарас Ермилыч...

— Будто так, дурбм сболтнул... понимаешь?.. Да еще вот что: ступай ты сейчас к Мирону Никитичу и объяви про свой разговор с Мишкой: я для него тебя засылал.

Савелий сделал налево кругом, но Тарас Ермилыч вернул его от дверей и задумчиво проговорил:

— Вот мы сейчас посмеялись с тобой над Мишкой, а ведь он недаром мигал... Помяни мое слово: за битого двух небитых дают. Ступай. Кланяйся Мирону-то Никитичу да скажи, что он нас забывает совсем.

Про опившегося енисейского купца старик не сказал ни одного слова, как будто так и быть должно. Само по себе мертвое тело еще бы ничего — похоронили, и вся недолга. Полиция была в руках у всесильного Тараса Ермилыча. Но страшен был генерал: как он взглянет на такой казус? Положим, он дружил с Злобиным и бывал у него по-домашнему, даже трубку свою привозил, но все-таки страшно — а вдруг наморщится? а вдруг учнет фыркать? а вдруг рывкнет, яко скимен? Генеральская дружба — как вешний лед. Выручил из неловкого положения Смагин. Главное, сам вызвался. Только и удалый человек... В генеральском доме он частенько бывал и, как говорили злые языки, строил куры самой генеральше.

— Я в смешном виде всю историю генералу расска-

жу,— объяснял накануне Смагин недоумевавшему Тарасу Ермилычу.— Старик посмеется — только и всего.

— Ох, в добрый бы час только попасть, Ардальон Павлыч,— угнетенно вздыхал старик.— Огонь, а не человек, ежели не в час...

— Уж будьте покойны, все в лучшем виде. Много будет смеяться Андрей Ильич.

— Дивлюсь я на твою смелость, Ардальон Павлыч,— наивно признавался Тарас Ермилыч,— как это ты легко о генерале разговариваешь и даже в глаза Андреем Ильичом называешь.

— Чего же бояться его: такой же человек, как и мы с вами.

— Такой, да не совсем...

Смагин задумчиво улыбнулся и покрутил свой черпый ус. Это был красивый и видный мужчина, один из тех счастливых, для которых женщины идут на все. На вид ему можно было дать лет тридцать с большим хвостиком, но его молодила военная выправка и уверенность в себе. Бороду он брил и носил по-военному одпи усы, одевался франтом и вообще держал себя львом. Загадочные темные глаза глядели устало и светлели только в присутствии хорошеньких женщин. Тарасу Ермилычу нравилась в Смагине вся его барская повадка — он и не унижался, как другие, и головы не задирал выше носу, а тронуть его пальцем никто бы не посмел. Так взглянет, что не поздоровится. Устраняя дело с генералом, он и виду не подал, что делает какое-нибудь одолжение Злобину, а так просто взял да и уважил хорошего человека, точно стакан воды выпил. «Сокол ясный»,— думал Тарас Ермилыч, тронутый очестливостью мудреного гостя.

— Так ты когда к генералу-то, Ардальон Павлыч? — спрашивал Злобин, не умея скрыть своего нетерпения.

— А завтра...

— Нельзя ли поскорее? Как узнает генерал стороной про мертвое-то тело, хуже будет. Тогда уж к нему не подступишься...

— Вздор!.. Не беспокойтесь: сказал, что устройю, значит, и будет так.

Самоуверенность Смагина подействовала на Злобина успокаивающим образом, хотя он и заключил свою беседу с ним широким вздохом.

Мертвое тело опившегося купца было стащено в самый

задний флигель, где помещалась своя злобинская богадельня. Это обстоятельство смущало весь дом, начиная с самого хозяина и кончая последним конюхом. Главное то, что нехороший знак... А тут еще следствие, докторá будут потрошить — греха не оберешься. Положим, что везде было дано больше, чем следует, а все-таки слух пойдет по всему городу. Может еще и родня привязаться... Одним словом, неприятность вполне. Полицеймейстер уже приезжал два раза, смотрел покойника и только плечами пожал.

— Убрать бы его, Иван Тимофеич? — взмолился Злобин.

— Не могу, Тарас Ермилыч: уголовное дело... Надо следствие произвести и допросить свидетелей.

— Да чего спрашивать, когда человек с вина сгорел? Ежели бы знатъе, так я бы его близко к дому не пустил, не то что угощать...

Потом приехал доктор и тоже пожал плечами. Тоже свой человек был, а тут оказал себя хуже чужого. О том, где будут потрошить «мертвяка», Тарас Ермилыч не смел и спросить: и дом новый, и свадьба еще не кончилась, а тут этакая мерзость. Хоть бежать из дому, так в ту же пору... Да и гости теперь будут сомпеваться: не ладно, дескать, в злобинском доме. Вообще скверно, как ни поверни... И полицеймейстер, и доктор начинают заметно ломаться, возмущая гордость Тараса Ермилыча, неумевшего кланяться. И тут выручил опять Смагин, бывший с полицеймейстером на «ты». Съездил Смагин к благоприятелю, что-то там поговорил, а ночью явилась полиция и увезла мертвяка в казенную больницу.

— Надо будет благодарность оказать его благородию,— говорил Злобин, когда все дело было улажено.

— Конечно... Только нельзя прямо совать деньги: полицеймейстер обидится, и доктор тоже.

— Я с Савельем пошлю...

— И это пудобно... По-благородному сделаем: вы дайте деньги мне, а я их проиграю полицеймейстеру и доктору. Они уж сами поймут, откуда благодать свалилась...

— Ах, Ардальон Павлыч, Ардальон Павлыч... ловко!.. Копешно, мы — мужики, и поблагодарить по-настоящему не сумеем. Каждое дело так-то...

Смагин так и сделал, как говорил: в тот же вечер, когда метал банк, доктор и полицеймейстер выиграли именно ту сумму, какая им была ассигнована в благодарность.

Злобин сам наблюдал за этой игрой: из копейки в копейку все верно. Одним словом, Смагин являлся каким-то добрым гением.

Мы уже сказали, что гости не переводились в злобинском доме. Но этого было мало: из злобинского дома они всей ордой перекочевывали к Тихоновым, от Тихоновых к Сердюковым, от Сердюковых к Щеголевым, а от Щеголевых опять в злобинский дом. Получался настоящий заколдованный круг, из которого трудно было вырваться. Достаточно было раз попасть в одно из звеньев этой роковой цепи, чтобы потом уже не вырваться. После первых двух месяцев отчаянного кутежа многие оказались несостоятельными продолжать свадебное веселье дальше: одни сказывались больными, другие малодушно прятались, а третьи откровенно бежали куда глаза глядят. Покойный енисейский купец Туруханов пробовал убежать несколько раз, но его ловили и возвращали с дороги.

Когда Савелий вернулся от старика Ожигова, Тарас Ермилыч спросил:

— Ну что, сильно ругается старик?

— Порядочно-таки отзолотил нас всех, Тарас Ермилыч... Наказывал беспременно, чтобы вы сами у него побывали.

— Лично хочет обругать?

— Это само собой, а главная причина, что у них дельце есть какое-то до вас... Все счетами меня донимали... По промыслам и по заводам неустойку с вас взыскивать хотят.

— Ладно, ладно... Будет с него: насосался он с меня достаточно. Такая ненасытная утроба... И куда, подумаешь, деньги копит? Кажется, достаточно бы, даже через число достаточно.

— Казенные подряды хотят брать Мирон Никитич и опять меня к Мишке подсылают, хотя теперь Мишка и не в случае. Не любят они очень генеральшу, потому как к ним без четвертной бумаги не подойдешь, а Мишка брал жареным и вареным. Очень сердитуюют Мирон Никитич на генеральшу...

— Старуха на мир три года сердилась, а мир и не знал... Ну, а ты не забудь, что я тебе про Ардальона Павлыча говорил: надо и нам над ним шутку спутить.

— Это насчет генеральши?

— Было тебе сказано, дурак!..

— Точно так-с, Тарас Ермилыч...

Выжидать удобного случая Савелью пришлось недолго. В тот же вечер, когда играли на половине Поликарпа Тарасыча, он рассказал историю избиения Мпшки генеральшей так, что Смагин не мог не слышать, но барин и тут не выдал себя, а только покосился на подручного и закусил один ус.

— Не поглянулось? — злорадствовал Тарас Ермилыч, хотя этим путем старавшийся выместить на ловком барине свое невольное подчинение ему.

Исполнив поручение, Савелий не забыл и себя: озлобится Ардальон Павлыч и какую-нибудь пакость подведет, а много ли ему, маленькому человеку, нужно. В тот же вечер, чтобы задобрить Смагина, Савелий рассказал ему историю, как Тарас Ермилыч утром молился богу. Смагин захохотал от удовольствия, а потом погрозил Савелью пальцем и проговорил:

— Хорошо, хорошо, сахар... Понимаю!.. Только ты у меня смотри: говори, да откусывай.

— Это вы насчет генеральши, Ардальон Павлыч?

— Да, насчет генеральши. Нечего дурака валять...

По пути Смагин ловко выспросил у Савелья, какие такие дела у Злобиных и у Ожиговых, что они так боятся генерала. Ведь у них главные дела в Сибири, а генерал управляет горной частью только на Урале. Савелий, прижатый к стене, разболтал многое, гораздо больше того, что желал бы рассказать: так уж ловко умел спрашивать Ардальон Павлыч. Конечно, сибирские дела большие, но далеко хватает и генеральская сила.

— Первое дело то, Ардальон Павлыч,— повествовал Савелий, заложив по привычке руки за спину,— что сибирское золото обыскали мы, то есть Тарас Ермилыч. Ну, за ним другие бросились: Тихоновы, Сердюковы, Щеголевы. И каждый свой кус получил... Хорошо-с. А родным сибирякам это, например, весьма обидно, потому как пришли чужестранные люди и их родное золото огребают... Дикой народ и сторона немшоная, а это понимают. Вот они сейчас давай делать нам с своей стороны прижимку... Оспаривают заявки, оттягивают приски. А это какое дело: заявляю я спор, положим, совсем нестоящий, а работы у Тараса Ермилыча останавливают из-за моего спора. Все поперек и пойдет: рабочие кадрашные без дела сидят, провиант гниет, присковое обзаведение пустует, а главное — время понапрасну идет. Порядки-то в Сибири известные: один Никола бог. Ну, большая идет прижимка, и

Тарасу Ермилычу приходится уж в Питере охлопатывать сибирские дела, а там один разор: что ни шаг, то и тыща. Да еще тому дай пай, да другому, да третьему... Вот генерал наш и вызволяет, потому как у него в Питере везде своя рука есть.

— Так, так,— поддакивал Смагин, соображая что-то про себя.

— Другое дело, Ардальон Павлыч, эти самые заводы, которые Тарас Ермилыч купили. Округа агроматная, шестьсот тыщ десятин, рабочих при заводах тыщ пятнадцать — тут всегда может быть окончательная прижимка от генерала. Конечно, я маленький человек, а так полагаю своим умом, что напрасно Тарас Ермилыч с заводами связались. Достаточно было бы сибирских делов... Ну, тут опять ихняя гордость: хочу быть заводчиком в том роде, например, как Демидов или Строганов.

— Так, так... Ну, довольно на этот раз.

Удивительный был человек этот Ардальон Павлыч; никак к нему не привесишься. Очень уж ловко умел он расспрашивать... И все ему нужно знать, до всего дело. Такой уж любопытный, знать, уродился.

IV

Ардальон Павлыч Смагин просыпался очень поздно, часов в двенадцать, когда добрые люди успевали наработаться и пообедать. Впрочем, в злобинском доме этому никто и не удивлялся, потому что в качестве настоящего барина Смагин жил не в пример другим, а сам по себе. Проснется он часам к двенадцати и целый час моется да чистится, а потом наденет золотом расшитые туфли, бархатный турецкий халат, татарскую ермолку, закурит длинную трубку и в таком виде выйдет на балкон погреться на солнышке и полюбоваться божьим миром. На балкон Смагину подавали его утренний кофе. Вся злобинская челядь любовалась настоящим барином, пока он сидел на балконе и кейфовал, и даже подручный Савелий чувствовал к этому ненавистному для него человеку какое-то тайное уважение, как уважал вообще всякую силу. Ворчали на барина только древние старики и старухи, ютившиеся по тайникам и вышкам: продымит своим табачищем барин весь дом.

Итак, Смагин проснулся, напился кофе, выкурил две трубки, переоделся и велел подать себе лошадь. Весь злобинский дом с нетерпением ждал этого момента, потому что все знали, куда едет Ардальон Павлыч. Сам Тарас Ермилыч не показался, а только проводил гостя глазами из-за косяка.

— Помяпи, господи, царя Давыда и всю кротость его!..— шептал струсивший миллионер.— Устрой, господи, в добрый час попасть к генералу.

А барин Ардальон Павлыч катил себе на злобинском рысаке как ни в чем не бывало. Он по утрам чувствовал себя всегда хорошо, а сегодня в особенности. От злобинского дома нужно было спуститься к плотине, потом переехать ее и по набережной пруда,— это расстояние мелькнуло слишком быстро, так что Смагин даже удивился, когда его пролетка остановилась у подъезда генеральского дома. Встречать гостя выскочил верный раб Мишка.

— Дома генерал? — развязно спрашивал Смагин и, не дожидаясь ответа, скинул свою летнюю шинель на руки Мишке.

— Не знаю...— уклончиво и грубо ответил Мишка, не привыкший к такому свободному обращению — сам Тарас Ермилыч смиренно ждал в передней, пока он ходил наверх с докладом, а этот всегда ворвется, как оглашенный.

Когда Смагин, оглянув себя в зеркало, хотел подняться по лестнице, Мишка сделал слабую попытку загородить ему дорогу, но был оттолкнут железной рукой с такой силой, что едва удержался на ногах.

— Без доклада нельзя...— бормотал обескураженный Мишка.

Барин даже не оглянулся, а только, встретив на верхней площадке почтительно вытянувшуюся Мотьку, проговорил:

— Это что у вас за чучело гороховое стоит в передней? Генерал дома?

— Пожалуйте...

— А Енафа Аркадьевна?

— Они у себя в будуваре...

Мотька любовно поглядела оторопелыми глазами на красавца барина и опрометью бросилась с докладом в кабинет к генералу. Смагину пришлось подождать в большой гостиной не больше минуты, как тяжелая дверь генераль-

ского кабинета распахнулась, и Мотька безмолвным жестом пригласила гостя пожаловать. В отворенную половину уже виднелась фигура генерала, сидевшего у письменного стола, — он был, как всегда, в полной военной форме. Большая генеральская голова, остриженная под гребенку, отливала серебром. Загорелое лицо его было изрыто настоящими генеральскими морщинами. В кабинете стоял посредине большой письменный стол, заваленный бумагами, несколько кресел красного дерева, турецкий диван, обтянутый красным сафьяном, два шкафа с книгами, третий шкаф с минералами — и только. Над турецким диваном на стене развешено было в живописном беспорядке разное оружие, а в простенке между окнами портрет государя Николая Павловича во весь рост.

— Ваше превосходительство, я боюсь, что помешал вашим занятиям... — почтительно проговорил Смагин, делая глубокий поклон.

— А, это ты, братец, — фамильярно ответил старик, не поднимаясь с места и по-генеральски протягивая два пальца. — А когда я бываю не занят? Я всегда занят, братец.. Дохнуть некогда, потому что я один за всех должен отвечать, а положиться ни на кого нельзя.

— Все удивляются вашей энергии, ваше превосходительство... Город сделался неузнаваемым: чистота, порядок, благоустройство и общая благодарность.

— Благодарность?..

— Точно так, ваше превосходительство...

— Но ведь я, братец, строг, а это не всем нравится...

— Главное, вы справедливы...

— О, я справедлив! — милостиво согласился грозный старик, взятый на абордаж самой дешевенькой лестью. — Да ты, братец, садись... Ну, что у вас там нового? Очень уж что-то развеселились.

— Тарас Ермилыч просил засвидетельствовать вам свое глубокое почтение. Ведь они молятся на вас, ваше превосходительство!

— Знаю, знаю...

— И притом народ все простой, без всякого образования. Лучшие чувства иногда проявляются в такой откровенной форме...

— Да, но нельзя этого народа распускать: сейчас забудутся. Мое правило — держать всех в струне... Моих миллионеров я люблю, но и с ними нужно держать ухо

востро. Да... Мужик всегда может забыться и потерять уважение к власти. Например, я — я решительно ничего не имею, кроме казенного жалованья, и горжусь своей бедностью. У пих миллионы, а у меня ничего... Но они думают только о наживе, а я верный царский слуга. Да...

Смагин почтительно наклонил голову в знак своего душевного умиления, — солдатская откровенность генерала была ему на руку. После этих предварительных разговоров он ловко ввернул рассказ о том, как Тарас Ермилыч молился утром богу и бросил свечу об пол. Генералу ужасно понравился анекдот, и генеральский смех густой нотой вырвался из кабинета.

— Три раза прилеплял свечу, а потом об пол?

— Точно так, ваше превосходительство... Бросил свечку и убежал из моленной.

— На кого же это он рассердился: па свечу или па бога?.. Надо его будет спросить самого... Ха-ха!.. «Господи помилуй!» — а потом и свечку о пол. Нет, что же это такое, братец? Послушай, да ты это сам придумал?..

— Истинное происшествие, ваше превосходительство. Удивительного, по-моему, ничего нет, потому что совсем дети природы...

— Ну, этого я не понимаю, братец, какие там дети природы бывают, а вот со свечкой так действительно анекдот... Надо будет Енафе Аркадьевне рассказать: пусть и она посмеется. Только я сам-то не мастер рассказывать бабам, так уж ты сам.

— Сочту за особенное счастье, ваше превосходительство.

— «Господи помилуй!», а потом свечку... ха-ха!.. Нет, братец, ты меня уморил... Пусть и Енафа Аркадьевна посмеется.

Подогрев генерала удачно подвернувшимся анекдотом, Смагин еще с большей ловкостью передал эпизод о сгоревшем с вина енисейском купце, причем в самом смешном виде изобразил страх Тараса Ермилыча за это событие.

— Вот дурак... — удивился генерал. — Да ведь он не убивал этого опившегося купца?.. Дорвался человек до дарового угощения, ну, и лопнул... Вздор! А вот свечка... ха-ха! Может быть, Тарас-то Ермилыч с горя и помолиться пошел, а тут опять неудача... Нет, пойдем к генеральше!..

Развеселившийся старик подхватил гостя под руку и повел его через парадный зал в гостиную хозяйки. Енафа

Аркадьевна была уже одета и встретила их, сидя на диване. Гостиная была отделана богато, но с мещанской пестротой, что на барский глаз Смагина производило каждый раз неприятное впечатление. Сегодня она была одета более к лицу, чем всегда.

— Вот он... он все тебе расскажет...— шептал генерал, задыхаясь от смеха.— Ох, уморил!..

Повторенный Смагиным рассказ, однако, не произвел на генеральшу ожидаемого действия,— она даже поморщилась и подняла одну бровь.

— По-моему, это очень грубо...— проговорила она, не глядя на гостя.

— Ах, матушка, ничего ты не понимаешь!..— объяснил генерал.— Ведь Тарас Ермилыч был огорчен: угощал-угощал дорогого гостя, а тот в награду взял да и умер... Ну, кому приятно держать в своем доме мертвое тело? Старик и захотел молитвой успокоить себя, а тут свечка подвернулась... ха-ха!..

— Вам нравится все грубое,— спорила генеральша по неизвестной причине.— Да и вообще, что может быть интересного в подобном обществе? Вам, Ардальон Павлович, я могу только удивляться...

— Именно, Енафа Аркадьевна?

— Именно, что вы находите у этих богатых мужиков? Невежи, самодуры... При вашем воспитании, я не думаю, чтобы вы могли не видеть окружающего вас невежества.

— Совершенно верно, но ведь я здесь случайно... Оригинальная среда, а в сущности люди недурные.

С генеральшей Смагин познакомился в клубе и сначала не обратил на нее никакого внимания. Но потом он по привычке пачал немножко ухаживать за ней, как ухаживал за всеми дамами. Ничего особенного, конечно, в пей не было, но, как свежая и молоденькая женщина, она подогревала его чувственную сторону,— Смагин любил молодых дам, у которых были очень старые мужья, как в данном случае. В них было что-то такое неудовлетворенное и просившее ласки... Но вместе с тем этот «ферлакур» не любил очень податливых красавиц, а предпочитал серьезные завоевания, со всеми препятствиями, неудачами и волнениями, неизбежно сопутствующими такие кампании. На его взгляд генеральша соединяла в себе оба эти качества.

— Так вам нравятся наши миллионеры? — приставала генеральша, вызываяще поглядывая на гостя.

— Если хотите — да... Оригинальная среда и оригинальные нравы. Впрочем, я скоро уезжаю.

— Куда? — спросил генерал.

— В Петербург... У меня там родные и дела.

Высидев приличное время для визита, Смагин раскланялся и уехал. На прощанье он так взглянул своими улыбающимися глазами на генеральшу, что та даже потупилась и слегка покраснела.

— Так я сегодня же вечером буду у вас, — говорил генерал, провожая гостя через зал. — Так, братец, и скажи Тарасу Ермилычу... Только, чур! не проболтайся о свечке... ха-ха!.. Уговор дороже денег. Понимаешь?

— Будьте спокойны, ваше превосходительство.

По уходе Смагина генерал долго не мог успокоиться и раза два проходил из своего кабинета в гостиную, чтобы рассказать какую-нибудь новую подробность из анекдота о свечке. Епафа Аркадьевна только пожимала плечами, а генерал не хотел ничего замечать и продолжал смеяться с обычным грозным добродушием.

— Мне кажется подозрительным этот Смагин, — заметила обозленная генеральша. — Что он за человек, зачем он живет здесь, как наконец попал сюда?..

— Вот тебе раз!.. — удивился генерал. — Смагин — дворянин, служил в военной службе, а здесь по своим делам...

— По каким же это делам, позвольте спросить?

— Ну, вообще, мало ли какие дела бывают... Гм... А, впрочем, кто его знает, в самом деле.

— Мне кажется, что он просто шулер! — выстрелила генеральша с такой неожиданностью, что генерал даже остоленел. — У Злобиных идет большая игра...

Генерал поднял брови, потом нахмурился, но, вспомнив про свечку, расхохотался.

— Э, матушка, куда хватила!.. Этак и я тоже шулер, потому что тоже играю в карты у Тараса Ермилыча, даже и с Смагиным не один раз играл. Играет он действительно недурно, но делает большие промахи...

В подтверждение своих слов старик рассказал последнюю партию в бостоц, а потом опять засмеялся и прибавил другим тоном:

— Нет, не могу, голубушка... Сегодня же поеду к Тарасу Ермилычу и попрошу самого рассказать все... самопро!.. Ха-ха-ха...

Возвращение Смагина в злобинский дом было настоя-

щим событием. Сам Тарас Ермилыч выскочил на подъезд и, когда узнал о благополучном исходе объяснения с генералом, троекратно облебызал дорогого гостя.

— Уж чем я и благодарить тебя буду? — спрашивал в умилении старик.— Глаз у тебя счастливый, Ардальон Павлыч: глянул, и готово...

— Пустяки, Тарас Ермилыч, о которых не стоит и говорить... А генерал даже смеялся и сегодня вечером хотел сам быть у вас.

— Н-но-о?

— Да... Просил передать вам.

Гости в злобинском доме не переводились, так как продолжали праздновать свадьбу, а поэтому к вечеру народу набралось нетолченая труба. Были тут и своя братия купцы, и горные чины, и военные, и не известные никому новые люди, о которых даже сам хозяин не знал, кто они и откуда. Среди гостей ходил испитой секретарь знаменитого золотого стола Угрюмов, а на почетном месте на диване сидел сам консисторский протопоп Мелетий, толстый и розовый, обросший бородой до самых глаз. Протопоп и секретарь сильно дружили и, кажется, не могли жить один без другого,— где протопоп, там и секретарь, и наоборот. Злобины и вся злобинская родня были отъявленные раскольники, но протопоп Мелетий не считал унижением бывать в злобинском доме, потому что там бывал сам генерал.

— Все мы, ваше превосходительство, грешны да божьи,— объяснял Мелетий, хитро улыбаясь.— А господь разберет, кто прав, кто виноват и кто чего стоит. Вот и Угрюмов то же говорит...

— Не похвалят нас с тобой, протопоп,— отшучивался генерал, любивший хитрого попа.— Ведь ты не пошел бы к Тарасу Ермилычу, ежели бы он бедный был, да и я тоже...

Купеческая братия, состоявшая из Тихоновых, Сердюковых и Щеголевых с их прямыми и косвенными дополнениями, обыкновенно старались сбиться в одну кучку, чтобы не мешать своим присутствием разным властодержцам от воинских и горных чинов. Вообще они держались своей компании и чувствовали себя самими собой только после хорошей выпивки или впризу у Поликарпа Тарасыча, где веселье шло уже совсем нараспашку. Наверху всех стеснял парад,— очень уж все по-модному Та-

рас Ермилыч наладил. Паркетный пол, расписные потолки, саженные зеркала, шелковая мебель — разойтись по настоящему негде, чтобы каждая косточка радовалась. А когда приезжал генерал, то наверху уж совсем житья не было — все смотрели в рот генералу и молчали, за исключением самого Тараса Ермилыча, протопопа Мелетия и Смагина. То ли дело у Поликарпа Тарасыча — в одной комнате столы с закуской и выпивкой, в других комнатах столы для игры в карты, и вообще все устраивались по своему желанию. И выпить можно без приглашения, и в бостон сыграть, и песенку спеть своей компанией.

Смагин вернулся от генерала как раз к обеду. Гости, конечно, знали о его секретном поручении, и когда Тарас Ермилыч, встретив его, вернулся в столовую с веселым видом, все вздохнули свободнее: тучу пронесло мóроком. Хозяин сразу повеселел, глянул на всех соколом и шепнул Савелию:

— Музыку в сад да подлеца Илюшку добудь, со дна моря достань его, а то лучше и на глаза не показывайся...

Умел веселиться Тарас Ермилыч, когда бывал в духе — улыбнется, точно солнышком осветит всех. Так было и теперь. Гости сразу зашумели, точно пчелиный рой слетел.

— А где у нас бабы? — спрашивал старик, оглядывая гостей.

— Внизу у Авдотьи Мироновны сидят, — ответил чей-то услужливый голос.

— Подавай баб наверх, а то сиротами пам сидеть скучно... Каши маслом не испортишь.

Это уже было верхом веселья, когда Авдотья Миропова выходила к гостям. Делала она это очень неохотно и только потому, чтобы не обидеть грозного и ласкового свекра-батюшку. Очень уж скромная была женщина, воспитанная у скряги-отца на монашеский лад. Да и по годам неоткуда было набраться смелости — уж после свадьбы пошел семнадцатый год, а то девочка девочкой. Худенькая, кроткая, с большими глазами, она походила на ребенка и ужасно конфузилась своего бабьего парчового сарафана, бабьей сороки на голове и других бабьих парядов. Очень уж к сердцу пришлась молодая сноха Тарасу Ермилычу, и он не мог надышаться на нее. Другой такой скромницы не сыщешь с огнем. Сын Поликарп ростом и паружностью издался в отца, но умом не дошел — просто-

ват был малый. Впрочем, он делался глупым только при отце, которого боялся, как огня, и отводил душу на своей половине, в своей компании. Женитьба придала ему некоторую самостоятельность.

V

Весело зашумел весь злобинский дом, точно стараясь наверстать налетевшую минуту раздумья. Пока шел обед, на хорах играл оркестр горных музыкантов. Собственно говоря, это была «казенная музыка», но Тарас Ермилыч платил за нее и казне и самим музыкантам, что было дороже, чем содержать собственный оркестр. После обеда все гости перешли сначала на террасу, куда был подан чай. Подгулявшие гости галдели, а Тарас Ермилыч ходил между ними с бутылкой рому и сам подливал в стаканы «архирейских сливочек», как говорил протопоп Мелетий. Смагин после обеда пил пунш, вернее — ром, чуть-чуть разбавленный горячей водой с сахаром.

— Музыкантов! — командовал разгулявшийся Тарас Ермилыч.

По условию, оркестр не обязан был играть после обеда, но Савелий уговорил канцльмейстера, старичка немца Глассера.

— В пакладе не будете, — объяснял подручный. — Сверх числа будете благодарить, ежели угодите Тарасу Ермилычу. Не таковский человек, чтобы зря слово молвил.

Музыканты не спорили, хотя и устали за обедом. Горный оркестр был поставлен на военную ногу, как и все другие учреждения горного ведомства. По зимам, когда в клубе шли балы, веселье иногда затягивалось чуть не до белого света, а музыка должна была играть. Случалось не раз, что «духовые инструменты» падали в обморок от натуги, а оставались одни скрипки, виолончели и контрабас. Сам немец Глассер не знал усталости, особенно когда пужно было выслужиться перед генералом, — строгий и неумолимый был немец. В случае послушания музыкантов садили на гауптвахту, как простых солдат. Слабым местом Глассера было то, что он состоял на службе в горном ведомстве и получал чины за выслугу лет, а следовательно, мог рассчитывать и на пенсию. «Немец, я тебя не забуду», — говорил генерал Голубко и трепал по-

кладистого музыканта по плечу на зависть всем другим мелким горным чинам.

Для музыкантов в саду была устроена особая беседка, напротив большого павильона, с колоннами, где могло поместиться больше ста человек гостей. Когда оркестр занял свое место, Тарас Ермилыч повел гостей в павильон. Это составляло своего рода забаву, потому что павильон стоял в центре громадной куртины с запутанной дорожкой,— незнакомый гость мог обойти павильон раз пять, прежде чем попадал в него. Эта детская забава повторялась после обеда с каждым новым гостем, причем не было сделано исключения даже для протопопа Мелетия. В павильоне сидел генерал и весело смеялся, пока протопоп блуждал меж куртин. Добравшись до павильона, протопоп Мелетий отер платком пот с лица и заметил:

— Над собой смеешься, Тарас Ермилыч...

— Ну, не сердись, протопоп,— утешал его хозяин,— видел, у подъезда выездная лошадь стоит? Дарю ее тебе вместе с фаятоном за свою обиду!.. А хочешь, так и кучера возьми на придачу,— прибавил Тарас Ермилыч для шутки.

— Не надо мне твоего кучера,— взмолился протопоп,— мне не на кучере ездить, а на лошади... Кормить его еще надо, а он будет пьянствовать. Не надо мне кучера, а за лошадь спасибо.

Теперь повторилась та же история с новыми гостями. Их нарочно задержали на террасе, пока свои люди пробирались в павильон. Потом явился Савелий с приглашением:

— Тарас Ермилыч просят пожаловать в павильон...

Проводив жертву готовившейся потехи до начала дорожки в павильон, Савелий незаметно скрылся. Неопытные гости один за другим направились к беседке, вызывая дружный хохот, остроты и обидные советы. Тарас Ермилыч для вящей потехи вышел в двери павильона и усиленно приглашал сконфуженно блуждавших по дорожкам новичков.

— Милости просим, господа... Да поскорее, а то других заставляете ждать.

— Держи нос направо! — кричал чей-то захмелевший голос.

Надрывал животики весь павильон над хитрой немецкой выдумкой, хохотали музыканты, и только не смеялись

березы и сосны тенистых аллей. Эту даровую потеху прекратило появление генерала, о чем прибежали объявить сразу пять человек. Позабыв свою гордость, Тарас Ермилыч опрометью бросился к дому, чтобы встретить дорогого гостя честь честью. Генерал был необыкновенно в духе и, подхватив хозяина под руку, весело спрашивал:

— Ну что, веселишься, Тарас Ермилыч... а?

— Пока бог грехам нашим терпит, ваше превосходительство.

— А много грехов, братец?

— Есть-таки, ваше превосходительство. Только родительскими молитвами и держимся пока, а то давно бы крышка.

— Сам хорошенько богу молись, братец,— посоветовал генерал и хотел выговорить вертевшееся на языке словечко, но удержался.

Появление генерала в саду было встречено громким шумом, а пьяные гости заорали ура. Генерал по-военному отдал под козырек.

— Вы у нас, ваше превосходительство, как отец родной,— повторял Тарас Ермилыч стереотипную фразу,— а мы как дети неразумные... Пряменько сказать, как тараканы за печкой, жмемся около вашего превосходительства.

— Так, так... А бога-то все-таки не следует забывать. Что это гости-то у тебя раненюшко подмокли, Тарас Ермилыч?

— Есть такой грех, ваше превосходительство...

При входе в павильон генерала встретила сама Авдотья Мироновна с бокалом шампанского на подносе. Генерал выпил при звуках нового туха и расцеловал застыдившуюся хозяйку по-отечески в губы.

— Вот это хорошо, когда такая красавица хозяйка в доме,— похвалил генерал еще раз.

— Милости просим...— по-детски лепетала Авдотья Мироновна.— Не обессудьте на нашей простоте, ваше превосходительство.

Гости, конечно, все стояли на ногах, вытянувшись шпалерой около стены. От хозяйки генерал подошел к протопопу Мелетию и принял благословение, как делал всегда.

— А ты что здесь делаешь, протопоп? — осведомился генерал.— Не в свой приход залез.

— Больной нуждается во враче, а не здоровый,— ответил Мелетий с обычной находчивостью.— Пред серпом гнева божия мы все, как трава в поле...

— А знаешь, что Петр Великий сказал вот про это самое: пред господом-то богом мы все подлецы и мерзавцы. Вот как он сказал...

Кое с кем из именитых людей генерал поздоровался за руку, а Смагина точно не замечал.

Появление генерала приостановило кипевшее до него веселье, и гости разбились на отдельные кучки. Генерал сел на парадном месте и посадил по одну руку молодую хозяйку, а по другую своего любимца, протопопа Мелетия.

— Веселитесь, господа, я не желаю вам мешать,— обратился он к остальным.— Я такой же здесь гость, как и вы все.

Это милостивое разрешение, конечно, не вернуло давешнего веселья, хотя некоторые смельчаки и пробовали разговаривать вслух. Впрочем, всех утешало то, что генерал не засидится. Тарас Ермилыч был совершенно счастлив: протопоп Мелетий да Смагин выручат, а потом можно будет генерала за карты усадить. Важно то, что он не погнушался злобинским домом и милостиво пожаловал. Одним словом, все шло как по-писаному.

— Сам-то ты что не садишься? — спрашивал генерал хозяина.

— Хозяин, что чирей, ваше превосходительство: где захочет, там и сядет.

Когда генерала усадили за карточный стол, в павильоне появился Савелий с известием, что коробейник Илюшка сейчас придет. Это был общий любимец и баловень. Действительно, через несколько минут появился и знаменитый Илюшка. Среднего роста, плечистый, с кудрявой головой и типичным русским молодым лицом, он не был красавцем, но держал себя, как все баловни — с скупающей самоуверенностью и легкой тенью презрительного равнодушия. Илюшка шел одетый, как всегда: курточка, сапоги бутылкой, за плечами короб с вязниковским товаром, а шапка в левой руке — единственный знак почтения к собравшемуся обществу. Он и шел по садовой дорожке своим вязниковским шагом, согнувшись и подавшись левым плечом вперед — правое оттягивала назад коробка с товаром.

— Ты что же это, Илюшка, и глаз не кажешь? — на-

кинулся на него Тарас Ермилыч.— Как за архиреем, посла за тобой посылай.

Илюшка ответил не сразу, а сначала поставил свою коробку на пол, встряхнул кудрями и огляделся.

— Некогда мне, Тарас Ермилыч. Видишь: товаром торгую...— ответил Илюшка и посмотрел дерзко на хозяина.— И сюда пришел с своей музыкой.

— Ах ты, ежовая голова! И товара-то твоего на расколотый грош, а ты еще разговоры разговариваешь...

— Для нас и грош деньги, да другой грош мой-то потяжелше всей твоей тыщи будет.

— Ну, ну, достаточно. Этакой ты головорез, Илюшка... Савелий, возьми у него короб да унеси в горницу, а тебе, Илюшка, положенную сотенную бумагу.

— Много благодарны, Тарас Ермилыч, а только коробка я не продаю: что в коробе — твое, а короб у меня заветный.

— Разговаривай: за заветное из спины ремень.

Илюшка уж не первый короб продавал таким манером разгулявшемуся Тарасу Ермилычу и прятал сторублевую бумажку в кожаный кисет с таким видом, точно он делал кому-то одолжение. Так было и сейчас. Подручный Савелий даже прищурился от досады,— очень уж ловок был пройдоха-взянниковец: и деньги возьмет да еще поломаётся власть над самим Тарасом Ермилычем.

— Теперь литки, Илюшка,— шутил кто-то.— С продажей надо поздравить тебя.

— Не потребаем,— отвечал Илюшка, не удостоивая спрашивавшего даже взглядом.

— А ежели Тарас Ермилыч тебя попросит рюмкой водки?

— Скажу спасибо на угощенье, а выпить мою рюмку найдется охотников.

— Тебя не переговоришь, Илюшка: с зубами родился.

Появление Илюшки всегда сопровождалось подобными разговорами,— он умел отгрызаться, забавляя публику и не роняя собственного достоинства.

— Будет тебе ершиться, Илюшка,— уговаривал Тарас Ермилыч,— лучше разуважь почтенную публику...

— Што же, ваше степенство, я не спорю,— совершенно другим тоном ответил Илюшка, встряхивая своими кудрями и опуская глаза.

Злобин махнул платком музыкантам. Оркестр грянул

проголосную русскую песню, одну из самых любимых. Илюшка совсем закрыл глаза, приложил руку к щеке и залился своим высоким тенором:

Не белы-то снега в поле забелилися...

Глассер взмахами своей палочки постепенно закрыл трубы, контрабас, флейты и скрипки, и голос Илюшки разлился по всему саду серебристой струей. Весь павильон затих, а Илюшка все пел, изредка полуоткрывая глаза, точно он сам пьянел от своей песни. Послышались тяжелые вздохи и восторженный шепот. Грозный генерал слушал, склонив голову набок, секретарь Угрюмов совсем скорчился на своем стуле. Тарас Ермилыч вытирал катившиеся слезы платком. Смагин прищуренными глазами наблюдал Авдотью Мироновну, которая сидела за столом бледная-бледная, с остановившимся взглядом, точно она застыла. Песня уже замерла, а публика все еще не могла очнуться, пока Тарас Ермилыч не крикнул:

— Хорошо, подлец!..

Поднялся настоящий гвалт. Все полезли к Илюшке. Кто-то целовал его, десятки рук тянулись обнимать. На время все позабыли даже о присутствовавшем генерале. Тарас Ермилыч послал с Савелием оркестру сторублевую бумажку и опять махнул платком. Передохнувший Илюшка снова залился соловьем, но на этот раз уж веселую, так что публика и присвистывала, и притоптывала, и заежилась как от щекотки.

— Хороший бы дьякон вышел из него, — заметил протопп Мелетий, показывая генералу глазами на Илюшку. — Тенористый...

— Нет, фореитор вышел бы лучше, — спорил генерал.

— Нет, дьякон...

— Не спорь, протопп!..

— Дьякон!..

Заспоривших стариков помирил какой-то ловкой шуткой Смагин. Взглянув на него, генерал вдруг расхохотался: он вспомнил анекдот про свечку.

Десять песен спел Илюшка и получил за них сто рублей. Оркестру Злобин платил за каждую песню тоже по сту рублей, — разошелся старик. Когда Илюшка кончил, Тарас Ермилыч налил бокал шампанского и велел снохе поднести его певуну. Авдотья Мироновна вся заалелась, когда Илюшка подошел к ней.

— Ну-ка, погляжу я, как ты не выпьешь теперь? — весело спрашивал Тарас Ермилыч, обнимая его. — Ну-ка?

Илюшка встряхнул своими кудрями, глянул на застыдившуюся хозяйку и единым духом выпил все вино, а бокал разбил об пол.

— Никогда капли в рот не брал и не возьму больше, — говорил он, кланяясь хозяйке в пояс.

— Ах ты, разбойник! — журил его Злобин. — Посуди-ну-то зачем расколотил? Ну, да бог с тобой, Илюшка... Уважил.

Вскинув на богатырское плечо принесенный Савелием пустой короб и поклонившись всей честной компании, Илюшка пошел от павильона, помахивая своей шапкой. Авдотья Мироновна проводила его своими грустными глазами до самого выхода.

Этот праздник закончился совершенно неожиданной развязкой.

Когда Илюшка ушел, общее внимание опять сосредоточилось на генерале. Старик был в духе, и все чувствовали себя развязнее обыкновенного. Тарас Ермилыч подошел к генералу и весело спросил:

— Вашему превосходительству надоело, поди, наше мужицкое веселье? Сами-то мы лыком шиты...

— Нет, зачем надоеть, — ответил генерал, улыбаясь. — А вот ты, Тарас Ермилыч, как свои грехи будешь отмаливать?

— Обыкновенно, ваше превосходительство, как и все протчин...

— Обыкновенно?.. Да ты не стесняйся и расскажи, а мы с протопопом послушаем... ну?..

В первую минуту Злобин не понял вопроса, а потом укоризненно посмотрел на Смагина. Эх, продал барин...

— Ну, что же ты молчишь? — приставал генерал. — А то, хочешь, я и сам могу рассказать, как ты богу молишься.

— Зачем же вам утруждать себя, ваше превосходительство, — спохватился Злобин. — Это вы насчет свечки?..

— Вот за это люблю! — похвалил генерал. — Умел... Ну, так как было дело?

Все гости наострили уши, смутно догадываясь, что творится что-то совсем необыкновенное. Савелий стоял в дверях и чувствовал, как от последних слов Тараса Ерми-

лыча у него захолонуло на душе. Не в добрый час он разболтал все Ардальону Павлычу... Человек, под которым подломился лед, вероятно, испытывает то же, что переживал сейчас Савелий: у него даже в ушах зашумело, а перед глазами пошли красные круги. Пропал, пропал, пропал... А Тарас Ермилыч вытянулся перед генералом и рассказал начистоту все, как было дело. Генерал принимался несколько раз хохотать, прерывая рассказ. Улыбался и протопоп Мелетий, поглядывая на Смагина.

— Ну, и в третий раз прилепил свечку? — спрашивал генерал.

— И в третий... — глухо ответил Злобин. — И в третий... А потом, ваше превосходительство, бросил ее об пол и убежал из моленной. Вот так...

Последние слова старик выговорил совсем красный, а затем выбежал из павильона. Генерал только хотел захохотать, но так и остался с раскрытым ртом. Наступила минута мертвой тишины. Грузная фигура Тараса Ермилыча мелькнула уже на выходе из сада.

— Позвольте, зачем же он убежал? — недоумевал генерал, обводя всех глазами. — Обиделся?

— Сие не подобает, — за всех ответил протопоп Мелетий.

В свою очередь обиженный генерал поднялся с места и, не простившись с хозяином, уехал домой.

VI

Неожиданная размолвка с генералом всей своей тяжестью обрушилась на подручного Савелия. Весь злобинский дом сразу затих. Тарас Ермилыч из сада пробежал прямо в моленную и там заперся. Он неистовствовал, рвал на себе волосы и даже плакал; посмеялся над ним генерал при всех. Вспылил Тарас Ермилыч не вовремя, а теперь генерал рассердился, — уломай-ка его. А без генерала дохнуть нельзя. Больше всего бесило «ндравного» и «карахтерного» старика сознание своего полного бессилия. Что нужно было бы сделать по первому разу: Смагипа в шею, да и Савелья тоже — два сапога пара. Но, раздумавшись, Злобин сообразил, что именно этого и не следует делать: Савелий разболтался не от ума, а без Смагина не обойтись. Кто помирят с генералом, как не Ар-

дальон Павлыч? Придется ему же, Ардальопу Павлычу, и клапаться. Чтобы сорвать на ком-нибудь расхोдившееся сердце, Злобин позвал вечером Савелья к себе в моленную и неистовствовал над ним часа два: и кричал, и ругался, и топал ногами, и за волосы таскал. А Савелий молчал, как зарезанный: кругом виноват, о чем же тут говорить.

— Перед всем народом осрамил меня генерал из-за тебя! — визжал Злобин, наступая на Савелья с кулаками. — Легко это было мне переносить! Голову ты с меня снял своим проклятым языком. Эх, показал бы я вам с Ардальоном Павлычем такую свечку, что другу и недругу заказали бы держать язык за зубами.

— Виноват, Тарас Ермилыч...

— Да мне-то от этого легче, а?.. Ирод ты треокаянный...

Тяжелая злобинская наука продолжалась битых два часа, так что Савелий вышел из моленной краснее вареного рака, в разорванной рубахе и с синяком на лице. Он как-то совсем одурел. Сызмала служил у Тараса Ермилыча, рассчитывал, что старик за верную службу из подручных определит куда-нибудь на свои золотые промыслы или на заводы смотрителем, на хорошее жалованье, а теперь все пропало. Не забудет Тарас Ермилыч его провинности до смерти. Одним словом, вышло такое дело, что ложись и помирай... Да и на двор с избитой рожей показаться было стыдно. Три дня Савелий пролежал у себя в каморке, а потом уж совсем тошно сделалось. Вспомнил он про другого верного раба Мишку, которого лупила генеральша, и вечерком отправился в генеральский дом поделиться горем.

— Где это тебе морду-ту разрисовали? — удивлялся Мишка, разглядывая Савелия. — Ловко... Должно полагать, на самого натакался?

В каморке Мишки, под генеральской лестницей, Савелий подробно рассказал все свое горе и как оно вышло. Мишка в такт рассказа качал головой и в заключение заметил:

— Бывало мое дело не лучше твоего. Нажалилась как-то генеральша па меня, так генерал нагайкой меня лупцовал-лупцовал, так и думал: на месте помру. После-то снял рубаху, так вся спина точно пъявками усажена... Вот как бывает, милый ты друг!.. У тебя хоть причина есть, а у меня и этого не бывало.

— Усолил меня Ардальон Павлыч,— жаловался Савелий,— кажется, взял бы да зубом его перекусил, как клопа... С ума он у меня нейдет! Лежу у себя и думаю: порешу я Ардальона Павлыча, и делу тому конец, а сам в скиты убегу, и поминай как звали.

— Ну, это ты напрасно, милаш... Обожди, может, и сойдет все. Ведь я вот терплю...

— Терпишь, Миша... ах, как терпишь! Я тебя в прошлый-то раз даже вот как пожалел.

Долго шла душевная беседа в каморке, под генеральской лестницей, и верный раб Мишка все утешал верного раба Савелья, а тот слушал и молчал. На прощанье Мишка неожиданно проговорил:

— Да послушай, Савелий, брось ты совсем своих кержаков! Ей-богу, брось...

— Как же это так бросить-то? — удивился Савелий, которому эта простая мысль даже в голову не приходила.— Служил я без мала двадцать годов, а ты: брось...

— Другая собака цепная и больше служит, пока не удавят... Нет, што я тебе скажу-то, милаш. Может, оно и лучше, што Тарас Ермилыч тебя оттрепал на все корки. Бывает... Когда ты в прошлый раз у меня был, так вот в этой самой каморке скрывался один человек. Ко мне приходил с поклоном, потому как ему гадалка судьбу сказала... Так, ничтожный человек, а попал через меня к случаю. Сосунова слышал в горном правлении? Ну, так его съел Угрюмов до конца, а Сосунов теперь в караванные попал. Моих рук дело... Улучил минуту, когда с генералом на днях в завод ездили, и обстряпал все. Так вот я и скажу Сосунову — он тебя к себе возьмет... Положим, жила он собачья, Сосунов-то, а меня боится.

— Спасибо на добром слове, Михайло Потапыч, а только я подумаю... Первое дело, надо мне отместку Ардальону Павлычу сделать. Жив не хочу быть...

— Как я генеральше?.. Вот за это люблю, Савелий. Ну, ии, подождем...

На этом верные рабы и порешили, хотя предложение Мишки и засело в голове Савелия железным клином. Мирон Никитич давно хотел прибрать к своим рукам казенный параван — очень уж выгодное дело, ну, да опять, видно, сорвалось. Истинно, что везде одно счастье: не родись ни умен, ни красив, а счастлив. Оттуда злобные

миллионы — тоже счастье, а без счастья и Тарасу Ермилычу цена расколотый грош.

Савелий был своим человеком в злобинском доме, почти родным, и мысль о том, что его нужно оставить, казалась ему несбыточной и дикой. Когда Савелий поступал к Злобину, старик кое-как перебивался разными делами. Была у него своя небольшая салотопенная заимка, при случае брал Тарас Ермилыч разные подряды и кое-как сводил концы с концами. Весть о сибирском золоте прошла в раскольничьем мире довольно давно, ее разнесли разные сибирские старцы да шляющиеся божьи люди. Первые попытки добраться до этого золота кончились неудачей, а предприниматели разорились, как Телятниковы или Часовниковы. Но эти неудачи не остановили Тараса Ермилыча. Был он тогда в полной силе, продал свою заимку, перехватил деньжонок у разной родни и отправился пытаться счастья в далекую енисейскую тайгу вместе с Савельем. Легкая рука оказалась у Тараса Ермилыча, — отыскал он первое золото ровно через год. На готовое дело все-таки нужны были большие деньги, но на этот раз выручил старик Ожигов. Выговорил он себе половину всех чистых доходов, тройные проценты и выдал Злобину пятьдесят тысяч. Ожиговские деньги с лихвой оправдались в первый же месяц, а там золото полилось широкой рекой. На прииске Заветном каждый день намывали по пуду золота, — как намыли пуд, сейчас у конторы стреляла пушка, и все работы шабашили. Таким образом, в каких-нибудь пять лет Злобин заработал чистенький миллион. А дальше пошло уже бешеное золото... Через десять лет Злобин купил лучшие заводы на Урале и женил своего сына на дочери Мирона Никитича, — злобинские и ожиговские миллионы соединились. Злобинская свадьба представляла собой что-то невероятное, и праздники затянулись на целый год, да и конца им не предвиделось. Достаточно сказать, что скуплено было и выпито в первый месяц все шампанское, какое только можно было достать в трех соседних губерниях.

Не мог уйти Савелий из злобинского дома, да и оставаться в нем ему было хуже смерти. Еще с Тарасом Ермилычем можно было помириться — крут сердцем да отходчив, а вот Ардальон Павлыч на глазах как бельмо сидит. Благодаря размолвке Тараса Ермилыча с генералом Смагин забрал еще больше силы. Он уже несколько раз

ездил в генеральский дом для предварительных разведок и возвращался с загадочно-таинственным лицом, а на немой вопрос хозяина только пожимал плечами.

— Да я, кажется, ничего бы не пожалел, кабы насчет денег...— повторял удрученный горем Злобин.— Только утихомирить бы генерала, Ардальон Павлыч.

— И деньги понадобятся в свое время,— таинственно отвечал Смагин.— Деньги — сила...

— Сила-то сила, да как с этой силой к генералу подступиться?

— Надо подумать, Тарас Ермилыч...

— Родной, только выручи! Ничего не пожалею...

И Смагин думал. Каждый вечер на половине Поликарпа Тарасыча шла крупная игра. В главных парадных покоях, где раньше стояло разливанное море, теперь было совсем тихо, а внизу с вечера наглухо окна запирались железными ставнями и собиралась своя небольшая компания. Здесь играли в большую игру, и выигрывал большею частью Смагин,— ему везло, как утопленнику. Проигрывались два горных инженера, секретарь Угрюмов, казачий полковник, несколько купчиков, а главным образом, сам хозяин, Поликарп Тарасыч. Старик Злобин, конечно, знал, чем занимаются на половине сына, но приходилось молчать, потому что, ежели обидеть Ардальона Павлыча, тогда вполне зарез. Что думал Поликарп Тарасыч, думал ли он вообще что-нибудь — трудно сказать. К вечеру он постоянно был сильно навеселе, усвоив привычку напиваться потихоньку от отца и жены. Единственное, что его занимало,— это были карты, и он с нетерпением дожидался вечера, как праздника. Авдотья Мироновна показывалась к гостям редко и сидела одна в своих комнатах, окруженная приживалками, странницами и божьими старушками. С мужем она виделась только утром, когда он совсем пьяный засыпал где-нибудь на диване. Редкие случаи, когда он делался с ней ласков, заканчивались обыкновенно просьбой денег. Свои деньги Поликарп Тарасыч давпо проиграл, у отца просить не смел и теперь проигрывал женино приданое, хотя Мирон Никитич за дочерью и не дал больших денег, а только обещал «не обидеть». Когда и эта статья была исчерпана, Поликарп Тарасыч пригласил к себе в кабинет Савелья, притворил дверь и без обиняков проговорил:

— Добывай денег...

— То есть как денег, Поликарп Тарасыч?

— А вот так... Хоть из своей кожи вылезь, а добывай. И чтобы отец ничего не знал, а то голову оторву. Вот тебе и весь сказ... Ведь я единственный наследник и рассчитуюсь.

— А ежели тятенька узнают?

— Семь бед — один ответ... Надейся на меня, не выдам...

Положение Савелия оказалось сквернее самого скверного: и единственного наследника злобинских миллионов нельзя было обижать, и Тарас Ермилыч мог все узнать, и денег было достать трудно. Долго молчал Савелий, переминаясь с ноги на ногу, пока не заметил:

— Ведь это прорва, Поликарп Тарасыч... Я насчет Ардальона Павлыча. Никаких денег для них не хватит, и ничем их не удивите.

— Ну, я тебе сказал свое, а ты мне без денег на глаза не показывайся. Знать ничего не хочу, а деньги чтобы были... слышал?.. Да язык держи за зубами, чтобы вторая свечка не вышла...

Пришлось Савелью пуститься на разные аферы. Обошел он всех тугих людей, которые тайно давали деньги под заклад и большие проценты, обошел еще более тугих заимодавцев, выдававших ссуды под двойные векселя, своих раскольниковых стариков и старушек, скопивших на смертный час разные крохи, — везде взял, везде просил и унижался, и все это было сейчас же проиграно. Пришлось закладывать брильянты и золотые вещи Авдотьи Мироновны, а за это досталось бы вдвойне, и от Тараса Ермилыча и от Мирона Никитича. Но и этого было мало: Поликарп Тарасыч требовал все новых денег. Когда все статьи таким образом были исчерпаны, у Савелья опустились руки: денег взять было негде. Но в минуту такого глухого отчаяния людей озаряют иногда неожиданно счастливые мысли: верный раб Савелий вспомнил про верного раба Мишку — вот у кого должны быть деньги. Старик Савелий слышал, что Мишка ссужает верных людей и что он же дал новому караванному Сосунову на первоначальное обзаведение. Не откладывая дела в долгий ящик, Савелий отправился в генеральский дом.

— Ну, што, милаш, скажешь? — спрашивал Мишка. — Зажил с лица-то? А меня генеральша полирует пуще прежнего.

Попросить денег с первого слова было неудобно, и Савелий долго мучил благоприятеля всевозможной околесицей, пока самому не надоело. Когда он, оглядевшись, заговорил о деньгах, Мишка отчаянно замахал руками. Какие у него деньги?.. Что и выдумают добрые люди!.. Нашли денежного человека... Когда Савелий рассказал свое горе начистоту, Мишка задумался.

— Што бы тебе к первому бы ко мне прийти? — пенял он.— Может, я пашел бы подходящего человека... У самого-то у меня нет денег — известное наше жалованье: четыре недели на месяц получаем. Да притом и то сказать, сколько ни добудь, все деньги проиграете Смагину... Вот еще человек навязался, подумаешь!.. К нам он теперь зачастил и все больше с моей генеральшей разговоры разговаривает...

Верный раб Мишка оказался гораздо проще, чем предполагал Савелий, — поломавшись в свою волю, он сразу отвалил три тысячи да еще без векселя, а просто на честное слово. Было выговорено всего одно условие, именно, что Мишка вручит деньги лично Поликарпу Тарасычу, когда тот прикажет. К фамилии Злобиных Мишка чувствовал какое-то рабское доверие, не то что к Сосунову: что значат его гроши при злобинских миллионах? А когда Тарас Ермилыч умрет, ведь все миллионы достанутся Поликарпу, — он не забудет Мишкиной выручки. В назначенный день и час Мишка явился в злобинский дом с деньгами, и Поликарп Тарасыч принял его очень вежливо и даже собственноручно подал стакан водки.

— Что же ты мало денег принес? — проговорил он, не считая пачку ассигнаций.— Такими пустяками не стоило тебя беспокоить...

— Все, сколько есть, Поликарп Тарасыч...

Конечно, и эти деньги постигла та же участь, как и добытые Савельем раньше. Потребованный в злобинский дом вторично, Мишка заперся: нет больше денег, и конец тому делу.

— Что же я буду делать, дурак ты эдакий? — спрашивал Поликарп Тарасыч.

— Не могу знать-с...

— Ведь мне нужны деньги до зарезу, — понимаешь?

— Попросите у Ардальона Павлыча: у них теперь большие тысячи.

— Попроси-на у него сам... Ну, все это вздор!..

Поликарп Тарасыч прошелся по комнате несколько раз и, схватившись за голову, заговорил:

— Несчастный я человек, Миша... И нет меня несчастнее во всем Загорье! Все меня считают за богатого: единственный злобинский наследник, женился на миллионщице, а я должен просить денег у холуя. Камень на шею да в воду — вот такая моя жизнь, Миша!

— Што вы, Поликарп Тарасыч! Какие вы слова выговариваете?.. Просты вы очень, а тут лютый змей навязался...

Пожалел верный раб Мишка миллионного наследника за его простоту и еще дал денег, но это уж было в последний раз: у самого Мишки ничего не оставалось.

А Смагин продолжал все ездить в генеральский дом и теперь бывал часто у одной генеральши, если генерал куда-нибудь уезжал. Даже случалось как-то так, что Смагин точно знал, когда генерала нет дома. Впрочем, для проформы он всегда спрашивал в передней вытягивавшегося в струнку Мишку:

— Генерал дома?

— Никак нет-с, Ардальон Павлыч...

— Гм... как же это так?..— вслух раздумывал Смагин и потом решал: — Ну, доложи генеральше.

Но Мишке и докладывать не приходилось, потому что Мотька уже выскакивала на верхнюю площадку лестницы и кричала:

— Пожалуйте, Ардальон Павлыч... Ее превосходительство просили вас пожаловать к ним.

Мотька точно знала из минуты в минуту, когда придет Смагин, что, конечно, не ускользнуло от зоркого глаза Мишки. Что-то неспроста разгулялся ловкий барин... Конечно, Мотька знает все, да только из нее правды топором не вырубешь. О своих подозрениях Мишка, конечно, никому не сообщал, но по пути припомнил рассказ Сосунова, как он встретил генеральшу у ворожеи Секлетины. О чем было ворожить генеральше, да и не генеральское это дело разъезжать по ворожеям. Вообще Мишкин нос учуял что-то неладное, о чем он не смел даже догадываться...

В злобинском доме Смагин держал себя с прежним гонором, и Тарас Ермилыч должен был все переносить. Что же, сам виноват, зачем тогда дураком убежал из па-

вильона? Самодур-миллионер даже стеснялся заговаривать с Смагиным о генерале: просто как-то совестно было, а сам Смагин упорно молчал. Только раз он привез как-то лист и просил подписать какую-нибудь сумму на богоугодные заведения.

— Да сколько угодно!..— обрадовался Злобин.

— Не сколько угодно, а сколько нужно. Если подпишете много, это выйдет вроде взятки,— поучал Смагин,— а это бестактно... Подписку собирает генеральша. Понимаете?

— Ну, а как мое дело, Ардальон Павлыч?

— Нужно подождать... Генеральша обещала похлопотать за вас, но ведь вы сами знаете, какой человек генерал. Устроится все помаленьку, только не нужно нахально лезть к нему на глаза.

Эта благотворительная подписка повторялась несколько раз, но Злобин был рад угодить генеральше за ее хлопоты хоть этим. А результаты генеральского неблаговоления уже давали себя чувствовать; по крайней мере, самому Тарасу Ермилычу казалось, что все смотрят на него уже иначе, чем раньше, и что на первый раз горноправленский секретарь Угрюмов совсем перестал бывать в злобинском доме, как корабельная крыса, почувшавшая течь.

VII

Выплаканные у Мишки деньги, конечно, не спасли Поликарпа Тарасыча и ушли по тому же адресу, как и добытые раньше. А игра шла все дальше, и Ардальон Павлыч записывал уже хозяйские проигрыши в кредит. Но и этому наступил конец. Раз вечером, прометав талию, Смагин отвел Поликарпа Тарасыча в сторону и заметил лаконически:

— Так порядочные люди не делают, молодой человек...

— Это насчет денег, Ардальон Павлыч? У меня ничего нет...

— А вы знаете, молодой человек, как это называется?..

Молодой человек молчал, уныло опустив голову. Смагин взял его своей железной рукой за плечо, встряхнул и с искаженным бешенством лицом прошептал:

— Подлостью называется, щенок, а подлецов бьют...

Результатом этой коротенькой домашней сцены было

то, что подручный Савелий, несмотря на почное время, полетел к старику Ожигову. Это была отчаянная попытка, но пужно же было хотя что-нибудь сделать...

Старинный ожиговский дом засел на берегу реки Порожней, у самого выезда из города, где уже начинались салотопенные заимки. Каменный двухэтажный дом строился не зараз, а поэтому окна, выходившие на улицу, были неодинаковой величины и расположились на разной высоте. Злобин часто смеялся над стариком Ожиговым по этому случаю и называл его дом скворечницей. Старик прищуривал свои хитрые серые глазки и, собрав в горсточку свою редкую бородку клинышком, отвечал всегда одно и то же: «Вот помру, тогда наследнички выстроятся по-твоему, сватушко, а мне уж не к лицу... Не по бороде нам высокие-то хоромы, а кому надо, так не побрезгуют и моей избушкой!»

Когда Савелий подошел к ожиговскому дому, на дворе завизжали блоки и раздался хриплый лай двух здоровенных киргизских волкодавов. Впрочем, во втором этаже в двух самых маленьких оконцах теплился слабый свет — значит, старик еще не спал. Савелий осторожно постучал в калитку и отошел. Когда вверху отворилась форточка, он по раскольничьему обычаю помолитвовался:

— Господи Иисусе Христе, помилуй нас...

— Аминь... Кто крещеный без поры, без времяя?

— Это я, Мирон Никитич, подручный Савелий... От Поликарпа Тарасыча послом пришел: дельце есть.

— Ах, полуночники!.. — заворчала хозяйская голова и скрылась.

Савелью пришлось подождать довольно долго, пока свет наверху исчез и послышался стук отворявшихся дверей. Старик с фонарем в руках шел на двор, потому что ключа от калитки в ночное время он не доверял никому.

— Это ты, Савельюшко? — спросил он, не решаясь отворить калитку.

— Я, Мирон Никитич... от Поликарпа Тарасыча.

Щелкнул железный затвор, точно кто чавкнул железной челюстью, и калитка приотворилась вполовину, — старик навел свет фонаря на почного гостя, чтобы окончательно убедиться в его подлинности. Попасть в ожиговский дом и днем было труднее, чем в острог, потому что никто не мог войти в него или выйти без ведома самого хозяина. От калитки проведен был в комнату Мирона Ни-

китича шнурок, и он сам отворял и затворял ее. Редкие выходы самого хозяина сопровождались чисто тюремными предосторожностями, да и сам он походил не на хозяина, а на тюремщика.

— Добрым людям спать не даете,— ворчал старик, запирая калитку тяжелым железным засовом.— Не стало вам дня-то, полуночники.

— Не своей волей я пришел, Мирон Никитич.

— Знаю, Савельюшко: не к тебе и слово молвится, а кто постарше тебя.

Они подошли к ветхому деревянному крылечку с узкой деревянной лестницей наверх. Пропустив Савелья вперед, старик оглядел еще раз весь двор и с кряхтением начал подниматься за ним. Горькая была эта лесенка, и нуждавшиеся люди хорошо ее знали: редко спускались по ней с деньгами в руках. Сам Тарас Ермилыч хаживал по ней не один раз,— гордый был человек, но умел покориться. В низенькой темной передней Савелий остановился, пропустив хозяина вперед.

— Я тебя попервоначалу-то и не узнал, Савельюшко,— каким-то дребезжащим голосом бормотал Мирон Никитич, еще раз направляя свет фонаря на своего ночного гостя.— Нет, не узнал, Савельюшко.

По своему обыкновению, старик соврал — это была машинальная раскольниковья ложь, ложь по привычке никогда не говорить правды. Костюм загорского миллионера состоял из одной ветхой ситцевой рубахи, прихваченной узеньким ремешком, и таковых же синих портов,— дома из экономии старик ходил босой. Маленькое сморщенное лицо глядело необыкновенно пристальными серыми глазами и постоянно улыбалось; песочного цвета редкие волосы на голове, подстриженные раскольниковьей скобой, и такого же цвета редкая бородка клинышком совсем еще не были тронуты сединой, хотя Ожигов и был на целых десять лет старше свата Тараса Ермилыча. Крепкий был человек, хотя и выглядел сморчком.

— Добро пожаловать, Савельюшко,— пригласил старик.— Заходи в горницу-то... Гость будешь, хоть и ночью пришел.

Савелий вошел в горницу и, прежде чем поздороваться с хозяином, положил перед образом в переднем углу входный начал, а уже потом проговорил своим певучим голосом:

— Здравствуйте, Мирон Никитич... Поликарп Тарасыч наказал кланяться.

— Ну, садись, Савельюшко,— проговорил старик из фальшивой любезности.— В ногах правды нет...

— Ничего, и постоять можем, Мирон Никитич... Не по чину нам рассаживаться-то.

— Так, так... Правильные твои слова, Савельюшко. Што же, и постой... Твое дело молодое, а честь завсегда лучше бесчестья.

Низенькая, давно штукатуренная комната, с маленькими оконцами, голыми стенами и некрашеным, покосившимся полом, всего меньше могла навести на мысль о миллионах. Меблировка состояла из жесткого диванчика у внутренней стены, старинного комода в углу, нескольких стульев и простого стола. Два сундука, окованных железом, дорожка домашней работы на полу и стеклянный шкафчик с посудой дополняли обстановку. Приотворенная дверь вела в следующую комнату, убранную еще беднее — там стояла одна двуспальная кровать, и только. Старик жил в этих двух комнатах один-одинешенек, а другие горницы пустовали. Когда-то в доме жила большая семья, но старуха жена умерла, сыновья переженились и жили в отделе, дочери повыходили замуж, и дом замер постепенно, как замирает человек в прогрессивном параличе, когда постепенно отнимаются ноги, руки, язык и сердце. Последним живым человеком из ожиговского дома ушла Авдотья Мироновна, воспитанная по-монашески, и старик остался в своем доме, как последний гнилой зуб во рту.

Заложив руки за спину, Савелий несколько времени переминался с ноги на ногу, не зная, с чего ловчее начать. Ожигов сел на стул, уперся по-старчески руками о колени и, склонив голову немного набок, приготовился слушать. Когда Савелий начал свой рассказ, старик сосал бескровные сухие губы и в такт рассказа покачивал головой.

— Так, так, Савельюшко...— проговорил он, когда подручный кончал свою тяжелую исповедь.— А сколько денег нужно дорогому зятюшке?

— Без десяти тысяч не велел и на глаза показываться...

Старик вскочил, посмотрел на Савелия, как на сумасшедшего, и громко расхохотался.

— Десять тысяч?.. Да я сроду и не видывал таких денег. Нашли тоже у кого просить денег: у бедного старика.

Пусть Поликарп Тарасыч просит у отца, ежели уж такая нужда приспичила, у свата шальных денег много.

— Вы знаете, какой карахтер у Тараса Ермилыча? — объяснял Савелий, не меняя позы.— Они могут даже и совсем изуродовать человека, ежели в азарт придут...

— А мне какое до этого дело? Куда деньги Поликарпу Тарасычу да еще в ночное время? Деньги, как курицы, на свету засыпают... Да. Так и скажи своему Поликарпу Тарасычу... Знаю я, куда ему деньги нужны. Все знаю...

— Он заплатит, Мирон Никитич, только вот сейчас зарез...

— Чужие слова говоришь, миленький... У вас там дым коромыслом идет, а я буду деньги платить?.. Знаю, все знаю... И Тарасу Ермилычу тоже скажи, чтобы перестал дурить. Наслуши́ли всю округу... Очень уж расширился Тарас-то Ермилыч. Так ему и скажи, а теперь ступай с богом: за Поликарпа Тарасыча я не плательщик...

Отвесив глубокий поклон, Савелий направился к двери, но старик остановил его.

— Мишку-то генеральского видел? — спросил он.— Был он как-то у меня, горюн... Плохое его дело, да и нам от этого не легче, Савельюшко. Приступу теперь не стало к генералу... Сердитует он на Тараса-то Ермилыча? Сам виноват сватушко: карахтер свой уж очень уважает. Ну, прощай...

От самых дверей Савелий еще два раза вернулся — это была уж такая привычка у Мирона Никитича.

— Караван-то, Савельюшко, уплыл от нас...— говорил он.— Мишкино дело, что он Сосунову достался. Не к рукам, Савельюшко, а дельце тепленькое... Голенькие денежки на караване-то.

Самое главное старик всегда приберегал к концу. Савелий знал эту повадку и не удивился, когда Мирон Никитич догнал его с фонарем уже на лестнице.

— Савельюшко, што у вас мутит всем этот барин вот, ну, как его там звать-то?

— Ардальон Павлыч Смагин...

— Вот он самый... Слышал я о нем достаточно. Напрасно ему вверился Тарас Ермилыч да еще в дом к себе взял: чужой человек хуже врага. И Поликарпа-то Тарасыча окружил этот Смагин... Все знаю, миленький. Так и Поликарпу Тарасычу скажи: наказывал, мол, тебе богоданный твой батюшка... Скажешь?

— Скажу, Мирон Никитич.

— А денег у меня таких нет, да и в заводе не бывало, Савельюшко. Только всего и осталось, чтобы похоронить чем было... Смертное для себя берегу.

Когда Савелий вернулся в злобинский дом, Поликарп Тарасыч встретил его с веселым лицом и даже пошутил:

— Небось с одной молитвой воротился от тестюшки?

— Отказали, Мирон Никитич...

— Ну, и плевать мне... На всех плевать!

Такой неожиданный оборот дела немало удивил Савелья. Смагин тоже улыбался и только усы покручивал. Ну, что же, устроились между собой — и любезное дело. Меньше хлопот!

Когда Савелий отправился к себе в каморку, его догнал молодец и объявил, что генеральский Мишка дожидает в кухне уже два часа и уходить не хочет.

«Верно, за своими деньгами приволокся? — подумал Савелий. — Тоже и нашел время...»

Он послал за Мишкой, чтобы шел к нему в комнату. Мишка явился, поздоровался, присел к столу и осторожно огляделся.

— С секретом пришел? — спросил Савелий, недовольный этим несвоевременным визитом.

— Есть и секрет, Савелий Гаврилыч, — шепотом объяснил Мишка, продолжая оглядываться. — Такой секрет, такой секрет... Стою я даве у себя в передней, а Мотька бежит мимо. Ну, пробежала халда-халдой да бумажку и обронила. Поднял я ее и припрятал... А на бумажке написано, только прочитать не умею, потому как безграмотный человек. Улучил я минутку и сейчас, например, к Сосунову, а Сосунов и прочитал: от генеральши от моей записка к вашему Ардальоцу Павлычу насчет любовного дела. Вот такая причина, милый ты человек!

— А с тобой бумажка?

Мишка достал из-за пазухи скомканный листочек почтовой розовой бумажки и передал Савелью.

— «Милый, приходи вечером... Све-ча пок-кажет... — разбирал Савелий вслух. — Пе-ту-ха пе... не будет». И все тут? Ну, это, брат, ничего еще не значит: неизвестно, к кому, и неизвестно, от кого.

— Говорят тебе: от генеральши!..

— Да ведь не подписано письмо-то?..

— Ах, какой ты непонятный!.. Уж говорю, что от самой генеральши. Я уж давно примечаю за ней, что дело неладно. Зачастил к нам Ардальон-то Павлыч и все норовит так, когда генерала дома нет. А откуда ему знать это самое дело, ежели сама генеральша, например, не подражает Ардальону Павлычу? Весьма это заметно, Савелий Гаврилыч, когда человек немного в разуме своем помутился... Ловка генеральша, нечего сказать, а оно все-таки заметно. Да...

— Ну, заметно, а нам-то с тобой какое горе от этого сталося?

— Эх ты, малиновая голова! Да ежели бы, напримерно, уследить генеральшу да подвести генерала: обоим крышка — и моей генеральше, и твоему Ардальону Павлычу. Понял?

— А ведь ты правильно, Михайло Потапыч... Мне-то попервоначалу и невдомек, куда ты речь ведешь, а теперь я расчихал. Уж чего бы отличнее, когда этакого медведя натравить на них...

— Он бы их распатронил, генерал, значит... Только и генеральша увертлива... Все бабы на это ловки: у них, как у мышей — вход в нору один, а выходов десять. Ну, генеральша чистенько дело ведет, — комар носу не подточит...

— Как же мы ее добывать будем, Михайло Потапыч?

Прежде чем ответить, Мишка еще раз огляделся и даже сходил и попробовал, плотно ли приперта дверь.

— Вот што, Савелий Гаврилыч, — начал он с особенной торжественностью, — долго я думал об этом. День и ночь думал, ну, и придумал... Залобуем и генеральшу и Смагина: как пить дадим. Только все это уж, как ты захочешь: все от тебя...

— От меня? Из спины ремень вырезай хоть сейчас, только бы Ардальона Павлыча сплавить... Солон мне он пришелся. Тарас Ермилыч и глядеть на меня не хочет...

— И без ремня дело обойдется, ежели с умом. Ты только слушай, Савелий Гаврилыч...

Мишка еще раз оглянулся и продолжал уже шепотом:

— Изловить мне генеральшу самому невозможно... Она вверху, а я туда доступа не имею. Все, значит, дело в этой самой Мотьке... Может, помнишь: увертливая такая девка.

— Помню... ну?

— Не понимаешь?

— Ровно ничего не понимаю, хоть убей.

— Ты еще тогда с ней как-то игру заигрывал, а она тебя обругала. Да... А потом пытала меня: женатый ты человек или нет? Известно, баба, все им надо знать. А я заприметил, што она и сама на тебя глаза таращит: когда ты придешь — она уж бесом по лестнице вертится. Вот ежели бы ты эту самую Мотьку приспособил, а потом бы через нее все и вызнал, а потом того, мы бы и накрыли генеральшу...

— Как будто зазорно, Михайло Потапыч... В переделах бывал, а такими делами не случалось заниматься.

— Да тебя-то убудет, што ли?

— Говорю: претит... Конечно, Мотька — ухо девка, и побаловаться даже любопытно, только все-таки зазорно.

— Ну, как знаешь, Савелий Гаврилыч... Мое дело сказать, а там уж сам догадаешься. А Мотька все знает и все тебе обскажет, ежели ты ее в оглобли заведешь... Бабы на это просты.

Как ни уговаривал Мишка, но Савелий уперся и ни за что не соглашался на его план. На этом и разошлись...

VIII

Может быть, коварство верного раба Мишки так и осталось бы в области предположений, но ему помог сам Ардальон Павлыч. Барин зазнался и при посторонних посмеялся над Савелием, рассказал все тот же несчастный анекдот о свечке с продолжением. Подручный побелел от бешенства, когда все хохотали, и сказал про себя только одну фразу:

— Погоди, собака, утру я тебе нос...

Савелий в тот же день отправился в генеральский дом и отдал себя в полное распоряжение верного раба Мишки.

— Так-то лучше будет, милаш,— похвалил Мишка,— твоя-то невелика работа, а каково мне потом достанется... А дельце наше верное: все знаки есть. Устигнем генеральшу, Савельюшко...

На этот разговор Мотька, конечно, не преминула выбежать. Свесившись, по обыкновению, через перила, она крикнула сверху:

— Тише вы, черти!.. Еще генеральшу разбудите.

— Што больно строга? — ответил снизу Савелий.

— Вся тут: уж какая есть.

— Не пугай, Мотя... Еще ночью померещится, в добрый час молвить.

— Тьфу! кержак немаканный...

Этой коротенькой сценой началась правильная осада засевшего наверху неприятеля. Через Мишку Савелий узнал весь порядок генеральского дня, а главным образом, когда Мотья бывает свободной. Таких минут, когда Мотья могла «удосужиться», было, правда, немного, и их приходилось ловить. Верный раб Мишка в эти редкие минуты с ловкостью заговорщика умел куда-нибудь скрыться, а Мотья сверху спускалась в нижнюю переднюю, чтобы позубоскалить с красивым кержаком. Дело пошло быстро вперед, так что, если Савелий не показывался дня два, Мотья начинала сама приставать к Мишке с распросами.

— Отвяжись, худая жисть! — притворно ругался Мишка.— Я вот уж доложу генеральше, так будет тебе от нее два неполных. Не девичье это дело на чужих мужиков глаза пялить. Надо и стыд знать...

— Ах ты, татарская харя!.. Я вот тебе «доложу»... Забыл генеральскую-то нагайку?

Мотья хоть и ругалась с Мишкой, но это было только одной формой и делалось для видимости. В сущности, Мотья сразу отмякла и больше не подводила Мишку под генеральскую грозу, а даже предупреждала, когда генеральша «в нервах». Мишка вел свою политику и не показывал вида, что замечает что-нибудь. Савелий настолько увлекся начатой игрой, что уже начал стесняться Мишки и больше отмалчивался, когда тот что-нибудь расспрашивал.

— Ты ее из дому-то вымани поскорее, — учил Мишка.— А там уж вся твоя будет... Известно, дура баба!.. Сразу отмякла... Как ты придешь, так у ней уж весь дух подпирает.

— Не совсем ладное мы затеяли, Михайло Потапыч... — вздыхал Савелий, крутя головой.— Тоже и на нас крест есть.

— Разговаривай... Эх ты, Савелий! Баба ты, вот што я тебе скажу... Уйдет, видно, от нас Ардальон Павлыч!..

Пока Савелий не делал попытки окончательно овладеть Мотькой, ограничиваясь лясами в передней и обме-

ном довольно увесистых любезностей — то Мотька обогреет его всей пятерней, то оп Мотьку смажет во всю спину, так что у ней дух займется. Она сама сильно сторожилась раскольника-подручного, потому что была православной.

Развязку подвинуло известие, принесенное Савелием в генеральский дом: Смагин выиграл в карты у Поликарпа Тарасыча железный караван, стоявший в Лаишеве.

— Как караван? — изумился Мишка.

— А так... Поликарп-то Тарасыч гонял-гонял меня за деньгами: у всех забрали, где только могли. Ну, а ему все мало... Принесешь утром, а вечером они в кармане у Ардальона Павлыча. Под конец того дело пришло к тому, што и занимать не у кого стало. Толкнулся я к Мирону Никитичу...

— Крышка?

— Обыкновенно... Прихожу я к Поликарпу Тарасычу не солоно хлебавши, а он веселый такой, и Ардальон Павлыч тоже,— значит, сладились промежду себя. Ну, думаю, и отлично, коли сладились, а наше дело маленькое, подневольное. Я так про себя положил, што али тятенька Тарас Ермилыч расступился, али Ардальон Павлыч на бумажке записал Поликарпа-то Тарасыча... Все единственно для нас. Хорошо... Только Ардальон Павлыч все играет, а Поликарп Тарасыч все проигрывает, и счет у них идет на тысячи. Начал я разузнавать, как и што, и вызнал. Когда Поликарп-то Тарасыч женился на Авдотье Мионовне, так Тарас Ермилыч железные-то заводы на его имя переписал, штобы свой форц оказать перед Миромом Никитичем. Ну, ежели заводы Поликарпа Тарасыча, значит и железо его... Он и бахнул весь караван Ардальону Павлычу, а в караване, легкое место сказать, четыреста тысяч пудов железа. Это как, по-твоему? Тарас-то Ермилыч покедова спом дела пичего не знает...

Верный раб Мишка был совершенно ошеломлен этим известием, точно Савелий ударил его по голове обухом.

— Невозможно...— проговорил он после некоторого размышления.— Тарас-то Ермилыч, как дохлую кошку, разорвет Поликарпа, когда узнает все...

— И разорвет, а Поликарпу все равно не спосить головы.

— Ах, какое дело, какое дело! — бормотал Мишка, качая головой.— Вот не было печали, так черти накачали... Да верно ли ты вызпал-то, Савельюшко?

— Да уж вернее смерти... Дока на все Ардальон Павлыч и правильный документ с Поликарпа взял.

Это сочувствие и горестное изумление Мишки Савелий объяснил страхом за выданные Поликарпу Тарасычу деньги и постарался его успокоить: единственный наследник Поликарп Тарасыч и не будет рук марать о такие пустяки, когда целого каравана не пожалел. В случае чего и Тарас Ермилыч заплатит, чтобы не пущать сраму на свой дом.

— Да не об этом я, Савельюшко,— упавшим голосом перебил его Мишка.— Совсем не об этом... Оставит нас Ардальон Павлыч с носом на другой статье: живой из рук уйдет, как живые налимы из пирога в печи вылезают!

— Это в каких смыслах?

— А в таких!.. Раскинь-ка умом-то, што теперь осталось выигрывать с Поликарпа,— жена да рубаха, только и всего материалу. Ну, Ардальон Павлыч обязательно задаст стрекача, а мы при генеральше своей и останемся.

— А ведь это точно, Михайло Поталыч,— удивлялся Савелий собственной недогадливости,— ловить его надо, пса...

— Я тебе говорю... А ты валандаешься с Мотькой за дарма и только бобы разводишь. Говорю: уйдет Ардальон Павлыч, коли мы его не накроем. Ждать, што ли, когда Тарас Ермилыч все узнает? Будет, насосался...

Чтобы поскорее «сострунить» Мотьку, заговорщики придумали устроить притворную ссору и этим устранить возможность свиданий в генеральском доме. Прежде всего верный раб Мишка накинулся на Мотьку:

— Эй ты, чужая ужна, што больно перья-то распустила?.. Мне житья не стало от твоих-то хахалей!.. Штобы и духу ихнего не было, а то прямо пойду к генералу и паду в ноги: «Расскажите, ваше высокопревосходительство, а подобных безобразиях в вашем собственном доме не могу допустить». Слышала?

— Миша, голубчик, да в уме ли ты? — уговаривала напугавшаяся Мотька.— Да с чего ты разъершился-то?

— А ты у меня поговори еще!.. Я тебе покажу фёферу...

Как Мотька ни упрашивала, Миша остался непреклонен, точно бес на нем поехал. В первый же раз, как только пришел Савелий, верный раб Мишка привязался к нему:

— Да ты што это повадилса к нам, немаканое рыло?

— Михайло Потапыч, да вы только выслушайте...

— Было бы кого слушать?.. Мораль по всему городу пуцаешь... Подумал бы, куда с рылом-то своим лезешь?.. а?..

— А вы не очень, Михайло Потапыч... Мы и сами сдачи сдадим, коли к нам в дом придете.

— Мне? Сдачи?.. Да я...

Дальше расстервенившийся верный раб схватил Савелия и вытолкал его на улицу. Мотька слышала всю эту сцену, спрятавшись наверху лестницы, и горько плакала. А Савелий поднял с земли упавший картуз, погрозил Мишке в окно кулаком и отправился к себе домой, — только его Мотька и видела.

Вечером этого же дня Мишка сидел в каморке Савелия и весело бахвалился:

— Што, ловко я тебя саданул, Савельюшко?

— Ничего-таки... Знакомому черту тебя подарить, так, пожалуй, и назад отдаст.

— А Мотька-то ревела-ревела... И глаза у ней опухли. Только бы нам ее из дому выманить... Так я говорю? Ты этак вечерком около дома-то по тротувару разика два пройдишь, а Мотька уж сама вывернется за ворота. Смотри, улетит наш Ардальон Павлыч.

Затеянная комедия была разыграна до конца, как по нотам. Савелий не показывался в генеральский дом целую неделю, а потом послал Мишке верного человека, чтобы поскорее завернул в злобинский дом. Когда Мишка пришел, Савелий даже не взглянул на него, как виноватый, а только проговорил:

— Через три дни генерал поедет по заводам и тебя возьмет с собой, а генеральша поставит на окно в гостиной свечку... Это у них знак такой. С террасы есть ход в сад, вот по этому ходу Ардальон Павлыч и похаживает к генеральше, когда генерала дома нет.

— Н-но-о?.. А ведь и точно, Савельюшко: есть такой ход. Верное твое слово...

— У них уж давно такие ненадобные дела, а генеральша нисколько не боится. Ардальон Павлыч сказал Мотьке, што убьет ее, ежели язык развяжет...

— Дела! В лучшем виде, Савельюшко...

— Мое дело сделано, а теперь уж ты приструнивай генеральшу, как знаешь.

— Ох, уж и не говори лучше: пришел мой смертный час!..— вздохнул Мишка.— Разразит меня генерал по первому слову, уж это я вполне чувствую.

Савелий глухо молчал и все отвертывался от Мишки: его заедала мысль, из-за чего он сделался предателем. Совесть было своего же сообщника, а уж про других людей и говорить нечего... И Мишку сейчас Савелий ненавидел, как змея-искусителя. Но когда Мишка стал прощаться с ним, точно собрался умирать, Савелий поотмяк.

— Ничего, Михайло Потапыч, не сумлевайся очень-то: бог не без милости, казак не без счастья. Пронесет и нашу тучу мѳроком...

— Не знаю, останусь жив, не знаю — нет...— уныло повторял Мишка.— На медведя, кажется, легче бы идти. Ну, чего господь пошлет... Прощай, Савельюшко, не поминай лихом!

Прежде чем объявиться генералу, Мишка отправился в церковь и отслужил молебен Ивану-Воину и все время молился на коленях.

Выждав время, когда генеральша уехала из дому куда-то в гости, а Мотька улизнула к Савелию, Мишка смело заявился прямо в кабинет к генералу. Эта смелость удивила генерала. Он сидел на диване в персидском халате и с трубкой в руках читал «Сын отечества». Мишка только покосился на длинный черешневый чубук, но возвращаться было уже поздно.

— Чего тебе? — сурово спросил генерал, на мгновение исчезая в облаке табачного дыма.

Мишка перекрестился и бухнул прямо в ноги генералу.

— Ну? — коротко спросил генерал, сурово глядя на валявшегося в прахе верного раба.

Путаясь и перебивая свои собственные слова, Мишка начал свой донос, но генерал побледнел при первом же упоминовении полненькой генеральши.

— Что-о?! — грянул он, и черешневый чубук засвистел в воздухе.— Да как ты смеешь, рракалллия?! Меррзавец...

Бой на этот раз был непродолжителен: и чубук сломался, и генерал задохся от волнения. Верный раб Мишка ползал у его ног и повторял одно:

— Икону сниму, ваше превосходительство... с места мне не сойти, ежели я хоть единым словом совру... Не та-

ковское дело, чтобы облыжные слова говорить. Завсегда как свеча горел перед вашим превосходительством...

Генерал был страшен. Недавняя бледность на лице сменилась багровыми пятнами, руки судорожно сжимались, глаза смотрели на Мишку с таким выражением, точно генерал хотел его проглотить. Переведя дух, он схватил Мишку за горло и прошептал:

— Ну, говори, Иуда... говори, змей... задущу своими руками, если соврешь хоть одно слово!

Стоя на коленях, Мишка рассказал по порядку все, что разведал о генеральше и о назначенном ближайшем свидании. Генерал слушал его с закрытыми глазами и только вздрагивал, когда в рассказе Мишки упоминалось имя полненькой генеральши. А если предатель Мишка говорит правду? Если... Когда Мишка кончил, генерал, не открывая глаз, махнул ему только рукой, чтобы убирался. Избитый и окровавленный верный раб, прихрамывая, вышел из кабинета и в душе поблагодарил бога, что так дешево отделался: первая и самая трудная половина дела была сделана, а там уж что бог даст. На его счастье, никто в доме не слышал о происходившем в кабинете избииении, и у генеральши не могло явиться ни малейшей тени подозрения, когда она вернулась домой. Генерал сказался больным и на ключ заперся у себя в кабинете. Это случилось еще в первый раз, что старик был болен — он никогда не хворал, как настоящий николаевский генерал, закаленный на военной службе. Впрочем, генеральша не особенно встревожилась: мало ли старики хворают, да и ей было до себя.

Вечером генерал позвал к себе в кабинет Мишку и, не глядя на него, как подручный Савелий, проговорил:

— Через три дня я еду с тобой на заводы... понимаешь? Будь готов... Да скажи, чтобы на дворе к нашему отъезду была приготовлена фельдъегерская тройка. Это на всякий случай...

Эти роковые три дня верный раб Мишка оставался ни жив ни мертв, как приговоренный к казни. О настроении генеральши он мог догадываться только по Мотьке, которая вихрем летала через его переднюю. Генерал должен был выехать днем позже, и эта неаккуратность бе-сила генеральшу.

— Ты как будто не совсем здорова?... — заметил ей генерал за обедом в день отъезда.

— Нет, ничего, папочка.

— Я могу и не ездить, если тебе нездоровится?

— Нет, зачем же, папочка... Я не желаю, чтобы ты из-за меня упускал свою службу.

Сомнений больше не могло быть...

Генерал выехал нарочно под вечер, когда спускались мягкие летние сумерки. Генеральша провожала его с особенной нежностью до самого подъезда. Мишка сидел на козлах, как преступник на эшафоте. Наступал решительный час, от которого зависело все.

— Тройка готова? — спросил генерал, когда они выезжали из ворот.

— Точно так-с, ваше превосходительство...

К удивлению Мишки, генерал был совершенно спокоен и молча покуривал свою сигару. Генеральская пятерка во весь карьер вылетела из города и понеслась по тракту к злобинским заводам, но на десятой версте генерал велел остановиться, повернуть назад и ехать в город. У заставы он вышел из экипажа, молча сделал Мишке знак следовать за собой и солдатским мерным шагом пошел по улице. Ночь была темная, так что высокая фигура генерала не обращала на себя особенного внимания. Верный раб Мишка плелся за ним, как грешная душа. Так они дошли до кафедрального собора, повернули на плотину и пошли по набережной к генеральскому дому. Мишка первый заметил одиноко горевшую на окне гостиной сигнальную свечку и молча указал на нее генералу.

— Хорошо, подлец, — ответил старик. — Ты карауль у сада, а я пойду к подъезду.

Мишка притаился у садовой калитки, а генерал зашагал к воротам, в которых и скрылся, незамеченный даже зазевавшимся часовым. Наступила минута рокового затишья. Мишка приготовился схватить врага за горло и жадно вслушивался в немую тишину ночи, нарушаемую только мерными шагами часового. Но вот в верхнем этаже мелькнул тревожный свет, где-то быстро распахнулась дверь, и Мишка не успел мигнуть, как кто-то с балкона второго этажа бросился на улицу, перевернулся в пыли и одним прыжком перелетел через железную решетку набережной в воду.

— Держи, держи! — крикнул Мишка, но уже было поздно — по пруду быстро плыла черная точка.

Что происходило в генеральском доме — осталось не-

известным. Но через полчаса к подъезду подъехала фельдъегерская тройка, генерал сам усадил в экипаж свою полнепьюкую генеральшу вместе с Мотькой и махнул рукой.

Генеральша навсегда исчезла из Загорья, как тень.

ЭПИЛОГ

Прошло ровно двадцать лет... Много воды за это время успело утечь, а действие нашего рассказа переносится с Урала за тысячи верст, на берега одетой в гранит Невы.

Был солнечный осенний день, один из тех дней, когда солнце точно старается согреть землю по-летнему и не может. Эта бессильная старческая ласка кладет на все печать усталости и какой-то специально осенней, тихой грусти. И небо какое-то грустное, точно и там, вверху, незримо отлетела животворящая сила, а в мгlistом осеннем воздухе носится невидимая глазом паутина. Общее впечатление от такого дня похоже на то, что как будто где-то умер дорогой человек, но вы еще сомневаетесь в его смерти, и в душе чувствуется смутный протест против этого уничтожения. Хочется верить, что он жив, вот именно этот самый дорогой человек, а сердце не может мириться с самым словом: смерть. Но есть и своя поэзия в таких осенних днях — убывающая жизнеперрадостная энергия наводит на мысль о покое, о том мире, который при всяком освещении остается равен самому себе и который неизмеримо больше озаряемого видимым солнцем. Это умиротворяющая философия, которая залечивает самые глубокие раны и успокаивает самые беспокойные сердца.

Итак, был солнечный осенний день. По тротуару одной из дальних линий Васильевского острова медленно шел сторбленный, но все еще высокий старик, тяжело опиравшийся на камышовую палку. Одет он был в военное генеральское пальто. Отставной генерал подвигался вперед медленно, не обращая ни на кого внимания: он делал свою обычную предобеденную прогулку. Потухшие серые глаза смотрели кругом совершенно безучастно и не замечали встречавшихся лиц. Да и что их было замечать, когда все это были незнакомые, чужие лица, которым тоже решительно не было никакого дела до отставного желтого николаевского генерала. Это был, как читатель догады-

вається, знаменитий генерал Голубко, гроза і трепет цілого горного міста. Порівнявшись з Середнім проспектом, старик повернув в алею наліво і направився к знаомій зеленій скам'єчці, на якій віддыхав во время своїх прогулок кождий день. На цій скам'єчці его уже поджидав другий старик, тоже високий і рослий, с окладистою сединою бородою і широким, умним русским лицом.

— Вашему превосходительству... — проговорил сидевший на скамейке старик, снимая заношенный бархатный картуз.

— Здравствуй... Как поживаешь, Тарас Ермилыч?

Злобин — это был он — только горько усмехнулся и показал глазами на свою левую ногу, разбитую параличом. Прогремевший на всю Сибирь миллионер обыкновенно кождый день в это время поджидал на заветной скам'єчці грозного генерала, чтобы вспомнить вместе далекую старину и посоветоваться о настоящем. Так было и сейчас. Когда генерал уселся на скамье, Злобин сейчас же заговорил с оживлением:

— А мое дельце, ваше превосходительство, опять поступило в сенат. Так на возу и привезли, потому как весом оно одиннадцать пудов. Накопилось достаточно писаной-то бумаги за восемнадцать годков. Да...

— Нынче плохо разбирают дела, Тарас Ермилыч, — уныло ответил генерал, — ежели бы оно поступило ко мне, так я бы его в три дня кончил... Забыли меня там, не пужен стал. Молодые умнее хотят быть нас, стариков... Ну, да это еще посмотрим!

С старческим эгоизмом собеседники думали и говорили только о своих личных делах и относились друг к другу скептически: генерал не верил ни на грош в знаменитое одиннадцатипудовое злобинское дело, а Злобин не верил, что грозного генерала вспомнят и призовут. При встречах кождый говорил только о себе, не слушая собеседника, как несбыточного мечтателя.

— Мне бы только воротить енисейские золотые промыслы, — заговорил Злобин, продолжая мысль, начатую еще дома. — А остальному всему попустился бы, ваше превосходительство.

— Если бы я обкрадывал казну, брал взятки, как другие... — отвечал генерал, продолжая свою собственную мысль, начатую еще третьего дня. — О, тогда другое бы дело!.. За мной бы все ухаживали, как тогда... Знаешь, что я скажу тебе, Тарас Ермилыч: дурак я был! Все кругом меня

брали жареным и вареным, а я верил в их честность. Зато они живут припеваючи на воровские деньги, а я с одной своей пенсией... Дурак, дурак и еще раз дурак...

— А какие деньги прошли через мои руки тогда, ваше превосходительство? В десять лет я добыл в Сибири больше двух тысяч пудов золота, а это, говорят, двадцать пять миллионов рубликов чистеньких. И куда, подумаешь, все девалось? Ежели бы десятую часть оставить на старость... Ну, да бог милостив: вот только дело в сенате кончится, сейчас же махну в енисейскую тайгу и покажу нынешним золотопромышленникам, как надо золото добывать. Тарас Злобин еще постоит за себя...

— Есть у меня один хороший человек в горном департаменте, — я его и определил туда, когда сам был в силе. Завернул он ко мне вечером и говорит: «Андрей Ильич, еще ваше время не ушло... Придут и сами поклонятся». А я говорю ему: «Пожалуй, уж я стар... Не стало прежней силы!» — «Что вы, говорит, Андрей Ильич, да вы еще за двоих молодых ответите, а главное — рука у вас твердая!» Хе-хе... Ведь твердая у меня рука, Тарас Ермильч?.. Куда им, нынешним фендрикам... Распустили всё, сами себе яму копают.

— Главная причина та, ваше превосходительство, что сибиряки меня судами доехали... Легкое место сказать, судиться восемнадцать лет! Все просудил, что было нажито, а остальное растащили да сынок промотал... Сперва-то, как сибиряки на меня поднялись, я, точно медведь, который в капкан лапой попал, зарычал на всех. На силу на свою понадеялся, а надо было потихоньку, да лаской, да приунижиться, да с заднего крыльца по судам-то, да барашка в бумажке. Дурак я был, ваше превосходительство, потому что их много, а я один. Так и медведя в лесу маленькими собачками травят... А какие я убытки брал по своей гордости? Бить меня тогда некому было, пряменько сказать...

Старики постепенно разгорячались от этих обидных старческих воспоминаний, размахивали руками и совсем уже не слушали друг друга.

— А этот подлец Мишка, который у меня в передней стоял столько лет и оказался первым вором?.. — кричал генерал, размахивая палкой. — Ведь я верил ему, Иуде, а он у меня под носом воровал... Да если бы я только знал, я бы кожу с него снял с живого! По зеленой улице

бы провел да плетожками, плетожками... Не воруй, подлец! Не воруй, мерзавец... Да и другим закажи, шельмец!.. А ловкий тогда у меня в Загорье палач Афонька был: так бы расписал, что и другу-недругу Мишка заказал бы не воровать. Афонька ловко орудовал...

Генерал даже поднялся с лавки и принялся размахивать палкой, показывая, как палач Афонька должен был вразумлять плетью грешную плоть верного раба Мишки. Прохожие останавливались и смотрели на старика, принимая его за сумасшедшего, а Злобин в такт генеральской палки качал головой и смеялся старчески-детским смехом. В самый оживленный момент генерал остановился с поднятой вверх палкой, так его поразила мелькнувшая молнией мысль.

— Тарас Ермилыч, а что было бы, если бы я этого подлеца Мишку прогнал тогда? — спрашивал генерал. — Ведь он главный-то вор был?

— То и было бы, что на его место поступил бы другой такой же Мишка...

— Нет, ты это уж врешь... Разве у меня глаз не было?.. Да я... да как ты смеешь мне так говорить?.. С кем ты разговариваешь-то?

— Ваше превосходительство, успокойтесь... — уговаривал Злобин, как ребенка, расходившегося генерала. — Сдурю я сболтнул... А всего лучше, мы самого Мишку допросим. Ей-богу... Тут рукой до него подать.

Старческая беседа уже не в первый раз заканчивалась таким решением: допросить верного раба Мишку. Они пошли по Среднему проспекту, свернули направо, потом налево и остановились перед трехэтажным каменным домиком, только что окрашенным в дикий серый цвет. Злобин шел с трудом, потому что разбитая параличом нога плохо его слушалась, и генерал в критических местах поддерживал его за руку.

— Вот, полюбуйся!.. — иронически заметил генерал, тыкая палкой на прибитую над воротами домовую вывеску. — У него, подлеца, и фамилия оказалась.

Вывеска была довольно оригинальная: «Собственный дом 3-й гильдии купца Михайлы Потапыча Ручкина», и генерал каждый раз прочитывал вслух, точно желал еще сильнее проникнуться презрением к вору Мишке. Дворник, заметивший издали гостей, побежал, на всякий случай, предупредить хозяина, и Михайло Потапыч Ручкин

встретил их собственной особой на дворе собственного дома. Он был в «спинджаке», в сапогах бутылкой и в ситцевой рубашке, а по глухому жилету распущена была толстая серебряная цепочка — настоящий купец третьей гильдии, точно на заказ сделан. На вид он почти совсем не постарел, а только разбух, и ноги сделались точно короче.

— Пожалуйте, дорогие гости... Ваше превосходительство, Тарас Ермилыч, родимые мои! Вот уважили-то...

— Погоди, вот я тебя уважу, Иуду! — погрозил ему генерал палкой.

Ручкин жил в самой плохой квартире, на дворе; окна выходили прямо к помойной яме. Недостигаемая мечта верного раба Мишки иметь свой собственный дом осуществилась, и Михайло Потапыч Ручкин изнемогал теперь от домовладельческих расчетов, занимая самую скверную квартиру в этом собственном доме. Он ютился всего в двух комнатках, загроможденных по случаю накупленной мебелью.

Когда старики вошли в квартиру, там оказался уже гость, сидевший у стола. Он так глубоко задумался, что не слышал ничего. Это был сгорбленный, худой, изможденный старик с маленькой головкой. Ветхая шинелишка облекала его какими-то мертвыми складками, как садится платье на покойника. Ручкин взял его за руку и увел в полутемную соседнюю каморку, где у него стояли заветные сундуки.

— Это еще что у тебя за птица? — грозно спросил генерал.

— А так, несчастный человек, ваше превосходительство, — уклончиво ответил Ручкин и потом уже прибавил шепотом: — Караванного Сосунова помните, ваше превосходительство? Он самый... В большом несчастье находится и скрывается от кредиторов: где день, где ночь. По старой памяти вот ко мне иногда завернет... Бойтесь, что в яме его заморят кредиторы.

— Вор!.. — грянул генерал. — Такой же вор, как и ты, Мишна... Нет, ты хуже всех, потому что все другие с опаской воровали, а ты у меня под носом. Как ты тогда кожу с меня не содрал?

— Сосунов, говоришь? — вслух соображал Злобин. — Как же это так: ведь он в больших капиталах состоял. Десять лет караван-то грабил.

— Нашлись добрые люди и на Сосунова, Тарас Ерми-

лыч: до ниточки раздели... Голепький он теперь, в чем мать родила. И даже очень просто...

Хозяин усадил гостей на диван и суетливо бегал из комнаты в комнату, вытаскивая разное барское угощение — початую бутылку елисеевской мадеры, кусок сыра, коробку сардин и т. д.

— Перестань бегать-то, Мишка,— уговаривал его генерал.— Нам не твое угощение нужно, а тебя... По делу пришли.

— Сею минуту, ваше превосходительство... Истинно сказать, што с праздником меня сделали... Не знаю, чем вас и принимать.

Когда Ручкин успокоился наконец, старики принялись его допрашивать.

— Заспорили мы, Мишка, что бы было, если бы тогда генерал тебя в шею,— объяснял Злобин.

— То есть когда же это, Тарас Ермылыч?

— А когда, значит, они на генеральше женились...

Ручкин весело взглянул на своих гостей и только засмеялся.

— Я так полагаю, что без меня вашему превосходительству никак бы невозможно было управиться,— смело ответил Ручкин.— Брать я, точно, брал, но зато другим пикому не давал брать... У меня насчет этого было строго: всем крышка. А без меня-то что бы такое было? Подумать страшно...

— Ах ты, каналья!..— засмеялся генерал и сейчас же нахмурился, припомнив эпизод с полненькой генеральшей.

— Ведь я как брал, ваше превосходительство: видеть не мог живого человека, чтобы не оборвать его. Жадность во мне страшная объявилась... Беру, и все мне мало, все мало. Прямо сказать: прорва, ненасытная утроба. А что было, когда я генеральшу утихомирил?.. Все ко мне бросались, все понесли, а я еще больше ожаднел, потому навестать было надо время-то... Вы-то тогда окончательно мне доверились, ваше превосходительство, ну, я и рвал, в том роде, как истощенный волк. Не потею, потому дело прошлое: прямо веревку мне тогда на шею следовало да камень, да в воду...

— Ах, подлец!.. Плетежками бы тебя, шельмеца... Помнишь палача Афоньку?

— Как не помнить, ваше превосходительство... Это вы

правильно: следовало и плетевками за мое зверство. Как раздумаюсь иногда про старое-то, точно вот сон какой вижу: светленько пожилы в Загорье тогда. Один Тарас Ермылыч какой пыли напустили... Ах, что только было, ваше превосходительство! Ни в сказке сказать, ни пером написать...

Эти воспоминания о прошлом всегда оживляли стариков, особенно Злобина. Но сейчас генерал как-то весь опустился и затих. Он не слушал совсем болтовни своего проворовавшегося верного раба, поглощенный какой-то новой мыслью, тяжело повернувшейся в его старой голове. Наконец он не выдержал и заплакал... Мелкие старческие слезёнки так и посыпали по изрытому глубокими морщинами лицу.

— Ваше превосходительство, что с вами? — спохватился Ручкин.— Господь с вами... Да перестаньте, ваше превосходительство!..

— Довольно... будет...— шептал генерал.— Зачем ты тогда подвел меня с генеральшей? Не был бы я теперь один... Что ж, она была молодая, я старик... я так бы ничего и не узнал... да и узнал бы после времени, так простил бы ее. Слышишь: простил бы!.. Ах, Мишка, Мишка, отчего я тебя не прогнал тогда.

— А оно тово, ваше превосходительство...— замялся Ручкин.— Действительно, по человечеству ежели рассудить, так следовало меня прогнать и даже весьма...

Чтобы понять тяжелую сцену, разыгравшуюся в квартире Ручкина, мы вернемся назад, к тому времени, когда Смагин, соскочивший с балкона генеральского дома, быстро переплывал пруд. Домой он вернулся весь мокрый, в одном белье — сапоги потом нашли на берегу, а платье исчезло в воде. Наутро он навсегда исчез из злобинского дома, а затем, через несколько лет, его имя прогремело на всю Россию как одного из крупнейших сибирских золотопромышленников: злобинские деньги пошли впрок. Что касается полненькой генеральши, то она кончила очень печально где-то в Москве, содержанкой какого-то купца. С ней бесследно исчезла и Мотья.

Верный раб Мишка, избыв генеральшу, забрал еще большую силу, чем до генеральской женитьбы, потому что генерал теперь доверился ему вполне. Он брал взятки артистически и далеко превзошел секретаря золотого стола Угрюмова и консисторского протопопа Мелетия. Осо-

бенно поживился Мишка в крымскую кампанию, когда доставил Сосунову крупный подряд по доставке артиллерийских снарядов, орудий и оружия. Условия были изумительные: Сосунов взял подряд, без конкуренции, по восемьдесят семь копеек за пуд и сейчас же сдал его Савелию по семнадцать копеек за пуд. Получилось чистого барыша по семьдесят копеек с каждого пуда, а таких пудов были сотни тысяч. Сосунов таким образом в две навигации сделался крупным капиталистом, Мишке тоже перепало тысяч пятьдесят, да и Савелий не остался в накладе. Все трое оправдали исконную русскую поговорку, что стоит казенного козла за хвост подержать и т. д. Дальнейшая история Сосунова представляла яркий пример неумения распорядиться дико нажитыми деньгами. У него было около миллиона, но все эти деньги ушли меж пальцев: выстроил он громадную мельницу — мельница сгорела, выстроил дом-дворец, купил на юге громадный конский завод, открыл залежи графита и т. д. Эти предприятия поглотили все деньги Сосунова, а сам он остался нищим на старости лет и должен был скрываться от кредиторов уже в Петербурге.

Но поучительнее всего была история злобинских миллионеров.

Примирение с генералом состоялось в непродолжительном времени, конечно благодаря содействию Мишки. Но генерал уже был не тот: точно полненькая генеральша унесла с собой всю его служебную энергию. А дела у Злобина запутывались все сильнее с каждым днем. Давили его и «родные сибиряки», и петербургские дельцы высокого полета, и разные неудачи со своими уральскими заводами, а больше всего, конечно, своя злобинская гордость. Знаменитая злобинская свадьба, продолжавшаяся целый год, закончилась очень печально: во-первых, скоропостижно умер виновник этого торжества Поликарп Тарасыч и умер очень подозрительно, во-вторых, с тихой и покорной Авдотьей Мироновной случилась беда... Впрочем, эта последняя история так и остается перазъясненной: молодая женщина влюбилась в коробейника, песенника Илюшку. Так, по крайней мере, повторяла молва, связывая с этой романтической историей печальный конец Поликарпа Тарасыча. Коробейник Илюшка открыл в Загорье большой галантерейный магазин и поживал припеваючи. Он уже успел объявить себя несостоятельным три раза и три раза

рассчитывался с кредиторами по семнадцать копеек за рубль, — эти семнадцать копеек сделались чем-то вроде таксы для следующих купеческих банкротств, вошедших в Загорье, с легкой руки Илюшки, в моду. Только своих соловьиных песен Илюшка больше не пел: он точно забыл их в злобинском доме. Авдотья Мироновна коротала свою жизнь в полном одиночестве, забытая злобинской родней. Свадьба открыла собой посыпавшиеся на голову Тараса Ермилыча беды. Но это был один из тех крепких людей, которые могут переломиться, но не согнуться, — он и переломился. Когда денежная сила была надорвана, на Злобина посыпались всевозможные случаи: между прочим, выплыло на свет божий и «дело о мертвом теле енисейского купца Туруханова». Кажется, уж все было кончено и позабыто, но нашлись родственники, которые стали обвинять Злобина в убийстве. Дело было пустое, как знали и судьи, и свидетели, и сами родственники, но Злобин все-таки попал в тюрьму, и это окончательно сломило его. Такие дела возможны были только в Сибири при старых сибирских судах. Ходили слухи, что все это дело поднято было Смагиным, которому нужно было захватить в свои руки лучшие злобинские промысла, — он нарочно отправился в Енисейск, разыскал родню Туруханова и заварил кашу. Ни деньги, ни заступничество генерала Голубко — ничто не могло спасти Злобина, опутанного цепкими тенетами. Из тюрьмы он вышел совершенно седым. Оправдание было получено тогда, когда уже все было сделано, чтобы его обессилить окончательно. Докончила его налетевшая на Урал строгая сенаторская ревизия, открывшая на заводах массу злоупотреблений. Его вторично арестовали и сослали в Финляндию, а на дела наложили опеку. Казенные опекуны растащили последние крохи злобинских богатств, так что в конце концов он оказался должным казне, и все его имущество поступило в конкурс и было распродано по частям для покрытия сделанного опекунами казенного долга. Целых десять лет, дорогих лет, прожил Злобин в Финляндии, откуда вернулся нищим и поселился в Петербурге, чтобы хлопотать по своим бесконечным делам. Все министерства, все департаменты и комиссии отлично знали высокую фигуру Злобина, ходившего по своим делам, как на службу. Департаментские сторожа считали его своим человеком. Злобин совершенно ушел в эту работу и по неделям просиживал в разных ар-

хивах, откапывая все новые документы по своим делам. Чиновники смотрели на Злобина, как на сумасшедшего, и тянули разными обещаниями, советами и несбыточными надеждами. Этот тип сумасшедшего просителя хорошо известен каждому департаментскому сторожу.

Генерал Голубко слетел с своего места по той же сенаторской ревизии, которая унесла и Злобина. Наступало новое время, время преобразований и новых людей. Военный режим казенного горного дела отошел в вечность, а с ним вместе и генерал Голубко. На него были сделаны какие-то начеты и начато было даже дело, но все это было покрыто «милостивым манифестом». Генерал был честный человек и остался при половинной пенсии, которой сейчас и существовал.

Интересна была встреча генерала и Злобина в Петербурге в одном из департаментов. Они не видались лет десять, но поздоровались так, точно расстались вчера.

— А у меня на днях все копчется...— заявил Злобин, вытаскивая старый большой бумажник с документами.— Всего-то одной пустой бумажонки недоставало. Добыл ее, и теперь все пойдет, как по маслу...

Злобин тут же в передней разложил на окно разные документы и принялся читать их генералу. Потом вытаскивал из другого кармана связку писем от разных сильных людей, обещавших свое содействие и посильную помощь. Генерал терпеливо выслушал все, а потом угостил тем же Злобина, хотя и не в таких размерах,— у него тоже были и верные документы и письма. Мимо них проходили чиновники, кончившие службу, проходили ходатаи, просители, но они ничего не хотели замечать, поглощенные своими делами. Когда департамент опустел, дежурный сторож подошел к ним и объявил:

— Господа, сейчас двери будут запирают... пожалуйте.

— Как пожалуйте?— вспыхнул было генерал, но сейчас же сложил бережно свои драгоценные бумаги, спрятал их в карман и пошел покорно к выходу.

Единственной отрадой выбывших из строя отставных людей были их ежедневные встречи во время предобеденного генеральского гулянья, когда они могли поделиться своими воспоминаниями, и надеждами, и горестями. Эти встречи отравляла только мысль о том, кто первый не выйдет на такую прогулку...

Торжествовал один верный раб Мишка.

КРУПИЧАТАЯ

Рассказ

I

Вечер. Накрапывает мелкий осенний дождь, точно просеянный сквозь тонкое сито. По дороге медленно движутся обозы. Бедные лошади вязнут в липкой глине и едва тащат тяжело нагруженные телеги.

«И куда это только везут столько товару? — думала Афимья, шлепая по грязи. — Везут, везут, и конца краю нет... А все в Торговище, на ярманку. Богатые московские купцы наехали теперь».

Идти пешком было тяжело, и Афимья делала частые передышки. У ней захватывало дух. А идти было нужно, чтобы поспеть в Торговище, пока еще на постоялом не заснули. От Притыки до Торговища трактом считалось двенадцать верст. Была и прямая дорога, лугами, но Афимья ночным делом боялась идти по ней: долго ли до греха, ярмарочное время, еще обидят как раз, а по тракту народ день и ночь валом валит. Собственно, Афимья боялась не за себя — что с нее взять, больной и старой, а за таскавшуюся за ней дочь Соньку.

— Устала, Сонька? — спрашивала Афимья время от времени, и в ее голосе звучала какая-то боязливая нежность.

— Есть хочу, мамынька...

— Ну, придем на ярманку, там у тетки Егорихи перекусим... Даст чего-нибудь поесть. У них теперь всего достаточно...

Сонька ничего не отвечала, и мать слышала только, как она в темноте шлепала босыми ногами. И сарафанишко на Соньке дыра на дыре, и кафтанишко весь обносился,— стыдно в люди показаться. У себя-то в Притыке хоть в чем ходи, привыкли уже все к непокрытой бедности. Ох, горькое дело эта бабья бедность, когда ниоткуда никакой подмоги. Живут же другие люди на белом свете... Эти горькие мысли стояли у Афимьи на сердце, как давнишнее несчастье.

Было уже часов девять, когда вдали мелькнуло неясное зарево от ярмарки в Торговищах. Там все было устроено на городскую руку: и фонари, и трактиры, и театр — одним словом, чего душа просит. У Афимьи дрогнуло сердце, когда выступило впереди это ярмарочное зарево, и она опять присела на первый камень, чтобы перевести дух. В темноте слышно было, как тяжело катились по грязной, избитой дороге возы с кладью, как фыркали лошади, почуявшие близкий ночлег, как переговаривались ямщики, шагавшие по грязной дороге рядом с возами. Под самым Торговищем место было беспокойное: того и гляди, товар срежут, а то и целый воз стащат. На тракту в ярмарку сильно пошаливали, так что был даже устроен казачий «бекет».

Сонька плелась за матерью с равнодушной покорностью и ни разу даже не спросила, куда и зачем они идут. Такая уж она выросла, точно деревянная. Вот есть да спать, так ее поискать. Задышавшаяся от ходьбы Афимья чувствовала теперь какое-то озлобление против рослой и здоровой дочери, точно она отняла у матери всю силу.

— Все бы ты только жрала... — ворчала Афимья, поднимаясь. — Эх, затемнели мы, пожалуй, тетка-то Егориха укладется спать.

А зарево все разгоралось, точно от настоящего пожара. Место было ровное, степное, а по нему, как по блюду, катилась степная речонка Мурмолка. Торговище появилось всего лет сорок, когда в степи, на берегу Мурмолки, была найдена явленная икона Парасковей-Пятницы. Для иконы поставили деревянную часовенку, а около часовенки вырос степной сибирский торжок. Стали наезжать по осени, когда убирался хлеб, краснорядцы из ближайшего степного городка и торговали всяким товаром прямо с возов, потом выросли ярмарочные балаганы, лари и деревянные «ряды», и в результате получилось Торговище. Сейчас

это было настоящее село в несколько улиц и с каменной церковью. Несколько каменных двухэтажных домов, деревянный ярмарочный театр и каменные торговые бани на Мурمولке придавали ему даже городской вид, как уверяли местные патриоты. Но жизнь в Торговище продолжалась ровно месяц, пока происходила ярмарка, а затем это село засыпало на целый год, вплоть до следующей ярмарки. Больше половины домов заколачивалось наглухо, и Торговище являлось каким-то мертвым селом. Оставались только так называемые «жилыцы», то есть оставшиеся караулить мертвые дома. Одиннадцатимесячный сон с лихвой выкупался лихорадочным оживлением дикого ярмарочного месяца, когда днем кипела торговля, а ночью гремели своими машинами трактиры, распевали хоры арфисток и до утренней зари творилось всякое ярмарочное безобразие.

Афимья вошла в ближайший постоялый двор, запряженный обозными телегами и экипажами. Она прошла прямо в заднюю избу, где была «стряпущая» тетки Егорихи. Передняя изба была набита битком ямщиками, мелкими торговцами, прасолами и приехавшими на ярмарку мужиками, но места не хватило, и часть постояльцев перебралась в стряпущую, где управлялась тетка Егориха у громадной русской печки.

Тетка Егориха не выразила особенной радости, когда увидела Афимью.

— Давно не видались...— ворчала дворничиха, орудуя ухватом.— Сперва-то я тебя и не признала, Афимья: краше в гроб кладут.

— И то помирать пора, Егориха... В чужой век живу.

— На ярмарку помирать приволоклась? — ядовито заметила Егориха, оглядывая стоящую рядом с матерью Соньку.— А это нешто дочь тебе приходится?

Афимья застыдилась и только тяжело вздохнула, а Егориха оглядывала Соньку с ног до головы и качала головой.

— Ну и вырастила девку, нечего сказать... В кого она такая-то уродилась у тебя крупчатая?.. Не ущипнешь...

— Пятнадцать годков минуло в успенском посту... На бедность бог здоровья посылает. Может, в горнишные куда определяю...

— Так,— протянула Егориха и усмехнулась.— Ну, я с тобой покалякаю потом, а сейчас-то мне не до тебя. Как береста на огне, кручусь я день-то деньской... А ты,

девонька, уж поешь,— проговорила она Соньке,— да вот на лавочку за печкой и приляжь... Утро вечера мудренее.

Она сунула гостье кусок пирога и деревянную чашку со щами. Сонька присела к столу и привялась с жадностью за непривычную еду: дома она и во сне не видала таких щей. А Егориха смотрела на Сонькины голые ноги, покрытые грязью, на заплатанный вылинявший сарафанишко и опять качала головой, переполненной бабьими мыслями. Очень уж красива из себя издалась девка: кровь с молоком. Волос русый, мягкий, шелк шелком, глаз серый с поволокой, румянец во всю щеку, а тело белое-белое, как у городской барыни... Ну и уродилась девка, всему миру на украшение. Одним словом: крупчатая. Егориха подлила Соньке щей вторую чашку.

— Ее не накормишь, прорву,— заметила Афимья.

— Пусть поест наших ярмарочных-то щей... Ешь, катка.

Сонька наконец наелась, вытерла рот, по-деревенски, рукой и зевнула: ее томил крепкий молодой сон. Тетка Егориха увела ее за печку и сама уложила спать.

— Размалела девонька...— смеялась Егориха, возвращаясь к своим ухватам.— Это ее с еды разобрало: как пьяная, так с ног и валится. И красоту же ты вырастила, Афимьюшка...

— Никто ее не растил; сама выросла. Телка холмогорская... Смучилась с ней. Самой есть нечего... голь непокрытая... Избенка провалилась совсем... Помереть бы так в самую пору. А она, Сонька, как назло, вон какая лупоглазая...

Тетка Егориха слушала эти жалобные речи вполуха, потому что нужно было накормить запоздавшую ямщину; Афимья сидела на лавке против печи и слипавшимися глазами наблюдала лошадиную работу ярмарочной стряпухи. Проворная была баба, хотя и в годах,— за пятьдесят перевалило. Лицом не вышла тетка Егориха, такая рябая да скуластая, а уж все остальное, как у возовой лошади. Рядом с этой бабой-богатырем Афимья чувствовала себя уже совсем несчастной и никуда не годной.

— Эй, тетка, поворачивайся! — покрикивали ямщики из-за стола.

— Угорела я поворачиваться-то для вас,— огрызнулась Егориха.

Обозные ямщики ели, как едят только обозные ямщики: целый котел одних щей съели, пока от самих не пошел пар, как от загнанных лошадей. А там еще каша, да пирог с просом, да пирог с соленой моксиной, да толокно с суслом. Ели до того, что приходилось распоясываться, потом отдыхать, запивать квасом и снова есть. Из едоков больше обозной ямщины едят одни пильщики. Афимья сидела и смотрела на всех, как смотрит чужой человек, который боится «присидеть место» в чужом доме. Она чувствовала себя среди этих работающих могучих людей еще несчастнее, еще беднее, как, вероятно, чувствовала бы себя заплата на изношенном платье, если бы только она могла чувствовать.

II

— Ну, теперь мы с тобой перекусим чем бог послал,— говорила тетка Егориха, накормив ямщину.— Бывает и свинье праздник: так и мое дело... Ты, поди, притомилась с дороги-то, сердяга?

— Нет... неможется мне... Вся не могу...

— А мы полечимся малым делом...

Тетка Егориха поставила на стол сороковку и налила по рюмке. Афимья начала было отказываться, но хозяйка заставила ее выпить.

— С устатку-то оно пользительно, Афимья: по всем суставчикам, по всем жилочкам прокатится. Давно я тебя не видала... Гляжу даве на тебя и думаю: помрет Афимья не сегодня-завтра... До рождества, поди, не дотянуть?..

— Где тут дотянуть, когда с ног валюсь...

— Вот-вот... Беспременно этак в посту помрешь, ежели протянешь до поста-то. Ох, горькая... Да ты ешь больше, может силы-то прибавишь.

Угощая Афимью, Егориха главным образом не забывала себя и хлопала одну рюмку за другой. Скоро лицо у ней раскраснелось, как кумач, глаза налились кровью, а язык начал заплетаться.

— Нет, Сонька-то у тебя... а? — повторяла она.— Репа другая такая-то уродится: ядреная, да белая, да ямистая... Ну что же, ей же лучше, значит, Соньке твоей. Верно я говорю?.. У меня есть и сарафанишко ситцевенький, и ботинки козловые, и платочек — обрядим девушку как слеждает. Кому ее такую-то грязную да рваную пужно... Да

косу-то ту-угую заплетем, волос к волосу, штобы все форменно. А ты не сумлевайся: не ты первая, не ты последняя. Ох, и грех только с этими девками!.. Я-то не занимаюсь этим делом, а так, пожалею иногда, ну, сарафанишко дам, ботинки, платочек — для этого и держу... Не первая твоя-то Сонька. После какое спасибо говорят тетке Егорихе...

— Да уж не оставь, будь добренькая... В своей коже не выведешь ее на люди-то.

— И много их, таких-то, каждую ярманку из деревень привозят: из вашей Притыки, из Облепихи, из Парменовского волока — со всей округи девок на ярманку волокут на службу.

Оглядевшись, Егориха подседа совсем близко к Афимье и принялась нашептывать:

— Ты только, мотри, сама все дело оборудуй, а то есть тут такие бабешки, которые окрывают девок... Как раз ничего не получите. Мне-то все равно, а жаль, ежели девушка даром пропадет. Вчуже жаль... Ну, так уж ты сама. Да што я учу-то тебя, глупая: лучше меня понимаешь...

Афимья опустила глаза.

— Тошнехонько самой-то, — прошептала она. — Тоже ведь родная дочь, хоть и не в законе...

— Эка невидаль: одинова по рядам пройти... Больше и не допустят. Да я бы сама, кабы могла удосужиться... В лучшем бы виде все устроила, сделай милость. Вот бы как: комар носу не подточит... Главное, не продешевить бы такую кралю писаную. Ведь такой другой и не сыскать... Право! Личико-то еще ребячье, а сама уже вполне — лучше этого сусу не бывает...

У Афимьи тоже начинало шуметь в голове от выпитой водки. Непривычное дело, да и слаба она была, а тут как будто и легче. Э, все равно, не подыхать же в самом деле с голоду...

— А мне плевать... — храбрилась Афимья, стучая кулаком по столу. — Кто Соньку замуж возьмет? С лица-то не воду пить, а женихи выглядывают, где приданого больше дадут... А у нас одно приданое — голь перекатная. Истомилась я, тетка Егориха... Вытянулась... вся не могу. Ну, теперь Сонькина очередь...

— Да ты што Сонькой своей бахвалишься-то? — вздрила пьяная Егориха. — Гладкая девка, нечего сказать... А только ноне по деревням кругом таких крупчатых де-

вок не оберешься: все московские гостиницы. Куда ни поглядишь — все девки на подбор... Раньше-то этого в заведении не было. Стыдились тоже... А нынче только давай денежки... Такая-то девушка, ежели с умом, ярманки две-три поживет в Торговище, так любой жених возьмет, потому — у ней свои деньги...

— У нас в Притыке после каждой ярманки свадьбы играют... Не брезгают... Ничего...

— Везде так-то, Афимьюшка... Это прежде строгость была на девок, а поне развеи горе веревочкой. Вот хоть тебя взять: из-за пустяков ты пропала тогда...

— А страму-то сколько напринималась, тетка Егориха? — плакала Афимья, отмахиваясь рукой. — Проходу не давали по деревне, как тяжелой ходила, а потом, как Соньку родила, — пуще того страм... Ребятишки Соньку и посеичас корят: «ярморошный калач». У нас всех так, кто не в законе... Ну, и ей ребячьим делом обидно, жалуется, а больно-то все же мне.

— И не говори, всякий издевался бы над нашей сестрой... Так, здря ты пропала, Афимьюшка. Вот, погляди, как Сонька замуж выскочит, ежели с умом... Ноне-то она еще молода, а через год выйдет.

— Боюсь я... совестно тоже в ряды выходить.

— Ах, дура, дура... Какая там совесть, коли с голоду подыхать приходится. А вы так сделайте: будто на приданое собирать пошли по рядам... Это наши же бабешки придумали. Ну, купцы и будут присматривать Соньку... Да не льститесь на молодых: молодые-то обманчивы... Да от молодого-то сразу с гостинцем уйдет. А выбирайте этакого старенького, поласковее... Уж старенький-то не обидит... Много ли ему надо, а за свою охотку озолотит. Погонные есть старички на таких вот девчонок... Им не надо другую, а давай вот этот самый скус.

— Слыхала...

— И озорства от старенького не будет, а все честь честью. Не обидит сироту... Уж я эти дела вот как знаю: тоже на людях болтаюсь. Кабы сама молодая была, так не ломалась бы в стряпухах, да уж из годков вышла... Тьфу!.. Мелю и сама не знаю што...

Весь постоялый давно спал, только в стряпущей горела оплывшая сальная свечка, слабо освещавшая беседовавших женщин. Тетка Егориха уже давно клевала носом, но бодрилась, подогретая этими ярмарочными душевными

разговорами. Дальше начались уж настоящие «бабьи шепоты».

— Я так полагаю, што четвертной билет...— шептала Аффимья.

— Дура ты, вот што... Без сотельной и не разговаривай...

— А не дадут?

— И с удовольствием... Две сотельных отвалит старенький-то, ежели разгорится сердцем. Бе-едовые из них издаются... Ничего не жаль!..

Тетка Егориха так и заснула, повалившись на стол, а Аффимья прилегла на лавочку, да так и не могла глаз сомкнуть вплоть до белого света. И тяжело ей дышать, и грудь ноет, и холодом обдает, а в голове мысли разные, как камни, пересыпаются. Закроет глаза, как будто забудется, и сейчас же вздрогнет... Страх на нее нападает. Давно это было, как ее, круглую сироту, привезла на ярмарку двоюродная тетка и продала одному молодому купцу. Конечно, какой разум у глупой девчонки по шестнадцатому году — радехонька, что сарафан новый купец подарил, да ботинки, да платок. Да и купец нравился — белый да румяный, как теперь Сонька. Вся в него уродилась... Обещался в другой год приехать... Воротилась Аффимья с ярмарки домой и почувствовала себя беременной. Пошла к тетке, а та ее срамить, да в шею. Так и износила свое бесчестье Аффимья одна и чуть рук на себя не наложила. Потом родилась Сонька... Тут и стыда не стало, а начала Аффимья ждать ярмарки осенью в Торговище: приедет Василий Иванович, как звали Сонькина отца, и поможет ей, а то и совсем увезет. Что ему стоило, Василию Ивановичу, — богатый купец и три лавки с красным товаром в рядах держал. Только фамилию купца Аффимья забыла, да и раньше не знала... И ждала же она этой ярмарки, как Христова дня: недели считала, дни считала, часы считала. Не каменный же человек Василий Иванович: увидит свою кровь Соньку и сжалится. Намаеялась она за его лакомство, настыдилась, а девичьих слез и не пересчитать.

Наступила и ярмарка. Захватила Аффимья с собой Соньку и отправилась в Торговище. Чего только не передумала она, когда подходила к рядам, где торговали красным товаром. Вот и лавки Василия Ивановича... Подошла она к первой, где он сам сидел, и видит, что кто-то другой торгует. И сердитый такой...

— Мне бы Василия Иваныча повидать... Он здесь торговал.

— Никакого Василия Иваныча нет, да и не было никогда.

— Ну, уж это я знаю, какой Василий Иваныч был...

— А знаешь, умница, так поищи хорошенько.

Сошлись купцы и подняли на смех несчастную Афимью, а она разревелась,— им еще смешнее.

— Ты бы на пего тогда колокольчик надела, чтобы не потерялся,— высмеивали московские краснорядцы-зубоскалы.— Фамилия-то как будет?

— Василий Иваныч...

Так и ушла Афимья ни с чем, кроме того, что набралась нового сраму.

И вторую ярмарку так же было и третью: пропал Василий Иваныч, точно в воду канул. Стала перебиваться Афимья от ярмарки до ярмарки, потом служила горничной, потом кухаркой на той же ярмарке, пока была в силах. Так и износилась заживо...

III

На другой день утром тетка Егориха поднялась в дурном расположении духа: у нее трещала голова с похмелья. На Афимью с Сонькой не обращала никакого внимания и с особенным ожесточением совала свои котлы в топившуюся печь. Афимья не решалась первой завести речь об обещанной одежде и терпеливо ждала, когда тетка Егориха заговорит сама.

Немного прочухавшись, стряпуха добыла из сундука сарафан из дешевенького ситца, ботинки и платок.

— Ну-ко, рвань деревенская, оболокайся! — сердито командовала Егориха, тыкая в нос Соньке своей одеждой.— Да рожу-то сперва вымой...

Туалет происходил за печкой, чтобы не видно было мужикам. А потом тетка Егориха устыдилась собственной грубости, посадила Соньку на лавку и сама расчесала ей голову и заплела тугую косу.

— Ну, девушки, теперь совсем...— проговорила Егориха, оглядывая Соньку с ног до головы.— Кабы тебе прицепить хвост, так полная бы барыня вышла... Пора, Афимьюшка. Эх, жисть наша бабья...

После бессонной ночи Афимья едва держалась на ногах. Когда-то красивое лицо было покрыто мертвой бледностью. Сонька ничего не понимала, для чего ее обрядили, и вопросительно смотрела то на мать, то на тетку Егорику.

— Ну, ступайте, горькие... — выпроваживала их Егориха. — А ты, Афимьюшка, попомни мой-то наказ... Ну, чего еще стоите столбами, деревня немшоная!..

Афимья плохо помнила, как они вышли на улицу, как дошли до церкви, как повернули мимо ярмарочных палаток и ларей к деревянным рядам, пестревшим яркими вывесками. Народу было нетолченая труба, и Афимья боялась только одного, как бы не встретить своих притыканских: увидят обряженную Соньку и подымут на смех.

Вот и ряды с красными товарами... Афимья остановилась перевести дух: ее точно душила какая-то невидимая рука, а в глазах шли круги и красные пятна. Сонька с любопытством глазела на пеструю толпу, сновавшую у рядов. Шли, ехали, галдели, размахивали руками, божились, ругались — одним словом, ярмарочная толпа. Главными покупателями являлись, конечно, деревенские. Около рядов особенно много было баб. Из сотни этих толкавшихся и глазевших баб покупала одна, а остальные могли только завидовать этим редким счастливым. Главная покупка красного товара шла на осенние свадьбы. Краснорядцы выскакивали из лавок и зазывали покупателей с московским нахальством, чуть не хватая их за горло.

— Эй, тетка, у нас покупала! — ревел краснорожий молодец, галантно изогнув весь свой корпус. — Сегодня на деньги — завтра в долг... Лутчие ситцы! Миткаль! Плис!.. Иголки, нитки, тесемки, каленкор!..

— Сукно, сатин, треко, драп... Пальты готовые!.. Пожжалуйте... Без запросу... Кто купит — три года спасибо говорит и других к нам же посылает. Шерстяные материи... люстрин... бумазая...

Где-то в ближайшем балагане немилосердно наяривала охрипшая шарманка и неистово выкрикивал Петрушка: «Кар-раул... ограбили! Утащили шапку из ежового меху, да шубу на меху из гусиных лапок, да железную трубу от серебряного самовара, да прошлогоднего снегу воз, да два фунта дыму... Ой, батюшки, ограбили!..»

У Афимьи захолонуло на сердце, когда они подошли к первой лавке. Она вошла и остановилась у порога, заслонив Соньку одним боком.

— Тетка, что покупаешь? — пристал к ней краснорожий молодец.

— Мне бы хозяина повидать...

Молодец смерил Афимью с головы до ног, осклабился и молча ткнул пальцем на конторку, за которой стоял бородатый купец.

— Не будет ли милости на бедность...— заговорила Афимья.— Дочь вот невеста... Замуж хочу выдавать...

Купец отодвинул счеты, поднял глаза на просительницу и отрезал:

— Мы эфтакими делами не занимаемся... Проходи. Эй вы, очертелые, зачем всякую шваль пуцаете?..

Когда Афимья вышла из лавки, между молодцами поднялся шепот и смех.

— Невесту повели!..— галдели краснорядцы.— Кто дороже даст!.. А девка ничего: мак...

Во второй лавке Афимью и Соньку обступили молодцы и загалдели прямо в лицо: хозяина не было в лавке.

— А жениха-то где возьмешь, тетка?.. Тоже бы привела показать: оно бы куда жалобнее вышло.

Старый седой приказчик, стоявший у кассы, сердито отплюнулся и, сунув Афимье двугривенный, выпроводил ее.

— Иди-ка, матушка, лучше домой да не страми дочь...— посоветовал он.— Тоже, крестьяны здешние: вконец около ярмарки измалодушествовались. Родную дочь повела...

В третьей лавке хмельной купчик подарил Соньке платок и все хотел ее обнять, но она убежала. Кое-где давали мелкую монету или обрывок ситца и везде встречали и провожали шуточками, насмешками и грубым издевательством. У Соньки выступали уже слезы на глазах, и она одной рукой крепко уцепилась за мать.

— Мамынька, пойдем домой...— шептала она.

Без того взволнованная и огорченная, Афимья ударила Соньку кулаком в бок так, что та разревелась совсем уж не к месту. Их окружила хохотавшая толпа.

— Вот так невеста!.. О-хо-хо!.. Ее еще с ложки кашей надо кормить.

Взбешенная Афимья ударила Соньку по лицу, а потом схватила за косу и сбила платок с головы. Кругом стоял настоящий стон от хохота. Но вдруг толпа расступилась, и подошел седенький розовый старичок.

— Нехорошо, милая... ах, плохо! — уговаривал оп расхондвшуюся Афимью, прндержнвая ее за руку. — Первое дело, в публнчном месте не дозволено пронзводнт скандал, а второе... Эй, вы, что вы в самом-то деле проходу не даете бабе! Ну, ступай, милая, своей дорогой...

Афимья обрадовалась случаю и чуть не бегом потащнла Соньку вперед, только бы унтн от проклятых рядов. Когда она шла уже по площади, ее догнал купеческнй молодец и таинственно пригласнл следовать за собой. У Афнмьи екпуло сердце, как у рыбака, у которого клонула большая рыба. Молодец повел женщину позади рядов, где свалены были пустые коробыа, сундуки и всякнй хлам, а потом задней дверкой в какую-то контору при лавке. Там уже ждал их тот самый седенькнй старнчок, который только что освободнл их от нахальной толпы. Он сделал молодцу знак, и тот нсчез, как тень.

Старнчок прнпер дверь и заговорнл:

— Ну, невеста, будет тебе реветь-то... хе-хе! Слезы-то твои уже шелковым платочком утрем.

— Девнчье дело... застыднлась малым делом... — оправдывалась Афнмья, оправляя платок на голове Соньки. — Прнстали охальннкн... ржут...

— Все нсправнм... — повторял старнчок, прнтягнвая Соньку к себе за руки. — Сколькo тебе лет? А зовут как?.. Словом, девущка, нечего сказатъ: ходнтъ бы тебе в кумаче да в шелку.

Он ласково потрепал ее по заалевшей щеке, а сам так и впнлся в нее глазами. Очень уж аппетнтная штучка... Всем взяла — и ростом, и лнцом, и румянцем, а глаза совсем бархатные. Сонька тоже смотрела на ласкового старнчка и улыбалась: ей вдруг стало весело. Вот эта улыбка точно обухом ударнла старнка по голове... Он выпустнл Сонькнну руку и весь побледнел. Губы что-то шептали и не могли выговорнтъ. Старнк смотрел то на мать, то на дочь и напрасно старался что-то прнпомннтъ, как неожнданно разбуженнй человек прнпомнает вылетевшнй нз головы яркнй сон.

— Так... так... — шептал он. — Софьей, говорншь, звать?.. Да... Так-с. А тебя Афнмьей?.. Ну-ко, ты, Сонюшка, выдь малым делом, а мы тут потолкуем...

Когда девущка вышла, старнк ухмыльнулся, прнпер дверь и вполголоса повел переговоры. Афнмья старалась

не смотреть на него и машинально повторяла подсказанную Егорихой цифру.

— Дорожишься маленько...— торговался старичок, соображая что-то про себя.— Таких-то невест по ярмарке ходит сколько угодно...

— Много их, да супротив моей Соньки рожей не вышли...

— Так, так... Вот што я скажу тебе, миленькая: ты посиди пока здесь с Сонькой-то, а я за деньгами в банк съезжу. При себе-то таких больших денег не держу...

Афимья согласилась. Старичок впустил Соньку и по пути ущипнул ее за щеку.

— Подождите меня, красавицы, а я живой рукой оберну.

Старичок еще раз пощипал Соньку по щеке и, приподняв ее лицо за подбородок, проговорил:

— Ну, улыбнись, ягодка... хе-хе!..

Он опять впился в нее своими ласковыми глазами и опять почувствовал себя жутко, когда Сонька засмеялась от щекотки.

«Она и есть!..» — думал старик, припирая дверь, чтобы гости не ушли без него.

Он ужасно торопился и, схватив первого извозчика, велел ехать к исправнику. На его счастье исправник был дома. Старик сунул стражнику какую-то мелочь и просил доложить о себе не в очередь: другие просители могли ждать. Исправник, Иван Семеныч, знал его лично и не заставил просить во второй раз.

— Что так ускорился, Василий Иваныч? — пошутил исправник, когда старик вошел к нему в кабинет.

— Да уж так-с... Особенное такое дельцо-с, Иван Семеныч. Даже, можно сказать, из ума вышибло...

Он, видимо, стеснялся, с чего начать, и все поглядывал на дверь, а потом махнул рукой и торопливо рассказал про свою встречу с Сонькой.

— Ну, так что же? — улыбнулся исправник, молодежато подмигнув.— Ах, шалун... Давно надо богу молиться, а он вон что придумал... Хе-хе!..

— Нет, вы послушайте-с, Ивап Семеныч... Действительно, был и такой грех: польстился. Уж очень хороша девочка: один сок... Хорошая. Послал я за ними молодца, ну, то-сё, разговариваю, а как она улыбнется, значит, Сонька...

— Ах, Василий Иваныч, Василий Иваныч... Нехорошо...— повторил исправник, качая головой.— Ведь вы, мо-сквичи, весь уезд у меня развратили, а кругом Торговища верст на двадцать все население пезакопорожденное. Ну-с, улыбнулась Сонька и...

— Меня точно обухом по голове: дочь у меня есть, так вот как есть вылитая Сонька... Даже страшно мне сделалось. Потом гляжу я на мать-то: мой грех был. Еще подумал: как раз годы-то Сонькины сходятся. Ну, уж тут мне совсем муторно сделалось: моя кровь эта самая Сонька...

— Вот так фунт!..

— И, например, эта ее мать желает непременно продать ее, Соньку, а Сонька, например, моя кровная дочь... И продаст!.. Вот я и пришел к вам, Иван Семеныч... Явите божескую милость, насчет Соньки, например, чтобы сраму этого не было.

Иван Семеныч сделал большие глаза и покачал только головой: в его практике это был еще первый случай.

— Что же я могу сделать, Василий Иваныч? — ссображал он.— Сегодня помешаем продать — завтра продаст... Выслать в деревню могу.

— Нет, зачем высылать — опять придет. А нельзя ли ее задержать на время ярмарки вместе с дочерью, а потом уж выпустить? Например, я объявлю подозрение на них вот сейчас же, а вы их на цепочку... Жалеючи Соньку, хлопочу, Иван Семеныч. Тоже ведь не чужая... Ох, грехи, грехи!.. И, кроме всего этого, я желаю ее обеспечить, значит, Соньку...

Старик достал бумажник и выложил пред Иваном Семенычем пятирублевую ассигнацию.

— Когда из высидки выпустите их, так это Соньке на приданое,— не без самодовольства проворчал он.— Тоже и па нас крест есть... Можем чувствовать.

Афимья с Сонькой действительно просидели всю ярмарку в кутузке по подозрению в краже бумажника у Василия Иваныча, а потом были выпущены. Сонька не получила и того «приданого», какое ей оставил Василий Иваныч...

ОХОНИНЫ БРОВИ

Повесть

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

В нижней клети усторожской судной избы сидели вместе башкир-переметчик Аблай, слепец Брехун, беломестный казак Тимошка Белоус и дьячок из Служней слободы Прокопьевского монастыря Арефа. Попали они вместе благодаря большому судному делу, которое вершилось сейчас в Усторожье воеводой Полуектом Степанычем Чупшкиным. А дело было не маленькое. Бунтовали крестьяне громадной монастырской вотчины. Узники прикованы были на один железный прут. Так их водили и па допрос к воеводе.

— Имею большую причину от игумена Моисея, — жаловался дьячок Арефа товарищам по несчастью. — Нещадно он бил меня шелепами...¹ А еще измбром морил на всякой своей монастырской работе. Яко лев рыкающий, забрался в нашу святую обитель... Новшества везде завел, с огнепальной яростию работы египетские вменил... Лютует над своею монастырскою братией и над крестьянами.

— И долютовал, — отвечал слепец Брехун. — Как крестьяне подступили к монастырю, игумен спрятался у себя

¹ Шелепы — мешки с песком. (Примеч. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)

в келье... Не погляпулось, как с вилами да с дреколем наступали, а быть бы бычку на веревочке.

— Жив смерти боится,— угнетенно соглашался Арефа и тяжело вздыхал.

— А тебя-то он за што изживал?

— Немоши у меня, Брехун.

— Насчет Дивьей обители, што ли?— ядовито спрашивал Брехун.— Может, дьячиха нажалилась отцу игумену...

— Тоже и сказал человек! Статочное ли это дело про Дивью обитель такие словеса изрыгать?

Слепец Брехун любил подтрунивать над дьячком: надо же было как-нибудь коротать долгое тюремное время.

— Немошь у меня к зелено виноу,— объяснял дьячок,— а соблазн везде... Своя монастырская братия стомаха ради и частых недуг вкушает, а потом поп Мирон в Служней слободе, казаки из слобод, воинские люди... Ох, великое искушение, ежели человек ослабнет!.. Ну, игумен Моисей и истерзал меня многожды...

— И шлепами, и плетями, и батожьем?

— Всячески... Он и па попов не очень-то глядит, чуть што, сейчас отправит на конюшенный двор, а там разговоры короткие. Раньше игумен Моисей в Тобольске происходил служение, белым попом был. Ну, а разъярится, так необыкновенную скорость на руку оказывал... Так и попадью свою уходил: за обедом костью говяжьей ее зашиб, как сказывают. Вот после этого он и принял на себя иноческий чин... На великой реке Оби остояков крестил, монастырь поставил, а потом к нам попал, да под духовные штаты и угодил. Вотчина монастырская огромная: близко ста тыщ десятин земли, на них девять деревень, да четыре поселка, да шесть заимок, а еще лесу не считано, да хмелевые угодья, да три рыбных озера, да двои рыбные пески в низовье Яровой... Свои четыре мельницы было, кожевня, свешная, а в городах везде подворья. Одного сена ставили больше двенадцать тыщ копен... Монастырских крестьян близко трех тыщ податных душ состояло и одного оброка тыщу рублей каждогодно приносили. Процветал наш Прокопьевский монастырь, кабы не новые духовные штаты: все ограничили сразу — и землю, и крестьян, и всякое прочее угодье. Вот игумен-то Моисей и лютует... Приехал он на большое, а вышло маленькое. А монастырь

ограничили, чети¹ не оставили, а тут еще перед самыми штатами дубинщина ваша. Меня же прицепили к ней неповинно.

— Сказывай! — недоверчиво ворчал Брехун. — Вы больно умны с игуменом-то, а другие одурели для вас. Какой крестьянин без земли, а земля божья... Государский указ монахи скрыли. Кабы не воевода Полуехт Степаныч, так тряхнули бы вашим монастырем. Погоди, еще тряхнут.

— Нечем трясти-то, коли все отняли.

— Щука умерла, а зубы остались.

Худенькое и сморщенное лицо Арефы с козлиной бородкой во время разговора все подергивалось, точно сейчас под кожей у него были натянуты нитки. Сгорбленный и худой, он казался старше своих лет, но это только казалось, а в действительности это был очень сильный мужчина, поднимавший одной рукой семь пудов. Синий подрясник из домашней крашенины придавал ему вид отшельника. Желтые волосы были заплетены в две жиденьких косички, постоянно вылезавших из-под высокого стоячего воротника подрясника. Слепец Брехун, потерявший глаза еще во время второго башкирского бунта, когда по Зауралью проходили воровские башкирские шайки под предводительством Пепени, Майдары и Тулкучуры, являлся полную противоположностью «мухортого» дьячка. Это был плотный, совсем лысый старик с неподвижным лицом, как у всех слепцов. Он был в одной холщовой рубахе и таких же портах. Слепец Брехун и дьячок Арефа вели между собой долгие разговоры, причем первый рассказывал больше про свой монастырь, а Брехун вспоминал свои скитанья по Зауралью и Оренбургской степи.

— Бывал я и в степе, — задумчиво говорил дьячок. — С благословения прежнего игумена Поликарпа ездил на рыбные ловли и по степную соль на озеро Ургач. А все домой тянет: не могу без Служней слободы жить..

— Как цепная собака без своей конуры?

— Тянет меня и сейчас: хоть бы одним глазком поглядел, што делается там... Одной-то дьячихе моей трудненько управляться. Тоже и пашенка есть, и скотинка, и огород, — по женскому делу весьма трудно за всем углядеть. Одна надежда на нашего заступника Прокопия, иже о Христе юродивого: все за ним сидим, как тараканы за печью.

¹ Четь — четверть. (Примеч. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)

Орда-то прежде частенько-таки набегала на монастырскую вотчину, — домишки сожгут, а людей поколют или в полон возьмут. Не можно было ущититься, а спасал все он же, преподобный Прокопий. Великая сила ему дана на всю сибирскую сторону. Восьмого иулия монастырь празднует, и торжок бывает в нашей слободе, так и называется — прокопьевский торжок.

— Прокопьев-то день по всей Сибири прошел, — объяснял Брехун, — крестьяны по всем местам его весьма уважают.

В этих беседах не принимали участия только башкир Аблай и казак Белоус. Первый, правда, по вечерам затягивал свои упылые башкирские песни про старшину Сеита или Алдар-бая. Это пение походило на протяжный волчий вой и нагоняло на всех страшную тоску. Подземелье, где сидели узники, выходило на божий свет всего одним оконцем, обрешеченным железом. Слабая полоса света не освещала и четвертой части подземелья. Особенно трудно было ночью, когда узники укладывались вповалку на земляной пол и каждое движение во сне сопровождалось лязгом железа. Другим неудобством было то, что рядом с этим подземельем находилась воеводская «запличная», где снимали показания с провинившихся. Работа начиналась с раннего утра, и слышно было, как хрустели кости на дыбе, а палачинный кнут резал живое человеческое тело. Мертвая тишина оглашалась отчаянными воплями, хрипеньем и визгами, как визжит железо под пилой.

— Ох, горе душам нашим! — вздыхал Арефа, съеживался и шейтал молитву.

— Што, не глянется? — смеялся Брехун. — Это, видно, получше будет ваших монастырских шелепов... Воевода Полуехт Степаныч тешит свою душеньку, а кáтом¹ у него башкир Кильмяк — такая собака, што не приведи бог во сне увидеть... С одного раза может убить человека, когда расстервенится. Кнутом наказали душ пятнадцать за дубинщину, а другим ноздри повырывали... И игумен вместе с ним: все, слышь, прибавки просит. Тоже с Баламутских заводов сам Гарусов наезжал: у него с Полуэхтом-то Степанычем рука руку моет.

— Слышь, как резанул опять Кильмяк?.. Батюшки-светы, преподобный Прокопий! — молился вслух Арефа,

¹ Кат — палач. (Примеч. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)

прислушиваясь к заплечной работе.— Што же это будет такое? Душеньку вынул...

Молчал один Белоус, хотя ему приходилось больше всех бояться кровавой работы Кильмяка. Это был важный преступник, попавшийся с полчиным, и разлакомившийся кровавою расправою воевода приберегал его на закуску. Все остальные содержались по оговору или по подозрению, а дьячок Арефа представлен был самым грозным игуменом Моисеем, как зачинщик и подстрекатель крестьянского бунта. Белоуса уже два раза выводили на допрос, и два раза его приносили с допроса замертво и в таком виде приковывали к пруту. Он дней по пяти не мог подняться на ноги, и Арефа залечивал раны на спине его хлебным мякишем. Искусный был дьячок и слыл за колдуна.

Узники содержались давно, а Белоус не сказал и десяти слов. Его молчание было нарушено только раз, именно утром, когда в оконце узникам подавали еду, то есть несколько ломтей ржаного хлеба с луком. В это утро, вместо усатой солдатской рожи, в оконце показалось румяное девичье лицо.

— Здесь батя? — спрашивал девичий голос, перехваченный слезами.

— Охонюшка, милая... да тебя ли я вижу, свет мой ясный! — откликнулся Арефа, подходя к оконцу.— Да как в город-то попала, родная?

— Матушка прислала, батя... Горюет она по тебе, а тут поп Мирон наклался в город ехать, вот матушка и прислала меня проведать тебя. Слезьми вся изошла матушка-то...

— Да как же ты, Охонюшка, в чужом-то месте не боишься?

— А мы на монастырском подворье встали, батя... Ловко там. Монашек Гермоген там же... Он еще не монашек, а на послушанье.

— Какой Гермоген, Охонюшка? Чего-то ровно такого не упомяну в Прокопьевском... Разве пришлый какой?

— Нет... Пономарь-то наш Герасим — помнишь? — он самый и будет. Сейчас после святой пошел в монастырь и теперь в служках, а потом постригется.

— Ах, какой грех... то есть оно, конечно, божье дело, а жаль парня. Как же это так вышло-то, Охонюшка?.. Ну, его дело, ему и ближе знать. А поп Мирон што?

— Ничего, батя... Пытал он Герасима-то уговаривать, тот не послушался. Надоело, говорит, в миру жить... А я

к тебе, батя, каждое утро буду приходить. Мамушка гостинцев прислала. «Отдай, говорит, батю», а сама без утыху плачет.

Охоня присела к окошечку на корточки и тоже всплакнула, когда увидела исхудалое и пожелтевшее лицо старика отца. Это была среднего роста девушка с загорелым и румяным лицом. Туго заплетенная черная коса ползла по спине змеей. На скуластом лице Охони с приплюснутым носом и узкими темными глазами всего замечательнее были густые, черные, сросшиеся брови — союзные, как говорили в старину. Такие брови росли, по народному поверью, только у счастливых людей. Одета она была во все домашнее, как простая деревенская девка.

— Это чья такая будет? — спрашивал Белоус, когда Охоню от оконца оттащила дюжая солдатская рука: шел на допрос сам воевода.

— Моя, видно, — ответил Арефа не без гордости. — Дочерью прежде звали...

— Что-то не похожа на тебя, — усомнился Белоус.

— Говорят тебе, что моя! — сказал Арефа. — Не лошадь, тавра не положено.

— То-то вот и есть, что дочь твоя, а тавро-то чужое...

— Молчи, пес! Может, она поближе, чем своя, а как уж она мне приходится, и сам не разберу... Эх, вышло тут одно неудобь-сказуемое дельце. Еще при игумене Поликарпе вышло-то, когда он меня на неводьбу в орду посылал, на степные озера. Съездил я до трех раз и все благополучно: преподобный Прокопий проносил, а тут моя-то дьячиха и увяжись за мною. «Скушно мне без тебя, Арефа, поеду с тобой». — «Куда ты, глупая? В степе-то наедут кыргызы и заколют обоих». — «Ничего, говорит, когда, говорит, я у батюшки в Черном Яру в девках еще жила, так опи, собаки, два раза наезжали, а я из ружья в них палила, в собак»... Дьячиха-то у меня орел-баба. Ну, собрались мы со своею худобой и поехали в степь. На озера приехали благополучно и целую неделю так-то и прожили, а тут почью, под Ильин день, собаки-кыргызы и наехали... Мы вместе с дьячихой-то спали, — ну, один кыргыз меня копьём к земле приколел, а другой ухватил дьячиху и уволок. Не далась бы она живою, кабы не сонная, — мертвый у ней сон. Так ее, сердешную, в степь и увезли, а меня в монастырь предоставили колотого. Полгода я лежал так-то, — нога у меня наскрозь копьём пройдена. Пришел после в

свою избенку на Служней слободе и горько всплакал: не стало моей дьячихи. Однако помолился я преподобному Прокопию, а он и ущитил мою дьячиху от орды: через полгода выворотилась дьячиха-то из степи... Ушла одвукоть ночным делом, когда орда спала. Ну, а только выворотилась она такая...

— Какая?

— Да уж такая... Отяжелела в орде моя дьячиха, вот какая... Ну, а потом разродилась вот этою самою Охоней. Других детей у нас нет, вот нам и вышла радость на старости лет. За свою растим... Бог дал Охоню.

Белоус ничего не сказал, а только съежил богатырские плечи. Красивый был казак, кудрявый, глаза серые, бойкие, а руки железные. День и ночь он думал об одном, а Охоня нарушила его вольные казацкие мысли.

II

Охоня стала ходить к судной избе каждое утро, чем доставляла немало хлопот караульным солдатам. Придет, подсядет к окошечку, да так и замрет на целый час, пока солдаты не прогонят. Очень уж жалела отца Охоня и горько плакала над ним, как причитают по покойникам,— где только она набрала таких жалких бабьих слов!

— Родимый ты мой батюшка, застава наша богатырская! — голосила Охоня, припадая своей непокрытой девичьей головой к железной оконной решетке.— Жили мы с матушкой за тобой, как за горою белокаменной, зла-горя не ведали...

Эти причеты и плачи наводили тоску даже на солдат,— очень уж ревет девка, пожалуй, еще воевода Полуект Степаныч услышит, тогда всем достанется. Охоня успела разглядеть всех узников и узнавала каждого по голосу. Всех ей было жаль, а особенно сжималось ее девичье сердце, когда из темноты глядели на нее два серых соколиных глаза. Белоус только встряхивал кудрями, когда Охоня приваливалась к их окну.

— Не застуй¹, девка... — заметил он ей всего один раз.— Без тебя тошно.

¹ Не застуй — не заслоняй света. (Примеч. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)

Ходила, ходила Охоня, надоело попу Мирону ее ждать, и уехал он домой вместе со служкой Гермогеном, а Охоня дошла-таки до своего. Пришла она раз своим обычаем к судной избе, припала к оконцу, а солдаты накинулись отгонять ее.

— Убирайся, девка, откуда пришла! — кричал на нее сердитый капрал.

— Я не девка, а отецкая дочь, — бойко отвечала Охоня.

— Сказывай, а все-таки убирайся подобру-поздорову... Воевода придет, так наотвечаешься за тебя, а вся-то твоя девичья цена: наплевать. Проваливай, говорят...

— Не пойду!.. Не трожь, говорят!

Сначала солдаты старались оттолкнуть Охоню вежливоенько, кто плечом, кто кулаком, но она остервенилась и накинулась на солдат, как волчица.

— Креста на вас нет, скобленные рыла!.. — кричала Охоня, цепляясь за солдатскую амуницию. — Девка им помешала... Стыда у вас в глазах нет!..

Слово за слово, и кончилось дело рукопашной. Проворная и могучая была дьячковская дочь и надавала команде таких затрепчин, что на нее бросился сам капрал. Что тут произошло, трудно сказать, но у Охони в руках очутилась какая-то палка, и, прислонившись к стене, девушка очень ловко защищалась ею от наступавшего врага. Во время свалки у Охони свалился платок с головы, и темные волосы лезли на глаза.

— Не давайся, Охоня, вшивой команде! — послышался из подземелья знакомый молодой голос. — Катай их по бритым-то рылам!

В самый критический момент, когда Охоня уже ослабевала, к судной избе подъехал верхом на гнедом иноходце сам воевода Полуект Степаных.

— Стой, команда! — зычно крикнул он на солдат. — Что за драка?

— Вот девка увязалась, — жаловался капрал. — Никак не могли ее отогнать от избы.

— Не девка, а отецкая дочь! — с гордостью ответила Охоня.

Воевода Чушкин, старик с седою коренною бородкой, длинным носом и изрытым оспой «шадривым» лицом, держался в седле еще молодцом. Он оглядел Охоню с ног до головы и только покачал головой. Смущенная стража сбилась в одну кучу, как покрытые решетом молодые петухи.

Воспользовавшись воеводским раздумьем, Охоня кубарем бросилась начальству в ноги, так что шарахнулся в сторону иноходец, а затем уцепилась за воеводское стремя.

— Ущити, воевода, честную отецкую дочь! — кричала Охоня.— Твои солдаты безвинно опростоволосили и надругались над моею дивьей красотой... Смертным боем хотели убить.

— Постой, дура! — крикнул воевода, сдерживая шарашившуюся лошадь.— Откедова ты взялась-то, жар-птица?.. Чего тебе надобно?

— Батю отдай, воевода... моего батю... Безвинно он на цепь посажен. Мамушка слезами изошла... Дьячил батя в Служней слободе, а игумен Моисей по злобе его заковал.

Воевода грозно нахмурился, стараясь припомнить дьячка из Служней слободы. Мало ли у него народа по затворам сидит. Но какая-то неожиданная мысль осенила воеводское чело, и старик подозвал капрала.

— Выпустить колодников! — приказал он.— А ты, отецкая дочь, лошадь-то не пугай у меня! Дуры эти бабы, прямо сказать. Ну, чего голосишь-то? Надень платок, глупая...

Загремел тяжелый замок у судной тюрьмы, и узников вывели на свет божий. Они едва держались на ногах от истомы и долгого сиденья. Белоус и Аблай были прикованы к середине железного прута, а Брехун и Арефа по концам. Воевода посмотрел на колодников и покачал головой, — дескать, хороши голуби.

— Ну, отецкая дочь, выбирай любого, — сказал воевода.— Ни которого не жаль.

Конечно, Охоня бросилась к отцу и повисла на его шее со своими бабьими причитаньями, так что воевода опять нахмурился.

— Будет, не люблю, — сказал он и прибавил, обращаясь к капралу: — Раскуйте этого дурака-дьячка, а с игуменом я свой разговор буду иметь.

Арефа стоял и не мог произнести ни одного слова, точно все происходило во сне. Сначала его отковали от железного прута, а потом сняли наручни. Охоня догадалась и толкнула отца, чтобы падал воеводе в ноги. Арефа рухнул всем телом и припал головой к земле, так что его дьячковские косички поднялись хвостиками вверх, что вызвало смех выскочивших на крыльцо судейских писчиков.

— Кормилец, Полуехт Степаныч, безвинно от игумна претерпел,— заговорил Арефа, стучаясь лбом в землю.

— Ну, ладно, потом разберем,— ответил воевода.— Кабы не вырастил такую острую дочь, так отведать бы тебе у Кильмяка лапши... А ты, отецкая дочь, уводи отца, пока игумен не нагнал, в город.

Охоня, как птица, подлетела к воеводе и со слезами целовала его волосатую руку. Она отскочила, когда позади грянула цепь,— это Белоус схватил железный прут и хотел броситься с ним на воеводу или Охоню,— трудно было разобрать. Солдаты вовремя схватили его и удержали.

— Гей, приковать его за шею отдельно от других! — скомандовал воевода.

— Спасибо на добром слове,— поблагодарил Белоус, делая отчаянную попытку вырваться из вцепившихся в него дюжих рук.— А ты, отецкая дочь, помни Белоуса.

Эти слова заставили Охоню задрожать — не боялась она ни солдат, ни воеводы, а тут испугалась. Белоус так страшно посмотрел на нее, а сам смеется. Его сейчас же увели куда-то в другое подземелье, где приковал его к стене сам Кильмяк, пользовавшийся у воеводы безграничным доверием. На железном пруте остались башкир Аблай да слепец Брехун, которых и увели на старое место. Когда их подводили к двери, Брехун повернул свое неподвижное лицо и сказал воеводе:

— Не в пору ты разлакомился, Полуехт Степаныч... Дерево не по себе выбираешь, а большая кость у волка поперек горла встает.

Арефе сделалось даже совестно, когда низенькая деревянная дверь, обитая толстыми железными полосами, точно проглотила его недавних товарищей по сиденью в «узилице». Сам он через девку вышел на волю и читал немой укор своей мужской гордости на окружающих лицах.

Воевода подождал, пока расковали Арефу, а потом отправился в судную избу. Охоня повела отца на монастырское подворье, благо там игумена не было, хотя его и ждали с часу на час. За ними шла толпа народу, точно за невиданными зверями: все бежали посмотреть на девку, которая отца из тюрьмы выкупила. Поровнявшись с соборною церковью, стоявшею на базаре, Арефа в первый раз вздохнул свободнее и начал усердно молиться за счастливое избавление от смертной напасти.

— Охонюшка, милая, не ты меня выкупила своими

слезами,— сказал он дочери,— а бысть мне в нощи пре-
щение... Видел я преподобного Прокопия и слезно плакал-
ся: его молитвами умягчилось воеводное сердце.

— Скорее бы только из городу выбраться, батя,— го-
ворила Охоня,— а там уж все вместе помолитвуем препо-
добному.

— Ох, и то бы скорее!..

Арефа шел с трудом: и ноги, избитые кандалами, бо-
лели, да и сам он шатался от слабости. Когда купцы уви-
дали выпущенного на волю колодника, то надавали ему
медных денег. Арефа даже прослезился от сыпавшейся на
него благодати.

Город Усторожье был не велик: дворов на шестьсот.
Постройки все деревянные, как воеводский двор и старая
церковь. Каменное здание было одно — новый собор, вы-
строенный тицанием, а отчасти иждивением воеводы Чуш-
кина. Все это деревянное строение было обнесено земляным
валом, а на валу шел тын из бревен, деревянные рогатки
и «надолбы». По углам, где сходились выси, поднимались
срубленные в паз деревянные башни-бойницы. Трое во-
рот вели из города: одни — на полдень, другие — на се-
вер, а третьи — прямо в орду, то есть в сторону степи.
Усторожье вырос из небольшого пограничного острожка, в
котором казаки отсиживались и от башкир, и от киргизов,
и от калмыков. Боевое местечко выдалось, и в случае «за-
ворохи» сюда сбегались поселщики из всех окрестных
деревень, поселков и займищ, пока не улегалась гроза.

Монастырское подворье было сейчас за собором, где
шла узкая Набежная улица. Одноэтажное деревянное зда-
ние со всякими хозяйственными пристройками и большими
хлебными амбарами было выстроено еще игуменом Поли-
карпом. Монастырь бойко торговал здесь своим хлебом,
овсом, сеном и разными припасами. С введением духовных
штатов подворье точно замерло, и громадные амбары стоя-
ли пустыми.

— Жаль, што поп-то Мирон уехал,— жалел Арефа,
присаживаясь на скамеечку у ворот подворья перевести
дух.— Довез бы он нас по пути.

— И пешком дойдем, батя, только бы из города поско-
рее вырваться,— говорила Охоня, занятая одною мы-
слью.— То-то мамушка обрадуется...

В подворье сейчас никого не было, кроме старца Спи-
ридона, проживавшего здесь на покое, да нескольких ам-

барных мужиков из своей монастырской вотчины. Арефу встретили, как выходца с того света, а дряхлый Спиридон даже прослезился.

— Мертв был, а теперь ожил,— шептал старик и качал своею седою головой, когда Охоня рассказывала ему, как все случилось.— На счастливого все, Охоня. Вот пошто Мирон обрадуется, когда увидит Арефу... Малое дело не дождался он: повременить бы всего два дни. Ну, да тридцать верст¹ до монастыря — не дальняя дорога. В двой сутки обернетесь домой.

Первым делом, конечно, была истоплена монастырская баня,— Арефа едва дождался этого счастья. Узникам всего тяжелее доставалось именно это лишение. Изъеденные кандалами ноги ему перевязала Охоня,— она умела ходить за больными, чему научилась у матери. В пограничных деревнях, на которые делались постоянные нападения со стороны степи, женщины умели унимать кровь, делать перевязки и вообще «отхаживать сколотых».

— Зело оскорбел во узилице, доченька,— жаловался Арефа.— Сидел на гноище, как Иов многострадальный...

Забравшись в бане на полок, Арефа блаженствовал часа два, пока монастырские мужики нещадно парили его свежими вениками. Несколько раз он выскакивал на двор, обливался студеною колодезною водой и опять лез в баню, пока не ослабел до того, что его принесли в жилую избу на подрыснике. Арефа несколько времени ничего не понимал и даже не сознавал, где он и что с ним делается, а только тяжело дышал, как загнанная лошадь. Охоня опять растирала ему руки и ноги каким-то составом и несколько раз принималась плакать.

— Перестань, дура,— проговорил очнувшийся Арефа.— Исхитил преподобный Прокопий из львиных челюстей невреждена, а вперед — бог. Сподобился и в бане париться.

После бани старец Спиридон преподнес Арефе монастырского травника, который на подворье не переводился, и недавний узник даже крикнул от удовольствия. Но не успел он поднести чарку ко рту, как в дверях появились два солдата с воеводского двора.

— Где здесь дьячок Арефа? — спрашивал старший.

¹ В старину версты считались в тысячу сажен. (Примеч. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)

— Нету его,— уехал домой! — ответила за отца Охоня.

— А нас прислал воевода за ним: надобен на воеводский двор немедля. Строгий наказ от самого воеводы. Погоню пошлет, ежели уехал.

Арефа перекрестился, выпил чару и отвечал:

— Здесь! Девка по глупости сболтнула, што уехал. Вот уж оболокось и предстану воеводе.

— Ты поскорее, дьячок: воевода не любит ждать.

У Охони даже сердце упало, когда она увидала воеводских «приставов»: надо было сейчас же бежать из города, а теперь воевода опомнился и опять посадит бату в темницу. Она помогала отцу одеваться, а сама была ни жива ни мертва, даже зубы чокали, точно в трясовице.

— Батя, не ходи: расказнит тебя воевода,— шепнула она отцу.— А то лучше я с тобой сама пойду.

Освеженный баней, Арефа совсем расхрабрился и даже цыкнул на дочь, зачем суется не в свое дело. Главное, не было в городе игумена Моисея, а Полуект Степаныч помилует, ежели подвернуться в добрый час.

Бедная Охоня опять горько плакала, когда пристава повели отца на воеводский двор.

III

Воевода Полуект Степаныч, проводив дьячка Арефу, отправился в судную избу производить суд и расправу, но сегодня дело у него совсем не клеилось. И жарко было в избе, и дух тяжелый. Старик обругал ни за что любимого писчика Терешку и вообще был не в духе. Зачем он в самом-то деле выпустил Арефу? Нагонит игумен Моисей и поднимет свару, да еще пожалуется в Тобольск,— от него все станет.

— А девка — мак! — вслух проговорил воевода, когда Терешка подсунул ему какую-то бумагу.

— Мак-то мак, да не совсем,— ответил Терешка, один из всей приказной челяди осмеливавшийся разговаривать с воеводой.

— А што?

— Да так... Неспроста это дело вышло, Полуехт Степаныч: дьячок-то Арефа зазнамый волхит¹.

¹ Волхит — волшебник. (Примеч. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)

— Н-но-о?

— Да уж верно: и кровь умеет заговаривать, и траву всякую знает. Кого змея укусит, лошадь разнеможется, с глазу кому попритчится,— все к Арефе идут. Не прост человек, одним словом...

Это известие заставило воеводу задуматься. Дал он маху — девка обошла, а теперь Арефа будет ходить по городу да бахвалиться. Нет, нехорошо. Когда пришло время спуститься вниз, для допроса с пристрастием, воевода только махнул рукой и уехал домой. Он вспомнил пехорский сон, который видел ночью. Будто сидит он на берегу, а вода так и подступает; он бежать, а вода за ним. Вышибло из памяти этот сон, а то не видать бы Арефе свободы, как своих ушей.

Воеводский двор стоял тоже у базарной площади, как и монастырское подворье, только по другую сторону, где шли мелкие лавчонки с разным товаром. Одноэтажный деревянный дом со слюдяными оконцами и железной крышей тянулся сажен на десять и на улицу выходил пузатым раскрашенным крылечком. Внутренние покои были низки, но уютны. В одной половине воевода проживал сам, а в другой помещалась его воеводская канцелярия. Места в доме хватило бы еще на две семьи, благо Полуект Степаныч жил с женой Дарьей Никитишной сам-друг,— детей у них не было. Покои внутри были расписаны, а на полу везде лежали бухарские ковры, которые воевода получал в благодарность с менового двора и торговых застав. Всякого добра было достаточно у воеводы, кроме того, что детками господь не благословил. Это всего больше сокрушало воеводу, ездившую много раз в Прокопьевский монастырь, советовавшуюся со знахарями и бабами-ведуньями, а толку никакого. Брюзгая и толстая Дарья Никитишна горько плакалась на свою судьбу, а бабьи годы все уходили да уходили...

— Што воротился-то спозаранку? — встретила она мужа.

— Так,— коротко ответил воевода.— Не твоего бабьего ума дело.

Воевода выпил чарку любимого травника от сорока немощей, который ему присылали из монастыря, потом спросил домашнего меду,— ничто не помогало. Проклятый дячок не выходил из головы, хоть ты что делай. Уж не напустил ли он на него какой-нибудь порчи; а то и прямо сгла-

зил?.. Долго ли до греха? Вечером воеводе совсем стало невтерпеж, и он отправил за дьячком своих приставов.

«А девка гладкая,— думал воевода и отплевывался от нечестивой мысли, заползавшей в старую голову.— Как ее звать-то? А ловко она солдат орясиной шаршила... Одним словом, удалая девка».

В ожидании дьячка воевода сильно волновался и несколько раз подходил к слюдяному окну, чтобы посмотреть на площадь, не ведут ли пристава волхита. Когда он увидел приближающуюся процессию, то волнение достигло высшей степени. Арефа, войдя в воеводские покои, повалился воеводе прямо в ноги.

— Ну, вот што, несообразный человек,— заговорил воевода,— выпустить я тебя выпустил, а отвечать-то игумену кто будет?

— Безвинно я томился в узилище, Полуехт Степаныч,— взмолился Арефа, стоя на коленях.— Крестьяне бунтовали и хотели игумна убить, а я не причинен.. Служил я в своей слободе у попа Мирона и больше ничего не знаю. Весь тут, Полуехт Степаныч, дома нисколько не осталось.

— Хорошо, хорошо... Там после увидим, а что ты теперь-то думаешь делать?

— А в Служную слободу домой проберусь. Моя дьячиха, слышь, без утыху ревет.

— Ах, глупая голова!.. Ну, придешь ты к себе в слободу, а игумен опять тебя закует в железо и привезет ко мне... Это как?.. Тогда уже пеняй на себя, а во второй раз я не буду тебя выпускать... Дьячиха-то твоя тогда не так заревет.

— Смилуйся, Полуехт Степаныч, житья мне не стало от игумна... Безвинно он лютует.

— Ну, это ваше дело, а я не судья монастырские дела разбирать. Без того мне хлопот с вашим монастырем выше усов... А я тебе вот что скажу, Арефа: отдохнешь денек-другой на подворье, да подобру-поздорову и отправляйся на Баламутские заводы... Прямо к Гарусову приедешь и скажешь, што я тебя прислал, а я с ним сошлюсь при случае...

— А как же дьячиха-то, Полуехт Степаныч?

— Увидишь и дьячиху по пути, когда поедешь мимо монастыря. Только проезжай ночью, штобы на глаза игумену не попасть. Тебе же добра желаю, дураку...

Это предложение совсем обескуражило Арефу, и он никак не мог взять в толк, что он будет делать на заводах у Гарусова. Совсем не по его духовной части, да и расстаться с Служнею слободой тяжко. Ох, как тяжко, до смертыньки!

— Ну, один разговор кончили, а теперь заведем другую речь,— заговорил воевода ласково и даже потрепал Арефу по плечу.— Вот што, милый друг, сказывал мне один человек, што ты зазнамый волхит: и кровь заговариваешь, и с порченными людьми отваживаешься.

— Поклепали напрасно, Полуехт Степаныч. Куда мне при моей худости этакими неподобными делами заниматься?

— На виноватого с поклепом? — засмеялся воевода.— Не бойся, не выдам никому, а дельце есть у меня к тебе, и не маленькое...

Старик огляделся, припер дверь на всякий случай и, усадив дьячка на скамью, проговорил тихим голосом:

— Два у меня дела к тебе, Арефа... Озолочу, коли потрафишь, а не потрафишь — не взыщи. Первое дело, не наградил меня господь детками, а моя воеводша уж в годках и совсем жиром заплыла.

— Слыхивал, Полуехт Степаныч, только мудреное дело... У меня так же с дьячихой было, пока ее в полон не угнали.

— Дурак... Што же мне свою жену, по-твоему, в полон тоже отдать? Прямой ты дурак, дьячок.

— Обмолвился, Полуехт Степаныч... Есть хорошее средство от нешлудия: изловить живого воробья, вынуть из него сердце, сжечь и пеплом поить воеводшу по три утренних зари, а самому медвежью желчью намазаться. Помогает, особливо ежели с молитвой... На всякое любовное дело способствует и от нешлудия разрешает.

— Чего-нибудь врешь, поди?

— Сейчас провалиться, не вру... А другое средство, Полуехт Степаныч, совсем уже секретное и даже неудобь-казуемое.

— Говори.

— Да ведь грешно и говорить-то!..

— Говори.

— Видишь ли какое дело, Полуехт Степаныч. В степи я слышал от одного кыргыза: у них ханы завсегда так-то

делают. Ты уж не сердитуй на меня за глупое слово. Ежели; напримерно, у хана нет детей, а главная ханша старая, так ему привозят молоденькую полоняночку, штоб он размолодилсЯ с ней. Разгорится у него сердце с молоденькой, и от старой жены плод будет.

— Послушай, Арефа, за такие твои слова тебя надо к Гильмяку отдать, — пошутил воевода и ухмыльнулся. — Ах ты, оборотень, што придумал!.. Только мне это средство не по моему чину и не по закону христиапскому, да и свою Дарью Никитишну не желаю обижать на старости лет. Ах, какое ты мне слово завернул, Арефа. Да ведь надо, штобы молодая-то полюбила старика!

— Ну, это не больно кручиновато дело, Полуехт Степаныч. Самому можно помолодеть, коли понадобится. И нет того проще... Закажи белый плат, чтобы его выткала безвинная девица, да тем платом по семь зорь снимай с ипшеничного колоса росу и мажь ей лицо, а то и обяжи этим платом. Которое 'лицо рябое или угриновато, все сгонит росой-то...

— Верно говоришь?

— Уж так верно, што вернее не бывает.

Воевода совсем развеселился и даже подал дьячку из собственных рук чарку заветного монастырского травника.

— Из нашей обители травничок, — заметил Арефа, пропустив чарку. — Лучше его нигде не сыщешь.

За хороший совет воевода наградил дьячка еще деньгами и отпустил домой, повторив свой наказ поскорей убираться из города. В последнем случае хитрый старик хлопотал не столько о дьячке, сколько о самом себе: выпустил он дьячка, а того гляди, игумен нагонит.

Воеводе Полуекту Степанычу уже надоело возиться с разборкой монастырской «дубинщины», тем более что бунтовавшие крестьяне уже отписаны были от монастыря по новым духовным штатам. Из разборки ясно выступало одно, что кругом был виноват перестроживший игумен Моисей, утеснявший своих монастырских крестьян непосильными работами и наказывавший их нещадно за малейшую провинность. Целых два года тянулась разборка, и Полуект Степаныч наконец устал. Конечно, и крестьяншки были тоже виноваты, зачем поднялись «с уязвительным оружием» на игумена и чуть не порушили самый монастырь. И как ведь поднялись: тысячи три народу сбилось. Озверели вконец, полезли к монастырским стенам, а

игумен их кипятком со стен варил, горячею смолою обливал, из пищалей палил и смертным боем бил. Хорошо, что вовремя дошла весть о монастырской «заворухе» в Усторожье, и монастырь выручили рейтары, проживавшие на винтер-квартирах, да драгунский полк, подоспевший из Тобольска. Как ударила эта воинская сила, так дубинщина и разбежалась по своим углам.

— Суди бог игумена,— часто повторял Полуект Степаныч, производя расправу над крестьянами.— Не нам, грешным, судить его высокий сан.

Целыми толпами приводили в Усторожье замешанных в дубинщине крестьян, и воевода творил нещадный суд. А игумен разгорелся яростью и присылал все новых виновников, которых разыскивал по бывшим монастырским деревням. Опалился на них игумен больше всего за то, что вскоре за дубинщиной введены были духовные штаты, и крестьяне объясняли, что это они своей дубинщиной доняли монастырь. Игумен хватал без разбору каждого, на кого только доносили. К таким случайным бунтарям принадлежал и дьячок Арефа, вины которого воеводский сыск не мог найти, несмотря ни на какое пристрастие. И слепец Брехун тоже,— он попал за какие-то «поносные речи» на игумена. Вот беломестный казак Белоус — другое дело: этот кругом виноват... Он подводил толпы дубинщиков к монастырским воротам и похвалялся разнести весь монастырь по кирпичику. Попался Белоус в руки воеводы одним из последних, потому что после дубинщины больше года скрывался где-то па Яике, по казачьим уметам.

— Арефу выпустил, а с Белоусом разделаюсь,— утешал себя воевода.

IV

Из Усторожья под вечер выезжала простая крестьянская телега, в которой ехал Арефа с дочерью Охоней по монастырской дороге. Лошадь и телегу они должны были сдать в монастырь.

— Пронесло тучу мброком, а все преподобный Прокопий, о Христе юродивый,— повторял дьячок вслух и крестился.— Легкое место сказать, высидел в узилище цельную зиму, а теперь отрыгнут на волю, яко от кита Иона.

Охоня правила лошадью и больше молчала. Она часто оглядывалась, точно боялась за собой погони. Да и было

чего бояться: у нее с ума не шел казак Белоус, который пригрозил ей у судной избы: «А ты, отецкая дочь, попомни Белоуса!» Даже во сне грезился Охоне этот лихой человек, как его вывели тогда из тюрьмы: весь в лохмотьях, через которые видно было покрытое багровыми рубцами и не зажившими свежими ранами тело, а лицо такое молодое да сердитое. Когда Белоус бросился на воеводу, Охоня закрыла лицо руками и покорно ждала, как он ударит ее железным прутом, ей так и казалось, что сейчас смерть. Не теперь, так потом убьет, коли пообещал... Ухаживая на монастырском подворье за отцом, Охоня все время думала о Белоусе и вздрагивала от малейшего шороха. И теперь дорогой она все боялась, хотя не говорила отцу ни слова.

Дорога в монастырь наполовину шла лесом. Ехать ночью, пожалуй, было и опасно, если бы не гнала крайняя нужда. Арефа поглядывал все время по сторонам и говорил несколько раз:

— Ну, чего с нас взять, Охоня, ежели разбойные люди повернутся?

— Ничего у нас нет, батя,— соглашалась Охоня.— Поп Мирон вон не боится... А на него грозились, потому как он с собой деньги возит.

— Попа-то Мирона не скоро возьмешь,— смеялся Арефа.— Он сам кого бы ни освежевал. Вон какой он проворнящий поп... Как-то по зиме он вез на своей кобыле бревно из монастырского лесу, ну, кобыла и завязла в снегу, а поп Мирон вместе с бревном ее выволок. Этакого-то зверя не скоро возьмешь. Да и Герасим с ним тоже охулки на руку не положит, даром што иноческий чин хочет принять. Два медведя, одним словом.

Ночь застала путников на полдороге, где кончался лес и начинались отобранные от монастыря угодья. Арефа вздохнул свободнее: все же не так жутко в чистом поле, где больше орда баловалась. Теперь орда отогнана с линии далеко, и уже года два, как о ней не было ни слуху ни духу. Обрадовался Арефа, да только рано: не успела телега отъехать и пяти верст, как у речки выскочили четверо и остановили ее.

— Стой!.. Кто жив человек едет?

Двое ухватили лошадь, а двое приступили к телеге.

— Обознались, други милые,— ответил Арефа.— Поймали, да не ту птицу... Дьячок Арефа из затвору едет, а взять с него нечего, окромя язв и ран.

— Ах ты, дурень старый! — ругались разбойные люди. — А мы думали, кто другой.

— Ступайте к попу Мирону, у него денег много, — посоветовал ехидно Арефа. — Будет пожива... Пожалуй, вот девку мою возьмите, надоело мне ее кормить.

— Не до девок нам, дурья голова!

Разбойные люди расспросили дьячка про розыск, который вел в Усторожье воевода Полуект Степаныч, и обрадовались, когда Арефа сказал, что сидел вместе с Белоусом и Брехуном. Арефа подробно рассказал все, что сам знал, и разбойные люди отпустили его. Правда, один мужик приглядывался к Охоне и даже брал ее за руку, но его оттащили: не такое было время, чтобы возиться с бабами. Охоня сидела ни жива ни мертва, — очень уж она испугалась. Когда телега отъехала, Арефа захохотал.

— Вот дураки-то! — говорил он. — Они за лошадь, а я преподобному Прокопию молитву творю... Прямо дураки!.. Где же им супротив нашего заступника устоять, Охонюшка?

Все-таки благодаря разбойным людям монастырской лошади досталось порядочно. Арефа то и дело погонял ее, пока не доехал до реки Яровой, которую нужно было переезжать вброд. Она здесь разливалась в низких и топких берегах, и место переправы носило старинное название «Калмыцкий брод», потому что здесь переправлялась с испокон веку всякая степная орда. От Яровой до монастыря было рукой подать, всего верст с шесть. Монастырь забелел уже на свету, и Арефа набожно перекрестился.

— Привел господь мне, недостойному, узреть святую обитель, — проговорил он и даже прослезился.

Начались пашни, а в сторону Яровой ушли зеленою полосой монастырские поемные луга, на которых случилось работать и Арефе, когда он состоял в обители на смирении. И хороши места — скатерть-скатертью! И Яровая-то как разливается... Арефа глядел по сторонам и не мог налюбоваться. Под самым монастырем река была сдавлена каменистой грядой. Правый берег поднимался высокой кручей, на которой красовался густой сосновый бор. Левый берег широким языком вдавался в реку, и на этом откосе рассыпала свои деревянные избышки Служняя слобода с бревенчатою церковкой посредине. Монастырь стоял ниже, на самом берегу, и далеко белел своими зубчатыми каменными стенами, сложенными еще игуменом Поликар-

пом. Арефа на околице вылез из телеги и велел Охоне ехать одной.

— А ты куда, батя?

— Поезжай, дура...

Когда телега с Охоней скрылась, Арефа пал на землю и долго молился на святую обитель, о которой день и ночь думал, сидя в своем затворе. Самое удобное место, и не будь дьячихи, Арефа давно бы постригся в монахи, как Герасим. Да и не стоило на миру жить. Отдохнуть хотел Арефа и успокоить свою грешную душу. Будет, до златоря черпнул он мирской суеты, и пора о душе позаботиться. Всегда Арефа завидовал нескверному иноческому житию, и сама дьячиха уже не один раз говорила ему, что пора за божье дело приниматься, а о мирском позабыть.

Домой Арефа пошел задáми, чтобы кто-нибудь на Служней его не узнал и не донес игумену Моисею. Он шел берегом Яровой и несколько раз перелезал через прясла огородов, выходявших прямо к реке. Вверх по реке, сейчас за Служней слободой, точно присела к земле своею ветхой деревянною стеною Дивья обитель,— там вся постройка была деревянная, и давно надо было обновить ее, да грозный игумен Моисей не давал старицам ни одного бревна и еще обещал совсем снести эту обитель, потому что не подобало ей торчать на глазах у Прокопьевского монастыря: и монахам соблазн, да и мирские люди напрасные речи говорили. Только была одна причина, которая делала игумена Моисея бессильным: в Дивьей обители сидела в затворе вот уже двадцать лет присланная из Петербурга неизвестная «болярыня». Кто она такая, знал один игумен Моисей. Когда умерла императрица Елизавета, игумен думал, что болярыню выпустят, но наступил Петр III, потом Екатерина II, а болярыня все сидела и сидела: ее забыли там, в Петербурге. Так Дивья обитель и держалась своею именитою узницей.

Дьячковская избушка стояла недалеко от церкви, и Арефа прошел к ней огородом. Осенью прошлого года схватил его игумен Моисей, и с тех пор Арефа не бывал дома. Без него дьячиха управлялась одна, и все у ней было в порядке: капуста, горох, репа. С Охоней она и гряды копала, и в поле управлялась. Первым встретил дьячка верный пес Орешко: он сначала залаял на хозяина, а потом завизжал и бросился лизать хозяйские руки. На его визг выскочила дьячиха и по обычаю повалилась мужу в ноги.

— Родимый ты мой, Арефа Кузьмич! — причитала она истошным голосом, обнимая мужа за ноги.— И не думала я тебя в живых видеть, солнышко ты мое красное!..

— Тише, баба!..— окликнул Арефа жену.— Чему обрадела-то?

Дьячиха Домна Степановна была высокая, здоровенная женщина, широкая в кости и с таким рябым лицом, про которое все соседи говорили, что по ночам на нем черт горох молотил. Некрасива была дьячиха, но зато могла воротить весь дом да еще успевала обругать всю свою улицу. На прокопьевской ярмарке она торговала квасом и калачами, а по зимам сама ездила за дровами. Одним словом, клад — не баба, если б не побывала в полоне у орды. Чуть что, свои бабы и начнут корить богоданною дочкой Охоней, которую дьячиха из орды принесла. Охоня часто плакала, когда ребята на улице ей проходу не давали: и раскосая, и черная, и киргизская кость. Матери подучат, а ребяташки выкрикивают.

Вошел Арефа в свою избушку и долго молился образу Прокония, который стоял в переднем углу, а потом уже поздоровался с женой.

— Ну, здравствуй, Домна Степановна... Каково живешь-можешь?

— Ох, и не спрашивай, Арефа Кузьмич! — всплакнула дьячиха.— И свету божьего без тебя не видала... Глазыньки все проплакала.

Лошадь Арефа отправил к попу Мирону с Охоней да заказал сказать, что она приехала одна, а он остался в Усторожье. Не ровен час, развяжет поп Мирон язык не ко времени. Оставшись с женой, Арефа рассказал, как освободила его Охоня, как призывал его к себе воевода Полуект Степаныч и как велел, нимало не медля, уезжать на Баламутские заводы к Гарусову.

— Опять ты сиротой останешься, Домна Степановна,— проговорил он ласково, жалея жену.— Сколь времени, а поживу у Гарусова, пока игумен утишится... Не то горько мне, што в ссылку еду и тебя одну опять оставлю, а то горько, што на заводах все двоеданы¹ живут. Да и сам Гарусов двоеданит и ихнюю руку держит... Тошно и подумать-то, Домна Степановна.

¹ Двоеданами называли при Петре I раскольников, потому что они были обложены двойной податью. (Примеч. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)

Запричитала и завyla дьячиха пуще прежнего, пока муж не цыкнул на нее. Потом он осмотрел хозяйским глазом всю свою домашнюю худобу и за все похвалил дьячиху: все в порядке и на своем месте, любому мужику впору.

— День-то проболтаюсь у тебя, а в ночь выеду на заводы,— сказал Арефа, когда слышались шаги Охони.— Смотри, никому ни гугу...

Так целый день и просидел Арефа в своей избушке, поглядывая на улицу из-за косячка. Очень уж тошно было, что не мог он сходить в монастырь помолиться. Как раз на игумена наткнешься, так опять сцапает и своим судом рассудит. К вечеру Арефа собрался в путь. Дьячиха приготовила ему котомку, сел он на собственную чалую кобылу и, когда стемнело, выехал огородами на заводскую дорогу. До Баламутских заводов считали полтора ста верст, и все время надо было ехать берегом Яровой.

За околицей Арефа остановился и долго смотрел на белые стены Прокопьевского монастыря, на его высокую каменную колокольню и ряды низких монастырских построек. Его опять охватило такое горе, что лучше бы, кажется, утопиться в Яровой, чем ехать к двоюдамам. Служная слобода вся спала, и только в Дивьей обители слабо мигал одинокий огонек, день и ночь горевший в келье безымянной затворницы.

— Двум смертям не бывать, а одной не миновать,— решил Арефа, понукая свою чалую кобылу.

Прокопьевский монастырь был основан в конце XVII столетия пустынножителем Саввой, в иночестве Савватием, когда кругом жила еще «орда» «обонпол Яровой». Около Савватия собрались благоуветливые старцы, искавшие спасения «в отишии» дремучих лесов по Яровой. Так возникла новая обитель, «яже в сибирстей стране», а потом она переименовалась в общежительный монастырь. Инок Савватий по происхождению был не чужим для орды, потому что его мать была татарка. Казаки в большинстве случаев женились на татарках, о чем сибирский летописец повествует так: «Поколение в казацком сословии первоначально пошло от крови татарок, которые, быв обласканы смелыми пришельцами, взошли на ложе их, впоследствии законное, по подобию сабиняпок, и с чертами кавказского отродья не обезобразили мужественного потомства». Это обстоятельство много помогло Савватию удержаться в незнакомой стране, принадлежавшей кочев-

никам. На новую обитель делались частые нападения, и благоуветливые иноки отсиживались за деревянными стенами с разным «уязвительным оружием» в руках. Решительный момент для обители наступил, когда в степь был выдвинут новый городок Усторожье. Русская колонизация сразу двинулась вперед, и лихие времена для обители миновали навсегда. Если и приходилось ей терпеть напасти от орды, то помощь теперь была под рукой: воинские люди приходили из Усторожья и выручали обитель. Главное богатство Прокопьевского монастыря заключалось в земельных угодьях, захваченных еще до основания Усторожья. Лес, пашенные места, сенокосы, рыбные ловли, бортные ухажья и хмельники — всего было вволю, и монастырь быстро вырос и украсился на славу. Вклады благочестивых людей в монастырскую казну усилили это богатство, а несколько тысяч крестьян, осевших на монастырской земле, представляли собой даровую рабочую силу. Так было до введения духовных штатов, когда за монастырем не осталось и десятой части его земельных богатств, а крестьяне монастырских вотчин перечислены были на государя. Дубинщина являлась последним ударом. Игумен Моисей попал в разгар монастырского лихолетья, и это окончательно его ожесточило.

Одним словом, наступало новое время и новые порядки, и тот же игумен Моисей предпочел бы стародавние времена, когда приходилось выстаивать обители перед ордой одними своими силами, минуя всякую воинскую помощь.

V

После отъезда дьячка Арефы из Усторожья воевода Полукет Степаныч ходил как в воду опущенный. Всякое дело у него из рук валялось, и он точно забыл про судную избу, где заканчивалось дело по разборке монастырской «заворохи». Ходит воевода по своим покоям и тяжело вздыхает. А по ночам сна решил. Воеводша Дарья Никитишна заметила, что с мужем что-то попритчилось, но ни к чему не могла приложить своего бабьего ума. Она и наговорную соль клала воеводе под подушку, и мазала волчьим салом все пороги в доме, и даже с уголька спрыснула воеводу, когда он выходил из бани, — ничего не помогало. Дело рас-

крылось само собой, когда пришла к воеводше старуха, мать Терешки-писчика, и под великим секретом сообщила, что воевода испорчен волхитом, дьячком из Служней монастырской слободы, который через свое волшебство и из тюрьмы выпущен на соблазн всему городу. Приплела старая баба и отецкую дочь Охоню, которая ульстила своими девичьими слезами воеводино сердце.

Вскипело сердце у старой воеводши от неслыханного позора, и поднялась она настоящей медведицей.

— Ужо расскажу все игумну Моисею! — грозила она мужу. — Не буду я, ежели не скажу... Где это показано, штобы живых людей изводить?

— Перестань, старая дура! — огрызнулся воевода. — Истинно сказано, што долог волос у бабы, а ум короче воробьиного носу...

— А на девок зачем заглядываешься, несытые глаза?.. Все я знаю... Все... и все игумну Моисею расскажу, как на духу.

Не взлюбились такие поносные слова Полуекту Степанчу, снял он со стены киргизскую нагайку и поучил свою старую воеводшу, чтобы хоть чем-нибудь унять проклятый бабий язык.

— Не ты меня бьешь, Полуехт Степаныч, а дьячковский заговор! — вопила воеводша.

— А вот тебе и за дьячковский заговор прибавка! — орал воевода, работая тяжелой нагайкой. — Будешь еще поносные слова выговаривать?

Давно не бивал жены Полуект Степаныч, пожалуй, все лет пятнадцать, и стало ему совестно, когда воеводша слегла в постель от его науки... Не гожее это дело, когда старики дерутся, а вот попутал враг. Чтобы сорвать сердце, отправился воевода в судную избу, сел за свой стол и велел вывести на допрос беломестного казака Тимошку Белоуса. Загремели замки, заскрипели проржавевшие железные петли у дверей, вошли сторожа в яму к Тимошке, а его и след простыл. Когда он ушел и как ушел — все осталось неизвестным. Наказали плетью сторожей да солдат, прокарауливших самого главного преступника, а Полуект Степаныч совсем опустил голову. Все неспроста делалось кругом.

Окончательно заскучал усторожский воевода и заперся у себя в горнице. Поняла и воеводша, что неладно повела дело с самого начала: надо было без разговоров увести вое-

воду в Прокопьевский монастырь да там и отмолить его от напущенных волхитом поганных чар. Теперь она подходила к воеводской горнице, стучалась в дверь и говорила:

— Голубчик, Полуехт Степаныч, поедем в монастырь, помолимся угоднику Прокопию. Не гожее это дело грешить нам с тобой на старости лет... Я на тебя сердца не имею, хотя и обидел ты меня напрасно.

— А игумну Моисею не будешь жалиться?

— Сказала, не буду. Только поедем...

— Што же, поедем... В монастырь так в монастырь, а у игумна Моисея зело добрый травник.

Воеводше только это и нужно было. Склалась она в дорогу живой рукой, чтобы воевода как не раздумал. Всю дорогу воевода молчал, и только когда их колымага подъезжала к Прокопьевскому монастырю, он проговорил:

— Испортил меня проклятый дьячок вконец.

Обыкновенно Полуехт Степаныч завертывал к попу Мирону, а потом уже пешком шел в монастырь, но на этот раз колымага остановилась прямо у монастырских ворот. Воеводша так рассчитала, чтобы попасть прямо к обедне. В старой зимней церкви как раз шла служба. Народу набралось-таки порядочно.

— Што это у вас, никак праздник? — спросила воеводша служку-вратаря.

— Нет, сегодня пострижение нашего служки Герасима.

Церковь была полна, но народ расступился перед воеводой. Он встал на свое место у правого клироса, а воеводша на свое у левого. Длинная монастырская служба только еще начиналась. Любил воевода эту монастырскую службу: по-настоящему правил игумен Моисей весь церковный устав и даже завел своих певчих. Сегодня и служба была особенная... Начал молиться Полуехт Степаныч,— и точно, ему сразу полегчало: гора с плеч. И воеводша тоже со слезами молится. Вот уже братия привела и ставленника, накрытого черным. Вышел игумен Моисей из алтаря, подали большие ножницы. Ставленник три раза сам подавал их игумену, и три раза игумен возвращал их, а в четвертый взял. Теперь только воевода заметил ставленника: такой рыжий, некрасивый да еще сутулый. Сам игумен был важный старик, с такими строгими голубыми глазами. Когда он занес ножницы пад головой ставленника, в толпе раздался женский крик, от которого вздрогнула вся церковь.

Воевода оглянулся, точно ударили его ножом в сердце: в трех шагах от него выделилось из всех лиц искаженное отчаянием молодое женское лицо. Это была она, Охоня. Ее подхватили под руки и увели из церкви, а Полуект Степаныч стоял ни жив ни мертв, точно туманом его обдало. Страшно ему вдруг сделалось за свою грешную душу, за смелость, с какой он вошел в святой божий храм, за свое грешное бессилие, точно постригали его, а не безвестного служку Герасима. Он не помнил, как вышел из церкви и как очутился в келье у игумена.

— Грех, грех... — шептал Полуект Степаныч, глотая слезы. — Грешный я человек... душу свою погубил...

Так сидел усторожский воевода в игуменской келье и горько плакал. Он ждал только одного, чтобы поскорее пришел со службы сам игумен: все расскажет ему Полуект Степаныч, до последней ниточки. Пусть игумен епитимью паложит какую хочет, только бы снять с души грех. В растворенное окно кельи, выходявшее на монастырский двор, он видел, как пошел народ из церкви, как прошла его воеводша с Мироновой попадъей, как вышел из церкви и сам игумен Моисей, благословлявший народ. Вот он уже идет по двору, вот зашел в сени и поднимается по ступенькам. Дух занялся в груди у воеводы: вот сейчас распахнется дверь, и он кинется в ноги строгому игумену. Но дверь распахнулась, вошел игумен Моисей, а воевода не двинулся с места и не проронил ни одного слова.

— Что же ты, овца погибшая, благословением моим брезгуешь? — спросил игумен, останавливаясь посреди кельи. — Как ветром дунуло даве из церкви-то: легче пуху вылетел. Эх, Полуект Степаныч, Полуект Степаныч!..

Воевода опустил голову и не смел дохнуть. Грозный игумен нахмурился и, подойдя совсем близко, проговорил:

— Зачем против моей воли идешь, Полуект Степаныч, а? Кто дьячка Арефу выпустил? Кто Тимошку Белоуса выпустил?

— Ну, уж про Тимошку-то ты врешь, игумен, — ответил воевода, приходя в себя. — Дьячка я выпустил, мой грех, а Тимошка сам ушел...

— Тебе же хуже, воевода... У меня бы небойсь не ушли.

Опомнившись, Полуект Степаныч земно поклонился игумену и принял от него благословение.

— Бог тебя благословит, Полуект Степаныч...

— Прости, святой отец. Грешен я перед тобой, яко пес смердящий... Но не таю своей вины и приехал покаяться.

— Вот все вы так-то: больно охочи каяться, чтобы грешить легче было. Знаю, с чем приехал-то...

Игуменская келья походила на все другие братские кельи, с тою разницей, что окна у нее были обрешечены железом и дверь была тоже обита железом. В келье стояли простые деревянные лавки, такой же стол и деревянная кровать: игумен спал на голых досках. Единственную роскошь составлял кпот в переднем углу с иконами в дорогих окладах. Узкое окно, пробитое в стене крепостной толщины, открывало вид на весь монастырский двор, так что игумен мог каждую минуту видеть, что делается у него на дворе. Пока игумен Моисей снимал свой клобук и мантию, Полуект Степаныч откровенно рассказал, как вышло дело с дьячком Арефой и как он ослабел окончательно.

— Это та самая девка, которая в церкви сегодня выкликала? — сурово спросил игумен.

— Она самая, святой отец.

— И тебе не стыдно, воевода? — загремел игумен Моисей, размахивая четками.— Што не глядишь-то на меня? Бесу послужил на старости лет... Свою честную седину острамил.

Игумен теперь оставался в одном подряснике из своей монастырской черной крашенины, препоясанный широким кожаным поясом, на котором висел большой ключ от железного сундука с монастырской казной. Игумен был среднего роста, но такой коренастый и крепкий.

— Мирской человек, отец святой... Согрешил окаянный...

— И своей воеводши Дарьи Никитишны не постыдился?.. Нескверное житие погубил навеки и другим пагубный пример оказал, яко козел смрадный. Простой человек увязнет в грехе — себя одного погубит, а ты другим дорогу показываешь, воевода...

Недавнее смирение вдруг соскочило с Полуекта Степаныча, когда игумен замахнулся на него своими четками.

— Да ты никак сдурел, игумен? Я к тебе с покаянием, как на духу, а ты лаешь... Какой я тебе козел?

— Ты у меня поговори! Замерю на поклонах... Ползать будешь за мной, Ахав нечестивый.

Это уже окончательно взорвало воеводу.

— Поп, молчи!.. Тебе говорю, молчи! Я свою вину лучше тебя знаю, а ты кто таков есть сам-то?.. Попомни-ка, как говяжьею костью попадью свою уходил, когда еще белым попом был? Думаешь, не знаем? Все знаем... Теперь монахов бьешь нещадно, крестьянишек своих монастырских изволокил на работе, а я за тебя расхлебывай кашу...

Воевода вскочил на ноги и наступал на игумена все ближе. Теперь он видел в нем простого черного попа. Игумен понял его настроение, надел мантию и клобук и проговорил:

— Так ты за этим ко мне приехал, смердящий пес?

Полуект Степаныч сразу опомнился, повалился в ноги игумену и, стучаясь головой о пол, заговорил:

— Прости, святой отец!.. Вконец меня испортил проклятый дьячок... Прости, игумен... Из ума выступил... осатанел...

— Ладно, прощу, коли смирение вынесешь,— ответил игумен, снимая клобук.— А смирение тебе будет монастырский двор подметать, чтобы другие глядели на тебя и казнились... Согласен?

Как ни умолял Полуект Степаныч, как ни ползал на коленях за игуменом, тот остался непреклонным.

— Любя наказую твою воеводскую гордость,— решил игумен.— Гордость свою смири...

— Да ведь стыдно будет перед всем народом с метлой-то выходить.

— А не стыдно было на девку заглядываться? Не стыдно было старую воеводшу увечить? Не я тебя наказую, а ты сам себя...

Полуект Степаныч сел на лавку и горько заплакал. Игумен тоже стихал и молча его наблюдал.

— Не могу ее забыть,— повторял воевода слабым голосом.— И днем и ночью стоит у меня перед глазами как живая... Руки на себя наложить, так в ту же пору.

— Ну, эту беду мы уладим, как ни на есть... Не печалуйся, Полуект Степаныч. Беда избывная... Вот с метелкой-то ходишь, так дурь-то соскочит живой рукой. А скверно то, што ты мирволил моим ворогам и супостатам... Все знаю, не отпирайся. Все знаю, как и Гарусов теперь радуется нашему монастырскому безвременью. Только раненько он обрадовался. Думает, захватил монастырские вотчины, так и крыто дело.

— Да ведь ваши-то духовные штаты не Гарусовым придуманы?

— Чужое место он захватил, вот што... И сам не обрадуется потом, да поздно будет. Да и ты помянешь мои слова, Полуект Степаныч... Ох, как еще помянешь-то!.. Жаль мне тебя, миленького...

— К чему ты эту речь гнешь, игумен?.. Невдомек мне как будто...

— А вот будешь с метелкой по нашему двору похаживать, так, может, и догадаешься. Ты ничего не слыхал, какие слухи пали с Яика?

— Казачишки опять чего-нибудь набунтовали?

— Не казачишками тут дело пахнет, Полуект Степаныч. Получил я опасное письмо, штобы на всякий случай обитель ущитить можно было от воровских людей. Как бы похуже своей монастырской дубинщины не вышло, я так мекаю... А ты сидишь у себя в Усторожье и сном дела не знаешь. До глухого еще вести не дошли.

— Приказу ниоткуда не получал, а мое дело тоже подневольное: по приказам должи́н поступать. Только мне все невдомек, игумен, каким рожном ты меня пугаешь?

Игумен огляделся, припер дверь кельи и тихо проговорил:

— На Яике объявился не прост человек, а именующий себя высокою персоной... По уметам казачишки уже толкуют везде об нем, а тут, гляди, и к нам недалеко. Мы-то первые под обух попадем... Ты вот распустил дубинщину, а те же монастырские мужики и подымутся опять. Вот попомни мое слово...

— А на што рейтарские и драгунские полки, владыка? Воинская опора велика... У тебя еще после дубинщины страх остался.

— Я за свой монастырь не опасаюсь: ко мне же придете в случае чего. Те же крестьяны прибегут, да и Гарусов тоже... У него на заводах большая тягота, и народ подымется, только кликни клич. Ох, не могу я говорить про Гарусова: радуется он нашим безвременьем. Ведь ничего у нас не осталось, как есть ничего...

— Везде новые порядки, владыка честной. Вот и наше городовое дело везде по-новому... Я-то последним воеводой досиживаю в Усторожье, а по другим городам ратманы да головы объявлены. Усторожье позабыли — вот и все мое воеводство. Не сегодня-завтра и с коня долей. Приказные

люди в силу входят, и везде немцы проявляются, особливо в воинском нашем деле... Поэтому и разборку твоей монастырской дубинщине с большой опаской делал. Сам, как сорока, на колу сижу... А што касася самозванца, так не беспокойся, я один его узлом завяжу. В орду хаживали, и то не боялись...

— Домашняя-то беда, Полуект Степаныч, всегда больше... Аще бес разделится на ся, погибнуть бесу тому.

— Ну, это по Писанию, а мы по-своему считаем беды-то.

Так сидели и рядили старики про разные дела. Служка тем временем подал скудную монастырскую трапезу: щи рыбные, пирог с рыбой, кашу и огурцы с медом.

— Вот последние крохи проедаем,— грустно заметил игумен, угощая воеводу.— Где-то у меня травник остался...

Воевода только вздохнул: горек показался ему теперь этот монастырский травник.

После обеда игумен Моисей повел гостя в свой монастырский сад, устроенный игуменскими руками. Раньше были одни березы, теперь пестрели цветники. Любил грозный игумен всякое произрастание, особенно «крин сельный». Для зимы была выстроена целая оранжерея, куда он уходил каждый день после обеда и работал.

VI

Из церкви воеводша прошла с попадъей Миронихой в Служную слободу, в поповский дом, где уже все было приготовлено к приему дорогой гостыи. Сам поп Мирон выскочил встречать ее за ворота.

— Как живешь-можешь, поп? — спрашивала воеводша.— Отгащивать к тебе приехала... Давно ли ты у нас был в Усторожье, а теперь мы с воеводой наклались в обитель съездить.

— Уж не взыщи на нашей худобе, матушка Дарья Никитишна! — плакался поп Мирон.— Чем тебя только и принимать будем: по-крестьянски живем...

— А мне до места, отдохнуть — вот и угощенье. А вечером уж с попадъей в Дивью обитель сходим... Давно я игуменью, мать Досифею, не видала.

Поповский дом был не велик. Своими руками строил его поп Мирон и выстроил переднюю избу спачала, а потом заднюю да наверху светелку. Главное, чтобы зимой

было тепло попадье да поповым ребяташкам. Могутный был человек поп Мирон: косая сажень в плечах, а голова, как пивной котел. Прост был и уветлив, если бы не слабость к зеленому вину.

Еще дорогой попадья Мирониха рассказала воеводше, отчего в церкви выкликнула Охоня,— совесть ее ущемила. Из-за нее пострится бывший пономарь Герасим... Сколько раз засылал он сватов к дьячку Арефе, и сама попадья ходила сватать Охоню, да только уперлась Охоня и не пошла за Герасима. Набаловалась девка, живучи у отца, и пикакого порядку не хочет знать. Не все ли равно: за кого ни выходить замуж, а надо выходить.

— Видела я ее даве в церкви-то,— задумчиво говорила воеводша, покачивая головой.— Ничего девка, только рожей калмыковата, в кого она у них уродилась такая раскосая?

Тут уже начались бабьи шепоты, а Мирониха выгнала своего попа из избы и даже дверь затворила на крюк. Все рассказала попадья, что только знала сама, а воеводша слушала и качала головой.

— Ишь какое зелье уродилось! — проговорила важная гостья, когда попадья рассказала про дьячихин полон.— То-то оно и заметно...

— А то мудреное дело, матушка Дарья Никитишна,— тараторила попадья, желавшая угодить воеводше,— што отец с матерью не надышатся на свою Охоньку... Другие бы стыдились, што приبلудная она, а они радуются. Эвон, легка на помине наша дьячиха!..

На поповский двор действительно прибежала сама дьячиха и так завыла и запричитала, что все из избы повыскакивали, а поп Мирон впереди всех.

— Што стряслось-то, говори толком? — спрашивал он валявшуюся в ногах дьячиху.

— Управы пришла искать на игумена! — вопила дьячиха, стоя на коленях.— К матушке-воеводше пришла... Дьячка моего Арефу сжил со свету игумен, а теперь и дочь отнял... Прямо из церкви уволокли Охонюшку в Дивью обитель и в затвор посадили, а какая ее вина — неведомо!.. Схватилась я, горькая, побежала в Дивью обитель, а меня и близко не пустили к Охоне: игумен не приказал... Ох, горькая я!.. И зачем только на свет родилась?... Одна только заступа осталась: матушка-воеводша... Слезно пришла плакаться на свою злосчастную судьбу.

Вышла на крылечко и сама воеводша Дарья Никитишна и поманила голосившую дьячиху в избу. Опять бабы заперлись там, и начались новые бабьи щепоты. Усадила воеводша дьячиху на лавку и стала выпрашивать, какая беда приключилась.

— Не печалуйся прежде поры-время,— проговорила она, когда дьячиха рассказала все.— Суров игумен Моисей, да сан на нем велик: не нам, грешным, судить его. А твою Охоню я сегодня же повидаю... Мне надо к матери Досифее побывать. Молитвенница наша... Ужо поговорю с ней.

— Матушка воеводша, заступись! — вопила дьячиха.— На тебя вся надежда... Извел нас игумен вконец, и всю монастырскую братию измором сморил, да белых попов шелепами наказывал у себя на конюшне. Лютует не по сану... А какая я мужняя жена без мово-то дьячка?.. Измаялась вся на работе, а тут еще Охоню в затвор игумен посадил...

Сжалилась воеводша над горюшей-дьячихой и подарила ей серебряный рубль.

— Ну, будет убиваться,— говорила попадья.— Вот расскажи лучше, как в полоне была в орде.

— Ох, помереть бы мне там,— плакала дьячиха.— У других баб грех-то с крещеными, а мой грех с ордой неумытой... Тьфу! Растерзали было меня совсем кыргызы до смерти. Стыдно и рассказывать-то... Дух от них, как от псов. Наругались они надо мной... Ох, стыдобушка головушке! Тоннехонько и вспоминать-то, матушка-воеводша. Арканом меня связывали, как лошадь,— свяжут и ругаются, а я им в морды плюю. А потом ночью и ушла из орды... Погоня гналась за мной две ночи, а я одвуконь бежала. Конечно, не своею бабьею немощью ослобонилась, а дьячковской молитвой: он умолил угодника Прокопия...

Воеводша слушала дьячиху и тихо смеялась: очень уж забавно о своем полоне дьячиха рассказывала.

— Ну, теперь ступай домой,— сказала она дьячихе,— а мы с попадьею в Дивью обитель сходим.

Дьячиха опять заголосила и повалилась в ноги матушке-воеводше, так что поп Мирон едва ее оттащил.

— Загостился мой воевода у игумена,— говорила воеводша, делая удивленное лицо.— И што бы ему столько время в монастыре делать? Ну, попадья, пойдём к матери Досифее.

Воеводша пошла пешком, благо до Дивьей обители было рукой подать. Служняя слобода была невелика, а там версты не будет. Попадья едва поспевала за гостьей, потому что задыхалась от жара,— толстая была попадья.

— И место у вас только угодливое! — любовалась воеводша на высокий красивый берег Яровой, под которым приютилась своими бревенчатыми избушками Дивья обитель.— Одна благодать... У нас, в Усторожье, гладко все, а здесь и река, и лес, и горы. Умольное место... Ох-хо-хо! Мужа похороню, так сама постригусь в Дивьей обители, попадья. Будет грешить-то...

— Нет лучше иноческого тихого жития,— соглашалась попадья со вздохом.— Суета мирская одолела да детишки, а то и я давно бы в обитель к матери Досифее ушла... Умольная жисть обительская.

Дивья обитель издали представляла собой настоящий деревянный городок, точно вросший от старости в землю. Срубленные в паз бревенчатые стены давно покосились, деревянные ворота затворялись с трудом, а внутри степ тянулись почерневшие от времени деревянные избы-кельки; деревянная ветхая церковь стояла в середине. Место под обитель было выбрано совсем в «отишии», осененное сосновым бором. Сестра-вратарь, узнавшая попадью Миропиху, пропустила гостей в обитель с низким поклоном.

— Дома мать Досифея? — спрашивала попадья.

— Дома... Куда ей деться-то? Все здоровьем скудается... Обезножела наша матушка.

Проходя монастырским двором, попадья показала глазами на отдельную избу, у которой ходил «профос» с ружьем,— это и был «затвор» таинственной узницы Фоины, содержавшейся под нарочитым военным караулом царских приставов. Сестра Фоина находилась в «неисходном содержании под прикрытием сержанта Сарычева».

— Жалются благоуветливые старицы на Фоину,— шепотом сообщала попадья.— Мирской мятеж проявляет и доходит до остервенения злобы. Игуменье Досифее постоянно встречные слова говорит, ссорится и супротивничает. Холопками сестер величает...

— Легко ли ей в затворе-то сидеть, голубке? — жалела воеводша, качая головой.— Сказывают, из знатных персон она, а тут в отишие попала... Тоже живой человек.

— Мать Досифея бьется-бьется с ней... Шелепами, слышь, наказывала как-то за непослушание.

— Ох, страсть какая! Статешное ли это дело?

Келья матери игуменья стояла вблизи церкви. Это была бревенчатая пятистенная изба со светелкой и деревянным шатровым крыльчком. В сених встретила гостей маленькая послушница в черной плисовой повязке. Она низко поклонилась и, как мышь, исчезла неслышными шагами в темпоте.

— Ишь как выстрожила матушка сестер,— полюбовалась попадья.— Ходят, как тени.

Игуменская келья состояла из двух низеньких комнат с бревенчатыми стенами. В первой весь передний угол занят был образами, завешанными шелковою пеленой; перед киотом «всех скорбящих радости» горела «неугасимая» и стоял кожаный аналой. У степы помещены были две укладки с книгами. В церковь игуменья не могла выходить и молилась у себя дома. В обители служил черный поп Пафнутий, он же монастырский келарь, или поп Мирон. Пол был устлан половиками своего монастырского дела. Игуменья лежала в другой комнате на деревянной кровати. Та же послушница пригласила гостей к самой.

— Кто там, крещеный человек? — спрашивал старушечий брюзжащий голос.— Никак ты, попадья?

— Я, многогрешная, матушка... А какую гостью тебе я привела: то-то спасибо попадье скажешь! Радость всей вашей обители.

Игуменья Досифея была худая, как сушеная рыба, старуха, с пожелтевшими от старости волосами. Ей было восемьдесят лет, из которых она провела в своей обители шестьдесят. Строгое восковое лицо глядело мутными глазами. Черное монашеское одеяние резко выделяло и эту седину, и эту старость: казалось, в игуменье не оставалось ни одной капли крови. Она встретила воеводшу со слезами на глазах и благословила ее своею высохшею дрожавшей рукой, а воеводша поклонилась ей до земли.

— Трудница ты паша, матушка, побеспокоила я тебя,— извинялась воеводша.— Давно я собиралась к тебе, да все педосужилось...

Мутные старческие глаза пытливо смотрели на воеводшу, а сухие побелевшие губы шептали беззвучные слова.

— Игумен Моисей помереть не дает,— заговорила игуменья, усаживаясь на кровати; она теперь походила на привидение.— Обитель рушится... все развалилось... а он

одно твердит, што изничтожит нас вконец. Лесу не дает на поправку... теснит... Вот я и не могу помереть: сестер жаль. Куда они без меня-то денутся?.. Три десятка сестер, а кто промыслит про них все?.. Тоже надо и обувь, и одеть, и накормить. Облютел игумен Моисей на нашу обитель... Соблазн, говорит, монастырю... Вот какие дела, Дарья Никитишна! Когда игумен Поликарп монастырские стены клал, так обещался и Дивью обитель подновить, да только бог веку ему не дал. А теперь все у нас повалилось да сгнило, скоро и затвориться будет нечем...

— Жалеет мы все тебя, матушка... да што с игуменом Моисеем поделаешь? Лютует он на всех...

— Жаль и мне его,— устало проговорила игуменья, опуская глаза.— Воздай ему бог за зло добром, а только жалею я...

Попадья и воеводша переглянулись: игуменья Досифея слыла за прозорливицу и неспроста пожалела гордого игумена Моисея.

— А надо бы нам стенки-то подкрепить,— точно бредила игуменья.— Ох, как надо! И ворота вон совсем развалились... Башенки прежде на углах-то стояли, когда орда приходила. Когда Алдар-бай с башкирю набегал, так крестьяне со всех деревень укрывались в Дивьей обители... Тоже и от Пепени с Тулкучарой... под самые стены набегала орда, и господь ущитил.

— Што же, матушка, опять орда набегит? — спрашивала воеводша.

— Горе будет, миленькие... Тогда и моя смертенька.

Потом игуменья сразу спохватилась:

— Што же это я томлю вас, миленькие?.. Анфиса, сбегай в келарню к сестре Маремьяне и накажи ей... Она знает порядок.

— Мы не за угощением пришли, матушка, а тебя проведать,— говорила воеводша.— Чего тебе беспокоиться-то для нас?

Игуменья взглянула на воеводшу, пожевала губами и проговорила, обращаясь к попадье.

— Ступай-ка ты сама, попадейка, в келарню... Пожалуй, лучше будет.

Воеводша виновато опустила голову: проникла ее тайную мысль прозорливица. Наступило неловкое молчание. Игуменья откинулась на подушку и лежала с закрытыми глазами.

— Ну, рассказывай, зачем пришла,— тихо прошептала она.— Вижу, што неспроста... Говори. По лицу вижу, што не с добром пришла. Ох, грехи!..

Эти слова сразу разжалобили воеводшу, и она енять повалилась в ноги прозорливице. Все время крепилась и ничем не выдала себя ни попадье, ни дьячихе, а теперь ее прорвало... Она долго плакала, прежде чем поведала свое бабье горе и мужнюю обиду. Игуменья лежала по-прежнему, с закрытыми глазами, и только сухие губы продолжали шевелиться.

— Жизнь прожили душа в душу, а тут вон какая пакость приключилась,— причитала воеводша,— всю душеньку истомило...

— Монастырские служки привели ко мне Охоню,— ответила игуменья.— Игумен прислал за выклики... Ну, я ее в келарню посадила. Девка-то не причиппа тут, Дарья Никитишна, а так она... роковая. Как зародилась, так и помрет...

— Охота мне на нее поглядеть, матушка: какая-то моя лютая беда завелась? На што польстился Полуехт-то Степаныч?

— И глядеть нечего,— сурово ответила игуменья.— Девка как девка... Пытала она убиваться даве: так рекой и разливается. Прибегала к ней matka, дьячиха, да я не пустила. Соблазн один...

Воеводша посидела малым делом, прикушала обительского взварцу да сыченого меду, а потом стала прощаться.

— Ничего, твоя беда износится,— успокоила ее на прощанье игуменья.— А воеводу твоего игумен утихомирит... Постыдится воевода твой, да поздненько будет. А ты не кручинься без пути... Мы не выпустим Охоню.

Простившись с игуменьей, воеводша не утерпела и на обратном пути завернула в келарню, где сидела попадья. Чернички в келарне разбирали прошлогоднюю сушеную рыбу, присланную из Тобольска богатой купчихой. Между ними пряталась и Охоня, резко выделявшаяся своим девичьим румянцем и союзными бровями. Попадья успела малым делом клюкнуть какой-то обительской настойки и совсем разомлела.

— Вон она, Охоня,— ткнула она на дьячковскую дочь.— Ишь какая гладная!.. Ягода, а не девка...

— Ну-ка, подойди ко мне, отецкая дочь,— проговорила воеводша.

Зарделась Охоня, как маков цвет, и не двигалась с места, пока чернички не окружили ее и не стали подталкивать.

— Подойди, не бойся,— проговорила воеводша.— Хочу поглядеть на тебя, какая ты есть отецкая дочь. Ну, иди же... не упирайся!.. Не из страшливых ты, коли воеводы не испугалась... Ну, што молчишь-то?

— Себя не помнила,— бормотала Охоня, не поднимая глаз.— Солдаты тогда учили меня страмить, а тут воевода присунулся...

— Так, так... Ну, а в церкви-то отчего выкликала?..

Охоня вздрогнула и закрыла побледневшее лицо руками.

— Застыдилась девонька,— пожалела ее попадья.— Ну, ии я за тебя скажу, Охоня: совестно тебе стало, как Герасима постригали. Из-за тебя в монахи он ушел...

— Несчастливая я уродилась,— шептала Охоня.— Не люб оп мне был, когда сватался, а тут... ох, горькое мое горюшко!.. Свету белого я не взвидела, как игумен взял ножницы... дух у меня занялся... умереть бы мне...

VII

Воевода Полуект Степаныч остался в монастыре, чтобы вынести «послушание» на глазах у игумена. Утром на другой день его разбудил келарь Пафшутий.

— Вставай, Полуект Степаныч... Игумен уж тебя ждет во дворе.

— О, господи, господи! — взмолился усторожский воевода, соображая предстоящий позор.— И до чего я дожил?

— Оболокайся, воевода. Игумен у нас не большо-то любит ждать, а то еще на поклоны поставит.

Нечего делать, пришлось подниматься ни свет ни заря, и старый воевода невольно вспомнил свое Усторожье, где спал вволю и никого не боялся. Келарь припес с собой трапезный кафтанишко и помог его надеть.

— Ну вот, теперь совсем,— повторял келарь, оглядывая воеводу в новом наряде.

— А ты чему обрадовался, долгогривый? — обозлился воевода.— Вот возьму да и не пойду...

— Воеводушка, не кобенься ты ради Христа,— уговаривал испугавшийся келарь.— И тебе и мне достанется...

Приземистый, курносый, рябой и плешивый черный поп Пафнутий был общим любимцем и в монастыре, и в обители, и в Служней слободе, потому что имел веселый нрав и с каждым умел обойтись. Попу Мирону он приходился сродни, и они часто вместе «угобжались от вина и елея». Угнетенные игуменом шли за утешением к черному попу Пафнутию, у которого для каждого находилось ласковое словечко.

— А ежели парод пойдет в церковь да меня увидит в затрапезном-то одеянии? — спрашивал воевода уже в дворах.

— Никто не увидит, воеводушка... будний день сегодня, кому в монастырь идти, кроме своих же монастырских?

— Достаточно и монастырских.

Игумен гулял в саду, когда пришел воевода.

— Вот тебе метелка,— сурово проговорил игумен, показывая на стоявшую в уголке метлу.— Я пойду к заутрене, а ты тут все прибери. Да, смотри, не лепись... У меня из алтаря все будет видно.

Сказал и ушел, а воевода остался с метлой в руке. Огляделся он кругом — никого, слава богу, нет. Монахи уже прошли в церковь. И принялся Полуект Степаныч за свою работу, только метелка свистит. Из церкви монашеское пенье несется, и легко стало у воеводы на душе: что же, привел господь в монастырских служках поработать... Метет Полуект Степаныч и слышит за собой легкие знакомые шаги. Оглянулся, а это Дарья Никитишна идет в церковь, идет, а сама и глаза опустила, будто ничего не замечает. Опять горько стало воеводе... Присел он на лавочке и пригорушился.

— Эй, чего расселся, ленивый раб?

Это крикнул игумен в свое окошечко из алтаря.

Опять работает воевода, даже вспотел с непривычки, а присесть боится. Спасибо, пришел на выручку высокий рыжий монах и молча взял метелку. Воевода взглянул на него и сразу узнал вчерашнего ставленника,— издали страшный такой, а глаза добрые, как у младенца.

— Эге, да это тебя вчера... тово? — обрадовался воевода.

— Видно, меня...

Плохая была воеводская работа, и новый монашек показал ему, как надо было по-настоящему делать. Потом по-

вел оп воеводу в оранжерею и там показал все. Славный такой монашек, и воевода про себя даже пожалел его.

— Трудно тебе будет в монастыре, Гермоген?

— И в миру не легко... По крайности здесь одному богу послужу, а на миру больше мамоне служат да своему лакомству. И игумен у нас строгий, не даст поблажки.

Воевода проработал в саду вплоть до обеда, пока игумен не послал за ним.

— Ну, и умаял ты меня, владыка,— ворчал Полуект Степаныч.— Пожалуй, не обрадуешься твоему-то послушанию... Хоть бы ворота в монастырь велел запереть, а то даве гляжу, моя Дарья Никитишна идет. Страм...

— Ты у меня поговори... Не хочешь на хлебе да на воде неделю высидеть? А то и похуже будет: наших монастырских шелепов отведаешь...

Не стерпел обиды Полуект Степаныч и обругал игумена по своему воеводскому обычаю, а игумен запер его в своей келье, положил ключ себе в карман и ушел к вечерне. Тут уж зло-горе взяло воеводу, и начал он ломиться в дверь и лаять игумена неподобными словами, пока не выбился из сил. А игумен воротился из церкви и спрашивает через дверь:

— Будешь еще борзость свою показывать да лаять меня?

— Ох, владыка, прости ты меня, многогрешного! Не я тебя лаял, а напущено на меня проклятым дьячком...

— Не заговаривай зубов: поумней тебя найдутся.

Тяжело достался первый день монастырского послушания усторожскому воеводе, а впереди еще целых шесть дней,— на неделю зарок положен игуменом. Всплакался Полуект Степаныч, а своя воля снята...

Другой день послушания как будто был полегче: в келарне пришлось с братией постные монастырские щи варить да кашу. Все же не на виду у всех и не с метлой. Третий день воевода провел на скотном дворе,— тоже ничего. Добрая скотинка у игумена Моисея, кормная и береженная. На четвертый день Полуект Степаныч звонил на колокольне, и это ему больше всего понравилось: никто его не видит, а ему всех видно. Любовался он и рекой Яровой, и Служнею слободою, и Дивьею обителью и с тоской глядел на дорогу в свое Усторожье. Ох, убраться бы поскорее из монастыря домой... Будет, папринимался всего. Но не так думал игумен Моисей и приготовил еще испытание воево-

де: поставил его вратарем. Тут уж не увернешься: у всех на виду, как глаз во лбу.

«Уж постой, игуменушко, перетерплю я у тебя все, да и ты меня попомнишь! — думал про себя воевода, низко кланяясь проходившим в ворота богомольцам. — Дай только ослобониться».

«Лаять» игумена в глаза Полуект Степаныч не смел, а то и в самом деле монастырских шелепов отведаешь, как дьячок Арефа.

Стоит воевода у ворот и горюет, а у ворот толкутся нищие, да калеки, да убогие, кто с чашкой, кто с пригоршней. Ближе всех к новому вратарю сидит с деревянною чашкою на коленях лысый слепой старик, сидит и наговаривает:

— Попал сокол в воронье гнездо... Забыл свою повадку соколиную и закаркал по-вороньему. А красная пташка, вострый глазок, сидит в бревенчатой клетке, сидит да горюет по ясном соколе... Не рука соколу прыгать по-воробьиному, а красной пташке убиваться по нем...

— Ты это што бормочешь-то? — удивился Полуект Степаныч, прислушиваясь.

— Я-то бормочу, а другой послушает... У слепого язык вместо глаз: старую хлеб-соль видит. А вот зачем зрячие слепнями ходят?

Этими словами слепой старик точно придавил вратаря. Полуект Степаныч узнал его: это был тот самый Брехун, который сидел на одной цепи с дьячком Арефой. Это открытие испугало воеводу, да и речи неподобные болтает слепой бродяга. А сердце так и захолонуло, точно кто схватил его рукой... По каком ясном соколе убивается красная пташка?.. Боялся догадаться старый воевода, боялся поверить своим ушам...

— Завтра по вечеру красная пташка вылетит, а за ней взмоет ясен сокол... Тут и болтовне конец, а я глазами послушал, ушами поглядел, да и сижучи-посижучи, ничего не знаю.

В руке Брехуна звякнули два серебряных рубля. Он поднялся, взял свою чашку, длинную палку и пошел к Служней слободе, а воевода стоял, смотрел ему вслед и чувствовал, как перед ним ходенем ходит вся Служняя слобода, Яровая, и лес за Яровой, и горы. И страшно ему и радостно... Проводив глазами слепца, Полуект Степаныч припомнил обещания дьячка Арефы относительно приворота. Вот оно когда сказалось! Захолонуло на душе у во-

еводы: погибал он окончательно... Теперь прощай и воеводша, и грозный игумен Моисей, и монастырское послушание, и нескверное воеводское житие. Красные круги заходили в глазах у Полуекта Степаныча.

К вечеру воевода исчез из монастыря. Забегала монастырская братия, разыскивая по всем монастырским щелям живую пропажу, сбежали в Служную слободу к попу Миرونу, — воевода как в воду канул. Главное дело, как объявить об этом случае игумену? Братия перекорялась, кому идти первому, и все подталкивали друг друга, а свою голову под игуменский гнев никому не хотелось подставлять. Вызвался только один новый ставленник Гермоген.

— Я пойду объявлюсь, братие, — говорил он со смиренным.

— Захотел на копышню, видно, попасть, брат Гермоген? Не знаешь ты игумна, каков он под сердитую руку...

— А уж што бог даст, — повторял Гермоген.

Братию вывел из затруднения келарь Пафнутий, который вечером вернулся от всенощной из Дивьей обители. Старик пришел в одном подряснике и без клобука. Случалось это с ним, когда он в Служней слободе у попа Мирона «ослабевал» дня на три, а теперь келарь был чист, как стеклышко. Обступила его монашеская братия и немало дивилась случившейся оказии.

— Да куда у тебя одеяние-то девалось, отец честной?

— Не знаю, — хмуро отвечал келарь. — После вечерни зашел проведать игуменью Досифею, ну, и спял рясу и клобук: зело жарко было. Посидел малое время, собрался домой, — пет моей ряски и клобука. Уж искали-искали, всю обитель вверх ногами поставили, а пропажи не нашли.

Благоуветливые иноки только качали головами и в свою очередь рассказали, как из монастыря пропал воевода, которого тоже никак не могли найти. Теперь уж совсем на глаза не показывайся игумену: разнесет он в крохи благоуветливую монашескую братию, да и обительских сестер тоже. Тужат монахи, а у святых ворот слепой Брехун ведет переговоры со служкой-вратарем.

— Вот, служка, нашел я находку, — говорил Брехун, подавая монашескую рясу и клобук. — Не мирского дела одежда, а валяется на дороге. Соблазн бы пошел на братию, кабы натакался на нее мирской человек, — ну, а я-то, пожалуй, и помолчу...

— Да как ты нашел, когда ты и видеть не можешь?

— Видеть не вижу, а глаз все-таки есть,— посмеялся Брехун, показывая свой черемуховый посошок.— Я-то иду, а глаз впереди меня...

Усомнился вратарь в подлинных словах слепца, запер врата и понес паходку в келью, а там келарь Пафнутий о своем клобуке чуть не плачет. Сразу узпал он свое одеяние. Кинулись монахи к воротам, а от Брехуна и след простыл.

— Наваждение! — шептал келарь Пафнутий, разглядывая свой клобук.— Кому понадобилось?.. А горше всего, ежели игумен Моисей визнает... Острился келарь на старости лет: скажут, в Дивьей обители клобук потерял!

Пока благоуветливые иноки судили да рядили, в Дивьей обители шла жестокая переборка. Этакого сраму не видно было, как поставлены обительские стены... Особенно растужилась игуменья Досифея и даже прослезилась: живьем теперь съест Дивью обитель игумен Моисей.

— Не без того это дело вышло, матушка, што нечистая сила объявилась в обители,— объясняла сестра-келарша Маремьяна.— Попущение божецкое на святую обитель...

Всего удивительнее было то, что сестра-вратарь клятвенно уверяла, как своими глазами видела выходившего в обительские врата келаря Пафнутия,— два раза он выходил и в первый раз ушел в рясе и в клобуке.

— Дьявольское прещение бысть,— объясняла келарша.— Не мог он два раза выходить, когда сидел у матушки игуменьи в опочивальне.

Когда первая суматоха прошла, хватились Охони, которой и след простыл. Все сестры сразу поняли, куда девались ряска и клобук черного попа Пафнутия: проклятая девка выкрала их из игуменской кельи, нарядилась монахом, да и вышла из обители, благо темно было.

Это предположение подтвердилось, когда на другой день утром сестры узнали, как пропал из монастыря воевода Полуект Степаныч и как ночью слепец Брехун припес монашеское одеяние черного попа Пафнутия.

— Девки-поганки дело,— решила и мать-игуменья.— Не иначе могло быть, как через нее. Она, поганка, переиначила себя в честный образ мниха... То-то, кыргызское отродье, посмеялась над святою обителью. Сорому не износить теперь...

А слепец Брехун ходил со своим «глазом» по Служней слободе как ни в чем не бывало. Утром он сидел у мона-

стыря и пел Лазаря, а вечером переходил к обители, куда благочестивые люди шли к вечерне. Дня через три после бегства воеводы, ночью, Брехун имел тайное свидание на старой монастырской мельнице с беломестным казаком Белоусом, который вызвал его туда через одного нищего.

— Где Охоня? — повторял Белоус, схватив Брехуна за горло. — Ты все знаешь. Сказывай!..

— Где ей быть, окромя Усторожья?.. Вместе с воеводой Полуектом Степанычем бежала. Пали слухи, что Полуект-то Степаныч привез девку прямо на свой воеводский двор и запер ее там, а когда пригнала воеводша домой, выгнал воеводшу-то. Осатанел старик вконец.

Застонал Белоус от этой весточки, грянулся на землю и плакался, как ребенок малый.

— Охоня, што ты меня не подождала? — выкрикивал Белоус и грозил кулаком в сторону Усторожья. — Эх, Охоня, Охоня!.. А с воеводой я еще переведаюсь. Будет помнить Белоуса... Да и Прокопьевским монастырем тряхнем!.. Эх, Охонюшка!

Слушал Брехун эти причитанья и радовался: связала бы девка Белоуса по рукам и погам, как лесной хмель, а теперь беломестный казак — вольная птица. Пронесло тучу мороком... Не пропадать казачьей голове из-за девичьей красоты, а утихнет казачье сердце, и казачья буйная голова пригодится. А кто свел воеводу с Охоней? Кто научил глупую девку, как уйти из обители, нарядившись монахом? Эх, куда бы им, если б не подвернулся слепец Брехун... Сказал бы спасибо ему Белоус, когда бы догадался, кто просватал отецкую дочь Охоню. Ну, семь бед — один ответ, а беломестный казак Белоус цел останется.

Последним узнал о всем случившемся игумен Моисей и взревновал, яко скимен. Досталось больше всех келарю Пафнутию, которому в послушание пришлось звонить на колокольне, где недавно звонил усторожский воевода. Не успел утишиться игумен, как приехала из Усторожья воеводша Дарья Никитична и горько плакалась на свою злую беду.

— Видеть меня не хочет Полуект Степаныч... Со свету сживает: обошла его вконец девка-поганка. Как чирей, теперь сидит и пухнет в моем дому... Ох, горюшко, игумен, а одна надежда на тебя, как ты изволишь мне быть.

— Прокляну я воеводу — вот тебе и весь мой сказ.

— Да ведь не своею волей грешит-то мой Полуект Степаныч, а напущено на него проклятым дьячком. Сам мне

кался, когда я везла его к тебе в монастырь. Я-то в обители пока поживу, у матушки Досифеи, может, и отмолю моего сердечного друга. Связал его сатана по рукам и ногам.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

Целых три дня ехал Арефа до заводов. Степь давно осталась позади, а впереди уже высились лесистые горы, из которых выбегала бойкая горная река Яровая. Баламутский завод был построен Гарусовым на монастырской вотчине, на том самом месте, где когда-то стояла раструсная монастырская мельница. Монахи давно открыли в горах железную и медную руду по чудским «копаням» и плавили ее на свою монастырскую потребу в ручных домницах. Гарусов имел дело с монастырем, скупая монастырский хлеб. При игумене Поликарпе он арепдовал место под мельницей, запрудил Яровую и поставил свой завод. Когда введены были духовные штаты, у Гарусова очутился громадный заводский участок на полном праве собственности: устроили это дело ему в Тобольске его дружки-приказные. Игумен Моисей поэтому питал большую злобу к Гарусову и считал его одним из главных виновников введения духовных штатов в Зауралье.

Подъезжая к заводу, Арефа испытывал неприятное чувство: все кругом было чужое — и горы, и лес, и каменистая заводская дорога. Родные поля и степной простор оставались далеко позади, и по ним все больше и больше ныло сердце Арефы.

— Помяни, господи, игумна Моисея и воздай ему сторицей добром за зло! — вслух молился Арефа. — По его злобе и неистовству не знаю, куда главу преклонить.

Не доезжая верст десяти до завода, Арефа догнал вершника на мохноногом и горбоносом киргизе. Вершник одет был совсем по-мужицки: в зипуне, в сибирских котях и в высокой шляпе, только сидел на седле не по-мужицки.

— Мир дорбгой, добрый человек, — поздоровался Арефа, рысцой подъезжая к вершнику. — Куда бог несет?

— По одной дороге едем, так увидишь.

Лицо у вершника было обветренное, со следами зимнего озноба на щеках и на носу, темные волосы по-раскольни-

чьи стрижены в скобу, сам он точно был выкроен из сыромятной кожи. Всего более удивили Арефу глаза: серые, большие, смелые, как у ловчего ястреба.

— Откуда путь держишь? — любопытствовал вершник в свою очередь.

— А к двоеданам... Значит, к Гарусову на завод. Меня воевода Полуект Степаныч послал из Усторожья, чтобы уцелиться у Гарусова от игумна Моисея... Сам-то я из Служней слободы буду.

— Променил кукушку на ястреба! — засмеялся вершник, поглядывая на Арефу сбоку. — Хорош твой игумен Моисей, а Гарусов, пожалуй, и того почище будет...

— Пали и до нас слухи о Гарусове, это точно... Народ заморил на своей заводской работе. Да мне-то, мил человек, выбирать не из чего: едва ноги уплел из узилища...

— Хорош и ты... Ну, да Гарусов выколотит из тебя монастырскую-то пыль. У него это живой рукой...

Обрадовался Арефа живому человеку и разболтался, а вершник все слушал и посмеивался. Рассказал Арефа о своих монастырских порядках, о лютном характере игумена Моисея, о дубинщине и духовных штатах и своем сиденье в Усторожье.

— А мне глянется игумен-то, — ответил вершник, — крепкий человек, хоша бы и не монахом быть... Монастырские-то ваши мужичонки при Поликарпе совсем измотались, да и монашеская честная братия тоже, а Моисей и взнуздal. Он правильно, Моисей-то...

— Тебя бы ему отдать в правило, так не то бы запел. От одних шелепов глаза бы повылезли.

— А Гарусов еще полютей будет... Народ в земляной работе заморил, а чуть неустойка — без милости казнит. И везде сам поспевает и все видит... А работа заводская тяжелая: все около огня. Пожалуй, ты и просчитался, што поехал к двоеданам.

— Двум смертям не бывать — одной — не миновать. — храбрился Арефа. — Не боюсь я твоего Гарусова, хоша он на мелкие части меня режь... В орде бывал и из полону цел ушел, а от Гарусова и подавно.

— Не захваливайся, дьячок!

Показался засевший в горах Баламутский завод. Стрoение было почти все новое. Издали блеснул заводский пруд, а под ним чернела фабрика. Кругом завода шла свежая порубь: много свел Гарусов настоящего кондового леса на

свою постройку. У Арефы даже сердце сжалось при виде этой незнакомой для степного глаза картины. Эх; невеселое место: горы, лес, дым, и сама Яровая бурлит здесь по-сердитому, точно никак не может вырваться из стеснивших ее гор.

— Молодец Гарусов! — похвалил вершник, любуясь заводом.— Вон какое обзаведенье поставил: любо-дорого... Раньше-то пустое место было, а теперь работа кипит... Эвон, за горой-то, влево, медный рудник у Гарусова, а на горе железная руда. Сподобишься и ты поробить на Гарусова.

— Ах, штоб тебе пусто было вместе и с Гарусовым!.. Не боюсь я никого, окромя игумна Моисея...

У самого завода они расстались. Вершник указал, куда ехать Арефе, где остановиться и где найти самого Гарусова.

Арефа отыскал постоянный, отдохнул, а утром пошел на господский двор, чтобы объявиться Гарусову. Двор стоял на берегу пруда и был обнесен высоким тыном, как острог. У ворот стояли заводские пристава и пускали во двор по допросу: кто, откуда, зачем? У деревянного крыльца толпилась кучка рабочих, ожидавших выхода самого, и Арефа примкнул к ним. Скоро показался и сам... Арефа, как глянул, так и обомлел: это был ехавший с ним вершник.

— Што, монастырская крыса, обознал теперь, какой есть Гарусов? — засмеялся сам и махнул рукой приставам: — Эй, возьмите ворону да посадите ее в яму, чтобы поменьше каркала.

Шесть сильных рук схватили Арефу и поволокли с господского двора, как цыпленка. Дьячок даже закрыл глаза со страху и только про себя молился преподобному Прокпию: попал он из огня прямо в полымя. Ах, как попал... Заводские пристава были почище монастырских служек: руки как железные клещи. С господского двора они сволокли Арефу в какой-то каменный погреб, толкнули его и притворили тяжелою железною дверью. Новое помещение было куда похуже усторожского воеводского узилища.

— А как же дьячиха? — вопил Арефа, царапаясь в железную дверь. — Эй, вы... дьячиха-то моя как?

Ответа не последовало. Присел Арефа на какой-то обрубок дерева и «плакаша горько».

Когда он огляделся, то заметил в одной стене чернев-

шее отверстие, которое вело в следующий такой же подвал. Арефа осторожно заглянул и прислушался. Ни одного звука. Только издали доносился грохот работавшей фабрики, стук кричных молотов и лязг железа. Не привык Арефа к заводской огненной работе, и стало ему тошнее прежнего. Так он и заснул в слезах, как малый ребенок.

Ранним утром на другой день его разбудили.

— Эй, ты, ворона, поднимайся... Айда в контору.

Несмотря на ранний час, Гарусов уже был в конторе. Он успел осмотреть все ночные работы, побывал на фабрике, съездил на медный рудник. Теперь распределялись дневные рабочие и ставились новые. Гарусов сидел у деревянного стола и что-то писал. Арефа встал в толпе других рабочих, оглядывавших его, как новичка. Народ заводский был все такой дюжий, точно сшитый из воловьей кожи. Монастырский дьячок походил на курицу среди этих богатырей.

— Тарас Григорыч, ослобони...— повторял какой-то испитой мужик с взлохмаченной головой.— Изнеможили мы у тебя на твоей заводской работе.

— А уговор забыл? — заревел на него Гарусов, ударив кулаком по столу.— Задатки любите брать, а?.. Да с кем ты разговариваешь-то, челдон?

— Последняя лошаденка пала,— не унимался мужик.— Какой я тебе теперь работный человек?.. На твоей работе последнего живота решился... А дома ребятенки мал-мала меньше остались.

Другие рабочие представляли свои резоны, а Гарусов свирепел все больше, так что лицо у него покраснело, на шее надулись толстые жилы, и даже глаза налились кровью. С наемными всегда была возня. Это не то, что свои заводские: вечно жалуются, вечно бунтуют, а потом разбегутся. Для острастки в другой раз и наказал бы, как теперь, да толку из этого не будет. Завидев монастырского дьячка, Гарусов захотел на нем сорвать расходившееся сердце.

— Ну-ка, ты, кутья, иди сюда... На какую ты работу поступить хочешь? В монастыре-то вас сладко кормят, спите вволю, а у меня, поди, не поглянется. Што делать-то умеешь, чертова кукла?

— А все умею,— без запинки ответил Арефа.— И церковную службу могу управить, и пашню спашу, и дровишек нарублю...

— Да ты повернись, монастырская ворона... Дай поглядеть на тебя с разных сторон. Нечего сказать, хорош гусь!

Дьячок повернулся при общем смехе и не понимал, для чего это нужно.

— Хлеб есть даром — вот и всей твоей работы, — решил Гарусов и прибавил, обратившись к стоявшему около приказчику: — Сведи его на фабрику да поставь, где потеплее. Пусть разомнется для первого раза...

Все переглянулись. Куда этакому цыпленку в огненную работу? На верную смерть посылал Гарусов ледащего дьячка.

— А насчет харчей как? — спрашивал Арефа. — Со вчерашнего дни маковой росинки не бывало во рту... Окромя того, у меня кобыла. Последний живот со двора...

— Ты у меня поговори!..

Приказчик уже вытолкнул дьячка из конторы и по дороге дал ему здоровую затрещину, так что у бедняги в ушах зазвенело. Арефа, умудренный опытом, перенес эту обиду молча. Ему всегда доставалось за язык, а дьячиха Домна Степановна не раз даже колачивала его, и пребольно колачивала. Мысль о дьячихе постоянно его преследовала, как было и теперь. Что-то она подделывает без него, мил-сердечный друг?

Приказчик довел Арефу до фабрики и передал с рук на руки какому-то надзирателю.

— Вот какого орла зацепил, — объяснил он, презрительно указывая на своего подневольника. — На подтопку годится.

Надзиратель, суровый старик с окладистой седою бородой, как-то сбоку взглянул на дьячка и только покачал головой. Куда этакую птицу упоместить?.. Приказчик объяснил, как Тарас Григорьевич наказывал поступить.

— Будет тепло, — решил надзиратель.

Фабрика занимала большой квадрат под плотиной, которой была запружена Яровая. Ближе всего к плотине стояли две доменных печи, в которых плавил железную руду. Средину двора занимали два кирпичных корпуса, кузницы, листокатальная и слесарная, а дальний конец был застроен амбарами и складами. Вся фабрика огораживалась деревянным бревенчатым тыном. Ворота были одни, и у них всегда стоял свой заводский караул. Надзиратель повел Арефу в кричный корпус и приставил к одной из печей, в

которых нагревались железные полосы для проковки. Рабочие в кожаных фартуках встретили нового товарища довольно равнодушно.

— Вот тут будешь работать, — сказал надзиратель, передавая Арефу уставщику. — Смотри, не ленись.

Работа в кричпой показалась Арефе с непривычки настоящим адом. Огонь, искры, грохот, лязг железа, оглушительный стук двадцати тяжелых молотов. Собственно, ему работа досталась не особенно тяжелая, да и Арефа был гораздо сильнее, чем мог показаться. Он свободно управлялся с двухпудовой крицей, только очень уж жарило от раскаленной печи. Двое подмастерьев указали ему, как «сажать» крицу в печь, как ее пакалить добела, как вынимать из огня и подавать мастеру к молоту. Последнее было хуже всего: раскаленная крица жгла руки, лицо, сыпались искры и вообще доставалось трудно. Недаром кричные мастера ходили с такими красными, запеченными лицами. Все были такие худые, точно они высохли на своей огненной работе.

— Ну, поворачивай, дьячок! — покрикивал на нового рабочего мастер.

Арефа старался, обливаясь потом. После второй «садки» у него отнялись руки, заломило спину, а в глазах заходили красные круги.

«Ох, смертынька моя приходит, — подумал Арефа с унынием. — Погинула напрасно православная душа...»

Его главным образом огорчало то, что все рабочие были раскольники-двоеданы. Они косились на его подрясник и две косицы. Уставщик тоже был двоедан. Он похаживал по фабрике с правилом в руках и зорко поглядывал на работу: чтоб и ковали скоро и чтоб изъяну не было. Налетит сам, — всем достанется.

Но тут же Арефа заметил, что есть что-то такое, чего он не знает и что всех занимает. В другое время ему не дали бы прохода, а теперь почти не замечали, — всякому было до себя. Заметил это Арефа по тем отрывочным разговорам, какими перекидывались рабочие под грохот работавших молотов, когда уставщики отходили. О чем они переговаривались, Арефа не мог понять. Чаще всего повторялись слова: «батюшка» и «змей». Но, видимо, вся фабрика была занята какою-то одной мыслью, носившеюся в воздухе, и ее не могла заглушить никакая огненная работа.

Когда работа кончилась, Арефа шатался на ногах, как

пьяный. Ему нужно было идти вместе с другими в особую казарму. Но он сначала прошел в господскую конюшню и разыскал свою кобылу: это было единственное родное живое существо, которое напоминало ему и Служную слободу, и свой домишко, и всю дьячковскую худобу. Арефа обнимал кобылу и обливал слезами. Он тут бы и почевать остался, если бы конюхи не выгнали его. В казарме ждала Арефу новая неприятность: рабочие уже поужинали и легли спать, а двери казармы были заперты на замок. Около казармы всю ночь ходил караул.

— Ты это где пропадал? — накинулся на Арефу пристав.— Порядков не знаешь... Смотри у меня: всю душу вытрясу.

— А ты не больно аркайся! — рассердился дьячок, изнемогавший от усталости и еще больше от горя.— Я слободской человек, иду куда хочу... Над своими изневажайтесь.

За такие попосные слова пристав ударил Арефу, а потом втолкнул в казарму, где было и темно и душно, как в тюрьме. Около стен шли сплошные деревянные нары, и на них сплошь лежали тела. Арефа только здесь облегченно вздохнул, потому что вольные рабочие были набраны Гарусовым по деревням, и тут много было крестьян из бывших монастырских вотчин. Все-таки свои, православные, а не двоеданы. Одним словом, свой, крещеный народ. Только не было ни одной души из своей Служней слободы.

— Поснедать бы... — проговорил Арефа, приглядываясь к темноте.

— Видно, уже завтра поешь, мил человек, — ответил голос из темноты.

Арефа только вздохнул и прилег на свободное место поближе к дверям. Что же, сам виноват, а будет день — будет и хлеб. От усталости у него слипались глаза. Теперь он даже плакать не мог. Умереть бы поскорее... Все равно, один конец. Кругом было тихо. Все намаялись за день и рады были месту. Арефа сейчас же задремал, но проснулся от тихого шепота.

— Объявился наш батюшка... Будет нам муку мученическую принимать от Гарусова. Слышь, по казачьим умениям на Яике царская воля прошла... Набегали башкиришки и сказывали.

— Давно об этом молва-то идет... Пора. Запищал народ вконец, хоть одинова надо дыхнуть, а батюшка на выручку

хрестьянам идет. И до нас дойдет... Увидит нашу маету и вырешит всех. Двоеданы, слышь, засылку уже делали на Яик, да ни с чем выворотилась засылка: повременить казачи наказывали.

Опять тишина, опять Арефа дремлет и опять слышит сквозь сон:

— А как же, сказывают, батюшка-то двоеданским крестом молится? Што-нибудь да не так. Нам, хрестьянам, это, пожалуй, и не рука.

II

Гарусов провел скверную ночь. Накануне он узнал о «засылке» своих рабочих к казакам. Это его взбесило. Скверно было то, что затеяли эту «засылку» свои же заводские рабочие, а не деревенские. Старик рвал и метал, а взять было не с кого. Конечно, он мог бы разыскать виноватых и примерно их наказать, но лиха беда в том, что он сам начинал побаиваться. А что, ежели и в самом деле казачишки подымутся, да пристанут к ним воровские люди со всех сторон, да башкиришки, да слобожане с заводскими? Это будет почище монастырской дубинщины, от которой игумен Моисей еле жив ушел. Так думал и передумывал Гарусов, и, как ни думал, все выходило плохо. Ни игумен Моисей, ни воевода Чушкин ничего не понимали, потому что надеялись — один на свои каменные монастырские стены, а другой на воинскую опору. Вот Баламутские заводы открыты на все четыре стороны, и не на что было надеяться, а поднимутся свои же работники и приколют. Работа тяжелая, народ непривычный — только ждут случая.

Жил Гарусов в деревянном одноэтажном доме, выстроенном из кондового леса. В низеньких комнатах и зиму и лето было натоплено, как в бане. Жена с детьми занимала две задних комнаты, а Гарусов четыре остальных, то есть в них помещалась и контора, и касса, и четыре заводских писчика, подводивших заводские книги. Строгий был человек Гарусов, и весь дом походил на тюрьму, в которой без его ведома никто не смелдохнуть. Особенно доставалось старухе жене, женщине простой, всего боявшейся, а пуще всего своего мужа. Она вышла замуж еще в то время, когда Гарусов был простым гуртовщиком и гонял из степи

баранов. Как говорила стоустая молва, он и жить пошел с того, что зарезал в степи какого-то богатого киргиза. Он сейчас же бросил свои гурты, высмотрел угодливое местечко в верховьях Яровой, арендовал его у монастыря и поставил первую домну. Дело быстро пошло в ход, благо в чугуне и железе везде была нужда, а тут руды сколько хочешь, лесу тоже, воды тоже. Лет через пять присмотрел Гарусов медную руду и завел новый промысел, который оправдал себя лучше железного. Все горе выходило из-за рабочих. Ядро заводского населения сложилось из беглых с других уральских горных заводов, а к ним пристали «расейские» выходцы, бежавшие с Поволжья, с Керженца, с Беломорья. Почти все уральские заводчики были раскольники, и население всех заводов складывалось приблизительно одинаково. Но дело росло быстро, а своих рук не хватало. Приходилось набирать рабочих со стороны, а это для Гарусова было нож острый. Во-первых, кругом складывались православные села и деревни, а во-вторых, народ был непривычный к огненной работе. Вербовались рабочие задатками, причем получалась неуловимая кабала. Гарусов изучил это еще в степи, где опутывал задатками киргизов и калмыков. Не один раз слободские бунтовали, и Гарусову приходилось усмирять их при помощи воинской команды, высылаемой на подмогу из Усторожья добротом-воеводой, с которым у Гарусова были свои дела.

Так дело шло не один десяток лет. Гарусов все богател, и чем делался богаче, тем сильнее его охватывала жадность. Рабочих он буквально морил на тяжелой горной работе и не знал пощады ослушникам, которых казнил самым жестоким образом: батожья, кнут, застенки — все шло в ход.

Слухи о занимавшейся смуте на Яике подняли в душе Гарусова воспоминания о прошлых заводских бунтах. Долго ли до греха: народ дикий, рад случаю... Всю ночь он промучился и поднялся на ноги чем свет. Приказчик уже ждал в конторе.

— Ну, что нового? — спросил Гарусов.

— Нового, слава богу, пичего нет, Тарас Григорыч... Стороной я кое-что вызнал. А между прочим, пустяки болтают разные бродяги... Не надо им давать веры...

— Ну, это уж я знаю... А бродягам я покажу...

Приказчик сразу увидел, что Гарусов ступил левой ногой, и молчал, выжидая приказаний. Старик прошелся не-

сколько раз по конторе, посмотрел в окно на двор, зевнул и нахмурился. Дома он ходил на мужицкий лад, в одной рубашке и босиком. Да и по своим делам тоже разъезжал мужичком. Летом одевался в кафтац, а зимой в простой полушубок. Любил Гарусов и помудрить в другой раз. Пристанет к какому-нибудь обозу на дороге и попросит довести даром или разыграет комедию где-нибудь на постоялом дворе. Все знали эти выходки богатея-заводчика и все-таки попадались впросак, а Гарусов этим путем вызнавал все, что ему нужно было и чего он не мог бы узнать ни за какие деньги. Главное, он умел неожиданно являться там, где его совсем не ждали, и паводил на всех страх. Да и дома никто не знал, что у него на уме и куда он собирается. Услужливая молва говорила, что Гарусов знается с нечистым и может зараз в нескольких местах объявляться.

Накинув заплатанный кафтанишко, Гарусов отправился спачала на фабрику. Приказчик едва поспевал за ним, — очень уж легок был старик на ногу. Дорогой он несколько раз встряхивал головой, что не сулило добра. Скверная примета, которую все знали. С фабрики выходила ночная смена, когда они подошли к воротам. Рабочие шарахнулись, когда увидели грозного старика, но он прошел мимо, никого не тронув. Но не успел он пройти ворота, как сторож за его спиной махнул шестом, — условленный знак для всех рабочих. Гарусов оглянулся как раз в этот момент, и сторож обомлел.

— В подвал! — коротко сказал Гарусов. — Там ему покажут, как надо палками-то размахивать!

Повторять приказание было не нужно, и сторож моментально исчез. Гарусов окончательно нахмурился. Ему сегодня казалось все как-то не так, и он только встряхивал головой. Ах, никому нельзя верить: все продадут ни за грош, продадут да еще ногой придавят. Черною тучею прошел Гарусов по своим фабрикам и только мельком вглядывался в некоторых рабочих, которые казались ему особенно подозрительными. Но придраться решительно было не к чему: работа шла на отлично, точно назло. Завидев работавшего у горна Арефу, Гарусов остановился, тряхнул головой и точно обронил роковое слово:

— В медную гору...

Арефа даже побелел весь, когда услышал роковой приказ. Работа в медном руднике являлась своего рода домашней каторгой, и туда посылали только за особые вины.

— Ты у меня узнаешь, как у каменного попа едят железные просвиры,— проговорил Гарусов безмолвствовавшему несчастному дьячку.

Арефа что-то хотел сказать в свое оправдание, хотел взмолиться истошным голосом и пасть в ноги, но заводские пристава уже волокли его прямо в кузницу, где сейчас же были надеты на него железные «поручни» и «попожни» и заклепаны. Так отправляли всех в медную гору... Дьячок только в кузнице немного опомнился и понял, что Гарусов принял его за «шпына», то есть за подосланного игуменом Моисеем шпиона, а его жалобы на игумена — за прелестные речи, чтобы отвести глаза. Гарусов, песомненно, стороной уже знал о поносных словах, которые говорились рабочими, его же двоеданами, и завинил дьячка, чтобы хоть на ком-нибудь сорвать сердце.

Повезли Арефу в медный рудник, нимало не медля, под строгим надзором, как разбойника. Старик сидел в телеге и громко молился «иже о Христе юродивому Прокопию», спасавшему его от стольких бед.

— Не от себя лютует Тарас Григорыч, а по дьявольскому наущению, как и игумен Моисей,— выкрикивал Арефа.— Не сердитую я на ихнюю темноту и ослепление... Воздай им, господи, добром за зло, а мои худые слезы видит один Прокопий преподобный.

— Закаркала ворона,— ворчали на дьячка провожатые, давая ему подзатыльники.

И здоровенные эти двоеданы, а руки — как железные. Арефа думал, что и жив не доедет до рудника. Помолчит-помолчит и опять давай молиться вслух, а двоеданы давай колотить его. Остановят лошадь, снимут его с телеги и бьют, пока Арефа кричит и выкликает на все голоса. Совсем озверел заводский народ... Положат потом Арефу за мертво на телегу и сами же начнут жаловаться:

— Замаялись мы с тобой, воронье пугало!.. Из сил выбились... Замолчи, окаянный!

— По слепоте вашей приемлю рапы...

— Ты опять разговариваешь, шпын?

Провожатые удивлялись только одному, что очень уж живуч дьячок,— такой маленький да дохлый, а ничего ему не делается. Привезли они его на рудник пласт-пластом и долго жаловались смотрителю, что замучил их дьячок дорогой, а теперь вот притворился, накупил на себя черную немочь и только глазами моргает.

Медный рудник спрятался совсем в горах, на лесном безлюдье. Руда была найдена в «отбочине», на левом берегу Яровой, которая здесь выбивалась из гор маленькой речкой. Обрадовалось сердце Арефы, когда он увидел родную реку, которая отсюда скатывалась под самый Прокопьевский монастырь и дальше в «орду». Рудничное строенье облегло отбочину горбатыми крышами. Стояли одни казармы, такая же контора-казарма и ряд шахт. Весь берег Яровой был завален пустою породою, которую добывали из шахт, — свежедобытая земля так и желтела. Рабочих было мало видно: все в шахте. А наверху копошились одни откатчики да отвальщики. И казармы здесь были устроены по-тюремному — из толстых бревен, с крохотными оконцами, едва руку просунуть, с толстыми дверями и высоким тыном кругом. Смотритель даже не взглянул на нового рабочего, а только мотнул головой, чтобы сволокли его в казарму, пока «оклемается». Видал он таких представленных...

Опять Арефа очутился в узилище, — это было четвертое по счету. Томился он в затворе монастырском у игумена Моисея, потом сидел в Усторожье у воеводы Полуекта Степаныча, потом на Баламутском заводе, а теперь попал в рудниковую тюрьму. И все напрасно... Любя господь наказует, и нужно любя терпеть. Очень уж больно дорогой двоеданы проклятые колотили: места живого не оставили. Прилег Арефа на соломку, сотворил молитву и восплакал. Лежит, молится и плачет.

— Ты это о чем, человече? — послышался голос из темноты.

Арефа думал, что он один, и испугался. В тюрьме было совершенно темно, и он ничего не мог разглядеть.

— Кто жив человек? — спросил он, обрадовавшись в следующий момент живому человеческому голосу.

— А ты кто?

— Я по злобе игумна Моисея... Да ты иди поближе, зачем спрятался?

В ответ грянула тяжелая железная цепь и послышался стон. Арефа понял все и ошупью пошел на этот стон. В самом углу к стене был прикован на цепь какой-то мужик. Он лежал на гнилой соломе и не мог подняться. Он и говорил плохо. Присел около него Арефа, ошупал больного и только покачал головой: в чем душа держится. Левая рука вывернута в плече, правая нога плеть-плетью, а спина, как решето.

— Из бегунов я,— тяжело шептал несчастный.— Три раза из рудника убежал, ну, и попал в лапы приставам. Чуть душу не вытрясли...

— Плохо твое дело, милаш! — жалел дьячок, потряхивая своими железами.— Кабы сила-мочь, так я бы травкой тебя попользовал. Есть такие в степи пользительные травы от убоя, от раны, ото всякой лихой болести... Да вот под руками ничего нет.

— Топнехонько мне... под сердце подкатывает... Прибрал бы господь-батюшка поскорее, а то моченьки не стало... Я из слободских, из Черного Яру... женишка осталась, ребятенки... вся худоба... к ним урваться хотел, а меня в горах и пымали...

— Не из двоедан, значит? — обрадовался Арефа.

— Православный... От дубинщины бежал из-под самого монастыря, да в лапы к Гарусову и попал. Все одно помирать: в медной горе али здесь на цепи... Живым и ты не уйдешь. В горе-то к тачке на цепь прикуют... Может, ты счастливее меня будешь... вырвешься как ни на есть отседова... так в Черном Яру повидай мою-то женишку... скажи ей поклончик... а ребятенки... ну, на миру сиротами вырастут: сирота растет — миру работник.

— Как тебя звать-то, милаш?

— Трофимом... В Черном Яру скажут...

Дольше больной говорить не мог, охваченный тяжелым забытием. Он начал бредить, метался и все поминал свою жену... Арефу даже слеза прошибла, а помочь нечем. Он оборвал полу своего дьячковского подрясника, помочил ее в воде и обвязал ею горячую голову больного. Тот на мгновение приходил в себя и начинал неистово ругать Гарусова.

— Погоди, отольются медведю коровьи слезы!.. Будет ему кровь нашу пить... по колен в нашей крови ходить... Вот побегут казаки с Яика да орда со степи подвалит, по камушку все заводы разнесут. Я-то не доживу, а ты увидишь, как тряхнут заводами, и монастырем, и Усторожьем. К казакам и заводчина пристанет, и наши крестьяне... Огонь... дым...

Арефа просидел над больным целый день и громко молился. Под утро Трофим как будто стихал, а потом попросил воды. Арефа подал ему деревянную чашку, но не нужно было уже ни воды, ни лекарств...

— Помяни, господи, новопреставленного раба твоего

Трофима, — молился Арефа, стоя на коленях... — Прости ему вольные и невольные прегрешения, вся, яже содеял ведением и неведением, яже словом, яже помышлением.

Затем он проговорил молитву на исход души и благословил усопшего узника, в мире раба божия Трофима, а потом громко наизусть принялся читать заупокойный канон о единогоумершем. Службу церковную он знал наизусть, потому что по-печатному разбирал с грехом пополам, за что много претерпел и от своего попа Мирона, и от покойного игумена Поликарпа.

Рудниковые пристава нашли дьячка у покойника и еще раз обругали его, а затем поволокли в медную гору, в паряд. Упало дьячковское сердце, когда его посадили в большую деревянную бадью и начали опускать в шахту. Он со страху закрыл глаза и громко читал канон преподобному Прокопию, точно сама земля разверзлась и поглощала его грешное дьячковское тело черной пастью. Где-то гудела вода, скрипели насосы, и бадья летела все вниз со своей живою добычей. Но вот в глубине мелькнул живой огонек, и заиграло дьячковское сердце: жив господь, и жив дьячок Арефа. По дороге попалась другая бадья, которая шла наверх с рудой. Но вот и дно шахты. Бадья остановилась. Двое рабочих поддержали ее и помогли дьячку вылезти.

— Трофим приказал долго жить, братцы, — сказал Арефа. — Под утро кончился, сердяга...

Рудниковые молча сняли шапки и молча перекрестились. Они с удивлением разглядывали дьячка.

— Да ты откелева взялся-то, мил человек?

— А я из монастырской слободы, яже в Сибирстей стране, у Прокопьевского монастыря... По злобе игумна Моисея...

Его поволокли куда-то в боковую шахту, и там кузнец расковал его... Все равно отсюда не убежишь, а работать в железах неспособно. Возблагодарил Арефа бога, что опять мог двигать руками и ногами, а его уже повели в паряд. Идти пришлось по темной боковой шахте, укрепленной листовичными плахами. Везде сочилась вода и пахло прелым деревом. Так привели его в забой, где добывали медную руду кайлами и ломачами. Работа, пожалуй, и нетрудная, кабы не глухой воздух. Да и жарко при этом... С дьячка катился пот градом, когда он проработал первую смену.

Работа в медной горе считалась самой трудной, но Арефа считал ее отдыхом. Главное, нет здесь огня, как на фабрике, и нет вечного грохота. Правда, что и здесь допимали большими уроками немилосердные пристава и уставщики, но все-таки можно было жить. Арефа даже повеселел, присмотревшись к делу. Конечно, под землей дух тяжелый и теплынь, как в бане, а все-таки можно перебиваться.

— Чему ты радуешься, дурень? — удивлялись другие шахтари. — Последнее наше дело. Живым отсюда не выпускают.

— Вы-то не уйдете, а я уйду.

— Не захваливайся.

— Из орды ушел колотый, а от Гарусова и подавно уйду... Главная причина, кто сильнее: преподобный Прокопий али Гарусов? Вот то-то вы, глупые... Над кем изнеживается Гарусов-то?.. Над своими же двоеданами, потому как они омрачены... А преподобный Прокопий вызволит и от Гарусова.

Вообще дьячок говорил многое «неудобь-сказуемое», и шахтари только покачивали головами. И достанется дьячку, ежели Гарусов визнает про его поносные речи. А дьячок и в ус себе не дует: копает руду, а сам акафист преподобному Прокопию читает.

— Я вольный человек, — говорил он рабочим, — а вас всех Гарусов озадачил... Кого одежей, кого харчами, кого скотиной, а я весь тут. Не по задатку пришел, а своей полной волей. А чуть што, сейчас пойду в судную избу и скажу: Гарусов смертным боем убил мужика Трофима из Черного Яру. Не похвалят и Гарусова. В горную канцелярию прошение на Гарусова подам: не бей смертным боем.

«Озадаченные» Гарусовым рабочие только почесывали в затылках. Правильно говорил дьячок Арефа, хотя и не миновать ему гарусовских плетей. Со всех сторон тут были люди: и мещане из Верхотурья, и посадские из Кайгородка, и слобожане, и пашенные солдаты, и беломестные казаки, и монастырские садчики, и разная татарва. Гарусов не разбирал, кто да откуда, а только копали бы руду. И всех одинаково опутывал задатками. Вольная птица, монастырский дьячок составлял единственное исключение.

Но эта дьячковская воля продолжалась недолго. Через

две недели Арефу повели в рудниковую контору. Приказчик сидел за деревянной решеткой и издали показал дьячку лоскуток синей бумаги, написанной кудрявым почерком.

— Узнаешь, вольный человек? — глухо спросил приказчик и засмеялся.

Арефа даже зашатался на месте. Это была его собственная расписка, выданная секретарю тобольской консистории, когда ему выдавали ставленническую грамоту. Долгу было двадцать рублей, и Арефа заплатил его уже два раза — один раз через своего монастырского казначея, а в другой присылал деньги «с оказией». Дело было давнишнее, и он совсем позабыл про расписку, а тут она и выплыла. Это Гарусов выкупил ее через своих приставников у секретаря и теперь закабалил его, как и всех остальных.

— Ну, что скажешь, вольный человек? — смеялся приказчик. — Похвалиться умеешь, а у самого хвост завяз.. Так-то? Да еще с тебя причитается за прокорм твоей кобылы... понимаешь?..

Арефа как-то сразу упал духом, точно его ударили обухом по голове: и его «озадачил» Гарусов.. А все отчего? За похвальбу преподобный Прокопий нашел... Вот тебе и вольный человек! Был вольный, да только попал в кабалу. С другой стороны, Арефа обозлился. Все одно пропадать..

— Искать буду с Гарусова, — смело заявил он. — Я письменный человек и дорогу найду... У меня и свое монастырское начальство есть, и горная канцелярия, и воеводу Полухта Степаныча знаю... да.

— И везде тебе скажут, что ты дурак...

— Я дурак?.. Дурак да про себя, а на Гарусова я имею извет. Помомнит он у меня единоумершего хрянстьянина Трофима из Черного Яру, вот как помомнит!..

На такие слова приказчик сейчас же «ощерился» и собственноручно избил зубастого дьячка, а потом велел запретить его в деревянные «смыги» накосо: левую ногу с правой рукой, а правую ногу с левой рукой. Поместили Арефу в то самое узилище, где умер Трофим и для безопасности приковали цепью к деревянному стулу. Положение было самое неудобное: ни встать, ни сесть, ни лежать. Два дня таким образом промучился Арефа, а на третий день не вытерпел и заявил приставу, что желает учинить разборку своего дела в судной избе на Баламутском заводе.

— Тебе же хуже, — посмеялся приказчик. — Теперь

тебе наши деревянные смыги не поглянулись, ну, переменим на железную рогатку и посадим тебя на стенную цепь. За язык бы тебя следовало приковать, да еще погодим малое время...

Две недели высидел Арефа в своей рогатке. Железо въедалось ему в плечи, и тонкая шея была покрыта струпьями. Каждое движение вызывало страшную боль. А главное, нельзя было спать. Никак нельзя прилечь: железо еще сильнее впивалось в живое тело. Так прислонится к стенке Арефа и дремлет. Как будто забудется, как будто дремота одолевает, а открыл глаза — голова с плеч катится. Стал совсем изнемогать Арефа, и стало ему казаться, что он совсем не дьячок, а чернойрский мужик Трофим, и что он уж мертв, а мучится за свои грехи одна плоть.

Арефа лежал без памяти, когда в тюрьму привели новых преступников. Это были свои заводские двоеданы, провинившиеся на уроках. Они пожалели Арефу и отваживались с ним по две ночи. Тут уж смилоствился и приказчик и велел расковать дьячка.

— К Трофиму еще успеем тебя отправить, коли соскучился, — пригрозил он ему.

В казарме вылежал Арефа две недели. Лежит Арефа и молчит, молчит и думает: за свой язык он муку принимал и чуть живота не решился. Нет, теперь, брат, шабаш: про себя лучше знать... Лежит и думает Арефа о том, как бы ему вырваться опять на волю и уйти от Гарусова. Кругом места дикие, не скоро поймают... Эх, кабы еще кобылу добыть, так и того бы лучше. А там и своя Службная слобода, и дьячиха Домна Степановна, и милая дочь Охонюшка, и поп Мирон, и весь благоуветливый иноческий чин. Точно ножом кто ударит, как только вспомнит Арефа про свое тихое убежище.

Да, легко бежать, а каково будет, когда поймают? Арефа уже совсем решился на бегство, но ему помешал случай: с Баламутского завода бежало несколько рабочих, их переловили и привели наказывать на рудник. Что тут было, и не рассказать... Всех рудниковых выстроили на дворе, и наказание учинили на глазах, чтобы остальные смотрели и казнились. Двоих наказали кнутом, троих плетью, а остальных нещадно били батожем. Это было похуже, чем расправа «с пристрастием» у самого воеводы Полуекта Степаныча. Всех наказанных сволокли замертво в тюрьму. Со страху Арефа не спал целую ночь, и ему все

казалось, что он уже бежал и его ловят. Вот настигли совсем, он даже глаза закрыл... вот, вот... Заводские пристава стреляли бегунов прямо из ружей, а потом убитых списывали за пропавших без вести. Мертвый не пойдет искать, а живым до себя.

Но, видно, от судьбы не уйдешь. Только Арефа поправился и спустился в свою шахту, а там уже все готово: смена, в которой он работал, сговорилась бежать в полном составе.

— Ежели ты с нами не пойдешь, мы тебя живым не оставим,— объяснил Арефе главный зачинщик из слобожан.— Гинуть, так всем зараз, а то еще продашь...

— Братцы, куда же я? — взмолился Арефа.— Игумен Моисей истязал меня шелепами, воевода Полуехт Степаныч в железах выдержал целую зиму, Гарусов в кабалу повернул... А сколько я натерпелся от приставов?.. В чем душа... Вы-то убежите, а меня поймают...

Но Арефу никто не слушал. Пока он сидел в своей рогатке да выздоравливал, что-то случилось, чего он не знал, а мог только догадываться. Рабочие шушукались между собой и скрывали от него. Может, от казаков с Яика пришла весточка?.. Покойный Трофим что-то болтал, а потом рабочие галдели по казармам... Слухи шли давно, еще во время монастырской «дубинщины», и Арефа плохо им верил. Так темное мужичье болтает, а никто хорошенько ничего не знает. Положим, у Гарусова постоянно бунтовали рабочие, а потом Полуехт Степаныч их умирал воинскою силою,— ну, и теперь в этом же роде, надо полагать.

Это было на другой день после успенья. Еще с вечера слобожаннин Аверкий шепнул Арефе:

— Смотри, завтра у нас вода побежит... Теперь самый раз, потому приказчик не сторожится: думает, испугал всех наказанием. Понял?..

Арефа молчал. Будь что будет, а чему быть, того не миновать... Он приготовил на всякий случай котомочку и с тупою покорностью стал ждать. От мира не уйдешь, а ба людях и смерть красна.

По уговору двое рабочих перед вечернею сменой затеяли драку. Приказчик вступился в это дело, набежали пристава, а в это время шахтари обрубали канат с бадьей, сбросили сторожа в шахту и пустились бежать в лес. Когда-то Арефа был очень легок на ногу и теперь летел впереди других. Через Яровую они переправились на плоту,

на котором привозили камень в рудник, а потом рассыпались по лесу.

Погоня схватилась позже, когда беглецы были уже далеко. Сначала подумали, что оборвался канат и бадья упала в шахту вместе с людьми. На сомнение навело отсутствие сторожа. Прошло больше часу, прежде чем ударили тревогу. Приказчик рвал на себе волосы и разослал погоню по всем тропам, дорогам и переходам.

В смене было двенадцать человек. Сначала бежали гурьбой, а потом разбились кучками по трое, чтобы запутать следы. За ночь нужно пройти верст двадцать. Арефа пристал к слобожанам, — им всем была одна дорога вниз по Яровой.

— Меня бы только до монастыря господь донес, — мечтал Арефа. — А там укроюсь где ни на есть... Да што тут говорить: прямо к игумну Моисею приду... Весь тут и кругом виноват. Хоть на части режь, только дома... Игумен-то с Гарусовым на перекосях и меня не выдаст. Шелепов отведать придется, это уж верно, — ну, да бог с ним.

Слобожане отмалчивались. Они боялись, как пройдут мимо Баламутского завода: их тут будут караулить... Да и дорога-то одна к Усторожью. Днем бродяги спали где-нибудь в чаще, а шли главным образом по ночам. Решено было сделать большой круг, чтобы обойти Баламутский завод. Места попадались все лесные, тропы шли угорами да раменьем, того гляди, еще с дороги собьешься. Приходилось дать круг верст в пятьдесят. Когда завод обошли, слобожане вздохнули свободнее.

— Пронес господь тучу мороком...

Один дьячок закручинился. Присел на пенек и сидит.

— Эй, дьячок, будет сидеть... Пойдем. Аль стосковался по Гарусове?

— А я ворочусь на завод, братцы, — ответил Арефа.

— Да ты в уме ли?

— А кобыла? Первое дело, не доставайся моя кобыла Гарусову, а второе дело — как я к дьячихе на глаза покажусь без кобылы? Уехал на кобыле, а приду пешком...

— Ах, дурья голова... Ведь кожу с тебя сымет Гарусов теперь, как попадешься к нему в лапы... А ему кобыла далась...

— А преподобный Прокопий на што?

Бродяги обругали полоумного дьячка и пошли своею дорогой. Отдохнул Арефа, помоллся и побрел обратно к

заводу. Припас всякий вышел, а в лесу по осени нечего взять. Разве где саранку выкопаешь да медвежью дудку пососешь... Затошал дьячок вконец, чувствует, что из последних сил выбивается. Пройдет с полверсты и приляжет. Только на другой день добрался до завода. Добраться добрался, а войти боится. Целый день пролежал за околицей, выжидая ночи, чтобы в темпоте пробраться на господские конюшни, где стояла кобыла. Лежит Арефа недалеко от проезжей дороги в кустах, а у самого темные круги перед глазами начинают ходить. А тут под самый вечер, глядит он, едут по дороге вершники. Поглядел дьячок и глазам своим не верит: везут связанными его слобожан. Попались где-то, сердяги... Перекрестился дьячок: ухранил преподобный Прокопий. Скоро провезли слобожан на полных рысях. У одного голова белым платком перевязана, а сам едва в седле держится, — должно полагать, стреляный. А пристава везут и все оглядываются, точно боятся погони. Удивительно это показалось дьячку.

Темною ночью пробрался он в Баламутский завод, а там стоит дым коромыслом. Все на ногах, все бегают, а сам Гарусов скрылся неизвестно куда. Сначала Арефа перепугался, а потом сообразил, что ему под шумок всего лучше выкрасть свою кобылу. На него никто не обращал внимания: всякому было до себя.

— Орда валит!.. Казаки идут!..— слышалось со всех сторон. — А наш-то орел схоронился...

— Догадлив, пес!

Работы были остановлены, и народ бродил по улицам, как пьяный. Слухи росли, а с ними увеличивалось и общее смятение. Это было не свое заводское волнение, успокаиваемое отчасти домашними средствами, отчасти воинскою рукой, а откуда-то извне надвигалась страшная гроза. Определенного никто ничего еще не знал, и это было хуже всего. Общую панику увеличило неожиданное бегство Гарусова, получившего какое-то важное известие с нарочным. На заводе всегда было много недовольных, и они сейчас объявились. Открытого возмущения не существовало, но уже сказывалось глухое недовольство и ропот. Это особенно проявилось тогда, когда приказчики потребовали рабочих на постройку вала, надолбов и рогаток.

— Пусть сам Гарусов строит! — галдела толпа. — Не бойсь удрал!

Более благоразумные люди говорили, что вся эта ку-

терьма только один подвох со стороны Гарусова, а потом он налетит и произведет жестокую расправу с ослушниками и своевольцами. Старик любил выкидывать штуки... Именно такие благоразумные и отправились копать рвы и делать рогатки. Работа была спешная, при освещении костров.

Арефа отлично воспользовался общею суматохою и прокрался на господскую конюшню, где и разыскал среди других лошадей свою кобылу. Она тоже узнала его и даже вильнула хвостом. Никто не видел, как Арефа выехал с господского двора, как он проехал по заводу и направился по дороге в Усторожье. Но тут шли главные работы, и его остановили.

— Куда черт понес?

— А по своему делу...

— Братцы, да ведь это дьячок с рудника! Держи его, оборотня!

Поднялся гвалт, десятки рук ухватились за кобылу, но Арефа сказал верному коню заветное киргизское словечко, и кобыла взвилась на дыбы. Она с удивительною легкостью перепрыгнула ров и понеслась стрелой по дороге в Усторожье.

— Держи дьячка!.. Братцы, держи!..

Вдгонку грянуло несколько выстрелов, но Арефа припал к шее верного коня, и опасность осталась позади.

IV

Арефа был совершенно счастлив, что выбрался жив из Баламутского завода. Конечно, все это случилось по милости преподобного Прокопия: он вызволил грешную дьячковскую душу прямо из утробы земной. Едет Арефа и радуется, и даже смешно ему, что такой переполох в Баламутском заводе и что Гарусов бежал. В Служней слободе в прежнее время, когда набегала орда, часто такие переполохи бывали и большею частью напрасно. Так, бегают, суеются, галдят, друг дружку пугают, а беду дымом разносит.

— Нет, Гарусов-то какого стрекача задал! — говорил Арефа своей кобыле. — Жив смерти, видно, боится... Это его преподобный Прокопий устигнул: не лютуй, не пей чужую кровь, не озорничай. Нет, брат, мирская-то слеза велика...

Отъехав верст двадцать, Арефа свернул в лесок покорить свою кобылу. «Ведь вот тварь, а чувствует, что домой идет, и башкой вертит». Прилег Арефа на травку, а кобыла около него ходит да травку пощипывает. «Хорошо бы огонек разложить, да страшно: как раз кто-нибудь наедет на дым, и повернут раба божия обратно в Баламутский завод. Нет, уж достаточно натерпелся за свою простоту».

— Эх, перекусить бы малую толику! — вслух думал Арефа. — Затошало вконец... Ну, да потерплю, а там дьячиха Домна Степановна откормит. Хорошо она заказные блины печет... Ну и редьки с квасом похлепать тоже отлично. Своя редька-то... А то рыбка пайдется соленькая: карасики, максунинка... Да еще капустки пластовой прибавить, да каши пшенной на молочке, да взварцу из черемухи, да вишенки...

От этих суетных мыслей у Арефы окончательно подвело живот. Лучше уж не думать, не тревожить себя напрасно.

Не успел Арефа передумать своих голодных мыслей, а хлеб сам пришел к нему. Лежит Арефа и слышит, как сушок хрустнул. Потом тихо стало, а потом опять шелест по траве. Чуткое дьячковское ухо, сторожливое, потому как привык сызмала в орде беречься: одно ухо слит, а другое слушает.

«Башкиратин кобылу скрасть хочет», — подумал Арефа и успокоился: не таковская кобыла, чтобы чужого человека подпустить.

И кобыла тоже учуяла, насторожилась и храпнула. Тоже степная тваринка, не скоро возьмешь... А человек действительно подкрадывался. Он долго разглядывал лежавшего на земле дьячка, спрятавшись за деревом.

— Ну, чего ты воззрился-то? — окликнул его Арефа. — Добрый человек, так милости просим на стан, а худой, так проходи мимо... У меня разговор короткий...

В сущности, Арефа струхнул, а напустил на себя храбрость для видимости: ночью-то не видно. Таинственный человек еще раз огляделся кругом и подошел. Это был плечистый мужик в рваном зипуне и рваной шляпенке.

— Вот што, мил человек, — заговорил он, подсаживаясь к Арефе, — едешь ты на кобыле один, а нам по пути...

— Н-н-о?

— Верно тебе говорю... Я от Гарусова с заводу бежал. Погони боюсь.

Арефа почесал за ухом и прикинулся, что не узнал по голосу, что за птица налетела. Он и в темноте сразу узнал самого Гарусова, хотя он и был переодет. Вот он, хороняка и бегун, где шляется... Но главное внимание Арефы обратила на себя теперь отдувавшаяся пазуха самозванного бегуна, и дьячок даже понюхал воздух.

— Знаешь сказку, мил человек,— заговорил Арефа,— поедешь налево: сам сыт — конь голоден, поедешь направо: конь сыт — сам голоден.

Мужик засмеялся и достал из-за пазухи здоровую краюху хлеба. Арефа только перекрестился: господь невидимо пищу послал. Потом он переломил краюху пополам и отдал одну половинку назад.

— Какой ты добрый на чужое-то,— засмеялся мужик.— Тоже, видно, от Гарусова бежишь?

— Ну, мы с Гарусовым-то душа в душу жили,— отшучивался Арефа, уплетая хлеб за обе щеки.— У нас все пополам было: моя спина — его палка, моя шея — его рогатка, мои руки — его руда... Ему ничего не жаль, и мне ничего не жаль. Я, брат, Гарусовым доволен вот как... И какой добрый: душу оставил.

Арефу забавляло, что Гарусов прикинулся бродягой и думал, что его не признают: от прежнего зверя один хвост остался. Гарусов в свою очередь тоже признал дьячка и решил про себя, что доедет на его кобыле до монастыря, а потом в благодарность и выдаст дьячка игумену Моисею. У всякого был свой расчет.

— Утро вечера мудренее, мил человек,— говорил Арефа.— Ужо кобыла отдохнет, на брезгу и поедем.

Ночью, однако, никому не спалось. Они караулили друг друга, чтобы один без другого не уехал на кобыле. Под утро они притворились, что спят, и Гарусов храпел, как зарезанный. Арефа наконец поднялся и поймал кобылу. Когда они сели верхом, дьячок проговорил:

— Бит небитого везет.

— А ты как знаешь?

— Рожка у тебя толстая... Закормил, видно, Гарусов-то с осени. Вишь, как нащечился!

— А тебя Гарусов-то, видно, мало еще бил: вон как язык болтается!

Так они и поехали вместе, как лучшие друзья, и только кряхтела одна кобыла. Дьячок сидел впереди и правил, а Гарусов сидел за ним. Арефа ехал и в умлении думал

о том, как господь смиряет гордыню и превозносит убогих. Вот хоть сейчас, стоит захотеть, и Гарусов пойдет пешком... Дорогой от нечего делать они болтали о разных разностях и подшучивали друг над другом. Здесь же в первый раз Арефа услышал, что проявился в казаках не прост человек, прозвищем Пугач, и что этот человек принял на себя августейшую персону государя Петра III. Молва уже облетела по казачьим уметам и станицам, перекинулась в орду и дошла до заводов. Бунтовали пока ближние башкиришки, которые грозились пожечь русские селения. К ним пристал разный сброд, шатавшийся по дорогам. Казакам тоже верить нельзя, — эти продадут. Арефа только качал своею маленькою головкой, припоминая, о чем болтали рабочие на руднике. Конечно, Гарусов не все рассказывает, а бежал он неспроста. Едут на одной кобыле, а мысли разные. Дорога была пустынная, а где попадалась деревушка, они объезжали ее стороной.

Так они ехали целый день и заночевали в лесу. Теперь до монастыря оставалось полтора дня ходу.

— Только бы до монастыря добраться, — повторял Арефа, укладываясь спать. — Игумен Моисей травником угостит... а то и шелепов не пожалеет. Он простоват, игумен-то...

— Ах ты, шиликун! — смеялся Гарусов. — Прост игумен?..

— С Гарусовым два сапога — пара... И любят друг дружку, водой не разольешь.

Друзья крепко спали, когда пришла неожиданная беда. Арефа проснулся первым, хотел крикнуть, но у него во рту оказался деревянный «кляп», так что он мог только мычать. Гарусов в темноте с кем-то отчаянно боролся, пока у него кости не захрустели: на нем сидели четверо молодцов. Их накрыл разъезд, состоящий из башкир, киргизов и русских лихих людей. Связанных пленников посадили на кобылу и быстро поволокли куда-то в сторону от большой дороги. Арефа и Гарусов поняли, что их везут в «орду».

«Ох, съедят мою кобылу башкиришки!» — думал Арефа в горести.

Гарусов и Арефа знали по-татарски и понимали из отрывочных разговоров схвативших их конников, что их везут в какое-то стойбище, где большой сбор. Ох, что-то будет?.. Всех конников было человек двадцать, и все везли

в тороках награбленное по русским деревням добро, а у двоих за седлами привязано было по молоденькой девке. У орды уж такой обычай: мужиков перебьют, а молодых девок в полон возьмут.

Так они ехали два дня и всего один раз пленникам дали напиток воды. Особенно страдал Гарусов. Лицо у него даже почернело, а оба глаза были подбиты. Отряд шел к стойбищу напрямик, по степной сакме. Лес и горы остались далеко позади. За пленниками усиленно следили, чтоб они не могли между собой разговаривать. Выехали на стойбище только на третий день к вечеру. Издали в степи показалось яркое зарево горевших костров. Навстречу вылетела стая высоких киргизских псов, а за ними прискакали другие конники. Все окружили пленников, осматривали их, щупали руками и всячески издевались. Особенно доставалось Арефе за его дьячковскую косицу.

На стойбище сбилось народу до двух тысяч. Тут были и киргизы, и башкиры, и казаки, и разные воровские русские люди, укрывавшиеся в орде и по казачьим станицам. Не было только женщин и детей, потому что весь этот сброд составлял передовой отряд. Пленников привязали к коновязям, обыскали и стали добывать языка: кто? откуда? и т. д. Арефа отрывисто рассказал свою историю, а Гарусов начал путаться и возбудил общее подозрение.

— Повесить их! — кричали голоса. — Они нас подведут при случае!

— Повесить успеем всегда, — спорил кто-то, — а надо из них правды добиться. На угольках поджарить али водой холодной полить: развяжут язык-то скорее.

К счастью Арефы, его опознал какой-то оборванец, бывший в Прокопьевском монастыре. Сейчас же его развязали и пустили на волю, то есть он оставлен был при шайке вместе с другими пленниками, которых было за сто человек. «Орда» давно бы передушила их всех, да не давали в обиду свои казаки, которые часто вздорили с «ордой». От этих пленников, набранных с разных мест, Арефа узнал досконально положение дела. О батюшке Петре Федорыче говорили везде, и все бежали к нему: сила у него несметная и всем жалуется волю. Одно смущало Арефу, что Петр Федорыч очень уж мирволил двоедамам и, как сказывали, сам крестился раскольничьим двуперстием. Второе было то, что казаки сыспокоен веку смуту разводили, и верить им было нельзя. Продувной народ, особенно на Яике. Од-

них беглых сколько укрывалось по казачьим землям, раскольников и всяких лихих людей. А тут вдруг батюшка Петр Федорыч объявился в казаках... Как будто оно и не совсем похоже.

Гарусову досталось от казаков. Его не признали за настоящего мужика и долго пытали, что за человек. Но крепок был Гарусов — все вынес. И на огне его припекали, и студеною ключевою водой поливали, и конским арканом пытали душить. Совсем зайдетса, посинеет весь, а себя не выдает. Арефа не один раз вступался за него, не обращая внимания на тумачи и издевательства.

— Ты заодно с ним, дьячок?.. Вместе на кобыле-то ехали...

— Неизвестный мне человек, — уверял Арефа. — Мало ли шляется по нынешним временам беспризорного народу. С заводов, грит, бежал.

— Смотри, дьячок, худо будет.

Особенно досталось Гарусову, когда он наотрез отказался есть кобылятину. Казаки хотя и считались по старой вере, а ели конину вместе с «ордой», потому что привыкли в походах ко всему. Арефа хоть и морщился, а тоже ел, утешая себя тем, что «не сквернит входящее в уста, а исходящее из уст». Гарусов даже плюнул на него, когда увидел.

— Ужо вот я скажу игумну-то Моисею, — пригрозил он. — Он из тебя всю душу вытрясет.

— А ты помалкивай лучше, кабы я чего не сказал, — ответил Арефа. — Ворочусь в монастырь и сам замолю свои грехи.

На стойбище простояли близко двух недель. А потом налетели казаки и увели своих. Пленные остались с одной «ордой». Вести были получены невеселые, и стойбище волновалось из конца в конец. Только одни пленные не знали, в чем дело. Скоро, впрочем, выяснилось, что и «орда» тоже снимается в поход. Сборы были короткие: заседлали коней, связали в торока разный скарб — и все тут. Пленных повели пешком, одною кучею, под прикрытием пяти джигитов, подгонявших отстававших нагайками. Страшнее этого Арефа ничего не видал. Немилостивая «орда» не знала пощады и заколачивала нагайками на смерть. Кормили тоже плохо, и пленные едва держались на ногах. Арефа всех лечил, перевязывал раны и вообще ухаживал за больными. Благодаря этой доморощенной ме-

дицине он спас и свою кобылу. Правда, что он валялся в ногах у немилостивой «орды», слезно плакал и, наконец, добился своего.

— Ну, потом съедим твою кобылу, — в виде особенной милости согласился главный вожак, тоже лечившийся у Арефы.

— А как я без кобылы к апайке¹ покажусь?.. — объяснял Арефа со своей наивностью. — Как к пей пешком-то ворочусь?

Две недели брели по степи, пока добрались до русской селитьбы. Из пленных едва уцелела «любая половина». А там пошла новая потеха: «орда» кинулась на русские деревни с особенным ожесточением, все жгла, зорила, а людей нещадно избивала, забирая в полоп одних подростков-девушек. Кровь лилась рекой, а «орда» не разбира-ла, — только бы грабить. В виде развлечения захваченных пленных истязали, расстреливали из луков и предавали самой мучительной смерти. Испуганные жители не знали, в какую сторону им бежать. А впереди везде по ночам кровавыми пятнами стояло зарево пожаров...

Пленных было так много, что «орде» наскучило вешать и резать их отдельно, а поэтому устраивали для потехи казнь гуртом: топили, расстреливали, жгли. Раз Арефа попался в такую же свалку и едва ушел жив. «Орда» разграбила одну русскую деревню, сбила в одну кучу всех пленных и решила давить их оптом. Для этого разобрали заплот у одной избы, оставив последнее звено. На него в ряд уложили десятка полтора пленных, так что у всех головы очутились по другую сторону заплота, а шеи на деревянной плахе. Сверху спустили на них тяжелое бревно и придавили. Это была ужасная картина, когда из-под бревна раздались раздиравшие душу крики, отчаянные вопли, стоны и предсмертное хрипенье. «Орда» выла от радости... Не все удавленники кончились разом. К общему удивлению, в числе удавленников оказался и дьячок Арефа. Он оказался живым благодаря своей тонкой шее.

— Ах ты, шайтан! — удивлялись башкиры, освобождая его из общей массы мертвых тел. — Да как ты-то попал?

Арефа со страху ничего не мог ответить, а только моргал. Его сильно помяли, и он дня три не мог произнести

¹ Апайка — жепя. (Примеч. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)

ни одного слова, а потом отошел. Этот случай всех насмешил, даже пленных, ожидавших своей очереди.

— Вызвали преподобный Прокопий от неминуемой смерти, — слезливо объяснял Арефа. — Рядом попались мужики с толстыми шеями, — ну, меня и не задавило. А то бы у смерти конец...

Все эти ужасы были только далеким откликом кровавого замирения Башкирии, когда русские проделывали над пленными башкирами еще бóльшие жестокости: десятками сажали на кол, как делал генерал Соймонов под Оренбургом, вешали сотнями, отрубали руки, обрезывали уши, морили по тюрьмам и вообще изводили всяческими способами тысячи людей. Память об этом зверстве еще не успела остыть, и о нем пели заунывные башкирские песни, когда по вечерам «орда» сбивалась около огней. Всех помнила эта народная песня, как помнит своих любимых детей только родная мать: и старика Сеита, бунтовавшего в 1662 году, и Кучумовичей с Алдар-баем, бунтовавших в 1707 году, и Пепеню с Майдаром и Тулкучурой, бунтовавших в 1736 году. Много их было, и все они легли за родную Башкирию, как ложится под косой зеленой степная трава.

Курились башкирские огоньки, а около них башкирские батыри пели кровавую славу погибшим бойцам, воодушевляя всех к новым жестокостям. Кровь смывалась кровью... У Арефы сердце сжималось, когда башкиры затягивали эти свои проклятые песни.

V

Пока дьячок Арефа томился в огненной работе, в медной горе, а потом в полоне, Прокопьевский монастырь переживал тревожное время. Со всех сторон подвигались плохие вести, и со всех сторон к монастырю сбегался народ из разоренных и выжженных деревень и сел. Не в первый раз за монастырскими толстыми стенами укрывались от напастей, но тогда наступала, зорила и жгла «орда», а теперь бунтовали свои же казаки, и к ним везде приставляли не только простые крестьяне, а и царские воинские люди, высылаемые для усмирения. Творилось что-то ужасное, непонятное, громадное, и главное — сейчас нельзя было даже приблизительно определить размеры поднимающейся грозы. Слухи о самозванце тоже немало смуща-

ли: то он идет с несметною силой, то его нет, то он появится в таком месте, где никто его не ожидал. К казакам прежде всего пристала «орда», а потом потянули на их же сторону заводские люди, страдавшие от непосильных работ и еще более от жестоких наказаний, бывшие монастырские крестьяне, еще не остывшие от своей дубинщины, слобожане и всякие гулящие люди, каких так много бродило по боевой линии, разграничивавшей русские владения от «орды».

Прокопьевский монастырь ввиду всех этих обстоятельств чередился сильною рукой. Игумен Моисей самолично несколько раз обошел все стены, подробно осмотрел сторожевые башни, бойницы и привел в известность весь воинский снаряд, хранившийся по монастырским подвалам и кладовым. Всех башен было пять по углам окаймлявшей монастырь стены. В каждой стояло по три пушки в двадцать пудов весом, затем меньшие пушки спрятаны были в бойницах, а на особых площадках открыто помещались чугунные мортиры. Самая большая пушка, весившая сто двадцать пудов, стояла на монастырском дворе против полуденных ворот, — это было самое опасное место, откуда нападала «орда». На случай, если бы неприятель сбил ворота, он был бы встречен двадцатифунтовым ядром. Особенно любовался этою большою пушкою новый инок Гермоген. Он по нескольку раз в день обходил ее кругом, ощупывал лафет и колеса, любовно гладил и еще более любовно говорил келарю Пафнутию:

— Это наша матушка игуменья... Как ахнет старушка, так уноси ноги.

Вообще Гермоген ужасно интересовался всякою воинскою снастью и даже надоел грозному игумену своими расспросами, как и что и что к чему. Чугунных ядер и картечи в кладовых было достаточно — несколько тысяч, а пороху не хватало — всего было двенадцать пудов и несколько фунтов. Кроме пушек и мортир, в монастыре было три десятка старинных затинных пищалей и до ста ружей — фузей, турок, мушкетонов и простых дробовиков. В особом амбаре хранилось всякое ручное оружие — луки, копья, сабли, пики, а также проволочные кольчуги, старинные шишаки и брони. Весь этот воинский скарб был добыт из подвалов и усиленно приводился в порядок монахами. Из Усторожья воевода Полуект Степаныч прислал нарочито двух пушкарей, которые должны были

учить монахов воинскому делу. Положим, пушкарки были очень древние старцы, беззубые и лысые, но и от них Гермоген успел научиться многому: сколько «принимала зелья» каждая пушка, как закладывается ядро, как наводить цель, как чистить после стрельбы и т. д. По совету Гермогена, одну трехфунтовую пушку монахи втащили на каменную колокольню собора. Из нее можно было отстреливаться на далекое расстояние, особенно по течению Яровой.

А у игумена Моисея, кроме своего монастыря, много было забот с Дивьей обителью, которая тоже всполошилась. Главная причина заключалась в том, что там томилась в затворе именитая узница, а потом наехала воеводша Дарья Никитишна, сильно неладившая с воеводой благодаря девке Охоньке. Игумен Моисей раз под вечер самолично отправился в Дивью обитель, чтобы осмотреть все. Не любил он это «воронье гнездо» и годами не заглядывал сюда, а теперь пришлось. Скрепил сердце игумен Моисей и отправился в сопровождении черного попа Пафнутия. Вся обитель всполошилась, когда появился редкий гость, и только лежала одна игуменья Досифея, прикованная к одру своею тяжкою болезнью. В другой комнате игуменской кельи проживала воеводша. Игумен Моисей обошел кругом стены и только покачал головой: все сгнило, обвалилось и кричало о запустении. Башен было всего две, да и те покосились и грозили падением ежечасно.

— Плохо место,— заметил Пафнутий, поглядывая на обительские стены.— Одна труха осталась... Пожалуй, и починивать нечего.

— Пора совсем порушить это лукошко,— задумчиво ответил игумен.— Не подобает ему здесь быти... Пронесет господь грозу, сейчас же снесу обитель напрочь.

— А куда же сестры денутся?

— По другим монастырям разошлем... Да и разослал бы раньше, кабы не эта наша княжиха. Нет моей силы на нее... Сам подневольный человек и ответ за нее держу. Ох, связала меня княжиха по рукам и по ногам!

Все хмурился игумен Моисей, делая обзор захудавшей обители. Он побывал и в келарне, и в мастерских, где сестры ткали себе холсты, и отсюда уже прошел к игуменье.

На пороге встретила грозного игумена сама воеводша Дарья Никитишна. Сильно она похудела за последнее время, постарела и поседела: горе-то одного рака красит. Игумен благословил ее и ласково спросил:

— Ну, как поживаешь, матушка-воеводша?

— Ох, не спрашивай... Какое мое житье: ни баба, ни девка, ни вдова. Просилась у Полуехта Степаныча на пострижение в обитель, так он меня так обидел, так обидел... Истинно сказать, последнего ума решился.

— Мудреное ваше дело, воеводша. Гордыня обуяла воеводу, а своя-то слабость очень уж сладка кажется... Ему пора бы старые грехи замаливать, а он вон што придумал. Писал я ему, да только ответа не получал... Не сладкие игуменские письма.

Дарья Никитишна только опустила глаза. Плохо она верила теперь даже игумену Моисею: не умел он устрашить воеводу вовремя, а теперь лови ветер в поле. Осатанел воевода вконец, и приступу к нему нет. Так на всех и рычит, а знает только свою поганку Охоньку. Для нее подсек и свою честную браду, и рядиться стал по-молодому, и все делает, что она захочет, поганка. Ходит воевода за Охонькой, как медведь за козой, и радуется своей гибели. Пробовала воеводша плакаться игумену Моисею, да толку вышло мало.

— У меня с игуменом будет еще свой разговор, — хвастался воевода. — Он еще у меня запоет матушку-репку...

Воевода не мог забыть монастырской епитимии, которой его постоянно корила Охоня. Старик только отплевывался, когда заводилась речь про монастырь. Очень уж горько ему досталось монастырское послушание: не для бога поработал, а только посмешил добрых людей. То же самое и Охоня говорила...

— Все лежишь, Досифей? — спрашивал игумен Моисей.

— Бог за всех наказывает, — смиренно ответила больная игуменья. — Молитвы-то наши недоходны к богу, вот и лежу второй год. Хоть бы ты помолился, отец...

— И то молюсь по своему смирению... Вот стенки пришел поглядеть: плохо ваше место, игуменья. Даже и починивать нечего... Одна дыра, а целого места и не покажешь.

— А чья вина? — заговорила со слезами Досифей. — Кто тебя просил поправить обитель? Вот и дождались: набежит орда, а нам и ущититься негде. Небойсь сам-то за каменную стеною будешь сидеть да из пушек палить...

— Еще неизвестно, што будет, а ты зря болтаешь...

— Чего зря-то: неминуемое дело. Не за себя хлопочу, а

за сестер. Бон слухи пали, Гарусов бежал с своих заводов... Казачишки с «ордой» хрестьян зорят. Дойдут и до нас... Большой ответ дашь, игумен, за души неповинные. Богу один ответ, а начальству другой... Вот и матушка-воеводша с нами страдать остается, и сестра Фоина в затворе.

— Будет, мать Досифея... Без тебя знаю,— сурово отвел игумен.— Тебя не прошу за себя ответ держать...

— Горденек стал, игумен, а господь и тебя найдет. С меня нечего взять: стара и немощна. А жалеючи трудниц, говорю тебе... Их некому ущитить будет в обители. Сиротские слезы велики... Ты вот зол, а может, позлее тебя найдутся.

— Да што ты мне грозить?! — крикнул игумен, стукнув костью.— Раскаркалась ворона к ненастью...

— А я скажу, все скажу,— не унималась Досифея.— Все тебя боятся, а я скажу. Меня ведь бить не будешь, а в затвор посадишь, за тебя же бога буду молить. Денно-нощно прошу смерти, да бог меня забыл... Вместе с обителью кончину приму. А тебя мне жаль, игумен,— тоже напрасную смерть примешь... да. Ох, как надо молиться тебе... крепко молиться.

Не выносил игумен Моисей встречных слов и зело распалился на старуху: даже ногами затопал. Пуще всех напугалась воеводша: она забилась в угол и даже закрыла глаза. Впрямь последние времена наступили, когда игумен с игуменьей ссориться стали... В другой комнате сидел черный поп Пафнутий и тоже набрался страху. Вот вот игумен размахнется честным игуменским посохом,— скор он на руку,— а старухе много ли надо? Да и прозорливица Досифея недаром выкликает беду,— быть беде.

Так и ушел игумен Моисей, ни с кем не простившись. Гневен был и суров свыше меры. Пафнутий едва попевал за ним.

— Завтра поеду в Усторожье,— объявил игумен Моисей келарю Пафнутию, когда они входили в монастырь,— у нас в монастыре все в порядке... Надо с воеводой переговорить по нарочито важному делу. Я его вызывал, да он не едет... Время не ждет.

Келарь Пафнутий только опустил глаза, проникая в тайный смысл игуменского намерения. Стыдно ему стало за игумена. И ночью плохо спалось черному попу Пафнутию. Все он думал про игумена и смущался от черных мыслей, которые так и крутились над ним, как летний

овод. И грешно было думать так, и стыдно за игумена... Славу пустит про себя неудобосказуемую, да и на весь монастырь вместе. Благоуветливый инок тяжело вздыхал и всю ночь проворочался с боку на бок. А подумать было о чем: ведь он должен был заместить игумена Моисея и за все отвечать. Может, и напрасно он смущается — опять хорошего мало. Сумрачен встал Пафнутий на другой день, а игумен уж успел собраться: живою рукою склался. Тороплив не ко времени сделался.

— Я скоро ворочусь, а вы на всякий случай сторожитесь, — советовал игумен, благословляя братию. — Поднимается великая смута, но да не смутится сердце ваше: господь любя наказует...

Братия молча поклонилась игумену в землю, и никто не проронил ни одного слова на игуменский увет. Какое-то смущение овладело всеми, а когда игуменская колымага, запряженная четверней цугом, выехала из ворот, неизвестный голос сказал:

— Однако и напугала его матушка Досифея!..

Все оглянулись, а кто сказал, так и осталось неизвестным. Келарь Пафнутий поник своею лысою головою: худая весть об игуменском малодушестве уже перелетела из Дивьей обители в монастырь.

Сумрачен ехал игумен Моисей в Усторожье: туча тучей. Все как-то не клеилось у него... Не успела утихнуть дубинщина, как поднимается новая завороха, да еще похуже старой. Со всех сторон шли худые вести, а от гражданской власти никакой помощи пока еще не видали. Тот же воевода засел себе в Усторожье и знать ничего не хочет. Черные мысли одолели игумена Моисея, а тут еще выжившая из ума Досифея каркает про напрасную смерть... Покажет он прозорливице, какая бывает напрасная смерть, только бы сперва избыть свою беду.

В Усторожье игумен прежде останавливался всегда у воеводы, потому что на своем подворье и бедно и неприборно, а теперь велел ехать прямо в Набежную улицу. Прежде-то подворье ломилось от монастырских припасов, разных кладей и рухляди, а теперь один Спиридон управлялся, да и тому делать было нечего. У ворот подворья сидел какой-то оборванный мужик. Он поднялся, завидев тяжелую игуменскую колымагу, снял шапку и, как показалось игумену, улыбнулся.

— Што за человек? — сурово спросил игумен старца

Спиридона, глядевшего на него оторопелыми глазами.— Там, у ворот?..

— А там... неведомо кто, владыко. Пришел, да и прижился. Близко недели, как на подворье... Из «орды», сказывает, едва ушел, из полону. Отдыхает теперь... Он будто верхом приехал, а сам зело немощен. Били, сказывает, пещадно...

Оглядевшись, старец Спиридон прибавил уже шепотом:

— Одно неладно, владыко: лошадь-то я опознал у него. Дьячок тут в Служней слободе был, так его, значит, кобыла...

Игумен велел позвать таинственного мужика и, когда тот вошел, притворил дверь на крюк. Мужик остановился у порога и смело смотрел на грозного игумена, который в волнении прошелся несколько раз по комнате.

— Што, сладко ли в орде было? — спросил игумен, останавливаясь.— Все, видно, бросил, ничего с собою не взял... Монастырское-то добро вирок не пошло? Вижу твое рубище, а не вижу смирения...

— Не под силу нам, мирским людям, смирение, когда и монахов гордость обуяла,— смело ответил мужик.— Я свою гордость пешком унес, а ты едва привез ее на четверне...

— Смейся, заблудящий пес... Скитаешься по орде, яко Каин, стяный и трясыйся, а других коришь гордостью. Дивно мне поглядеть на тебя...

— А мне еще дивнее тебя видеть, как ты бросил свой монастырь и прибежал схорониться к воеводе. Ты вот псом меня взвеличал, а в Писании сказано, што «пес живой паче льва мертва...». Вижу твой страх, игумен, а храбрость свою ты позабыл. На кого монастырь-то бросил? А, промежду прочим, будет нам бобы разводить: оба хороши. Только никому не сказывай, который хуже будет... Теперь и делить нам с тобой нечего. Видно, так... Беда-то, видно, лбами нас вместе стукнула.

Смелый мужик положил шанку и протянул руку игумену.

— Здравствуй, Тарас Григорьевич... Сильно ты помят, пожалуй, и не признать бы сразу.

— И то никто не узнает, а я и рад... Вот выправлюсь малым делом, отдохну, ну, тогда и объявлюсь. Да вот еще к тебе у меня есть просьба: надо лошадь переслать в Служную слободу. Дьячкова лошадь-то, а у нас уговор был: он

мне помог бежать из орды на своей лошади, а я обещал ее представить в целости дьячихе. И хитрый дьячок: за ним-то следили, чтобы не угнал на своей лошади, а меня и проглядели... Так и жив ушел.

Гарусов был совершенно неузнаваем благодаря ордынскому полону. Только игумен узнал его сразу. Долго они проговорили запершись, и игумен качал головой, пока Гарусов рассказывал про свои злоключения. Всего он натерпелся и сколько раз у смерти был, да и погиб бы, кабы не дьячок. Рассказал Гарусов, что делается в орде и в казаках и как смута разливается уже по Южному Уралу. Мятежники захватили заводы и сами льют себе пушки.

— А воевода Полуехт Степаныч сидит в Усторожье да радуется,— заключил Гарусов свой рассказ.— Свое стариковское лакомство одолело... Запрется, слышь, с дьячковскою дочерью и кантует.

— А вот мы доберемся до него.

Вечером игумен Мойсей и Гарусов пешком отправились к воеводскому двору, а там и ворота на запоре, и ставни закрыты. Постучали в окошко. Выглянул сам воевода.

— Што вам нужно, полуношники? — громко спросила воеводская голова.

— А к тебе в гости пришли, Полуехт Степаныч... Аль не признал?.. Ну-ко, растворишь да принимай дорогих гостей честь-честью...

Голова скрылась. Долго пришлось ждать гостям, пока распахнулись тяжелые ворота и дорогих гостей пустили на воеводский двор. Сам Полуехт Степаныч вышел на крыльцо.

— Благослови, владыко...

— Нет тебе благословения, блудник! — отрезал игумен Мойсей, проходя в горницы.— Где девку спрятал? Подавай ее... Она моя, из нашей Служней слободы, а ты ее уволок тогда с послушания, как волк овцу. Подавай девку... Сейчас проклянута!..

Затрясся весь Полуехт Степаныч, из лица выступил и только прошептал:

— Ничего я не знаю, владыко... Бери сам, а я не знаю.

Игумен Мойсей обошел воеводские покои и нашел Охоню в опочивальне. Он ухватил ее за руку и вывел с воеводского двора, а потом привел на подворье, толкнул в баню и сам запер на замок. Охоня молчала все время. Оде-та она была, как боярыня: в парчовом сарафане, в кокош-

нике, в шелковой рубашке. Старец Спиридон сунул ей в окно холщовую исподницу и крестьянский синий дубас. Она так же молча переделась и выкинула в окно свой боярский наряд и даже ленту из косы, а оставила себе только одно золотое колечко с яхонтом.

VI

Охоня высидела в бане целых три дня и все время почти не ела. Да и нечего было есть. Только старец Спиридон сжалится иной раз и принесет какую-нибудь корочку.

— Эй, Охоня, што ты все молчишь? — спросил старик.

— Тошно... отстань...

— Эх, девонька, неладно твое дело, а поправить нельзя: пролакомила свою честь девичью на воеводском дворе.

— А што мне было дожидать?.. Хоть час, да мой... Было бы в чем покаяться да под старость вспомнить.

— Девка, молчи!..

— И то молчу... А ты не спрашивай без пути. Говорят тебе: тошно.

— Грех-то какой ты на душу приняла, а? — брюзжал Спиридон.— Ты подумай только, грех-то какой...

— У девки один грех, а ты осудил,— грех-то и вышел на тебе. Помру, ты же замаливать будешь.

— Ну и девка! — удивлялся Спиридон.— Ты как должна бы себя содержать: на голос реветь... А то молчит, как березовый пень.

— Может, плакать-то не о чем. Надоед... уйди.

Старец Спиридон только вздохнул. Ну, и чадушко только зародилось у дьячка. Того гляди, еще что-нибудь делает над собой. А Охоня действительно сильно задумывалась: забьется в угол и по целым часам не шевельнется. Думает-думает, закроет глаза, и кажется ей, точно она по воде плывет. Все дальше, все дальше, а тут обомрет сердце, дух захватит, и она вскочит, как сумасшедшая. Страх напал на нее по ночам. Все какие-то шаги слышатся, а потом знакомый сердитый голос спрашивает: «А, ты вот где!» Хочет Охоня крикнуть и не может. У самой руки и ноги трясутся, пот холодный выступает. Ах, как страшно, как горько, как обидно! Все-то свою девичью жизнь вспоминает Охоня, как она у бати жила в Служней слободе, ничего не знала, не ведала, как батю в Усторожье увезли,

как ходила к нему в тюрьму... А там в окно глядели на нее два соколиных молодецких глаза, — глядели прямо в душу, и запал молодецкий взгляд. Горячие девичьи сны грезой прошли, а потом все повернулось по-другому. Очень уж не поглянулось Охоне обительское послушание: убежала она к старому да корявому воеводе. Стыдно ей было сначала, а больше того муторно. Ласковый был к ней Полуект Степаныч, и боялась она, когда он к ней подходил. Припадочный какой-то старичонка, а размякнет, так не глядели бы глазыньки. Туда же — целоваться лезет, сторожит, заглядывает... Смешно даже было, когда Охоня, случалось, прогонит его, а воевода сядет и заплачет, как ребенок малый.

— Сняла ты с меня голову, Охоня, а теперь гонишь... Молодого тебе надо. Скучно со стариком...

В другой раз Охоня и пожалеет воеводу, приголубит, засмеется, и воевода повеселеет.

Да, было всего, а главное — стала привыкать Охоня к старому воеводе, который тешил ее да баловал. Вот только кончил скверно: увидел игумена Моисея и продал с первого слова, а еще сколько грозился против игумена. Обидно Охоне больше всего, что воевода испугался и не выстоял ее. Все бы по-другому пошло, кабы старик удержался.

А воевода тоже думал и передумывал об Охоне все эти три дня. Старик даже плакал, запершись у себя в опочивальне. А когда ему принесли с подворья весь дареный Охонин наряд, воевода затрясся, припал головой к парчовому сарафану и зарыдал. Все прислала назад, ничего не оставила, кроме перстенька с яхонтом. Такое лютое горе схватило воеводу, такое горе, что хуже и не бывает. Пробовал он было подослать на подворье верного раба, писчика Терешку, но тот вернулся, почесывая бока, — больно дерется игуменский посох... А через три дня игумен взял у воеводы нарочитую колымагу и отправил в Дивью обитель за воеводшей. Повесил седую голову Полуект Степаныч, закручинился... Молодая-то радость вспорхнула, и нет ее, а воеводшу не скоро-то избудешь. Возвратится из обители, поселится и будет жить, как бельмо на глазу. Эх, Охоня, Охоня!.. Эх, старость проклятая!.. Одного не знал воевода, что в колымаге отправлена была и Охоня, под крепким караулом. Ее прямо должны были привезти в Дивью обитель и посадить в затвор, как сидела инокиня Фопна.

Утешался Полуект Степаныч только травником, да и то приходилось пить одному,— ни игумен, ни Гарусов не принимали даже стомаха ради. Выпьет воевода, задумается, а у самого слезы катятся.

— Ну, будет тебе дурить! — бранил его игумен.— На старости лет натворил того, што и подумать-то нелепо. С лукавою плотью нужно бороться и нещадно ее терзать.

— А ежели меня дьячок испортил? — оправдывался воевода.— Я-то знаю хорошо, как все это дело вышло... Вот как испортил: не успел я глазом мигануть. Какие он мне слова-то говорил?.. Ох, горюшко душам нашим!

— Ну, это уж ты врешь! — спорил игумен, стучая посохом.— Дьячок просто дурак, а ты дурака слушал... Я вот его на цепь прикую, как только выворотится из орды. Сколько ни погуляет, а моих рук не минует.

— Теперь ты не удивись его ничем,— посмеивался Гарусов.— После моей науки нечему учить... Сам дьячок-то мне говорил, что у вас в монастыре только по губам мажут, а настоящего и нет.

— Ну, ты уж тово, как медведь,— ворчал воевода.— Зачем на смерть-то забивать крестьянишек?

— А ежели они не хотят задатков отрабатывать?

— Помалкивай, Тарас Григорыч... Знаем, што знаем, а, промежду прочим, дело твое, ты и в ответе.

Гарусов был скучный такой и редко вступался в разговор. Сидит, молчит и вздыхает. Забота у него была о своем деле. Что-то там творится?.. Плохо место, когда свои работники поднимутся, а приказчикам без него не управиться. Сколько уже теперь времени-то прошло... А ведь все там осталось, на Баламутском заводе да на руднике. Разорят вконец, ежели казакишки захватят все обзаведение. Поправлять поруху хуже, чем заново строиться. Эх, плохо дело... А начальство ничего не хочет помочь, да и силы нет. Вот ждут в Усторожье со дня на день рейтар и драгун из Тобольска, а о них ни слуху ни духу. Улита едет, когда-то будет. И все так у начальства: схватятся, а дело уже сделано.

А время-то как летит. Вот и осень миновала, и первый снежок пал. Мерзлая земля гудит под конским копытом, как стекло. Яровая покрылась льдом. Сиверком начало подувать. А у Гарусова даже шубы своей нет. Пришлось взять шубенку у воеводы и в чужой щеголять. Тошно Га-

русову: бродит он по Усторожью, как неприкаянный, и все смотрит в свою сторону. Заберется на башню и смотрит, как по степи гуляет сиверко да сухой снег подметаает. А потом стыдно делается Гарусову, когда он с игуменом Моисеем встретится: оба бежали. Воевода, когда немножко отошел от своей лихоты, стал травить гостей. Нет-нет, да и завернет кусательное словечко, а гостей коробит.

— Хорошо, што вы вовремя помирились,— язвит Полуект Степаныч.— А то делились, делились, никак разделиться не могли... Игумену своего жаль, а Гарусов чужое любит.

— Кто старое помянет, тому глаз вон, Полуехт Степаныч. Вот што ты заговоришь, когда воеводша Дарья Никитишна из обители выворотится.

— А ежели на меня напущено было? Да ты, Тарас Григорыч, зубов-то не заговаривай... Мой грех, мой и ответ, а промеж мужа и жены один бог судья. Ну, согрешил, ну, виноват — и весь тут... Мой грех не по улице гуляет, а у себя дома. Не бегал я от него, не прятался, не хоронил концов.

— Так, так,— повторял игумен.— Хороший ты человек, восвода, когда спишь. А днем-то мы тебя што-то немного видим. Вот и сидим у тебя да ждем погоды. Засилья нам не даешь, а то и мы бы выворотились к своим местам...

— Ужо по заморозкам рейтары придут,— ответил воевода.— Они теперь на виштер-квартирах... Мне и то мазор Мамеев засылку делал... Тоже приказу ждуть. Неведомо еще, куда их пошлют. А вас и без рейтар учитим... Тоже видали виды...

В Усторожье приходили беглецы с линии и приносили невеселые вести. Смута росла, как пожар. Теперь уже все было охвачено: и бывшая монастырская вотчина, и южные заводы, которые были в Оренбургской губернии. Воровские люди заняли весь Яик, а потом разошлись по казачьим станицам на Ую. А там башкиры поднялись. У них свой батырь объявился. Тесное житьишко везде, народ разбежался куда глаза глядят, а помощи ниоткуда. По станицам гарнизоны сами сдаются самозванцу, а попы даже с крестом встречают и на ектеньях поминают царя Петра Федорыча.

— Что же это будет-то? — спрашивал Гарусов, наступая на воеводу.— Где же начальство-то? Чего оно смотрит?..

— А вы сами виноваты,— объяснял Полуект Степа-

ныч.— Затеснили вконец крестьян, вот теперь и расхлебывайте кашу... Озлобился народ, озверел. У всякого своя причина. Суди на волка, суди по волку... А главная причина — темнота одолела. Вот я,— у меня все тихо, потому как никого я напрасно не обижал... У меня порядок.

Похвастался воевода, а тут как раз писчик Терешка сбежал к мятежникам да еще подбросил на воеводский двор «противное» письмо, в котором всячески обзывал старого воеводу и грозил ему выдергать по волоску всю «поганую бороденку».

— Что же, не кормя, не поя, вброга не наживешь,— грустно заметил Полуект Степаныч.

Побег Терешки обозначал, во-первых, близость поднимавшейся грозы, а во-вторых, то, что и в Усторожье не все было спокойно и что существовали какие-то тайные сношения с неприятелем. Полуект Степаныч сразу встряхнулся и принялся за дело. Он осмотрел вал и ров, деревянные стены с надолбами, рогатки, башни, ворота, привел в известность воинский снаряд и произвел смотр своей команде. Старик сам подтянулся, вспомнив былые походы в орду и сторожевую службу по линии. Городские жители тоже готовились к предстоящему сиденью, потому что и зима велика, а народу набегит со всех сторон достаточно. А тут подметное письмо нашли на паперти собора и другое в судной избе. Это был — «именной указ самодержавного императора Петра Федоровича Всероссийского и проч., и проч., и проч.», в котором говорилось: «Как деды и отцы ваши служили, так и вы мне послужите, великому государю, верно и неизменно, до последней капли крови. А когда вы исполните мое именное повеление и за то будете жалованы крестом и бороною, рекою и землею, травами и морями, денежным жалованьем и хлебным провиантом, и свинцом, и порохом, и вечною вольностью. И повеление мое исполните со усердием. Ко мне приезжайте, то совершенно меня за оное приобрести можете к себе мою монаршескую милость; а ежели вы моему указу противиться будете, то вскорости восчувствовать на себя праведный мой гнев. Власти всевышнего создателя нашего и гнева моего избегнуть не может никто,— от сильных нашей руки защищать не может». Дальше следовала именная подпись: «Великий государь Петр Третий Всероссийский». В народе, вероятно, такие возмутительные листы ходили еще раньше.

Возмутительные листы были прочитаны в воеводском доме соборне. Воевода только покачал головой, рассматривая тот лист, который был подкинут в судную избу.

— Терешкина рука,— проговорил он со вздохом.— Ах, сквернавец!..

— А это дьячкова рука,— уверял игумен Моисей, разглядывая другой лист.— Напрасно ты его до смерти не замучил, Тарас Григорьич... Хорошим ремеслом занялся, нечего сказать. Повесить мало... А что же наша воеводша не едет?

— Пора бы ей быть дома,— смущенно заявлял воевода.— Не попритчилось ли какого дурна на дороге, не ровен час!..

В сущности, воевода думал про себя, что как бы хорошо вышло, ежели бы бунтовщики порешили его воеводшу, а он остался бы вдовцом. Время бурное, и все может быть. Прямо он этого не высказывал, но про себя согрешил, подумал. И жаль воеводшу, пожалуй, и хорошо бы пожить на своей полной воле. Воеводша приехала совершенно неожиданно ночью, когда ее никто не ждал. Колымага прилетела к городским воротам на всех рысях, спасаясь от погони. Ударили тревогу, и всполошился весь город. Оказалось, что колымагу остановили пять вершников еще на Калмыцком броду, чуть не в виду Прокопьевского монастыря. Первый, кто заглянул в колымагу, был Терешка-писчик. Дарья Никитишна вся обмерла со страху, ожидая неминуемой смерти, но Терешка ограничился только тем, что обыскал ее и забрал кошелек да разную ценную рухлядь.

— Терешка, побойся ты бога,— взмолилась воеводша.

— Это вы побойтесь теперь бога-то, а мы достаточно его боялись,— с холопскою наглостью ответил Терешка.— Поклончик воеводе... Скоро увидимся, и то я уж соскучился.

Из других вершников напугал воеводшу рослый молодой детина в бараньей шапке с красным верхом. Он, видимо, был за начальника. Заглянув в кибитку, молодец схватил уже воеводшу за руку, но Терешка его остановил:

— Оставь, Тимошка... Старуха добрая, и воевода по ней соскучился. Пусть порадуетса, што старушка благополучно доехала.

По всем приметам, это был Тимошка Белоус, тот самый беломестный казак, который сидел за дубинщину в

усторожской судной избе и потом бежал. О нем уже ходили слухи, что он пристал к мятежникам и даже «атамапит».

— Посмеялись они над нелюбимою женою, — жаловалась воеводша. — Ну, да бог их простит... Чужой человек и обидит, так не обидно, а та обида, которая в своем доме.

Воеводша встретила с мужем, как и следует жене: вида никакого не подала, что сердится или обижена. Воевода порядком струхнул и немного совестился. Оба вместе думали одно и то же: напущена беда со стороны. Старуха обошла свои покои вместе с игуменом Моисеем и попросила окропить их святою водою, чтоб и духу от недавней нечисти не осталось. А потом, как ни в чем не бывало, стала рассказывать привезенные повести. Воровские люди уже завладели Баламутским заводом, контору сожгли вместе со всеми бумагами, господский дом разграбили, а на фабрике стали лить чугунные ядра да пушки. На медном руднике затопили все шахты и освободили колодников, а приказчиков перебили. Народ ходит пьяный. Приставов и уставщиков перевязали и мучат всякими муками.

— Похваляются Прокопьевский монастырь взять, — рассказывала воеводша, покачивая головой. — На монастырскую казну зарятся... А потом, говорят, и Усторожью несдобровать.

— А про дьячка Арефу не слыхать? — полюбопытствовал Гарусов.

— Как же, пали слухи и про него... Он теперь у них в чести и подметные письма пишет. Как-то прибегала в обитель дьячиха-то и рекой разливалась... Убивается старуха вот как. Охоньку в затвор посадили... Косу ей первым делом мать Досифея обрезала. Без косы-то уж ей деваться будет некуда. Ночью ее привезли, и никто не знает. Ох, срамota и говорить-то... В первый же день хотела она удавиться, ну, из петли вынули, а потом стала голодом себя морить, Насильно теперь кормят... Оборотень какой-то, а не девка.

VII

В Прокопьевском монастыре в конце 1773 года скопилась масса народа, сбжавшегося сюда со всей Яровой и ордынской линии. Другие пока пристроились в Служней

слободе, потому что монастырских помещений не хватало. А время было зимнее, холодное, и всем пужно было тепло. Сначала келарь Пафнутий принимал всех без разбора, а потом пришлось отказывать. Хлебная и квасоварня и часть иноческих келий отошли под пришлый парод, а сами благоуветливые старцы сблизь в общей братской трапезе. Келарь Пафнутий постоянно чесал затылок, когда встречалось какое-нибудь затруднение. Беда все близилась. Дороги к Усторожью, в «орду» и на заводы были захвачены мятежниками. Беглецы являлись в монастырь в самом жалком виде и рассказывали ужасы. Взбунтовались заводские рабочие, башкиры, монастырские крестьяне, и все сбивались в одну шайку, чтоб идти на Прокопьевский монастырь.

— В Башкири свой атаман объявился, — рассказывали беглецы. — Из тептярей он, Салават Юлаев... С ним великое множество конников. Все грабят, жгут, зорят...

Но Башкирия была не страшна, потому что она хозяйничала в своих горах и по ту сторону Урала, куда наступали пугачевские скопища, пролагая себе кровавый путь. Страшнее был новый пугачевский атаман Тимошка Белоус, который грозился разнести Прокопьевский монастырь по кирпичику. Он прославился еще в монастырскую дубинщину, и за ним свои крестьяне шли толпами. Рассказывали, что при Белоусе главным советником стоит слепец Брехун, томившийся с ним вместе в усторожской тюрьме, а писчиками Терешка и дьячок Арефа. Последнее смущало монастырскую братию больше всего. Как это могло случиться, чтобы смиренный дьячок пошел на такое богопротивное дело? Монастырская братия негодовала, и защищал Арефу только один инок Гермоген.

— Не своею волей Арефа подметные письма пишет, — говорил он. — Запугивали его, ну, он и впал в малодушие. Жив смерти боится...

— В животе и смерти один господь волен...

— Хорошо так-то говорить, сидя за стеной. Я-то уж хорошо знаю Арефу. Не таковский человек, чтобы назло, а так уже судьба выдалась злосчастная... Напринимался он муки и в Усторожье и у Гарусова.

— На одной цепи у Полуехта Степаныча сидел с Белоусом: вот и сосватались в тюрьме. Не покрывай Арефу, Гермоген, не гсже... Из пушки его мало застрелить за его воровство.

О Белоусе было известно все. Ходил он в белом полушубке из домашней овчины с перевязью из полотенца через левое плечо; на голове казачья шапка с красным верхом. За ним вели двух гнедых иноходцев, на которых он выезжал. Ничего не пил Белоус, не льстился на баб и девок и держал себя очень сурово, особенно ежели «встреча» случалась. Первым летел Белоус в огонь и с пленными расправлялся коротко. Повесить — и весь сказ. Все это знали, и все боялись грозного атамана. Мало с кем он разговаривал, кроме слепого Брехуна, подучивавшего атамана на какое-нибудь воровство. Главная шайка сбилась еще под Баламутским заводом и теперь катилась к монастырю, как ком снега. К ней пристала почти поголовно вся бывшая монастырская вотчина. Белоус сделал главную стоянку в Черном Яру, повыше монастыря верст на тридцать. Высокое было место, усторожливое и для шайки самое способное.

Рассказывали, что Белоус не один раз наезжал в Служнюю слободу для каких-то тайных переговоров со своими единомышленниками и что будто его лошадь видели привязанной у задворков попа Мирона. Последнее уже было совсем несообразно. Политика Белоуса, впрочем, была понятна. Ему хотелось переманить на свою сторону Служнюю слободу и под ее прикрытием начать осаду монастыря. Первым догадался об этом инок Гермоген и нарочито отправился к попу Мирону, чтобы выпытать у него, как и что. Сумрачен вернулся Гермоген в монастырь и сказал только одному Пафнутию, что дело скверно.

— Плохая надежда на Служнюю слободу, отец келарь, — говорил он. — Смущает мужиков Белоус, а поп Мирон древоголов вельми...

— А што он говорит?

— Вот то-то и дело, что отмалчивается поп Мирон не к добру. Нечисто дело, отец келарь... Только и Белоус ничего не возьмет: крепок монастырь, а за нас предстательство преподобного Прокопия.

Большим местом готовившейся осады была Дивья обитель, вернее сказать — сидевшая в затворе княжиха, в иночестве Фоина. Сам игумен Моисей не посмел ее тронуть, а без нее и сестры не пойдут. Мать Досифея наотрез отказалась: от своей смерти, слышь, никуда не уйдешь, а господь и не это терпел от разбойников. О томившейся в затворе Оконе знал один черный поп Пафнутий, а сестры

не знали, потому что привезена она была тайно и сдана на поруки самой Досифее. Инок Гермоген тоже ничего не подозревал.

— Обитель захватят вору прежде всего,— говорил Гермоген, рассматривая с башни позицию.— Ловкое место, штобы наш монастырь осаждать... Сжечь бы ее надо было.

— Указу нет относительно затвора, ничего не поделаешь,— повторял Пафнутий с сокрушением.— Связала нас княжиха по рукам и по ногам, а то всех сестер перевели бы к себе в монастырь. Заодно отсиживаться-то...

В большой тревоге встретила монастырская братия рождество, потому что на праздниках ждали наступления шайки Белоуса, о которой имели точные сведения через переметчиков. Атаман готовился к походу и только поджидал пушек с Баламутского завода.

Так прошли первые дни праздника. Тихо было в Служней слободе, как в будень день. Никому праздник на ум не шел. Белоусовские вору начали появляться в Служней слободе среди белого дня, подъезжали к самым монастырским стенам и кричали:

— Эй вы, вороны, сдавайтесь батюшке Петру Федорчу! А то силой возьмем: хуже будет. Игумен бежал, а вам нечего больше ждать... На чужом месте сидите!

Мятежники пускали в монастырь стрелы с подметными письмами, в которых ругали игумена Моисея. Иноки отписывались и называли мятежников ворами.

«Какой у вас Петр Федорч? — писал им отписку келарь Пафнутий.— Царь Петр III помре божиею милостью уже тому время дванадесать лет... А вы, вору и разбойники, поднимаете дерзновенную руку против ее императорского величества и наследия преподобного Прокопия, иже о Христе юродивого. Сгинете, проклятые нечестивцы, яко смрад, а мы вас не боимся. В остервенении злобы и огнепальной ярости забыли вы, всескверные, страх божий, а секира уже лежит у корня смоковницы... Тако будет, яко во дни нечестивого Ахава. Буди...»

Монахи боялись за крещенье, когда из монастыря совершался церковный ход на иордань, устраиваемую на Яровой. Но и крещенье прошло благополучно, хотя Гермоген и просидел все время на колокольне, чтобы вовремя подать знак. Враг появился только на третий день крещенья. Погода была тихая, и в воздухе крутился легкий снежок. Передовые конники показались с нагорной сторо-

пы, и монастырский колокол ударил набат. Поднялись все на ноги. Монахи расставлены были вперед по убойным местам, у пупек и на бойницах. Распоряжался всем инок Гермоген, рыжие волосы которого мелькали везде. Простой парод высыпал тоже на стены. Бабы причитали и плакали. А гроза все надвигалась... За передовыми конниками показалась густая ватага, которую вел сам Белоус. За ней везли на санях тяжелые пушки и всякий воинский припас, а там вдали шла несметная пешая толпа, вооруженная чем попало. С колокольни видно было дорогу верст на пять, и вся она была усыпана мятежниками, двигавшимися одною живою черною лентой, точно муравьице. Келарь Пафнутий долго смотрел на эту картину и упал духом. Кабы еще игумен был, так все же легче.

— И без игумена управимся,— утешал его Гермоген.— Он нам из Усторожья подмогу приведет.

Как предполагал Гермоген, так и случилось. Мятежники первым делом заняли Дивью обитель, а потом остановились. Служная слобода находилась в страшном волнении, но к монастырю никто и не думал идти. Между слобожанами и атаманом велись какие-то переговоры, а потом на деревянной церкви в Служней слободе раздался трезвон, и показался церковный ход с попом Мироном во главе. Инок Гермоген так и замер и даже протер себе глаза,— не во сне ли все это делается. Нет, колокола радостно гудели, и Белоус был встречен честь-честью, как воевода. К его шайке примкнула вся слобода: куда поп, туда и приход. А потом началось веселье. Всех слобожан остригли в кружок, на казацкий лад. При занятии Дивьей обители оказали сопротивление только профосы и сержант Сарычев, сторожившие княжиху в затворе. Казаки двух профосов изрубили, а всех остальных забрали живьем. Белоус сам вошел в затвор, где неисходно томилась именитая узница.

— Батюшка-царь Петр Федорыч жалует тебя волей,— заявил он.— По злобе ты засажена была сюда...

Узница отнеслась к своей воле совершенно равнодушно и даже точно не поняла, что ей говорил атаман. Это была средних лет женщина с преждевременно седыми волосами и точно выцветшим от долгого сиденья в затворе лицом. Живыми оставались одни глаза, большие, темные, сердитые... Сообразив что-то, узница ответила с гордостью:

— Я хочу, чтобы сам царь меня пожаловал, а не псарь. Она даже засмеялась таким нехорошим смехом. Вски-

пел Белоус, но оглянулся и обомлел. В углу, покрытая иноческим куколем, стояла с опущенными глазами Охоня... Дрогнуло атаманское сердце, и не поверил он своим глазам.

— Ты... ты кто такая будешь? — тихо спросил он.

— А все та же... была отецкая дочь...

Ударил себя в грудь атаман, и глаза его сверкнули, а потом застонал он, и зашатался, и упал на скамью. Вовремя прибежал за ним слепец Брехун с поводырем и вывел атамана из затвора.

— Не время теперь девок разглядывать, — ворчал он. — Была Охоня, да на воеводском дворе вся вышла.

Кинулся было Белоус назад в затвор, да Брехун повис у него на руке и оттащил. Опять застонал атаман, но стыдно ему сделалось своих, а обитель кишела народом. А Охоня стояла на том же месте, точно застыла. Ах, лучше бы атаман убил ее тут же, чем принимать позор. Брехун в это время успел распорядиться, чтобы к затвору приставить своих и беречь затворниц накрепко.

Игуменья Досифея была найдена в своей келье на следующее утро мертвой, и осталось неизвестным, была она задушена разбойниками или кончилась своею смертью.

Тихое обительское житье сменилось гулом военного стойбища. Сестер выдворили в Служную слободу, а все обительские здания были заняты воинскими людьми. В нескольких местах ветхая обительская стена правилась заново. Ставили новые срубы, забивали их землей и на таких бастионах поднимали привезенные пушки. Отсюда Прокопьевский монастырь был точно на ладони. Работами распоряжались особые пушкарки из взятых в плен солдат. Квартира атамана была устроена в обительской келарне, где стояла громадная теплая печь. Сюда принесли и сундук с обительскою казною, которой налицо оказалось очень немного: бедная была обитель. Всем распоряжался сам Белоус, ходивший как пьяный. За ним ходил дьячок Арефа и паговаривал:

— Пусти меня, атаман...

— Куда тебя пустить?

— А к дьячихе. До смерти стосковался по своему домишке.

— Ну, ступай, черт с тобой, да только не сбеги у меня, а то...

— Теперь уже мне некуда бежать. Будет... Мне бы

только дьячиху повидать, а тут помирать, так в ту же пору.

Побежал Арефа к себе в Служную слободу, а сам ног под собой не слышит. Это уж было под вечер. Зимний день короток, — не успели мигнуть, а его уж нет. На полдороге дьячок остановился перевести дух. Служная слобода так и гудела, как шмелиное гнездо, в Дивьей обители ярко пылали костры на работах, поставленных в ночь, а в Прокопьевском монастыре было тихо-тихо, как в могиле. Несколько огоньков едва теплилось только на сторожевых башнях. Смущение напало на Арефу при виде монастырских стен. Ах, неладно... Но что он может сделать, маленький человек? Может, и в самом деле государь Петр Федорович есть, а может, и нет. Вон поп Мирон соблазнился... Прост он, Мирон-то, хоть и поп, а, между прочим, никому ничего неизвестно.

Дьячиха встретила Арефу довольно сурово. Она была занята своею бабьей стряпней, благо было кому теперь продавать и калачи и квас. Почтище ярмарки дело вышло.

— Здравствуй, Домна Степановна.

— Здравствуй, Арефа Кузьмич... Каково тебя бог носит? Забыл ты нас совсем... Спасибо, што хоть кобылу прислал.

— А где Охоня?

Дьячиха ничего не ответила, а только сердито застучала своими ухватами. В избу то и дело приходили казаки за хлебом. Некогда было дьячихе бобы разводить. Присел Арефа к столу, поснедал домашних штец и проговорил:

— Трудненько будет, Домна Степановна... В Дивьей обители атаман пушки ставит, а завтра из пушек по монастырю палить будет.

— И в монастыре тоже пушки налажены... Только, сказывают, бонбы-то вёрхом пролетят над Служнею слободой. Я и то бегала к попу Мирону... У него Терешка-писчик из Усторожья сидел, так он сказывал. Дожили мы с тобой, Арефа Кузьмич, до самого нельзя, што ни взад ни вперед...

— Ничего, не бойся: маленькие мы люди, с нас и ответ не велик.

Опять обошел все хозяйство Арефа и подивился: все в исправности у Домны Степановны и всего напасено вдоволь. Не покладаячи рук работала старуха. Целую ночь

провел Арефа дома и все рассказывал жене про свои злоключения, а дьячиха охала, ахала и тихо плакала. Жаль ей стало бедного дьячка до смерти, да и рассказывал он уж очень жалобно. В свою очередь она рассказывала, как бежал игумен из монастыря и как чередился монастырь уже после него, как всем руководствует Гермоген, как увезли воеводшу из Дивьей обители, как бежала Охоня и как ухватил ее нечестивый Ахав-воевода. Ездил дьячиха в Усторожье, только пристава ее не допустили к дочери. Напринималась она сраму и воротилась ни с чем. Потом пали слухи, что Охоню беглый игумен Моисей своими руками схватил в воеводском доме и сослал неведомо куда. Теперь уж Арефа слушал и плакал.

— Забыл, видно, нас преподобный Прокопий, — повторял дьячок. — Ни в живых, ни в мертвых живем.

И дома Арефе не довелось отдохнуть порядком. Дьячиха поднялась с петухами, чтобы не упустить квашню, а дьячок спал на своих полатах. Только стало светать, как с монастырской колокольни грянула вестовая пушка. Инок Гермоген сам навел ее на мятежный стан и выпалил. Ждать было нечего. Всю ночь около стен рыскали воровские люди и всячески пробовали подняться, но напрасно. Со стен их обливали горячею водой и варили варом. А утром видно было, как зашевелилась вся Дивья обитель. Конники выстроились, а на бастионах чередились пушки. Инок Гермоген не мог перенести этого зрелища и выпалил. Легкое трехфунтовое ядро ударилось в Яровую и застряло в снегу. На выстрел всполошилась вся Служняя слобода. Немного погодя грянула первая пушка из Дивьей обители, и тяжелое чугунное ядро впилося в каменную монастырскую стену.

Это было пачалом, а потом пошла стрельба на целый день. В виду энергичной обороны скопище мятежников не смело подступать к монастырским стенам совсем близко, а пускали стрелы из-за построек Служней слободы и отсюда же палили из ружей. При каждом пушечном выстреле дьячок Арефа закрывал глаза и крестился. Когда он пришел в Дивью обитель, Брехун его прогнал.

— Ступай к своей дьячихе, а нам и без тебя хлопот достаточно...

К дьячихе так к дьячихе, Арефа не спорил. Только когда он проходил по улице Служней слободы, то чуть не был убит картечиной. Ватага пьяных мужиков бросилась

с разным дрекольем к монастырским воротам и была встречена картечью. Человек пять оказалось убитых, а в том числе чуть не пострадал и Арефа. Все видели, что стрелял инок Гермоген, и озлобление против него росло с каждым часом.

VIII

Осада монастыря затянулась. Белоус, по-видимому, рассчитывал на переметчиков, которые отворят мятежникам монастырские ворота. Но из этого ничего не вышло, потому что Гермоген ни днем, ни ночью не знал отдыха и везде следил сам. Переметчики были переловлены и посажены в тюрьму. Монашеская братия заразилась энергией Гермогена и мужественно вела оборону. Приводил всех в отчаяние один келарь Пафнутий, который сидел на запоре у себя в келье и не внимал никаким увещаниям. Когда начиналась пушечная пальба, он закрывал голову шубой и так лежал по нескольку часов. Это был какой-то панический страх.

— Ох, смертынька моя пришла! — бормотал старик, когда кто-нибудь из иноков старался его ободрить. — Копец мой... тошнехонько...

Даже Гермоген ничего не мог поделать.

Когда наступила очередная служба в соборе, Пафнутий долго не решался перебежать из своей кельи до церкви. Выходило даже смешно, когда этот тучный старик, подбрав полы монашеской рясы, жалкою трусцой семенил через двор. Он вздыхал свободнее, только добравшись до церкви. Инок Гермоген сердился на старика за его постыдную трусость.

— А ежели меня вот на этом самом месте убьют? — упавшим голосом объяснял сконфуженный старик.

— Где это?

— А на дворе... Мне это покойная мать Досифея объяснила. Прозорливица была и очень жалела меня...

— А тебе мать Досифея не сказывала, какой сан ты носишь и какой пример другим должен подавать?.. Монах от мира отрекся, чего же ему смерти бояться?.. Только мирян смущаешь да смешишь, отец келарь.

Инок Гермоген не спал сряду несколько ночей и чувствовал себя очень бодро. Только и отдыху было, что прислонится где-нибудь к стене и, сидя, вздремнет. Никто не

знал, что беспокоило молодого инокa, а он мучился про себя, и сильно мучился, вспоминая раненых и убитых мятежников. Конечно, они в ослеплении злобы бросались на монастырь не от ума, а все-таки большой ответ за них придется дать богу. Напрасная христианская кровь проливается...

Было уже несколько больших приступов, отбитых с уроном у той и другой стороны. Доставалось больше всего мятежникам. В монастыре первым был убит молоденький монашек Анфим. Смирный такой был. Пришел в монастырь незадолго до осады и, несмотря на молодость, пожелал принять иночество. По происхождению он был из сибирских боярских детей. Стоял он на стене рядом с Гермогеном, когда прилетела горячая пуля. Без слова повалился Анфим прямо на руки Гермогену, точно подкошенный. Снес его Гермоген на руках со стены и положил на снег. И сколь же хорош был молоденький монашек, когда лежал на снегу мертвый! Лицо какое-то девичье, льняные длинные волосы, на голове черная монашеская шапочка, весь такой строгий, как воин Христов, и вместе кроткий, как агнец. Горько плакал инок Гермоген над усопшим братом и со слезами выкопал ему могилу. Вся братия плакала, когда хоронили Анфима, а Гермоген больше всех. Очень уж хороший и бесстрашный был монашек... Кругом стояла густая толпа запершегося в монастыре народа и тоже плакала над раннею могилкой раба божия Анфима. Это была первая кровь, пролитая на брани.

— Вот учись, как умирать надо, — заметил Гермоген плакавшему келарю Пафнутию. — Ты — старик, а боишься...

Немало огорчало инокa Гермогена и то, что большинство обвиняло именно его в пролитии крови. Подъезжавшие к стенам мятежники так и кричали:

— Эй, Гермоген, побойся бога, не проливай напрасной крови... Келарь Пафнутий давно бы сдал нам монастырь и братия тоже, а ты один упорствуешь. На твою голову падет кровь на брани убиенных. Бог-то все видит, как ты из пушек палишь. Волк ты, а не инок.

В ответ на это с монастырской стены сыпалась картечь и летели чугунные ядра. Не знал страха Гермоген и молча делал свое дело. Но случилось и ему испугаться. Здрожали у инокa руки и ноги, а в глазах пошли красные круги. Выехал как-то под стену монастырскую сам Белоус на

своим гнедом иноходце и каким-то узелком над головой помахивает. Навсл на него пушку Гермоген, грянул выстрел — трое убито, а Белоус все своим узелком машет.

— Эй, Гермоген, принимай гостинец, — кричал Белоус. — Спасибо скажешь, святая душа.

Выискался бойкий башкирятин, подскакал к самой стене и бросил на пике узелок прямо к ногам Гермогена. Все столпились вокруг атаманского подарка. Почуял беду Гермоген, поднимая узелок. Мягкое что-то завернуто в тряпице, а сверху привязана записка: «Иноку Гермогену от атамана Белоуса». Развернул Гермоген узелок, а из него, как змея, выползла черная девичья коса. Побелел инок, как полотно, и зашатался: он сразу узнал Охонину косу. И стыдно ему стало, и страшно, и обидно. Да, горько посмеялся вольный атаман над смиренным иноком. Подняла эта отрезанная девичья коса старое мирское горе, похороненное под монашескою рясою. Долго стоял Гермоген на одном месте и ничего не видел и не слышал, что делалось кругом.

Кто-то из приспешников уже донес келарю Пафнутию о случившемся поругании всей монашескующей братии, и старик, перемогая страх, сам отправился на стену, чтобы уговорить Гермогена.

— Не Белоус отрезал косу Охоне, а мать Досифея, — рассказывал он. — Затаил я это самое дело, чтобы напрасно не тревожить тебя... Ты тут ни при чем. Это писчик Терешка да слепец Брехун подучили атамана. Ихнее это дело.

— А где же Охоня? — тихо спросил Гермоген, не поднимая глаз.

— Была в Дивьей обители на затворе, — а сейчас неведомо где.

Больше ни одного слова не проронил инок Гермоген, а только весь вытянулся, как покойник. Узелок он унес с собой в келью и тут выплакал свое горе над поруганною девичьей красой. Долго он плакал над ней, целовал, а потом ночью тайно вырыл могилу и похоронил в ней свое последнее мирское горе. Больше у него ничего не оставалось.

Опять загудели монастырские пушки, и посыпались чугунные гостинцы на Дивью обитель. Метко стрелял Гермоген и сбил две пушки у Белоуса.

— Это поминки по Охоне, — смеялся Брехун, подру-

жившийся с Терешкой-писчиком.— Не поглянулся Гермогену наш-то подарок... А Белоус ходит темнее ночи.

— Видел он Охоню вдругорядь аль нет?

— И близко не подходит к затвору... Ну, пусть погрюет, а Охони все-таки не воротит... Уела добра молодца дивья красота.

— И не говорит ничего про нее?

— Ни-ни. Теперь и Арефу на глаза к себе не пушает, а тот и рад. У дьячихи своей жирует...

Атаман не подавал и виду, что его заботит присутствие Охони. Да и некогда ему было пустяками заниматься. Осада монастыря затянулась, а тут, того и гляди, подоспеет помощь из Усторожья. Всего два дня перехода до монастыря. Сердился Белоус на свое сборное войско, которое могло только грабить беззащитных, а когда привелось настоящее дело делать, так и нет никого. Мужики-слобожане тоже были несвычны настоящему ратному делу. Шумят, галдят, руками машут, мы да мы, а как пошли на приступ — нет их. Пошлет Гермоген по мятежникам песколько зарядов картечи, и всех точно метлой выметет. И перебито народу до сотни человек совсем напрасно. Белоус чувствовал, как начало колебаться к нему доверие всей этой толпы, набранной с бору да с сосенки. Нужно было торопиться. Гонцы с оренбургской стороны привозили другие вести: сдавались самые крепкие станицы, и батюшка Петр Федорыч шел уже тою стороною Урала.

— Надо будет из-за возов с сеном добывать монастырь, — советовал Брехун. — Лучше этого нет средства... К самым стенам подкатим воза.

Конечно, Белоус знал это испытанное средство, но приберегал его до последнего момента. Он придумал с Терешкой другую штуку: пустить попа Мирона с крестным ходом под монастырь, — по иконам Гермоген не посмеет палить, ну, тогда и брать монастырь. Задумано, сделано... Но Гермоген повернул на другое. Крестного хода он не тронул, а пустил картечь на Служную слободу и поджег несколько домов. Народ бросил крестный ход и пустился спасать свою худобу. Остался один поп Мирон да дьячок Арефа.

— Сдавайтесь! — кричал Мирон своим зычным голосом. — Может, батюшка Петр Федорыч и помилует!

— Вот ужко придет к нам подмога из Усторожья, так уж тогда мы с тобой поговорим, оглашенный, — отвечали

со стены монахи.— Не от ума ты, поп, задурил... Никакого батюшки Петра Федорыча нету, а есть только воры и изменщики. И тебе, Арефа, достанется на орехи за твое воровство.

— Я не своею волей, братие,— смиренно оправдывался Арефа.

Так выдумка и не удалась, а половины Служней слободы как не бывало. Мужики-слобожане во всем завиняли неистового инока Гермогена, который недавно еще с ними вместе пил и ел, а тут не пожалел родного гнезда. Выискались охотники, которые выслеживали Гермогена, когда он показывался на стеше, и стреляли по нем, но инок точно был заколдован.

— Измором возьмем это воронье гнездо,— грозился Брехун.— Народу заперлось много в монастыре, съедят весь запас, тогда сами выйдут к нам.

Белоус не верил этому. Крепок монастырь, а тут как раз подоспеет помощь из Усторожья. Он как-то вдруг опустил и начал крепко задумываться. Сидит у себя и молчит. Ах, сколько передумала эта буйная казацкая головушка!.. Думала и передумывала, а сердце так огнем и горит. То злоба его охватит к Охоне,— своими руками задавил бы змею подколдную,— то жалость такая схватит прямо за сердце, что сам бы задавился. Жизни своей постылой не рад атаман, а Охоню увидеть боится пуще того. Что он ей скажет, как она ему в глаза посмотрит? Ах, нет, лучше и не думать, а тоска, как змея лютая, сердце сосет... И день и ночь думает атаман про Охоню и про свою несчастную судьбу. Мало ли девушек по казачьим станицам, мало ли красных по уметам, да милой нет... А вот пришла отецкая дочь и заворожила горячее казацкое сердце. Близко пришла степная красавица, и оторвать ее невозможно. Силы нет... А тут еще люди нашептывают. Слышал как-то атаман, как Брехун и Терешка переговаривались между собой про Охоню, как она сперва Гермогена подманивала, а потом к воеводе сбежала. Своею волею ушла... Целовалась и миловалась с старым да корявым, а про казацкую голову позабыла. Мягко спала, сладко ела-пила, красно одевалась и честь свою девичью на воеводском дворе оставила. Как вспомнит атаман про воеводу, так его точно кто ножом в самое сердце ударит. Схватится он за волосы и застонет... И себя и его погубила Охоня, а взять не с кого. Закрест глаза атаман и все видит, как старый воевода голубит его

Охоню. Вскочит он, как бешепый, метнется по комнате и себя не помнит. Не воротить Охони, не переломить молодецкого сердца, не износить мертвого горя. Несколько раз ночью атаман подходил к затвору, брался за дверную скобу — и уходил ни с чем: не хватало его силы.

Пока думал да передумывал атаман свое горе, из Усторожья прилетел гонец: идут к Усторожью рейтарские полки, а ден через пять и под монастырем будут. Вскинулся атаман, закипел и сейчас же назначил приступ с возами. Надо было добывать монастырь теперь же, не медля, пока помощь не подоспела. Загудела опять Дивья обитель. Теперь снимали пушки и перевозили их в Служную слободу, против главных монастырских ворот. Сено было заготовлено раньше. Главный приступ был назначен ночью, чтобы застать монахов врасплох. Умаялся двухнедельною осадой Гермоген и бродит по монастырю как тень. Не укрылось от него, как готовили засаду воровские люди. Все он видел и все понимал. Монастырские пушки незаметно были поставлены поближе к воротам, чтобы встретить гостей честь-честью. Приготовлены были и пищали, и ружья, и сабли, и камни, и горячая смола. Сам келарь Пафнутий оставил свой бабий страх и торжественно исповедал и причастил всех мужчин, готовившихся к бою. Неизвестно, кто жив останется, а кого бог приберет.

А тут и ночь на дворе, настоящая волчья ночь, когда хоть глаза выколи — ничего не увидишь. Не спит монастырь. Женщины и дети собрались в церкви, а мужчины у пушек, в бойницах, на башнях. Снежок около ночи начал падать, значит теплее будет. Ходит Гермоген по стене и слушает. Тихо в Служней слободе, только мелькают огоньки, точно волчьи глаза. Слышится изредка сдержанный конский топот. Но вот грянула первая пушка, и ядро пробило монастырские ворота. Со стены ответила монастырская пушка, наведенная прямо на Служную слободу. С этого и началась осада. Незаметно в темноте подкатились воза с сеном к самым стенам, а из-за них невидимые люди стреляли кверху и лезли по лестницам на стены. На стенах завязалась рукопашная. Все мятежники надели через левое плечо по белому полотенцу и по этому знаку отличали своих от чужих. В темноте слышался один громкий голос, который посылал все вперед, — это был сам атаман. Он скакал на своей лошади под стеной, а потом бросил лошадь и полез на стену впереди других. Этого только

и ждал Гермоген. Навел он все пищали, и посыпались с лестницы убитые, а атаманский голос замолк. Служная слобода опять горела, и зарево пожара освещало теперь страшную картину. Мало было защитников в монастыре, притомились все, а некоторые были уже перебиты. Зато не убывал народ под монастырской стеной, а подходили все новые силы. Ожесточение росло. Смутилась монашеская братия и другие монастырские вои, но в это время показался келарь Пафнутий с крестом в руках и стал ободрять смутившихся. Он стоял посредине двора, и здесь его положило неприятельское ядро. Окончательно смутился весь парод, но в это время толпа мятежников начала ломиться в главные ворота, и все бросились туда. Гермоген сам навел большую пушку, стоявшую во дворе, и приложил фитиль. Грянул страшный выстрел, ядро пробило ворота и пронеслось в Служную слободу, оставив на своем пути до десятка убитых. Простреленные ядрами ворота еще держались на железных связях, и их заваливали изнутри бревнами и кирпичами.

Так шайка и не могла взять монастыря, несмотря на отчаянный приступ. Начало светать, когда мятежники отступили от стен, унося за собой раненых и убитых. Белоус был контужен в голову и замертво снесен в Дивью обитель. Он только там пришел в себя и первое, что узнал, это то, что приступ отбит с большим уроном.

— Надо, атамац, убирать подобру-поздорову пяты,— советовал Терешка.— Черт с ними, с монахами... Того гляди, из Усторожья нагрянут рейтары и драгуны.

— Уходи, коли боишься...

— Да я так...

Неудачный приступ павел на всех тяжелое уныние. Белоус велел отступать по дороге на заводы. Сначала был двинут обоз с запасами, за ним везли пушки, а после всех следовала пестрая толпа пехарей. Из Служней слободы многие пристали к шайке. В Дивьей обители оставался один атаман со своею казачьею сотней. Белоус точно еще на что-то надеялся и все выжидал. Так прошло томительно-долгих три дня. Атаман не двигался. Казаки уже начинали роптать, попрекая его неудачным походом. Сколько людей перебито, сколько пороху изведено, а толку на волос нет.

Наконец прилетел гонец с известием, что три рейтарских полка выступили из Усторожья по дороге к монастырю. Тогда атаман отпустил свою сотню, сказав, что дого-

нит ее на дороге. С ним остались только Терешка и Брехун.

— Атаман, смотри, живьем заберут..

— Пусть!..

Рейтары были уже совсем близко, у Калмыцкого брода через Яровую, когда Белоус наконец поднялся. Он сам отправился в затвор и вывел оттуда Охоню. Она покорно шла за ним. Терешка и Брехун долго смотрели, как атаман шел с Охоней на гору, которая поднималась сейчас за обителью и вся поросла густым бором. Через час атаман вернулся, сел на коня и уехал в тот момент, когда Служную слободу с другого конца занимали рейтары. Дивья обитель была подожжена.

Охоня была найдена зарезанной на горе, в виду Служней слободы.

Инок Гермоген с радостью встретил подмогу, как и вся монашеская братия. Всех удивило только одно: когда иннок Гермоген пошел в церковь, то на паперти увидел дьячка Арефу, который сидел, закрыв лицо руками, и горько плакал. Как он попал в монастырь и когда, — никто и ничего не мог сказать. А маэор Мамеев уже хозяйничал в Служней слободе и первым делом связал попа Мирона.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Главная грозовая туча миновала Яровую и пронеслась по ту сторону Урала. Скопища Пугачева прошли на Казань, а по всей Яровой шла деятельная «разборка». В Баламутском заводе неистовствовал вернувшийся с драгунами Гарусов, в Прокопьевском монастыре чинили суд и расправу игумен Моисей и маэор Мамеев, а в Усторожье усиленно трудился воевода Полуект Степаныч. Попорченная административная машина была снова пущена в ход. Собственно говоря, в руки местной администрации попался один «ровнячок», та безличная масса, которая была виновата в полном составе, а отдельные лица не имели самостоятельного значения. Отсюда выработалась и своя система наказания — «брать десятого». Этого несчастного десятого били кнутом, драли плетьюми, дули батожем и вообще истязали всяческими средствами доброго старого времени.

«Головка» бунта ушла на Урал, куда потянула главная масса зачинщиков. Игумен Моисей особенно жалел, что не удалось захватить таких важных бунтарей, как Белоус и

Брехун. Они ушли целы и невредимы и затерялись в шайке Пугачева. Из крупных попались только трое: поп Мирон, дьячок Арефа и писчик Терешка. Они, как важные преступники, были отправлены в Усторожье и заключены в узилище под судною избою, где раньше уже сидел Арефа вместе с Белоусом. Воевода Полуект Степаныч хотя и чинил жестокую расправу над мятежниками, но делал это только по обязанности, а сам рад был уже уйти на отдых. Он гордился тем, что Усторожье удержалось от общей «шатости» и не примкнуло к самозванцу.

— Э, пора костям и на покой,— устало говорил воевода.— Будет, послужил... Да и своих грехов достаточно. Пора о душе подумать...

Воевода даже осуждал игумена Моисея и Гарусова, неистовавших у себя с неослабною энергией, возмещая свое позорное бегство на чужих спинах. Служня слобода давно повинилась, как один человек, «десятый» был наказан по всей форме, а игумен все выискивал виноватых своими домашними средствами и одолевал воеводу все новыми просьбами о наказаниях.

Замирившийся край представлял собой печальную картину. Половина селитьбы пустовала, а оставшиеся в целых жители неохотно шли на старые пепелища, боясь розысков и жестокой расправы. Особенно пострадала бывшая монастырская вотчина, несшая на себе тройной гнет дубинщины, заводского ига и пугачевщины. Пашни оставались пепелянными, крестьянское хозяйство везде рушилось, и бывшие монастырские людишки брели врознь. Немалым злом являлись разбойничьи шайки, бродившие за Яровой и разорявшие остатки. Это были осколки разбитых скопищ. У каждой являлся свой атаман, и каждая работала в свою голову.

Для суда над попом Мироном, дьячком Арефой и писчиком Терешкой собрались в Усторожье все: и воевода Полуект Степаныч, и игумен Моисей, и Гарусов, и маэор Мамеев. Долго допрашивали виновных, а Терешку даже пытали. Связали руки и ноги, продели оглоблю и поджаривали над огнем, как палят свиней к празднику. Писчик Терешка не вынес этой пытки и «волею божиею помре», как сказано было в протоколе допроса. Попа Мирона и дьячка Арефу присудили к пострижению в монастырь.

— Слава богу,— проговорил Арефа, перекрестившись.— Давно бы так-то, так оно бы лучше. Конечно, жаль

дьячихи Домны Степановны, только на што я ей теперь? Был конь, да уезжен.

Таким образом, все успокоилось.

Игумен Моисей тоже успокоился. Нет худа без добра: во время осады умерла игуменья Досифея, а потом и вся Дивья обитель сгорела. Когда на пожарище прибежали слободские мужики и хотели спасать из затвора кпяжиху, последняя взбунтовалась в последний раз и не захотела выйти. Она заперлась изнутри и сгорела жива. По слухам, она давно уже была не в своем уме. Остался один Прокопьевский монастырь, а в нем засел крепче прежнего игумен Моисей. Плохо пришлось теперь монастырской братии, изнуряемой египетскими работами и тяжелыми наказаниями. Особенно донимал игумен инок Гермогена, которого возненавидел за защиту монастыря. Доставалось и попу Миرونу, в иночестве Мисаилу, и дьячку Арефе, в иночестве Агафангелу. Все трое несли на себе игуменскую опалу с подобающею кротостью.

Прошло несколько лет.

Одряхлел воевода Полуект Степаныч и просился на покой. Он оставался последним воеводой, а в других городах были устроены уже ратуши и магистраты, и управлялись новые люди, бритоусы и табашники. Полуект Степаныч совсем не понимал новых порядков и скорбел душой. Единственным его утешением было съездить в Прокопьевский монастырь к игумену Моисею. Все оно как будто легче на душе... Любил старик покалякать с опальными иноками о недавней заворохе, особенно с Агафангелом. Бывший дьячок много мог рассказать о своих злоключениях и всегда заканчивал свою скорбную повесть слезами о неповинно зарезанной Охоне и дьячихе Домне Степановне, переехавшей на житье в Усторожье, — она торговала там своими калачами и квасом в обжорном ряду.

— Все мы грешные люди, — повторял с грустью Полуект Степаныч, качая своею седою головою. — А на каждом грехов, как на черемухе цвету...

Агафангел иногда начинал заговариваться, приходил в ярость, и его уводили на послушание в особую келью. Старик повихнулся. Игумен Моисей тоже начинал сильно задумываться. Не люб ему стал свой монастырь, и задумал он небывалое, именно, перенести монастырь на новое место, на Калмыцкий брод. Задумано — сделано. Как ни уговаривали старика, а он поставил на своем. Небывалая ра-

бота закипела. Разбирали каменные монастырские стены и кирпич свозили на плотках по Яровой к Калмыцкому броду. После того разобрали кельи, все хозяйственные пристройки и только оставили до времени один собор, стоявший на пустыре. В одном месте зорили, а в другом строили. Монахи выбились из сил на этой новой работе, а игумен Моисей был неумолим и успокоился только тогда, когда переехал на новое место, в свою новую келью с толстыми крепостными стенами, железными дверями и железными решетками. К себе в келью игумен свез всю монастырскую казну и дорогую церковную утварь. Иноки строили новую церковь и клали новые стены, а игумен Моисей любовался новым местом, которое не напоминало ему ни о дубинщине, ни о пугачевщине.

Опустел Прокопьевский монастырь, обезлюдела и Служняя слобода. Монастырские крестьяне были переселены на Калмыцкий брод к новому монастырю, а за ними потянули и остальные. Но новый монастырь строился тихо. Своих крестьян оставалось мало, да и монастырская братия поредела, а новых иноков не прибывало. Все боялись строгого игумена и обегали новый монастырь.

Лет через пять после пугачевщины под Усторожьем показалась шайка разбойников. Предводителем был старый пугачевский атаман Белоус. Воровские люди грабили по дорогам купеческие обозы и наезжали к самому городу. Говорили, что Белоус часто бывает даже в самом Усторожье. Старый воевода встрепенулся. Надо было ловить разбойников. Он несколько раз выступал с поиском, а шайка все уходила прямо из-под носу. Пока воевода гонялся за разбойниками, они успели напасть на новый монастырь, убили игумена Моисея, а казну захватили с собой. Это дерзкое убийство утроило энергию Полуекта Степаныча. Он самолично отправился ловить Белоуса, но это предприятие закончилось совершенно неожиданно и необычно. Разбойники разбили воеводских воинских людей, взяли самого Полуекта Степаныча в полон, высекли и отпустили домой... Так печально кончил последний усторожский воевода.

Сейчас от Прокопьевского монастыря, Дивьей обители и Служней слободы остались одни пустыри. Только по-прежнему высоко поднимается правый гористый берег Яровой, где шумел когда-то вековой бор. Теперь торчат одни пни, а от прежнего осталось одно название: народ называет и сейчас горы «Охониними бровями».

ГОСПОДИН СКОРОХОДОВ

I

— Тихон Петрович, господин Скороходов, здравствуйте! — весело кричал каждое утро сапожник Гаврилыч, выставляясь в окно своего подвала, выходящее на двор.

— Здравствуй, Гаврилыч!.. — отвечал тоненький детский голосок.

— Как поживаете, господин Скороходов?

— Скверно, Гаврилыч...

— Ах, братец ты мой... Дело табак, Тихон Петрович.

— Да, не особенно красиво.

В детском голосе звучали какие-то особенные, недетски-серьезные нотки, что придавало ему печальную оригинальность чего-то созревшего прежде времени и бессильного. Сапожник Гаврилыч каждый раз с каким-то изумлением прислушивался именно к этому удивительному голосу, задумчиво крутил стриженной по-солдатски головой и точно смущался, что вот он, Гаврилыч, такой здоровенный, сильный и могучий человек. Если бы было возможно, так, кажется, взял бы да и отдал половину здоровья Тихону Петровичу с его девичьим голосом или бы сказал за него, как здоровому человеку хочется откашляться за больного.

У сапожника было такое красное, точно выдубленное лицо. Тут сказалось все — и солдатский загар, и слабость к рюмочке, и главное — неиспорченная деревенская кровь. В свои пятьдесят лет Гаврилыч выглядел молодцом. Он никогда еще не хворал и удивлялся, как это другие могут хворать. Больше — у Гаврилыча являлось брезгливое от-

вращение ко всем больным или просто к людям, которые могут захворать. Исключение представлял один Тихон Петрович, бледное, бескровное личико которого казалось сапожнику таким близким, родным, точно оно притягивало его к себе.

— Велико ли еще место, всего-то семь годков,— рассуждал вслух Гаврилыч,— это было его слабостью, а может быть, и принадлежностью мастерства.— Еще дите, апдельская душенька Тихон-то Петрович, а господь ему все открыл... Да. Большого поучит... Эх, кабы господину Скороходову ножки да здоровьишка — вот какой бы человек вышел!

Знакомство сапожника с господином Скороходовым состоялось только в прошлом году, вот так же о весне. Двор только очистили от снега, и на него выползла из своих углов разная петербургская детвора, точно галчата. Крик, шум, гам,— известно, ребячье дело. Как-то в понедельник у сапожника очень трещала голова с похмелья. Гаврилыч был мрачен и с особенным ожесточением тыкал шилом какую-то невинную подметку, точно она была главной причиной его скверного душевного настроения. Два подмастерья работали молча, стараясь не глядеть на хозяйскую муку-мученическую. С похмелья Гаврилыч делался зол, и теперь его раздражал шум и гвалт детских голосов на дворе. Он уже несколько раз сердито поглядывал в раскрытое окно, подыскивая случай придраться. И случай представился... Вся детвора столпилась у окна в подвал напротив и кого-то дразнила. Слышался задорный смех, вызывающий крик, детская брань.

— Вот я вас, акробаты! — ругнул ребятешек Гаврилыч, высовываясь в окно.

Но никто не обратил на его окрик ни малейшего внимания, что окончательно взорвало Гаврилыча, особенно когда послышался тихий детский плач.

— Обезьяна!.. обезьяна!.. — выкрикивали детские голоса.

Гаврилыч не стерпел и вылетел на двор, чтобы обследовать дело. Он увидел следующую картину: у открытого окна подвала сидел в подушках худенький бледный мальчик и плакал.

— Что вам нужно от меня? — говорил он, обращаясь к детям.— Ведь я вам не мешаю, и вы мне не мешайте...

— Обезьяна... обезьяна...

— Я вас наконец прошу, господа, оставьте меня в покое. Это просто невежливо. Вы играйте, а я буду смотреть на вас... Я и сам с удовольствием поиграл бы с вами, но, к сожалению, не могу.

Дети с детской жестокостью дразнили больного ребенка и не хотели оставлять его.

— Господа, вы мне мешаете читать,— продолжал тоненький детский голосок уже со слезами.— Ведь это мое единственное удовольствие... Вы здоровы, можете бегать, кричать, а я должен сидеть на одном месте.

— Обезьяна!..

— Эй вы, акробаты, брысь! — крикнул Гаврилыч так, что больной мальчик в окне вздрогнул и даже закрыл глаза со страха.— Вот я вас... Ежели кто подойдет вот к этому окошку, так я попрошу такую встречу... Слышали?

Детвора мигом рассыпалась, как стая воробьев. Самые храбрые показывали языки, другие ругались недетскими словами. Увлечшись своим подвигом, Гаврилыч бросился с поднятыми кулаками, и маленький неприятель исчез врассыпную.

Больной мальчик с удивлением и удовольствием смотрел на своего заступника, и ему все в нем понравилось, начиная с жилистых рук и кончая загорелым лицом. Когда сапожник подошел к окну, мальчик протянул ему свою исхудалую, почти прозрачную руку и серьезно проговорил:

— Благодарю вас... Вы меня избавили от большой неприятности. Ведь я никому не мешаю...

— Да вы только скажите мне, барин. Я их распатрону в лучшем виде.

— Нет, зачем же обижать детей. Они по-своему правы... Я не сержусь. Меня зовут Тихоном Петровичем, фамилия Скороходов. Точно в насмешку такая фамилия, потому что, как видите, я совсем не могу ходить, а должен сидеть. А вас как зовут?

— Сапожник Гаврилыч... Меня тут все знают, потому как я живу в этом доме четвертый год. А вы, господин Скороходов, видно, недавно еще переехали к нам?

— Перед пасхой, когда мой папа умер. Он служил в типографии и умер от чахотки. Я живу с мамой. Ей, бедной, трудно достается. Она тоже служит и приходит домой только вечером, когда я ложусь спать. Знаете, больные люди должны вести правильный образ жизни.

Так и состоялось это оригинальное знакомство. Гаврилыч присел к окну, набил солдатскую трубочку-носогрейку и закурил. Его поразил необыкновенный мальчик, говоривший тоном большого человека.

Новые знакомые довольно бесцеремонно оглядели друг друга с ног до головы, а потом мальчик заметил:

— Отчего от вас пахнет водкой, Гаврилыч?

Сапожник сконфузился. Его трубочка захрипела, точно он хотел высосать из нее свое оправдание.

— Видите ли, господин Скороходов, такое уж наше положение, значит, сапожничеккое... Сидишь-сидишь неделю-то, в том роде, как идол какой, ну, а в субботу грешным делом и разрешишь. Окромья всего этого, я человек неженатый, ну, стало быть, такая плепорция... У всякого своя плепорция.

— Нехорошо,— наставительно ответил мальчик и посмотрел на Гаврилыча такими печальными глазами.— Я говорю: нехорошо.

— Уж что тут хорошего, господин Скороходов... Самая эта вредная вещь водка, ежели разобрать. А что в башке делается с похмелья. Себя бы самого растерзал, кажется.

— Для чего же тогда вы пьете?

Гаврилыч ничего не мог ответить, а только развел руками. Плепорция такая... сапожничеккое положенье.

Таким образом завязалось знакомство. Каждое утро отворялось окно в подвале, и в нем показывалось бледное личико господина Скороходова. Сапожнику очень нравился больной ребенок, и он раз забрался в квартиру. Мать господина Скороходова была дома. Она очень походила на сына, только казалась серее, точно ее покрыла пыль столичной мостовой. По бедному платью, плохенькой дешевой обуви и всей обстановке бедной квартиры сапожник сразу определил бедственное положение. Да, не красно жилось вдове.

— Не будет ли чего насчет починки? — объяснил Гаврилыч.— Я тут на дворе живу, значит, сапожник... Вы не сумлевайтесь, деньги могу подождать, потому как из-за дела подмахну заплатку. Вот мальчику, может, что понадобится...

— Ах, это вы и есть...— обрадовалась вдова.— Мне Тиша говорил про вас. Очень вам благодарна...

— Помилуйте, сударыня. Пустяковое дело... Известно,

ребята пристали. Ну, я их пугнул малым делом... Озорники, одним словом. А ежели что касается починки, так уж вы только скажите...

— Зайдите ко мне, Гаврилыч,— слышался из следующей комнаты тоненький детский голосок.— Я буду рад вас видеть...

Сапожник высморкался, обдернул свой рваный «спинджак» и осторожно прошел в следующую комнату, где в старом клеенчатом кресле лежал больной ребенок. Теперь он показался Гаврилычу совсем маленьким, точно цыпленок. Головка маленькая, шея тонкая, а личико, как у большого,— умное личико, а глазенки совсем не по-детски смотрят. Особенно хорошо Тихон Петрович улыбался — тоже умненько так, как улыбаются хорошо сохранившиеся старички. Детское тельце совсем было скрыто под старым пледом. Это двойное впечатление ребенка и большого человека ставило Гаврилыча в тупик, и он не знал, как ему говорить с мудренным мальчонкой.

— Садитесь...— предлагал маленький хозяин.— Мама, ты, может быть, нам дашь чаю? Впрочем, сахару осталось всего два куса...

— Нет, не нужно чаю,— отказался политично Гаврилыч.— Я так, на минутку завернул... Насчет работы. Вот господину Скороходову можем новые сапожки оборудовать...

Ребенок печально улыбнулся: он не нуждался в сапогах, потому что не мог ходить.

«Эх, невпопад слово вырвалось,— подумал Гаврилыч, почесывая свой красный затылок.— Большим себя дураком оказал...»

Сапожник посидел недолго. Он боялся помешать, да и вообще как-то конфузился, точно самой фигурой производил обидный диссонанс в этой маленькой подвальной квартирке.

— Заходите, когда будете свободны,— приглашал мальчик.— Я-то постоянно свободен и буду рад вас видеть... Целый день сижу один. Только вот квартира у нас сырая, а у меня по вечерам бывает лихорадка...

Когда сапожник ушел, ребенок задумался. Он внимательно следил за матерью своими печальными глазами и наконец проговорил:

— А он славный, мама, этот сапожник. Ты заметила, какие у него сильные руки и какой он весь большой? Ды-

шит так, что на улице слышно... Ах, мама, как бы я желал быть таким же здоровяком!.. Ведь это, должно быть, очень хорошо, когда ничего не болит... и когда можешь работать. Я тебе мог бы помогать тогда, а теперь тебе так трудно с больным ребенком. Ведь я все понимаю, мама, и часто думаю, что мне лучше умереть.

— Перестань, Тиша. Глупости... Куда же я без тебя?..

— Нет, мама, нужно смотреть серьезно на вещи. Ведь я тебя только стесняю, а пользы от меня никакой. Это обидно... Конечно, тебе будет очень жаль, когда я умру; но ведь весь я не умру: душа останется... Я всегда буду с тобой, только тогда не нужно будет ухаживать за мной. Ты, пожалуйста, не огорчайся... Ведь все равно когда-нибудь нужно будет умирать. И ты умрешь, и даже этот сапожник... Ах, какой он здоровый, мама! Мне точно лучше сделалось, когда он вошел ко мне в комнату... Здоровые люди должны быть добрее, потому что их ничто не должно раздражать.

Подобные разговоры часто велись в маленькой квартире, и мать Тиши уходила в другую комнату, чтобы скрыть слезы. Это было одно из тех страшных несчастий, для которых нет слов...

Болезнь Тиши развивалась медленно, но с той последовательностью, какую имеют только болезни. Ребенок родился здоровым, почти крепышом, и таким оставался до трех лет, а потом вдруг начал хиреть. Причин болезни было много: сырые квартиры, плохое питание, нездоровый воздух — одним словом, все то, что дает столица бедному люду. Маленькое детское тельце подавало в отставку, а живой оставалась одна голова. Мысль работала упорно и неутомимо, сосредоточив в себе все силы. В пять лет Тиша уже свободно читал. Его лучшими друзьями сделались книги. Ребенок их глотал с жадностью и особенно любил путешествия. Фантазия работала с поразительной яркостью.

— Когда я читаю путешествия, то чувствую себя здоровым и сильным человеком, а это такое счастье... — объяснял ребенок. — Вот тоже во сне, мама, я всегда вижу себя здоровым и тоже счастлив.

В маленькой детской головке ярко цвели пестрые картины тропической природы, где царит вечная весна, бушевал океан, быстро неслись громадные реки, величественно поднимались неприступные горы с снеговыми вер-

пинами, расстилались цветущие степи и покрытая снегом тундра, таинственно шумели вековые леса, пели птицы и ласково улыбались цветы. Ах, сколько было цветов... Это были золотые сны, те счастливые грезы, от которых не хочется проснуться. Мальчика угнетало только одно, именно, что ему не с кем было поделиться всеми этими богатствами, а мама от усталости даже не могла его слушать.

II

Странные бывают психические сближения, как это было и в данном случае. Сапожник Гаврилыч сделался дорогим гостем в квартире Скороходовых. Больной мальчик каждый раз оживлялся, когда в его комнате неуклюже помещалась массивная фигура отставного солдата, насквозь пропитанная смешанным запахом кожи и махорки. Сначала сапожник очень смущался, а потом привык. Чтобы не портить воздуха своим куревом, он уходил с трубочкой в сени или смешно присаживался на корточки к топившейся печке. Мальчик любовно смотрел своими умными глазами на эту большую фигуру и делался как-то спокойнее, когда сапожник сидел около него. Ведь он был такой сильный и здоровый. Часто ребенок трогательно просил его:

— Гаврилыч, вы посидите около меня, пока я засну...

— В лучшем виде посижу, господин Скороходов.

— Вы держите мою руку, Гаврилыч... Вот так. Только, пожалуйста, не дышите на меня...

И Гаврилыч сидел, не смея шевельнуться, как заботливая нянька. Правда, что это было не легко, но что поделаешь с господином Скороходовым. Маленькая прозрачная ручка сначала крепко держала жилистую руку Гаврилыча, а потом распускалась — такая маленькая, совсем ребячья рука. Больной спал в своем кресле всегда в одной позе, немного склонив головку на один бок. Гаврилыч терпеливо выжидал, когда послышится ровное дыхание заснувшего, и удалялся таким осторожным шагом, точно шел с огнем в пороховом погребе. Он даже захватывал свой рот ладонью и свободно переводил дух только в сенях.

Это удивительное сближение произошло главным образом на духовной почве. Гаврилыча поражал необыкновенный ум ребенка. Кажется, все-то на свете он знал и так

удивительно хорошо умел рассказывать обо всем. Слушая своего маленького друга, Гаврилыч чувствовал себя ужасно глупым и совершенно темным человеком. Ничего-то, ничего он не знал, а вот мальчонка так все превзошел. И насчет звезд, и насчет разных стран, и насчет городов иноземных, и про войны, и про всяких полководцев. А то еще стишки прочитает — все больше жалобные стишки. И про святых угодников тоже отлично понимал. Гаврилыч с все возрастающим удивлением слушал маленького оракула и только встряхивал головой, как взнузданная лошадь.

— Так в темноте и кончимся, Тихон Петрович, — говорил он уныло, подавленный своим незнанием. — Прямо сказать: все мы от пня народ... Вот и службу прошел, обманывали тоже, а как ничего не знал, так и остался. Живем, как во сне...

Мальчику нравилась та непосредственность, с которой Гаврилыч относился ко всему. Он так хорошо умел слушать и так увлекался всем.

— Вот так штука, братец ты мой, господин Скороходов... Дерево в семьдесят сажен высоты? Ловко... Это выше адмиралтейского шпица. А вот что я скажу вам, господин Скороходов: и деревья разные, и горы, и моря-окияны, а люди-то везде одинаковые. Так, чуть-чуть разность маленькая... И все должны работать, и забота у всех одинаковая, и семьяшка такая же, и детишки.

Был один пункт, в котором Гаврилыч оказывался неизмеримо сильнее маленького мудреца. Именно, господин Скороходов видел только один Петербург, а об остальном знал только из книжек. Другое дело Гаврилыч — он много видел, начиная с своей деревни. Когда заходила речь о последней, роли сразу менялись, и господин Скороходов превращался в самого обыкновенного ребенка, предлагавшего иногда вопросы, наивные до смешного. Здесь наступала очередь Гаврилыча удивляться, что есть такие люди, которые не понимают самых простых вещей, как пашня, лес и т. д. Сапожник даже сердился на господина Скорохода. Как этого-то не понять? Конечно, обидно...

— А в деревне нет мостовых? — спрашивает, например, господин Скороходов.

— Какие там мостовые... Одно слово, деревня. Тут тебе пашня, тут река, тут лес. Значит, как есть деревня настоящая, значит, вполне... грязь...

— Вот вы говорите, Гаврилыч, лес... Кто же его сажал?

— А никто... Сам лес растет, так уж это назначено от господ... Где быть лесу, там он и растет.

Недоразумения происходили главным образом потому, что ребенок никогда не был за чертой Петербурга, и живое представление о природе у него сложилось из того, что он только видел. А видел он мостовые, пятиэтажные дома, дворы колодцами, чахлые петербургские скверы, гранитные берега Невы. Тут бессильны были все книги, и Гаврилыч в свою очередь должен был объяснять многое такое, что для деревенского жителя понятно само собой.

— Главное дело в деревне — пашня, — объяснял он с какой-то особенной торжественностью. — Все от пашни... Без пашни, брат, шабаш. Вот и мы с тобой чужой хлеб едим... А он дорого стоит настоящему мужику. Это, брат, штука!..

— Один раз посеять хлеб, он и будет расти.

— А вот и не будет. Ты его посеял, снял, а на следующий год та же музыка сначала. Да еще может случиться засуха или ненастье... В деревне-то с молитвой живут, не то что в городе. Здесь мне што — плевать. Вёдро так вёдро, ненастье так ненастье, а в деревне-то... Да что тут говорить!..

— Лучше в деревне?

— Какое же сравнение: конечно, лучше. Возьмите хоть меня, господин Скороходов: какой я есть человек, ежели разобрать? Ведь денег я зарабатываю уйму, ежели это по-деревенски считать, а где они у меня, деньги-то?.. То-то вот и есть. Весь тут, дома ничего не осталось. А в деревне у меня бы и своя избенка была, и лошаденка, и коровенка, и всякое обзаведенье... Ну, как следовало настоящему мужику быть. А здесь что: тьфу!.. Разве это жисть?.. Вот придет суббота и натрескаюсь, как свинья. А отчего?.. Такая плепорция городская... И в деревне пьют, только с умом: на праздниках, на свадьбах, а не так, чтобы дуром. Вот и вы, господин Скороходов, ежели бы родились в деревне, разве такой бы были?.. В деревне народ здоровый, потому как вольный воздух первое дело.

— Отчего же вы не уедете в деревню, Гаврилыч?

— Я-то? А немножко, значит, угорел... Привык к городскому легкому хлебу. Ослабел...

Заговорив о деревне, сапожник весь изменялся. Он делался совсем другим человеком. Даже голос не тот. Мальчик смотрел на него с удивлением и никак не мог понять причины такой перемены. В действительности Гаврилыч идеализировал деревню и деревенскую жизнь, но тем не менее чувствовалось, что она захватывала всего, несмотря ни на какую городскую «плепорцию». Эти разговоры очень нравились мальчику, и у него складывалось самое фантастическое представление о той России, которая начиналась сейчас за Петербургом. И он, петербургский выродок, никогда не увидит этой настоящей русской деревни, настоящего леса, желтеющих пив и всего того, чем живут десятки миллионов настоящих русских людей. Петербург ему представлялся громадной тюрьмой, где люди не живут, а мучатся, и больше всех он, Тихон Петрович Скороходов, такой маленький, такой бессильный и такой жалкий, как те чахлые деревца, которые растут в петербургских скверах. Ах, если бы можно было взглянуть хоть одним глазком, как живут там, не в Петербурге,— взглянуть и умереть! Там и за квартиру не нужно платить, там и подвалов нет, и дворов колодцами, и болезней... Вот отчего Гаврилыч такой здоровый, и вот отчего он делается совсем другим человеком, когда начинает говорить о деревне.

Прошла гнилая петербургская весна, и наступило лето. Каменные дома днем накалялись от солнца, воздух был пропитан едкой кислой пылью, нечем было дышать. Господин Скороходов мучился теперь от того, что нечем было дышать, как весной страдал от подвальной сырости. Раз, накануне воскресенья, Гаврилыч сказал:

— Вот что, Тихон Петрович, мы завтра с вами разгулку устроим. До Юсупова-то саду от нас рукой подать... У меня есть знакомая барыня, а у барыни стоит детская колясочка.

— Да ведь вам будет скучно со мной, Гаврилыч... В трактире веселее.

— И трактир от нас не уйдет, а в Юсупов сад все-таки съездим.

Это было целым событием в жизни господина Скорохода. Сборов было столько, точно снаряжалась экспедиция по меньшей мере к Северному полюсу. Как волновался ребенок за этот роковой день! Какая-то будет погода? Не раздумал бы Гаврилыч? Не закапризничала бы

барыня с коляской? Мать Тиши волновалась еще сильнее, хотя и старалась не выдавать себя.

— Какой добрый этот Гаврилыч! — повторяла она.

— Ты его, мама, еще не знаешь!..

Ночь прошла почти без сна. Господин Скороходов ужасно волновался. В нем проснулся тот живой ребенок, которого не могла похоронить никакая петербургская пыль. В шесть часов утра он уже проснулся и наблюдал по противоположной стене двора, какая будет погода. К ним в подвал солнце никогда не заглядывало, и метеорологические наблюдения ребенок производил по противоположной стене: стена освещена, значит, есть солнце.

Гаврилыч закапчивал какую-то спешную работу и явился только часам к одиннадцати. Он даже умылся, приделался и выглядел франтом. Но главный восторг был в колясочке. Правда, она была немного мала, но с этим приходилось мириться. Большой был уложен в колясочку, и Гаврилыч торжественно повез ее. День был праздничный. На тротуарах происходила настоящая давка, и только благодаря силе и ловкости Гаврилыча колясочка благополучно добралась до Юсупова сада.

— Вот мы как! — хвастался Гаврилыч, когда коляска покатила по усыпанной песком дорожке.

Но господин Скороходов был разочарован. Все деревья стояли серые от пыли, и, главное, тот же кислый воздух. Вдобавок все уголки были усыпаны детворой, а господин Скороходов не выносил шума. Господи, сколько тут было детей, этих несчастных петербургских детей!.. Бледные, худенькие, с топкими ручками и ножками, они напоминали те бледные цветы, которые вырастают в подвалах без солнца. Правда, они играли, бегали, кричали, дрались, как и следует детям, но это было не настоящее детское веселье. Господин Скороходов, лежа в своей колясочке, с какой-то тоской наблюдал их своими не по-детски умными глазами, и ему делалось ужасно скучно. Все это было не то, чего ему хотелось, точно самый воздух был здесь насыщен какой-то фальшью, а «скверные» деревья только притворялись зелеными. Да, не то... А эта петербургская детвора, набравшаяся сюда из своих подвалов и чердаков, — что могло быть печальнее?.. На детских личиках уже сквозила недетская тревога, а в глазах светилось то раздражение, которое не оставляет настоящего петербуржца даже летом. Большой мальчик наблюдал детей с таким видом,

точно он сам был вот этими самыми детьми, припимая сотни всевозможных превращений. О, он так все отлично понимал!..

— Ах ты, братец ты мой, господин Скороходов,— ворчал Гаврилыч, огорченный неудавшейся поездкой.— Пыль одна, а не сад. Так, название...

Так прошло все лето, тяжелое и мучительное. Даже Гаврилыч затосковал, бросил работу и кутил недели две. Он явился к Тихону Петровичу таким виноватым и никак не мог взглянуть прямо в глаза ребенку.

— Нехорошо, Гаврилыч...

— Ах, как плохо, Тихон Петрович... Уж скорее бы осень. По крайности, сидишь у себя в норе и никуда тебя не тянет.

Осень не заставила себя долго ждать. Пошли дожди, потом ударил первый морозец — все шло своим порядком. В конце сентября выдалось несколько таких крепких и хороших осенних деньков. Именно в один из таких дней Гаврилыч пришел к господину Скороходову и заявил без всяких предисловий:

— Ну, и дурак же я, Тихон Петрович... ах, какой дурак!..

— Что случилось?

— А тогда-то, ну, когда мы в Юсупов сад путешествовали... Ну, конечно, дурак! Нужно было не в Юсупов сад вас везти, а за город. Что мне стоило в колясочке-то вас скатать хоть в то же Парголово... И настоящий лес посмотрели бы, и пашню, и травку зеленую. Положим, не настоящая деревня, а нашибает.

Господин Скороходов молчал. Такое путешествие было его заветной мечтой, но он боялся даже думать о нем, как о чем-то недосыгаемом и несбыточном.

— Не буду я, ежели будущим летом не свожу вас за город, господин Скороходов,— решил Гаврилыч, чтобы хоть чем-нибудь утешить пригорюпившегося ребенка.— Ей-богу, так... Только бы зиму пережить...

Ждать целый год... Это был такой ужасный срок, особенно когда приходится жить в сыром подвале. Но уже самая мысль подкрепляла господина Скороходова, и ребенок любил разговаривать на эту тему. Маршрут был выработан во всех подробностях, с точностью военной диспозиции. Гаврилыч сто раз рассказал весь путь, и мальчик запомнил его от начала до конца.

— Ах, только бы нам зиму смотать! — повторял сапожник. — Как это мне раньше-то в башку не пришло... а?..

Много было разговоров в длинные зимние вечера на эту тему, и мальчик каждый раз оживлялся. Он считал, сколько осталось дней до этого события, и чувствовал, как одна мысль о нем живет и подкрепляет его.

— Мама, я тогда умру спокойно, — повторял ребенок с каким-то особенным чувством. — Ведь мне так немного нужно... Только один раз взглянуть...

А время ползло ужасно медленно. Гаврилыч приходил к господину Скороходову почти каждый вечер и при его помощи переплывал море-окиян, путешествовал в тропических лесах, сгорал от жажды в Сахаре, замерзал в полярных льдах при освещении северным сиянием, спускался в глубины земных недр, поднимался на воздушном шаре, сражался при Фермопилах, защищая свободную Грецию от персидских полчищ, открывал Америку вместе с Колумбом, изобретал паровую машину и даже заглядывал в то далекое будущее, когда пароходы, железные дороги и телеграфы покажутся жалкими игрушками. Слабая детская рука вела этого большого и сильного человека от одного чуда к другому, из одной страны в другую, и Гаврилыч чувствовал только одно, что самое главное чудо вот этот больной ребенок с его девичьим голосом и печальными глазами. Старый солдат привязался к нему всей душой и был счастлив, когда бледное детское личико озарялось улыбкой.

III

Мы ничего не сказали о матери Тиши. Ее звали Настасьей Антоновной. Родилась и выросла она в Петербурге и, кроме Петербурга, ничего не знала. Образование получила домашнее, другими словами — никакого. После отца осталась двенадцатилетней девочкой и скоро познакомилась с нуждой. Мать была больная женщина и едва существовала крошечной пенсией. Маленькой Насте пришлось поступить в магазин швеей. Шестнадцати лет она познакомилась с молодым типографским наборщиком и скоро вышла за него замуж. Он был приезжий из далекой провинции и мечтал со временем завести свое дело.

Но вышло иначе. Петербургский климат и непосильная работа надломили силы. Ребенку было пять лет, когда чахотка свалила с ног отца. Прислушиваясь к разговорам Тиши и сапожника, Настасья Антоновна живо припоминала мужа: больной, он тоже мучился тоской о своей далекой провинции, мечтал о ней и умер с мыслью о ней. Ребенок шел по отцовской дороге, и мать чувствовала, что он скоро умрет. Да и примета такая есть: если больной пачпет собираться в дорогу — дело скверно. А какой рос мальчик — понятливый, умный, совсем особенный. Еще при отце выучился читать и целые дни проводил за книгами.

— Не жилец он у вас, сударыня,— говорил не раз Гаврилыч, качая головой.

— Что же я поделаю? И то вытянулась вся...

— Божья воля... да.

Последнюю зиму Настасья Антоновна сама прихварывала и уставала от работы. Придет домой и рада месту, а тут то нужно, другое, третье, и везде приходится самой. Хоть и маленькое, а все-таки хозяйство. Да еще шитье разное да починка. От нужды и забот бедная женщина начинала тупеть, а ее охватывало то тупое отчаяние и равнодушие, которому нет исхода. Иногда она думала, что уж лучше Тише умереть, чем так мучиться. Положим, что он никогда и ни на что не жаловался, но она чувствовала его страдания. Сапожник Гаврилыч являлся счастливой находкой, и она не знала, как его благодарить за участие к больному ребенку. Раз она даже попробовала это сделать, но Гаврилыч только сконфузился.

— Что вы, что вы, сударыня... Да ведь я хожу-то к вам для себя. Очень уж любопытно... Даже и рассказать не умею, как любопытно. Совсем особенный у вас Тихон Петрович... Господь умудряет младенцев.

Настасья Антоновна расплакалась. Гаврилыч нахмурился. Не любил он этих бабьих слез. Плачет, а того не подумает, что все под богом ходим — сегодня живы, а завтра и поминай как звали.

— А за город я его свожу, как только земля оттеплет,— бормотал сапожник, точно оправдываясь.— Уж вы не сумлевайтесь, Настасья Антоновна. Надо потешить младенчика.

Ласковые слова у Гаврилыча выходили как-то особенно хорошо, и сам он точно светлел от них.

Поддаваясь течению событий, Настасья Антоновна и сама увлеклась идеей путешествия Тини за город. Каким это смешные пустяки для других, а для них троих в этих пустяках было все: интерес целой зимы, интерес будущего. Если бы отнять эту мысль о поездке, все трое почувствовали бы себя ужасно несчастными. В жизни большое и маленькое меряется личным настроением. Так было и тут, в подвальной квартире, где сошлись такие противоположные люди, как больной ребенок и отставной солдат. Ах, скорее бы наступало лето... Это было самое томительное ожидание, сопровождавшееся иллюзиями и фантазиями, вроде того, что ведь может быть лето и в апреле месяце — стоит только теплу ударить, и зиме капут.

Роковой момент приблизился неожиданно. Это было в середине мая. С вечера выпал такой теплый весенний дождичек. Ранним утром Гаврилыч сбежал в Юсупов сад и принес радостное известие, что деревья уже распустились и высыпала зеленая травка.

— Только в скверных местах зелень-то раньше показывается, господин Скороходов,— объяснял сапожник.— Потому камень кругом, солнышком-то и угреет. Надо обождать денька три... Пока што, а пусть там все распустился.

Еще три дня самого томительного ожидания. Накануне поездки у Гаврилыча явился неожиданный план.

— Не махнуть ли нам, господин Скороходов, по Финляндской железной дороге? До вокзала в колясочке поедем, а там колясочку в багаж, сами в вагон...

— Нет, Гаврилыч...— заупрявился господин Скороходов.

Ребенок слишком сжился с первым маршрутом, который знал наизусть: по Парголовошскому шоссе, мимо Лесного, мимо Поклонной горы, Озерков — нет, так лучше. Да и на вокзале будет много людей, а тут совсем одни.

Рано утром восемнадцатого мая голова Гаврилыча высунулась из окна. Светило яркое солнце, значит, отлично.

— Тихон Петрович, господин Скороходов, вы встали?

— Здесь, Гаврилыч,— ответил тоненький голосок.

Колясочка была готова еще две недели тому назад. Необходимая провизия лежала завязанная в газетную бумагу. Гаврилыч не забыл сунуть сапожный нож за голенище. Одним словом, путешествие форменное.

— Ну, с богом,— говорила Настасья Антоповна, провожая путешественников за ворота.— Гаврилыч, вы смотрите, осторожнее... Где-нибудь еще под конку попадете.

— Не сумлевайтесь, сударыня...

Мальчик показался матери таким бледным сегодня, точно восковой. Она слышала, как он сегодня всю ночь надрывался от кашля. Да и лихорадка всю весну мучит... А колясочка катилась по тротуару. Вот она уже на углу. Гаврилыч остановился, оглянулся и сделал Настасье Антоновне под козырек. В последний раз мелькнуло бледное детское личико, и Настасья Антоновна вернулась в свою нору, вытирая непрошеную слезу.

— Господин Скороходов, вот мы и поехали...

— Да...

Мальчик задумчиво смотрел на закипавшие жизнью центральные улицы. В воздухе еще чувствовалась свежесть. Отворялись магазины; бежали кухарки с корзинами и кулками; дворники мели мостовую, подымая облака пыли. Начинался тревожный столичный день. Ах, как все это надоело — и эта вечная суета, и треск экипажей, и вечная пыль.

А колясочка катилась да катилась. Вот и новый Александровский мост, и клипка, и паровая конка. Дома делались все пиже. Начинался фабричный квартал. Гаврилыч попутно делал некоторые объяснения.

— Только бы нам до московских казарм добраться, а там мостовой шабаш, господин Скороходов. Солдатские огороды начнутся...

Доехали и до казарм, и колясочка мягко покатила по утрамбованному шоссе. Ребенок с особенным вниманием смотрел кругом, ожидая какого-то чуда. Вот там лес...

— Гаврилыч, ведь это настоящий лес?..

— Нет, еще не настоящий... Так, дачи. А эвон на горке Лесное, значит парк: шапка шапкой.

Навстречу попадались чухонцы в своих таратайках, ломовые, возвращавшиеся с дач порожняком, извозчики. Пронеслась мимо «паровушка».

У подъема к Лесному Гаврилыч сделал первый привал, поставив колясочку в тени дачного сада. Везде уже зеленела трава, деревья распустились. Сапожник с особенным удовольствием раскурил свою трубочку.

— Хорошо, господин Скороходов?

— Отлично... А лес скоро?..

— Скоро, скоро... Вон только проедем Лесное, сейчас можно свернуть влево, к Коломьягам — и там лес, а то можно вправо ударить, по Старо-Парголовокому шоссе — тоже лес.

— Нет, я хочу на Поклонную гору...

Ребенка огорчало то, что город все еще не кончался, — все эти дачи были только его продолжением. Конечно, это не Юсупов сад, а все-таки настоящего еще нет.

— Ну, трогай! — вскрикивал Гаврилыч, вкатывая колясочку на пригорок, где стоит церковь и конка делает поворот с шоссе вправо.

Мимо потянулись бесконечные дачи. Должно быть, хорошо здесь жить. Воздух совсем другой, и столько зелени. В одном месте Гаврилыч сделал неожиданную остановку. Как проедешь мимо постоянного двора «Распутье»? Он быстро юркнул к буфету, хватил стаканчик и вернулся обратно, на ходу прожевывая какую-то корочку.

— Зарядил малым делом, господин Скороходов.

Было уже около десяти часов утра, когда колясочка подъехала к Поклонной горе. Господин Скороходов был в восторге. Господи, как здесь хорошо... И сосновый бор, и какая даль там, внизу, и какое высокое небо здесь. У мальчика начинала кружиться голова и перед глазами точно летали мухи, но он крепился и ничего не говорил Гаврилычу. Свежий воздух его пьянил. Хотелось ехать вперед без конца...

— Хорошо, господин Скороходов?

— Ах, как хорошо...

Здесь дач было уже меньше. Встречные попадались редко, так что Гаврилыч даже затянул какую-то необыкновенную солдатскую песню:

Мы Расеюшку насквозь пройдем,
Да граф Па, граф Паскевича в полон возьмем!

Скоро показался и тот лесок, о котором говорил целую зиму Гаврилыч. Был тут и луг, и какой-то безымянный ручеек, и целый островок из сосен и берез. Колясочка свернула с шоссе и скрылась в лесу. Как мягко катились колеса по этой зеленой траве, как ласково шептались только что распустившиеся зеленые листочки, как весело выглядывали из травы первые весенние цветочки!..

— Стоп, машина! — скомандовал Гаврилыч, останавливаясь на опушке леса с той стороны, с которой не видно

было шоссе.— С благополучным прибытием, господин Скороходов...

Господин Скороходов что-то хотел ответить, но только раскашлялся. Бледное личико покраснело от натуги, потом посинело.

— Это от пыли...— объяснял Гаврилыч, тоже кашляя, точно хотел откашляться за своего маленького друга.— А мы сейчас огонек разложим, чайничек согреем... Хотите на травку, господин Скороходов?

Мальчик ничего не ответил, а только смотрел на Гаврилыча своими печальными глазами. Он не мог говорить от охватившего его волнения. Гаврилыч устроил сам все, что было необходимо. Разостлал по траве плед и подушки и перенес господина Скороходова на новое место, а сам сейчас же принялся разводить огонь. Мальчик лежал и смотрел в голубое высокое небо, на тихо шумевшие вершины сосен, на плывшие по небу белоснежные облака — смотрел и чувствовал, что с ним делается что-то необыкновенное. Его точно уносила какая-то сила... Не было ни боли, ни усталости, ни той тяжести, которая давила его маленькое сердце. Глаза закрывались сами собой.

«Намаялся дорогой-то, пусть соснет»,— думал Гаврилыч, сидя на корточках около огонька.

Ребенок заснул, заснул с таким счастливым выражением на лице, как засыпают только дети.

Чайник закипал уже три раза. Прошло больше часа, а ребенок продолжал лежать с закрытыми глазами.

— Тихон Петрович, господин Скороходов...— тихонько будил его Гаврилыч.— Будем чаевать...

Ответа не последовало.

Господин Скороходов заснул, чтобы больше не просыпаться...

ВОЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК ЯШКА

I

Глубокая осень. Последний осенний караван «выбежал из камней» только к 8 сентября. На реке Чусовой «камнями» бурлаки пазывают горы. Поиже кампей Чусовая катится уже в низких берегах. Скалы и хвойный лес быстро сменяются самой мирной сельской картиной: по берегам стелется пестрая скатерть пашен, заливных лугов и редких перелесков. Изредка выгляпет глухая деревушка, изредка мелькнет далекая сельская церковь... и опять глухой простор на десятки и сотни верст.

Выбежав из камней, караван отдыхал. Тяжелая бурлацкая работа осталась позади,— там, где, сдавленная каменными кручами, река бурлила и играла, как дикий зверь. Опасность плавания усложнялась осенними дождями, которые подпирали реку в несколько часов иногда аршина на два. Главным образом играли безымянные горные речушки; они стремительно несли в Чусовую дождевую воду, что скатывалась с гор. Так бывает только осенью, когда земля уже достаточно пропитается влагой.

— Теперь будем переваливаться с плеса на плес, как блин по маслу,— говорил бурлак Яшка, делая преуморительную рожу.

— У тебя везде масло на уме,— ворчал сплавщик¹ Лупап, припоминая последнюю хватку, когда Яшка

¹ Лоцман. (Примеч. Д. П. Мамина-Сибиряка.)

напился до зла горя.— Все ищет, где полегче да где плохо лежит. У непутевого человека и разговор непутевый...

На барке было шестнадцать бурлаков и в том числе три бабы. Собрались они с разных сторон: какие-то отбывшиеся от работы заводские мастеровые, двое татар из Казанской губернии; остальные — свой чувовской прибрежный народ, выросший на сплавах.

Из этой пестрой массы Яшка выделился сразу, как непутевый человек. Среднего роста, какой-то весь взъерошенный, кривой на один глаз — одним словом, не настоящий мужик, а так, как мякина в зерне. Особенно страдал Яшка по части одежды: па нем, кроме пестрядиной рубахи и таких же штанов, ничего не было. И это в сентябре, когда и холод, и ветер, и холодный осенний дождь.

— Как же это ты так ошибся одежей-то? — журил его водолив¹.

— А вот за работой согреюсь... Который бог вымочит, тот и высушит.

— Прошил одежу-то?

Яшка только встряхивал головой и улыбался. Что же, было дело!.. Кто его знал, что на реке по ночам так студено будет. Ну, да одежда — дело наживное: не с одежей жить, а с добрыми людьми.

Таких молодцов на барке было еще трое, и все забубенные пьяницы. Яшка отличался от них только особенным мужицким балагурством, которое иногда переходило в шутовство. Шутовства-то ему и не прощали. Можно быть и пьяницей, и забулдыгой, чем угодно, но только не шутом. А Яшка не мог утерпеть — нет-нет да и выкинет коленце, так что все помирают со смеху.

— Ах, Яшка, хрен тебе в голову!.. Ну и Яшка!

На третий день сплава, когда барка бежала еще в камнях, Яшка чуть не подрался.

Дело было так: ранним утром барка бежала мимо лесистого берега. Бурлаки стояли сумрачные, озябшие, озлобленные. С реки так и поддавало холоднымосенним туманом. Яшка стоял у потеси² вместе с другими и корчился,

¹ Водолив откачивает воду из барки и в то же время служит сторожем. (Примеч. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)

² Потеси — длинные бревна с широкой доской на конце; служат вместо руля. (Примеч. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)

как грешная душа. Вдруг он прищурил зрячий глаз и жалостливым голосом проговорил:

— Эх, кабы ружье!..

— А что, Яша?

— Да вот жаркое-то как насвистывает...

В лесу действительно перекликались рябчики.

— И вкусен теперешний осенний рябчик,— объяснял Яшка.— Ишь как выделяет, шельмец!.. Граз!..— и жаркое. Нет лучше этого осеннего рябчика... Падает убитый с дерева, так кожа у него от жира лопается.

— Да ты охотник, что ли, непутевая голова?

— Случалось... Лет с двадцать ружьишком промышлял.

— Куда же ты его дел, ружье-то?..

Яшка хотел объяснить, но его предупредил какой-то шутник:

— Да он его пропил, ружье-то...

— Я? Пропил?..

Яшка вдруг обиделся, и это послужило потехой для всей барки. Так мог сделать только непутевый человек. Настоящий мужик и вида не показал бы, что его задели за живое, а Яшка выдал себя головой.

— Ах, Яша, Яша, зачем же это ты ружье-то пропил? — притворно жалели его.— Вот теперь и стой у постели... Ел бы жареных рябчиков, кабы ружье-то... Ах, Яша, Яша!..

— Ничего вы не пошмаете, черти! — ругался Яшка.— Едал я этих самых рябчиков достаточно. И глухарей, и уток, и косачей — сколько даже угодно.

Слово за слово — и дело кончилось дракой. Яшку едва оттащили от большого, здоровенного бурлака, в которого он вцепился, точно кошка.

II

Слышу я всю эту перебранку. Вглядываюсь в лицо Яшки и вдруг припоминаю такой же пепастный осенний день в горах, ночлег в охотничьем балагане, неожиданное появление глухой ночью охотника-промышленника... Это был он, Яшка! Как это я не узнал его сразу?.. А между тем лицо у Яшки принадлежало к числу тех лиц, которые трудно забыть.

Впрочем, вапа встреча происходила почью, а ранним осенним утром Яшка уже ушел на промысел. На расстоянии пяти-шести лет таких ветреч — сотни, и можно забыть даже самое заметное лицо.

Да и Яшка сильно постарел, как-то весь вылинял, совсем подходил к тем пропащим людям, из каких составляются бурлацкие ватаги.

Непонятно было одно: как Яшка, вольный человек, охотник, попал в бурлацкую неволю?

— А ты меня не признаешь? — обратился я к нему, когда Яшка грелся у огопка, горевшего посреди барки на особом очаге.

Яшка равнодушно посмотрел на меня своим единственным глазом, почесал затылок и проговорил:

— Как будто и не припомню этакого барина...

— А как-то на Белой горе вот так же осенью ночевали вместе в балагаше?.. Ты за рябчиками ходил...

Яшкино лицо точно просветлело.

— А ведь точно... — заговорил он как-то особенно быстро. — Ах ты, братец ты мой!.. Еще у вас тогда собачка рыженькая была, на переднюю ножку припадала? Вот-вот... У меня тогда тоже собака, Куфта, была — аккуратный песик! Вот как глухарей по осеням на лиственни облаивала... спелую белку искала!.. И на медведя хаживала!..

Эти воспоминания были прерваны новым взрывом досады:

— А вот привел господь бурлацшны отведать, барин!.. Самый пустой народ... «Ружье, говорят, пропил», а того не понимают, галмапы, что такое ружье. Разве его можно пропивать?.. Нет, прямые подлецы они, барин, вот это самое бурлачье. Пропил!.. Варнаки!..

Оглядевшись кругом, Яшка прибавил вполголоса:

— Ружьецо-то у меня сканутилось... да. Пошел по первому снегу за оленями; выследил одного, подкрался — трах!.. казенник¹ и вырвало. Лучше бы, кажется, руку оторвало... Какой я человек без ружья? Хуже меня нет. Уж я и поправлять его отдавал, ружье-то, денег на поправку стравил видимо-невидимо, а толку не вышло. Мастершки плохие и вкопец извели. Вот я и подумал

¹ Казенник — большой железный винт, который вставляется в заднюю часть ружейного ствола. (Примеч. Д. П. Мамина-Сибиряка.)

сплыть на караване до Перми: зароблю¹ восемь целковых, да там и цапну новешкую орудю.

Последние слова Яшка проговорил с каким-то особенным вкусом и даже закрыл глаза, предвкушая удовольствие.

Ружье для него составляло все, и он вынашивал мысль о нем, вероятно, целую зиму. Добыть новое ружье было для него большою задачей: он знал, что, добыв ружье, бросит бурлацкое дело и опять станет вольным человеком.

Эта встреча доставила мне много удовольствия, хотя водолив, в балагане которого я скрывался на ночь от холода, и косился на Яшку, когда тот с охотничьим простодушием расположился «чаевать» со мною.

— Разве они што понимают? — объяснял Яшка с некоторой снисходительностью. — Так, темный народ.. Конечно, я на барке-то «пришей хвост кобыле», а поглядели бы па меня в лесу. Ну-ка, попробуй!.. Ты десять раз мимо прошел, а Яшка уж нашел. По лесу-то я барином хожу.. Хочу — у огонька буду сидеть, хочу — завалюсь спать. Разве они это могут понимать?.. Яшка — вольная птица.. Вот только бы господь сподобил касательно ружья!..

Мне очень хотелось приютить Яшку около себя, но это оказывалось невозможным — третьего места в балагане не было.

Вечером я укладывался, и мне тяжело было думать, что я лежу в сухе и в тепле, а Яшка корчитя около огонька...

— Ведь не я один колею, — объяснил Яшка. — Конечно, они варнаки и пичего не понимают, а только все же человеки...

III

Это была ужасная ночь... Я проснулся от какого-то пронизывающего холода. Часы показывали три. По скрипу потесей, бултыхавших воду с таким тяжелым шумом, точно ее разгребала какая-то огромная лапа, я заключил, что барка плывет. В камнях на ночь останавливали барку, — делали «хватку», а теперь барка плыла, потому что, кроме мелей, пшкакой опасности не предвиделось. Работы

¹ «Зароблю» — заработаю. Таков говор в Пермском крае. (Примеч. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)

было меньше, и бурлаки разделились на две смепы — дневную и ночную.

Когда я вышел из своего балагана, меня поразила открывшаяся картина. В воздухе тихо кружились хлопья мокрого снега... Вся барка была покрыта слоем этого снега, по крайней мере, на вершок. Кое-где слабо мерещились мокрые тени работавших у потесей бурлаков. Картина получалась ужасная. Некоторые кутались в мокрые рогожки, а большинство стояло без всякого прикрытия.

Царило мертвое молчание. Оно приходилось как нельзя больше под стать этой картине холодной смерти. Мне казалось, что наша барка плывет именно в каком-то мертвом царстве. Сплавщик Лупан, седой важеватый старик с окладистой бородой, сидел на своей скамеечке на задней палубе и отдавал приказания молча, движением руки, точно и он боялся нарушить мертвую тишину.

— А где Яшка? — спросил я водолива, отливавшего воду.

Он, тоже молча, мотнул головой на кладку медных полос — «штык», проходивших поленницей посредине барочного дна, от носа до кормы. Я понял, что водолив не забрался в балаган из совести и мокнул под снегом вместе со всеми остальными. Потому же и Лупан оставался на своей скамейке. Сказалось без слов то артельное чувство, которое из разношерстной бурлацкой ватаги делало одну дружную семью.

Яшка спал под мокрой рогожкой, покрытой снегом. Из-под нее поднимался только пар. Он устроился прямо на медных штыках, перевязанных по шести штук, так что через свою рогожку должен был чувствовать каждое ребро медной штыки и все узлы жестких веревок. Другие бурлаки забрались под палубы, — там, по крайней мере, не заносило снегом, — но вольный человек Яшка привык проводить целые недели на открытом воздухе, а зимой и прямо спать в снегу.

Я прислушался, — из-под рогожки слышалось ровное дыхание спящего человека.

Я присел к огню и долго смотрел кругом. Никогда еще пламя не казалось мне таким красивым, как именно сейчас, когда оно боролось с этой влажной, тяжелой тьмой. В такие ночи можно понять и все то неизмеримое значение огня, о котором как-то совсем забываешь, сидя в теплой комнате. Какая страшная ночь покрывала бы челове-

чество, если бы не было огня! Недаром Яшка до сих пор считает грехом плюнуть на костер. Вот и теперь он устроился на штыках, наверно, только потому, чтобы быть поближе к огоньку.

— Шли бы вы, барин, к себе в балаган,— посоветовал мне водолив, подкидывая на очаг несколько мокрых поленьев.— Дело-то ваше непривычное: как раз лихоманка ухватит, а то и паралик расшибет.

Признаться сказать, мне было совестно уходить в свой балаган, когда другие мокли на палубах, но оставаться с ними было не под силу. Ушел я в балаган, кое-как сложенный из досок, рогож и еловой коры,— на свою жесткую постель из наворованного на берегу сена. Я долго прислушивался к мертвой тишине, пока не заснул тревожным сном.

IV

Проснулся я поздно,— проснулся от страшного шума, происходившего на барке. Первая мысль была, что барка тонет. Я выскочил из балагана и замер от изумления. Происходило что-то невероятное до последней степени...

Над баркой с гоготаьем тяжело кружились дикие гуси. Обессилевшая птица, застигнутая рапшим снегом, падала в реку. До десятка гусей с какой-то отчаянной решимостью сели прямо на барку. Последнее было тем более удивительно, что дикий гусь — очень осторожная птица и не подпустит охотника на несколько выстрелов.

— Лови, робя, бей!..— галдели бурлаки, гоняясь за обессилевшей птицей.

Работа была брошена, и на барке происходила настоящая свалка. Меня поразил отчаянный вопль Яшки, который бегал по барке, как сумасшедший.

— Братцы!.. Родимые мои!.. Што вы делаете?.. Ах, варнаки... ах, подлецы!.. Братцы, миленькие, не троньте божью тварь!.. Разве можно ее трогать в этакое время?.. Очумели вы, галманы отчаянные!.. Креста на вас нет, на отчаянных... Ах, братцы, грешно! Вот как грешно!..

Проворнее всех оказалась одна из баб. Она поймала уже двух гусей и лежала на них пластом. Яшка накинулся на нее и отнял помятую, обезумевшую от ужаса птицу.

— Што ты делаешь-то, дурья голова?.. Вот я тебя расчешу... Право, отчаянные варнаки!.. Братцы!.. Черти!..

Яшка ругался, как остервенелый, и в то же время гладил отнятых у баб гусей. Бурлаки смутились, и некоторые уже выпустили пойманную птицу.

— А сам-то небось стреляешь всякую птицу, ярыга! — ответно ругалась обиженная баба. — Сбесился, деревянный черт!..

— И стреляю, дура-баба... да! — орал Яшка, закипая новой яростью. — Только не на перелетах... Я вольную птицу бью, которая в полной силе, а эта замерзлая. Вот ты бурчишь, дура-баба, а того не знаешь, что убить человека грешно, а за убитого странника вдесятеро взыщется. Так и с птичкой перелетной... Нажралась бы ты этой гусятины и околела бы сама. Одно слово: дура!.. Птичка-то к нам пасела, — дескать: «дадут передохнуть, а может, и накормят», — а ты навалилась на нее, как жернов. В другое-то время разве она подпустила бы тебя, дуру?..

— В самом деле, братцы, не трошьте божью птицу! — поддержал уже хрипевшего от волнения и крика Яшку старый сплавщик Лупан. — Нехорошо!.. Пусть передохнет, а потом сама улетит, куда ей произволение. Яшка-то правду говорит...

— Да ведь это харч, — нерешительно заявил один голос из сбившейся кучки бурлаков. — Такое бы варсво заварили, Лупан Степаныч!..

— А ты, оболдуй, слушай ухом, а не брюхом!.. Яшка-то всех умнее себя обозначил. Да!.. Он уж это дело знает.

— Ах, боже мой, да ведь грех-то какой! — умиленно повторял Яшка, обращаясь ко всем вообще. — Вон какая смиренная птичка... Сама в руки идет. Только вот не говорит: «Устала, мол, я, притомилась, иззябла...» А вы ее бить!..

Выбившийся из сил гусиный косяк теперь покрывал Чусовую, точно живой снег. Гуси не сторожились больше своего страшного врага — человека. Те, которые попали на барку, успели отдохнуть и торжественно были спущены на воду к призывно гоготавшим товарищам.

Яшка торжествовал и даже перекрестился, спуская последнего гуся.

— Будто еще должен один быть? — думал он вслух, оглядывая недоверчиво толпу бурлаков.

— Все тут, Яшка...

— Ну, и слава богу!.. Спасибо, братцы!

А снег все валит. Вода казалась такой темной в этих

побелевших берегах. Где-то вдали смутно обрисовывались деревенские стройки.

— Эй, будет валандаться попусту! — скомандовал сплавщик. — Держи нос-от направо...

Потеси лениво забултыхали в воде. Гусиный косяк сгрудился и стройной массой с гусиной важностью отплыл к противоположному берегу, провожая барку своим гоготаньем.

— Правильная птица! — заметил Яшка, провожая глазами удалявшийся от нас косяк. — Умнее ее нет... И живет páрами, по-божески. Не то что, например, косач...

Почесав затылок, Яшка прибавил совсем другим тоном:

— Эх, ежели бы вот таких гуськов десяточек, был бы Яшка с ружьем и не колел бы, как пес! В Перми бы продал по целковому штуку.

V

Вечером мы вместе пили чай в балагане — я, водолив и Яшка. На Яшке мокрая рубаха дымилась от пара. Он с каким-то ожесточением пил одну чашку за другой, вернее — не пил, а глотал. Это опять был жалкий Яшка.

— Тебя не знобит? — спрашивал я.

— Нет, зачем знобить?.. Вот ежели бы мокрый-то я у огня начал греться, ну, тогда пропасть.

Напившись чаю и поблагодарив, Яшка поднялся.

— Ну, теперь пойду на свою перину, барин...

Взглянув на изголовье постели, на которой отдыхал водолив, Яшка укоризненно покачал головой:

— Эх, Павел Евстратыч... а?.. эх!..

— Что? — спросил водолив, воровато шмыгая глазами.

— Эх, Павел Евстратыч!.. То-то я давеча не досчитался одного гуська... Где у тебя совесть-то?..

— Ну, ну, поддержи язык за зубами.

— Я-то подержу, а тебе отрыгнется этот гусь...

Из-под изголовья высовывался гусиный хвост.

— Да ведь я его не ловил! — оправдывался водолив. — Сам он забежал в балаган. Ну, я его и пожалел: приколол.

— У волка в зубе Егорий дал?.. Эх, Павел Евстратыч, нехорошо... Вот как нехорошо!

ПИР ГОРОЙ

Повесть

I

Над озером Увек спускался весенний вечер. Скиты стояли на правом высоком берегу, в тени векового бора, от которого потянулись длинные тени. На низинах и по оврагам еще лежал рыхлый почерневший снег, а на пригреве уже чернела земля и топорщилась прошлогодняя сухая и желтая трава. Избитая и почерневшая дорога шла к скитам от громадного селенья, залегшего на низком озерном берегу верст на пять. Селенье называлось тоже Увеком, как и озеро. Зимой в скиты ездили прямо по озеру, а сейчас уже выступили желтые наледы, и дорога шла горой. Именно по этой дороге и шел странник, мужик лет пятидесяти, с обветренным и загорелым лицом. За плечами у него болталась небольшая котомка, прикрепленная к берестяному обочью, какие делают в Сибири; в руках была тяжелая черемуховая палка, точно изгрызенная с одного конца, — она говорила о далеком пути.

Странник остановился на угорье и невольно полюбовался развертывавшейся перед ним широкой картиной. Да, хорошее место Увек, — недаром слава о нем прошла на большие тысячи верст, а увекские скиты привлекали к себе тысячи богомольцев. И озеро хорошо, верст на пятнадцать, а кругом лесистые горы. В дальнем конце озера зелеными шапками выделялись острова.

— Угодное место... — проговорил странник и перекрестился.

Долго он шел сюда, а теперь оставалось сделать всего несколько шагов. Вот уж приветливо смотрят бревенчатые скитские избы, и старая деревянная моленная, и целый ряд хозяйственных пристроек. Все это вместе обнесено было высоким деревянным заплотом (забором), а большие шатровые ворота всегда были на запоре. Около ворот одним маленьким волоковым оконцем глядела небольшая избушка, в которой жила сестра-вратарь. К ней и направился странник. Он постучал в конце и помолитвовался:

— Господи, Иусе Христе, сыне божий, помилуй нас!

Ответа пришлось подождать. Странник посмотрел на деревянную полочку, приделанную к окну с левой стороны, и улыбнулся. На полочке лежал кусок хлеба для заблудящего странного человека,— исконный сибирский обычай. Только на второе молитвованье в окошечко «отдали аминь», и показалась старушечья голова, замотанная платком.

— Аминь, добрый человек... Кого тебе, миленький?

— А Якова Трофимыча, мать честная...

— Якова Трофимовича? Нету у нас такого, миленький...

— Как нету?.. Должен быть.

— А вот и нет...

Голова быстро скрылась, а окно сердито захлопнулось. Страннику пришлось молитвоваться в третий раз и ждать дольше. Крепко живут старицы.

— Што ты привязался-то? — ворчала старушечья голова, приотворяя оконце вполчину.— Сказано: нет. Иди своей дорогой, миленький...

— А ежели у меня грамотка к матери Анфусе?..

Строгие старушечьи глаза посмотрели на странника довольно подозрительно, точно взвешивали его.

— Погоди ужо...— ответила старуха и скрылась.

Опять странник остался у ворот. Солнце уже село, и потянуло резким весенним холодком. С Увека доносился хриплый лай цепных собак,— селенье раскольничье, и жили в нем по старине, крепко.

— Угодное место...— еще раз проговорил странник, подсаживаясь на приворотную скамейку.— Боголюбивые народы недаром строились... Вон как селитьба-то разлеглась, верст на шесть по берегу будет.

— Кто там хрещеный? — слышался голос в окне.

Теперь выглянуло уже другое лицо, помоложе, в черной монашеской шапочке.

— Дельце есть небольшое...

— Да ты сам-то кто будешь?

— Я-то? Ну, я, видно, дальний, а завернул в обитель с грамоткой от отца Мисапла... Крепко наказал кланяться и грамотку прислал.

— Давай грамотку-то...

— Не могу, честная старица: наказано матери Анфусе в собственные руки, а не иначе этого.

Скитские старицы пошептались, и только после этих переговоров тяжело громыхнул монастырский железный затвор. Когда странник вошел в калитку, его еще раз осмотрели и потом уже пустили дальше.

Скитский двор занимал большую площадь, обставленную простыми бревенчатыми избами. Самая большая была келарней. Двор был вычищен, а оставшийся снег таял большими кучами в стороне. Скитницы жили уютно и обихаживали свой укромный уголок с охотой, как рабочие пчелки. Сестра-вратарь провела пришлеца в ближайшую избу с высоким крыльцом, где и жила сама честная мать Анфуса.

— Ужо подожди здесь...— остановила гостя сестра-вратарь, поднимаясь на крыльцо.

В окошке показалось молодое девичье лицо и посмотрело на странника удивленными серыми глазами. Это была совсем молодая девушка, лет шестнадцати, и ее лицо казалось еще моложе от черной скитской шапочки, в каких ходят послушницы. Потом это лицо сделало знак страннику идти в избу. Послушница встретила его в полутемных сенях и повела в заднюю избу. Она была такая высокая и стройная, так что странник даже полюбовался про себя. Хороши на Увече послушницы, нечего сказать!..

Войдя в избу, странник положил начал и, поклонившись сидевшей на лавке толстой старухе, проговорил:

— Прости, матушка, благослови, матушка...

— Бог тебя простит, странничек, бог благословит,— не по летам певуче ответила старуха, оглядывая гостя.— От Мисаила сказался?

— От его, видно,— ответил странник, добывая из-за пазухи кожаный кошель.— Вот тебе и грамотка, честная мать...

Старуха взяла сложенную трубочкой засаленную грамотку, внимательно ее осмотрела и проговорила:

— Егор-то Иваныч дожидает тебя. Нарочно сегодня пригпал из городу... Спиридоном тебя звать? Так, так... Давненько про тебя пали слухи. Аннушка, проводи ты его к Якову Трофимычу...

Послушница низко поклонилась и, опустив по-скитски глаза, вышла из избы. Спиридон, отвесив поклон честной матери, пошел за ней. Они опять вышли на двор. Девушка повела его в дальний угол, где двумя освещенными окнами глядел новенький бревенчатый флигелек, поставленный в усторонье.

— Из тайги пришел? — спрашивала послушница, легкой тенью двигаясь в темноте.

— Оттедова, голубушка... А ты кто такая здесь будешь?

— Я-то? А дочь Егора Иваныча... Мамышка-то у меня померла, ну, тятя сюда меня и отдал под начал матери Анфусе. Четвертый год здесь проживаюсь...

— Так, так...

У флигеля пришлось опять молитвовать, пока в волюковом оконце не показалось бледное жепское лицо.

— Это ты, Аннушка?

— Я, Агния Ефимовпа... Вот привела к вам таежного мужика.

Окно захлопнулось. Потом где-то скрипнула дверь, и в сенях показался колебавшийся свет. Агния Ефимовна сама отворила сени и впустила гостя. Он снял шапку и вошел в низенькую горницу, слабо освещенную нагоревшей сальной свечой. У стола в переднем углу сидели два старика — один совсем лысый, с закрытыми глазами, другой плотный и коренастый, с целой шапкой седых кудрей и строгими серыми глазами. Спиридон по этим глазам узнал в нем отца Аннушки. Положив начал, он поклонился и встал у двери. Аннушка передала грамотку отцу и ушла с Агнией Ефимовной в соседнюю горницу, притворив за собой дверь.

Егор Иваныч надел большие очки в медной оправе и принялся читать грамотку Мисаила. Читал он долго, поглаживая седую бороду и изредка взглядывая поверх очков на стоявшего у дверей страпника. Слепой лысый старик сидел понуро на своем месте и жевал губами.

— Ну, што? — спросил слепой, когда Егор Иваныч снял очки и начал их укладывать в медный футляр.

— А вот спросим Спиридона,— ответил Егор Иваныч.— Ну, Спиридон, што ты нам скажешь?

Спиридон тяжело переступил с ноги на ногу, опять вытащил из-за пазухи свой кожаный кошель, добыл из него что-то завернутое в тряпочку, развязал ее зубами и положил на стол. На тряпочке ярко желтело мелкое золото.

— Вот оно самое...— тихо проговорил он, оглядываясь на запертую дверь.

— Может, у бухарцев купил? — недоверчиво спрашивал Егор Иваныч, перегребая пальцем золотой порошок.

— Нет, сам добыл, Егор Иваныч... На охоте с орочоном встретился, а он мне и указал место. Могу доказать... Богачество, Егор Иваныч!.. Ежели бы господь благословил, так большие тысячи можно в тайге добыть...

II

Слухи о сибирском золоте ходили уже давно среди уральских раскольников, особенно среди тех из них, которые вели крупные торговые дела с киргизской степью. Егор Иваныч вырос в подручных у крупных торговцев салом, Ивачевых, и не один год провел в степи. Там, на степных стойбищах, в киргизских аулах и кибитках, он слышал десятки рассказов о сибирском золоте, скрытом в глубинах непроходимой тайги, как заветный клад. Эти рассказы переходили из рода в род, и никому еще до сих пор не удалось добраться до сокровища, несмотря на очень смелые попытки, как, например, история знаменитых братьев Поповых, положивших на это дело миллионы. Егор Иваныч успел состариться, а сокровище оставалось нетронутым. И вот теперь, когда уже его голова покрылась первым снегом, оно само пришло к нему, это сокровище. Во всей истории было что-то сказочное: и Спиридон, и старец Мисаил, и слухи, которые опередили Спиридона. Сам Спиридон не внушал Егору Иванычу доверия: мало ли по Сибири таких бродяг шатается. Просто купил у бухарцев золота и подманивает.

— Ну, вот что, мил друг, утро вечера мудренее,— строго проговорил Егор Иваныч, поднимаясь с ме-

ста.— Сегодня ты ступай в Увек, там заночуешь. Третья изба с краю... Скажи, что Егор Иваныч прислал. Да смотри: ешь пирог с грибами, а язык держи за зубами.

Мужик посмотрел на Егора Иваныча исподлобья, как настоящий травленный волк, а потом свернул свою тряпочку с золотом и ответил:

— Што же тут держать-то: я никого не неволю. Дело полюбовное, Егор Иваныч.

Егор Иваныч покраснел, но сдержался и только сухо заметил:

— Што же, другим понесешь золото?

— А хошь бы и так... Ведь ты меня не купил. Говорю: любовное дело. Брюхо за хлебом не ходит...

— Как ты сказал, мил человек?..

— А так и сказал... Сначала коня запрягают, а потом в сани садятся. Я-то вот тыщи с три верстов отмерял до тебя, а ты меня пирожком накормил...

У Егора Иваныча глаза потемнели от бешенства,— очень уж дерзкий мужичонко,— но он переломил себя и только заметил:

— Зубы-то, мил человек, побереги. Пригодятся...

— У волка в зубе — Егорий дал! — смело ответил странник.

Когда он вышел, Егор Иваныч громко ударил по столу кулаком.

— Нет, как он разговаривает-то, челдон?! — кричал старик, давая волю накопившемуся негодованию.— Слышал, Яков Трофимыч?

— Как не слышать...— равнодушно подтвердил слепой.— Значит, вполне надеется оправдать себя, ежели такие слова выражает. И то сказать, што ему кланяться нам со своим золотом...

— Да ведь это еще в трубе углем написано, его-то золото!.. Надо его еще найти, а он вперед на дыбы поднимается... Одним словом, варнак...

— Не велик, видно, зверь, да лапист. А Мисаил-то што пишет?

— Да вот послушай, Яков Трофимыч... Очень уж уверился старичок вот в этом самом Спиридоне. Как бы ошибки не вышло...

Егор Иваныч опять оседлал свой нос очками, развернул грамотку и только приготовился читать, как в горницу

вошли Агния Ефимовна и Аннушка. Старик нахмурился и проговорил, обращаясь к дочери:

— Аппа, ты иди-ко к себе в келью. Не бабьего это ума дело, штобы наши разговоры слушать...

Послушница простилась и вышла, а Агния Ефимовна как ни в чем не бывало подседа к мужу, положила к нему руку на плечо и вызывающе посмотрела на сердитого гостя своими большими карими глазами. Егор Иванович вскочил и грузно заходил по комнате.

— Ну, што же Мисаил-то? — спросил слепой.

— Ах, отстань... Терпеть ненавижу, когда, напримерно, всякая баба будет нос совать не в свое дело. Всяк сверчок знай свой шесток...

— Куда же мне идти от слепого мужа? — спрашивала Агния Ефимовна самым простым тоном. — Он как малый ребенок без меня...

— Не тронь ее, Егор Иванович, — вступился за жену слепой. — Она у меня разумница... Не бойсь, не разболтает, чего не следует. Ты, Агнющка, не бойся...

— И то не боюсь, Яков Трофимыч. Не какая-нибудь, а мужняя жена. Некуда мне уходить-то...

Агния Ефимовна была еще молода, всего по тридцатому году, и сохраняла еще свою женскую красоту. Лицо у нее было тонкое, белое, нос с легкой горбинкой, брови черные, губы алые; сиденье в скитском затворе около слепого мужа придавало этому лицу особенную женскую прелесть. Вывез жену Яков Трофимыч откуда-то с Волги, когда зрячим ездил по своим делам в Нижний. Егор Иванович как-то инстинктивно не любил вот эту Агнию Ефимовну, правильнее сказать — не верил ни ее ласковому бабьему голосу, ни этому смиренному взгляду, ни ее любви к мужу. Сейчас в особенности старик ненавидел эту женскую прелесть, мешавшую делать большое мужское дело.

— Ну что же ты, Егор Иванович? — спрашивал слепой. — Што тебе Мисаил-то пишет?

— Не мне, а матери Анфусе, — поправил его Егор Иванович. — Дело не в письме, Яков Трофимыч... Нет, не могу я с тобой по-сурьезному разговоры разговаривать!..

Слепой тихо засмеялся, откинув назад голову. Агния Ефимовна поднялась, выпрямилась и заговорила твердым голосом:

— Ты не можешь, Егор Иванович, так я тебе скажу...

— Ну, ну, скажи! — подзадоривал старик, усаживаясь

к столу.— В чем дело, Агния Ефимовна? Поучите нас, дураков...

— Приходится, видно, поучать... Зачем Спиридона отвел сейчас? Характер свой захотел потешить?.. Только одно забыл, што этот Спиридон из тайги сюда три месяца шел, што ежели бы его поймали на дороге с золотом, так ни дна бы ни покрывки он не взидел, што... Одним словом, пужный человек, а ты ему ни два ни полтора.

— Верно, Агнющка,— поддакивал слепой.— И я то же говорил... Егор Иваныч, ты не серчай, а у нас все заодно: у одного на уме, а у другого на языке.

— Так, так... Правильно! — иронически согласился Егор Иваныч.— Еще не скажешь ли чего, матушка Агния Ефимовна? Откедова ты это все вызнала-то, скажи-ко попервее всего?

— А сорока на хвосте принесла...

— А не сказала тебе сорока, чего будет стоить эта игрушка со Спиридоном?

— Тысяч на тридцать можно обернуться...

— А где их взять?

— Яков Трофимыч даст... Дело верное, ежели старец Мисаил одобряет. Не таковский человек, чтобы зря говорить.

Егор Иваныч поднялся, прошелся по комнате, остановился около слепого и проговорил сдавленным голосом:

— Дашь, што ли, Яков Трофимыч, ежели дело на то пойдет? Мисаил-то пишет действительно того...

— Дать, Агнющка? — спрашивал слепой.

— Ежели старец Мисаил благословляет, так, известно, дать,— решила Агния Ефимовна.— Ему-то ближе нашего знать...

Егор Иваныч стоял и молча смотрел на мудреную бабу. Ох, велика человеческая слабость, особливо когда бесприкачнется вот на такой лад, с бабьими лестными словами... И сам он то же думал, только не хотел показывать виду, а баба все и вывела на свежую воду, как пить дала...

— А ты бы, Агния Ефимовна, все-таки вышла бы лучше в свою горенку,— проговорил Егор Иваныч, выдерживая характер.— Бабье-то «так» пером по воде плавают...

— Не тронь ты ее!..— взмолился слепой.— Она у меня вместо глаза. Поговорим ладом... Што она, што я — разговор один.

— А ежели не привык я с бабьем разговаривать? Ну, да дело твое... Немошь тебя обуяла, Яков Трофимыч. Оно и взыскивать не с кого... Я это так, к слову пришлось...

Беседа задлилась во флигельке за полночь. Говорил один Егор Иваныч, обсуждая новое дело со всех сторон. Агния Ефимовна все время не проронила ни одного слова, точно воды в рот набрала. В конце концов состоялось соглашение, и старики ударили по рукам.

— По первопутку поеду в тайгу со Спиридоном сам,— говорил Егор Иваныч.— А там, што бог даст...

Агния Ефимовна вышла провожать старика в сени и, стоя на пороге, проговорила:

— Моя любая половина, Егор Иваныч...

— Из чего это половина-то?

— А из чистых барышей...

Старик только тряхнул головой: черт, а не баба.

III

Появление Спиридона в Увеке наделало шуму во всем раскольничьем мире. Молву о сибирском мужике, отыскавшем золото, разнесли по богатым раскольничьим милостивцам разные старушонки-богомолки, странники, приживальцы — вообще весь тот люд, который питался от крох падающих. Откуда могли вызнать все это проходимцы — трудно сказать, тем более что переговоры Спиридона с Егором Иванычем происходили келейно. Как-никак, а молва докатилась через несколько дней до города Сосногорска, где жили богатые промышленники и заводчики: Огибенины, Рябиныны, Мелкозеровы. По богатым палатам сосногорских толстосумов шли теперь оживленные толки, и все они сводились на Егора Иваныча, который продался слепому Густомесову. Каждому хотелось отведать сибирского золота, и каждый мог только завидовать счастьем слепого Якова Трофимыча,— вот уж именно «слепое счастье». С другой стороны, всем было понятно, как совершились события: старец Мисаил, к которому пришел Спиридон, сделал засылку честной матери Анфусе, чтобы оповестила богатых милостивцев, а честная мать Анфуса давно дружила с Егором Иванычем, единственная дочь которого воспитывалась в скиту у Анфусы. Дальше уж пошло само собой: Густомесов проживал в скиту уж близ-

ко десяти лет и кормил всю обитель,— ну, Анфуса и направила к нему Егора Иваныча, а Егору Иванычу тоже не вредно, если поведет все дело на капиталы слепого хозяина — сам большой, сам маленький будет во всем. Одним словом, история разыгралась, как по-писаному, и комар носа не подточит.

Нашлись любопытные, которые нарочно ездили в Увек, чтобы хоть издали поглядеть на таинственного сибирского мужика. Он проживал в избе у старухи бобылки и показывался только на озере, куда выезжал на плотике удить рыбу. Целые дни проводил он за этим «апостольским ремеслом» и ни с кем не хотел водить знакомства. Даже в скит к Анфусе ходил редко и то на службу. Крепкий был мужик, одним словом. Выискался было один шустрый подручный от Рябиновых, который с удочкой подчалил на лодке к плотнику Спиридону, чтобы завести знакомство, но и из этого ничего не вышло,— хитрый сибирский мужик даже не взглянул на него и сейчас же поплыл к своему берегу.

— Оборотень какой-то! — ругали все сибирского мужика.— Чего он сторонится всех, как чумной бык?

Дальше интересовало всех, как обойдется Егор Иваныч с своим хозяином, Мелкозеровым, у которого служил с малых лет. Мелкозеров был из сальников, вместе еще с Густомесовым вел дела в степи, а потом попал в случай — продавались железные заводы у промотавшихся наследников, и Мелкозеров купил их. Все дивились необычайной смелости Мелкозерова,— дело было миллионное, неприличное, а он не побоялся. Много было волокиты и хлопот, чтобы просто купить эти заводы, потому что приобретать населенные имения могли только дворяне, а не купцы. Сильно потрянул тугой мошной Мелкозеров и добился своего, а потом уже развернулся во всю ширь. Дело было громадное, прибыльное и сулило впереди миллионы. «Ндравный» человек Мелкозеров превратился быстро в самодура и на своих заводах являлся страшной грозой. Все трепетало перед ним, тем более что от него зависели жестокие заводские наказания. Крут был сердцем Мелкозеров, и все боялись его, как огня. Не боялся только один Егор Иваныч, состоявший при нем зараз в нескольких должностях: он и с подрядчиками ведался, он и горных чиновников умасливал, он и всякие тайные поручения исполнял — везде попевал Егор Иваныч, как недремлющее око.

И вдруг Егор Иваныч отшатнулся от Мелкозера проть,— никто даже представить себе не мог, как это произойдет. Между тем все шло по-старому, и Егор Иваныч не подавал никакого виду: все тот же Егор Иваныч, точно ничего не случилось. Мелкозеров, конечно, уже знал о сибирском золоте и тоже не подавал виду, что знает что-нибудь. Крепкие люди сошлись.

Однако выпал роковой день, когда все разрешилось само собой. Это случилось в июле, в самую страду. У Мелкозера было два железных завода, и управляющим состоял его племянник Капитон Титыч, такой же «идравный» и упрямый человек, как и сам старик Мелкозеров. Летнее время на заводах тихое, потому что рабочие распускались на страду. Сам Мелкозеров проживал в Сосногорске и потребовал к себе племянника для каких-то объяснений. Но вместо племянника получилась коротенькая записка: «Рыбу ловлю. Некогда. Да и говорить нам с тобой, дядя, не о чем сейчас. Капитон Мелкозеров». Вскипел старик и послал строгий наказ послушнику явиться немедленно. В ответ получилась записка еще короче: «Не хочу. Капитон Мелкозеров». Это уже окончательно взорвало старика, и он послал на заводы нарочитых людей, чтобы привезли Капитона живого или мертвого.

— Я за все в ответе! — кричал старик. — Орудуй в мою голову...

Прежде он поручил бы это дело Егору Иванычу, а теперь обошел его. Это был явный признак опалы. Егор Иваныч не шевельнул бровью: не его воз, не его и пенка.

Итак, стоял жаркий июльский день. Егор Иваныч, по обыкновению, сидел в своей конторе, устроенной при громадном мелкозеровском доме. Контора выходила окнами на улицу, и Егор Иваныч видел, как к воротам подъехала простая деревенская телега, на которой сидели четыре здоровенных мужика.

— Капитона привезли... — пронеслось по конторе.

Все служащие так и замерли, ожидая, чем разыграется вся история. Телега въехала во двор и остановилась у крыльца. Доложили о приехавшем госте самому хозяину. Выбежал на крыльцо оторопелый подручный и проговорил:

— Капитон Титыч, пожалуйста в контору... Лаврентий Тарасыч сейчас туда придут.

— Не хочу...— ответил лежавший на телеге Капитон; он и не мог прийти, потому что был связан по рукам и ногам.

А старик Мелкозеров уже успел спуститься в контору и смотрел в окно. Он даже зашипел от ярости, услышав такой ответ.

— Как же он придет, ежели лежит связанный,— объяснил спокойно Егор Иваныч.

— Ну, ступай, приведи его, дурака...

Егор Иваныч отправился, велел развязать Капитона, но тот продолжал лежать в телеге и не хотел вставать.

— Не хочу...— отвечал Капитон на все уговоры.

— Несите его, щучьего сына, на руках!— крикнул Мелкозеров в окно.

Здоровенные мужики подхватили ослушника на руки и внесли в контору. Трудненько было тащить здоровенного мужика, но ничего,— внесли. В конторе Капитон не пожелал встать на ноги, а растянулся на полу, как пласт.

— Ты это што дуришь?!— накинулся на него Мелкозеров.— Да я тебя в остроге сгною... запорю... И отвечать не буду!..

— Руки коротки,— спокойно ответил Капитон.— Не крепостной я тебе дался.

Нужно было видеть старика Мелкозерова в этот момент. Он весь побледнел, затрясся и с сжатыми кулаками бросился к Капитону. Трудно сказать, что произошло бы тут, если бы Егор Иваныч не загородил дороги. Гнев старика целиком обрушился на непрошеного заступника.

— Ты... ты... ты... Иуда!— задыхавшимся голосом повторял Мелкозеров, позабывая о лежавшем на полу Капитоне.— Ты продал меня... Старая-то хлеб-соль забывается! Иуда...

Мелкозеров затопал ногами, зашипел и даже замахнулся кулаком на Егора Иваныча.

— Я все знаю...— уже хрипел он.— Да, все... Стакался ты со скитницами и обходишь теперь слепого дурака.

— Никого я не обходил, Лаврентий Тарасыч...— слегка дрогнувшим голосом ответил Егор Иваныч.— Тебе вот я сорок лет прослужил верой и правдой, а не имею сорока грошей. Больше не могу... Не о себе говорю, а о дочери Аннушке... Об ней пора позаботиться. Не хочу ее нищей оставлять.

Мелкозеров даже отшатнулся от верного слуги, посмотрел на лежавшего на полу Капитона и потом проговорил, указывая на него:

— Ты сговорился с ним... Может, вместе собрались убить меня? А?!

— Зачем убивать... А только, Лаврентий Тарасыч, больше я тебе не слуга. Будет...

Это была настоящая живая картина. Центр занимал лежавший на полу Капитон, могучий мужчина с окладистой темной бородой, около него стоял Егор Иваныч, немного откинув назад свою седую голову, а против них бежал Мелкозеров — высокий плечистый мужчина с крутым лбом, огневыми темными глазами и бородкой клинушкой. Все они были одеты по-домашнему, в раскольничьи полукафтаны, в русские рубахи-косоворотки и в смазные сапоги.

— Сорок лет тебе я прослужил, Лаврентий Тарасыч, а теперь пора и о себе позаботиться,— продолжал Егор Иваныч.— Всякому своя рубашка к телу ближе...

Капитон в этот момент поднялся и проговорил всего одну фразу:

— И я тоже...

Мелкозеров посмотрел на обоих и сказал всего одно слово:

— Вон!

Вся контора замерла, ожидая, какую штуку выкинет Капитон, но он только посмотрел на дядю и отвернулся.

Егор Иваныч и Капитон вместе вышли на крыльцо. Они молча прошли двор и остановились у ворот. Капитон снял шляпу, поправил кудрявые волосы, по-раскольничьи подстриженные в скобку, и, погрозив кулаком в окно конторы, проворчал:

— Погоди, идол, я до тебя доберусь...

Егор Иваныч взял его под руку и повел под гору,— мелкозеровский дом стоял на горе. Они молча прошли пол-улицы, а потом старик заговорил:

— Ну, Капитон, теперь мы с тобой на одном положении. Осенью по первопутку я выезжаю с партией в тайгу.

— Слышал...

— Ежели хочешь — поедем вместе.

— На густомесовские деньги?

— Уж это не твое дело. Попытаем счастья...

Старик боялся услышать в ответ Капитоново «не хочу», но Капитон только тряхнул головой и молча протянул руку.

— Э, где наше не пропадало, Егор Иваныч... Будет, поработали на прелюбезного дядюшку. Ах, так бы, кажется, пополам и перекусил его...

— Будет, утишись. Сердце-то у вас обоих огневое, Капитон, вот ладу-то и не выходит, а со мной ужживься.

Капитона Егор Иваныч знал с детства, когда он еще состоял при строгом дяде в мальчиках, и любил его по-хорошему, как любят хорошие люди. В упрямом мальчике было много симпатичных сторон, а Егор Иваныч жалел его, как сироту. По-своему, по-стариковски, он больше всего ценил в нем хорошую кровь. Вот и теперь: ни на волос не сдался, хоть на части режь. С огнем другого-то такого кремня поискать...

Впоследствии Егор Иваныч тысячу раз раскаивался вот за эту сцену.

IV

Приготовления к походу в далекую тайгу заняли все лето. Нужно было собрать партию рабочих в пятьдесят человек, заготовить всякую приисковую спасть, провiant, одежду для рабочих — одним словом, все, что могло потребоваться за зиму в безлюдной тайге. Егор Иваныч точно помолодел и работал за троих. Он поднимался с зарей и хлопотал вплоть до ночи. В виде отдыха старик время от времени уезжал из Сосногорска в Увек, чтобы повидаться с дочерью, — это была последняя старческая привязанность, которая угнетала и делала рабом. Егор Иваныч, если можно так выразиться, был просто болен своей дочерью, хотя и старался по внешнему виду не выдавать себя. Он даже казался строгим отцом и делал суровые выговоры. Одна только честная мать Анфуса знала, как безумно любил старик свою ненаглядную Анпушку, — от нее у него не было тайн. Боже сохрани, чуть что попритчится девушке! — старик сейчас же падал духом и рыдал, как ребенок, в келье Анфусы. Анпушка была его жизнью, светом, дыханием. Можно себе представить, как Егора Ивановича волновала близившаяся разлука на целую зиму.

Пока он старался не думать об этом, как мы стараемся не думать о смерти.

Недели за две до отъезда, после покрова, Егор Иваныч приехал в скит вместе с Капитоном. Последний хотя и был старовером, но в скиту на Увек не бывал ни разу. От Сосногорска до озера было всего каких-нибудь двадцать верст, но Капитону все как-то не выпадала дорога именно в эту сторону. Егор Иваныч привез своего помощника с той целью, чтобы он сам переговорил со слепым Густомесовым. Все же оно лучше, а то, храни бог, помрешь в тайге, и заменить будет нечем. И для Густомесова надежнее: Капитон не чужой человек.

Осенняя непролазная грязь была уже скована морозом, и небольшая дорожная повозка Егора Иваныча бойко подкатила к скиту.

— Ты смотри, Капитон, не скажи чего лишнего,— предупреждал старик, вылезая из экипажа.— Уговор на берегу... Место-то здесь тихое, не мирское. Напугаешь еще монашин... Ведь ты у меня, Христос с тобой, с поровом!

Капитон ничего не ответил, а только улыбнулся в бороду.

В скиту Егор Иваныч давно был своим человеком и привел гостя прямо в густомесовский флпгелек. По обыкновению, двери отворила им сама Агния Ефимовна. Она даже отшатнулась, когда увидела перед собой рослого красавца мужчину, в упор глядевшего на нее своими сердитыми глазами.

— Што, испугалась, Агния Ефимовна? — пошутил Егор Иваныч.— Ничего, хорош зверь, ежели к рукам.

— Пусть молодые боятся, а я уж стара стала,— ответила Агния Ефимовна, оправившись.— Милости просим, дорогие гости...

Капитона поразили больше всего ярко-красные губы скитской затворницы, совсем уже не подходившие к ее полумонашескому костюму, смиренному взгляду и матовому цвету прежде времени отцветавшего лица. Когда Капитон входил в дверь и нагнулся, чтобы не стукнуться головой о притолоку, Агния Ефимовна невольно улыбнулась: какой он большой, да здоровый, да красивый. Ее точно огнем опалило... Бывают такие мимолетные встречи, которые оставляют в душе неизгладимый след и служат какой-то роковой гранью, разделяющей жизнь на разные полосы. Иногда какая-нибудь ничтожная мелочь западает

в память и выступает с яркой силой при каждом удобном случае. Впоследствии, когда Агния Ефимовна думала о Капитоне, она не могла представить его себе иначе, как именно входящим, нагнувшись, в дверь их скитской горницы.

— Вот ты какой, Капитон! — удивлялся Яков Трофимыч, ощупывая гостя без церемоний. — Из всего дерева выкроен... А дяде так и отрезал тогда: «Не хочу!» Ну, молодец... С Лаврентием-то Тарасычем мы прежде хлеб-соль водили, а теперь он и забыл про меня. Все забыли... да... Карахтерный человек Лаврентий Тарасыч!.. А ты ему: «Не хочу!» Ха-ха...

Капитон почувствовал себя в этой маленькой горнице как-то особенно жутко. Ему точно было совестно и за свой рост и за свое богатырское здоровье, а тут еще этот смех лысого слепца. Больше всего смущало Капитона то, что все время он чувствовал на себе пристальный взгляд Агнии Ефимовны, которая точно впиалась в него своими зеленоватыми, как у кошки, глазами. Его так и тянуло самому рассмотреть ее хорошенько, да было совестно Егора Иваныча. В горнице она показалась ему совсем другой, чем в сенях, точно она помолодела, переступив порог. Он плохо помнил, о чем шел деловой разговор, охваченный каким-то смутным беспокойством. Да, это была тревога, вроде того, когда глухой ночью раздается неожиданный стук в дверь. Егор Иваныч заметил произведенное хозяйкой впечатление и несколько раз посмотрел на богатыря строгими глазами. Не замечал, конечно, ничего только Яков Трофимыч, который чувствовал себя как-то особенно весело и пересыпал серьезный разговор шуточками и прибаутками.

— Полюбился ты мне, Капитон! — повторял он. — Жаль в Сибирь тебя отпускать...

— Даст бог, еще вернемся.... — как-то глухо ответил Капитон, глядя в угол. — Не на смерть прощаемся.

Егор Иваныч как-то разом оборвал разговор и начал прощаться. Агния Ефимовна проводила их в сени. Она не проронила в течение разговора ни одного слова и простилась молча. Когда Капитон шел по скитскому двору, он чувствовал как-то всей своей спиной, что Агния Ефимовна смотрит на него. Подходя к игуменской келье, он не вытерпел и оглянулся: она действительно стояла в дверях, прислонившись к косяку головой, точно оглушенная.

«Этакая змея подколодная...— думал Егор Иваныч, поднимаясь по игуменской лестнице на крылечко.— Съесть готова глазищами. Вон как замутила Капитона-то».

Честная мать Анфуса что-то разнемоглась и приняла гостей лежа на лавочке. Около нее сидела Аннушка. Когда Капитон вошел в игуменьину келью, он почти никого и ничего не видел. Да и какое было ему дело до кого-нибудь...

— Што вы больно долго собираетесь-то? — тихим голосом спрашивала мать Анфуса.— Долгие-то сборы не всегда к добру...

— Да уж такое дело, мать Анфуса, што скоро его не повернешь,— объяснял Егор Иваныч.— Не шутки шутить едем. Вот снежок выпадет, тогда мы и укатим по первопутку. Так и партия снаряжена... Всего-то, может, неделики с две и жить здесь осталось.

Последняя фраза произвела на девушку неожиданное действие. Она припала к отцу своей головкой и горько заплакала.

— Ты это о чем, глупая? — упавшим голосом спрашивал Егор Иваныч, глядя русую головку.— К весне вернемся... Ну, о чем?

— Так, тятя...

Этот прилив дочерней нежности сразу вышиб Егора Иваныча из делового настроения, и он умоляющими глазами посмотрел на мать Анфусу.

— Аннушка, ступай к себе,— строго проговорила старуха.— Нечего тебе здесь делать...

Девушка горячо обняла отца и с глухими рыданиями выбежала из комнаты. Егор Иваныч поднялся, сделал несколько шагов и, пошатываясь, остановился у окна. По его лицу градом катились слезы. Капитон все время сидел, опустив голову, и разглядел Аннушку только тогда, когда пробежала мимо него. Пред ним мелькнуло это заплаканное девичье лицо, как чудный молодой сон. Теперь Капитон смотрел с удивлением на всхлипывавшего Егора Иваныча и ничего не мог понять.

— Будет тебе блажить, Егор Иваныч,— ворчала мать Анфуса.— Слава богу, не маленький... И девку разжалобил, и сам нюни распустил.

В комнате наступила неловкая пауза. Слышно было только, как вздыхал Егор Иваныч, сдерживая душившие его рыдания.

— Ведь одна она у меня...— шептал он, не поворачиваясь от окна.— Как синь порох в глазу... Еще кто знает, приведет бог свидеться либо нет... Все под богом ходим. Ну, Капитон, едем домой!

Всю дорогу Капитон молчал и только изредка встряхивал головой, точно хотел выгнать какую-то неотвязную мысль. Уже подъезжая к городу, он проговорил:

— А ведь я не знал, што у тебя есть дочь, Егор Иваныч...

— А для чего бы я жить-то стал? Для нее и в тайгу еду... Может, бог и пошлет ей счастье...

После некоторой паузы Капитон заметил:

— А зачем квасишь девку в скиту?..

Егор Иваныч посмотрел на Капитона и к удивлению заметил на его лице то упрямое выражение, когда он говорил: «Не хочу». Мудреный был человек Капитон.

V

Первый снежок послужил сигналом к отъезду, Егор Иваныч в последний раз приехал в скит на Увек. Прощание с Аннушкой было самое трогательное. Старик уже не стыдился собственных слез.

— Смотри, Анна, ежели я помру в тайге, вот тебе вторая мать,— повторил Егор Иваныч несколько раз, указывая на честную мать Анфусу.— Слушайся ее, как меня... Она худу не научит.

— Тятенька, я тогда пострижение приму...— отвечала Аннушка, заливаясь слезами.— Нечего мне в мире делать.

Потом девушка была выслана, и старики занялись серьезным разговором.

— Рассчитал тебя Лаврентий Тарасыч? — спрашивала старуха.

— Как же, рассчитал... Прислал сто рублей.

— Это за сорок-то лет службы? Ведь ты без жалованья у него служил...

— И за это спасибо. Ну, да бог с ним... Вот Капитону прислал целых три тысячи, чтобы, значит, чувствовал. Такой уж особенный человек...

— Уж через число особенный-то...

Честная мать была как-то особенно задумчива и после деловых разговоров сообщила томившую ее заботу:

— Пали из Москвы слухи, Егор Иваныч, што позорят нашу обитель никонианы. Строгости везде пошли. Головушка с плеч — вот какая забота прикачулась.

— Никто как бог, честная мать...

Когда Егор Иваныч зашел проститься к Густомесову, Агния Ефимовна встретила его с опухшими от слез глазами.

— О чем это ты разгоревалась так, матушка? — удивился Егор Иваныч, здороваясь.

— А уж мое дело... Тебя просить не буду, штоб пожалел, — отрезала Агния Ефимовна. — Ступай к слепому черту.

Сам Густомесов тоже держал себя как-то странно и все говорил о Капитоне.

— Вот как он мне поглянулся, Егор Иваныч, твой-то Капитон. Помру, пусть Агнюшка замуж за него идет... Деньги-то ведь все я ей оставлю. Пусть повеселятся да меня вспоминают... Хе-хе!.. У молодых-то мысли в голове, как лягушки, сивчут.

— Не ладно ты говоришь, Яков Трофимыч... Только напрасно Агнию Ефимовну обижаешь.

— Я? Обижаю?.. Да ведь она меня любит, моя голубушка, а любя, все терпит... Она меня любит, Агнюшка, а я Капитона люблю. Хе-хе...

Егор Иваныч с тяжелым чувством оставлял густомесовский флигелек. Нехорошие слова говорил Яков Трофимыч и совсем не к лицу. Провожая его, Агния Ефимовна шепнула:

— Скажи поклончик Капитону Титычу... скажи, что буду богу за него молиться.

— Ах, Агния Ефимовна, Агния Ефимовна... Себя-то пожалей, а об Капитоне позабудь: ветер в поле, то и Капитон для тебя.

Агния Ефимовна только улыбнулась сквозь слезы. Тоже, выискался советчик: себя пожалей...

Долго простояла Агния Ефимовна в дверях сеней, похлодела вся, а уходить не хотела. Вот и Егор Иваныч скрылся давно, и снежок падает, мягкий такой да белый, а она все стояла, стояла и стыла от щемившей ее тоски. Господи, хоть бы умереть... Ведь другие умирают же, а она должна жить. Закроет глаза Агния Ефимовна и видит Капитона, руками к нему тянется, какие-то ласковые слова говорит... И сердце обмирает, и голова кружится, и

страшно делается... А там, из горницы, доносится старческое ворчанье: «Агнюша, где ты? Агнюша!..» Агния Ефимовна знала вперед, что теперь начнутся умоляющие ноты, потом слезливые, потом угрожающие. «Агнюша, голубушка... маточка... ах, Агнюша!»

Она вернулась в горницу вся холодная, продрогшая. Старик схватил ее за руку и сейчас же ощупал лицо.

— Ты плакала? Об нем плакала? О, змея подколотая!..

Он захрипел от бессильного гнева, а она вся дрожала, чувствуя, как эта мертвая рука опять тянется к ее лицу.

— Убить тебя мало... задушить... изрезать на мелкие части... растерзать!..

Она молчала и только закусила губы, когда старик начал ломать ее тонкую руку. Потом этот порыв ярости сменился нежностью, что еще было хуже.

— Агнюша, миленькая... голубка... Ведь ты любишь меня? Потерпи еще малое время: скоро я помру... пожалей старика... ну, любишь? Агнюшка, маточка... слезка моя... Умру, все тебе оставлю. Поминай старика...

Она молчала.

Старик оттолкнул ее и дико захохотал.

— Прочь от меня, дьявол!.. Ха-ха... Ты о нем думаешь, о Капитоне... Вся ты одна ложь и скверна! И думай, а Капитон на другой женится... Другую будет ласкать-миловать. Ха-ха... Завидно тебе, маточка, ох, как завидно, а ничего не поделаешь. Здоровый он Капитон-то, молодой, кровь с молоком, глаза, как у ясного сокола, и все другой достанется... Другая-то и будет заглядывать в соколиные глаза, другая будет разглаживать русые кудри... Другая порадует за тебя, Агнюшка, а ты вот со мной горе горевать будешь.

Ответом были глухие рыдания.

— Агнюша, где ты?.. Агнюша, подойди ко мне... Агнюша, не убивайся: скоро я помру, маточка.

Слепой поднялся и, протянув руки вперед, пошел на глухие всхлипывания. И вот опять тянутся к ней эти холодные руки, опять они ощупывают ее лицо, а она сидит и не может шевельнуться. Яков Трофимыч присел на лавку рядом с ней, обнял и припал своей лысой головой к ее груди. Эти ласки были тяжелее вечной брани, покоров и ворчанья. Она вырвалась. Сейчас ее сквернили эти руки.

— Нет, не надо... Убей меня лучше,— глухо шептала

она. — Ничего я не знаю... ничего мне не нужно... Тошно, тошно, тошно!..

— Агнюша, маточка...

— Не подходи ко мне! Я... я... я ненавижу тебя... я сама тебя убью... отравлю... изведу...

— Агнюшка! миленькая...

И эта пытка продолжалась целых десять лет, бесконечных десять лет...

Густомесов выбился в люди из приказчиков одного богатого сальника. Молва гласила, что он ограбил хозяина, когда тот умирал в степи. Это было началом. А затем Густомесов развернулся уже самостоятельно. Он повел широкое дело со степью, скупая сало, кожи и целые гурты курдючных баранов. Неправедные денежки вернулись сторицей, и Густомесов уже немолодым задумал жениться. Для этой цели он нарочно отправился в поволжские скиты и там высмотрел себе сиротку-девушку, тоненькую, бледненькую, но писаную красавицу. Ей едва минуло шестнадцать, а ему было уже за тридцать. Вывезя молодую жену на Урал и поселившись с ней в Сосногорске, Густомесов от сального дела оставил один салотопепный завод, а поездки в степь бросил. У него был уже свой кругленький капитал, и он пустил его в оборот другим путем. В описываемое нами время в Сосногорске не было ни банков, ни ссудных касс, и Густомесов начал давать деньги «под проценты». Нуждающихся всегда довольно, особенно в торговом мире, и эта операция дала Густомесову гораздо больше, чем даже темное дело со степью, когда он покупал сало и баранов на фальшивые ассигнации. В каких-нибудь пять лет капитал утроился, но именно в этот момент он ослеп и должен был по возможности ликвидировать все дела и жить на проценты. Последнее было нетрудно сделать, но несчастье заставило изменить весь образ жизни, и Густомесов переехал с молодой женой в скиты на Увек.

Всегда подозрительный, здесь он превратился в деспота. Проведя всю молодость в поволжских скитах, Агния Ефимовна опять очутилась за монастырской стеной, но на этот раз со слепым мужем. Она отлично понимала, что это скитское сиденье было устроено специально только для нее, чтобы предохранить от какого-нибудь вольного или невольного бабьего греха. И она томилась в скитской неволе год за годом, не видя впереди ничего, кроме того же

черничества. До известной степени ее спасала только полученная у раскольничьих мастериц строгая выдержка и привычка покоряться. Но и у этой заживо погребенной за скитской стеной женщины по временам являлась смутная и тяжелая тоска по неиспытанной воле, какой-то большой призрак неосуществимой надежды... Ведь вот тут, сейчас за скитской калиткой уже начиналась жизнь, живые люди любили и ненавидели, радовались и плакали; для них были и весна, и лето, и зеленая мурава, и все то, чем вольная жизнь красна.

VI

С отъездом Егора Иваныча и Капитона Титыча в Сибирь в скиту на Увекe потянулись особенно скучные дни. Вообще скитская жизнь не отличалась весельем, а тут уж совсем было тошно. Агния Ефимовна ходила как в воду опущенная. Она теперь придумала новую манеру держать себя с мужем: сядет куда-нибудь в уголок и молчит хоть докуда.

— Агния...— взывал слепой, протягивая руки.— Агнюшка... ангелочек...

Единственным ответом служила гробовая тишина. Слепой начинал волноваться и напрасно старался сдерживать себя. Он вставал и начинал обшаривать свою келью, как тень. Агния Ефимовна не шевелилась и только следила за своим мучителем полными ненависти глазами. Она не шевелилась и тогда, когда эти холодные, дрожавшие руки находили ее, схватывали за плечи и тянули к себе.

— Агнюшка, касаточка, отзовись... Вымолви словечушко!

Молчание.

Яков Трофимыч вдруг закипал бешенством и накидывался на жену, как зверь. Она чувствовала, как эти холодные руки впивались в ее шею и начинали ее душить. Раза два она вырывалась из этих рук вся растерзанная и прибегала к матери Анфусе в самом ужасном виде: волосы распущены, платье разорвано, на шее следы душивших пальцев.

— Милушка, полно вам грешить...— уговаривала честная игуменья, качая седой головой.— Статошное ли это дело, штобы в обители такое мирское смятение?

— Ох, тошнехонько, матушка! — плакалась Агния.—

Не пойду я к своему мучителю,— и все тут. В обители ведь мы живем, а он неподобного требует. Как-то цельную ночь в сенках простояла, а он цельную ночь искал меня... Видеть его не могу, матушка. Вот как тошно... В пору руки на себя наложить.

— Ах, милушка, какие ты слова говоришь!..— журила игуменья.— Бог терпеть велел, а ты вот что говоришь-то...

— Было бы для кого терпеть, матушка. Извел он меня, всю душеньку вынул...

Густомесов был для обители находкой, как милостивец и кормилец, и, кроме того, он обещал после смерти оставить скиту половину своего состояния; поэтому честная мать Анфуса употребляла все усилия, чтобы уговорить Агнию и вообще помирить мужа с женой. Было старухе своих скитских дел по горло, а тут еще приходилось идти к Якову Трофимычу и уговаривать его.

— Вот што, милостивец,— говорила игуменья Густомесову,— оставь ты Агнию, не тревожь... Раздоры-то ваши всю обитель смущают. Неподобного требуешь... Забыл, что в обители живешь.

— Задушу я ее, змею! — кричал слепой муж.— Своими руками задушу и отвечать никому не буду...

— Перестань грешить, Яков Трофимыч...

— Я знаю, о ком она думает... Молчит, а сама все о нем думает, о Капитошке. Я-то ведь знаю, все знаю... Извела она меня своим молчаньем.

— А ты стерпи... Успокойся баба, ну, и пойдет все по-старому. Тебя и то бог убил, а ты мирские мысли все думаешь. Будет, погрешил, когда на миру жил... И мне не подобает слушать твои пакостные речи, не для этого обитель ставилась.

Эти строгие внушения сразу смиряли бушевавшего слепца. Он садился к столу, закрывал лицо руками и начинал плакать.

— Грехи надо замаливать, а не о жене думать,— наставительно говорила игуменья.

— Ох, знаю, честная мать... Без тебя знаю!.. Только вот силы не хватает на смирение... Чувствую я, што она тут, Агния, ну и того... Красивая она, молодая, а я грешный человек...

— Тьфу!.. Слушать-то тебя муторно... Ужо вот на поклоны поставлю, тогда узнаешь, как такие слова говорить. Какой на мне чин-то, греховодник?

— Да ведь жена она мне, значит вся моя, и греха тут нет...

— Тогда выезжай из обители... Все тут разговоры с тобой.

Честная мать знала, что Яков Трофимыч не выедет из скита,— где же он найдет такой крепкий досмотр за женой? — и пускала это средство, как самое решительное. Затем ей опять приходилось уговаривать Агнию и вести ее к мужу.

— Ты у меня смотри...— грозила смиренному слепцу старуха.— Чуть што, так я и лестовкой тебя поначало. Найдем управу... Агния, а ты слушайся мужа. Что бог дал, тем и владай...

Агния молчала, зная, что все пойдет по-старому. Сначала муж будет приставать с жалобными словами, а потом расвирепееет. Она предпочитала последнее: пусть лучше убьет разом...

Какие ужасные почи она проводила в своем заточении... и все думала о нем, о Капитоне Титыче. Пробовала отмаливать это наваждение, но и молитва не спасала — не было в ней настоящей молитвы. «Приворожил он меня, присушил», — с тоской думала Агния и приходила в ужас от собственного бессилия. Ничего не могла она с собою сделать и опять начинала думать о сердитых и ласковых глазах Капитона Титыча.

Только и было отдыха Агнии Ефимовне, когда слепой муж укладывался после обеда спать. Хоть один час покойно проспит... К этому времени обыкновенно приходила Аннушка, — она тоже едва урывалась от своей скитской работы. Присядут молодые женщины куда-нибудь на крылечко и разговаривают свои разговоры. Стояло уж лето, дни были жаркие — так и томит жаром.

— Купаться просилась у матери, — жаловалась Аннушка, — озеро-то тут и есть, только под гору сбежать... Не пустила. Говорит, угодники-то по пятидесяти годов не обнажали себя, а ты выдумала, озорница, плоть свою тешить.

— Им все нельзя, старухам... — вздыхала Агния. — Чужой век изживают. Я-то привязана к мужу, как цепной пес, а ты-то с чего изводишься в скиту? Кабы я была на твоём месте, так...

— А тятенька?..

Агния только улыбалась. Что такое тятенька? Он тоже

старик, а молодым когда был, так по-молодому и думал. Девица — вольный человек, пока не запоручила свою голову.

Они вместе гуляли по скитскому двору, когда надоедало торчать на крылечке. Любимым местом Агнии была «стенка».

— Аннушка, пойдем на «стенку»?

— А игуменья увидит? Да и Яков Трофимыч тебя хватится...

— Пусть хватается, постылый... Час — да мой!

«Стенка» была у самых ворот. Скитские сестры, прежде чем отворить крышку, выглядывали сверху из-за тына, причем подставлялась деревянная лесенка. Из-за тына можно было видеть и озеро Увек, и громадное селенье. Сестра-вратарь обыкновенно не пускала на «стенку» и сердилась, но Агния умела ее уластить. Аннушка только дивилась, откуда у Агнии такие слова берутся.

— Ох, снимете вы с меня голову,— ворчала старуха вратарь.— Уже, того гляди, проснется честная мать...

— Мы только чуточку поглядим,— говорила Агния.— Ведь мы не скитские сестры, а мирские... Нечего с нас брать.

Агния и Аннушка вместе взбирались на лесенку и любовались «миром». Боже, как там хорошо!.. И сколько там вольного народа живет! И всем-то весело, всем хорошо! Бледное лицо Агнии покрывалось тонким румянцем, и Аннушка каждый раз любовалась ей: писаная красавица эта Агнюшка!

— Вот взять соскочить с тыну,— только и видели...— говорила Агния, заглядывая через тын.— И ушла бы, кабы не своя неволя... Ты думаешь, меня Яков Трофимыч свазал?..

У Агнии глаза начинали блеснуть, грудь поднималась высоко — вся она была огонь и движение. Странно, что Аннушка каждый раз чувствовала себя как-то неприятно и точно начинала ее бояться. Что было на уме у Агнии? Чему она смеется?.. Агния в эти минуты действительно ненавидела Аннушку, глухо и нехорошо ненавидела. Ей даже хотелось столкнуть ее с тына. Раз Агния, глядя на Увек, проговорила задумчиво:

— Знаешь, Аннушка, я тебе расскажу твою судьбу...

— Не надо, Агния. Я не люблю... Это грешно... судьбу угадывать.

— А я все-таки скажу... Я все знаю, что будет. Ты вот сидишь в скиту, как птица в клетке, а суженый-ряженый ходит ветром в поле. Далеко залетел ясный сокол, а думки-то все в скиту. Сколько ни побродит он по горам да по болотам, а сюда вернется, и сейчас к красной девице. Я сон такой видела... Богатство они найдут... много золота... Уехали бедные, приедут богатые. Не чаает души в своей дочери Егор Иваныч, а ничего не поделаешь: придется расстаться.

— Будет, Агния...— умоляла Аннушка.— Нехорошо.

— Нет, ты слушай сон-то... Вернется ясный сокол, разобьет клетку и увезет птичку на вольную волюшку... Миловать ее будет, целовать, обнимать...

Говоря последние слова, Агния все больше и больше наклонялась к Аннушке, к самому лицу, так что та чувствовала ее горячее дыхание. А какие были глаза у Агнии в эту минуту — так и смотрят прямо в душу! Аннушка вся дрожала, не смея шевельнуться.

— И она его тоже ждет...— уже шепотом говорила Агния.— Лестно такого сокола приголубить. Другие-то бабы завидовать будут... И у ней свои слова найдутся. Сейчас-то ничего не понимает, а тогда вся заговорит... А дальше...

Агния откинулась, точно проснулась от тяжелого сна. Лицо было такое бледное, глаза потемнели, на губах судорожная улыбка... Аннушка замерла от страха.

— Агния, будет...

— Х-ха, испугалась, смиренница!.. Хочешь, я вот сейчас со стены прыгну?.. Не бойся, никуда не прыгну...

В свою келью Агния возвращалась точно пьяная и даже шаталась на ходу. Аннушке сделалось жаль ее.

— Зачем ты так себя расстраиваешь, Агния?

Агния посмотрела на нее безумными глазами и захохотала.

— Уходи от меня,— шептала она.— Ты ничего не должна знать, что будет дальше... Уходи!

VII

Целый год об Егоре Иваныче не было ни слуху ни духу,— точно все в воду канули. Раз только была засылка к матери Анфусе от честного старца Мисаила через про-

хожего странного человека, пробиравшегося по раскольничьим делам в мать-Расею.

— Наказал больно тебе кланяться, мать Анфуса,— повторял странник в десятый раз.

— Ну, еще-то што?

— А еще наказывал, чтобы вы не беспокоились и што все идет правильно.

— Да ты говори толком: где Егор-то Иваныч? Он у нас ни в живых ни в мертвых...

— Вся партия в тайгу ушла еще с зимы; ну, а летом оттуда ходу нет ни конному, ни пешему. Не близкое место: сотен на шесть верст от ближнего жилья. Тунгусишки сказывали, што быдто видели партию и соследили ее по зарубкам в лесу...

Так и было неизвестно ничего, пока на Увек в скит не приехал сам Лаврентий Тарасыч Мелкозеров. Гордый был человек и редко посещал обитель, а тут приехал и прямо к игуменье.

— Каково, честная мать, поживаешь?..

— Живем, Лаврентий Тарасыч, пока бог грехам терпит...

Стара была мать Анфуса, а все-таки догадалась, что неспроста наехал толстосум. Поговорит-поговорит и замолчит, точно ждет чего. Так и не могли разговориться по-настоящему. Уходя, Мелкозеров спохватился:

— Мать честная, у тебя живет Яков-то Трофимыч?

— Ох, у меня, милостивец...

— Давно я собираюсь его проведать, да все некогда... А прежде-то дружками были. Ну, как он у тебя?

— Да все так же... Ты бы зашел к нему, Лаврентий Тарасыч. Убогого человека навестить подобает...

— Некогда мне, честная мать. Дела у меня: помереть некогда. Вот до тебя еле удосужился...

— А ты послушай старуху, не погордись, сходи...

Мелкозеров поломался для прилику, а потом согласился.

— Уж только для тебя, честная мать, а то дыхануть некогда.

Хитер был Лаврентий Тарасыч, а перехитрить честную мать не сумел. Поняла она, зачем он приехал; дошли какие-нибудь слухи из тайги,— не иначе. То-то Яков Трофимыч вдруг понадобился. Провожать старика игуменья по-

слала Аннушку и шепнула, чтобы та осталась на всякий случай у Агнии и послушала, о чем будут толковать старики.

Со слепцом Мелкозеров повел ту же политику и долго ходил кругом да около, а уж потом проговорил:

— Плакали твои-то денежки, Яков Трофимыч...

— Какие денежки?

— А которые отправил в тайгу закапывать. Егор-то Иваныч на старости лет немного из ума выступил, а Капитошка и всегда прямым дураком был... Не положил, видно, не ищи. Жаль мне тебя, ну и завернул... Дело-то твое такое, што обошли они тебя кругом.

— Ты это откуда вызнал-то про тайгу?

— А верный человек навернулся и все порассказал, как и што. И деньги закопали, и сами не знают, как живыми выворотиться. Такое дело выходит, Яков Трофимыч, и весьма я пожалел твою слепоту. Тридцать тысяч выдал им?

— Ох, тридцать, родимый мой!.. Ох, зарезали, Лаврентий Тарасыч!.. Что же я-то теперь буду делать? Головушку с плеч сняли...

— Попытался на легкое богатство, вот и казись. Жалеючи говорю...

— Да ведь я-то не дал бы, кабы не жена. Она меня обошла...

— А не живи вперед бабьим умом!.. Меня бы спросил... Уж так мне тебя жаль, Яков Трофимыч, потому где тебе, слепому, взять такие деньги...

Дальше старики заговорили шепотом. Агния слышала первую половину разговора и стрелой понеслась к матери Анфусе. Сама она не посмела вмешаться в дело: не маленький был человек Лаврентий Тарасыч, и перечить ему было страшно, да и характером крут.

— Ох, матушка, што-то не ладно они разговаривают, — жаловалась Агния игуменье. — Кругом пальца обернет Лаврентий-то Тарасыч моего слепыша... Неспроста приехал. Пошла бы ты к ним, помешала...

— И то пойду, Агнюшка. Я уже сама догадалась, што неспроста дела приехал Лаврентий-то Тарасыч и мелким бесом передо мной рассыпался...

Пока честная мать одевалась да собиралась, Мелкозерова и след простыл. Когда мать Анфуса прошла в густомесовский флигелек, Яков Трофимыч сидел и на ощупь

считал какие-то деньги. Заслышав шаги, он спрятал целую пачку за спину.

— Денег бог послал? — спросила мать Анфуса.

— Доброго человека послал бог, а не деньги. Обманули вы меня все: и твой старец Мисаил, и Егор Иваныч, и милая женушка. Вот один Лаврентий Тарасыч пожалел... Говорит: давай грех пополам. Вот он какой... Я-то, говорит, наживу, потому зрячий, а тебе где взять, слепому.

— За што же он тебе столько денег дал?

— А пожалел... Ему плевать пятнадцать-то тысяч. На, говорит, поправляйся, а буде что будет,— барыши пополам. Какие там барыши, когда цельный год ни слуху ни духу...

— Надул он тебя, Лаврентий-то Тарасыч! — вступилась Агния.— Станет он тебе даром деньги давать...

— Молчать! — закричал Яков Трофимыч.— Не твоего бабьего ума дело... Все вы меня обманываете...

— Да ты никак рехнулся! — обиделась мать Анфуса.— Какие слова-то говоришь?

— А вот такие... Будет вам меня за нос водить. Это все милая женушка устроила для милого дружка Капитона Титыча. Ему на голодные-то зубы как раз мои деньги пригодились. Лаврентий-то Тарасыч прямо говорит: «За Капитошкино озорство тебе плачу, потому, как ни на есть, а племянником меня бог наказал. С Егором Иванычем сам считайся, а за Капитошку я все помирю».

— Обошел он тебя кругом, и разговаривать я с тобой не хочу,— окончательно рассердилась мать Анфуса и ушла, хлопнув дверью.

— Не поглянулось... а? Ха-ха...— смеялся слепец, вытаскивая деньги из-за спины.— Сладок вам Капитошка пришелся... А с тобой, змея, у меня свой разговор будет. Подойди-ка сюды, жар-птица...

— Не подойду! Лучше в озеро брошусь... А ты дурак!.. Я тебя и знать больше не хочу...

— Молчать! — заревел слепой, трясясь от бешенства.— Убить тебя мало... На мои деньги хотели разлакомиться, да не выгорело... А Егор-то Иваныч на старости лет каким себя дураком оказал?.. И его вы обошли.

Целый день во флигельке стоял содом, а потом Агния вырвалась и убежала к матери Анфусе, но ее туда не пустили: там сидели Рябиныны и Огигенины, приехавшие тоже проведать Густомесова. Они столкнулись случайно

и смотрели друг на друга волками, так что насмешили мать Анфусу.

— Экая жалость на вас сегодня напала...— говорила Анфуса.— Ума не приложу. Даве утром пригонял Лаврентий Тарасыч и наперед вас пожалел Якова Трофимовича. Опоздали вы, видно, маленько... Да и меня напрасно морочите. Говорите уж прямо, с чем приехали...

Долго отнекивались сосногорские толстосумы, а потом повинились начистоту, чтобы вывести Лаврентия Тарасыча на свежую воду. Да, Егор Иваныч нашел в тайге несметное золото и скоро будет сюда, как только реки встанут. Сказывают, что такого богатства еще и не видано и не слыхано.

Весть о найденном богатстве разнеслась перекатной волной, и в Сосногорске только и говорили, что о таежном золоте. По-прежнему не верил этим слухам один Яков Трофимыч и каждый день пересчитывал полученные с Мелкозера деньги, ругая жену на чем свет стоит.

Егор Иваныч приехал только под рождество, вместе с Капитоном Титычем. Он приехал прямо на Увек под вечер, когда в обитель посторонних уже не пускали. Вышла сама мать Анфуса, чтобы впустить желанных гостей, и не узнала их: загорели, заветрели, похудели.

— Зайдите ко мне опнутья малым делом,— пригласила их мать Анфуса.

Степенный был человек Егор Иваныч и не сразу распоясался, да и рад был видеть дочь. Даже прослезился старик, обнимая свою ненаглядную Аннушку.

— Ну, устроил я тебе хорошее приданое, доченька,— шепнул он.— Не для себя старался и всяческую муку принимал... За ваши скитские молитвы господь счастья послал.

Мать Анфуса выставила закуску для дорогих гостей и даже сама налила им по рюмке своедельной настойки от сорока недугов.

— Не томите, отцы, говорите...— молила она.

Капитон Титыч молчал, изредка взглядывая на Аннушку, а Егор Иваныч разгладил свою бородку и проговорил:

— Перво-наперво скажу я тебе, мать честная, што привез я из тайги своей любезной дочери подарочек... Не век ей в девках вековать. Люб тебе, Аннушка, Капитон Титыч? Ну, да это не твоего ума дело... Девушкам и не след знать, какого жениха отец выберет. А второе дело,

честная мать Анфуса, за твои молитвы сиротские напали мы под самый успеньев день на богатое золото, о каком еще не слыхивали... Потом все расскажу, а сейчас пойду Якова Трофимыча обрадую.

Появление Егора Иваныча с известием об открытом богатстве было для Якова Трофимыча ударом грома. Он даже весь затрясся и едва мог рассказать про то, как его пожалел Лаврентий Тарасыч.

— А ты ему верни деньги,— и вся недолга,— советовал Егор Иваныч.

— Не могу, родной: клятву он с меня взял. Ведь без бумаги дело делалось, а на слово...

Впрочем, слепец скоро утешился, когда узнал о женихе Аннушки. Он сразу повеселел и, потирая руки, говорил:

— Вот, Агнюшка, радость-то тебе великая... Ведь ты души не чаешь в Аннушке...

VIII

Открытие сибирского золота в течение всей зимы волновало Сосногорск. Молва увеличивала с каждым днем нажитые Егором Иванычем сокровища, хотя все и знали хорошо, что он и Капитон только «в паю», а львиная часть предприятия досталась слепому Густомесову и Лаврентию Тарасычу Мелкозерову. Толпа всегда жаждет чего-нибудь необыкновенного, таинственного и сверхъестественного, а что же тут особенного, если к густомесовским и мелкозеровским деньгам прибавятся новые деньги. Другое дело — Егор Иваныч, уважаемый всеми старик, который сразу попал в миллионеры... Это — с одной стороны, а с другой — потихоньку от всех составлялись новые партии, чтобы по проторенной дорожке двинуться в тайгу. Во главе одной такой партии стояли Огигенины, во главе другой — Рябинины.

— Тайга велика, всем места хватит,— спокойно говорил Егор Иваныч, когда ему рассказывали о замыслах будущих соперников.— Только ведь все на счастливого... Если бы не Капитон у меня, так и я приехал бы с пустыми руками. Удачлив он...

Все помыслы Егора Иваныча теперь были сосредоточены на свадьбе дочери, с которой он ужасно торопился. Да и как было не торопиться: скоро нужно было опять уезжать надолго в тайгу, и еще неизвестно, вернется домой живой или нет. Егора Иваныча начинала давить собствен-

ная старость, и он боялся, что любимая дочь Аннушка останется неприспособленной. Капитона он знал с детства и знал все его недостатки, но все-таки это был хороший и добрый человек. Конечно, характер у Капитона вспыльчивый и гордый, но только не нужно его раздражать, и добрая, умная жена будет с ним счастлива. Много бессонных ночей провел в тайге Егор Иваныч, обдумывая будущее своей ненаглядной дочери Аннушки, и ничего лучше не мог придумать.

Сама Аннушка как-то плохо понимала, что делается кругом нее. Все случилось так быстро и так неожиданно. Когда девушка оставалась одна, ей делалось страшно без всякой причины. Она боялась, сама не зная чего... Просто страшно, и все тут. Ведь один раз выйти замуж, и назад ничего не воротить. Капитон ей нравился, и в то же время она боялась его. Впрочем, он так редко бывал в скиту, так что и познакомиться поближе с ним было некогда. Свадьба выходила по старинке, по родительскому наказу. Егор Иваныч замечал, что Аннушка как будто не весела, и сам начинал хмуриться. Раз он даже обратился к Агнии Ефимовне с просьбой:

— Вы ее разговорите, Аннушку... Конечно, девичье дело, всего боится, а отцу и сказать ей не подходит. Вы уж ей объясните...

— Пустяки, все пройдет, — успокаивала старика Агния Ефимовна, улыбаясь и глядя прямо в глаза. — Сокол, а не жених...

Агния Ефимовна вообще приняла самое деятельное участие в готовившейся свадьбе, и под ее руководством шло все богатое приданое. Егор Иваныч развернулся и ничего не пожалел для милой дочки. О таком приданом в Сосногорске еще и не слыхивали. Часть приданого готовилась в скиту, а другая в городе. Всего по старинному счету выходило сундуков тридцать, и Аннушка приходила в ужас, что все это она должна износить. Ведь нужно было прожить лет сто для этого... Потом ей было просто совестно: все другие девушки завидовали ей, а между тем она совсем не желала богатства. Кому это нужно? Чтобы люди говорили и завидовали богатой невесте... Аннушке казалось, что она делает что-то нехорошее и со временем должна будет дорого заплатить вот за эту чужую зависть. Вообще ей было не весело, и она относилась совершенно хладнокровно к хлопотам Агнии Ефимовны.

Потом Аннушка все больше и больше начинала бояться Агнии Ефимовны, особенно когда она так пристально смотрела на нее своими темными глазами, смотрела и улыбалась. И чем ласковее была Агния Ефимовна, тем страшнее делалось Аннушке. Девушка краснела, опускала глаза и не знала, куда ей деваться.

— Счастливая ты, Аннушка,— певуче говорила Агния Ефимовна.— Все-то тебе завидуют... Вон какого сокола получаешь в мужья. Чужие-то бабы глаза на него проглядят...

Яков Трофимыч совсем не узнавал жены, которая сделалась вдруг ласковой, точно сразу отмякла. С своей стороны он теперь не травил ее Капитоном и даже старался совсем не поминать про него. Раз Агния Ефимовна сама приласкалась к нему, обняла и сказала:

— Покаяться, Яков Трофимыч?

— Покайся, Агнюша...

— Очень мне нравился Капитон-то... И чем больше ты меня ругал, тем больше он мне нравился. Кажется, кожу сняла бы с себя да отдала ему...

— Ну, ну, говори, змея...

— А как он засватал Аннушку...

— Ну, ну?

— Как засватал, так и опостылел...

— Врешь!..

— Как перед богом... Ненавижу я его, Яков Трофимыч. Видеть не могу...

— Завидно?

— И не завидно, а просто ненавижу. Так, обнесло меня тогда, совсем не своя была, а теперь обдумалась... Я так полагаю, что обошел он меня. Неспроста было дело...

— Неспроста, Агнюшка... Верное твое слово: неспроста. А ты бы с мужем посоветовалась... рассказала все, как сейчас... Ведь не чужой муж-то.

— И рассказала бы все, как на духу, кабы не совестно за свою слабость. А теперь я его терпеть ненавижу...

— Не врешь?

— А что мне врать: сама на себя клепать напрасно не буду.

Как ни крепился Яков Трофимыч, а поверил жене, во всем поверил. Велика сила в этой женской слабости... Заговорила, уластила Агния Ефимовна слепого мужа, и сама поверила, что ненавидит Капитона. Да и действительно не-

навидела, как умеют ненавидеть одни женщины. Что он ей, мужней жене,— ни к шубе рукав, как говорят старухи. Пусть порадуется с молодой женой, а она сама по себе. Глухая злоба так и разбирала Агнию Ефимовну, и чем тяжелее ей делалось, тем ласковее она улыбалась. Ей нравилось даже, что она такая несчастная и что должна коротать век с слепым мужем. Нравилось ей готовить приданое Аннушке, чужое счастье делало ее еще несчастнее. А, пусть радуются, пусть любят друг друга, пусть веселятся... А она назло всем будет любить свое слепое горе.

Свадьбу задержало только приданое. Егор Иваныч сильно торопил. Ему сейчас после свадьбы нужно было уезжать в тайгу. В этой свадьбе как-то все приняли участие. Густомесов подарил невесте целый сундук всякого добра, расступился и Лаврентий Тарасыч: он отписал племяннику один из своих домов. Одним словом, все помирились, и дело катилось вперед как по маслу. Свадьбу сыграть решено было в громадном мелкозеровском доме. Пусть все видят, как Лаврентий Тарасыч любит племянника.

Свадьба Капитона была сыграна на славу. Такой еще не видали в Сосногорске. Гостей набралось сотен до двух. Лаврентий Тарасыч разошелся и, похаживая по горницам, приговаривал:

— Пей, ешь, веселись в мою голову... Ничего не жаль для дражайшего племянничка.

В числе почетных гостей первое место отведено было слепому Густомесову. Долго его уговаривали выехать из скита и кое-как уломали. Да и не поехал бы он, если бы не Агния Ефимовна, которая тоже уперлась и ни за что не хотела ехать на свадьбу. Именно это и заставило Густомесова согласиться... Пусть милая женушка казнится, как мил-сердечный друг с другой пойдет под венец. У слепого всплыло желание показнить жену. Агния Ефимовна даже заплакала, когда пришлось ехать из скита. Но в гостях она сразу почувствовалась, приняла гордый вид, и все невольно ей любовались. Красива была Агния Ефимовна в старинном парчовом сарафане и в расшитой жемчугами старинной «сороке». Сидит с мужем, рядом с невестой, и так спокойно на всех поглядывает. Дрогнула Агния Ефимовна только в момент, когда отправляла невесту к венцу.

— Будь счастлива, Аннушка,— шепнула она, целуя невесту.

Аннушка посмотрела на нее и удивилась: у Агнии Ефимовны глаза были полны слез. Ей сделалось жаль несчастной женщины.

Венчали в старой раскольничьей моленной, куда Агния Ефимовна ездила провожать невесту. С молодыми она вернулась спокойная и веселая, точно сняла с души какую-то тяжесть. А дальше Агния Ефимовна и совсем развернулась. Речистая была баба, схватчивая на словах, и сам Лаврентий Тарасыч похлопал ее по плечу.

— Хороша бабочка, нечего сказать: в зубах слово не завязнет.

Разошлась Агния Ефимовна на чужом пиру, распутилась и даже в пляс пошла. Все любовались красавицей и только дивились, откуда у нее веселье берется. Капитон смотрел на Агнию Ефимовну и хмурил брови, точно припоминал какой дурной сон.

— Поцелуй жену...— приставала Агния Ефимовна к нему.— Анна Егоровна, ну-ка, как ты любишь молодого мужа?

Эти приставанья сильно смущали молодую, и она не знала, куда девать глаза.

— Посмотрите, как любят мужей,— не упималась Агния Ефимовна и при всех целовала своего слепца.— Вот как и еще вот так.

Все видели, как веселилась Агния Ефимовна, и никто не знал, что делается у нее на душе.

Свадьба продолжалась целых две недели. Расходившийся Лаврентий Тарасыч вечером запирали ворота на замок и никого не выпускали, а с утра начиналась та же музыка: Все, что было богатого в Сосногорске и в ближайших городах, беспроблемно кутило в мелкозеровских палатах целых две недели, позабыв счет дням, позабыв всякие дела и домашние работы. Пьяные гости били посуду, ломали мебель, рвали на себе платье и вообще безобразничали. Трудно сказать, до чего дошло бы это дикое веселье, если бы в одно прекрасное утро не нашли одного гостя мертвым: бедняга «сгорел» от вина. Все разом кончилось, и всех гостей вымело точно ветром, и даже сам Лаврентий Тарасыч сбежал на заводы, оставив мертвое тело в своих палатах на произвол судьбы, то есть Егору Иванычу, которому уже от себя пришлось считаться с исправником, заседателем, полицмейстером и разной чиновной мелочью.

Сейчас после свадьбы, паскоро похоронив сгоревшего от вина усердного гостя, Егор Иваныч уехал в тайгу. Молодые остались в городе до осени и переехали в собственный дом, где продолжалось то же веселье. На радостях Капитон закутил, и гости не выходили из дому. Свадебное веселье затянулось на все лето.

Густомесов вернулся в скит на Увек, и свой флигелек теперь показался Агнии Ефимовне живой могилой. Но она ничем не выдавала себя и по наружному виду казалась даже веселой.

— Так, Агнюшка, так... — похваливал жену Яков Трофимыч. — Чего нам с тобой печалиться? Слава богу, все есть, а там еще Егор Иваныч в тайге добудет... А много ли нам с тобой двоим надо? Умру, все на тебя запишу...

Мысль о смерти всегда вызывала неприятные разговоры. Агния Ефимовна знала это вперед и мучилась каждый раз вдвойне.

— Помру я, откажу тебе, Агнюшка, все свое добро, а ты...

— Пошел молоть! Прежде смерти никто не помирает, и меня переживешь еще десять раз.

— Нет, я чувствую, што я скоро помру, Агнюшка... Ну, пожил, ну, всего отведал — туда и дорога, а вот тебя мне, миленькая, жаль. Останешься ты одна, да еще при собственном капитале, окружают тебя бабы-шептуньи, — ну, и взыграют мои кровные денежки... Подсыплется какой ни пасть статуй, а ваша женская часть слаба. Будете на мои денежки радоваться да надо мной, покойничком, посмеиваться. Все знаю, голубушка... А денежки проживете, он, статуй-то, и бросит тебя. И будешь ты опять голенькая, какой я тебя замуж брал: ни вперед, ни назад.

— Я в скиту останусь, Яков Трофимыч.

— Врешь!.. Не верю... Все врешь!

В последнее время у Якова Трофимыча явилась мысль о «чине ангельском». На эту тему он не раз заводил стороной разговор. Хорошо бы это было обоим постричься зараз. И жили бы вместе на Увеке: он в своей келье, а она с другими старичками.

— Ежели оставишь мне капитал, так я живо игуменьей буду, — говорила Агния Ефимовна, поддакивая мужу. — В скиту деньги-то понужнее чем на миру...

— Отлично, Агнюшка... Все на тебя опишу. Было бы за што мой грехи отмаливать... Ох, много грехов!.. Слаб человек, а враг силен...

Раздумавшись об ангельском чине, Агния Ефимовна и сама пришла к заключению, что это единственный выход из ее положения. А там можно и снять с себя монашескую рясу... Только бы от постылого мужа избавиться, чтобы не видеть его и не слышать. Конечно, она могла уйти от мужа, как венчанная по раскольничьему обряду, но эта мысль не приходила к ней в голову. И куда она пойдет? Делать она ничего не умеет, работать отвыкла, а жить по чужим людям не желала, припоминая свое сиротство. А главное, выходила на богатство, столько лет терпела, и вдруг все бросить.

Все эти планы расстроились совершенно неожиданно, и еще более неожиданно Агния Ефимовна очутилась на полной своей воле, как выпущенная из клетки птица.

Дело в том, что в описываемое нами время — начало сороковых годов — над нескверным и тихим иноческим житьем стряслась неожиданная беда: вышел строгий указ «о прекращении скитов». Слухи об этом ходили и раньше, как заросли скиты, но Увек благодаря сильным милостивцам и доброхотам устаивал не в пример другим обителям. А тут даже не успели опомниться, как налетела беда. Вскоре после успеньева дня на Увек приехал исправник и опечатал скит; а сестрам велел убираться на все четыре стороны. Огласилась тихая обитель стенаниями и воплем. Бывали беды и раньше, да сходили с рук, а тут исправник и слышать ничего не хотел, как его ни умоляли повременить хоть недельку.

— Не могу против указа идти, — отвечал исправник. — Не моя воля.

Мало этого, потребовал у стариц паспорта и пригрозил высылкой на места жительства этапным порядком, если не уберутся подобру-поздорову сами. Одним словом, вышел казус... Прежде Густомесов вызволял или Лаврентий Тарасыч, потому как имели они большую силу у разных властидержцев, а тут и они ничего не могли поделать. Очень уж скоро прискочила лихая напасть... Всех хуже приходилось Густомесову. Он совсем упал духом и решительно не знал, что ему делать и куда деваться. Агния Ефимовна тоже растерялась в первую минуту и даже не

обрадовалась желанному освобождению. Ее точно пугала собственная воля.

— Умереть надо — вот что! — повторял в отчаянии слепой старик. — Ну, куда я теперь денусь? Зрячие-то найдут себе место, а я ума не приложу...

А тут и подумать даже некогда: уходи, и конец тому делу. Горькими слезами всплакался несчастный слепец, предчувствуя самое горшее еще впереди. Положим, у него в Сосногорске был свой дом и всякое угодье, а все-таки не в пример тихому скитскому житию.

В один день весь скит опустел, точно умер. С горькими слезами и жалобными причетами оставляли сестры насиженное место. Никто не знал, куда голову приклонить... Не плакала и не жаловалась одна честная мать Анфуса: она не верила, что скит закрыт навсегда.

— Не может этого быть, — спокойно говорила она.

А вышло другое: скит на Увекe закрывался навсегда, как и другие скиты, разбросанные по Уралу там и сям.

Густомесовы переехали на время в свой дом в Сосногорске. Яков Трофимыч и слышать не хотел, чтобы оставаться здесь навсегда, и Агния Ефимовна отмалчивалась. Дом был большой, и одну половину занимали квартиранты. Теперь пришлось квартирантам отказать и занять весь дом. Яков Трофимыч не желал, чтобы вместе жил кто-нибудь посторонний.

— Еще убьют как-нибудь, — жаловался слепой старик. — Известно, какой нынче народ. Знают, что есть у меня кое-какие деньжонки, — ну, и убьют, как пить дадут.

Хлопоты по устройству в своем доме заняли все время Агнии Ефимовны, так что ей некогда было даже думать о том, что будет дальше. Каждый день был переполнен своими собственными заботами. Она была совершенно счастлива своей новой обстановкой. Яков Трофимыч тоже устраивался по-повому. Двор был превращен в настоящую крепость, и все ворота запирались тяжелыми замками, ключи от которых хранились у хозяина. Главная опасность грозила от ворот на улицу, и здесь были приняты все необходимые предосторожности. Никто не мог войти во двор без ведома хозяина, и он шнурком отворял сам калитку, разузнав предварительно, кто пришел, по какому делу. Затем, он знал в каждый момент, где жена, что она делает и что делают другие. В своем собственном доме Яков Трофимыч являлся каким-то злым духом. И все-таки Агния

Ефимовна была счастлива, особенно когда вспоминала свое скитское сиденье. Здесь ее время уходило, по крайней мере, на хозяйство по дому, на сношение с живыми людьми, как та же прислуга.

— Хорошо, Агвюшка,— радовался слепец.— Хлопоти, матушка... Везде надо свой глаз, а то все добро растащат по крохам. Вот какой народ нынче пошел...

Из посторонних бывала только одна Аннушка, или, теперешнему, Анна Егоровна. Яков Трофимыч очень любил ее и был рад, когда она завертывала. Молодая женщина заметно похудела и не имела вида счастливого человека, что Агния Ефимовна чувствовала каждый раз.

— Когда вы кончите пиры-то пировать? — спрашивал слепец.— Уж будет. Ты бы останавливала своего-то Капитона. На то жена...

— Как я его остановлю, Яков Трофимыч, если он меня не слушает?

— Значит, не любит, если не слушает... А ты его забери в руки, как меня забрала Агвюшка... хе-хе!..

— Не умею, Яков Трофимыч...

Аннушка приезжала на своем собственном рысаке и всегда разодетая по-богатому, что ее смущало.

— Что, любит тебя муж? — спрашивала Агния Ефимовна.— Какая я глупая... Конечно, любит, нечего и спрашивать. А мой-то слепыш как ревновал меня к Капитону Титычу... Задушить хотел со злости. И теперь не пускает к вам, а уж так охота мне хоть одним глазком посмотреть, как вы там живете. Ведь есть же счастливые люди на свете...

— Всякий по-своему счастлив, Агния.

— Не прикидывайся, смиренница. Все знаю...

Агния Ефимовна действительно все знала, что делается у Аннушки, и рассказывала мужу. Яков Трофимыч хохотал до слез, когда жена так смешно все представляла. Он убедился, что она действительно возненавидела Капитона и готова устроить ему всякую пакость.

— Ах, если бы можно было его разорить! — со вздохом повторяла Агния Ефимовна.— Будет, порадовался. Надо и честь знать... Ничего бы, кажется, не пожалела!

— И Аннушки не жаль?

— Чего ее жалеть-то... Все равно Капитон ее не любит.

— Ну, это ихпес дело... Промежду мужем и женой один бог судья.

А дела Капитона шли все лучше и лучше. Из тайги шли хорошие вести. Золото лилось рекой... Егор Иванович повел дело сильной рукой, и промыслы давали страшный дивиденд. В первый же год на долю Густомесова и Мелкозера досталось тысяч по шестидесяти. Так, за здорово живешь, сыпались деньги. На долю Капитона доставалось меньше, но он прожил втрое больше, чем получил от Егора Ивановича. Скоро дошли слухи, что и другие, уехавшие в тайгу по следам Егора Ивановича, тоже получили свою долю, открывая новое золото. Сосногорск вообще переживал самое тревожное время, как охваченный лихорадкой человек. Наступал какой-то золотой век, причем Егор Иванович являлся чуть не колдуном, разворожившим похороненные в тайге сокровища.

Осенью Капитон уехал в Сибирь, а Анна Егоровна осталась. Теперь она начала часто бывать у Густомесовых, с которыми ее связывали общие скитские воспоминания. Она чувствовала, что Яков Трофимыч ее любит, как родную дочь, и инстинктивно льнула к этому родному огоньку.

Х

Скоро для Агнии Ефимовны исчезла и последняя тень затворничества. Новые сибирские дела требовали усиленной работы, а Яков Трофимыч никому не доверял и ничего слышать не хотел о помощнике. Между тем нужно было и счета подвести, и съездить в банк, и достать какую-нибудь справку. Агния Ефимовна вдруг оказалась великим дельцом. Она быстро освоилась со всей этой деловой механикой и сделалась необходимой сотрудницей мужа. Труднее всего было Якову Трофимычу выпускать жену хлопотать по делам одну, поэтому он уговаривал Анну Егоровну выезжать вместе.

— Тебе-то я верю, Аннушка, — повторял слепец. — А женушка, того гляди, сбредит... Знаю я ее превосходно.

Агния Ефимовна не обижалась этой опекой и везде таскала за собой Анну Егоровну. Сделавшись необходимой, она быстро вкралась в полное доверие к мужу. Теперь уже он советовался с ней, как поступить в разных затруднительных случаях.

— Ты у меня золото, Агнющка, — говорил слепой. —

Ежели бы я совсем мог довериться тебе... Знаю, все знаю, какая ты есть.

Познакомившись со всеми делами мужа, Агния Ефимовна составила довольно сложный план мести Капитону. Часто по ночам она уже видела его разоренным, униженным, жалким и впредь торжествовала победу. Да, он будет в ее руках и будет ждать одного ее ласкового взгляда. Иногда, проверяя присылаемые Егором Иванычем приисковые счета, она очень ловко подчеркивала растраты Капитона, разнесенные по разным статьям.

— Так, так, жenuшка,— соглашался Яков Трофимыч.— Этак-то Капитон и совсем разорит нас... Вон он как распыхался.

— И совсем он не нужен нам,— говорила Агния Ефимовна.— Только зря деьги травим...

— Что поделаешь, Агнюшка! Вся статья в Егоре Иваныче... Для него и тершим Капитошку. А промежду прочим посмотрим...

Эти подготовительные беседы делали свое дело. Яков Трофимыч мало-помалу озлоблялся. С другой стороны, он был так доволен, что жена сама подводит ненавистного Капитона. Оставалось обработать Лаврентия Тарасыча, и Агния Ефимовна действовала здесь с особенной осторожностью, чтобы характерный старик не догадался, по чьей дудке будет он плясать. Когда при Мелкозерове Яков Трофимыч начинал травить Капитона, она непременно вставляла какое-нибудь словечко за него.

— Молод еще Капитон Титыч. Остепенится...

Густомесов был в восторге от такой политики.

— Старик-то, старик-то в каких дураках, Агнюшка... Ха-ха!.. Ты его ловко взнуздываешь, а он-то думает, что все сам... Ловко!

— Нельзя по-другому-то... Никого не слушает Лаврентий Тарасыч, а бабу где же послушает. Еще наоборот делает...

— Вот, вот... Ты пахваливай ему Капитошку-то. Ох, и согрешил я с тобой, Агнюшка!..

Так прошла зима, а когда по последнему пути вернулся из тайги Капитон, все уже было готово. Он приехал вместе с Егором Иванычем и, конечно, ничего не подозревал.

— Ужо к нам приедет, так ты с ним поласковее,— учил жену Густомесов.— А я будто не слышу... Хе-хе!..

— Не учи, Яков Трофимыч.

— Ах, эти бабы! Вот, разбери-ка ее, что у ней на уме... А Капитошка-то прост, всему поверит. Потеха!.. Уж ты постарайся, Агнюшка, чтобы комар посу не подточил.

Действительно, Капитон приехал к Густомесовым вместе с женой и был припят как дорогой гость. Агния Ефимовна встретила его спокойной улыбкой. Дальше все шло, как по-писаному. Яков Трофимыч был необыкновенно весел и только ухмылялся, слушая, как жена разговаривает с Капитоном. Потом старик не выдержал и принялся отчитывать гостя. Капитон выслушал попреки молча, молча повернулся и пошел в переднюю, не простившись с гостеприимным хозяином. Анна Егоровна страшно перепугалась и бросилась уговаривать Якова Трофимыча.

— Голубчик, Яков Трофимыч, что же это такое?..

— Люблю тебя, Аннушка, а Капитошку в порошок изотру...

Агния Ефимовна воспользовалась этим моментом и догнала Капитона уже в передней. Здесь она прямо бросилась к нему на шею, обняла и, глядя в глаза, шептала:

— Милый, милый... как я тебя люблю!.. И ненавижу и люблю...

Капитон от неожиданности ничего не мог выговорить. Он чувствовал ее горячее дыхание, чувствовал, как две тонких руки обвили его шею, и не мог шевельнуться.

— Агния Ефимовна...— шептал он, набирая воздуха.

— Какая я тебе Агния Ефимовна? Нет здесь Агнии Ефимовны, а есть только безумная женщина... Ну, взгляни ласково, сокол ясный!..

Она и плакала, и смеялась, и припадала к нему головой.

— Сколько я ждала... сколько мучилась... *Та* разве это понимает? Девчонка она несмысленная... Ты будешь мой, мой, мой... Утоплюсь, руки на себя паложу, а будешь мой. Милый, миленький, родной!..

Этот безумный бред обжег Капитона огнем, и он даже пошатнулся на месте, как пьяный, а потом сильной рукой обнял обезумевшую женщину. Она только закрыла глаза и вся распустилась, точно подкошенная. Эта немая сцена была прервана слышавшимися шагами Анны Егоровны. Агния отскочила, посмотрела кругом безумными глазами и захохотала, как русалка.

— Это мой слепыш меня ревнует...— объяснила она Анне Егоровне.— Понимаешь? Съел он мепя... А ты думаешь, взаправду он говорил про Капитона? Ничего, все уладим...

Капитон только опустил глаза и молча простился с сумасшедшей хозяйкой. Агния Ефимовна бросилась к окну и смотрела, как Капитон усаживает жену в экипаж,— она ждала, что он оглянется на окно. Но он не оглянулся... Она, когда тронулся экипаж, погрозила вслед уезжавшим кулаком и опять захохотала.

— Ловко, Агпюшка! — хвалил слепой и тоже смеялся...— Как я его опарашил... Турманом вылетел. Носи, не потерай... Что он тебе говорил?

— Да ничего... Трясется весь, как осиновый лист, и сказать ничего не может. Даже жаль...

— Больно сердит, а на сердитых воду возят. Жаль только Аннушку...

— Ее-то чего жалеть? У пей сейчас отец богатый...

— Отец-то отцом, а муж-то, видно, милее... Как она меня тут уещала помириться с Капитоном. Даже расплакалась... Конечно, слаба ваша женская часть...

Все это было только началом устроенной Агнией Ефимовной облавы на Капитона. Следующим номером явилась крупная размолвка с дядей Лаврентием Тарасычем, который, не говоря худого слова, прямо выгнал племянника в шею. Положение Капитона получилось критическое, и он сразу обозлился на всех и кончил тем, что уже сам разругался с Егором Ивановичем и даже выгнал его из своего дома.

Последнее случилось благодаря бестактности Егора Ивановича. Старик, узнав о размолвке зятя с Густомесовым и Лаврентием Тарасычем, начал его уговаривать помириться.

— Нехорошо, Капитон... Ты помоложе, мог бы и стерпеть. Не чужие люди... Может, тебе же добра желают.

— А тебе какое дело до меня? — грубо ответил Капитон.

— Как какое?.. Ведь моя дочь-то... Да ты никак очумел!..

— Была твоя, а теперь моя...

— Капитон, не форси!.. Капитон, утиши свой характер...

— Да ты что ко мне пристал-то, старый черт?..

Тут уж Егор Иваныч обиделся и обругал зятя, а Капитон взял его за плечо и вывел в переднюю.

Очутившись на улице, Егор Иваныч опомнился и только тут понял, какую он глупость сделал. Не надо было трогать Капитона, когда он в сердцах, а выждать, когда утихомирится и потом усостить. Огневой мужик, одним словом... Дальше старик понял, что теперь все обрушится на ни в чем не повинную Аннушку. И дочь жаль, и покоряться на старости лет не приходится. Капитон тоже не понесет повинную голову. Одним словом, как ни кипь — одинаково скверно. Старик даже всплакнул про себя. Очень уж горько ему показалось свое старое одиночество.

Крепился он целых три дня и наконец не вытерпел, отправился к Густомесовым и упросил Агнию Ефимовну съездить за Аннушкой.

— Да он меня еще убьет, Капитон-то,— отнекивалась она.— Право, уж я не знаю, Егор Иваныч...

— Ничего, не убьет,— уговаривал жену Густомесов.— Нас он действительно искрошит в крошки, а тебя не посмеет тронуть...

Агния Ефимовна еще ни разу не бывала в доме у Капитона и ехала туда в большом смущении. Тяжело переступить порог, за которым милый, хороший живет с другой. Аннушка ужасно обрадовалась госте, она все эти дни проплакала.

— Я за тобой приехала...

— Ох, не отпустит он меня. Грозится всех убить... зверь зверем ходит.

— Ну, страшен сон, да милостив бог... Дай-ка я сама с ним переговорю.

Капитон встретил гостью довольно сурово, но она не смутилась, а прямо подошла к нему и заговорила:

— Ну, ударь... пу, убей!.. Ах ты, аника-воин!

— Зачем пришла-то?

— А как в сказке говорится: прилетела сорока-белобок и говорит: «Не кручинься, удал добрый молодец, не печалуйся, а все будет по-нашему»...

Разговор с Капитоном продолжался довольно долго, так что Аннушке надоело ждать.

— Едва уговорила...— объяснила Агния Ефимовна, вернувшись в комнату Аннушки.— До смерти уморилась

с твоим-то идилом. И меня пообещал убить в другой раз... Ну, едем.

Аннушка от души пожалела добрую приятельницу и долго целовала ее за услугу и заступу, а Агния Ефимовна закрывала глаза и отворачивала от нее лицо.

XI

Рассвирепевший Капитон сразу оборвал всякие отношения с дядей, с тестем и Густомесовым, заперся у себя в доме и кутил напропалую. Деньги у него еще оставались.

— Это я им открыл золото, а они меня в шею! — орал он пьяный. — Я им покажу... И всех зарежу. Да... А золота сколько угодно найдем.

Набрались у Капитона в доме такие же пьяные благоприятели из чиновников и купцов, — и пошел дым коромыслом. Анна Егоровна со страху по целым дням запиралась у себя в комнате и могла только плакать. Впрочем, один раз она попробовала уговорить мужа, но он так ее оттолкнул от себя, что несчастная женщина полетела на пол.

— Отстань, постылая...

Это последнее слово было тяжелее побоев. Оно окончательно убило несчастную женщину. Постылая жена... Ведь это хуже смерти. Она припомнила, как Агния называла своего мужа постылым, и понимала, что это значит. Пред ней точно самый свет закрывался. А ведь она привыкла к мужу и начинала его любить так хорошо, как любят скромные женщины. И вдруг ничего нет... В девятнадцать лет постылая, а что же дальше-то будет? Анна Егоровна в каком-то ужасе закрывала глаза и старалась совсем не думать об этом будущем. Вон отец уговаривает терпеть и не перечить мужу, а легко это делать?.. С другой стороны, Анна Егоровна была на стороне мужа, потому что все напрасно его обижали — и Густомесов и Лаврентий Тарасыч. Она не могла только понять, за что все так разом поднялись на него.

Тосковавший Егор Иваныч теперь частенько завертывал к Густомесовым отвести душу. Посылать Агнию Ефимовну за дочерью он стеснялся, а ждал, когда это сделает сам Яков Трофимыч.

— Вот так устроил Аннушке приданое...— сетовал старик, качая седой головой и вздыхая.— Где у меня глаза были, когда выдавал дочь замуж? Копил-копил, да черта и купил... Ох, тошнехонько, Яков Трофимыч!..

— Сам виноват... Благодарю бога, что жив ушел от милого зятюшки.

— Да я не о себе... Что я, мое-то все прожито, а вот как будет милая доченька жить со своим разбойником.

— А ты пойдя да прощения у него попроси, что спустил тебя с лестницы.

— Ох, не говори: голова с плеч. А она-то, безответная, у меня его же, разбойника, выправляет...

— Уж бабы завсегда так. Одна им всем цена...

Назлобствовавшись, Густомесов начинал жалеть и посылал жену за Аннушкой. Агния Ефимовна обыкновенно и слышать об этом не хотела и соглашалась только после усиленных просьб.

— Видеть его не могу...— уверяла она.— Только уж для тебя, Егор Иваныч, неприятность себе сделаю.

Егор Иваныч упрашивал ее со слезами на глазах, и Агния Ефимовна отправлялась. Анна Егоровна приезжала, как всегда, спокойная и серьезная, точно ничего особенного не случилось, и никогда не жаловалась отцу на мужа. Но отцовское сердце чуяло, что дело неладно, и болело вдвойне. От дочери Егор Иваныч узнал, что Капитон составляет какую-то новую компанию и едет в тайгу один. Теперь старику опостытели и эта проклятая тайга, и это проклятое сибирское золото, из-за которого он загубил любимую дочь. Жила бы она тихо и мирно, вышла бы замуж за какого-нибудь скромного человека, а он, Егор Иваныч, на старости лет радовался бы. А тут вон что вышло... И не удумаешь, как быть. Если идти и покориться Капитону — еще хуже будет, потому неукротимый у него характер.

Агния Ефимовна торжествовала молча и молча только улыбалась про себя, когда слышала разговоры о новой компании. Какой дурак даст денег Капитону... А между тем он действительно отправлялся в тайгу на разведки, а деньги ему дала она, Агния Ефимовна. Когда она предложила ему эти деньги, Капитон с удивлением посмотрел на нее.

— Откуда у тебя деньги-то, Агния?

— А мои собственные, милый-хороший... За что я тер-

цела-то свою муку-мученическую столько лет? Все равно муж помрет и откажет мне все... Своими-то деньгами всякий может распорядиться.

В первое время Капитону зазорным казалось пользоваться этими бабьими деньгами, да еще крадеными, а потом он как-то разом на все махнул рукой. Он быстро поддался неукротимой энергии Агнии Ефимовны и только горевал:

— Убить тебя мало, Агния. Никакого в тебе страха нет...

Добывать деньги у мужа было делом нелегким, и Агния Ефимовна вела дело с дьявольской хитростью, пользуясь полным доверием мужа. На первый раз она вынула лежавшие на хранении деньги в банке. Яков Трофимыч считал свои капиталы на ощупь, и она вместо сохранный расписки из банка подсовывала ему простую бумагу. На первый раз она позаимствовала всего тридцать тысяч и надеялась их пополнить потом, когда Капитон найдет таежное дело. Муж все равно ничего не узнает, потому что никому, кроме нее, не доверяет. А денег осталось еще больше двухсот тысяч...

Так и пошло. Перед отъездом в тайгу Капитон проговорил:

— Ну, Агния, смела ты, а только добром все это не кончится... Быть нам с тобой на одной веревочке.

— Пустяки: двум смертям не бывать, а одной не миновать.

Агния Ефимовна только улыбалась. Что такое деньги? Только бы он, ясный сокол, посмотрел ласково, приглубил, обнял... Она была готова на все за одно ласковое слово. Жизнь в ней кипела. Капитон невольно поддавался ее обаянию и тоже готов был на все.

— А ты будешь вспоминать обо мне там, в тайге? — льстила к нему Агния Ефимовна. — Жену вспомнишь, а меня позабудешь...

Вместо ответа Капитон только сжимал ее в своих могучих объятиях и поднимал на воздух, как перышко.

— Милый, любишь?..

— И люблю и ненавижу...

— Вот как я тебя... Не забывай. Пришли весточку. А в случае чего, за деньгами дело не встанет.

Совестно было Капитону прощаться с обманутой молодой женой, но он слишком далеко зашел — возврата не

было. Он рассчитывал на одно, что отработает выкраденные у Густомесова деньги и тогда будет чист. Ведь и деньги-то эти он же им дал, ежели разобрать правильно. Одним словом, начиналась та преступная логика, когда человек оправдывает себя во всем. Важен первый шаг, а там преступление покатится с горы комом снега.

Капитон уехал, а Егор Иваныч разнемогся и остался дома. Теперь уж могли вести таежные дела и без него, благо все было устроено, налажено и предусмотрено. Старик был счастлив, что мог запросто видаться с дочерью, которая приезжала его проводить каждый день. Хорошая была эта Аннушка, покорливая, серьезная — вся вылитая мать. Цены бы ей не было, если бы другой муж попался. Ну, да тут говорить нечего: от своей судьбы никто не уйдет... Егор Иваныч только вздыхал.

Много хороших вечеров скоротали отец с дочерью. Теперь Егор Иваныч мог с ней говорить как с вполне взрослым человеком и каждый раз убеждался только в одном, какую хорошую дочь вырастил. Раз, в минуту откровенности, он проговорил:

— Ах, Аннушка, Аннушка... Загубил я тебя. Польстился на богатство, а теперь через мое-то золото твои слезы льются.

— Ничего, тятенька, как-нибудь перетерплю... Опомнится Капитон Титыч.

— Опомнится? Горбатого-то, милушка, одна могила исправит...

Аннушка залилась слезами, спрятала свое лицо на отцовской груди и прошептала:

— Люблю я его, тятенька... К сердцу он пришелся.

— Ну, а он как? Любит?..

— Сначала-то очень любил, а теперь... я сама виновата, что не умела угодить.

— Постой, постой... гмм... Нет, тут что-то дело не ладно. Да...

Здесь в первый раз у старика мелькнуло в голове подозрение на Агнию, но он смолчал и ничего не сказал дочери. Зачем ее тревожить напрасно?.. Никогда не любил старик увертливой и ловкой Агнии Ефимовны, а теперь, перебирая события последнего времени, не мог не заметить, что дело не чисто. Что-то уж весела Агния Ефимовна и на глазах у всех ластится к слепому мужу. Раьше-то не так было... Опытный старик достаточно видел

всего на своем веку и инстинктом почуял потаенную ложь. Да, что-то тут кроется... И Капитон неспроста переменялся к жене.

«Колдунья какая-то, — думал старик. — Ну, нет, погоди, матушка... Мы еще посмотрим, чья возьмет».

Между прочим, Егор Иванович припомнил переговоры о новой компании, которую составил Капитон. Тоже дело не чисто, потому что пегде им, прохвостам, было взять денег.

Немного поправившись, Егор Иванович отправился к Густомесову. Агнии Ефимовны как раз не случилось дома.

— В банк уехала, — объяснил слепой.

— Так, так...

— Она ведь у меня по всем статьям. Лучше меня дела все понимает...

— Так, так. Что же, дело хорошее... Да, хорошее. А ты все-таки того, Яков Трофимыч, не очеь-то доверяйся. Великий соблазн идет от дегег... Вот как-нибудь вечером посчитали бы вместе твои капиталы...

— Ну, нет, спасибо. Считаю у себя зубы во рту...

Слепой обиделся и по пути припомнил, как подсыпался к нему Лаврентий Тарасыч вот с такими же жалостливыми речами, а потом взял да и обьегорил в лучшем виде. И этот туда же... Нет, шалишь, хотя и пораньше родился.

Они расстались довольно холодно, Егор Иванович тоже обиделся за недоверие. На лестнице он встретил Агнию Ефимовну.

— Здравствуй, хозяйюшка... Все хлопочешь?

— Умаялась, Егор Иваыч. Дела-то большие, а бабий ум короче воробьиного носа...

Агния Ефимовна сразу поняла, с чем приходил Егор Иваыч, и только улыбнулась. Немного опоздал старичок...

XII

Важен первый шаг, а остальное приходит само собой. Устроивши первый подлог, дальше Агния Ефимовна пошла вперед уже с легким сердцем. В самом деле, не все ли равно, отвечать за тридцать тысяч или за триста? И что значат деньги, когда душа огнем горит? Агния Ефимовна окончательно завладела мужем, и он теперь

верил только ей одной. Для своих целей ей нужно было заручиться таким же доверием Анны Егоровны, и она добилась этого. Дело в том, что в своих письмах к жене Капитон Титыч постоянно напоминал, чтобы она во всем слушалась Агнии Ефимовны. Анна Егоровна была рада хотя этим угодить мужу и постоянно защищала Агнию Ефимовну перед отцом.

— Чужая душа — потемки, тятенька, а, по-моему, Агния Ефимовна — хорошая женщина. Трудно ей, бедной... С зрячим-то мужем горя не расхлебашь, а тут изволь пянчиться с слепышом. Другая давно бы сбежала...

— Было бы куда бежать...

— Нет, ты ее не любишь, тятенька, и поэтому так говоришь...

— Ох, не люблю, Аннушка! Грешный человек, не верю ей... Вон она мужа-то как обошла. Я как-то заговорил с ним стороной про нее, так он вот как на дыбы поднялся... Съесть готов.

— Кому же и верить, как не жене?

— Глядя по тому, какая жена. А промежду прочим, не нашего ума дело: не наш воз, не наша и песенка. Что-то вот только около тебя, Аннушка, она уж очень обихаживает... Боюсь я.

— В скиту-то вместо сидели, ну и дружим. Натерпелась она там довольно... И не расскажешь всего... И теперь еще, как вспомнит, так и залетится слезами горькими Агния-то Ефимовна.

А Агния Ефимовна делала свое дело не покладая рук. Она уже получила тайным путем от Капитона два письма. Дело у него не ладилось, и он просил все новых и новых денег. Счастье точно отступало от Капитона, когда он сошелся с Агнией Ефимовной. Все пошло через пень-колоду. А тут же рядом другие все богатели не по дням, а по часам. И все получали свою часть... Лаврентий Тарасыч и Густомесов загребали деньги лопатой, а из-за их спины урвали свою долю и остальные, как Рябинины и Огибенины. В каких-нибудь два года уездный глухой городок сделался неузнаваемым, точно его залила золотая волна. Везде строились большие дома, справлялись богатые свадьбы, веселье катилось широкой рекой. Около больших людей наживалась и вся остальная мелкота. Страшное богатство хлынуло на всех, и все говорили только о таежном золоте.

Чужое веселье не давало спать только Агнии Ефимовне. Она ненавидела больше всех старика Лаврентия Тарасыча, памятуя его отношения, и повела свою бабью политику. Нашелся у нее и помощник, какой-то выгнанный приказный Кульков, писавший прошения по кабакам. Разыскала его Агния Ефимовна, призрела, одела, обула и начала сама учиться приказным кляузам. Пьяница Кульков знал все и в ее умелых руках сделался кладом.

— Ах, если бы утопить Лаврентия Тарасыча! — вздыхала Агния Ефимовна, слушая деловые речи дошлого приказного человека. — Ничего бы, кажется, не пожалела... Дом тебе куплю, Кульков, ежели обмозгуешь.

— Утопить-то такого осетра трудненько, а напакостить можно в лучшем виде. Первое дело, надо его поссорить с Яковом Трофимовичем...

— А как их поссоришь? Уж очень верит Яков-то Трофимыч Лаврентию Тарасычу... Старые дружки. Еще в степи фальшивые бумажки вместе ордынцам сбывали. Водой их не разольешь...

— В большом-то все умны, а мы их на маленьком подцепим, благодетельница. Москва от копеечной свечки сторела...

И научил приказная строка уму-разуму. Все счета по промыслам были на руках у Агнии Ефимовны. Кульков разыскал в них одну графу, где был показан какой-то лишний расход на шарников. С этого и началось. Агния Ефимовна вперед подтравила мужа, а когда приехал Лаврентий Тарасыч, вся история и разыгралась, как по-писаному.

— Да что ты пристал ко мне с шарниками? — вспыхнул Мелкозеров. — Не стану я тебя обманывать...

— Да это все равно, Лаврентий Тарасыч, а денежки счет любят.

— Отвяжись, смола!.. Плевать я хочу на твоих шарников...

— Тебе плевать, а мне платить...

— Да ты за кого меня-то считаешь, Яков Трофимыч?

Тут уж вспыхнул Густомесов и отрезал:

— За благодетеля я тебя считаю, Лаврентий Тарасыч... Али забыл, как тогда пожалел меня и за здорово живешь получаешь теперь с промыслов любую половину. Да еще на шарниках пагреть хочешь...

И этот покор стерпел бы Мелкозеров — было дело, —

не помяни Густомесов о шарниках. Лаврентий Тарасыч вскипел огнем, ударил кулаком по столу и заявил:

— Коли твои такие разговоры со мной, так я тебя и знать не хочу, слепого черта. Да еще тебе же нос утру...

Когда на шум прибежала Агния Ефимовна и припала уговаривать вздоривших стариков, взбесившийся Мелкозеров оборвал ее:

— А ты чего тут свой бабий хвост подвернула? Брысь под лавку.

Густомесов вскочил, затрясся и крикнул:

— Вон, Лаврушка!.. Знаю я тебя, заворуя... и сам тебе еще почище нос-то утру. Вон из моего дома...

Эта сцена послужила началом громадного процесса, тянувшегося целых двадцать лет и стоившего тяжущимся несколько миллионов. Стороны ничего не жалели, чтобы утопить друг друга, а около этого дела кормилась целая орда приказных. Кульков знал, как «отшить» «ндравного» толстосума, и заварил кашу. Агния Ефимовна торжествовала, избавившись так легко от последнего человека, который мог ей быть опасным. Она сама повела процесс и настраивала мужа. Яков Трофимыч мог только дивиться, откуда она все знает,— ни дать ни взять тот же приказный.

Когда Капитон вернулся из тайги по последнему пути, все дело было уже сделано. Он приехал невеселый, почь-ночью. Да и печему было веселиться: целых восемьдесят тысяч закопал Капитон в тайге, а заработал из-за хлеба на воду. Зато Агния Ефимовна еще никогда не была так весела.

— Все будет по-нашему, милый, хороший!.. Отдохни лето, а осенью я тебя отпущу.

Заговорила, уластила Агния Ефимовна друга милого, и Капитон махнул на все рукой. Двум смертям не бывать, одной не миновать... Совестно было ему перед безответной женой, вот как совестно, а тут чужая жена за душу тянет. Пробовал Капитон сопротивляться, но из этого ничего не вышло.

— Ты только у меня пикни! — грозилась Агния Ефимовна.— Сейчас все на свежую воду выведу и вместе с тобой в Сибирь пойду.

— Ах, змея, змея...— удивлялся Капитон.

Подался даже Егор Иваныч, когда заварилось дело Густомесова и Мелкозерова. Агния Ефимовна сама пошла

по судам и все вызнала. Старик только дивился, откуда что берется у бабы. Очень уж ловкая бабенка оказалась, такая ловкая, что и не видано было в Сосногорске. Всех обошла, везде у пей была своя рука.

— Ну, баба,— дивился старик.— Ей и книги в руки... Заперла она дух нашему Лаврентию Тарасычу. Вот как заперла...

Теперь уж Агния Ефимовна шла и ехала куда хотела, и везде ей был почет и первое место. Широко развернулась умная баба, на все руки была ходок, только своего сердца не могла утешить. Очень уж любила она Капитона, который только не ел из ее рук.

— Не тебе бы такую бабу любить,— говорила она, ласкаясь к Капитону.— Прост ты у меня, да еще делить тебя приходится с женой...

— Ну, ты это оставь... Анна тут ни при чем.

Агния Ефимовна теперь ревновала Капитона к жене и не могла никак совладать с собой. Все-таки она его жена,— из песни слова не выкинешь. Она следила за ними и мучилась, когда Капитон начинал жалеть жену. Агния Ефимовна возненавидела теперь несчастную женщину и поэтому была с ней особенно ласкова. Капитону делалось страшно, когда он видел их вместе. Он начинал бояться Агнии Ефимовны, как лошадь боится хорошего кучера. А она назло ставила его постоянно в такие положения, что вот-вот все раскроется и он пропадет ни за грош. Теперь Агния Ефимовна назначала ему свиданья у себя в доме и целовала на глазах у мужа. Ей нужна была опасность, нужно было, чтобы Капитон боялся, нужно, чтобы постылый муж нес кару за свое недавнее тиранство...

Мало этого, Агния Ефимовна являлась к Капитону, как к себе домой, и всем распоряжалась, как настоящая хозяйка. Даже прислуга не смела ничего сделать без ее приказа. Анна Егоровна все это видела, мучилась про себя, плакала, но никому и ничего не говорила. Раз только она сказала Агнии Ефимовне:

— Побойся ты бога, Агния, если людей не стыдишься...

— Какая ты глупая, Апнушка,— засмеялась Агния.— Было бы за что ответ держать да бога бояться... Вон и то говорят, что я любовница твоего мужа. А кто осудил, с того и грех взыщется...

Анна Егоровна сама не знала, есть что-нибудь у Капи-

тона с Агнией или это ей кажется. Очень уж смело держала себя Агния. С нечистой-то совестью от добрых людей бегают, а она всем в глаза смотрит. Капитон был какой-то странный, и Анна Егоровна видела только одно, что он тоже побаивается Агнии. Хорошо было уж то, что Капитон не обижал жены и с глазу на глаз обходился с ней ласково.

— Точно мне, Аннушка,— говорил он перед отъездом в тайгу.— Только и отдыхаю на промыслах.

Капитон был рад, когда лето прошло и он мог уехать из Сосногорска в тайгу.

— Смотри, мил-сердечный друг, не забывай меня,— показывала Агния Ефимовна на прощанье.

— Ох, не забуду, Агния... Надела ты мне веревку на шею.

— Своя жена веревка-то, а чужая на утеху молодецкую... Ах ты, удал добрый молодец, что крылья-то опустил?

XIII

Процесс Густомесова с Мелкозеровым точно послужил примером для других. Огибенины и Рябинины, работавшие вместе, тоже перессорились и тоже начали судиться. Спорные промыслы оставались без дела, а нажитые в тайге капиталы пошли на тяжбы. В то же время коренные сибиряки не дремали и по готовым следам напали на таежное дело и, с своей стороны, подняли споры против сосногорских золотопромышленников. От Иркутска до Петербурга все суды были завалены этими делами. В тайгу посылались специальные комиссии для исследования дела на месте и только сильнее запутывали кипевшую войну.

Но самым громким процессом оставался все-таки густомесовский. Лаврентий Тарасыч рвал и метал, чтобы утереть нос противнику, и расстроил свои личные дела по заводам. Сильный был человек, но все средства были в делах, и приходилось рвать живым мясом деньги из разных статей. Вообще выходило очень скверно. Раза два Мелкозеров подсылал Егора Иваныча для переговоров с Густомесовым, но тот возвращался ни с чем.

— Приступу к нему нет,— объяснял старик.— В том роде, когда человек осатанеет...

— Ничего ты не умеешь сделать как следует,— сердился Лаврентий Тарасыч, топая ногой.— Сам поеду и все устрою...

— Кабы хуже не вышло, Лаврентий Тарасыч, потому как там эта самая змея... Все от нее.

— Ты меня учить?!

Егор Иваныч только пожал плечами. Мелкозеров действительно отправился сам к Густомесову и этим уже делал шаг к примирению. Ведь сколько лет дружили, хлеб-соль водили, а тут из-за каких-то шарников подняли смуту... Мелкозеров ехал с самыми миролюбивыми намерениями, которые разбились сейчас же, как только он вошел в густомесовский дом. Его встретила Агния Ефимовна и довольно дерзко спросила:

— Вам кого пужно, Лаврентий Тарасыч?

— Как кого? — вскипел старик.— Чей дом, к тому и приехал...

— Дом мой...

Мелкозеров надел шапку, молча повернулся, плюнул и вышел. Только напрасно себя срамил. Надо было слушать Егора-то Иваныча... Агния Ефимовна торжествовала свою самую большую победу, рассказывая мужу, как она встретила гордого толстосума.

— Ловко ты его обзатылила! — восторгался Яков Трофимыч.— Плюнул, говоришь? Ха-ха... Не поглянулось. Отваливай в палевом, приходи в голубом...

— Это он раньше засылки делал через Егора Иваныча, а теперь сам раскочился...

— То-то озлился, бедный! Ловко... Все хвалился нос утереть мне, а тут самому утерли.

— Еще не то будет, дай срок...

— Верно, Агнюшка. Ничего не пожалею, чтобы извести его...

Эти успехи уже перестали радовать Агнию Ефимовну. Что она ни делала, а главное все-таки оставалось: слепой муж держал ее, как железная цепь, а Капитон принадлежал другой. Много передумала Агния Ефимовна, и так и этак раскидывая умом, а выходило одно. Ну, в лучшем случае, муж умрет — Аннушка останется, Аннушка умрет — муж останется. А когда оба они умрут, пожалуй, и не дождешься. Потом Агния Ефимовна заметила печальную вещь, именно, что за последние два года сильно состарилась. Пока сидела в неволе — все было хорошо, а те-

перь подкралась старость, как вор... И никуда не уйдешь, ничего не поделаешь. А тут еще, как назло, Анна Егоровна похорошела. Здоровая такая стала, белая, молодая, одним словом, кровь с молоком. Приедет Капитон из тайги и променяет чужую жену на свою.

Агния Ефимовна решила на последнее средство. Она вызвала Капитона из тайги и заявила ему, что они вместе поедут хлопотать по делу с Лаврентием Тарасычем в Петербург.

— Этого Яков Трофимыч хочет,— объяснила она, глядя вопросительно на милого друга.— Вот поговорю с ним сам...

Капитон ожидал всего, но только не этого. Он ушам своим не верил. Густомесов принял его одного, велел запереть все двери и повел серьезные речи.

— Сердилась я на тебя, Капитон, а теперь падосло... Не стоит. А лучше ты сослужи мне службу, съезди с Агнушей в Петербург. Ловкая она у меня, оборотистая, а все-таки куда одна баба повернется... Только одно тебе скажу: не очень-то она тебя любит. Так уж ты того, как-нибудь сократи свой карахтер. Не всякое лыко в строку... Да и не молода она сейчас-то, так тебе и покориться в самую пору.

Агния Ефимовна повела дело так, что муж должен был упрашивать ее ехать с Капитоном. Она для приличия поломалась и согласилась только с тем условием, если поедет вместе Аннушка. Это был второй акт комедии. Анна Егоровна отказалась от поездки наотрез, с настойчивостью, удивившей даже Агнию Ефимовну, точно это была совсем другая женщина.

— Поезжайте лучше одни,— уговаривала она мужа.— А мне что-то нездоровится, да и отец тоже все что-то припадает...

Эта поездка была отчаянным ходом со стороны Агнии Ефимовны. Она своими руками разрушала работу нескольких лет и шла вперед очертя голову. Единственная мысль овладела ею безраздельно... Пожить с Капитоном хоть один месяц, как живут другие. А там пусть будет что будет... Старость была на носу, и терять времени не приходилось.

— Теперь ты мой, мой... весь мой! — шептала Агния Ефимовна, когда они выезжали из Сосногорска с Капитоном на почтовых.— Час, да мой...

Капитон угрюмо молчал, предчувствуя что-то недоброе. Он вообще заметно охладел и тяготился этой связью, опутавшей его по рукам и по ногам. Когда Агния прижималась к нему головой или плечом, он испытывал неприятное чувство, точно его начинало что-то давить.

— Любишь меня? Ведь любишь? — шептала Агния, напрасно стараясь заглянуть ему в глаза. — А я знаю, о чем ты думаешь... Ты о жене скучаешь.

Вместо себя при Якове Трофимыче, уезжая, Агния Ефимовна оставила Кулькова. Как это случилось — проболтался ли Кульков спьяна, или выдал он свою благодетельницу сознательно, или проснулась в нем совесть, — но не прошло двух недель после отъезда, как вся история устроенных Агнией Ефимовной хищений раскрылась во всей полноте. Говорили, что Кульков куплен был Лаврентием Тарасычем, что его запугал Егор Иваныч; но это все равно, — оп после своего предательства прожил только один месяц, и в его скоропостижной смерти обвиняли Агнию Ефимовну, хотя она и была в Петербурге.

В одно прекрасное утро Густомесов послал за Егором Иванычем. Когда старик приехал, Густомесов принял его келейно и заявил свои сомненья относительно сохранности своих капиталов. Осторожный Егор Иваныч пригласил еще третье достоверное лицо и только тогда приступил к проверке густомесовских капиталов. Оказалось, что наличность представляла скромную цифру в сорок тысяч, а четырехсот тысяч не доставало. Вместо банковых билетов оказалась простая белая бумага, которую Яков Трофимыч берег в железном несгораемом шкапу. Но этого было мало. У Агнии Ефимовны была от мужа полная доверенность, и по этой доверенности она набрала денег направо и налево, где только могла набрать. Кто же мог не поверить Густомесову? В общем, сумма растраты простиралась до миллиона, а Густомесов оказался чуть не пиццим. Удар был настолько велик и неожидан, что Яков Трофимыч повторял только одно:

— Не понимаю... Ничего не понимаю. Это Капитон грабил меня. Это его дело...

Возникло новое громкое дело. Капитон и Агния Ефимовна были возвращены в Сосногорск этапным порядком и заключены в тюрьму. По старым порядкам суд тянулся несколько лет, и обвиняемые все время сидели в тюрьме. Агния Ефимовна от начала до конца выдержала характер

и не признала за собой никакой вины: знать не знаю, ведать не ведаю. Как с ней ни бились, но довести до сознания не могли, а старый уголовный суд держался именно на признании самого обвиняемого. Мало этого,— она запутала в деле много других, которых обвиняла главным образом во взяточничестве, вымогательствах и сообщничестве. Дело разрасталось все больше, так что даже сами судьи были не рады ему. Капитон не сдавался года три, а потом махнул на все рукой и принес повипную. Когда это передала Агния Ефимовне, она со спокойной улыбкой заметила:

— Кто повинился, с того и взыскивайте...

Восемь лет тянулось дело, пока Агния Ефимовна предстала пред судьями. Но и тут вышел казус: Густомесов скоропостижно умер накануне. Некому было обвинять, и громадное дело рухнуло само собой. Присутствовавший на заседании Егор Иваныч думал свою горькую думу: не открой он таежного дела, ничего бы не было, а главное, не загубил бы он дочери.

— Да, хорошее придапое я тебе приготовил, Анпушка...

Оправданные судом Капитон и Агния Ефимовна сейчас же уехали в Сибирь, и об них не было ни слуху ни духу.

Первый вал бешеного сибирского золота пролетел, и в Сосногорске наступило тяжелое похмелье после пира горой.

КОРМИЛЕЦ

Из жизни на уральских заводах

Рассказ

I

Маленький Прошка всегда спал как убитый, и утром сестра Федорка долго тащила его с полатей за ногу или за руку, прежде чем Прошка открывал глаза.

— Вставай, отчаянный!..— ругалась Федорка, стаскивая с полатей разное лохмотье, которым закрывался Прошка.— Недавно оглох, что ли? Слышишь, свисток-от!..

— Сейчас... Привязалась! — бормотал Прошка, стараясь укатиться в самый дальний угол.

— Мамынька, что же я-то далась, каторжная, что ли?..— начинала жаловаться Федорка, слезая с приступка.— Каждый раз так-то: дрыхнет, как очумелый...

— Прошка... а, Прошка!..— крикливо начинала голосить старая Макаровна и лезла на полати с ухватом.— Ох, согрешила я, грешная, с вами! Прошка, отчаянный, вставай!.. Ну?.. Ишь куды укатился!..

— Мамка, я сейчас...— откликнулся Прошка, хватаясь за рога ухвата обеими руками.

— Да ты оглох, в самом деле: слышь,— свисток-от насвистывает... Федорке идти надо, не будет свистеть для вас другой раз!

Заводский свисток действительно давно вытягивал свою волчью песню, хватавшую Прошку прямо за сердце. На полатях было так тепло, глаза у него слипались, голова давила, как котел, а тут — вставай, одевайся и иди с Федоркой на фабрику...

Щока происходило это пробуждение Прошки, Федорка торопливо доедала какую-нибудь вчерашнюю корочку, запивая ее водой. Прошка всегда видел сестру одетой и удивлялся, — когда это Федорка спит!

— Черти, не дадут и выспаться-то... — ворчал Прошка, слезая наконец с полатей и пачиная искать худые коты¹ с оборванными веревочками. — Руки-то, поди, болят... вымахаете за день-то. Мамка, дай поесть...

— Одевайся, печего растабарывать, — на заводе поешь! — торопила Прошку мать. — Ишь важный какой... Разве один ты на заводе робишь?..² Другие-то как?..

— Другие... — повторял Прошка за матерью и не знал, что сказать в свое оправдание, и только чесал скатавшиеся волосы на голове.

Федорке иногда делалось жаль двенадцатилетнего брата, и она молча начинала помогать ему: запахивала дырявый кафтанишко, подпоясывала тонким ремешком вместо опояски, завязывала коты на ногах, а Прошка сидел на лавке или на приступке у печки и чувствовал, как его давит смертный сон. Кажется, умер бы вот тут сейчас, только бы не идти на эту проклятую фабрику, что завывает своим свистком, как голодный волк...

Но Федорка никогда не жаловалась, и все у ней как-то горело в руках, — и Прошке делалось совестно перед сестрой: все-таки он, Прошка, мужик!

Федорка работала на дровосушных печах и всегда была в саже, как галка, но никакая сажа не могла скрыть горячего румянца, свежих губ, белых зубов и задорно светившихся серых глаз. Всякая тряпка сидела на Федорке так, точно она была пришита к ее сбитому, крепкому, молодому телу. Рядом с сестрой Прошка в своих больших котях и разъезжавшемся кафтанишке походил на выпавшего из гнезда воробья, особенно когда нахлобучивал на голову отцовскую войлочную шляпу с оторванным полем. Лицо у него было широкое, с плоским носом и небольшими темными глазками. Конечно, Прошка тоже был всегда в саже, которой не мог отмыть даже в бане.

— Ну, совсем?.. — ворчала Федорка, когда одевание кончилось. — Уж второй свист сейчас будет. Другие-то

¹ Коты — кожаная обувь вроде тяжелых ботинок. (Примеч. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)

² Робишь — работать. Так говорят в Пермской стороне. (Примеч. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)

девки давно на фабрике, поди, а я вот тут с тобою валапдалась...

— Ума у вас нет, у девок, вот и бежите на фабрику, как угорелые!..— важно говорил Прошка, заранее ежась от холода, который ожидал его на улице.— Мамка, я есть хочу...

— Ладно, там дам, как придем,— говорила Федорка, торопливо засовывая за пазуху узелочек с завтраком.

Макаровна почесывалась, зевала и все время охала, пока дети собирались на фабрику, а потом, когда они уходили, заваливалась на полати спать... Ленивая была старуха, и как-то всякое дело валилось у нее из рук. Она постоянно на что-нибудь жаловалась и все говорила про покойного мужа, который умер лет пять тому назад.

Выйдя за дверь, Прошка всегда чувствовал страшный холод — и зимой и летом. В пять часов утра всегда холодно, и мальчик напрасно ежился в своем кафтанишке и не знал, куда спрятать голые руки. Кругом темно. Федорка сердито бежит вперед, и, чтобы держаться за нею, Прошке приходится бежать вприпрыжку... Он понемногу согревается, и ночной холод прогоняет детский крепкий сон.

II

Избушка Макаровны стояла на самом краю Першинского завода, и до фабрики было с версту. В избах кое-где мелькали огни,— везде собирались рабочие на фабрику. На стеклах маленьких окошек прыгали и колебались неясные тени... По дороге то и дело скрипели отворявшиеся ворота, из них молча выходили рабочие и быстро шли по направлению к фабрике. Иногда попадались Федоркины подружки — Марьки, Степаньки, Лушки. Вместе девушки начинали бойко переговариваться, смеялись и толкали одна другую. Эта болтовня бесила Прошку. «Дровосушки» (так звали поденщиц, которые работали на дровосушных печах) хохотали еще больше и начинали дразнить Прошку. С ними перешучивались парни, шагавшие на фабрику с болтавшимися на руках вачегами и запасными прядениками¹.

¹ Вачеги — подшитые кожей рукавицы; пряденики — пеньковые лапти. (Примеч. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)

Рабочие кучками шли по берегу заводского пруда, поднимались на плотину и потом исчезали в закопченных заводской сажей воротах караульни. Глухой сторож Евтифей выглядывал из окошечка караульни и вечно что-то бормотал, а рабочие спускались по крутой деревянной лестнице вниз, к доменной печи, где в темном громадном корпусе всегда теплился веселый огонек, и около него толпились рабочие в кожаных фартуках-защитках.

Федорка провожала братишку до самого «пожога»¹, где он «бил руду», то есть большие куски обожженной железной руды разбивал в мелкую щебенку. Пожог стоял в самом дальнем углу громадного фабричного двора. Снаружи виднелись только серые толстые стены, выложенные из крупных камней. Внутри пожог разделялся на два двора: в одном постоянно обжигалась новая руда, а в другом — ее разбивали в щебенку такие же мальчуганы, как Прошка, да еще две пожилые женщины, вечно завязанные какими-то тряпками. В том дворике пожога, где били руду, по утрам всегда горел костер. Федорка подходила к огню, грела свои красные руки и сердито огрызалась от пристававших к ней мальчишек-рудобойцев, усвоивших уже все ухватки больших рабочих.

Оставив братишку в пожоге, Федорка торопливо уходила к дровосушным печам, где крикливо гудела целая толпа поденщиц-дровосушек, точно стая галок.

III

Собравшись в пожоге, мальчишки начинали завтракать, потому что дома обыкновенно не успевали проглотить куска.

Их было человек пятнадцать, от десяти до четырнадцати лет. Около костра образовывалось живое кольцо из чумазных лиц, торопливо прожевывающих свою утреннюю порцию.

Прошка чувствовал себя лучше в этой подвижной толпе и быстро съедал оставленный Федоркой завтрак, обыкновенно состоявший из куска ржаного хлеба и несколь-

¹ Пожог — часть завода, где обжигают руду. (Примеч. Д. П. Мамина-Сибиряка.)

них картошек. Федорка всегда умела сделать так, что и ломоть хлеба у Прошки был больше, чем у все, и картошка лучше. А когда в доме была недостача в хлебе, Федорка отдавала все братишке, а сама перебивалась не звши. Прошка не видел этого и постоянно жаловался, что Федорка все лопает сама, а он, Прошка, всегда хочет есть...

— Эй вы, соловьи, чего расселись,— пора на работу! — кричал на мальчишек дозорный Павлыч.— Жалованье любите получать!..

Рудобойцы расходились по пожогу к своим кучам руды. У всякого было свое место, и дозорный Павлыч осматривал перед обедом, сколько кто наробил. Все робили из поденщины, по десяти копсек.

Тяжело было приниматься за эту несложную работу, и Прошка всегда чувствовал, как у него поет спина, а руки едва поднимают железный молоток, пасаженный на длинном черенке. Все обыкновенно принимались за работу молча, и в пожоге было слышно только тюканье молотков по камню, точно землю клевала железными носами стая каких-то мудреных птиц...

Прошка работал недалеко от огня и скоро согревался за работой; спина и руки помаленьку отходили.

— Ай да молодцы!.. Похаживай веселее!.. — выкрикивал главный доменный мастер Лукнич, приходивший посмотреть, ладно ли ребята крошат «крупку на кашу старухе». «Старухой» он называл доменную печь.

Лукнич, широкоплечий бородастый мужик, с вечными шуточками и прибаутками, был общим любимцем на фабрике. По праздникам он подыгрывал на берестяной волышке, когда рабочие затягивали заводскую песню. Он приходил на пожог, выкуривал трубочку около огопка, шутил с ребятами и уходил к своей «старухе».

В пожоге работали только сироты да дети самых бедных мужиков. Прошка, провожая Лукнича глазами, думал о своем отце, который не пустил бы его на пожог, где работа была такая тяжелая, особенно по зимам... Другие ребята думали то же, что и Прошка, и в детские головы лезли невеселые мысли о той бедности, которая ждала их там, по своим углам...

— Нет тяжелее нашей работы,— толковали мальчики, делая передышку.— Из плеча все руки вымотаешь, а спиная точно чужая... Едва встанешь в другой раз...

— А вот в корпусе славно робить, кто около машины ходит...

— Уж это что говорить: известное дело,— ходи себе с тряпочкой да масло подтирай: вся твоя и работа, а поденщица та же.

— В тепле, главное.

— Страсть, как тепло. Пар из машинной так и валит, как двери отворишь!

Попасть в тепло, куда-нибудь к «машине», казалось счастьем для этих голодавших и холодавших ребятишек. Да на хороших местах перебиваются отцовские дети, а голытьбу не пустят... Вон у дозорного Павлыча сын там ходит; тоже у плотинного, у машиниста.

Дети завидовали счастливым и еще сильнее мерзли, работая до онемения рук.

Прошка колотился вместе с другими и в общем горе забывал свое.

Время до одиннадцати часов, когда «отдавали свисток» на обед, было самое тяжелое, точно и конца ему нет.

В одиннадцать часов гудел свисток, и рабочие шли домой обедать. На плотину, из ворот Евтифея, высыпала толпа рабочих, поденщиц, мальчишек. Все торопились, чтобы поесть и закусить. На фабрике оставались кое-какие рабочие, которым нельзя было отлучиться от своего дела; им приносили обед на фабрику. Маленькие девочки тащились к ним с котелками да бураками в руках и терпеливо дожидались, когда отцы или братья кончат обед, чтобы отправиться домой.

Когда-то Федорка так же носила отцу обеды на фабрику, а потом — Прошка. Отец работал в главном корпусе, у обжимочного молота, и обедал тут же, присев на чугунный «стул». Прошка сначала боялся этого корпуса, где стоял всегда такой шум и так ярко горели печи; где вечно капала вода, от водяного ларя тянуло сыростью, рабочие ходили с запеченными, красными лицами; где так пронзительно свистели, что Прошка вздрагивал и боязливо озирался по сторонам.

— Испужался, Прошка? — спрашивал отец, прожевывая кусок лукового пирога или облизывая деревянную круглую ложку.

Отец Прошки был здоровенный мужик и смахивал на медведя. У него были кривые ноги, тонкие длинные руки...

Когда он ворочал горевшее и сыпавшее искрами железо под обжимочным молотом, это сходство было поразительное: настоящий медведь, и только! По праздникам отец надевал простую кумачную рубаху, халат из тонкого сукна и непременно напивался. Ребятам он покупал каждый раз пряников, когда получал двухнедельный расчет.

Это было счастливое время для семьи Пискуновых, и Прощке оно казалось каким-то сном. Незадолго до смерти отец купил даже подержанный самовар. Но потом отец надсадился, поднимая упавшую со стула полосу железа, долго лежал больной и умер, оставив семью ни с чем.

Иногда Прощке делалось ужасно скучно. Улучив минуту, когда рабочие поужинали, мальчик любил бродить по фабрике и смотреть, как везде сидели облитые потом фигуры мастеров, а около них толклись маленькие девочки с бураками и узелками. В кричном корпусе, прижавшись куда-нибудь в темный угол, Прощка долго наблюдал, как ужинает главный мастер у обжимочного молота. Вот так же ужинал когда-то и отец Прощки, а сам Прощка стоял и смотрел на него.

«Вот буду большой, тогда сам в мастера пойду...» — соображал мальчик и видел себя в мягких прядениках, в кожаной защитке и в новых вачегах, какие были у отца.

Если бы отец был жив, тогда бы и Федорка не пошла в дровосушки, потому что отцовские дочери не идут никогда на фабрику.

— Уж замуж с поденщины не скоро выдешь, — толковали рабочие, балагурия где-нибудь около огонька. — Тут уж шабаш.

В половине первого отдавали свисток на работу, а в семь вечера — с работы.

На смену дневных являлись ночные рабочие.

Доменная печь ночью топилась точно жарче, чем днем; железные трубы дымили сильнее, и далеко неслись лязг железа, окрики рабочих и резкие свистки...

Вся заводская жизнь строилась по свистку, и Прощка подолгу смотрел на хитрую медную машину, которая ворочала всем заводом. Ему казалось, что это что-то живое и притом очень злое: вырвется белая струйка пара и загудит на весь завод, только стон пойдет...

Маленький Прошка работал на фабрике уже вторую зиму. Макаровна стонала с осени,— как это мальчонко будет рббить в стужу, когда у него нет ни шубенки, ни валенок, ни хороших варежек!

— И то прохворал в прошлую-то зиму недель шесть,— говорила Макаровна.— Уж хоть бы оп помер, што ли... не глядели бы глазыньки на ребячью маяту!.. А много ли заробит и с Федоркой вместе: ей двугривенный поденщины да Прошке — гривенник... В выписку¹ дён двенадцать приходится, ну, и принесут домой три рубля шесть гривен. Не много уколешь на них... Вон ржаная-то мучка восемь гривенок пуд; крупа, горох... а тут обуть надо, одежонку справить!..

— Маменька, что же нам делать, ежели уж так довелось? — отвечала иногда Федорка, которой нытье матери было хуже ножа.— Вот погоди, Прошка подрастет, тогда справимся...

— Сам-то когда был в живности, так по пятнадцати цалковых приносил домой в выписку! — не унилась старуха.— Легкое дело сказать... Крупчатку покупали к пасхе, говядину; на все хватало. Другие-то вон как живут, только радуются, а нам без смерти...

Макаровна была из зажиточной семьи и прожила с мужем лет пятнадцать в полном довольстве, поэтому ей особенно была горька настоящая нужда. Как большинство заводских баб, Макаровна никакой другой работы не знала, кроме своей домашности. Когда был муж, она еще с грехом пополам ткала пестрядину, а теперь и от этой работы отбилась,— не на что было купить льна, и пустые «кросны» стояли в сенцах. Вообще самая горькая нужда обошла семью Пискуновых со всех четырех углов и давила с каждым днем все сильнее и сильнее. В пять лет вдовства Макаровна успела поразмотать все, что было нажито с мужем: лошадь, корову, хорошую одежду, два покоса, стоявшие в огороде срубы на новую избу и т. д. Нужно было пить-есть, а ребята остались невелички. Слава богу, по миру еще не ходили... Только вот Федорка попала на

¹ На горных заводах плата рабочим выдается через две недели; это и называется выпиской. (Примеч. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)

фабрику!.. Нехорошее это дело, да быть иначе нельзя, не с голоду помирать.

— Где уж теперь замуж...— раздумывала Макаровна о дочери.— На поденщине-то балуются девки; кому охота таковскую брать...

— Ты, смотри, Макаровна, лучше наказывай дочерито, чтобы она не сбаловалась,— шушукали соседки.

— И то наказываю...

— Хорошенько учи, потому — какой у девки ум.

По силе возможности Макаровна действительно «наказывала» дочери и часто доводила ее до слез. Федорка сначала огрызалась, потом начинала ругаться и кончала бессильными девичьими слезами. Да и как было не плакать: какая это жизнь? Работаешь, бьешься, недоедаешь, недопиваешь, в люди глаза показать не в чем, а тут еще мать пристаёт... У Федорки все платишко было на себе, да плохонькая «перемывочка», то есть разное тряпье, которое падалось во время стирки Федоркина сарафана: рубаха и юбочка с «подзором». Летом выйти в хоровод не в чем, а зимой — на супрядки или на вечорки. Так Федорка и сидела у себя дома, стыдясь показаться в люди в своей заводской сажке. Мать понимала ее положение, но помочь не умела... Да и чем тут поможешь, когда при дорогом заводском харче троим приходилось тянуть две недели на три рубля шестьдесят копеек. Только-только на хлеб хватало да на крупу.

V

Была у Пискуновых всякая родня, но ведь родные хороши только в богатстве да в достатке, а при бедности больше любят указывать: и то не так, и это не так, и пятое-десятое неладно. Макаровна везде по родне успела назанимать всячины — конечно, крохами, — и терпеливо выслушивала хорошие советы, на которые так щедра богатая родня. Федорка сторонилась от этой родни, и ее попрекали гордостью.

— Без них тошнехонько!..— отвечала она обыкновенно пристававшей матери.— Сажу свою заводскую пойду казать им, што ли?..

К тому же наступившая вторая зима Прошкиной работы приводила Федорку в отчаяние. Где взять ему

пимы¹, шапку, шубенку?.. Ведь это, ежели считать, так рублей на семь хватит, да еще и не укупишь на семь-то, потому и варежки нужны двои на зиму-то, и рубаха, и порты...

Иногда Федорку просто брала какая-то одурь от этих расчетов; ей наяву начинали грезиться роковые семь рублей: она с открытыми глазами видела две трехрублевых зелененьких бумажки и одну желтенькую рублевку... Часто, глядя на кого-нибудь из рабочих, она думала об этих деньгах и видела их,— как три бумажки лежат завязанные в уголок платка и тянут ее к себе. Вон у Лукича, называют, сколько денег-то, у дозорного Павлыча, у других мастеров, которые в выписку получают рублей по пятнадцати...

Эти неотступные мысли преследовали Федорку и дома и на работе. Таская дрова в печь и обратно, она все думала свое.

Всех девок на дровосушных печах работало человек двадцать. Все были залеплены несмывавшейся сажей, и все были такие отчаянные... Дровосушки ругались с пристававшими к ним рабочими нехорошими словами, распевали нехорошие песни и кончали гульбой. Федорка крепилась и не хотела поддаться соблазну легкой жизни: ее удерживало воспоминание о хорошей жизни с отцом,— чего не было у других. Стыд перед родней являлся тоже сдерживающей силой. Опять у других и впереди не было надежды выбраться с завода, а Федорке думалось:

«Вот бы только вырастить Прошку; опять будет «кормилец» в доме, и уйду с завода...»

Зато другие дровосушки, щеголявшие в кумачных платках и в ситцевых новых сарафанах, постоянно донимали Федорку разными смешками.

— Федорка, ты, смотри, не выйди замуж за Павлыча; он к тебе што-то больно приглядывается ноне! — кричала рябая и курносая Степанька.

— Отстань, короста...

— Девоньки, наша Федора скоро пойдет в гору... — смеялись другие дровосушки. — Она глаза только отводит!

Дозорный Павлыч, степенный и румяный мужик, действительно засматривался на Федорку.

¹ П и м ы — валенки. (Примеч. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)

А зима уже наступала. За ночь несколько раз выпал первый снежок, таявший на другой день. Нужно было решить вопрос о Прошкиной одеже. Федорка, когда выгружала сухие дрова из печи, несколько раз всплакула.

Раз в углу темной дровосушки ее поймал вихлястый Антошка и облапил своими длинными руками. К его удивлению, Федорка не сопротивлялась, как обыкновенно, а только тихо всхлипывала, как плачут дети.

— Федорка, да ты это што? — онемел Антошка, выпущая из рук плакавшую девушку.

— Убирайся к черту!..

— Вот те и раз!.. Федорка, да ты о чем это ревешь-то?..

— Отвяжись!

Антошка положительно не знал, что ему делать, и почесывал за ухом, стоя около Федорки. Федоркино безмолвное горе тронуло его, но он не умел даже спросить ее, о чем она ревет, и стоял, как пень.

— Подлецы вы... все подлецы! — надрывавшимся шепотом говорила Федорка, не вытирая катившихся по лицу слез.— Все до единого!.. Вам человека загубить ровнешенько ничего... а тут петли, может, ищешь!.. Ну, чего стал, язва сибирская?.. Уходи, говорят тебе!..

— Да ты, Федорка, и в самом-то деле... право... Эх тебя разобрало!.. Чего ты?

Смущение Антошки вдруг растрогало Федорку. Она работала на фабрике третий год и еще ни от кого не слышала доброго слова, не видела искреннего участия. Ее щипали, обнимали, хлопали по спине, говорили ей всякие гадости, и ни одного хорошего слова!.. Ей вдруг захотелось рассказать Антошке все, что у нее накопело на душе, и она ему рассказала, торопливо глотая слова и размазывая по лицу слезы, мешавшиеся с сажей. Антошка выслушал все, почесал в затылке и только развел руками. У него тоже не было денег. Это движение разозлило Федорку: разве она к деньгам приговаривается!.. Федорка тяжело замолчала...

— Ну, вот и осердилась! — ласково говорил Антошка, стараясь опять обнять Федорку.

— Отстань, короста!..

— Постой... А ты вот что, Федорка,— обрадовался неожиданно Антошка,— мы дело и без шубы сварганим... верно!.. И без пимов и без шубы Прошку приспособим...

— Мели пуще, пустая башка!

— Верно говорю: надо его, Прошку-то, в машинную определить. Ей-богу!.. Это уж Павлыча дело. Попроси его...

— Лучше к черту пойду, а не к Павлычу.

— Ах, какая ты, Федорка! Ну, хошь, я Павлычу замолвлю словечко для тебя... Харюза¹ ему предоставлю и замолвлю...

Когда Федорка вышла из печи, замазанная потоками слез, все дровосушки покатались над ней со смеху, по она ничего не замечала: ей вдруг сделалось так хорошо и тепло. Нашелся и для нее хороший человек...

VII

Когда начались сильные заморозки, Прошка попал в самое тепло — в машинный корпус. Устроилось это так, как говорил Антошка: принес он с поклоном живых харюзов дозорному Павлычу и в разговоре замолвил словечко за Федоркина брата Прошку, который околевал с холоду на пожоге.

— А ты что больно кручинишься за парнишку? — спросил только Павлыч, не подавая никакого вида.

— Да так... Вместе с работы ходим, так оно видно, как парнишка, значит, на холоду гинет.

— Так, так... Ну, поговорю я с плотинным да с надзирателем; может, и выгорит што...

От дозорного дело перешло к уставщику, от уставщика к плотинному, от плотинного к надзирателю; надзиратель посоветовался с записчиком поденных работ, и в конце концов Прошка очутился в теплом машинном корпусе с двумя другими мальчиками, одетыми в белые холщовые блузы, замазанные ворванью и машинным салом.

Прошка долго не верил своему счастью и долгое время ходил точно в каком-то сне. В корпусе было так тепло и светло, а работа самая небольшая сравнительно с битьем руды.

¹ Харюз — рыба. (Примеч. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)

— Ну, хорошо тебе теперь? — спрашивала Федорка брата.

— Уж так ловко, Федорка!.. Только больно утром сон долит!.. Смерть долит сон, потому теплынь у нас.

— А ты не спи... слышал?

— Тоже вот ись больно охота, Федорка...

— Ну, старайся!

Дозорный Павлыч относился к Прошке с большим вниманием: он сделал Прошке такую же холщовую блузу, как у других мальчиков, и пообещал подарить шубенку к святкам. Федорке сделалось даже совестно, потому что Павлыч с ней не говорил ни слова и точно сторонился от нее. Ее давила эта тайная милостыня, и Федорка невольно опускала глаза, когда мимо нее на фабрике проходил Павлыч с правилом в руках.

Раз, когда Федорка шла с работы домой, ее догнал Прошка, торопливо сунул ей в руки какой-то сверток, рассмеялся и убежал. Он в холода не ходил домой и ночевал в теплой машинной.

Дело было темным зимним вечером, и Федорка инстинктивно сунула сверток в пазуху, чтобы не заметили другие дровосушки.

Этот сверток давил ее всю дорогу, как камень, и она начипала догадываться, что это такое. Только дома, когда старая Макаровна улеглась спать, Федорка решила посмотреть, что ей сунул Прошка. Это был новенький кумачный платок, о каком она давно мечтала. У всех девок были такие платки, а у Федорки не было.

«Это беспрременно от Павлыча», — думала Федорка, лежа на полатах.

Федорке никто и никогда ничего не дарил. Она десять раз принималась рассматривать платок, примеряла его и даже понюхала.

Платок был отличный и, наверно, стоил копеек сорок. Но с другой стороны — зачем Павлыч заманивал ее? Павлыч был женатый человек...

Раздумавшись на эту тему, Федорка обиделась и даже поплакала про себя, а платок решила отдать обратно.

«Ишь какой выискался!.. Тоже выдумал подъезжать», — думала Федорка, когда шла утром на другой день на работу и несла в пазухе платок.

Вызвав Прошку из машинной, Федорка сердито спросила его, откуда он достал платок? Прошка только скалил зубы, переминался с ноги на ногу и ничего не отвечал.

— Ах, ты, онемел, что ли?..— рассердилась Федорка совсем.— Вот я тебя как учну за вихры таскать, холеру, так у меня заговоришь... Ну?

— Не велено сказать...— лукаво отвечал Прошка.

Федорка бросила ему платок и ушла на работу.

Она была очень весела весь день, довольная собственным поведением. Ишь чем вздумал обманывать девку... тоже нашел дуру!.. Федорка все думала о том, как лет через пять Прошка будет совсем настоящий рабочий, и тогда они заживут, как при покойном отце... Может, и жених выщется, ежели она соблюдет себя... А тут платок!

Павлыч был не злой мужик; он не рассердился, в душе даже похвалил Федорку, и Прошка по-прежнему оставался в машинной.

От тепла и легкой работы мальчик за зиму заметно поправился и выглядел таким здоровым и бойким. Федорка иногда любовалась им, наблюдая издали, как Прошка бегал по фабрике с другими ребятами.

— Мне, мамынька, теперь хорошо рóбить!..— хвастался Прошка, когда приходил на праздник в свою избушку.

— И слава богу, а ты старайся... потрафляй, Прошенька. Ласковое телятко двух маток сосет...

— Я, мамынька, и то стараюсь!.. Когда машинист за водкой пошлет, так ровно молния дуешь в кабак, только голяшки сверкают... Верпо!

Машинист в хорошем расположении духа иногда позволял Прошке «отдать свисток», и мальчик был в восторге, повертывая кран. Пар с хрипом бросался по железной трубке, и медный свисток гудел на весь Першинский завод своим волчьим воем. Прошка был в восторге, точно он собственными руками распускал по домам или собирал на фабрику сотни рабочих. Он даже с удовольствием вспоминал о недавней работе на пожоге, где теперь выматывали руки и спины на морозе другие дети. Иногда он для развлечения забегал на пожар посмотреть, как маются старые приятели. Мальчики смотрели на Прошку с завистью и обещали отдуть хорошенько при случае.

Только с одним никак не мог помириться Прошка: в тепле он просто «млел» от сна и, как крыса, ухитрялся засыпать по разным потаенным углам. Особенно по утрам донимал этот мертвый сон Прошку, и он ходил около машины, как шальной. Машинист, обходя машины, не один раз вытаскивал Прошку за ухо из таких мест, куда, кажется, не пролезть и лягушке, а Прошка ухитрялся спать, как зарезанный, не обращая внимания на грохот, свист и лязг работавшей машины.

— Эй ты, черт, куда залез? — ругался машинист, задавая Прошке приличную встрепку. — Вот уж попадешь в ремень или в шестерню куда, так наотвечаешься за тебя.

Прошка скоро забывал эти хорошие советы, и его опять находили где-нибудь под вертевшимся колесом.

Раз ему машинист поручил наблюдать какой-то клапан у паровика, — ослабла пружина, и машинист боялся, чтобы кого-нибудь не обожгло паром.

Дело было ранним утром. Прошка крепился, сколько мог, и кончил тем, что заснул на полу под самым клапаном. Машинист вспомнил о нем только тогда, когда из клапана вырвалась с оглушительным свистом струя горячего пара и наполнила всю машинную белой сырой мглой. Прошка был обварен паром, как рыба, и его без памяти привезли домой в таком виде, что Макаровна в этом вспухшем куске мяса никак не могла узнать своего Прошку. Лицо и шея у Прошки превратились в один сплошной пузырь, глаз не было видно, и кожа отставала от живого мяса лскутьями.

Приехал заводский фельдшер, посмотрел больного, обложил его примочками и долго качал головой.

— Родимый мой... голубчик!.. Один ведь он у меня! — голосила Макаровна, валяясь в ногах у фельдшера.

— Что же делать: сам виноват... Его на дело поставили, а он уснул. Будем лечить, может, и поправится.

— Да ведь мальчонка!.. Еще велико ли место! С кого взыскивать-то!.. И большой заснет в другой раз...

— Это уж не мое дело.

Дня через три Прошка как будто немного отошел и начал говорить. Федорка и Макаровна не спали над ним почей и думали, что он поправится.

Но эта надежда не сбылась: болезнь повернула круто назад, и Прошка опять впал в забытие и просыпался только затем, чтобы бредить.

Больше всего его беспокоил фабричный свисток: как только загудит,— больной мальчик порывался соскочить и начинал бредить фабрикой, искал шапку и свои коты.

Особенно была страшна последняя ночь.

Уставшая Макаровна заснула на полу, а Федорка караулила больного. С утренним свистком она уходила на работу. С вечера Прошка сильно метался и бредил, а к утру затих. Федорка тоже чуть не заснула, но ее разбудил шепот больного:

— Фабрику... скорее... слышишь!..

Действительно, гудел свисток, сзывал на работу...

Вскочила Федорка, взглянула на Прошку, а он и дышать перестал.

Со смертью Прошки у старой Макаровны не осталось больше никакой надежды.

Не осталось и у Федорки надежды вырваться с заводской поденщины.

Так и сгинула вся семья.

КОММЕНТАРИИ

СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

ГБЛ — Отдел рукописей Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина (Москва).

Собр. соч. — Д. Н. Мамин-Сибиряк. Собр. соч. в 8-ми томах. М., ГИХЛ, 1953—1955.

ЦГАЛИ — Центральный государственный архив литературы и искусства СССР (Москва).

ЗОЛОТО

Впервые — журн. «Северный вестник», 1892, № 1—6.

При жизни писателя роман издавался в 1894, 1902, 1912 годах. По поводу первого отдельного издания «Золота» в 1894 году Д. Н. Мамин-Сибиряк писал 5 февраля 1895 года А. С. Маминой: «В прошлом году я издал три книги в Москве: «Золото», «Детские тени» и «Сибирские рассказы».

Выход издания 1902 года отмечен в «Списке книг, вышедших в России в 1902 году» (СПб., 1903): «Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Золото», роман, изд. 2, Д. Ефимов. М., 1902, тип. «Русского товарищества печати и издат. дела».

Рукопись романа не сохранилась. Известен лишь некоторый подготовительный материал к «Золоту» — рукописи рассказов «Строгали. Из рассказов о золоте» (*ЦГАЛИ*) и «Глупая Окся», которые содержат в себе отдельные эскизы к роману, вошедшие в него в измененном виде.

Роман посвящен жизни золотоискателей Урала в пореформенную эпоху. Замысел его вызревал постепенно. Во многих более ранних произведениях различных жанров обнаруживаются идеи,

мотивы, образы, сюжетные ситуации, которые в той или иной степени получили художественное выражение в «Золоте». Это — очерки «От Урала до Москвы» (1881—1882), письма «С Урала» (1884), «От Зауралья до Волги» (1885), «Золотое гнездо» (1885), «По Зауралью» (1887), «Город Екатеринбург» (1889) и другие. Тема золота как одна из наиболее устойчивых тем Маммина-Сибиряка характерна для очерков «Золотуха», которые были напечатаны М. Е. Салтыковым-Щедриным в журнале «Отечественные записки» (1883, № 2) и названы им «великолепными очерками». В пьесе «Золотопромышленники» (1887), в рассказах «Старик» (1876), «Золотая почва» (1884), «Ната» (1885), «В болоте» (1885), «Старатели» (1880) и в других произведениях обнаруживаются тематические связи с романом.

Работая над романом, Д. Н. Маммин-Сибиряк обращался к воспоминаниям о своей уральской жизни, он изобразил хорошо известные ему на Урале места и реальных лиц. Прототипом Балчуговского завода — основного места действия в «Золоте» — явился Березовский завод вблизи Екатеринбурга, построенный в середине XVIII века и ставший центром золотодобывающей промышленности. Первоначально писатель намерен был назвать завод Молочадовским, как это видно из его записной книжки. Об истории этого же завода Д. Н. Маммин писал в очерках «С Урала» и «Золотое гнездо». Озеро и село Шарташ (вблизи Екатеринбурга) изображены в «Золоте» как озеро и село Тайбола.

Творческую историю романа отчасти можно проследить по записным книжкам писателя. В них намечен сюжет будущего произведения, записано несколько вариантов его названий: «Строгали», «На золотом поле», «Золото»; первые два названия потом были зачеркнуты автором. В записных книжках содержатся также характеристики некоторых персонажей (Окси, Матюшки), отмечены отдельные события, вошедшие в роман. В записных книжках упоминаются некоторые другие географические названия, сохраненные в романе (мельница Фотьянка, Ульянов кряж и др.), фамилии и имена героев (Зыков, Феня, Лукерья, Кишкин, Мыльников, старатели Матюшка, Лучок и т. д.), сцены, вошедшие в роман (уход Фени в Тайболу, открытие золотоносной жилы на Ульяновом кряже и другие). Есть и фольклорные записи, отобразившиеся в романе.

Упоминания о работе над романом содержатся в письмах Маммина-Сибиряка к матери: 23 июня 1891 года: «...пишу роман о золоте для «Северного вестника»; 15 сентября 1891 года: «Прошлая неделя для меня ознаменовалась тем, что я «сел» за большую работу, именно, начал большой роман «Золото». Описываю в нем Березов-

ский завод, конечно, с некоторыми изменениями и дополнениями против действительности. Роман будет печататься в «Северном вестнике» с январской книжкой; 25 октября 1891 года: «Я теперь исключительно занят делом, почти нигде не бываю и никого не вижу, потому что пишу большой роман и целый ряд статей».

Роман вызвал многочисленные и самые противоречивые оценки литературных критиков, представителей различных течений и групп, что подтверждает актуальность поставленных в нем проблем.

Народническая и либерально-буржуазная критика недооценивала его общественное значение и не раскрыла богатство его идейно-художественного содержания. Роман «Золото» чаще всего оценивали как «бытописательский» («Екатеринбургская неделя», 1894, № 20), как «хронику событий» или «экономическое исследование», лишенное идейности и психологизма («Русское богатство», 1894, № 12). А. М. Скабичевский в статье «Д. Н. Мамин-Сибиряк» («Новое слово», 1896, № 1, с. 125—142, и № 2), называя писателя одним из крупнейших натуралистов и превознося его, по ироническому выражению самого Мамина (в письме к матери от 27 октября 1896 г.), выше Золя, считал «Золото» (как и его другие романы) «бесформенной, хаотичной летописью», созданной «флегматическим и бесстрастным автором». По мнению Скабичевского, «быт и нравы уральских золотоискателей изображены в романе в таких мрачных красках, перед которыми должны побледнеть все пресловутые рассказы Брет-Гарта из калифорнийской жизни». Автор романа, как замечает критик, остается в «Золоте» лишь «беллетристом-фотографом».

Откликнулся на роман и «Мир божий», в котором Д. Н. Мамин сотрудничал с 1892 по 1896 год. Одобряя «Золото», рецензент журнала отмечал художественную законченность, сильный и сжатый язык романа, однако также писал о пассивности и объективизме автора («Мир божий», 1895, № 7).

Объективную и высокую оценку «Золота» дала большевистская «Правда»: «Кто хочет познать историю существующих отношений на Урале двух классов,— писала газета в 1912 году,— горнозаводского рабочего населения и хищников Урала, помещиков и иных,— тот найдет в сочинениях Мамина-Сибиряка яркую иллюстрацию к сухим страницам истории» («Дюктябрьская «Правда» об искусстве и литературе». М., ГИХЛ, 1937, с. 166). Газета писала о великолепных уральских пейзажах Мамина.

«Золото» — образец оригинального стиля писателя, который М. Горький назвал «мамнинским слогом». В романе есть многочисленные пословицы и поговорки, устные рассказы и легенды (та-

кова, например, легенда о золотой свинье). Поэтика устного народного рассказа в передаче Мамина близка поэтике народного сказа. Пословицы и поговорки слиты с общим интонационным строем повествования, емки по содержанию: «Через золото слезы льются», «Золото и в грязи видать», «Золото моем, а сами голосом воем» и т. п.

Писатель широко использует диалектные формы речи, включая их главным образом в речь персонажей. Диалектная фразеология подчеркивает принадлежность персонажей к уральской местности и придает еще большую яркость и эмоциональность народному языку. Мамин-Сибиряк часто использует просторечные слова (баушка, одинова, доспеет и др.). В авторской речи и в речи персонажей немало слов местного происхождения. Автор подчеркивает способность простого человека к меткому слову, умение «одним словом выразить целый строй понятий». Он говорит о привязанности народа к родному языку и о типичной для него точности словесного выражения (так, Зыков поправляет следователя: «Не старатели, а золотпичники»).

В настоящем издании роман печатается по отдельному изданию 1902 года с исправлением опечаток и ошибок по другим прижизненным изданиям (в последнем прижизненном издании — 1912 года — Мамин-Сибиряк не мог участвовать, так как был тяжело болен).

Стр. 9. *Казенное время* — народное название времени в ту пору, когда прииски принадлежали казне.

Штейгер (от нем. Steiger) — горный мастер, ведавший рудничными работами.

Стр. 11. *Вашгерд* (от нем. Waschhert) — небольшой станок для промывки руды, особенно золотоносной.

Стр. 22. *Варнак* — каторжный.

Строгали. — Буквально: рабочие по обработке чего-нибудь строганьем.

Швали — портные.

Растрелли — Растрелли В. В. (Франческо Бартоломео; 1700—1774) — знаменитый архитектор, построивший дворцы Смольный, Зимний, Большой дворец в Петергофе и др.

Стр. 29. *Копотить* — неловко делать что-нибудь.

Стр. 32. *Тенериф* — вино, по названию острова Тенерифе в Атлантическом океане (группа Канарских островов).

Стр. 42. *Оболокаться* — одеваться, наряжаться.

Стр. 47. *Повытчик* — должностное лицо, ведавшее производством в суде,

Стр. 51. *Бонвиван* (ф р. bon vivant) — весельчак, кутила, человек, любящий пожить в свое удовольствие.

Спажинки — конец жатвы.

Стр. 56. *Синеус*, *Трувор* — полупоупендарные древнерусские князья (IX в.); Трувор — брат Рюрика, полупоупендарного предводителя варяжской дружины, прибывшей с ним на русскую землю.

Монморанси — старинный дворянский род во Франции, известен с X в.

Стр. 60. *Ширп* — разведочная раскопка.

Ехать на вершной — ехать верхом.

Стр. 68. *Фискал* (от л а т. fiscalus) — казенный, должностной; здесь: должность, учрежденная Петром I, для тайного наблюдения за исполнением правительственных распоряжений и донесений о замеченных недостатках.

Стр. 74. *Гарус* — сучная белая или цветная прляжа.

Стр. 75. «*Красная бумага*» — десятирублевый кредитный билет.

Стр. 78. *Кантонист* (н е м. Kantonist) — новобранец, солдатский сын в крепостной России в начале XIX в., с рождения принадлежащий военному ведомству.

Стр. 79. *Хивинская война* — одна из войн России в XIX в. против узбекского ханства Хивы. Очевидно, здесь говорится о войне 1873 г.

Стр. 82. *Тумнасы* — горный хрусталь.

Стр. 86. *Кержак* — старообрядец, раскольник.

Стр. 87. *Пошевни* — большие сани с кузовом в виде ящика.

Стр. 99. *Блазнить* — чудиться, мерещиться.

Стр. 110. *Охаверник* — нахал, озорник, буян.

Стр. 111. *Земская кварггир* — первая ступень суда и расправы в городах и селах.

Стр. 117. *Орговые работы* — подземные работы.

Стр. 126. *Прокурат* — шутник, затейник, проказник.

Стр. 135. *Ерахта* — уродливое, кривое дерево; здесь: беспутный, хитрый, ловкий человек, пройдоха.

Стр. 153. «*Паужна*» — «перекуса между обедом и ужином» (*Даль*).

Стр. 155. *Вассер* — штольня, подземная галерея, служащая для отлива воды.

Пешня — железный лом с трубкой, в которую вставляется деревянная рукоятка.

Стр. 192. *Креатура* (л а т. creatura — создание) — здесь: ставленник влиятельного лица, послушный исполнитель его воли.

Стр. 197. *Изневажигься* — изнежитья (с и б и р с к о е).

Стр. 205. *Березит* — род гранита.

Стр. 215. *Изварначиться* — разбаловаться.

Стр. 259. *Измотыжитья* — измотаться, обессилеть.

Стр. 261. *Бурак берестяной* — круглая коробка в виде ведерка из бересты с деревянной крышкой,

Е. Есгафьева

ПОВЕСТИ. РАССКАЗЫ

С ГОЛОДУ

Впервые — газ. «Русская жизнь», 1891, № 184, 10 июля, с подзаголовком: «Истинное происшествие».

В рассказе нашел отражение голод начала 90-х гг., особенно поразивший Зауралье. Бедственное положение уральского крестьянства усугублялось позицией местной администрации, сознательно искажавшей истинное состояние дел. «Мерзавец губернатор о своей шкуре заботится больше всего, чтобы в его губернии все было благополучно», — писал Мамин матери 22 сентября 1891 г. (Цит. по кн.: Д. Н. Мамин-Сибиряк. Собр. соч., в 10-ти томах, т. 10. М., 1958, с. 377.)

Смысл рассказа в некоторой степени раскрыл сам автор в письме к издателю Д. Н. Ефимову, который попросил увеличить объем подготовленного к печати сборника рассказов. Посылая 24 сентября 1901 г. три рассказа (в том числе «С голоду»), Мамин писал, что расширение книги за счет новых рассказов нарушает ее цельность и единство, что, в свою очередь, потребует изменения заглавия сборника: «...дело в том, что это уже рассказы не о разбойниках, а о преступлениях, поэтому сборник лучше назвать не «Разбойные люди» (таков был первоначальный вариант.— В. А.), а как-нибудь иначе — «Преступники», «Злая воля» и т. д.» (ГБЛ).

Печатается по тексту сб. «Преступники», 2-е изд., М., 1906.

Стр. 275. *...недели за две до Благовещенья...* — то есть в середине марта (православный праздник Благовещенье отмечался 25 марта ст. стиля).

Стр. 276. *...На Егория вешнего только ленивая соха не выезжает в поле...* — В крестьянском быту православный праздник, отмечаемый 23 апреля (ст. стиля), считался концом зимы и началом лета, в этот день приступали к севу, выгоняли скот и т. п.

Стр. 279. ...*Охвостье*...— отходы от веяния зерна (неполноценные зерна, семена сорняков, мелкие колосья).

..*В поле да в лесу один Никола бог*...— У крестьян святой Николай почитался как покровитель сельского хозяйства и заступник перед богом,

ВЕРНЫЙ РАБ

Впервые — журн. «Северный вестник», 1891, № 7, 8, с датой: «1891, 9 мая, Петербург». Перепечатывалась повесть в т. 4 «Уральских рассказов», М., 1902.

Как и все произведения Мамина-Сибиряка об истории Урала, рассказ имеет конкретных прототипов. Известно воспоминание краеведа Н. К. Чупина о генерале В. А. Глинке (в повести он выступает под фамилией Голубко), записанное екатеринбургским врачом В. А. Ляпустиным: «Я уже учился в уездном училище, как приехал в город генерал Глинка, который царствовал на Урале почти двадцать лет.

Грозный генерал Глинка был высокий, прямой, как палка, старик, с густыми, зловеще нависшими бровями, военной выправки, фронтовик, лицо бритое, голова и усы седые. Говорили, что в молодости он был адъютантом самого Аракчеева и служил в военных поселениях. На Урал он был назначен после беспримерного в летописях процесса уральских магнатов Зотова и Харитонов, тягущегося почти десяток лет... Глинка был облечен неограниченными полномочиями для борьбы со всем этим злом и, особенно, в целях предупреждения рабочих и крестьянских волнений. Урал в то время представлял область на военном положении, а главный горный начальник, как генерал-губернатор, в своем лице сосредоточивал всю власть как административную, так и судебную» («Воспоминания о Мамине-Сибиряке». Свердловск, 1936, с. 67).

Мамин-Сибиряк относился к Глинке достаточно сложно: «Сам Глинка оставил по себе все-таки хорошие воспоминания, как человек честный, что не мешало окружающим его воровать направо и налево. Внушительная паружность, высокий рост и военная пиколаевская выправка придавали ему диктаторский вид. Это и был диктатор — прямой, грозный, справедливый до жестокости, вспыльчивый и милостивый. Держал он себя и просто, и строго, с солдатской грубостью. Но, к сожалению, около уральского царя ютились стая прожорливых, вороватых и проворных людей, которые нажили большие тысячи. Игра шла крупная, но грозный царь не мог допустить даже мысли, чтобы под его начальством кто-нибудь мог

даже подумать о взятке или разных других формах присвоения чужой собственности» (очерк «Город Екатеринбург» (1889).— Цит. по кн.: Д. Н. М а м и н - С и б и р я к. Статьи и очерки. Свердловск, 1947, с. 227—228).

О генерале Глинке Мамин-Сибиряк пишет и в повести «Доброе старое время» (см. т. 3 наст. изд., с. 534).

В 1976 г. в уральском литературно-краеведческом сборнике «Рифей», изданном Южно-Уральским издательством (Челябинск, 1976), появилась статья Ю. Ярового «Странный генерал Глинка», автор которой вслед за О. С. Тальской (автором брошюры «Декабристы на Урале», Свердловск, 1957), сообщает о контакте генерала В. А. Глинки с ссыльными декабристами. Конечный вывод автора: «Да, Глинка был сыном своего времени. Но этот век был не только жестокий и страшный, он был веком пробуждения... и (В. А. Глинка.— В. А.) был причастен к обеим ипостасям века и был не просто «царским служакой», но и сохранил в душе уважение к людям, желавшим для России лучшего, хотя сам и не пошел по их стопам» (с. 233).

Печатается по т. 4 «Уральских рассказов».

Стр. 284. ...*пара наоглет*...— упряжка, в которой одна из лошадей пристяжная.

Стр. 285. ...*аспид*...— злобный, коварный человек,

Стр. 287. ...*закурил*...— загулял, закутил.

...*в моленной*...— в молебье у раскольников.

Стр. 289. ...*кержак немаканый*...— бранное: старообрядец (см. т. 3 наст. изд., с. 595).

Стр. 291. ...*на деревянной кобыле*...— на доске с вырезом для шеи и рук, на которую привязывали для наказания кнутом.

Стр. 293. ...*консистерский*...— Консистерия — управление по духовным (связанным с церковью) делам.

Стр. 299. ...*класть уставной начал*...— часть богослужения,

...*с лестовкой*...— старообрядческими четками (см. т. 1 наст. изд., с. 601).

...*подручником*...— квадратной подушечкой для рук, употребляемой при земных поклонах.

Стр. 300. ...*яко скимен*...— как лев (б и б л е й с к.).

...*очестливостью*...— почтительностью, вежливостью.

Стр. 305. *Строганов, Демидов*.— В очерке «Старая Пермь» (впервые опубликован в «Вестнике Европы», 1887, № 6), говоря о Строгановых, писатель отмечает: «Строгановы быстро освоились на новых местах и внесли с собой страшную новгородскую кабалу,

широкий путь этой фамилии и до сих пор обозначен поголовной бедностью и нищетой населения,— богатства Строгановых созидались на голытьбенных и обнищавших людюшках... Секрет необыкновенного успеха Строгановых заключался в уменье соединить воедино промышленное кулачество господина Великого Новгорода, его колонизаторские способности и уменье пустить в ход военную силу с чисто московскими свойствами — упиженным молением о земле, взятками и посулами разной приказной челяди, пронырством и дворцовыми интригами». (Цит. по кн.: Д. Н. Мамин-Сибиряк. Статьи и очерки. Свердловск, 1947, с. 177.)

В очерках «От Урала до Москвы» Д. Н. Мамин-Сибиряк подробно пишет о семье Демидовых, обращая особое внимание на Акинфия Демидова: «...главным носителем и осуществителем широких планов царя является гениальный сын Никиты Демидова Акинфий Никитич» (там же, с. 32).

Стр. 309. ...*ферлакур*...— от фр. faire la cour — ухаживать, флиртовать.

Стр. 312. ...*бабьей сороки*...— старшего женского головного убора.

Стр. 317. ...*вязниковский товар*...— от Вязники — городка во Владимирской губернии, где были развиты кустарные промыслы и хлопчатобумажная промышленность.

Стр. 318. ...*форейтор*...— кучер, сидящий на передней лошади при запряжке цугом (цуг — упряжка, в которой лошади идут гуськом или парами друг за другом).

Стр. 321. ...*наткакался*...— наткнулся.

Стр. 323. ...*заимки*...— отдельные усадьбы, промысловые хозяйственные постройки, а также небольшие поселки за пределами основного селения.

Стр. 334. ...*залобуем*... — подкараулим (местн.).

Стр. 340. ...«*Сын отечества*»...— исторический, политический и литературный журнал, основанный Н. Гречем. В 40-е гг., когда происходит действие рассказа, журнал порешел на крайне охранительные позиции.

Стр. 341. ...*облыжные слова*...— заведомо ложные, несправедливые.

Стр. 342. ...*кафедральный собор*...— собор или церковь, в которой совершает богослужение местный епископ.

Стр. 344. ...*фельдъегерская тройка*...— как правило, правительственный курьер для доставки особо важных, преимущественно секретных бумаг.

Стр. 345. ...*приунижаться*...— притвориться нищим.

Стр. 351. ...*цумущество поступило в конкурс*...— Конкурс — со-

бравие кредиторов для рассмотрения дел несостоятельных должников в дореволюционной России. (См. также т. 1 наст. изд., с. 596.)

КРУПИЧАТАЯ

Впервые — газ. «Новости и биржевая газета», 1891, 13 и 20 декабря. Вошел в т. 3 «Сибирских рассказов» (М., 1905).

«Крупичатая» — наглядная иллюстрация к тезису о «цивилизующей» роли капитализма в сибирской деревне.

Печатается по т. 3 «Сибирских рассказов». (Напечатанный в 1912 г. в журнале «Пробуждение», № 1, 2, рассказ был выпущен редакцией без согласования с автором.)

Стр. 353. *Крупичатая*. — упитанная, дородная (устар.).

Стр. 354. *...казачий «бекет»* — военный пост, небольшая часть войска, выставленная для содержания караульных и сторожевых постов.

Стр. 355. *...прасолами...* — скупщиками скота и различных припасов для перепродажи.

Успенье богородицы... *Успенский пост*. — Православный праздник успенье богородицы отмечалось 15 августа (ст. стиля); ему предшествовал двухнедельный пост.

Стр. 362. *...деревня немшоная...* — Ср. у Даля: «Сибирь немшопная» — так дразнят сибиряков, потому что никто... не мытит изъ» (т. е. не проконопачивает их мхом).

...Миткаль! Плис!.. — Миткаль — гладкая бумажная ткань, белая, без отпечатанных рисунков; плис — бумажный бархат.

ОХОНИНЫ БРОВИ

Впервые — журн. «Русская мысль», 1892, № 8, 9.

Д. Н. Мамин-Сибиряк работал над повестью в Петербурге после возвращения с Урала в 1891 г., предполагая опубликовать ее в «Историческом вестнике». В письме к матери (23 июня 1891 г.) он сообщал: «Мои планы для остающегося полугодия довольно скромны: пишу роман о золоте для «Северного вестника», роман о хлебе для «Наблюдателя» и исторический роман (о пугачевщине в Зауралье) для «Исторического вестника» (ГБЛ).

Судя по всему, первоначальный замысел — написать роман — был скорректирован в связи с работой над другими масштабными произведениями. 21 июня писатель сообщает матери: «Всё лето

работаю без утыку. Кроме своих фельетонов, пишу повесть для «Артиста» и большую историческую повесть из времён пугачевщины в Зауралье. Это специально летняя работа, а осенью сяду за два романа» (ГБЛ).

Через год в письме к Е. Н. Удинцевой от 3 мая 1892 г. он пишет о близком окончании работы: «Летом печатаю историческую повесть в «Русской мысли». 23 июня он сообщал матери: «Печатаю одну повесть в «Русской мысли» (ГБЛ).

Тема, связанная с Пугачевым, интересовала Мамина давно. 21 апреля 1875 г. в письме к отцу он просил сообщать обо всем, связанном с Пугачевым, и добавлял: «Все это мне крайне интересно и необходимо знать...» (Собр. соч., 8, с. 618).

В начале 80-х гг. он задумывает произведение «Железный закон»: «История основания заводов на Урале. Пугачевский бунт, осиживание Далматова» (сб.: «Урал», Екатеринбург, 1913, факсимиле страницы черновой тетради).

К той же теме он обращался в цикле очерков «От Урала до Москвы» (1881—1882): «...для нас важен тот факт, что такой важный момент в русской истории, как Пугачевский бунт, получил свою инициативу на Урале. Известно, что один из уральских раскольников, встретив Пугачева за границей, не только дал ему мысль назваться Петром III, но и обещал содействие всех уральских заводов. Рассматривая план военных действий Пугачева, можно ясно видеть, что первой и главной его целью было добраться до уральских заводов, где население, наполовину состоявшее из раскольников, давно волновалось и готово было встретить Пугачева как освободителя. Башкиры были настолько обессилены прежними бунтами, что не имели сил откликнуться на призыв пугачевских атаманов. План Пугачева в стратегическом отношении был замечательно хорош: его атаманы с двух сторон подходили к заводам с юга и с запада... Особенно важное значение имело южное движение, остановленное только благодаря защите монахами Далматовского монастыря. Трудно сказать, чем могла разыгаться эта историческая драма, но когда движение на заводы было загорожено, весь план Пугачева был расстроен и дело проиграно. Конечно, такое выдающееся явление в жизни народа не прошло бесследно для уральского населения, особенно в южных уездах Пермской губернии, где долго после Пугачева периодически вспыхивали разные волнения» (Д. Н. М а м и н - С и б и р я к. Статьи и очерки. Огиз — Свердловгиз, 1947, с. 35—36). Примечательно упоминание о Далматовском монастыре: именно с ним связаны основные события в «Охонинных бровях».

К работе над повестью писатель готовился очень основательно.

Он изучил многочисленные историко-краеведческие материалы. Среди основных источников, на которые опирался Мамин-Сибиряк, в первую очередь следует назвать работу Г. Плотникова «Очерки бедствий Далматовского монастыря» (опубликовано в «Пермских епархиальных ведомостях», 1869, № 4—6); «Пермский сборник» (1859, 1860, кн. 1, 2); трехтомную работу Н. Дубровина «Пугачев и его сообщники»; «Пермскую летопись» В. Шишонка (близкие утверждали, что это издание Мамин знал чуть ли не наизусть); статью А. Зырянова «Пугачевский бунт в Шадринском уезде и его окрестностях» («Пермский сборник», кн. 1, 1859). Им была собрана богатая литература по истории Урала. Из статьи Плотникова «Ссылочные в Далматовском монастыре» («Пермские епархиальные ведомости», 1869, с. 212) были заимствованы сведения о таинственной монастырской узнице княжне Параскеве Григорьевне Юсуповой, «заточенной на безысходное состояние».

Не ограничиваясь изучением печатных источников, писатель выезжал в места, о которых рассказывал в своем произведении (в 1890 г. он был в Далматовском монастыре), записывал легенды и песни, беседовал со старожилками о событиях славного и драматического прошлого Урала.

Многие исторические реалии легко угадываются: Усторожье — это город Шадринск; Прокопьевский монастырь — Далматовский Успенский; игумен Моисей — Иакинф, боровшийся яростно с «дубинщиной» и сбежавший во время «смутных событий» в Тобольск; Баламутский завод — Каменский; Дивья обитель — Введенский женский монастырь; река Яровая — Исеть.

Упомянутый выше «Пермский сборник» (кн. 1, с. 82) называет среди замечательных участников восстания «слепого, нищего мыльпиковского крестьянина Афанасия Корендюгина, принимавшего деятельное участие в возмущении». Это явный прототип слепца Брехуна.

В подготовительных материалах есть запись о том, что «Охотницы брови» — камень на Чусовой в пяти верстах от Илимского камня.

Мамин в своей повести возвращается к традициям исторической прозы Пушкина и Гоголя. Знание историко-краеведческого материала, полемика с реакционными историками и беллетристами, постоянная ориентировка на народную оценку происходивших событий — все это обусловило высокую художественную и познавательную ценность произведения, позволило Мамину вскрыть причины пугачевского восстания и предшествовавшей ему «дубинщины».

Отдельным изданием повесть вышла вместе с «Братьями Гордеевыми» в 1896 г. в «Библиотеке «Русской мысли». В 1909 г. обе

они были перепечатаны под общим названием «Из уральской старины. Повести».

В настоящем томе текст повести публикуется по изданию 1909 г. с исправлением опечаток по наборной рукописи и предшествующим публикациям.

Стр. 367. *...беломестный казак...*— от старого юридического термина «белое место» — земля или двор, освобожденные от податного тягла. Беломестные казаки несли гарнизонную службу в слободах по южной границе Урала, за что и освобождались от пагогов.

...работы египетские...— крылатое выражение при обозначении непосильного труда (от: строительство пирамид в Египте).

Стр. 368. *...с дрекольеж...*— с дубинами, палками, кольями.

...стомаха ради...— ради желудка.

...иноческий...— монашеский.

...новые духовные штаты...— Имеется в виду указ 1764 г. «О монастырских штатах», изданный правительством в связи с ростом волнений среди монастырских крестьян. По этому указу земля передавалась в ведение Коллегии экономии, а крестьяне переводились в разряд государственных и должны были платить монастырям только рублевый подушный налог. Подобный указ впервые был издан в 1737 г. (при Елизавете Петровне), дополнен в марте 1762 г. (при Петре III). Его отмена в октябре 1762 г. стала непосредственным поводом для волнения крестьян Далматовского Успенского монастыря.

Стр. 369. *...дубинщина...*— выступление крестьян Далматовского Успенского монастыря около г. Шадринска Оренбургской губернии (1762—1764). Причиной волнений были тяжелые натуральные повинности и жестокая эксплуатация приписных крестьян монастырскими властями. Как справедливо отмечает И. Дергачев, «время в повести несколько сжато с историческим. Мамин сблизил так называемую «дубинщину» и народное восстание под руководством Пугачева. Вместо десятилетнего промежутка в повести эти события разделяет лишь небольшой срок. Такая художественная концентрация событий вполне оправдана: среди пугачевцев было немало тех, кто прошел школу «дубинщины» (И. Дергачев. Д. Н. Мамин-Сибиряк. Личность. Творчество. Свердловск, 1977, с. 189).

...из домашней крашенины...— грубой крашеной ткани домашнего изготовления.

...Второй башкирский бунт...— В конце прошлого века так называлось восстание башкир в 1737—1739 гг. под руководством Бе-

пени, Мандара и Тулькучуры (у Мамина-Сибиряка: Пепени, Майдары, Тулкучуры).

...мухортого...— Ср. у Даля: «о лошади: гнедой, с желтоватыми подпалинами; о человеке: слабый, хилый, тощий и малорослый (т.мб.)».

...Прокония...— Все, связанное с Проконием, носит в повести литературно-легендарный характер. Но выбран он не случайно: преподобный Проконий был популярным на Урале святым.

Стр. 370. ...песни про старшину Сеита или Алдар-бая.— Сеит и Алдар-бай — руководители восстаний башкир. Об этих песнях вспоминает Мамин-Сибиряк в рассказе «Горная ночь» (1898).

...запечная...— Запечный мастер — палач.

Стр. 373. ...одвуконь...— верхом на одном коне при другом запасном (местн.).

Стр. 376. ...в «узилице»...— в темнице, тюрьме.

Стр. 377. ...Высь...— угол крепости, ограды.

...заворохи...— заварухи (устар.).

Стр. 378. ...Сидел на гроице, как Иов многострадальный...— крылатое выражение в значении: человек, испытывающий множество бедствий. Возникло из библейской легенды об испытании богом добродетельного Иова, перенесшего без ропота все невзгоды (проказу в том числе).

Стр. 381. ...орясиной...— дубиной, жердью.

Стр. 384. ...рейтары...— солдаты кавалерии в Западной Европе (XVI—XVII вв.) и в России (XVII в.).

...на винтер-квартирах...— на зимних квартирах.

...по казачьим уметам...— постоянным дворам, хуторам в степи.

...морокон...— темнотой, мраком.

Стр. 387. ...прясла...— жерди, изгороди.

Стр. 389. ...худобу...— скарб, имущество бедняка.

...обоппол...— по ту сторону, на ту сторону.

...благоуветливые старцы...— снисходительные, приветливые.

...общежительный монастырь...— монастырь, где монахи не имеют собственности, живут на общем довольствии.

Стр. 390. ...бортные ухозя...— места, где находятся ульи или водятся пчелы.

...хмельники...— заросли хмеля.

Стр. 393. ...епитимья...— наказание, исправительная кара, налагаемая церковью.

Стр. 394. ...киот...— створчатая рама или шкафчик для икон со стеклянной дверцей.

...Ахав нечестивый...— израильский царь (917—895 гг. до н. э.), преследовавший пророков,

Стр. 396. ...высокою персоной...— Речь идет о Е. Пугачеве, называвшем себя Петром II.

...ратманы да головы...— В дореволюционной России ратманы — члены городского управления (магистрата, ратуши); голова — председатель и руководитель некоторых органов управления в России.

...Приказные люди...— служащие в приказе, ведавшие отдельной отраслью государственного управления в русском государстве с XVI в. до начала XVIII в.

Стр. 397. ...крин сельный...— лилия (о б л.).

Стр. 400. ...сестра-вратарь...— привратница.

...здоровьем скудается...— болеет.

Стр. 401. ...послушница...— прислужница в монастыре, готовящая стать монахиней.

...две укладки...— два сундука.

...келарь...— монах, ведающий монастырскими припасами, эконо-

ном.

Стр. 403. ...взварцу...— Взвар — тип компота из сушеных фруктов, ягод.

Чернички...— монашенки.

Стр. 405. ...угобжались от вина и елеля...— пьянствовали.

Стр. 406. ...мамона...— утроба, брюхо (у с т а р.).

Стр. 411. ...у вершника...— верхового всадника, ездока (о б л., простореч.).

котах...— См. объяснение Мамина-Сибиряка на с. 557.

Стр. 414. ...кугья...— Здесь: насмешливое прозвание лица из духовного сословия.

Стр. 415. ...кричный корпус...— отделение завода (см. т. 3 наст. изд., с. 595).

Стр. 416. ...установщику...— Установщик на заводе отвечал за то, чтобы продукция выпускалась определенного образца по уставу.

Стр. 417. ...не аркайся...— не ругайся (о б л.).

Стр. 418. ...гурговицом...— погонщиком стада скота; владельцем гурта, торгующим скотом.

Стр. 425. ...акафист...— в христианской богослужебной литературе особый вид песнопений в честь Христа, богородицы и святых.

Стр. 426. ...извет...— донос.

Смыга — средневековое орудие пытки.

Стр. 429. ...раменьем...— лесом, соседним с полями; густым, дремучим лесом.

Стр. 434. ...шиликун...— нечистый дух, черт (о б л.).

Стр. 435. ...в тороках...— ремнях сзади седла для привязывания вещей,

Стр. 437. ...заплот...— забор (о б л.).

Стр. 439. ...загинных...— заржавевших.

...старинные шишаки...— старинные боевые головные уборы в виде высокого, суживающегося кверху шлема с шишкой наверху.

Стр. 446. ...дубас...— рабочий сарафан из толстого холста или дубленый.

Стр. 449. ...батырь объявился...— Речь идет о вожде восставших башкир Салавате Юлаеве (1752—1800).

Стр. 453. ...из тептярей...— название небашкирского населения, жившего среди башкир на башкирских землях (татар, мордвы, удмуртов и т. д.) (у с т а р.).

Стр. 458. ...покрытая иноческим куколом...— монашеским головным убором в виде кашпошна.

ГОСПОДИН СКОРОХОДОВ

Впервые — журн. «Русское богатство», 1893, № 5, в цикле «Детские тени» (вместе с рассказами «Аннушка», «Папа» и другими).

Рецензент «Русской мысли» (1893, № 11) высоко оценил рассказы о детях: «...Перед читателем проходит целый ряд теней детей, загубленных пелепостью и жестокостью жизни и взрослых людей, вся жизнь которых исковеркана, изломана... Автор нарисовал картинку простую и непогословную... Его настроение далеко не пессимистическое и далеко не покорное неизбежной судьбе, но вместе с тем он далек от всякого оптимизма».

В 1894 г. вышел сборник «Детские тени», повторивший состав подборки «Русского богатства». Сразу же откликнулась пресса.

«Артист» (1894, № 42, с. 208): «Эта книжечка коротеньких этюдов, предварительно печатавшихся в «Русском богатстве», — бесспорно лучшее, что появилось в нашей беллетристике, произведение, заслуживающее серьезного внимания и широкого распространения».

«Русские ведомости» (1894, № 324, 23 ноября): «Это несвеселые картины из жизни маленьких невинных жертв людского эгоизма и неправды. По прочтении этой книги читателя охватывает ужас при размышлении о том, какое множество детей, забитых, брошенных и исковерканных в затхлой атмосфере, окружающей их, кончают свою жизнь преждевременной, часто тяжелой, мучительной смертью».

«Русская мысль» (1894, № 11, с. 527): «В высшей степени мила и интересна детская тень г. Скороходова. С пяти лет лишившийся ног, мальчик жил только головой, читал, мечтал и думал, сделался одним из тех несчастных детей-старичков, которые поражают

своим необычайным болезненным развитием. Надо прочесть этот рассказ, чтобы почувствовать всю его тонкую прелесть, всю его психологическую правдивость и понять тоску по деревне петербургского ребенка, не имеющего понятия о лесе, полях, лугах, страстно желающего увидеть их, узнавшего о их существовании от деревенского мастерового, изнывающего в душном городе».

Действительно, сборник «Детские тени» — большая творческая удача Мамина-Сибиряка. Писатель ставит вопросы о социальной несправедливости современной жизни, о трагичности судеб детей и об ответственности родителей и общества за них. Рассказам присуща исповедальность тона, психологическая напряженность, лиричность трагических монологов, т. е. все то, что характеризует передовую русскую прозу конца XIX века. В рассказах присутствует и автобиографический элемент (смерть жены, болезнь дочери Аленушки), что, естественно, усиливает психологизм и лиричность рассказов. Своеобразен городской колорит рассказов.

Рассказ печатается по сборнику «Детские тени», 1909, с исправлением опечаток по предшествующим публикациям.

Стр. 483. ...сражался при Фермопилах... — знаменитая битва 480 г. до н. э., в которой немногочисленное греческое войско во главе со спартанским царем Леонидом мужественно сражалось с персидским войском царя Ксеркса.

ВОЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК ЯШКА

Впервые — газ. «Русские ведомости», 1893, № 232, 24 августа, в цикле «Охотничьи рассказы».

Рецензент журнала «Образование» (1895, № 6) писал, что в рассказе «автор желает пробудить в детях чувство любви к природе и животным... симпатично изображено любовное отношение Якова к обессилевшей перелетной птице, которую он старается защитить от избиения бурлаками. Тем же рассказом автор вызывает сочувствие к темной жизни бурлаков». Журнал «Русская школа» (1895, № 12) отмечал, что рассказ «сердечен и симпатичен, как и сам главный герой рассказа».

При жизни писателя рассказ издавался неоднократно. В 1901 г. он включен автором в 4-й том «Уральских рассказов». В настоящем издании рассказ публикуется по книге: Д. Н. М а м и н - С и б и р я к. Вольный человек Яшка. Вятка, 1911, с исправлениями по предыдущим изданиям.

Стр. 489. ...Хватка... — остановка, стоянка (о б л.).

Стр. 492. ...на лиственни... — на лиственнице (о б л.).

ПИР ГОРОЙ

Впервые — журн. «Вокруг света», 1894, № 12—25. В 1905 г. повесть включена в состав «Сибирских рассказов».

Действие повести относится к 40-м годам XIX в. В очерке «Город Екатеринбург» (1889) Мамин-Сибиряк пишет: «Для нас важно, что сибирское золото открыто именно екатеринбургскими промышленниками-раскольниками и что они продолжали жить по-прежнему в Екатеринбурге. Необычайный прилив капиталов, конечно, отразился на жизни Екатеринбурга. Около крупных золотопромышленников вырос целый слой мелких; торговля оживилась, со всех сторон к нему потянулись цепкие и пронырливые люди, жаждавшие поживиться «от крох падающих»,— ведь достаточно было поживиться от одного милостивого взгляда какого-нибудь Тита Поликарповича, чтобы маленький человек сделался счастливым на всю остальную жизнь. Укажем на тот факт, что около кондовых купеческих фамилий с крепкой раскольничьей складкой образовалось новое наслоение, так сказать, вторичная купеческая формация — явились в Екатеринбург офени-коробочки, нажили около кутивших магнатов круглые капиталы и навсегда остались здесь» (Д. Н. М а м и н - С и б и р я к. Статьи и очерки. Свердловск, 1947, с. 221).

К теме раскольничества писатель обращался неоднократно, по, пожалуй, именно в этой повести наиболее четко показан распад консервативного быта под напором новых социальных отношений. Автор пишет о сравнительной легкости этого распада, поскольку соблюдение старых правил к этому времени уже во многом носит формальный характер.

Печатается по тексту: «Сибирские рассказы», т. 2, М., 1905.

Стр. 498. ...*скиты*...— старообрядческий монастырь или поселок монастырского типа, устранившийся бежавшими от преследования старообрядцами в глухой пустынной местности.

...*к берестяному обочью*...— полоске из березовой коры.

Стр. 499. ...*сестра-вратарь*...— См. примеч. к с. 400 наст. тома.

...*волокове оконце*...— маленькое задвижное окно.

Стр. 500. ...*желарней*...— кладовой для припасов в монастырях; в старообрядческих скитах — также столовая и кухня.

Стр. 502. *Орочон* — так называли себя южные эвенки в XIX в.

Стр. 516. ...*никонианы*...— так староверы называли последователь официальной православной церкви по имени патриарха Никона (XVII в.), церковная реформа которого вызвала раскол.

Стр. 524. *...странный человек...*— страпник.

Стр. 527. *...опнугься...*— отдохнуть с пути.

Стр. 529. *...по родительскому наказу...*— по благословению родителей, без венчания в церкви.

Стр. 531. *...сорока...*— См. примеч. к с. 312 наст. тома.

Стр. 533. *...мысль о «чине ангельском»* — о пострижении в монахи.

Стр. 548. *...шарник...*— рабочий, занимающийся выемкой земли на золотых приисках,

КОРМИЛЕЦ

Впервые — в 1894 г. отдельной книжкой. Ей предшествовал рассказ «Свисток», напечатанный в газете «Волжский вестник» (1885, № 274, 277, 280, 285). «Свисток» — вполне самостоятельное произведение, в центре которого стояла фигура Федорки и история ее падения. Думается, что переработка рассказа была не случайной. Параллельно писатель работал над сборником «Детские тени», и тема страдающего ребенка имела в эти годы для него особое значение.

«Кормилец» неоднократно переиздавался при жизни писателя. Он был высоко оценен критикой. В журнале «Образование» (1895, № 5—6, с. 577) его оценили так: «...автор изображает крайне тяжелую и однообразную работу детей на заводе, чем вызывает в малолетних читателях невольное сочувствие к положению трудящихся. Попутно он дает правдивую картину фабричных нравов...»

Рецензент журнала «Русская школа» (1895, № 12) отметил, что в рассказе «Кормилец» «живые картины русской заводской жизни увеличивают ценность этого печального, по прекрасного рассказа».

Рассказ печатается по изданию: Д. Н. М а м и н - С и б и р я к. Кормилец, 1914, с исправлением опечаток по предшествующим публикациям.

Стр. 561. *...на чугунный «стул»...*— чурбан, поддерживающий наковальню.

В. Азриколянский

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр. текста	Стр. коммен- тария
Золото	7	572
С голоду	275	577
Верный раб	283	578
Крупичатая	353	581
Охонины брови	367	581
Господин Скороходов	471	587
Вольный человек Яшка	489	588
Пир горой	498	589
Кормилец	556	590
<i>Комментарии</i>	<i>572</i>	

Мамин-Сибиряк Д. Н.

М22 Собрание сочинений. В 6-ти т. /Редкол.:
А. И. Груздев, И. А. Дергачев, В. А. Стариков.
М.: Худож. лит., 1980.

Т. 4. Золото; Повести и рассказы./Коммент.
и подгот. текста В. Агриколянского (повести и
рассказы) и Е. Евстафьевой («Золото»). 1981. 591 с.

В том входят роман «Золото» (1892) — о жизни золотоискате-
лей Урала в пореформенную эпоху, а также повести и рассказы
«С голоду», «Верный раб», «Крупичатая», «Охотницы брови» и др.

М $\frac{70301-141}{028(01)-81}$ подписное 4702010100

Р1

ДМИТРИЙ НАРКИСОВИЧ

МАМИН-СИБИРЯК

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ 4

Редактор *А. Бабореко*

Художественный редактор

Г. Масляненко

Технический редактор

В. Нефедова

Корректоры

Л. Кошicina и М. Чупрова

ИБ № 2002

Сдано в набор 31.07.80. Подписано в печать 02. 02.81. Формат
84×108¹/₃₂. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Обыкновен-
ная». Печать высокая. 31,08 усл. печ. л. 31,08 усл. кр.-отт.
32,695 уч.-изд. л. Тираж 300 000 экз. Заказ № 2116. Цена 3 р.
Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художествен-
ная литература». 107882, ГСП. Москва, Б-78, Ново-Васманная, 19
Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного
Знамени Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова
Союзполиграфпрома Государственного комитета СССР по делам
издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, М-54,
Валовая, 28

